

АМОР

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

АМОР

АНАСТАСИЯ
ЦВЕТАЕВА



АМОУ

РОМАН И ПОВЕСТЬ

Москва
«Современник»
1991

ББК 84Р7
Ц27

Цветаева А. И.

Ц27 **Атог: Роман и повесть.— М.: Современник, 1991.—
494 с.**

ISBN 5—270—00762—2

В новую книгу Анастасии Цветаевой «Атог» вошли повесть «Моя Сибирь» и одноименный роман. Оба произведения — о судьбах людей, проведших многие годы в лагерях и ссылке, о том, что и в бесчеловечных условиях люди сохраняли чувство собственного достоинства, доброту.

Ц $\frac{4702010201-079}{M106(03)-91}$ 142—90

ББК 84Р7

ISBN 5—270—00762—2

© А. Цветаева, 1991 г.

AMOR¹

Роман

Посвящаю эту книгу
Ольге Яковлевне Этчин

ОТ АВТОРА

Роман «Амор» насчитывает от рождения полвека. И пути, которыми ему пришлось идти, необычны настолько, что требуют о себе рассказа.

О главном герое была задумана поэма, но она медлила, претерпевая сомнения и затруднения, и, наконец, была заменена — романом, иначе говоря, «Амор» родился из поэмы. Он рос, разгораясь, как одинокий костер в лесу, с конца 1939 года, быть может, и был вчерне кончен в первые дни войны, в 1941-м...

Он писался на Дальнем Востоке, в зоне, в часы отдыха, после десятичасового рабочего дня, на нестандартной бумаге, на маленьких листах, чернильным карандашом, так мелко, что прочесть его не смог бы никто, кроме автора, — и то по его близорукости.

Автор маленькими пачками передавал его на прочтение, и, прочтя очередные листы, ее начальник по работе через вольнонаемного пересылал, в письмах, в Москву, где он пролежал до дней освобождения автора, до 1947 года. Получая его (уже в Вологодской области, где работал сын) из рук родственницы, приехавшей из Москвы, автор с удивлением заметил, что в нем не хватает целой, отдельной части, которая была задумана позже, как вводная, тем помогая рукописи стать романом многоплановым. Возникла эта часть волею автора, чтобы — простой человеческой ароматностью противостояла слишком отвлеченному, интеллектуальному стилю вещи. И вот этой части — не было. Но ларчик открылся просто: часть эта по недостатку бумаги была написана на папиросной, отделявшей листы чертежей, с которыми я имела дело. В те годы такая бумага, годящаяся для курения, была драгоценна: «ароматную» часть выкурили всю, без остатка.

Остальная рукопись (простая бумага) уцелела. С грустью осознал автор неудачу своего предприятия: без этой части «Амор» перестал быть романом, делаясь одноплановым. И автор переиме-

Текст печатается в редакции автора (ред.).

новал его в «Руины романа». Было написано маленькое предисловие — о трудных годах для курильщиков, им в извинение, но казалось оно выдумкой, неудачным авторским изобретением, литературным трюком...

Усталость прожитого не в домашних условиях десятилетия помешала в 47—48-м годах заняться романом — да и кому отдашь в перепечатку такое, кому доверишь? И пачка мелко исписанных карандашом листов, «Руины романа», — укромно ждала будущего. Оно не замедлило. Но тут отступление.

В ссылке («навечно», но прожила там семь лет) я не писала, «Руин» не трогала, огород отнимал силы (об этих годах в моих «Сибирских рассказах»). С 1957-го начала «Воспоминания» (в 1959-м реабилитировалась). Растила двух внучек, учила их языкам. В 1968—1969 годах переписала «Руины» на большие листы крупным почерком. Только в 1972-м, когда младшей внучке было пятнадцать, у меня выпало свободное время, и я раскрыла рукопись, которую не перечитывала с 1941-го. Я сказала себе «Перечти!». Перечитала и одобрила. Написала и вставила в «Руины романа» новые главы — вместо выхуренных. И вновь стал «Атог», и дожил до нынешних дней.

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Сумерки падали, медленно обволакивая стройку тою глубиной предвечерней синевы, о которой так точно сказал Байрон: the clear obscure («светлый сумрак»? — по-русски).

Отложив рейшину и ватман, высокий человек в спецовке встал. Его голубые глаза веселились. На часах было шесть.

— Как, «спуск флага»?! Евгений Евгеньевич, уже?

— Объявляю «спуск флага», — церемонно и патетично возгласил тот и широким движеньем длинной руки распахнул дверь из бюро в соседнее помещение... Мигнув, электричество погасло. Так в последние дни бывало часто — что-то чинили на электростанции. Спорили, пить ли чай впотьях или зажечь лампу, браня на чем свет — монтеров. Узнавали друг друга по голосам. Срочная работа на гидростанции X-строя сегодня задлилась. Засветлевшие на фоне темных стен окна вспыхнули абрисом далеких белков, серебрящихся фоном весенней долины, тонущей в синих сумерках.

— Знаете, товарищи, что я услышал сегодня? Как нас называют? — сказал тот же человек. — Нашу проектную группу? «Дворянское гнездо»... Здорово?

— Где, на вахте? — отвечала средних лет женщина. — Или в зоне?

— Ника, вы возвышаете уровень наших вахтеров! Неужели вы думаете, что они читали Тургенева?

— А вы знаете, Евгений Евгеньевич, где я — это довольно интересное совпадение — где я читала недавно это самое «Гнездо», притом — по-немецки? Ни за что не догадаетесь! В Бутырках! «Das Adelsnest». В чудесном переводе!

— Что вам, как специалисту!..

— Бросим о прошлом. Мое будущее, дай бог, чтоб было — арифмометр... — ибо не знаю прочности нашей группы. Сейчас придет Мориц с — опять срочной работой!

— Мориц — в Управлении, — отозвался у окна сидящий,

наклоненный над рейсшиной молодой человек,— он занес работу и ушел.

— Отлично,— сказала женщина,— я пока постараюсь докончить вчерашний перерасчет,— так устала вчера, могла ошибиться...

— По десять часов считая — очень просто...— Евгений Евгеньевич обернулся к той, которую назвал Никой.— Вы, по-моему, сможете отдохнуть за нашим уроком черчения, когда будет свет...— вы рисовали, это вам несколько родная область...

— Но нашему уроку помешает — срочная...

— Да, к сожалению, помешает...

Лунный луч пересек комнату, чертежные столы. Была весна 1938 года. Евгений Евгеньевич сел на стул у чертежного стола. Горела свеча. Ника села рядом:

— Продолжим?

— Мы остановились на куклах, не так ли? Я очень любил играть в куклы...

Шаги по мосткам. Дверь распахнулась. Метнулись электрофонари в руках входящих людей. Зычный голос крикнул:

— Поверка! Встать! Тут пересчитаем!

При свете фонариков и свечей люди становились в ряд. Два вахтера что-то отмечали в своей записи, прикрепленной к дощечке. И уже выходили, кидая дверь и тени, скользящие по стеклам.

Евгений Евгеньевич снова раскрывает, как книгу, рассказ:

— Я очень любил играть в куклы! И больше всего меня прельщали не сами куклы, а аксессуары кукольного обихода. Мебель, посуда... У меня была крошечная лампа с матовым абажуром, молочно-белым, заживавшимся, как игрушечная луна. И я, как Гулливер в стране лилипутов, жил среди этих драгоценных предметов рядом со скучной жизнью взрослых, скрывая от них им непонятный накал моей мальчишеской жизни, за которую они — узнай они ее — стали бы, может быть, даже преследовать меня — за неестественное моему полу и возрасту времяпрепровождение. Эту микроскопическую лампу я любил, кажется, больше всех тех таинственных сокровищ, она была для меня не менее реально-волшебна, чем лампа Аладдина, о которой повествовалось в толстой книге.

Дверь снова с шумом распахнулась: на фоне слабо освещенной двери — в соседней комнате тоже горела свеча — стоял небольшой человек в короткой меховой шубке. Мальчишеское было в нем, в его позе — на чей-нибудь материнский взгляд, и именно в том, как стоял, с таким независимым

видом, исключая даже тень интимного отношения к себе. Он снял шапку, голова оказалась — или так причудилось от стоявшей сзади свечи, обводящей ее светом, — седой. Снял, повесил на вешалку шубу и вернулся неожиданно худым, элегантным человеком во френче, бриджах, гетрах. «Мориц!» — отозвалось в Нике.

И только тогда заметила, что перестала слушать Евгения Евгеньевича, — но тотчас же поняла, что рассказчик прекратил рассказ.

— Давно погасло электричество? — спросил вошедший громким низким голосом, чуть резковато, по-французски произнося «р». — Свет сейчас будет, я заходил! Виктор, — бросил он в глубину комнаты, — нам надо с тобой просмотреть твои чертежи! Раздел закончен? Медленно, медленно... Завтра — последний срок!

— Свет! — крикнул Евгений Евгеньевич, вставая.

Рейсфедер с туго зажатой каплей сиены только готовился начать вдоль рейшины свой ослепительно острый путь, когда электричество снова погасло.

Тогда раздался тихий, счастливый смех Ники.

— Это я захотела, чтоб снова темно, — шепнула она, наклоняясь над плечом Евгения Евгеньевича, и — уж совсем тихо, чтобы не услышали другие: — Чтоб дослушать!

— Прямо Вивиана какая-то, — шутливо вздохнул тот, в полутьме вытирая рейсфедер.

Ника наслаждалась:

— Слышите, как сверчок ворчит? И откуда здесь сверчки?

— Безобразие! — неистовствовал Мориц, зажигая свечу, — срывают работу! Я им покажу, как нас оставлять без света!

В эпической позе Евгения Евгеньевича, вытянувшего длинные ноги, скрестив на груди руки, откинувшись на спинку стула, женский глаз уловил подобие вызова. Эти два человека с трудом выносят друг друга! Но сдержанность Евгения Евгеньевича делает невозможным — эксцессы! Она угадывала. Дело было сложнее: в нерадении его не мог упрекнуть Мориц, он просиживал глубоко в ночи над своим изобретением, но то безразличие, может быть, напускное, которое проявлял к погашению света, не могло не раздражать Морица.

— Представитель едет утром! — (прозвучало угрозой). — Сейчас приведу сюда этих сукиных сыновей...

Пили чай при свече.

Кто-то зевнул, устало:

— Кого он сюда приведет?

— Да монтеров, кого... Чай остыл! Кто не пил еще?

— Безобразия! в самом деле... Ночь из-за них опять придется сидеть! Только развернули с ним чертеж...

— Рвет и мечет! Это характер такой!

— Опять срочная работа! — вздохнул кто-то уставший.

— У Морица всегда срочная работа! Не умеет спокойно работать!

— Рассказывать будем, Евгений Евгеньевич? Скорее! — звала из соседней комнаты Ника. — Я подложила в печь дров, уютно...

— А начальник-то наш так и не кушал, — по-стариковски сетовал дневальный Матвей, старичок с Урала, — зашел я к нему — как поставил на стол, так и стоит... Туда шел, встретился мне. Я им сказывал — ужин, мол. Не слушает! Без пищи живет человек!

— И говорят, чахоточный! — бросила, как в печь ветку кедра, Ника. — У меня, Матвей, от нее брат умер... тоже вот так... ничего не хотел есть.

Хором:

— Глупость это!

— Привередничать нечего! Не дома! Лагеры! Что мы, хуже его?

— А в наших местах — собачье сало едят! От чахотки.

— Будет он тебе, Матвей, есть собачье!

— А спит он когда? Честное слово, когда ни проснешься — он или курит, или читает.

— Или пишет...

— А что он пишет? Сочинения? Донесения? — кто-то, в вынужденной праздности, позволяя себе пошутить.

— Что, что! Мало ли что можно писать... — веселится чертежник Виктор. Ника молча поворачивает к нему лицо.

— Заявления пишет.

Виктор мгновенно свертывает веселье. Заявления, вопль о своей судьбе туда, на волю, — может быть, прочтут и прислушаются! Кто же их не писал! Но — сколько людей — пере-стали.

Евгений Евгеньевич кончал набивать трубку.

— Что в нем удивляет, — сказал кто-то о Морице, — это его поведение, то есть — ведь он имеет успех у женщин вольнонаемных, но... безответно. Он давно женат, я видел портрет, жена его, между прочим, исключительно интересная женщина!

Тут Ника возвышает голос. Он играет, как огоньки в печке.

— А почему вы сказали «между прочим, интересная женщина», — иронизирует она, — это как-то невнятно!

— Нет, я просто так!

— Но вот, действительно, даже себе невозможно представить: Мориц — и роман с женщиной!

Нике отчего-то хочется — чтобы не поняли ее отношение к Морицу. (Она сама не понимает его.) Она слышит чей-то еще незнакомый голос, подающий ироническую информацию:

— Он от одной спеси не свяжется с женщиной! Чтобы про него, как про всякого смертного, не сказали, что он завел себе бабу...

— Евгений Евгеньевич, — говорит она, — если вы не будете мне сейчас рассказывать — я уйду — и приду, когда будет свет!

— Иду!

Нике нравилось, что Евгений Евгеньевич не принимал участия в таких разговорах.

В бараке, в котором помещалась проектная группа, было действительно уютно от квадрата раскрытой печки; раскалившиеся сучки кедра кидали на стены и стол темно-янтарные, пляшущие куски света.

— На чем мы остановились?

Он пододвинул к себе стул, сел, попыхивая трубкой. Ее огонек был почти малинов. И Ника отметила, с привычным наслаждением наблюдения, разницу этого цвета с цветом печного огня. Она не села на подставленное кресло, а, подложив на пол газету, устроилась сбоку от печки, чтобы видеть огонь, не перегреваясь.

— На кукольных аксессуарах? — Голос рассказчика в начале рассказа — холодноват, далек. Его мысли были в одной трудности изобретения...

Но ему не пришлось рассказывать — вспыхнул свет.

Часть I

НЕ У СЕБЯ ДОМА. ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

ГЛАВА I ЗНАКОМСТВО

Знакомство с Морицем и у Евгения Евгеньевича и у Ники произошло в этапном, из Москвы, поезде; ехали вместе семнадцать дней (четыре из них поезд стоял из-за метели: один день в Москве, другой в Чите, где была пересадка, и два дня — прибыв на место).

К Морицу в пути она была повернута больше всего его знанием английского и французского — на последнем шла беседа у Морица с Евгением Евгеньевичем, знавшем французский с младенчества. Именно в дни первых бесед стала ясна Евгению Евгеньевичу основная разница их типов и убеждений: в то время, как он был продукт старинного воспитания и мышления, Мориц был предельно современный человек, атеист, пылавший сердцем ко всему новому, — отчего так особо горек был ему отрыв от московской работы, незаслужен, непонятен, немислим!

Но, прибыв на место, он тотчас же снесся с начальством, предложив свои услуги, и помог основать проектно-сметную группу, в короткое время наладил связь с представителями строительных предприятий. Это ускорило темпы работ. План перевыполняли. Начальство оценило опыт, энергию, европейский уровень образования Морица. Его взяли в Управление, куда, встретясь с Никой, втянул ее, сняв с физических работ, проведя через активировку — на медицинской перерегистрации физических сил заключенных.

Был час перерыва.

— Введу вас в курс работ, — сказал Мориц. — Иначе вы будете у нас — как в лесу... Но не из легких моя задача — так вы, Ника, далеки от всякой техники. Мы здесь работаем на гидроработах. Строительство. К заданному сроку вся долина, где мы с вами находимся, станет водохранилищем. Я постараюсь вам начертить, насколько могу элементарно, именно для вашего понимания, план нашей

стройки. И вам на днях его передам — чтобы вы увидели... Обозначу, где деревянный деривационный трубопровод (длинной он примерно тринадцать километров), где напорный бассейн, где два стальных напорных трубопровода.

— А как строятся вообще гидростанции? — спросила Ника.

— Прежде всего, они строятся на больших реках — где огромное количество воды — Ангара, Енисей, Волга — плотины сравнительно невысокие, напор — небольшой.

Он, видимо, подбирал простейший способ изложения сути — как ребенку.

— Мощность гидростанции определяется произведением секундного расхода воды на величину напора, так что можно строить и иначе, воды немного, но с огромным напором. Бывают гидростанции и горные (деривационные, с транспортировкой воды) и речные. Можно захватить высоко в горах воду и подвести ее к турбинам по трубам с напором; тогда маленький расход компенсируется большим напором. Но беда, что воды весной много — таяние снегов, а летом ее мало. И вот гидрологи и гидротехники регулируют сток реки. Они строят плотины и создают водохранилища, чтобы, зарегулировав годовой сток, давать так называемые рабочие попуски в течение года. (Так работает гидростанция целый год.)

Он прошелся по комнате, руки в карманах. В удержанном им жесте была явная скука. Но он взял себя в руки и продолжал:

— Течет река; чтобы ее остановить, надо построить запруду, плотину. Но нельзя всю реку закрыть, вода нужна людям, живущим по ее берегам, ниже плотины. Во-вторых, ту воду, которую задержат в водохранилище...— (Видимо, он на минуту задумался, потому что Ника перестала понимать и не показалось ей связи в его словах.) — Третье — давать рабочим попуски. Обычно при плотине есть водосбросные сооружения (это может быть тоннель), через которые идет сброс воды.

Стуча в дверь, вошел прораб.

— Я за вами, — сказал он Морицу.

— Пошли, — отозвался Мориц. И как ни была готова Ника к его резкости, ее удивило все же, что он вышел вместе с прорабом, даже не оглянувшись на нее.

Барак, в котором помещалась проектно-сметная группа, состоял из двух больших комнат — рабочей, со многими столами, чертежными, меньшими, на которых стучали арифмометры, и смежной, где жили работники. По рисунку Морица

туда были заказаны — каждому — шкафчики с полками для белья и личных вещей. Днем шкафчики закрывались наглухо вертикальными крышками, вечером же эти крышки выдвигались горизонтально, опираясь на низенькую скамеечку, тем образуя кровать. На нее стелился тонкий матрасик, на нем — постель. Такое изобретение давало большую экономию места — днем была пустая комната с узкими шкафами по стенам, вечером же между кроватями можно было пройти, — позволяя сесть, раздеться, не мешая друг другу, восьми живущим. У одного из окон стоял стол, куда в часы обеда ставилось кухонное ведро с супом, тарелка с пирожками с капустой или кусками соленой рыбы и кастрюля с кашей, вечером — одна каша и тарелка с остатками хлеба и неизменный чайник с кипятком. После еды дневальный мыл и уносил оловянные миски. Все работники группы получали выхлопанный Морицем в Управлении «ИТР» — повышенное питание инженерно-технического персонала, что вызывало зависть тех заключенных, что жили в обыкновенных бараках.

Со стороны торца была дверь в небольшую комнату — женскую, где было всего четыре топчана — двух уборщиц, кухонной работницы и Ники, работницы Управления. Но так как часы работы ее и других женщин совершенно не совпадали, и это отражалось на часах сна Ники, Мориц, после долгих и упорных хлопот, добился разрешения в уголке женской комнаты построить отдельную кабинку для Ники — где поместился топчан, маленький столик перед окошком, и — что тоже вызвало зависть, насмешки, подшучивание — фортка в окошке и скобка для всячего замка на узенькой дверке, отделявшей Никины часы отдыха, зависевшие от срочной работы, от нормированного сна работниц хозобслужбы.

Впрочем, по опытности немолодой уже Ники, отношения ее с женщинами довольно быстро уравнились и все более, с каждым днем теряли признаки «классовой» розни. Прошло еще несколько недель — и, ввиду материнского к ним отношения Ники и ее заметно более старшего возраста, работницы хозобслужбы стали, одна за другой, ее дочерьми, поверя ей свои женские горести, обиды от поваров и помпобыту и семейные огорчения, черпанные из редких, но все же приходивших писем из дому. Огорчение же Ники — непонимание ее сожительницами внешнего облика и — барского, на их взгляд, — поведения Морица — ей делить было тут не с кем. Даже Евгений Евгеньевич в этом не был другом, так как сам не понимал и не выносил Морица.

Был вечер, и снова электричество погасло. Голос тянул из темноты:

— Ну, Евгений Евгеньевич!..

— Но свет скоро дадут!

— Нет, он долго не вспыхнет... Про коллекцию фарфора — кончили, про миниатюры — тоже... Про ваши морские картины...

— Вы хотите сказать, про гравюры с корабельными сюжетами?

— Ну, да! Но сегодня вы обещали про бабушку и про дедушку...

— Можно...

— Про бабушку и про дедушку! — как ребенок, счастливо вздохнула Ника, садясь в свой любимый уголок. Так хотелось — отвлечься!

— Бабушка была довольно высокого роста, полная, — начал рассказчик. — Ее внимание делилось постоянно между миром видимым и невидимым, причем, мне кажется, этому воображаемому она уделяла больше внимания. В юности это была довольно интересная, чрезвычайно веселая девушка, со вполне светским складом ума. Незадолго до своего замужества, сопровождая по дочерному долгу свою мать в одну из обителей, она испытала нечто необычайное. Это известно стало, правда, только по туманному семейному преданию — сия девица была найдена в пустой келье, пользовавшейся дурной, в мистическом смысле, славой, в состоянии нервного припадка, после которого во всем складе ее характера и поведения произошел резкий перелом. Придя в себя, она сказала окружающим, что хочет идти в монастырь. Но общественное положение и собственный образ жизни были настолько не связаны с этим решением, что ее увезли и старались всячески рассеять. Вскоре после этого она вышла замуж за моего деда и получила возможность по-своему устроить жизнь. Она предалась своим склонностям именно этого типа. Она, по-видимому, совершенно реально ощущала присутствие того, что она называла невидимым миром, — следствие пережитого ею нервного шока. Причем это ощущение было у нее настолько реально, что ей было тесно жить из-за него. Ее не интересовали ни театры, ни гости, ни туалеты и даже дом — только до некоторой степени. Но зато там, в своих чудачествах, она превосходила себя. Все это вызывало необыкновенное негодование моего деда, потому что, не стесняясь присутствием гостей и ничем вообще, бабушка часто прерывала разговор, вдруг, и начинала крестить углы, посуду или детали вашей одежды. Лицо ее принимало экстатическое выражение; затем это проходило, и она продолжала прерванный разговор. Домом она управляла полновластно и деспотично; это выхо-

дило у нее безотчетно. Никогда, никому не приходило в голову спросить, почему все в доме именно так, как есть: почему грибы хранятся с шелковыми юбками и праздничной сбруей и почему сласти распределяются в хронологическом порядке, так что вы никак не могли получить чего-нибудь свежего, скажем, меньше чем трехнедельной давности!..

При этих словах вспыхнуло электричество. Евгений Евгеньевич встал и, церемонно поклонясь:

— До следующего раза!

Он прошел в бюро. За ним, шурясь от света, Ника.

Работа шла. Представитель должен был приехать, быть может, и завтра. Мориц работал с сотрудниками. Сильно накурено в комнате. Уже принесен чайник, чай — заварен крепчайше. Придется сидеть до утра?

Стукнула дверь, раскрылась. Поверка!

Но, заранее велев от работы не отвлекаться, Мориц шел навстречу вахтерам. Слово — «Срочная!»... — произвело почти магическое действие. Став в дверях, отмечали наличие людей, не трогая их с мест. Трещали арифмометры, не подымались головы от ватманов и рейшин.

В полном уважении к работающим выходили — тихо — вохровцы. Они, верно, тоже слышали про проектно-сметную группу «господ» — но картина работы «господ» — покоряла.

Устав от работы, уже в постели, засыпая, она уносилась в прошлое. Вспоминала...

Увоз ее из Тарусы, ночь в остроге прервали такое увлечение живописью, какого у нее с детства не было. Ника считала часы, когда, перебравшись в дом родственников — Добротворских, сможет раскрыть ящичек с пастелью и начать воплощать заокские пейзажи, открывавшиеся с террас и балконов опустевшего, но и теперь гостеприимного дома. Руки горели от радости воплотить густую влажную желтизну песчаного обрыва, что-то замшевое было в этой влаге, в мягкой тени почти коричневого песка... Разнообразие оттенков зелени садов, подымавшихся по Калужской улице, опьяняло.

Когда горела печь — Ника впивала пыление желтых, малиновых, синего и почти белого цвета, язычков, сливавшихся воедино и оживавших, загорававшихся вновь; уже начала пытаться нарисовать — кистью рассказать огонь — и поделилась этой задачей с сестрой Лерой. Та отвечала, что эта задача — трудная, многие художники пытались ее разрешить...

Коты, три кота хозяйских, точно нарочно подобранные, чтобы писать их, на них крушить пастельные мягкие мелки, обращавшиеся в кусочки и в пыль. В котях было органическое сходство с пастелью, вся гамма от темно-тигровой шерс-

ти — через рыжее пламя второго — к дымчатости с белым третьего — как они ей удались все трое, — горе было в том, что она не умела закреплять (поедет в Москву 5 сентября получить 400 рублей за перевод об американской музыке, позвонит, спросит об этом художника Василия Милиотти).

Кто мог знать, что 2 сентября вечером Ника, уводимая конвоем от ее альбома пейзажей, протянет в щедром отчаянии «портрет» трех котов — хозяйке, зная, что они, незакрепленные, осыплются... Под стекло надо!.. Хозяйский сын, Витя, комсомолец, взяв картон из руки матери: «Нам от вас *ничего* не надо...» Но Ника, в твердой уверенности в обратном, вторично тянет картон его матери... И хозяйка снесет их от сына — под ключ, в пузатый комод... Три костра пастельной роскоши — рыжести, тигровости, белизны — пыли, теней, контрастных расцветок, спящих мирно, друг в друга, котов... (А ей — в путь...)

Кто бы мог предсказать, что огонь тарусский, печной, и солнце печных тарусских дорог будут долго погасать в камере № 7 Бутырок, — Ника, собирая от курящих обгорелые спички, ими по листку бумаги — на уборную выданном — пытаться будет воссоздать шеренгу вводимых во двор на прогулку женщин, их тени на стене, следы на снегу, все — крошечное, уже исчезающее...

И что живопись — через скупость графики жадно оживет в маленьких скульптурных головках из прожеванного хлеба... За пять месяцев тюремных налеплено головок — бесчисленно... Всего легче — Данте и Гоголя. Их каждого рассылает по камере — заказ?

И что в день этапа она расстанется с четырьмя из них, любимыми, живущими с ней в носовом платке и отнятыми тюремщицей на этапе... Огромной рукой тюремщица схватила все четыре цепко, точно всю жизнь это делала, и, у открытого окна (первый этаж этапной камеры), взмахнув, направила их в полет — упасть и разбиться? Что дернуло Нику в этот момент оглянуться? (Редчайшее, драгоценное зрелище!) Скрюченные над ладонью пальцы передали за ее спиной в них зажатое — в такую же цепкую ладонь, умело перенявшую. Ника больше не увидела ничего. Стесненное радостью сердце, хотевшее расшириться в гордость, что их — пусть не для нее сберегли...

Другое зрелище, крепче, важнее в сто раз: две женщины бросились навстречу друг другу — ниже, толще — мать? — тоньше, выше — дочь? — и сомкнулись в такте объятия, но четыре руки обеих тюремщиц отдирали их друг от друга со страстью, равной той встрече. Все стало понятно вмиг: чьей-то

ошибкой двое родных были включены в тот же этап (в прежних веках — обычное — Меншиков со всей семьей в изгнании — ныне предстало чудовищным!). Это почти что Лаокоон с сыновьями, с удавом борясь, — явь, XX век, на наших глазах! Мать в объятии с дочерью — ничто не разнимет! так крепко... но страсть встречи побеждена: мать, бережа дочь, уступала — отнимавшим, дочь, залитая слезами, отдавала мать отнимавшим... Неразумные! Им бы, узнавши друг друга, сдержаться, сыграть в чуждость... но любовь не умеет играть! Нику трясло негодование, обвитая бессилием, она — стояла недвижно.

Кого увели? Не обеих ли? Спешка этапа глотала всех. Уже на перроне. Поезд. Гудки, это — Казанский вокзал? Сон?

Везут. Куда? Сажают в поезд. Четырнадцать женщин помещают в одно отделение вагона, странного. Двойной коридор. Проходит мимо пустого — купе? Это — купе? В два этажа — нары по семь — внизу, наверху. Пока те влезают с мешками своими (нормального багажа нет), Ника стоит у решетки, перегораживающий во всю длину — коридор, за ним окно и здание перрона — и говорит себе, — не словами, всею собой: ни одной слезы! Там — трясло? Когда мать и дочь! И — прошло? Если то — прошло, значит, и это пройдет. Никаких чувств. Понимаешь?.. Просто поезд отойдет от Москвы. Куда-то, не все ли равно? Из Москвы. Поезд шел? Нет. До утра. Очень холодно. Ложились тесней. Жевали соленую рыбу. Ника не могла, отдала. Ела хлеб. Чаю в ту ночь не дали. Спали вповалку. А когда рассвело — с того конца поезда вошли с конвоем мужчины и заняли по четырнадцать все «купе». Кто-то сказал: Столыпинский вагон (Столыпин? Премьер-министр. Убили в 1911 году. И она вспоминала из газет про повешение убийцы: «Тело Богрова висело в продолжение 15 минут». Ей было шестнадцать лет.) Тоже трясло. И — прошло? Она лежала у стенки, наверху. Вспоминала, как в камере осужденных показала встретившейся там подруге, Надежде Мещерской, все четыре головки хлебные: одна голова спящего, напоминавшая умершего друга. Другая — приснившееся лицо, большеглазое; букли. Портрет Павла Первого? Третье — подруга узнала его: Зубакин, Борис Михайлович... А четвертая — голова ее сына, чуть поднятая, лицо — юное, ободряющее... Как запомнился в час прощания... Где же они теперь? Надзирательница не выбросила! Сберегла! У кого на комоде?

Жевать научилась — долго; слюна с хлебом, высохнув — камень...

Позже, на ДВК¹, увидав глину — загорелась желанием лепить! Глины много... После работы вылепила мужское лицо, с усами, на кого-то похожее... На кого же? Все больше. И вдруг — по н я л а... Смяла и бросила. И больше не стала... Никогда!

В тюрьме — писались, слагались — в пространство, не на бумагу, прямо в память написанные стихи. Ника помнила их и, наверное, никогда не позабудет.

...Как странно начинать писать стихи,
Которым, может, век не прозвучать...
Так будьте же, слова мои, тихи,
На вас тюремная лежит печать.

Я мухою люблюсь на стекле.
Легчайших крыльев тонкая слюда
На нераспахнутом блестит окне,
В окно стремясь, в окно летя, туда,
Где осени невиданной руно.
С лазурью неба празднует союз,
В нераскрывающееся окно,
Куда я телом слабым горько рвусь.

Я рвусь еще туда, где Бонивар², —
В темницу, короновану тобой,
О одиночество! Бесценный дар!
Молю о нем, — отказано судьбой.

Да, это Дантов ад. Тела, тела...
Поют и ссорятся, едят и пьют.
Какому испытанью предала
Меня судьба! Года, года пройдут
До дня, когда увижу дорогих
Моей душе. Их лица, имена
Не тцись сказать, мой слабосильный стих,
Какие наступили времена!
Рахили плач по всей родной земле,
Дорожный эпос, неизвестный путь,
Мороз и голод, вши — и на коне
Чума и тиф догонят где-нибудь...
— О Боже! Помогите принять не так
Свою судьбу! Не как змея из-под копыта!
Ведь это Книга Царств торжественно раскрыта,
А к солнцу нет пути, как через мрак!

...Как странно начинать писать стихи,
Которым, может, век не прозвучать...
Так будьте же, слова мои, тихи,
На вас тюремная лежит печать.

¹ Дальневосточный край (ДВК — устаревшая аббревиатура.)

² Б о н и в а р — герой одиночного заключения в Шильонском замке на Женевском озере. («Шильонский узник» Байрона.)

Жизнь в тюрьме... Все живо в Нике — лица конвоиров и тех, кто ее допрашивал...

Один следователь (нос с дворянской горбинкой, читал Герцена), другой — менее грамотен, ошибки поправляла ему в протоколе. Какой-то ее ответ вынудил у него восклицание: «Стерва!» «После таких слов прекращаю отвечать на вопросы», — ответила она.

Видно, ее собеседник по природе агрессивен не был. Он встал, сказал: «Идемте» — и они пошли. В блоке, куда он ее запер, — плоский шкафчик, узкий настолько, что сесть в нем было нельзя. Ника пристроилась в положении *между* стоянием и «на корточках», но усталость была так велика (ведь следователи менялись, отсидев им положенное, она же была бесменно и отвечала на вопросы две смены — и уже началась третья — часов шестнадцать, должно быть). В этой странной позе Ника мгновенно уснула, остро отдыхая, успела спросить — Сон? Вечность? — спросить о том — верно ли она отвечает. Сон поглотил ее, и — в ответ, в условной мгновенности в воздухе бокса и сна проявилось крупно золотистое число 17. Хорошее число, по каббале ею любимое.

И тотчас же щелкнул замок и голос сказал: «Идите!»

Она не проспала, должно быть, и пяти минут, но шла, освеженная. Они вошли в кабинет. Не садясь, следователь спросил:

— Будете отвечать?

— Нет, — сказала Ника так же быстро. — Вы ж употребляете такие выражения.

— Идемте! — как-то сразу устав, сказал младший следователь — и они пошли.

Во втором боксе было тоже тесно, и Ника сразу уснула, радуясь отдыху. Она ничего не спросила, и никакое число не явилось. Минут десять проспала. Вскоре следователь открыл бокс, спросил:

— Что вам от меня нужно?

— Мне от вас? — удивилась Ника тоном Алисы из Льюиса Кэррола. — Я бы хотела понять, что *вам* от меня нужно...

— Чтобы я извинился, что ли? — озадаченно спросил он.

— Вы напишите в протоколе, после какого слова я отказалась отвечать.

Ответ был вполне неожидан:

— Что я, дурак, что ли?

Умиленная таким ответом, Ника села на стул. Сел и он — и их «собеседование» продолжилось.

В тот же вечер?.. Нет, позже, в камере сидя, она — в воз-
дух — написала стихотворение. Назвала —

СЮИТА ТЮРЕМНАЯ

Убоги милости тюрьмы!
Искусственного чая кружка,—
И как же сахар любим мы,
И черный хлеб с горбушкой!

В обед — какой-то будет суп,
На ужин — пшенная ли каша?
Или горох? Служитель — груб,
И уж полна параша.

Но есть свой пир и у чумы,—
Во двор, прогулка пред обедом,
Пить пенящийся пунш зимы,
Закусывать — беседой.

А в живописи — высоты
Такой лишь достигает — Детство,—
Воздушны замки видишь ты?
— Сырой стены наследство!

Друг, ты в них жил, ты в них живешь,
Молчи об этом лишь соседу —
(Он гигиене учит вошь,
Над ней творя победу.)

— Да полно! Слово ль есть «тюрьма»?
Когда у самого окошка
Сребристых плашек кутерьма
Вознесшихся над кошкой?

ГЛАВА 2 ЛЮДИ И ТРУД

— А кто ваш Мориц по национальности? — спросила Ника.

— Наш Мориц? — отвечал не очень доброжелательно Евгений Евгеньевич. — Что-то весьма смешанное: в нем и польская кровь, и румынская, кажется, но живучесть его, по-моему, вся — от цыганских его предков. Он же очень больной человек, но в нем столько эйч-пи¹, сколько в самой мощной турбине.

— Цыганское? Это интересно! Да он и похож, пожалуй... Но что-то в нем и французское есть, мне показалось.

¹ Н. р. (horse powers) — лошадиные силы (англ.).

— Е с т ь! Кажется, какая-то прапрапрабабка,— рассеянно отвечал Евгений Евгеньевич.

— Мне все говорят, что он весьма и весьма грубоват бывает — на работе,— сказала Ника,— это меня немного тревожит. Во мне тоже польская кровь,— улыбнулась она,— поляки — гордецы известные! Как бы не нашла тут коса на камень... А сердиться на меня — у него, у Морица вашего, будут основания! Я ведь в первый раз включаюсь в техническую работу, мое образование гуманитарное, чертежником в разруху работала, но недолго... А вы?.. Мне сказали, вы — изобретатель?..

— Этим я в свободные часы занимаюсь,— отвечал Евгений Евгеньевич,— продвигаю одно сложное изобретение... А работаю тут по проверке чертежей. Я — конструктор. Что же касается грубости Морица — то он очень бывает груб. Человек большого самолюбия и, я бы сказал, не чрезмерно хорошо воспитан! Это часто встречается у карьеристов...

— Он — карьерист?

— Высшей марки. Но вы все сами увидите. Только — простите меня за смелость дать вам совет.

— Смелость и потому, что я старше вас (Ника рассмеялась).

— Женщине, как вы, конечно, читали у Мопассана, столько лет, сколько ей *кажется*, — не галантно и весело, а церемонно и учтиво отвечал изобретатель,— и я не имел в виду — возраст. Я понимаю, что вы — не девочка, хотя вы и очень моложавы. Нет, я имел в виду, изучив нашего шефа,— посоветовать вам не давать ему, грубо говоря, спуску или — существует еще более изящное выражение — не дать ему сесть вам на голову. Он — прекрасный психолог и сразу учтет все! С Жоржем — так зовут нашего старшего сметчика — он учтив. Со мною, хотя мы и разные с Жоржем люди,— тоже.

— А что вы изобретаете? Не секрет?

— Пока — секрет... — улыбнулся изобретатель.— Но если мне это дело удастся... у меня было уже на воле несколько небольших изобретений по текстильному производству. Это — другого типа! А вот и наши сотрудники!

Мориц, когда Ника в первый раз его видела, произвел на нее очень нестройное впечатление — и приятное, и неприятное. Шедший с ним, выше его почти на голову, был блондин, узколицый, с близко поставленными глазами. Ника, пробавшая себя и на писательском поприще, обладавшая наблюдательностью, замечала, что такая постановка глаз соответствует каким-то несимпатичным особенностям человека, в то время как люди с широко расставленными глазами

обычно добры, застенчивы, доброжелательны. Но — вежливый поклон вошедшего ей понравился. Больше же всех ей нравился — Евгений Евгеньевич. И то, что он знает французский (знает и английский — да еще как!), делало возможной для нее практику — не забыть за грядущие десять лет языки.

— Евгений Евгеньевич, — сказала Ника, когда, в перерыв, все ушли. — Вот вы не любите Морица, а сколько он сделал для нас! Разве не страшно вспомнить то, как я жила до встречи с ним здесь, те шестнадцать месяцев, которые скиталась по разным колоннам постоянно перебрасываемая с места на место? Месяцы — полумойкой, в бараках с полами из бревен, между каждой парой из них надо было — чем хочешь — вынуть полужидкую, полугустую грязь, вытаскивать ящик с ней, и только затем, пройдя так весь барак, начинать таскать воду и лить, лить ее, несчетно под нары...

И — не лучше — три месяца я работала на кухне, — терла. Все время терла: головой вниз — суповые котлы, столы из-под теста, пол, кастрюли — рука правая так и висела веткой — только левой я могла выпрямить на миг пальцы... А так как я не шла на предложения повара — он кормил меня из первого котла: три раза суп и утром — жидкий шлепок каши — ни рыбы, ни пирожка...

Те первые месяцы, когда, не причислив меня к хозобслуге, я на 256-й, первой моей колонне, вставала с работягами в половине пятого и, хлебнув супа с кусочком хлеба, шла — одна женщина с — их было 290! — мужчинами пять километров до места работы... Они опраивались при мне в пути, на остановке, по приказу ВОХРы — и меня жалел тот, что стоял на вышке, говорил мне: «Устройся, где тебе надо, я на тебя, мать, не гляжу и тебя им не дам в обиду...» Еще кубовщицей работала: разведи-ка костер с одной второй коробки спичек, когда дождь моросит, натаскай-ка полный котел из — это, собственно, огромная лужа была... Не давала работягам воды, пока не вскипела, пока не сниму накипь — грязь сверху, — а они мне: «Да ну, мать, не старайся, все одно десять лет разве выживем?» Пока закипит, влезала между деревьев — себе я из досок конуру сделала, в ней сидела, от дождя...

— Ника, я это все понимаю, — уже не один раз пытался ответить изобретатель, но она, прыгнув в воспоминания, не смолкала.

— А однажды меня помпобыту — почти мальчишка был — отправил с урками — будто бы нянкой в больни-

цу,— а по пути они ловко меня обобрали, при посадке на поезд, все присланное в посылке, все заграничное. В больнице нянек не надо было, и на обратном пути меня хотели усыпить хлороформом. Я бы уснула, но мой провожатый — ему двенадцать дней оставалось от десяти лет срока — мне сказал: «Чуешь, мать? Яблоками пахнет — их, должно, везли до нас в теплушке»... Я вскочила: «Хоть ты меня душой считаешь, но я в двадцать раз умнее, чем ты думаешь! Яблоками хлороформ пахнет... В больнице взял! Я тебя не выдам, ты к матери едешь, тебя мать ждет, но ко мне больше пути не имей, понял?» Он обещал,— но парижские туфли — мне племянница прислала — женщины рассказывали, ему не давали покоя,— обманул, конечно! Уже на колонне их у меня увели... Мне офицер по военной охране: «Без меня тебя взяли! Ты, мать, правду скажи, как они тебя обокрали? Не жалеи их!» Но выдать я не могла — ему двенадцать дней оставалось... — «При посадке на поезд мешок с вещами забыла...» — Страшнее, Евгений Евгеньевич, если будет тут ликвидком по работе проектной группы — я слыхала, женщин на кирпичный завод отправят...

— Мориц не отдаст! — успокоил изобретатель. — За английский язык! Он с вами душу отводит. Тренируется! Нет, в человечность его не верю. Мориц ваш — карьерист...

Мориц и Ника вдвоем в проектно-сметном бюро.

— Надо думать,— сказал Мориц с плохо скрываемым раздражением, резко швыряя на стол Ники листы (давая себе волю вскипеть — без других), — простой здравый смысл...

— Нет, не простой! — сразу вскипела она. — И это *неверно* мне говорить так: «думать». Я думаю — *слишком* много, а думать об этом — мне как раз не надо, потому что я тогда перестаю — понимать! Я могу это понять — только *сразу!* И — принцип! А подробности я не пойму никогда. Я же не строитель. Образование мое — другое. Вы знали. Потому что это вообще «понять» — невозможно. Это надо *знать*. И все вы это знаете, как я грамматику английскую. Я же вам говорила — не берите меня на работу, или — объясните!

Мориц улыбнулся: он, должно быть, был поражен таким «красноречием» ее, она всегда работала — молча.

— Но почему же этот *раздел* вы разложили *верно*? Полы — верно, а перекрытия? — его глаза дерзко уклонялись. (Он — истерик? — мелькнуло в ней.)

— Это случайность.

— Не случайность, а именно суть дела в том, чтобы они — совпали!

— Нет,— сразу устав, печально сказала Ника («так Ундина говорила с Гульбрандом, не понимавшим ее водяной сущности»,— остро подумала она).— Об этом я не могу — думать. Просто иногда так все ясно, как с птичьего полета. И все подчиняется. А потом — затуманивается... *Мелочи* затмевают!

Мориц уже отошел от ее стола, взял чертеж Виктора. Начинаясь час перерыва. Остальные сотрудники выходили. Ей захотелось созорничать, распрямить плечи.

— Евгений Евгеньевич,— сказала она, тихонько наклоняясь над его плечом,— вы не думаете, что о чем-то похожем на наш с Морицем разговор говорил Гегель — «если моя теория не согласуется с фактами, тем хуже для фактов»?

— Но разве это *он* говорил? — неожиданно не «так» отозвался спрошенный.— Любопытно... (И он больше ничего не сказал.) — Этим молчаньем Ника, ввергнутая в одиночество, очнулась от было начавшегося веселья. Гусиной кожей шло по ней: «Какие все — холодные!» Но ведь никак нельзя сдать этих душевных позиций...

На другой день Мориц, придя из Управления, обратился к Нике:

— Что же, продолжим? Тогда нас прервали. Прораб вовремя позвал рабочих, удалось предотвратить небольшую аварию у плотины... На чем мы остановились?

Но Ника не помнила.

Подавив вздох, Мориц заговорил:

— Помнится, я пояснял именно о плотинах... Обычно при плотинах имеются водосбрасывающие сооружения. Это могут быть тоннели, куда идет сброс воды — снег, дождь (около плотины собирается вода). Или щитовые отверстия с металлическими затворами,— они сбрасывают воду, ниже, с помощью щитов, открывающих отверстия. Есть водосливные плотины, а есть глухие — водоудерживающие.

Ника слушала честно, охотно: это она понимала. Тут не было ничего специально-технического, где, если не знать темы, пропустишь одно звено — уже (как на уроках геометрии, алгебры) — ничего не догонишь. Было даже ласково в этой доступной человеческой логике.

— Теперь вам надо пояснить,— продолжал Мориц,— что делает гидроэнергетическое бюро. Это связано с проекти-

рованием, но у каждого из этих бюро — свои задачи. Гидроэнергетическое связано с изысканиями по проектированию малых энергетических станций на реках. Постройка крупных электростанций и крупных плотин требует огромных капиталовложений, но дает самую дешевую энергию. Задача нашего бюро — помочь созданием электростанций на реках. А в Москве и в Ленинграде идет другая работа; другая инженерная мысль в направлении того, что, обладая мощными реками, надо идти на сооружение крупных электростанций. Идет борьба между инженерными течениями. *Одни* говорят, что надо спешить, *быстро* дать электроэнергию, развивать новые предприятия. А *другие* говорят, что у нас не хватает ни рабсилы, ни материалов и нельзя разбрасывать их на малые электростанции, что надо строить каскады, мощные станции на крупных реках. Наша гидростанция...

Устав, Ника перестала слушать — на минуту. Но, к счастью, их снова прервали, и Мориц ушел.

— Продолжим? — тем же тоном, что раньше, спросил Мориц, бегло взглянув на Нику, прибиравшую на своем рабочем столе. — Нас все прерывают, и я не знаю, что остается у вас в памяти от этих отрывочных объяснений...

Ника потом старалась вспомнить, что было дальше, но так и не вспомнила, потому что в эту минуту большой черный с белым кот за окном крался к птице, и у нее забилося сердце от желанья вскочить, выбежать и птицу спугнуть — но она не посмела: Мориц бы возмутился ее невниманием, а она *была* внимательна, но гидростанции были далеко, а кот к птице — близок. Птица вспорхнула — кот сел в позе разочарования и обиды. Но Ника уже пропустила что-то и, как на уроке алгебры, беспомощно слушала непонятное, боясь, что Мориц это поймет. Так продлилось тяжелых минут десять. Она вздохнула облегченно, когда их снова прервали, но стыд угасить не могла.

На другой день Мориц продолжил рассказ.

— Тринадцать километров деревянный трубопровод и двести метров металлические... — говорил Мориц. (Неужели он думает, что я это все запомню? — беспомощно спросила у себя Ника.) И было что-то еще о турбине...

— Путь этот лежал через горы, — увлеченно говорил Мориц, — и когда работники наши туда прибыли, в некоторых селениях жители никогда не видели железной дороги... Были случаи, что пытались *прикуривать* от электрической лампоч-

ки — вы себе представляете эту глушь, невежество? В тридцать втором году там первый раз увидели трактор. Он спулся по склону на тросах. Держали его — и он полз. Грандиозность масштаба дела внедрения...

Ника смотрела на озабоченное рассказом лицо говорившего и любовалась. А затем, пропустив что-то, она, вздохнув, перестала слушать.

ГЛАВА 3 ОТДЫХ

Проходя мимо Никиного стола, Мориц останавливается посмотреть ее работу:

— А почему это вы, позвольте вас спросить, миледи, закатили землекопам — *конедни*?

— Она легла, у нее болит голова.— Это говорит, низко наклонясь над чертежом, Евгений Евгеньевич.

Мориц машет рукой.

Чертежник Виктор спит, в шахматы играть не с кем, кроссворд решен — почти.

— Что же это за деятель во Франции в XVII веке? — Предложенные имена не годятся. И Мориц садится работать. Но работа не клеится.— Должно быть, я просто устал, а ведь поработать бы — надо. Работа не ждет...

Он выходит постоять на крыльце. Какая черная ночь!

Проснувшись — сделав на полу лужу, — сеттеренок Мишка уютно трется у ног. Ветер стих. Деревья недвижны. Пахнет талой землей. Мориц дышит полной грудью, как в детстве. Два дня отдыха — как хорошо! В субботу водили в баню — когда повторялось ощущение чистого тела и свежего белья, оно всегда давало радость. Завтра можно будет вдоволь почитать. Выспаться, главное! И, может быть, что-нибудь из дому — поздравительные телеграммы где-то уже, верно, гудят по проводам.

Рука Евгения Евгеньевича отвела шнур лампы вбок, лучше увидеть край чертежа, — и точеный мальчишеский профиль Морица кидает тень, растя, туманясь, обрезаясь о косяк двери, и стирается темной. И тихо-тихо в эту минуту, сквозь чуть приоткрытые зубы и покачиваясь в медленный такт

Манит, звенит, зовет, зовет дорога,
Еще томит, еще пьянит весна,
А ждать уже осталось так немного,
И на висках белеет седина...

— В первой строке, наверно, вместо «звет» было *другое* слово — забыл... И в третьей — «ждать»? или «жить»? — Он пристально смотрит на Нику.

Громче, чем ночью, как будто солнечные лучи доносят ее на себе, гремит, утихает и вспыхивает далекая музыка. Двери открыты. Хоть свежо — но так хочется раскрыть двери! И весь дом пронизан возниканием и утиханием мелодии, которая доносится с воли, как корабль — солью волн.

Мориц стоит, опершись плечом об угол шкафа, нога за ногу; подняв узкую голову, он тихонько насвистывает что-то. В невысокой стройной фигуре — полет. Он сейчас похож на помпейскую фреску, хотя на нем одежда людей, живущих двадцать веков спустя. Его французское, а может быть, цыганское — смуглое лицо поднято к потолку, где сломался луч солнца. Ника смотрит на Морица и не понимает: это началось с обеда, в праздник все пообедали вместе — он был так любезен, так весел, так остроумен — это просто другой человек! Он передавал ей хлеб, консервы, он рассказывал о своих путешествиях. Что было с ней? Как она не замечала, какой человек живет рядом? Обманулась деловой, наигранной грубостью... ведь ясно же, что не сейчас он играет, следя за колечком дыма, и не тогда, когда говорил по просьбе Евгения Евгеньевича чудесные французские стихи! Ее вдруг качнуло удивлением, что Мориц никогда не полюбит ее. Почему? Не полюбит. Ну и пусть! Разве ей это нужно?

— Вам, миледи?

Это Мориц поднял и наклонил над стаканом Ники темно-рыжую струю кофе. Его губы улыбаются, а глаза — так прямо смеются! Когда они успели вынуть домино? Она не заметила, странно... И уже идет игра!

— Да вы смотрите, пожалуйста! — кричит Мориц. — Я второй раз забиваю! Вы сыграли, как десять тысяч сапожников, соединенных вместе! Отдуплитесь же! Подумать надо! Вот, действительно...

Мориц так волнуется, когда играет, точно всему — конец.

— Ну что ты будешь делать! Додуматься надо, честное слово! Всю игру испохабили!

— А как есть эту штуку! — веселится над принесенным с кухни, студнеобразным, неудавшимся «блюдом» Ника. — Чем?

— Преимущественно ртом... — благожелательно отвечает Евгений Евгеньевич, — он кончил чинить часы, и они висят и тикают. Но, взглянув, Ника озадачена: на них нет циферблата!

— Вы несколько поражены необычным видом этих часов? — говорит Евгений Евгеньевич. — Да, таких не было даже у Марка Твена! Там — «стрелки имели обыкновение складываться, как ножницы, и продолжать путь вместе», причем, как там сказано, — «Величайший мудрец не мог бы сказать, который на них час».

— Да, но у них были стрелки...

— А уж это такая конструкция! — Евгений Евгеньевич смотрит на Нику спокойными вежливыми глазами, на дне их горит синий непонятный огонек, — с циферблатом и стрелками они обречены на ошибки, проистекающие от закона трения, а без них они идут — безупречно!

— Евгений Евгеньевич, — сердится Мориц, — или играть, или что-нибудь одно!

— Но как же вы проверили их безупречность? — Не устает, не отстает Ника (как она любит, как любит такой вздор...)

— А зачем их проверять, раз они — верные! Это же неверные — проверяют...

Мориц не может удержаться от смеха. Он так добро хохочет, Мориц — как мальчик!

Комната полна солнцем.

Евгений Евгеньевич стоит в дверях. Какой он высокий! На щеках, чуть припудренных (он брился), — бледность, глаза снова кажутся синими: солнце. Яркие, полные губы, лукавый кончик чуть раздвоенного носа, брови, как у Пьеро, косо вверх — хорош, почти что красив! Глаза стесняются и все же сияют, — изобретение все глубже удается. Он чувствует, что хорош, — и чуть празднично дразнится — и — счастливый.

Вечер. От всей «роскоши» полученных посылок осталось только несколько яблок, печенье и черный кофе. Стало свежо. Сейчас сядут к огню — печь горит — и Мориц будет рассказывать об Америке! Он не хочет. Его уговаривают.

ГЛАВА 4 МОРИЦ В АМЕРИКЕ

Перчатка? Поднята! Хорошо, он расскажет. Но он только успеваает назвать пароход, на котором он ехал — «Меджестик», — как по радио — репродуктору объявляют концерт Грига.

— Кто знает, где похоронен Григ? — спрашивает Мориц, допивая последний глоток черного кофе. — Совершенно один, на скале, на острове, посреди моря. (Так вот он какие вещи

понимает, Мориц... отзывается в Нике.) Брызги взлетающей волны — танец Анитры. И, пронзая всю жизнь — воспоминанье о девочке, по плечи кудри, в их зале, любимая из любимых подруг Ники! Волшебная девочка — Аня у рояля, которой для Ники на веки веков принадлежит танец Анитры.

— Ну, печь-то сами закроете? — говорит дневальный Матвей.— Спать охота...

— Закроем, закроем, спи!

Мориц сегодня как выпил вина. Он чувствует, в нем какая-то воздушность впечатлений — как будто все за стеклом сияет-слоится, воспоминания остры. Но вспоминаешь не то, что надо для рассказа, а — рядом. Волны качаются вокруг парохода — и этого никак не расскажешь... Немного качало, но ведь его не укачивает, а любопытно быть совершенно здоровым среди больных (как выпив вина — среди трезвых). Чувство своего превосходства, привычного, не оставляет его ни в том, ни в другом случае. Он садится к огню. И начинает говорить об Америке.

— Начать с того, что я едва не опоздал на пароход. Вы, Ника, Париж помните. В детстве были? Надо было ехать от Сан-Лазар, отель Шамбор. Конечно, компания никогда не сделала бы такую вещь, чтобы ваш билет пропал, — но если опоздать, то надо ждать следующего парохода, — а какой будет следующий пароход? «Маджестик» — самый крупный океанский пароход, пятьдесят пять тысяч тонн. Я, как сумасшедший, кинулся с лестницы. А по ее бокам — шпалерами — челядь: горничные, мальчики в ливреях, — вы это знаете! — Он дружески кивнул Нике. — И надо всем совать в руку — я это ненавижу! (Он содрогнулся, смеясь.) И когда я сел в такси — единственное, что я мог сказать шоферу: «Вам срок семь минут до вокзала!» (Вы знаете это неорганизованное, отвратительное парижское движение — пробки, узкие улочки, немислимо запруженные площади...) Этот человек избрал невероятную дорогу глухими переулками; только один раз мы пересекли шумную уличную артерию, чуть не налетели на другое такси — последовала отборная парижская брань — снова улочки — и шофер домчал!

Попа, лицо Морица — словно он проснулся, из яви еще раз в явь, еще более явную, городской человек! Страстный любитель городов Европы, всего самого последнего, самого острого, азарт, риск, игра — вот что было центром этого человека! И все-таки Нике за себя сейчас стыдно — за то, что он ее так взволновал рассказом об этой гонке: при победных словах — и шофер домчал! — в горле, как в детстве, — су-дорога (еще миг — и к глазам — слезы?). В том, что никто

не мог так пережить эту гонку, только они оба, было их наедине среди людей в комнате, как будто они в м е с т е мчатся сейчас по Парижу — его обращение к ней, он ее избрал себе в спутники! Ника боится взглянуть на Морица, потому что он может — п о н я т ь.

— Я не помню, как мы выбежали на перрон... (искрами звуков григовских — Морицев озноб выбеганья к экспрессу).

— Носильщик кидал вещи уже в окно! Я не мог сразу опомниться от той гонки.

— А как вы простились с шофером? — спрашивает Ника.

— Простились?! Ну, тут было не до прощания — я кинул ему бумажку — раз в десять больше, чем полагалось, — Мориц закурил и кинул, как ту бумажку, — спичку, затянулся и, выпустив дым: — «Маджестик» останавливался на рейде в километрах двух-трех от берега. Он стоял, как гигантский жук, светящийся, и к нему надо было доезжать на специальном пароходе, большом, как черноморский. Любопытно, что пассажиры первого класса занимали места в первую очередь. И для них был особый пароход. У меня как раз, в силу моей должности, был билет первого класса. Трапа не было: широкие ворота, мостик прямо с палубы судна. Причем вас ждала вся команда, во главе со старшим офицером в парадной форме. Когда я проснулся, — мы были уже в открытом океане, — Мориц вытянул ноги к огню, — о пароходе рассказывать не стоит, я думаю?

Но Виктор, конторщики, даже Евгений Евгеньевич, попросили.

— На пароходе выходит своя газета, огромный зал для всевозможных игр, свое кино, бассейн для плавания, — отдельный сухопутный мирок посреди океана. Ресторан — выше похвалы. Мне понравился виночерпий — точно со страниц Вальтер Скотта. Стюарды — официанты, что ли, дворецкие, есть — ресторанные, каютные. Нас с товарищем обслуживал отдельный стюард, он других не знал. По этому одному уже можно судить о масштабе «Маджестика». Самый главный, старший над всеми, носил на груди вот такую серебряную цепь — истый англосак! Статный, строгий, с ледяными синими глазами — картина! Я мало пью. Но мой товарищ пил много. Были исключительные вина. Но ему скоро пришлось прекратить это дело, потому что оно очень дорого стоило. Я не могу простить ему, — сказал Мориц, наклоняясь к дверце печки, пытаясь закурить от уголька (рука, охватываемая жаром всей червонной печной шкатулки, не могла достичь и продержаться близ огня; Мориц откатил уголек на край печки

и закурил; колено на миг коснулось пола — от этого скользнувшего коленопреклонения сжалось Никино сердце, — сел в кресло, как сидел на палубе «Маджестика»), — не могу простить ему, хотя он уже в земле, что он не дал мне вкусить одно удивительное удовольствие: на верхней палубе — сандек — вас укладывают на чудесной шезлонге, и вы, лежа, смотрите на волны. Он не хотел лежать, и поэтому я с ним вместе ходил и ходил по палубе километров, вероятно, по двадцать, как заводные манекены.

— Как роботы, — вставил Евгений Евгеньевич. (И над его «Жакобом» поднялось облачко дыма, а в маленьком жерле трубки вспыхнул малиновый огонек.) Из этого можно сделать прекрасный рассказ в духе «Странной истории доктора Джекиля и мистера Хайда»¹.

— Превосходная вещь, — кивнул ему Мориц, — Стивенсон?

— Позвольте... Это как один пьет волшебный напиток? — даже вскочил Виктор. — Он превращается в своего врага, да? Это? Здорово написано...

Евгений Евгеньевич глядит на Нику пристально, выразительно: на днях был разговор о Морице, что он и есть этот Хайд. (Ловко носящий личину Джекиля!)

Ника не кивает в ответ. Ей сейчас не хочется общения с Евгением Евгеньевичем, она чувствует вину перед Морицем: хоть она защищает его, но слышит, что о нем говорят, кто — осторожно, кто — подозрительно, кто — враждебно, недоброжелательно — все: карьерист... Перед ней сидел мальчик, голова седо-кротиного цвета, свет печки делал его худую щеку янтарной, полуулыбка трогала теплом — рот, громкий голос (из больной груди) говорил:

— Но все это изучать — любопытно. Меня еще одна вещь занимала: процедура одевания смокинга. Ужин был в шесть часов. За полчаса раздавался звук рога, сигнал к одеванию. Дамы являлись в парадных платьях, японки в кимоно (насколько очаровательны китайки, между прочим, настолько неприятны японки: это не женщины, а какие-то куклы, непонятное что-то). Нам полагались смокинги. Я вообще очень люблю смокинг, отличная вещь! Сочетание черного и белого, без этих безобразно болтающихся фалд фрака, открытый вырез, крахмальная сорочка, черные шелковые отвороты, шелковые черные лампасы, узенькие, по шву брюки. Мой смокинг был так легок, что мне казалось, я — голый, так мне в нем было легко. Танцевальный зал, — кивнул он через плечо Вик-

¹ Роман Р. Стивенсона.

тору,— очень большой, превосходный, но в этих танцах, я должен сказать, не было веселья, только традиция.

Ника слушала уже без увлечения. Во-первых, рассказ был совсем внешним. Во-вторых, ее единение с Морицем — кончилось. Покинув Гар-Сен-Лазар, он покинул и ее; он не обращался к ней, он забыл о ней. Это было вполне объяснимо — во Франции она, хотя и ребенком, была, одна из всех тут; в Америке — не была, на океанских пароходах не плавала. Его рассказ принадлежал равно всем.

— Я возненавидел англичан за их взгляд,— говорил Мориц,— зная, кто вы и откуда вы едете, они смотрят сквозь вас: вас нет. На «Маджестике» был устроен традиционный бал. Любопытное зрелище, как мумиеобразные старички и старушки надевают все эти шутовские аксессуары — бумажные короны и колпаки, как они принимают участие в играх в конфетти, серпантин, в ракетку, с бумажными шариками и пищалками, но это тоже традиция! Да, между прочим, почему-то мне сейчас вспомнилось, что в холле, у выхода на палубу, висит под стеклом огромная океанская карта, где изображена траектория пути, крошечный пароходик, точная копия модели «Маджестика» каждый день передвигается по ней; он идет по такой дуге с севера на юг и потом вот так — по прямой. И почему-то в этом стыке всегда ужасно качает. Да, вы спрашивали меня о пейзаже,— сказал он, обратясь к Нике,— несмотря на то, что ты на такой громадине и столько людей — тысяч две-три на этом пароходе,— ощущается простор беспредельный! И одиночество. Морская даль во все концы.

Он встал и прошелся по комнате, и глаза всех проводили его.

— Это было рано утром. Мы подъезжали к Нью-Йорку. Вы еще не видите город, но он уже встречает вас широкими водяными проспектами, окаймленными плавучими буями. Днем они звуковые, такой звон, вроде колоколов, а ночью они светятся. И вы плывете в туман. И вдруг в нем начинают вырисовываться громады зданий Даунтауна. Мое ли личное восприятие (хотя все со мной согласились), но я нигде не встречал описания того, что все это производит нереальное впечатление. Чувство, что это все — декорации, даже когда вы уже вплотную! к Нью-Йорку. А когда я уезжал из Нью-Йорка, эта феерия для меня была уже реальностью: скрытые огни, дающие только сияние; огни спрятаны где-то в глубине архитектурных складов и кидают в небо очерк зданий. Необычайное зрелище. Я покидал Нью-Йорк с щемящим чувством. Я полюбил этот город, и, когда я отплывал на «Олим-

пике» и смотрел на эти очертания, я думал — буду ли я еще когда-нибудь здесь?

От последних слов этих на Нику повеяло холодом: точно кто-то шепнул: нет...

— А что вам больше всего понравилось в Америке?.. — спросил помпрораба. — В «Одноэтажной Америке» Ильфа и Петрова?..

— Талантливая книжка. Но и они не сказали всего. Что лучше всего в Америке? Народ. И-з-у-м-и-т-е-л-ь-н-ы-й. И чрезвычайно много общего с русскими. Но судить об Америке по Нью-Йорку — ошибка. Нью-Йорк — не Америка. Это — космополитический город. Настоящих американцев вы встретите в провинции. Это интереснейшая смесь детской наивности с самым невероятным наследственным ханжеством. Работают они — как звери. Американец работает до конца своей жизни, в то время как немец работает, чтобы не работать — после.

— Мне кто-то говорил, что в Америке много едят мяса, — сказал грузный прораб.

Мориц внутренне улыбнулся его вопросу.

— Как раз — нет. Они исключительное значение придают — маслу. И — фруктам. Особенно много едят апельсинов. Невероятная энергия у этих людей. И я нигде не встречал таких красивых женщин. Система питания, спорт. Женщины все спортсменки. Фигурки у них...

Слов не хватило. Уменьшительность последнего слова прошла по Нике гусиной кожей. И, словно почуяв это, Мориц уже говорил о другом.

— Интеллигенция их необычайно сходственна с нашей. Богема — та же. Походить по их кабачкам, послушать их споры, искания — чрезвычайно интересно. Я много писал об Америке, приехав оттуда. Вам известно, например, из области фарисейства, что беременной женщине нельзя ходить по улице? Неприлично. Статистики венерических заболеваний — нет, потому что считается, что в Америке нет венерических болезней. В самую потрясающую жару не имеешь права снять пиджак. Хоть умри! На улице, конечно. Я был в местах, где бывать считается непозволительным: в негритянских кабачках, например. Там был сухой закон — и вино приносили с собой. Продавался Джинджерэйл, имбирный лимонад, очень приятная вещь, куда добавлялось виски около семьдесят процентов, — виски, да — и, что называется, ни в одном глазу! Но без Джинджерэйл пить виски, по-моему, нельзя. И вот там я впервые познакомился с мулатами. Помню: гладкий, как зеркало, паркет. Выступают артисты. Потом тут же танцуют. Американский джаз, конечно, лучший в ми-

ре. Мимика, игра негра в оркестре стоят не менее, чем музыка.

— Вероятно, колоритное зрелище,— процедил сквозь трубку Евгений Евгеньевич.— Он сидел и гладил своего баранообразного кота (собственно, бараньи были — глаза, по уверению Ники), перекинутого через колени, точно бы он был пустой — просто две сшитые шкурки, как коврик, постеленный на колени хозяина, с одной стороны висели лапы и хвост. с другой — лапы и голова. И это мурлыкало. В темноте попыхивал «Жакоб».

— Я никогда не забуду одну молодую мулатку,— сказал Мориц, должно быть, устав сидеть, вставая и прохаживаясь по комнате,— лет так восемнадцати. Вот таких красавиц я никогда больше не видел! Певица. Я брюнеток вообще не люблю, но эта была изумительна. Цвет ее был как кофе с молоком (не цвет ее кожи,— улыбнулась Ника,— а просто ее цвет, как кошки — рыжий или черный). Черные огромные глаза, чудесные. Маленький полный рот. Она танцевала танец живота. Вообще,— говорит Мориц, останавливаясь где-то там, в глубине комнаты, и его голос из мглы вдруг кажется очень далеким,— этого всего не сказать... Вкус вот *этих* вещей нельзя передать другому, это человек *пережить* должен. Были и другого типа кабачки. Смоул-парадаиз, например. Там собирался служивый люд, приказчики; фокстроты. Простите за подробность, эти кабачки заменяли дома терпимости. В дансинге — этого в Европе нет,— вы за каждые десять танцев платите доллар. Получаете билетки, предъявляете билетик девушке, она забирает билетик и танцует с вами. Все индустриализировано.

Совсем неожиданно раздался голос помпрораба:

— Молодцы!

Мориц лишь улыбнулся.

— Я сделал по стране пятьдесят пять тысяч километров. Вот когда я увидел страну! Я ехал не с такой скоростью, как Ильф и Петров, и вот в этих маленьких городишках, в этих литл-таунах, я увидел настоящий народ. Побывал я и на юге Соединенных Штатов, в штате Кентукки, где для негров имеются особые, свои, залы, где неграм — особые поезда.

— А как вы ехали назад? — спросил Евгений Евгеньевич, вставая, спуская с колен кота.— На каком пароходе?

— На «Олимпике». Это близнец погибшего «Титаника». Гораздо хуже оборудован, и кормят там отвратно. Мы забастовали, отказались от еды. Переполох поднялся необычайный. Пришел главный стюард, совершенно бледный. Он нам ска-

зал, что мы можем заказать все, что угодно, нам будет подано. Мой товарищ так, для смеха, заказал — в океане! — белые грибы в сметане, и нам их подали. С тех пор мы свободно заказывали, что хотели, и нам подавали. В теплый день, когда вас обвевает соленый океанский ветер, развивается чудесный аппетит. А у нас, кстати, Ника, что-нибудь вкусное будет к ужину?

— Да мы же ужинали! — восклицает Ника. Поднялся хот.

— Как? Уже? — обиженно сказал Мориц. — А я думал — это обед...

— Есть, Мориц, есть! Пирожки принес Матвей. И печенье есть сладкое. Печенье, Мориц! Я вам сейчас даже его дам! За рассказ!

В минуту, когда Морицу вручалось печенье, живописно зажегся свет. Евгений Евгеньевич стоял и решал, идти ли доканчивать шлюпочный люк в шхуне или лечь с «Тилем Уленшпигелем» (по-французски). Но у Морица был полон рот пирога.

— Сейчас, — промышчал он обнадеживающе, заглатывая последний кусок. — Чудесное печенье, Ника, и есть всем! — (Мориц чудно смеется!) Сразу, живым голосом: — Да, я чуть не погиб незадолго до отъезда оттуда! Мы ехали в закрытом лимузине «бьюик», и вот недалеко от Цинциннати дорога идет через горный перевал, причем дорога, надо сказать, чудовищная, такая скользкая... Шофер — я сам вожу машину, но предпочитаю иметь шофера — был замечательный парень: американский коммунист, еврей, веселый, умница, чудеснейший, — правил он одной рукой, как все уважающие себя шоферы, а другую, с папиросой он небрежно высовывал в окно. Дешевые машины он презирал. Едем мы. Вдруг нас нагоняет «фордишка» для двоих (и место для тещи, как там говорят). Дорога не особенно широкая, но разъехаться можно. С одной стороны — обрыв, гигантский. С другой — гора. Я говорю шоферу: «Вот что! Ты или пропусти вперед «фордишку», или уходи от него». — «Я — дорогу — «форду»??» Газ! Сорок миль, пятьдесят миль, шестьдесят миль! (А шестьдесят миль — это девяносто шесть километров!) Он нажимает акселератор до отказа, Семьдесят миль в час! А «фордишка» от нас ни на йоту. Висит у нас на колесах! И вдруг, на резком повороте, на этой скорости у нас заносит колесо! Раз — два — три... Это длилось мгновенье. Я думаю: сзади — «форд». Остановиться на таком ходу он не сможет. Миг тишины. Гибель неизбежна!

— А шофер? (голос Виктора).

Все мужчины сейчас стоят: кто собирается идти, кто, может быть, невольно поднятый моментом рассказа. (Отметить — себе, Ника: как они все стоят перед идеей опасности, взять в тетрадь. Патетизм этого. И что только женщина осталась сидеть.)

— Не затормозил, конечно...

— Если б он затормозил...

— Знаешь, чтоб у него получилось? — перебивал конторщик.

— Хана! — удовлетворенно пробасил прораб.

— Хороший шофер! — кричал Виктор...

— Хороший шофер никогда...

(Отметить, как кричат!)

— Он *мотором* затормозил, — говорил Мориц, — но как остановил владелец «форда» машину на *таком* ходу — я до сих пор не знаю! К счастью, наша сползла в маленькую канавку в безопасную сторону вправо. Если бы влево...

— Хана! — басом, прораб. — Я такой случай знаю. И человек — насмерть!

«А Мориц — жив!» — торжествующе думает Ника и забывает отметить, как она счастлива, что он жив.

— Мы все были бледные. Задний выскочил из машины — и к нашему. Мой шофер — он сознавал свою вину — сквозь зубы: «О'кэй!» — «Anything need?» — «Nothing»¹.

«Фордишка» промчался вперед, а мы стали вылезать из канавки. К величайшему удовольствию моего шофера — мы все-таки, хотя и перед самым домом, обогнали «форд».

Неслышно играет на коте, как на беззвучной гитаре, Ника. Мориц стоит и чуть-чуть, отсутствующе улыбается. Он все еще там, на дороге из Кентукки в Чикаго...

Так Мориц начинает и заканчивает свой рассказ азартом, от которого чуть сжимается холодком сердце — мужское. А к женскому горлу — клубок.

Так проходит под знаком рассказа майский день в лагере. Река, кипя ледяной водой, грохочет, камни о камни — аплодируя этим дням. А по равнине рукоплещут григговские гномы, и по невидимым горам эхо — от Пещеры Горного Короля.

Какая случилась радость! Совсем как не в лагере! Человеческая! В одном этапе прибыл — и сразу его увидела

¹ «Ничего не надо?» — «Ничего!» (англ.).

Ника — глубокий старик, московский профессор-египтолог. Попавший в лагерь много раньше Ники, он уже почти заканчивал свой десятилетний срок. Разговорились — было утро, — и вот что услышала Ника, хорошо в Москве знавшая его родную сестру по Музею Изобразительных искусств.

— Да, конечно, много тяжелого — позади, — сказал себроволосый старик, но мне, по существу говоря, было даже много интересного — в лагере... Вполне незнакомая психология такого рода людей... И знаете ли, что не прекращает мое удивление — это то, что я многожды принимался — на разных колоннах развивать их интерес к искусству — но я продолжаю терпеть по этой части — полнейшее фиаско. Их не интересует искусство! У них какое-то совсем особенное, свое понятие о том, что нужно человеку, — и поколебать их мне, несмотря на все мои старания, — совершенно не удалось! — Он остановился и — Нике: — А мы, собственно, куда сейчас с вами идем? А, за хлебом, да. К хлеборезу, понимаю, да. В очереди! — И, установив цель их движения, он продолжал свои размышления: — Да, так я хотел вам сказать: я пробовал, и в бараке, и в красном уголке, куда меня завел «воспитатель», — да! Он тут называется «помпокавээр»¹ — да, такое название, — мы хотим с ним организовать лекцию об истории Египта, но взять мне его в помощники, к сожалению, не удалось, потому что он, к моему удивлению, нисколько не был готов к такого рода работе — по видимому, даже не слышал, что была такая страна со своей историей, — да и заинтересованности я у него не увидел никакой, и на лекцию мою зашли всего четыре-пять человек, двое вольнонаемных, и из зеков несколько опять-таки интеллигентов, а не из этой такой своеобразной массы так называемых «урок»...

И они с Никой стали в очередь к хлеборезу.

Но тут же выяснилось, что профессор оказался не на Никиной колонне, что ему хлеба нет, что это для его этапа — лишь пересылный пункт, ему хлеб — по другому списку, в тот же вечер Нике пришлось расстаться с учтивым, благовопитанным — после семи лет лагеря нисколько не изменившимся, старым ученым. Как сон, мелькнул его горбоносый, высоколобый, из царского романа, профиль. Но Ника была счастлива, что ей удалось сунуть ему полплитки шоколада, полученной в посылке, — и украшенный им лагерный день погас.

¹ Помощник по культурно-воспитательной работе.

Изысканность старика, не дрогнувшего ни от чего за годы лагерных испытаний, тронули Нику теплом, счастьем — как в детстве от получения подарка! А не погружаюсь ли я сама в тину равнодушия, сказала она себе, отмечая свою взволнованность, — ведь, кроме Морица, кроме Евгения Евгеньевича, настоящего культурного человека здесь и нет.

С женщинами в бараках?.. И ей почему-то вспомнился самый первый день в лагере, *приезд*. Как в метель лютую их выгрузили во 2-м Хабаровске, потому что кончились рыба и хлеб, выданные на путь, как их построили перед уходящим поездом, конвой с обеих сторон: «Шаг вправо, шаг влево — побег! Не обижайтесь!» И побежали солдаты, проваливаясь в глубокий снег, держа винтовки наперевес, и как, оглянувшись сквозь сетку, она увидела одноэтапницу, нежную полустарушку, взятую из психиатрической больницы, где ее лечили от явлений климакса: сейчас ее вели под руки две женщины, из ее полуоткрытого рта слюна шла завесой, и все вместе проваливались в глубокий снег, в бездорожье. А после полутора-двух верст такого пути этап подошел к высокой арке над полем. Заборов еще не было. Снег стихал, и при свете высокого фонаря, одного над зоной, крупно стояли по ободу арки слова монструозно нелепые: «Добро пожаловать!» «Кто такое выдумал?» — тогда пришло в голову Нике. Эта мысль вспомнилась ей теперь. И пришло на память тоже в воздух написанное стихотворение:

БУРАН

В снеговых заносах, в каторжном бурене
Спотыкается этап. Пошады нет:
Падаю, но не сдаюсь фата-моргане:
Быль — была, но ей уж сотня лет —
То они в бреду бредут меж нами,
Или это мы парим меж них,
Франции, что звались некогда сынами,
Императора, что ненавидел Меттерних, —
По снегу, в лаптях и в летних макинтошах, —
На дуге надежды зги уж не видать,
Но незримых шапок гренадерских ношей —
Радугой восходит благодать.
То истории буран летит над нами,
Агасферову мы обгоняем тень,
То «Летучего Голландца» призрачное знамя, —
Жизни жабры дышат только СНАМИ,
Я во сне этапный вижу день.

(Жаль, что не сказала их Евгению Евгеньевичу...)
Но тот день — держал, не давал себя позабыть, — вспом-

нившись: в маленьких избах, еще не ставших бараками, разместили женский этап. В ту избу, куда попала Ника, вошли четырнадцать человек. Они были мокры от снега, очень усталы и голодны. Узнав, что «пришелицы» не ели горячего уже семнадцать дней, одна из их встретивших, намалеванная (кончила краситься перед крошечным зеркалом), крикнула в глубь комнаты: «Машка, сбегай на кухню, может, там что осталось?!» Матерьясь, Машка пошла в кухню.

— Раздевайтесь, сушитесь! — сказала первая, подбрасывая поленья в железную печь.

На скамьи и табуретки развесив самое мокрое, вновь прибывшие ели из озябших ладоней куски скользкой холодной каши (хлеб был давно съеден). Легли на пол, завтра разместят всех. И тогда — не сон, явь! Из стены вынули доску — и вошли мужики к бабам.

Г Л А В А 5 ИЗ ДЕТСТВА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА. БАБУШКА И ДЕДУШКА

Мориц выходит с прорабом и помпрораба в свежую весеннюю ночь. Еще, собственно, вечер. Очень далеко — тихий придушенный далью гром. Редкие первые звезды.

— Только не думать о воле, — говорит себе Ника, — пусть рассказывает Евгений Евгеньевич что-нибудь, — да, вот именно, — про детство.

— Я к вашим услугам, — сказал Евгений Евгеньевич, стоя перед Никой с улыбкой. Он продолжал прерванный рассказ, как будто не долгие дни легли между.

— Главная страсть бабушки была процедура поддержания священных огней. Для этого была специальная монастырская послушница, «откомандированная» в дом; затем был гигантский шкаф, заключающий в себе следующие предметы: запасы гарного масла, поплавок, фитилей и самые разнообразные стаканчики. Именно они больше всего привлекали мое внимание: и пузатые, и разноцветные, и на тонких высоких ножках, и в виде лилий, и с каждым из них была связана определенная легенда: была там довольно старинная лампада — темно-синего кобальта, с хрустальными глазками и с ободком, толстостенная. Эту я любил больше всего. Затем был ящик с золой; зола требовалась, чтобы ликвидировать масляные пятна, ввиду постоянного разлития по паркету и коврам масла. Ведь лампад по сорока четырем комнатам было более сотни. Зола растворялась в некую кашницу и затем раскладывалась слоями.

Цитаделью же всего этого диковинного хозяйства была бабушкина комната, представлявшая собою чрезвычайно интересную коллекцию различных реликвий: иконы были размещены в несколько рядов — наибольшие внизу, меньше — вверху; самый же низ был занят как бы таким комодом или рундуком, в коем во множестве ящичков и шкатулок покоились палестинские ветви, благовонные масла отдаленных знаменитых обитателей, в том числе и византийских, привезенных из Греции; затем свечи с нарисованными на них картинками — цветами, гирляндами, а на одной свече был воспроизведен Амур, которого бабушка наивно принимала за ангела, несмотря на колчан со стрелами. На пузырьках с маслом были выдавлены на стенках сцены из Писания. Затем еще были стеклянные колбочки с необычайно тонко и мелко сделанными скульптурными изображениями; например, сцены с волхвами, где лучики были в виде тончайших деревянных волосков, огромный ящик с яйцами, стеклянными, каменными и даже настоящими, где от старости гремел желток; ленты, таинственный мир лент, масличные ветви, игравшие какую-то роль при служении в Палестине. От всей этой диковинной коллекции шел специфический запах гербария, смешанный с запахом старых духов. Да! Потом там были еще коробочки с росным ладаном... Каждый ряд имел свою лампаду. Наиболее почитаемые стояли вместе. И вот для того, чтобы все это бабушкино хозяйство обслуживать, было некое приспособление, как бы сочетание из трех лестниц, соединенных площадкой. Жило оно за дверью в сложенном виде и раскладывалось в случае надобности, образуя нечто вроде строительных лесов. От лампад стоял особенный дух, который неразделим с полумраком, точно пахнул сам полумрак, а тишина нарушалась целым разноголосым оркестром шумов и звонов, исходящих из различных углов,— это начинала действовать при смене часа — коллекция часов моего деда.

— Тут же? В этой же комнате? — воскликнула Ника.

— Тут же.

— Но зачем? — смеялась она. — При сорока четырех комнатах?

— А вот такая конструкция была у дома! — в голосе Евгения Евгеньевича дрогнула юмористическая покорность. — Правда, это была огромная комната. Сей старый джентльмен был обладателем большой коллекции бронзовых и курьезных вещей, причем, подбирая предметы для своего собрания, он руководился определенным вкусом, и притом очень дурным, поэтому собирал главным образом бронзу, и притом французскую бронзу, и притом той бездарной буржуазной

эпохи, когда все искусство было тронато тлением. Достаточно сказать, что все эти предметы были раскрашены, а с точки зрения их творцов, эти вещи были тем лучше, чем меньше они походили на бронзу — группы животных, отдельные звери.

— А часы? — спросила Ника. Ответа не последовало, — входили люди, был шум.

Утро второго мая. Накануне поздно легли, поздно встали. (Какая удивительная вещь — спать!) Ника идет на кухню. Сегодня, в праздник, они за столом — вместе! Идет праздничный отдых: вспоминают латынь — увлечение Морица, — но и изобретатель здесь не ударил в грязь лицом. Погружение в школьные времена...

— Тит Ливий — изумительный стилист, наитруднейший для изучения! Переводить его было даже мне, — а я очень люблю латынь, — мука. Но его Рим дан очень правдиво, потому что он страдал за него. Он был гордым аристократом, презиравшим плебс.

Мориц ходит по комнате, как гладиатор, вышедший на арену. Но все сегодня устали, и спор падает сам собой. Садятся обедать...

Партия в шахматы с Виктором кончилась вничью. Домино — надоело. Мориц бродит по комнате немислимо фланирующим шагом, живое воплощение праздности, — еще третьего дня сама деловитость, рабочий и жесткий огонь! Ника починила полушубок Евгения Евгеньевича и села чинить короткую шубку Морица. Руки странно скользят по густому длинному меху, в котором затаилось тепло.

— А это, Евгений Евгеньевич, вы помните? (Морицу) — Верлена? Как дальше?..

Уютно отзывается Евгений Евгеньевич, приделывая крошечку-цепь к лилипутьему люку шхуны.

...Et les cloches comme des feütes
Dans un ciel comme du lait.

И Ника немедленно переводит:

И колокола как флейты
В небе как молоко...

Почему-то и время медленно течет сегодня... Вот было одному дню покоя случиться, как бы насильственному дню отдыха — и уже нечего делать Морицу, уже все перепробо-

вано, перечувствовано, вспомнено, уже скоро начнется: скука! Уже рукой подать до того, что потянет назад, в работу, в ритм и азарт труда...

Все это Ника, должно быть, наглухо пришивает к шубке — так она крепко об этом думает и так крепко сшивает старый мех. Странно, но это так — ей сейчас хочется того Морица, с токами высокого напряжения! Но от этих токов — пропадешь, потому что они — грубой фактуры, от них кидает то в жар, то в мороз, и постижение их при всем стремлении к человеку — есть сплошное расставание с ним. Этот, который сейчас так лиричен, изыскан и возмещает сторицей то, чего тогда — жаждалось, делает это сейчас слепо: лиризм в такой неразбавленной степени предстает Нике — слабостью. Она им, сама не доосознавая, — обкормлена. То, что было бы добродетелью для Скупого рыцаря, у его расточителя сына — порок. У Ники — тоска и тончайшая ревность к отсутствующим доблестям *того* Морица.

А Мориц сидит на скамье, купая тяжелые башмаки в луче солнца. Вспоминает о потрясающем впечатлении похорон Ермоловой. О последнем свидании ее с соперницей — Федотовой. Неподелившие славу! При жизни она развела их. И вот теперь — сводит. Как статуя, вышла к ней из своего дома Федотова, осиротелая, к покинувшей. Живая к Мертвой. Молча постояла над гробом. Замерла вся толпа. И смотрела, как жизнь задумалась над смертью, слава — над Вечной памятью. И вновь понесла Ермолову московская толпа. Лучом прожектора встречает Малый театр возлежашую на руках поклонников — в этот луч, в распахнутые двери театра, видевшего все ее роли, как пантеон, всплывает Тень Актрисы, стряхивая, как пыль с ног, тех, за дверями... Так романтически претворяется в Нике более реальный рассказ Морица.

А Евгений Евгеньевич в мечтах и воспоминаниях: в манере старой гравюры он пытается изобразить тончайшим рейсфедером Ардавду (Кафу, будущую Феодосию).

— Ника, — говорит Мориц, чуть склонив голову набок, как делают дети, — и смотрит и шаловливо, и снисходительно, как старший, — когда же мы с вами начнем английскую практику? Без перебоев! (Он больше не говорит ей «миледи».) — Мориц подошел к печке, тронул стоявший на плитке чайник. — Может быть, чаю выпить? — сказал он.

— Мориц! Вы помните — «Пес Дуглас», — раздался голос Евгения Евгеньевича, — я позабыл одно место.

— Я тоже не все помню.

В эту комнату вы часто приходили,
Где вас ждали я и пес Дуглас.

И кого-то вы из нас любили,
Только я не знал, кого из нас.

— Позвольте, как же дальше? — что-то пропускаю:

Он любил духи и грыз перчатки,
И всегда вас рассмешить умел...

— И вот тут про ее самоубийство,— сказал Евгений Евгеньевич и встал, покидая Ардавду, Генуэзскую крепость и об нее — завитки волн,— но Мориц уже вспоминал дальше:

Вы не бойтесь, пес не будет плакать,
А, тихонечко, ошейником звеня,
Он пойдет за вашим гробом в слякоть,
Не за мной, а — впереди меня...

— Это хорошие стихи, не правда ли? — Мориц — Нике.

— Очень. У Вертинского последних лет стихи идут *по краю* безвкусицы, но не падают туда. Отбор эпитетов у него не богатый, но образы — хороши! И по ним он взошел в свой стиль.

— Рояль бы сейчас...

— А вы играете, Мориц?

— Играл. Говорили неплохо. Незадолго перед арестом я пристрастился к «Marche funèbre» Мендельсона — похоронный марш,— пояснил Мориц Виктору.— Жена говорила: «Да что ты все эту вещь играешь, похоронную?» Понимаете ли, как будто предчувствие — такая странная вещь...

Евгений Евгеньевич снова сидел над шхуной. Он строгал брусочки и мурлыкал под нос:

Сапоги в крови набухли,
Трупы брошены за борт.

Ника несла им обоим и молча поставила на табуретку, перед засыпающим на диване Виктором, по стакану холодного консервированного компота — рыжие абрикосы в желтом соку.

— Это райское кушанье! — сказала она, глотая половинку половины насквозь скользкого ледяного душистого плода.

— Это — аркадская еда,— многозначительно сказал Евгений Евгеньевич. Мориц наслаждался молча.

— Я не хочу слушать про сапоги в крови, это — гадость.

— Вы не понимаете стиля,— коротко увещевал певец.

— Не хочу таких стилей!

И, согласно, певец начинает вполголоса ей угодную песню. (Мелодия идет по широким и отлогим ступеням.)

Их ведут немые капитаны,
Где-то затонувшие давно,
Утром их седые караваны
Тихо опускаются на дно...

— А это вы помните?

Ждать всю жизнь и не дожидаться встречи,
И остаться ночью одному.

— Вы слышали Вертинского, Мориц?

— Да, бесподобен.

На его лице застыла полуулыбка, полугримаса, и Ника медленно и тайно содрогается: похожее было в лице ее брата, в год его смерти. Очень белые Морицевы зубы светились меж очень красных губ, и было очень желтым лицо. Совсем седые сейчас волосы, как тронутые пудрой. Только глаза были неуловимы — ни цвет, ни взгляд, сощурены. (Он очень страдает, видимо, последнее время, — замечает Ника. — Он не хочет думать о здоровье! Но ч а м и работает. От этих его бессонных ночей он сейчас похож на старого цыгана, который крадет коней, поет песни и лудит кастрюли.) Кто-то включил репродуктор.

— Моя любимая вещь! — кричит Мориц. — Музыка Глазунова! Пушкин! — И тихонечко начинает вторить звукам радио:

Налейте же, други, нам в чаши вина!..—

Он замирает, как под гипнозом, перестает петь и приходит в себя с последней строкой, которой опять вторит:

Да здравствует солнце,
Да скроется тьма! —

Миг молчания.

— Пойду писать письма, — сказал Мориц.

— Продолжим! — сказала Евгению Евгеньевичу Ника. — Все ушли, мы одни.

— Отлично...

— Мы на часах остановились, — сказала Ника, — помните?

— Часы были тоже в разных стилях, — начал рассказ Евгений Евгеньевич. — У деда была коллекция часов, в том числе и редких, и старинных, но любил он и стоячие английские, начала прошлого века, и огромные, как башни, до потолка, и различные часы каминного типа всех размеров, и разных звуков и звонов. Особенно он любил те часы, которые выполняли сложную музыкальную мелодию (иногда это были маленькие карманные часы). Они играли стеклянными тоненькими мелодическими голосами, и это доставляло де-

ду удовольствии. Всегда, когда наступал этот ответственный для бабушки перелом часа, полдень,— вся комната наполнялась часовым звоном, а так как все часы несколько отличались по времени, то их бой сливался в длительную нестройную какофонию, в некую бесовскую пародию на колокольный звон. Мне ребенком очень смешно было смотреть со стороны на это: казалось, что именно бабушка со своими упражнениями благочестия вызывает к жизни этот хор демонов. Часто она еще продолжала молиться, когда все часы смолкали, только двое каких-нибудь часов еще перекликались, как бы поддразнивая и соревнуясь, кто лучше дразнит, и, наконец, последние, выходявшие победителями, кончали завиток какой-нибудь веселенькой песенки.

— Как чайник и сверчок? Да? — спросила Ника.— *Хорошо* вы рассказываете!

— А знаете, к а к это назвать, если когда-нибудь писать об этом? — отозвался рассказчик.— Французским словом *jadis*.

— Чудесно... Но я бы хотела написать о вас *вообще*, о вас с чертежами и с вашей женой Наташей,— сказала она чуть застенчиво,— и тогда бы я назвала это *Jadis et Demain*¹.

— Да, это подходит,— сказал он, и, при вспыхнувшем огоньке трубки, Нике на миг привиделся очерк ноздрей и губ.

Но им опять помешали...

ГЛАВА 6 НА РАБОТЕ И ПОСЛЕ РАБОТЫ. ДЕТСТВО МОРИЦА

Праздники кончились. Третьего мая Мориц подошел к столу Ники,— надо было срочно сделать одну работу. Ника, кончив в начале дня ей данное, ожидая нового задания, упоенно писала стихи.

— Запишите нормативные источники,— сказал Мориц,— и сейчас же сделайте это! — Он отодвинул кипу книг на ее столе — удобнее положить то, что нес; ускоряя труд? — в себе — плоды его — он выбрал ей все таблицы, чтобы она записала их номера. Опустив взгляд, он видел, *что* она пишет; она подняла на него далекие, вдруг растерявшиеся глаза. Под его веками, чуть дрогнувшими, помимо его воли, сознания, вспыхнуло тепло. Но это было так коротко... «показалось»! — пронеслось в ней.

¹ Нькогда и Завтра (слово «некогда» в понятии «когда-то» писалось по старой орфографии через «ять», а в понятии «нет времени» — через «е»).

— Я диктую,— сказал он.

Отодвинув тетрадь со стихами, она покорно записала диктуемое, едва ли понимая, стараясь не пропустить.

— Я вам диктую источники, номера таблиц — понимаете?

— Понимаю,— отвечала она еще издали, но что-то внутри включилось.

Она писала, а он диктовал, и из того, что она писала, прояснялось происходившее: он диктовал уже не источники, а, раскрыв и придерживая пальцами страницу, *норматив* и объем работ и знаки помножения, то есть он диктовал ей формулы, им самим тут, на месте, составленные. Больше! Дойдя до конца формул, он уже диктовал — результат. Он делал за нее работу, то, что составило бы муку ближайших часов.

Он постоял у ее стола минут двадцать. Работа была кончена.

— Доделайте — и пришлите мне это — с Матвеем!

Ей оставалось начисто переписать. Но дело тут не окончилось: у Диккенса в этот час бы *продолжился* солнечный луч! А жизнь вдруг взяла и скорчила гримасу. Когда Ника после «ангельского поступка», как она назвала, стала переписывать продиктованное — она не смогла разобрать цифры; взяв справочник, на который ссылался Мориц, она увидела, что в графе «Шифр сметного справочника» эти цифры не значатся. Она стала проверять дальше — то же самое! В ужасе, перестав понимать, боясь терять время, она обратилась к Жоржу, он подтвердил правоту ее недоумения — и вместо благодарности, вместо молчания, которым она хотела ее выразить Морицу — ей пришлось послать ему с Матвеем записку с указанием несоответствий, им продиктованных. Зачем так поступала с ней жизнь?!

Но жизнь поступила много лучше, чем Ника ждала: Мориц, придя, во всем разобрался, нашлась ошибка в номерах параграфов, был быстрый пересчет, и все кончилось миром, и так как не было сегодня срочной работы, Ника ушла к себе и погрузилась в тетрадку. Стихи! Они начались вновь, после многих лет перерыва.

Все разошлись. Ника впервые после праздничных дней была в бюро одна с Морицем. Заговорила она:

— Я задам вам вопрос,— ответите, если захотите. Я давно наблюдаю вас. О вас столько мнений... Я знаю вас только в деловой обстановке. В праздники я увидела ваше другое лицо. Как вы о себе думаете: в вас два человека, да?

— Два человека в каждом...— он отвечал рассеянно.

— Да, но так резко... знаете ли вы, что вы бываете так грубы на работе, что это... трудно перенести?

— Знаю,— сказал Мориц, медленно шагая по доскам пола, глядя себе под ноги, руки в карманах,— я много в жизни терпел за это. Но это уже нельзя изменить!

— Но почему? (Настойчиво, вложив в это слово больше, чем оно могло вместить. Но оно сумело: вместило.)

— Видите ли, это издалека начинается. Чтобы это понять, надо знать, какой я на деле, в так называемой (голос застенчиво дрогнул) — глубине. Почему я в себе это выработал. В юности отлично учился, раньше других овладел предметом и был, может быть, любимцем в семье (я был довольно красивый мальчик), но мне — мне пришлось очень рано узнать жизнь...

Он стоял и покачивался на носках, так же хмуро глядя в пол, но голос хмур не был, и эта поза его у самого порога комнаты была остроаллегорична: слушающей его до боли понятно это — он качается между желанием говорить и желанием замолчать (шаг к ней или — от нее), и, сжав себя, затаив дыхание, она следила, что же будет сейчас?

Тень резко обводила его худое лицо. «Он похож на раненого оленя...» — сказала она себе.

— Вот есть один факт, имевший громаднейшее значение в моей жизни,— сказал он и, позабыв качаться, ступил полным шагом в комнату, изменив ритму,— мне было девять лет тогда, но этот день я помню, точно вчера!

И он пошел ходить, шагом обводя слово. Никино сердце билось, оно мешало слушать: человек шагнул — к ней!

— Моя мать происходила из богатой и знатной польской семьи, и родные ее не могли примириться с тем, что она вышла замуж за бедного человека. В девять лет я очутился в доме родных матери, и они не стеснялись меня. Я это понял сразу, и вместо того чтобы оробеть, как это, может быть, случилось бы с ребенком другого типа,— я затаил в себе обиду и стал — на годы и годы — в защитную позу. Они старались меня обласкать, задарить, были самые чудесные, редкие лакомства. Я не притронулся ни к чему. И с этого дня перестал быть — ребенком. И я дал себе слово, что я буду богат и знатен. Знатнее их! Я чувствовал в себе незаурядные силы, я только не туда направлял их. Я чувствую их и сейчас. Не позволяю себе терять надежды. Я люблю строительство, читал лекции, много отдал театру, мог бы стать литературным и — особенно — театральным критиком. Математика всегда давалась мне с исключительной легкостью. Я наслаждался, изучая языки. Иногда мне кажется, что я мог бы быть

кем-то... действительно большого масштаба. Когда я читаю историю, следя за ходом событий, как они кристаллизовались в период их воплощения — как человек, их учитывал и направлял... Свойство ли это ума или склад характера, но жил я *всегда* полной — на работе, в организации ее, и чем больше масштаб, тем мне в ней было легче и лучше. Так — годы. До краха.

Движимая все тем же грустным любопытством, она решила спросить его, чтобы — увидеть, как он ответит.

— А что вас увело от решения стать богатым и знатным?

— Фронт. И народ. И те революционные настроения, которые царили там еще во время войны. Вас удовлетворяет, миледи, мой ответ на ваш вопрос?

Но она не была настроена сдаться. Она отвела его тон движением своей рапиры: просто не расслышав вопрос.

— Понимаю. Самозащита стала вашей второй жизнью. Вы спасли себя от страданий. Ну, а что вы их *причиняете* — страдания вокруг, — *это* вы знаете?

Олея — уже не было. Вполне владеющий собой человек, четкий, сомкнутый. Его поднятое чуть резкое лицо было еще задумчиво, но уже гордо: это был конец аудиенции.

— Знаю, — ответил он, — но едва ли это можно изменить! Стук в дверь: «На поверку!»

ГЛАВА 7 МАЛЬЧИКИ НА ЦАРСКОЙ ВОЙНЕ. ПЕРВАЯ СЕДИНА МОРИЦА

— На войне, мальчиком, — я испытал много! — Мориц пошел наискось по комнате, все держа руки в карманах, но уже глядя себе не под ноги, — а — через стены — вдаль... — Там я впервые увидел — смерть. Много страшного я там видел, в царскую войну. В это время я был полон воинственного и военного энтузиазма, то есть таким я пошел на войну, сбежав из семьи: я был патриотом. (Кто-то шел по мосткам под окнами, и Nike показалось, что и он, как она, прислушался — не войдут ли в дом. Нет, мимо.)

На фронт мы с братом бежали весной пятнадцатого года. Поезд из Риги шел в Двинск. Оставили письмо, что мы успокоимся или под дубовым крестом, или вернемся с Георгиевскими. В Двинске нас повели в казармы. Мы были, как все, зачислены на довольствие. Документов шеф не спрашивал. Вскоре выяснилось, что друзья, с которыми мы приехали из Риги, пробудут на месте долго, проходя учебу. А нас тут мог-

ли накрыть, и мы стали продвигаться одни. Меня поразило: солдаты все спрашивали нас, не слышно ли о мире. Нас, мальчиков, это возмутило — мы спорили, что надо победить врага. Но солдаты уже знали, что русская армия несла большие потери, а русская деревня, как мы узнали из солдатских писем, испытывала тяжелые лишения: женщины пахали буквально на себе. Письма, несмотря на царскую цензуру, доходили до нас — потрясающие. Еще меня поразило отношение солдат к проституткам. В Риге была такая улочка — самых низкопробных, дешевых, солдатских публичных домов. И вот солдаты получали письма от этих проституток. В письмах этих было столько подлинной человеческой, материнской нежности, столько заботы — о белье, например, — и тут я понял, что в простом народе нет разврата, а, главное, что в проститутках они *не видят* его; понимают, что они — все те же крестьянские девушки, как они — крестьянские парни, и безо всякого интеллигентского слюняйства здорово, спокойно и классово правильно оценивали это.

Ника слушала. Ей была неприятна и тема, и та «простота», с которой он говорил ей об этом. От выражения его «интеллигентское слюняйство» ее покорило.

Когда после многих приключений и опасностей нас все же задержали, то ночью привели в помещение участка и втокнули — шестнадцать человек с детьми! — в зловонную комнату. Ни коек, ни нар, асфальт. Мы нашли уголок посуше и, прикорнув, заснули. Когда нас вызвали, выяснилось, что меня, тринадцати лет, и брата, четырнадцати, царские власти обвиняют в антимилитаристической революционной агитации, за что в пятнадцатом году полагалась смертная казнь. Так быстро мы изменили под влиянием солдат наше отношение к войне.

В тюрьме мы просидели больше недели. Узнали, что нас просто так не отпустят, а отправят под надзор полиции. Но мы легли в первый раз *на постель* спать! А однажды под конвоем городского отправили на вокзал, дали на руки деньги на билеты. Мы поехали без копейки денег и без еды. Поезд был набит. Утром солдаты начали завтракать и нас покормили.

В пасмурный день, утром, приехали в родную Ригу. Город спал. Пробирались домой, вошли с черного хода. Открыла работница. Воняло от нас кислым солдатским запахом. Родители были счастливы, но вид у них был очень грозный. Конечно, первым долгом послали вымыться и переодеться, а потом форменным образом выдрали. (Последние фразы Мориц произнес согретым, улыбающимся голосом, и при слове «выдра-

ли» — рассмеялся: ресницы дрогнули, глаза сузились, сверкнули зубы — и в комнате точно взошло солнце. О! — сказала себе Ника, — написать стихи о его смехе! От Морица шло доброе, разнеживающее сияние.) Экзекуцию производил отец. Потом мы узнали, что главврач того санитарного поезда, с которым мы уехали, клятвенно заверил мать, что не успокоится, пока не отыщет нас и не вернет. Он считал себя виноватым, что не сделал этого сразу, нас увидев. Он дал о нас сведения всюду, и когда в десятой армии стали проверять о нас сведения, наткнулись на запрос о двух сбежавших мальчиках. Эта история стоила нам исключения из гимназии, но, на наше счастье, в Риге было не до нас, школы эвакуировались. Немцы были уже близко, мы получили наши переходные свидетельства и в конце августа вместе с родителями бежали из Риги. Вот и вся эпопея. С этого года я начал сесть. Нет времени рассказать обо всем, что я увидел на фронте...

— Спасибо, — сказала Ника. Больше она ничего не сумела сказать. Кто-то шел по мосткам.

— Мне еще не было четырнадцати лет, а я уже был как серебряный бобер. — Он помолчал минуту. — Ну что же, — он задумался. — Я женился в восемнадцать лет.

Она прервала его:

— До восемнадцати лет вы женщин не знали? — интересом писателя боря в себе свой пол. Ее тон сказал за себя; и человек ему подчинился.

— Нет, знал. Это случилось в первый раз в четырнадцать лет. Я хотел испытать все. Еще одно постижение.

— Не любовь? Нечто внешнее?..

— Это была проститутка. Помните, я говорил о том, как солдаты к ним относились и как эти женщины по-человечески относились к солдатам.

— Так, так. Продолжайте... (Но что-то не умиралось в ней. Но *не* сейчас об этом.) Как же вы восприняли этот первый опыт? Болезненно?

— Нет. Особенно сильного впечатления... (он старался стать четырнадцатилетним). Видите ли, я тогда несколько увлекался — цинизмом, это мне импонировало; семьдесят пять процентов мальчишек того времени...

— Понятно. Мне жаль, что вы в первый раз это так испытали... — сказала Ника, нежданно для себя просто. Слышал ли он?

— Я дал жене образование, — продолжал Мориц. — Я был уже вполне сложившимся человеком. В девятнадцать лет я стал работать.

— Вы были счастливы с вашей женой?

— Да, конечно. Только слова «любовь», «счастье» — они не совсем мне понятны. Я никогда не мог сказать: «Вот я счастлив. Мне ничего не надо сейчас!» Я не могу быть доволен, — это, может быть, несчастный склад, — он говорил созерцательно, как бы глядя издалека, — несколько лет назад жена начала терять зрение... Я поднял горы, чтобы отправить ее за границу лечиться. И — добился: устроил ее в наилучшие условия, зрение было спасено. После одной из ее операций я получил от нее письмо, — она так настрадалась, так по мне тосковала, что я сделался, как сумасшедший. Я должен был быть с ней — и я не мог бросить работу! Я преодолел все и устроил этот отъезд! И вот никогда не забуду, когда я сел в поезд — я вдруг стал совершенно пуст. Я ничего не чувствовал!

Он замолчал. Было тихо. Где-то стучали молотком по жести. Глухо, еще далеко, приближаясь, гудел, грузно шурша по воздуху, аэроплан.

— Это реакция! В этом нельзя обвинять себя, это у всех бывает... — сказала ласково, как старшая, Ника.

Мориц останавливается у стола, за которым сидит Ника.

— Случайные встречи! На улице, в трамвае. Один взгляд, собственно, — но в этих глазах было все, чего мне не хватало! Как воздуха в моей жизни... — Он глядел вбок, на мутное стекло окна. — Даже глаз я не помню, я помню только — взгляд!

Он повернул и продолжает путь — молча. (Это та тишина, которая после заключительного аккорда... То, что он сейчас сказал, — это его доминанта, сообщает себе Ника, и — законом музыкальной кристаллизации — оно становится тональностью всей струи ее будущей поэмы об этом человеке.)

— Мориц! Знаете что? — говорит она с той, ей свойственной простотой, которая порой раздражает рассказчика, которая ему кажется — позой (ему Ника еще не вполне ясна). — Расскажите мне о себе подробнее! И не о себе только, а и о своих родителях, это многое в вас раскрывает!

— Много раскрывает? — Он хмурит лоб, он и любит, и не любит, когда его просят рассказать. — Не знаю... Может быть, о двух моих дедах — о Белом и Черном деде рассказ вам бы дал кое-что... — Он колеблется... — Хорошо, если хотите... Не только дети, но и взрослые называли обоих дедушек очень просто: Черный дедушка и Белый дедушка! Меня в детстве, чисто ребячески, больше интересовал и больше мне импонировал — Белый дедушка. Он был много выше меня, теперь, ростом, с небольшой, очень серебряной бо-

родкой, с огромной лысиной и венчиком седых кудрей. В молодости он был светловолос и очень красив. Умные и совсем молодые голубые глаза, чистые белые брови, высокая, крепкая фигура, гордая осанка. Человек незаурядной силы и здоровья. Мои первые детские воспоминания относятся к его семидесяти двум — семидесяти трем годам. Он читал газеты, любил театр, любимым чтением его была история польского народа, на родном языке, конечно. Капитальный труд. Он был пунктуален в соблюдении католических обрядов, но в этом скользило какое-то скрытое лукавство... (Хорошо говорит,— отмечает Ника, любуясь.) Он отвергал предрассудки, обладал сильным критическим умом... Тонко ценил музыку. Гордость его после революции была — смешна, но он ее сохранял и остро чувствовал насмешку окружающих. Он ходил в котелке, совсем уже рыжем, и молодежь однажды гурьбой пронеслась за ним, отняв котелок, мой дядя схватил ножницы и вырезал в котелке дырку — с кулак! Белый дедушка был очень оскорблен и не простил своему сыну обиды... Он был очень чистоплотен, очень за собой следил. Я был мал, когда он умер, но впечатление от его образа я сохранил до сих пор: его деловитость, честность, гордость я иногда просто *ощущаю* в себе!

— Он любил детей? — спросила Ника.

— Да, но не допускал непочтительности. Мы никогда ничего не позволяли себе. Он умер в трудные годы, но никогда не изменил себе: ни униженности, ни лести, ни страха перед людьми, — и нужду тех лет он переносил даже как-то надменно! — Он помолчал, прошелся по комнате. — *Горд* был — и Черный дедушка! Но совсем — по-другому. Никакого внешнего лоска, который каким-то чудом до конца сохранил в бедности Белый дедушка, — у Черного не было. Он не гордился своим *родом*, не требовал к себе почтения. Был очень прост. Это был человек в н у т р е н н е й жизни. Сухощавый, черно-волосый, типичный румын, цыган — вот э т о г о типа! Просесть. Узкое лицо, грустные глаза. Молчаливый — и очень добрый. Он был учитель в сельской румынской школе — и дело свое любил фанатически. Был глубоко религиозен. Горды в бедности они были оба — это было великолепно! Очень старый, больной, он перевезен был моим отцом в нашу семью. Но он всю жизнь работал и никак не мог привыкнуть — к старости! Да, гордость за сына и признательность за все это — у него поглощалось чувством оскорбленной гордости. И очень интересно, что стариком, как Лев Толстой, он *трижды* бежал из дома, *тесно* ему было в хорошей жизни, душно. (Какой-то благой дух внушил ему, — думала, слушая Ни-

ка,— рассказ о двух дедах! Теперь уж *ничто* не будет *тяжело* в нем; он внук тех двух людей, он несет двойную ношу!)

— Ему тяжело было жить на средства сына,— продолжал Мориц.— И Черный дедушка уехал к себе на родину и попытался снова учительствовать. Это кончилось плохо,— он дурно питался, жил впроголодь и заработал себе ужасную язву кишок. Его привезли и делали ему, уже глубокому старику, операцию. Он выжил. Но третье его бегство из дому кончилось уже совсем печально — он схватил туберкулез горла¹.

Ника следила за Морицем. Ведь ей когда-то надо будет описать все это — каким чеканным стихом взять этого человека, легкого и стремительного, лирического и резкого, рассказывающего про свои две души в образе двух своих дедов,— вот *это* было поистине великолепно! *Как* это все запомнить? Эту закинутую голову, страстное, строгое восхищение о давней, другой душе.

— Но тогда я многого не понимал, и раз — я со стыдом вспоминаю это — когда Черный дедушка пришел к нам — мы, дети, начали выводить его из себя...

— Значит, вы чувствовали в нем что-то, что можно было *травить*... — полувопросом сказала Ника.

— Да... — ответил чистосердечно и все-таки немного упавшим голосом Мориц,— детям всегда больше импонирует какая-то лучающаяся ясность; отсутствие какого-либо надрыва. Может быть, это и шаблонно, и плоско — вопрос другой. Но вот почему я считаю негодным такое воспитание детей на *happy end*² — оно не способствует культуре и утонченности будущих людей. Мы чувствовали в нем какое-то страдание — и только потом, старше, понял многое в Черном деде. И крайне жалею, что не сумел ему этого показать... Я вспоминаю отдельные черты отношения его к нашему дому: какой-то протест, что и жена его сына — как-то выпадала из этой среды, понимаете ли, и *мы* были, с его точки зрения, слишком барчуками (хотя специфически-барского в нас ничего не было), — мать всегда относилась к родителям отца с большим внешним почтением, но такова сила природы — что я и сейчас чувствую, что в этом всегда была некая неуловимая *пренебрежительность* к человеку не своего общества, хотя ее

¹ Если б знал рассказчик, что через пять-шесть лет он сам, внук Черного деда, умрет от той же болезни в возрасте 44 лет. Годы спустя это приписала Ника в своих тетрадях.

² Счастливый конец (*англ.*).

ничем нельзя было уловить внешне, — и я думаю, это обостряло самолюбие моего деда.

— Она *добрая* женщина была, ваша мать?

Он помедлил — вот так Ника всегда спрашивала, когда не надо было спрашивать! Он помолчал, стараясь побороть раздражение. Он ответил голосом, в котором был уже потушен гонор:

— Бесспорно, да — мой отец был несомненно *добрее* ее, но... как «простота» иногда бывает «хуже воровства», так доброта от распушенности бывает иногда на практике хуже злобы.

— Ваш отец разве был — распушен?

С этой женщиной нельзя было разговаривать! Она шла напролом в вещах, которые...

— Разве я сказал это — о нем? — ответил Мориц надменно.

— Простите! — нежданно добро, миролюбиво спохватилась она.

— Я вспоминаю две сцены о Черном дедушке, я забыл сказать, что, когда его привезли полумертвого на операцию, мать моя проявила к нему живейшую заботу. И мой визит к нему в больницу был не с отцом, а — с ней. Дед улыбался своей беспомощной детской улыбкой... Но все же близости *н а с т о я щ е й* у них не было. Умер он шестидесяти пяти лет. Его последнее бегство на родину, в свой народ, к своему — пусть нищему, но гордому и свободному — труду оказалось не по силам старому человеку и, конечно, носило характер самоубийства. Он был привезен в разгар горловой чахотки — он буквально умер с голоду. Он умер — спартански. Да, в обоих моих дедах сказались два начала: гордый дух, огромное человеческое достоинство, пламенное чувство независимости. У Черного пламенная любовь, трагическая, скорбная к народу и — не национальная только, а общечеловеческого диапазона — ко всем угнетенным! И — у Белого деда — то же чувство большого достоинства, но — с самодовольством, польским; оптимизм — иронический немножко...

Мориц стоит и смотрит — вперед? назад? — вдаль.

— Как они встречались? — спрашивает Ника совсем тихо.

— В моей памяти не сохранились их встречи...

— Евгений Евгеньевич, — сказала Ника, когда они в час отдыха остались одни, потому что работники бюро разошлись — по зоне, кто — в маленький барак конторщиков, кто — в какой-нибудь из мужских бараков, — ведь даже в лагере у каждого — своя судьба... — Уж не в первый раз я вам говорю,

что Мориц — уника. Как он выделил своих работников! Всего для нас добился (недаром ведь нас зовут «дворянским гнездом») ... За его спиной можно даже забыть иногда, что мы в лагере... Обо мне, что я тут, вы говорите — английский язык. Чтобы он за свои восемь лет не забыл его! Ну, пусть так!.. Но вот и вообще моя лагерная судьба не стандартная... До того, как Мориц забрал меня сюда, он приходил ко мне на мою странную работу за зоной, в поле. Я никогда не рассказывала вам про это. Хотите расскажу фантастику?

— Я вас слушаю,— отвечал ее собеседник, прицепляя острием крошечного перочинного ножика миниатюрную цепочку к какой-то детали своей игрушечной шхуны, все той же, над которой он позволял себе отдыхать после сложных расчетов своего изобретения.— Но о Морице нам с вами лучше не...

— Я не о Морице! Я именно о том, что как на воле моя жизнь была необычна, вся в изломах судьбы, так и в лагере. Я жила в женском бараке лесной колонны и даже сама не припомню, как меня жизнь столкнула с тем Морозовым, который работал на конбазе. Он взял меня учетчицей конбазы, видя мои сводки и мой почерк — б и б л и о т е ч н ы й почерк, собственно,— сказал, что все это ему очень подходит. И даже выхлопотал мне через леклома — постоянное цинготное. И получалось добавочное питание. Там было восемнадцать лошадей. Но однажды приехал из центра некий Забелин, какой-то начальник. Увидев этот самый почерк мой, он восхитился и заявил, что мне нельзя прозябать на лесной колонне — для дела нерасчетливо, что он меня заберет в Управление. Морозов огорчился, но спорить не смог — и я оказалась уже не в бараке, а в комнате на десять — двенадцать женщин. И затем доверил мне учет всего шестисот шестидесяти семи лошадей.

— Прямо апокалиптическое число... На одну бы лошадь меньше...

— Но и без того — послушайте, какой стала моя жизнь! Разве не уника? Это совсем не похоже на лагерь... Я свободно выхожу за зону, моя контора — в поле. Там я работаю глубоко в ночь, потому что это отчетный период по шестисот шестидесяти семи лошадям. Мой начальник восхищен честностью моей работы. Я пересчитываю подсчеты прежних техучетчиков, и Забелин говорит мне: «За в а ш пересчет я спокоен. Вы нашли все ошибки. С вашими цифрами я спокойно пойду в Управление, все в ажуре. А так прежние техучетчики работали — они с потолка брали цифры, и я

должен был подписывать то на пять тысяч рублей, то на семь... Я мог попасть под суд каждый день!» Обедать я, Евгений Евгеньевич, на колонну не ходила — у меня с собой была моя пайка, какао и сыр, присланные в посылке моей племянницей, сухари и конфеты от золотки, и я шла в кузницу — она почему-то была тоже в поле, — там я на наковальне устраивалась, варила себе на каком-то огне — какао.

— И вы не обжигались? — спросил Евгений Евгеньевич. — Странно! Я полагаю, что ваши условия были, может быть, еще хуже, чем в зоне, где вы получали — суп и иногда кашу...

— Что вы! — возмутилась Ника. — Это же была чудная, фантастическая, совсем свободная жизнь... Я засыпала на ведомости, могла, когда о ч е н ь устала, поспать двадцать минут, полчаса... И потом снова считала. В последние дни перед отчетом я работала одна в поле при керосиновой лампочке и возвращалась — мне дали электрофонарик — в зону, когда все спали, вахтеры знали, где я, заходили ко мне отметить меня на вечерней поверке. Я входила в барак, женщины спали, и тихонько ложилась спать, и доедала, блаженно, последнюю корочку пайки. А иногда Забелин, поздно, возвращаясь с женой из гостей, заходил ко мне... Сообщили раз, что меня, может быть, переведут на диетпитание, принесли мне хлеба, конфет... Но однажды Забелин сказал... — но дальше Нике не удалось рассказать. Матвей уже нес ужин, все собирались в жилую часть барака, да и Евгений Евгеньевич, должно быть, закончил палубу своей шхуны и показывал Нике свои достижения...

Когда дверь за Морисом, пришедшим сказать, что сегодня не будет срочной работы, закрылась, Ника, уже не стесняясь присутствия посторонних — так ей досказать хотелось:

— Я вам не дорассказала, что мне сообщил Забелин... А впрочем, сперва про лошадей. Дело в том, что сбруя и всякие аксессуары конские — давно у некоторых лошадей были списаны, а по другим ведомостям кони числились (а их давно не было. Это я все поняла и выявила, и он был так благодарен...). Тогда была конская болезнь — «инфекционная анемия», ужасно заразная, и все эти кони — а какие масти есть! — голубая, соловая — как в сказке... Я так люблю лошадей... но когда они заболели этой страшной болезнью (они заражались, напившись воды из следа копыт больной лошади) — их должны были убивать, сжигать и их прах зарывать в землю. И от прежних техучетчиков Забелин не мог добиться, сколько же *реально* коней... Он боялся, очень боял-

ся попасть под суд... Забелин был так мне благодарен... Увидев мою сводку библиотечным почерком, начальник какой-то, князь Гогосов, сказал: «Это то, что мне нужно. Для секретаря». И, откуда-то узнав, что я на воле преподавала английский язык, он заявил Забелину, что переведет из нашего Управления «эту твою техучетчицу — сюда, в Свободный, в ГУЛАГ, ко мне — я поставлю ее в хорошие условия, и она будет заниматься со мной английским»... Забелин так огорчился — он мне сказал, что у меня редкие организаторские и административные способности (я вызывала с мест техучетчиков, даже раз вызвала — пришлось — того Морозова, моего начальника, у которого я работала прежде...) и мне было неловко и жалобно. Вы это понимаете, Евгений Евгеньевич?

Он, конечно, все понимал.

— И что же это за князь Гогосов? — спросил он с оттенком юмора в голосе. — ГУЛАГ и князь Гогосов?

— Понятия не имею! Бред! — засмеялась Ника. — Нашу статью законвоировали, и сперва мой начальник обрадовался, что меня не вызовут в Свободный, но потом оказалось, что и к нему на работу, с едою, как в сказке, в кузнице, меня больше не выпустят — после поверки, когда нас в тот день — все бараки! — выставили («генеральная» поверка была!) — я видела, как он вскочил на коня и помчался в Управление, и ему удалось меня, как нужного и проверенного работника, — выделить, я вздохнула, пошла в мое милое поле и дня три еще поработала, в тишине — Забелин так радовался... Но через три дня пришел приказ всю пятьдесят восьмую законвоировать, и со статьей, то есть с пятьдесят восьмой по суду, и без суда, только с десятым и одиннадцатым, и даже с одним десятым пунктом — всех! И я пошла в мастерскую чинить рукавицы, там было плохо, потому что ночные смены и часа в три, в полчетвертого ночи так дико хотелось спать...

— Это я испытал, — сказал Евгений Евгеньевич, — но только тогда не замечаешь часов ночи, когда все спят и ты один со своими чертежами...

На пороге стоял Мориц. И жизнь пошла дальше...

— Знаете, что еще я часто вспоминаю из моей лагерной жизни? — сказала Ника Евгению Евгеньевичу. — После одной переброски я жила в маленькой комнатке с одной старушкой и одной *уркой*, озорницей: она топила до одурения железную печурку — кедровыми сучками, мы со старухой выходили по ночам дышать, а она раздевалась донага и бегала — на ней

была только обувь! — по зоне, пока ее не словит охрана и посадит в кондей, к нам приходили за ее одеждой, а мы раскрывали дверь настежь, пока станет можно дышать. И вот однажды я больше не могла. Я сказала: «Наташа, больше не топи. Хватит!» Она так удивилась! Но когда поняла, что я, каэровка, хочу запретить ей — она задохнулась, схватила полено и им замахала над моей головой. А я голову под полено — «бей!» Она пустила густой мат — и бросила полено. А раз я ее, пьяную, под руку провела мимо вахтера. Она кончила срок. Она, урка, с воли мне, каэровке, написала...

— Это целая новелла! — сказал Евгений Евгеньевич. — Стоило бы ее записать...

Как странно было ей после этого слышать продолжение детства Евгения Евгеньевича.

— В крепости благочестия, среди икон, — начал он, — встречала бабушка самый для нее страшный час суток — критический перелом времени, и, полагая, что вражда того мира активизируется в полночь и в полдень, она страдала от этих часов, в эти два часа, особенно сильно. За всю свою жизнь я не запомнил ни одного случая, который помешал бы ей этот перелом часа встретить надлежащим, то есть молитвенным образом. Она начинала свои упражнения за несколько минут до его наступления. Когда я был еще очень мал, это диковинное зрелище вызывало во мне самое откровенное любопытство: я становился перед нею во фронт и погружался в беззастенчивое созерцание ее экстаза. Она меня не замечала. После, в детской, я старался изобразить сестре это зрелище. Позднее, лет в семь, когда я стал благовоспитанным и испорченным, я уже только уголком глаза наблюдал за этими сценами. От моей наблюдательности, конечно, не скрылись ее приемы, вошедшие в систему: так, например, если кто-нибудь при ней произносил слово «черт», она мгновенно бросала любое занятие и, гневно встав, погружалась в медитацию. Когда она видела открытый графин с водой, с ней делалось нечто вроде судорог, ибо она считала, что нет такого малейшего упущения, коим бы не воспользовался враг человеческого рода... Силы для борьбы с этим потусторонним миром она черпала в довольно частом посещении обители и охотно принимала у себя ее представительниц, особенно прославившихся своими подвигами в борьбе с сатаной. В такие дни во дворе ночевали старинные провинциальные экипажи. Эти почтенные черницы проводили в доме нашем по несколько

дней. Они никогда не ездили по железной дороге, а в особых колымагах самого странного вида — плетенные из соломы рыдваны с колесами, иногда окрашенные в различные цвета — в зеленый, в малиновый. И лошади были странные — нечесанные, и вообще совсем какие-то другие, чем те, с которыми были связаны первые воспоминания моего детства. Я еще помню особые ящики, дорожные, откуда вынималась всякая снедь.

«Как уютно,— думает Ника,— слово за слово — и все забывается, и ничего не надо, кроме этого детского течения жизни... Ну же не мне сейчас Мориц... Нет... Но ведь это ужасно быть таким человеком, как я, *таким* восприимчивым, *так* входящим в чужую душу... какое-то качание на волнах...»

ГЛАВА 8 СТИХИ НИКИ. ГНЕДОЙ И ВОРОНОЙ КОНИ. МОРИЦ НА РАБОТЕ. ИКС

— Прочтите,— сказала, проходя, Ника,— *мне* они нравятся!

Был час перерыва, они были одни. Стихи назывались «Смех».

Когда вы смеетесь — вся жизнь наполняется светом,
И мне невозможно понять, как другие не видят его.
И как не смолкают беседы и споры при этом
Пленительном слуху явленьи: как Диккенсово торжество
В последней главе: так легко раздвигаются стены,
В глубокой, пурпурной заре розовеют залив и Стамбул,—
То Флавиев цирк! Это солнцем пылает арена,
То Рим рукоплещет любимцу! То криков приветствия гул!

— И размер — и образы — все очень, как Горький говорил, «спето»,— сказал Мориц, возвращая листок,— только, мне кажется, к Риму — Титу — цирку Флавия совсем ни к чему — Стамбул!

— Вы, может быть, правы,— ответила Ника,— даже наверное,— но почему мне *сперва* привиделся Константинополь, не знаю. Но думаю, может быть, и не зря: подсознание искало каких-то *корней*, ваших, и...

— Но, простите, хоть *турков* нет в моей родословной,— не совсем рассмеялся Мориц,— кажется, хватит французов, цыган и поляков...

«А румын — почему не назвал,— подумала и смолчала Ника.— Но *французов* назвал первыми — знаменательно! Все,

что *чуждо* мне в нем, — именно от французов — эти поверхностность, блеск. (И — холод?)».

В этот день Матвей принес обед немного раньше начала обеденного перерыва. Он поставил ведро с супом на стол жилой комнаты — и вышел. Тотчас же из рабочей в жилую комнату вышел, прикрыв за собой дверь, старик, зашедший в бюро по делу. Никто не обратил на это внимания. Щелкали счеты, тонким металлическим звуком чеканил воздух «Феликс». Это был самый старый в лагере инженер, о котором — верно или нет, кто же скажет? — говорили, что он на воле был крупным строителем. Оттого ли, живя заемным светом прошлого, или таким был его нрав, он держался несколько отдаленно от всех, даже от Морица.

Всех ближе к жилой комнате сидел за своим чертежным столом Виктор. Бросив взгляд в сторону общего жилья, он обомлел: в щель недоприкрытой двери Виктор увидел поразившее его зрелище; спиной к рабочей комнате, наклонясь над суповым ведром, старик держал в руке мясную кость и обгладывал с нее мясо и жир; он спешил, с усов его — Виктор увидел это в профиль — падал в ведро суп, которым он, жуя мясо, обливался.

Первым движением Виктора было — вскочить! Но стыд за старика, гадливость, жалость — удержали его.

«Он — здоровый. Ничего с нами не будет... — сказал он себе. — И не надо никому отравлять обед».

Но он намеренно двинул по полу табуретку — старик рванулся от стола, вынимал из кармана носовой платок, кашлял, все сразу.

Евгений Евгеньевич возглашал «окончание вахты» (эта игра как нельзя больше шла его облику).

За пределами проектно-сметной группы, находившейся на особом положении, остальным заключенным было голодно. От недоедания многих покачивало — как на волнах.

Старик, застигнутый над ведром супа. Разве он был — единственным?..

Однажды, идя по зоне, к помпокавээр, часто обращавшемуся к ней, чтобы она написала (вместо него) заявление какому-нибудь работяге или малограмотному письмо домой, Ника увидала у кухонной помойки немецкого *барона* (так его звали, но немец он был несомненно), рывшегося в полу-мерзлых кухонных остатках. Она остановилась вдали, чтобы не привлечь внимания — герой выкапывал длинные витки карто-

фельных очисток, счищая с них грязь; затем сложил их в свою кружку (высокую узкую консервную банку, снабженную ручкой из проволоки), — и пошел в барак: должно быть, вымыть их водой из питьевого бачка — и, конечно, сварить — на печке...

Потребовав исправлений в немыслимо краткий срок, Мориц отходит от стола Виктора, идет к Евгению Евгеньевичу. Сегодня ему обещали прислать еще одного работника, а пока, — он дает Евгению Евгеньевичу работу, которую надо кончить к четырем — в четыре тридцать за ней придет представитель.

— Это невозможно! — отвечает тот.

— Но это *нужно!* — кричит Мориц. Он вскипает, начинает горячиться, доказывает, что *ход* работ можно в этом случае перестроить, что он *сам* такую работу делал! Спокойно, с достоинством отвечает Евгений Евгеньевич, что подобная перестановка — нецелесообразна. Стоя сейчас с разлетевшимся к его столу Морицем, он выше его на полголовы. (*Сейчас* прелесть фигуры жокея — не помогает...)

— Простите меня, — говорит Евгений Евгеньевич вежливо-властно, — я никак не возьму в толк...

— Господи, да неужели же непонятно? — раздражается Мориц. Он хватает из рук Евгения Евгеньевича синьку. Он уже не насмехается, как над Виктором, он сердится и слабеет. Нике мучительно смотреть на него: он похож сейчас на растерявшегося петуха. (Ослабей он *еще* чуть-чуть — и она полюбит его — за слабость, на неудачу... Тою *материнской* нежностью, которая пуще — любви!) Но он не хочет слабеть, он упирается, оттягивает позицию — там, где она, видимо, уже сдана.

— Без «Господи», пожалуйста! — нагло-вежливо, очень спокойно, замечает Евгений Евгеньевич.

Отвращаясь от поведения Евгения Евгеньевича, Ника думает о Морице: неужели же эта грубость его — то, о чем ей говорил такими высокими словами — *о маске* грубости, надеваемой на себя, чтобы скрыть мягкосердие? Не-ет... О нет! Тут что-то не то! Душевное ухо Ники *слышит* тут душевную фальшь. В большой душе Морица живет еще маленькая душа...

В этот миг Мориц оборачивается к ней:

— Ну, а вы, сударыня, что делаете сегодня?

В его тоне неслышно для других пролетает мотылек шутовливости, и в его быстром взгляде, вбирающем в себя — все ее сомнения, ее боль, ее осуждение, он рушит, как колпаком на ветру свечу — весь протест. Вся ее сталь рассыпается

брызгами ртути, речным песком... Она перед ним шелкова и тиха, — но посмотреть — не посмела.

Мориц хмурит лоб:

— Ах да, позвольте! У вас же там нелепица была какая-то... давайте-ка мне ведомость земляных работ! А то лучше-ка вот что, — оборачивается он к вошедшему прорабу, — пока я тут с ней разберусь («с ней!» режет слух Ники — у такого воспитанного человека...), зайди в новые бараки, сукины дети маляры белят одной известью *без* клея, без мыла — стены нельзя будет *тронуть*, вся одежда прахом пойдет!

Он говорит, а пальцы перебирают бумаги, выдергивают нужную ведомость земработ. Прораб выходит.

— Вот *это*, — говорит Мориц, — *можете вы* мне объяснить это, миледи? Как это вас угораздило опять вкатить сюда коне-дни?

Взрыв всеобщего смеха. Она краснеет «как рак». Мориц смотрит ей в глаза бесстрастно и беспощадно; рассматривает, с усмешкой, ее стыд. (Этот человек т а к не щадит другого? О, будь она проклята, ложь!)

— А тут вы опять наврали! — ведя свое грассирующее «р». — И с аппетитом, как пирожное — по Евтушевскому! А если хотите, то и по Малинину и Буренину: 9,20, помноженное на 44 д. сп., было все ж таки 404,80, — а у вас какая цифра стоит? *Можете вы* объяснить мне это?

Его низменные, дешевого торжества интонации ползли по рукам, плечам, захватывали дыхание. А ее глаза, к величайшему ее ужасу, наполнились слезами — до самых краев. Страх не того, что он эти слезы увидит, а что они сейчас упадут на *цифры*, страх позора (*его позора!*), что он за это *закричит* на нее (не за слезы — кабы еще за них! за *цифры!*)... Она отвертывается заводным движением; судорога тошнотворного страдания, их обоюдного безобразия друг перед другом, сознание непоправимости происходящего... Вдруг присев на корточки, точно она уронила что-то, быстрым, ловким, грубым движением, движением детства, она успевает вытереть кулаком оба глаза.

— Что вы там *делаете?* — раздраженно крикнул Мориц. — Я же вам *объясняю!*..

Она встала, точно ее подняла пружина. Ей казалось, что она на десять лет старше.

— Я вас слушаю! — как через телефонную даль, сказала она учтиво. Что-то лирическое, крылатое отрывало ее от него, от комнаты и от горы — освобождение! Она снова была собой. Она не заметила, как Мориц кинул на стол бумаги:

— Все надо сделать заново! Пришлите мне!

Мориц вышел и кинул дверь. Но он тотчас вернулся. Он сказал повелительно:

— Где ваши черновые подсчеты? Следы! Следы...— взял в руки ее работу.— Ведь если вы все *сначала* начнете — вы не кончите через шестидневку! Нет, нет, вот *это* что такое? Что?!

— Икс...— сказала, подернувшись корочкой льда, Ника.

— Что-о?.. Икс?! — повторил Мориц почти шепотом, до дна изумившись,— и он даже взглянул на Нику с *интересом*.— Позвольте, почему — *икс*?

Но при взгляде на Нику его вопрос потерял остроту. Все в этой только что бывшей четкости стало — как когда дохнешь на стекло. Чего-то в этом ее взгляде — не на него, а мимо — не мог перенести он никак. Потому что взгляд ее должен был быть гордым. А он был жалким. Но *тон* Ники был — нагл.

— Икс — это значит «неизвестное». По Евтушевскому! Этот неизвестный итог я должна была перемножить...

— Хорошо,— эпически сказал Мориц, собрав все свое деловое терпение,— но как у вас *получилось* это неизвестное? Ведь вы же должны были складывать... (он уже горячился) — *икс* тут *не мог* получиться!..

— Икс может получиться от *всего!* — дерзко, многозначительно сказала Ника и постаралась взглянуть на Морица.

— *Только* не от сложения!

Его голос был так горяч — даже холоден. Какой он худой... вдруг рухнуло в ней, увлекая за собой какие-то темные горы, и за ними остался рассвет: так явно в его лице шли, стекаясь и растекаясь, струи: грубости — нежности, что как молнией в дерево разя насмерть все ее горе — *деды!* Те имена, которых она не успела спросить у их внука, героя ее будущей — поэмы? Его ответ на ребус? Господи, чем же он виноват? Это маленькое, хрупкое... только с виду крепкое тело, худое, большое, только дирижируемое мужественностью и волей,— ристалище тех двух начал, данных ему, как Земля — Атланту... Его надо было *жалеть* за все это, защищать, а она... Он уже открыл дверь — уходить. Так и не кончив совета, приказа — *как* ей делать работу!

— Мориц,— сказала она, очень спеша, очень страшась, что он уйдет, недослушав,— как звали тех двух стариков, о которых вы мне...— Но он понял раньше, чем она договорила — и то, о чем она, и то, почему она при всех не сказала «ваших дедов», а какие-то вообще «старики», и то,

что эти самые старики, он, его жизнь ей много важней этих иксов...

— Феликс, Ион!

Его уже не было. Кто из них кто — он бросил ей догадаться. Покорность, с которой он подчинился — в рабочий час! — ее вопросу о дедах, была поразительна, как все в нем. Но эта маленькая свобода не пояснить и уйти, маленькая свобода движений, и злая и по-своему нежная, он ее позволил себе. «Можете и догадаться!» Ион — был Черный, румын, — решила Ника. Феликс — белый! Поляк. Пусть будет так!

Пока Морица нет, она допишет стихи. Он может сейчас войти! Дверь хлопнула — Мориц! Но он остановился возле Виктора. Ника спешила закончить стихи. Строки ложились сами, победно и безразлично — ко *всему*, что потом!

ГЛАВА 9 ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗ

Десять часов работы — позади. Радость, что нет срочной. Снова был вечер. Все ушли. Снова вдвоем и дымок «Жакоба» (церемонно спрошено разрешение дамы) — и он продолжает прерванный, давно уж, рассказ.

— Тогда я отвлекся. Я не договорил про бронзу. Дед мой «понимал толк в изящном». Он любил хорошо одеться (по-своему, неумело). Ценил, очень смешно, искусство. Любил драгоценности, лошадей, собирал часы — и в то же время был трезвым человеком. В нем не было еще и тени того декаданса, который потом так расцвел в моем отце.

— А — в вас?

— А во мне — во мне он мог бы достичь тогда и — маразма... — уютно ответил рассказчик, — если бы не произошли события, изменившие жизнь.

Несмотря на серьезность последних слов, он договорил их сразу тем полшутливым уклоняющимся тоном, который он при разговоре с Никой усвоил себе. И веретено рассказа завертелось далее:

— К бабушкиной жизни дед относился критически — во-первых, потому что он ничего не понимал в ней; а во-вторых, потому что это компрометировало. Но тот факт, что она была его жена, делал ее в глазах деда — персоной, значительной и достойной всяческого уважения. Свое неудовольствие он выражал ей редко, лишь в минуты крайней раздраженности,

а кое в чем он даже шел ей навстречу: моя бабушка не уделяла никакого внимания туалетам, и раз навсегда и молча установилось, что эту часть забот дед берет на себя. Это была тема бесед, часто очень веселых у взрослых, и я тоже старался казаться понимающим и пробовал робкие критические замечания. Бабушкины туалеты! Казалось, что все эти вещи были сшиты сто лет назад в огромном количестве; сделанные еще в дни бабушкиной юности и — властью деда, они, может быть, и тогда были уже курьезными: кофейные шелка, отливающие, как перламутр, темными цветами; каскады кружев такой густоты, что уловить рисунок или даже идеи орнамента было нельзя. По темно-синему фону разводы павлиньих перьев... но всего перечислить нельзя. И вот эти свои платья бабушка носила по заказу, то есть дед заказывал, какое надевать, и она надевала. А затем уже традиция установилась: в первый день Пасхи — такое-то, во второй — вот это, в Рождество — непременно с павлинами — и жизнь протекала мирно. Из этой схемы выпадали — шляпы: дедушка покупал их почему-то очень часто. И для бабушки была проблема — что с ними делать; одна, например, в виде огорода или свадебного торта; другая — капуста и розы; или насадка с цыплятами, или обросшее мехом нечто, откуда росли причудливые эспри. Или — жатва: сноп с васильками. Все это жило в маленьких и гигантских картонках, которые угрожающе росли. Бабушка всегда одинаково вежливо встречала новую шляпу, говорила: «Очень хорошо, очень прекрасно, друг мой», чем доставляла деду наслаждение. Когда я еще маленький поехал с ней на курорт — против ее воли, — она наконец согласилась ехать лечиться, — собралась целая толпа смотреть на нее, потому что бабушка надела одну из дедушкиных шляп, причем почему-то на затылок. Ей так, вероятно, казалось торжественней. Но вид у нее получился странный.

— А какая у деда была наружность? — спросила, сияя, как дед от жениных шляп, Ника.

— Дед? Коренастый, среднего роста, элегантный. Бакенбарды. С проседью. Лысый.

— А в бабушку он влюбился — за красоту?

— По-моему, он не влюбился. Как-то по рассеянности, скорее... — сказал, глядя прыгнувшего к нему кота, тоже рассеянно, рассказчик. — Да, так про бронзу. Это была коллекция столь же бездарная, сколь заботливая; натуралистические собаки, лошади, негритята, предлагающие обезьяне ананас, — знаете этот стиль? Или — такса в пенсне. И благодаря столь дурно организованному его вкусу, в его коллекцию не по-

пала ни одна приличная бронза. Но среди этих сюжетов была статуэтка — танцовщица, возбуждавшая негодование и омерзение моей благочестивой бабушки: это была негритянка в голубой юбочке, стоявшая на одной ножке, приподняв другую в некоем пируэте; мастер, делавший ее, предусмотрел следующую фривольную подробность: она обладала способностью поднимать эту ножку, и притом чрезвычайно высоко, обнаруживая голубое трико. И вот дед, имевший склонность дразнить бабушку, садился за письменный стол, ставил перед собой эту фривольную негритянку и концом карандаша приподнимал и опускал ее ножку. Бабушка разгневанно ходила по комнате и крестилась. Оставшись одна с сим механизмом, она старалась — и притом немного гадливо — убрать с глаз этот срам; она ставила виновницу греха в дальний угол и закладывала ее хламом, ключами, кусками от мраморных каминов, которые откальвались на углах и никогда не придеывались, но тщательно хранились; ручками от пакетов, выгнутыми, как скрипичный ключ, проволочками, запутавшимися в ворохах веревочек. И оттуда статуэтку неизменно извлекал дед.

— И был еще один способ мучить бабушку, — сказал Евгений Евгеньевич, ему уже хотелось чертить, углубиться в подробности изобретения, но было жалко оставить чем-то жалобную сегодня Нику, — дед купил соловья...

В эту минуту его прервали. И Нике пришлось вынырнуть из рассказа в жизнь.

После целого дня за арифмометром, не разгибаясь по десять часов, — хоть и любя этот труд, но устав от напряженного взглядывания, — даже облегчением казалось порой, войдя в многолюдный барак, присматриваться к женской жизни, к другому типу усталости.

Несколько женщин, молодых, сидели возле деревенской старухи. Их, видимо, забавляли ее рассказы.

— Мать, — спросила одна из них, — а ты-то за что сидишь?

— За бабу! — отвечала старуха бойко. — Донесла на меня, наврала!

— За что ж она тебя? А может, ты сама ей?..

Кружок сомкнулся теснее.

— У нас в деревне не было ее, видно — в селе... — оживляясь негодованием, охотно отвечала старуха. — Больно имя мудренное... Ну, уж как выйду на волю — где-нигде, а найду ее, суку! Все волосья ей из подлой башки повыдергаю, — на невинную наклепала, подлюга... Ты, говорит, не отпирайся, вседню десять годов тебе за нее положено...

— Да вы где с ней сошлись? Чего она про тебя набрехала?!

— Да я видом ее не видывала, слыхом не слыхивала, да и имени ее отродясь не слыхала...

Любопытство разгоралось. Подседа и Ника.

— Имя-то больно мудреное у подлюги... не запомнила...

Молодежь подсказывала имена...

Старухина голова не соглашалась.

— Мать! — крикнул кто-то. — А может, тебе ее назвали — **к о н т р р е в о л ю ц и я**?

— Во, во! Она самая! Проклятушая! Она самая! — обрадовалась старуха. Мне бы только выйти на волю, под землей ее — отыщу, все волосья ей....

Хохот грянул хором, заглушая мечты старухи.

— Перлы жизни... — шептала Ника, уходя.

Г Л А В А 10 ИЗОБРЕТЕНИЕ ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

В этот день Мориц обещал привести из Управления старика — инженера, всю жизнь проработавшего по эксплуатации железных дорог, помнящего все конструкции паровозов за последние пятьдесят лет, крайне заинтересовавшегося доверительным рассказом Морица о необычайном новшестве, предлагаемом его работником не только, впрочем, железнодорожному, но и множеству видов транспорта. До этого Мориц подробно разузнал характеристику старого инженера, потому что дело было более чем серьезное, и Евгений Евгеньевич только тогда согласился на его консультацию, когда Мориц уверил его, что нет ни малейшего риска посвятить старика в это дело, никто, кроме них троих, не узнает о содержании чертежей — пока оно не будет передано в БРИЗ¹. Мориц предполагал, что по исследовании его в БРИЗе — возникает необходимость построения *модели*, которым должен руководить изобретатель. Но самое важное на очереди было изложить все детально этому образованнейшему старику, получить его одобрение, как специалиста.

Все это стало известно Нике от самого Евгения Евгеньевича, который добавил, что *если* труд его будет одобрен — он привлечет четвертого человека для помощи.

— Этот человек — вы, Ника! — сказал он и поклонился, как всегда, церемонно, но безо всякой своей обычной шутиливости. — Вам — и никому более — я доверю перечерчивание

¹ Бюро рабочих изобретений.

деталей всех моих чертежей. Я уже сказал это Морицу, он освободит вам часы. Жорж был бы полезней, конечно, не скрою от вас это, но что-то в нем есть (между нами, Ника), я приглядывался,— что-то есть, что меня — останавливает... Вам же я объясню все просто и — вкратце, без лишнего вам утомления, и я уверен, что вы все поймете и справитесь. Чертите вы — превосходно... И если,— тут он улыбнулся своей обычной манерой шутливости,— и если мое изобретение будет принято и зашумит по всей нашей планете — я позабочусь о том, чтобы и ваше имя, как моего первого помощника, не было забыто...

Он поклонился, и в его синих глазах заиграл такой огонек веселья, лукавства, галантности,— точно это было *invitation à la valse*¹. Но тотчас же он стал серьезен и пошел навстречу входившему Морицу; Мориц входил — не один. С ним шел высокий седой человек. Был час перерыва. Старик-специалист выразил желание посмотреть все дело, «в работе»,— а затем уже он пригласит молодого изобретателя в свой кабинет в Управлении, где оно будет детально рассмотрено, в присутствии Морица — ими тремя.

— Вы держите свои чертежи — здесь? — спросил он, когда, по уходе из бюро Ники, произошло его знакомство с изобретателем.— Впрочем, я понимаю, и все-таки я советую вам мне сейчас ничего не пояснять,— он понизил голос — *вслух*: я кину взгляд — общий — тут, в бюро. Пойму, вероятно, идею — мне она в общих чертах известна от вашего начальника. Мы посидим, помолчим; я подумаю, взвешу... А затем...

Евгений Евгеньевич смотрел вслед выходящему Морицу и одновременно пытался составить себе мнение о человеке, от которого на данном этапе зависело дело его жизни. Высокий, с, казалось, военной выправкой (в прошлом по службе — тайный советник, генерал статский, но при новой власти почетный член научных обществ), в очках старинного фасона, узких и в золотой оправе, через стекла которых на собеседника глядели пристально сквозь любезность холодноватые умные глаза — чуть темней стекло; бакенбарды и глубокая лысина, у ушей пушившаяся серебром,— он производил впечатление.

Изобретатель поклонился, подвинул гостю кресло и жестом пригласил сесть.

С полчаса, а быть может — и с час, просидели они над разложенными чертежами. Ни один не прервал молчание. Ни один не глядел на часы. Затем специалист встал и, протя-

¹ Приглашение на вальс (*фр.*).

гивая старую, с набухшими венами руку виновнику его напряженной, в час перерыва, мозговой работы, сказал:

— Не смею пока обнадеживать вас, ничего еще не могу обещать. Жду вас к себе завтра, в это же время, но должен сказать, что предложение ваше — вполне ново. Ничего даже сходного — и по масштабу — не встречал.

Слова были сдержанны, но взгляд — взгляд сквозь очки был — взволнован. Евгений Евгеньевич попытался сказать что-то, но слова падали вяло. У самых дверей он проговорил только: «Благодарю вас...»

В это время вошел Мориц.

— Уже? — сказал он старику. — Отлично. Вместе идем в Управление?

Они вышли, а Евгений Евгеньевич... как сияли его глаза, затуманиваясь дымом «Жакоба»! Он стоял у окна и глядел сквозь него, — вдаль, туда, где сверкало — будущее!..

— Ну что же, — сказала, входя, Ника, — одобрил? Я бы этого старика сразу ввела в повесть! В нем — что-то волшебное. У Андерсена он бы жил один, в старом доме... Понимаю! Вам сейчас не до Андерсена! Вы сами сейчас — Андерсен! Знаете что? Пока эти опаздывают — скажите же мне (знаю, знаю, объяснять будете над чертежами, после!), скажите мне в двух словах! Это всегда можно! Я не так глупа, как кажусь, — я пойму: в чем ваше изобретение?..

Будь это не она, не ее тон, не ее готовность быть ему помощником, хранителем его тайны — он бы сейчас не открыл рта. Что-то было в этой минуте — повелевавшее. Но осторожность — выше всего! Он ответил ей *по-французски*. И вот что он сказал:

— Без пояснения мои чертежи могут, думаю, лежать здесь. Слушайте. Отныне не будет паровозов на земном шаре. Пар будет заключен — в колеса. Принцип турбины. Поезд будет идти быстрее и легче — без паровоза. Это очень удешевит расходы по эксплуатации. С железной дороги принцип перейдет во все виды транспорта. Вот все. Ну, а подробности, всякие эйч-пи, все расчеты — это уже не вам слушать, — ему! Генеральный бой — он сказал мне — завтра. При закрытых дверях, втроем!

— Я скажу вам, но не спорьте, не перебивайте! — вскричала Ника. — Я знаю все, что вы скажете! Но не упрекнуть вас не могу. Потому, что я — торжествую! Сколько вы пакостей мне про Морица говорили — а вот опять-таки ему дело свое доверили! Дайте лапу! Нет, нет, не слушаю! За это — *во-первых!* Жму руку. Затем — за вас самого, за ваш труд! Мне кажется, знаете что? Я ведь не понимаю в технике, не моя

область, но мне *кажется* — это даже больше, чем «Туннель» Келлермана (моя любимая книга!). Потому что — ну, надавит на него океан — и нет туннеля, хоть и отдал ему Мак Аллан — жизнь! А вот это...

Шумно входили два других сотрудника. Продолжался рабочий день.

А ночью, поздно начав, увлеченно, не чувствуя усталости, Ника с головой вошла в перечерчивание деталей с чертежей, переданных ей Евгением Евгеньевичем. В следующие дни Мориц разрешал ей продолжать эту работу с утра, когда он шел в Управление, — можно занимать в углу его стол, отделенный шкафом, куда к ней не заглянет никто.

ГЛАВА 11 МОРИЦ И НИКА.

ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗ

Был вечер. Мориц шагал по сырой, липкой земле, ноги скользили, и приходилось, балансируя, чтобы не сорваться под гору идущей тропинки, махать в темноте руками и выделять неожиданные антраша. Это раздражало, потому что — хотя никто не видел — выглядело смешно. В этих вынужденных движениях было что-то унижительное. Хорошо, что была ночь.

...Как могла такая — умная же? — женщина, как Ника, — не понимать такой очевидной вещи: лирика! Кто не любит лирику, но ведь...

Он все-таки соскользнул с тропинки, и в небольшую лужу, потому что брызнула грязь — может быть, даже на краги!

...Лирика! Кто сомневался в том, что она — прелестна! Но прелестные вещи обходятся человеку — дорого. Наивность прекраснотушия, комизм его — он не выносил с детства. Он просто его ненавидел! На *это* надо было идти войной! Эта Ника хочет брать лирику — руками, лирику, по природе — русалку, и не замочить рук! И она требовала верности — от русалки! Требовать ее в спутницы своего *дня*! ...И, в свою очередь, оставаться верным — русалке! Это было невесть что! А впрочем, что ему за дело до того, как живут — другие? Каждый думает — за себя!

Тропинка теперь вела ровно и крепко, он шел быстро. ...Так в Морице возникали и рушились замки, ведомые ему одному.

Закат по небу — клоки золотой ваты, выше — перламутровые крыла.

Мориц и Ника стоят на мостках, проложенных через всю

зону. Он уходит, и она вышла его проводить до угла барака. Ее мучало то, что ей в последние дни наговорили о нем в бюро, и слухи, принесенные о нем одним из новых сотрудников; с чем все согласны, это что он — ярый, бессовестный карьерист, жесточайший циник, вероятно, погубивший на веку своем не одного человека, лжец, актер. Ей говорили: «При вас он стесняется, и при вас и о нем некоторые стесняются говорить резко». Он тонок, хитер, у него большой опыт, он держит в руках все Управление. Будет день, когда она пожалеет, что не послушала дружеских предостережений! Да неужели же она не видит, что он оставил ее тут с определенной целью! — оставил ее, несмотря на ее чуждость работе бюро, именно с целью разрядить сгустившуюся атмосферу вражды к нему — ну, и затем — он же должен перед кем-нибудь блистать? Из них уж никто не верит ему, так он перед ней играет — ну, и языковая практика к тому же — своей пользой тут не побрезгует! Неужели она верит ему?! «Умная же вы женщина, у вас взрослый сын...»

Из всего этого Морицу Ника сказала, не назвав имен, только об одном обвинении — в карьеризме...

Мориц выслушал с тонкой, чуть озорной улыбкой. «Карьерист!» — говорит он. *Одно* только слово — но Ника уже пленена его тоном. Надо *слышать*, как он говорит его! Точно школьник подкинул в небо маленький черный мяч! Он вскинул узкую серебро-русоволосую голову (или ей *кажется*, что он сильно седеет?). «Продвижение по лагерной службе!» *Здесь* хотеть «продвигаться»... — и быть бы начальником какого-то... проектного бюро! Он смеется, чудесно блеснув зубами, и упоительная насмешливость трогает его черты. «Надо быть... моллюском! — говорит он. — Надо было никогда не видеть этого голубого неба, — он чуть поднимает лицо в сияющую, воздушную глуть, — чтобы так говорить». ...Конца фразы она не запоминает. Пронзенная ее началом, она смотрит на сказавшего ее; кончено! Больше *ничего* ей не надо! Она *поверила* этому человеку — *навек*. Он спохватывается: идти. Она спохватывается, что идут люди, — и вообще, что *есть мир*.

Они расходятся, она — назад, он — вперед. Но над каждым из них то самое золотокрылое небо, куда он, опровергая все обвинения, закинул голову, — как домой! Не доказывая, не споря, просто оттуда — не снисходя... Края облаков сейчас жгуче-янтарны, а лазурь становится зеленой. И опять эта первая, почему-то всегда одна — звезда. Хрустальная! В ее трепете — что-то водное, влажная ледяная прохлада... Стал бы и смотрел на нее, без конца.

Ника входит в бюро. Она еще поработает, закончит раздел.

К ночи подоспела срочная работа, и все сотрудники проектного бюро просидели над ней глубоко в ночь. А когда разошлись, один остался сидеть за столом: изобретатель. Разложил перед собой чертежи...

Он кончил работать, когда за столом чуть засветилась верхушка далекой горы. Кроме нее, все спало. У него было странное ощущение — что гора *знает*, что он тут делает, и сочувствует ему как друг... От усталости все казалось прозрачным. Чувство чудесности. Одного не хватало — присутствия жены Наташи!

В этот день у Ники была мучившая ее тоска по сыну — и она жадно обрадовалась предложению Евгения Евгеньевича слушать дальше, если она хочет. От ночной работы усталость была вполне терпима. На ужин Матвей принес — чудо: жидковатую, но гречневую кашу! Был конец дня. В жилой комнате спали. Кто-то храпел.

— Дед купил соловья, — рассказывал он, — а к соловью прикупил дудку: она пищала тонким голоском, поскольку наличие соловья позволяло деду пищать в дудку в любое время, он начинал пищать в нее именно тогда, когда бабушка начинала медитировать. И кончилось дело довольно *плохо* с этим соловьем, потому что его кормили муравьиными яйцами, из них начали очень быстро выводиться муравьи в громадном количестве. Когда сняли первый слой яиц — то, что было внизу, оказалось чистыми муравьями, кои произвольно выходили оттуда и разбредались по комнатам.

Он помолчал — молчание длилось. Так с ним бывало, во время рассказов.

— Вы меня спрашивали о моем отце, Ника? Отец мой — человек с очень отточенным вкусом, благодаря именно этому вкусу он сделался замкнутым человеком, влюбленным в искусство. Вся свою жизнь он построил на противоречиях. Так, он всегда хотел заниматься только искусством — и всегда занимался делами прозаическими. Он хотел коллекционировать прекрасные и редкие вещи, а покупалась какая-то гадость. Он был человек болезненной застенчивости, высочайшей культуры, и большого образования, а производил впечатление совершенно среднего человека, потому что очень редко говорил.

— А с *вами* он говорил?

— Когда я был совсем маленький, он, как большинство отцов, мало мною интересовался. Это естественно. Когда я подрос и начал сам интересоваться тем же кругом вопросов,

я постоянно приходил с ним в столкновение, потому что именно то, что я считал в искусстве наиболее ценным, он считал как раз наоборот; и то, что было священным в этой области для него, я считал совершенно второстепенным. Он был большим поклонником французских импрессионистов, которым я отдавал должное, но от которых был очень далек. А до начала наших с ним бесед — я напоминал ему о себе только как бы нечаянно, и всегда неожиданно, докладами матери, что я опять в чем-нибудь провинился, что-нибудь выкинул — странное. Тогда он хмурился и говорил нечто вроде: «Негодяй какой-то растет».

Рассказчик сказал это не без юмористической грусти. Ника рассмеялась тоже.

— Ну, а мама?

— Мама была ближе к нам, детям. Но у нее было столько дел, целый дом. И к тому же занятия своей внешностью; к этому ее вынуждало положение хозяйки дома и, кроме того, — красота. Моя мать была красива. Мы росли под неусыпным наблюдением выбранных ею с этой целью людей. Сама же она как бы была высший арбитражный комитет, дававший более общие и директивные указания.

Кто-то шумно вытирал ноги в тамбуре. С прорабом входил Мориц:

— Необычайные вести для вас из БРИЗа, Евгений Евгеньевич, — сказал он, — вам удача и добрые вам вслед пожелания, но как мы будем без вас... Если это станет ся...

А дальше была ночь. Сегодня не было срочной работы и все разошлись по «домам». Но, должно быть, какой-то из работников проектного бюро забыл что-то на одном из столов, потому что — не зажигая электросвет, а всего с карманным фонариком идет человек от стола к столу. Кто это? Забыл? Ищет что-то? Такой лощеный молодой человек, всех любезнее с Никой (— «Дама!»). Blondин с аккуратным рядом посреди узенькой головы, с чем-то птичьим в близко поставленных глазах, узких и светлых. Он стоит над столом Евгения Евгеньевича. Отодвинул шхуну. Наклонил карманный фонарик, он рассматривает там что-то на папке, перевортывает, поднял лист, прочитал что-то, пересчитал листы. Поставил шхуну на место, потушил фонарик и вышел из бюро.

Г Л А В А 12 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЮНОСТИ МОРИЦА

Все разошлись. Мориц читал газету.

— Я решила: я буду писать о вас — поэму, — говорит Ника Морицу, — но мне нужен материал. Дайте мне как бы краткий обзор ваших встреч с людьми — и любовных, и вообще важных, — а потом выберу то, что мне надо. Любовь — если не было, страсть. Дружба...

— Видите ли, Ника. — Мориц, встав, стоял спиной к окну. — Вы оперируете словами «страсть», «любовь». Хотите знать «главное»? Я не знаю! Может быть, главное было, — то есть всего сильней, — то, что не получило воплощения. Один взгляд! Я сразу узнал, что это — именно то (что — я не знаю), но те глаза обещали все то, чего не было у меня в жизни. Я вообще не смогу осознать, как много я потерял, что эти встречи не сделались жизнью... — Он теперь шел по комнате, глядя вперед и вверх, стремительный, упругий и легкий голос виолончельными звуками шел за ним. — Не помню черт. Взгляд! Он и сейчас стоит передо мной.

«Вот его доминанта! — еще раз императивно сообщает она себе. — (Хотя он говорит об этом торопливо, может быть, уже каюсь, что сказал...) — Вот фундамент поэмы, не забудь! Не отвлекись по пути, запомни. Ключ! Те, кого он любил — терпели не меньше, чем я, которую он не любит. Его «да» были — нет.

Она готова уже почить на высотах, предлагаемых ей этой мыслью, но легко, мотыльком, порхнуло: «...а есть ли у него — душа?»

— Я опасаясь одного, — услышала она голос Морица, — вы сделаете из вашего героя какого-то Чайльд-Гарольда. Это будет фатальная ошибка! Сдерните с него, прежде всего, плащ. Вам для правды всей вещи надо найти ключ к тому, что это все в общем не так уж сложно! Что нет загадочного! Но также — что нет и поэмы. Подчеркните, что герой ваш — это, может быть, для него характерно, подумайте, — никогда не обижается на то осуждающее, что в лицо о нем говорят. Может быть, он не так-то уж очень много видел ласки, настоящей? Не знаю. И, может быть, при других условиях и можно бы сделать так, чтобы выдернуть колючки ежа из него. Попробуйте!

С мгновенной грустью, уронив было взлетевшие крылья, Ника говорит себе:

— Если б это слово — «попробуйте» относилось к его ко-

лючкам ежа! Увы, оно относится к поэме. К моей поэме о нем... Как сложны — клубок! — наши чувства!

— Но вообще-то говоря,— говорит Мориц,— нелегкая вам будет задача...

— А почему, Мориц, вы *охотнее* стали мне о себе рассказывать?

Он не слышит? Он побарывает легкое раздражение. Эта вечная *игра* ума ее — утомительная... Отчего, между прочим, когда человек молчит — его уважаешь? Зачем человек говорит? Нет, он слышал! Он думает...

Если бы Ника *не* задала этот вопрос... И вообще: отношение к ней увядает в *беседе* и расцветает, как только наступает молчание? А она так любит говорить — и так любит слушать, когда говорят...

— Во-первых, потому, что это вообще со мною бывает, что я иногда начинаю говорить о себе, и тогда могу рассказывать — часами. Во-вторых...

Она перебивает его:

— Я знаю! Потому что из этого будет поэма, то есть *дело*, и вы, как деловой человек...

— Да, может быть.— Он начал свой путь по комнате, часто взглядывая себе под ноги.— Всего легче вам, быть может, понять все это, как поэту, писателю,— на моих отношениях с женой, которые длятся уже почти двадцать лет. Женился я чрезвычайно рано. В каком-то самом основном смысле только по отношению к жене я испытал вещи, ни разу уже позже не испытанные к другим. Когда мы встретились, мне было пятнадцать лет. Как я теперь понимаю, это было настоящее чувство, но — как вы знаете — я не люблю названий! Кроме того, я долго сам не мог понять — годы. Ни в ней, ни в себе. Она еще не была моей женой, когда мы ехали в поезде — долгий путь — из Сибири, нет, еще до этого. Я никогда не смогу позабыть,— сказал он согретым до дна голосом,— как я ходил с ней почти напролет все ночи по городу, легко одетый, в лютый мороз (она была *лучше* одета). Я не выношу холода — ног я почти не ощущал, онемели от мороза, и мы все говорили и говорили... Разве это *можно* забыть?

По комнате проходили люди — спешно, по-деловому, хоть и был нерабочий час... Боясь, что их прервут, Ника прервала его по-английски, протянув мостик к общению, продолжавшемуся на другом языке. Он тотчас легко подчинился, и хоть это было чуть медленнее, чем по-русски, она залюбовалась его *верным* подбором глагольных форм при таком сальто-мортале.

— Усталая от резких переходов моего общения и, может быть, еще неуверенная в себе... она стала выказывать благосклонность к ехавшему с нами моему товарищу. Вы знаете, что со мной было? — сказал он, остановившись перед Никой, подняв яркие, темные, суженные, сквозь нее глядящие глаза, — и во всем худом, точеном лице с несколько полным, хоть и небольшим ртом мелькнуло что-то оленье, — так показалось Нике.

— Но есть *другое* в моей жизни, что повторенья не получило, — это было тоже с женой, в поезде. Мы были тогда на путях. Были годы гражданской войны, достать ничего нельзя было. Я вставал, когда она еще спала, и в совершенно *диком* холоде — чтобы она сразу проснулась в тепле, преодолевая усталость и *ненависть* к холоду, растапливал печь. Потом доставал молоко (это была целая эпопея!) и варил ей его. Вот *этого* я никогда ни для кого больше не делал! *Это* было в моей жизни — раз...

— И вот *этого*, — сказала его слушательница, — я *никогда* не пойму! И как это взять в поэму? После «Перчатки» Шиллера! Я видала таких заботливых — и таких мужественных людей...

— Тут дело не в заботе, — упрямо отвечал Мориц, — после реплики Ники голова седого мальчика была высоко вскинута, и в четком, двигавшемся по теневому фону стены, совершенном профиле не было ничего от оленя.

— Заботиться о ком-нибудь — это *всегда* было в моей жизни, и, должно быть, это даже некоторая *потребность* моя, но...

Но Ника перебила. Все в ней пылало враждой к этому — в тяжелых условиях жизни, прожитой, после лет разрухи, требовавшей суровой, ежечасной героики за другого, — этот, как бы «сверху», тон отбора, тон не к месту изысканный. Роль, в которую нельзя было как-то особенно «вникнуть» и которой позволялось «никогда более в жизни» не повторить того утра, с заботой о печке, о добытом и сваренном молоке! Разве не об эпохе разрухи и голода говорилось? Разве о ней надо было — *говорить*? Вместо того, чтобы грести обеими руками, без разбора, все, что на пути близких... Она заметила, что он уже говорил по-русски. Но в ней накипело:

— Вы так запомнили через *всю* жизнь (и так, как по комнате шли) — *this poor milk*¹, как будто это *вообще* идет в счет, такой пустяк! Когда *были* судьбы, ежечасно и до последнего вздоха отданные другим... *Что* вы видели в жизни из трудностей, если вы *это* зовете трудным? Мне просто за вас —

¹ Это бедное молоко (англ.).

неловко... Я б, Мориц, со стыда сторела раньше, чем про это молоко рассказать!

Она разглядывала его цинически беспощадными, развенчивающими глазами.

— Roog milk! — повторил Мориц с внезапно вспыхнувшим взглядом, хоть они снова уже были одни.

— Вы, конечно, не можете понять, потому что не были в это время в армии, когда молоко было редкость и было *трудно* достать дрова, была же военная обстановка, это же выпадало из *стиля* всей жизни...

— Но запомнить — один этот раз! Это чудовищно... — не сдавалась Ника.

— Не раз, а довольно *долгое* время этот *раз* повторялся, — Мориц как резал ножом, — и я не забыл это не потому, что *это* было мне *трудно*, а потому, что *это* шло вразрез со всем жизненным складом! Я никогда не *показывал* моих забот о близких. Я никогда не давал обещаний, — сказал он вновь по-английски, так как входил Виктор, что-то весело говоря кому-то позади.

Беспомощное было в нем перед роком своего нрава, и ей стало жаль его.

— Но мне совсем неясна *жена* ваша, — сказала она печально, — *как* она живет, *как* воспринимает окружающее, какие ее чувства...

— Ее чувства — спрятанные... Она очень редко их показывает. Но она всегда обо всем имела свое мнение. Ее всегдашняя ошибка была та, что она считала, что недостаточно *умна* для меня, для моего общества, и, зная мое самолюбие, и из-за своей собственной гордости, боялась сказать что-нибудь, и она предпочитала в обществе — молчать. Может быть, *моя* ошибка была — что я очень редко ей говорил о моих делах? Пишет она иначе — свободнее, чем говорит. Она никогда не может найти столько слов, сколько находит в *письмах*; однажды в очень важном случае, который мог принести мне крупные неприятности и иметь ряд тяжелых последствий, я спросил ее, согласна ли она с моим решением, что я хочу знать ее отношение к нему; я восхитился тем, с каким спокойствием, с какой свободой она ответила, что я должен поступать так, как считаю нужным, не заботясь ни о каких последствиях. Вот *это* для нее характерно.

— У вас благородная жена! — сказала Ника.

— Она бы сделала *все*, чтобы мне было хорошо. Я для нее много больше, чем ее дети. Она бы *отдала* детей, если б это было для *меня* нужно.

— Да, это большая любовь!

— Вначале ни она, ни я не верили, что мы проживем вместе долго, и я ей сказал, что она должна добиться независимого экономического положения.

— Вы ей сказали это?

— Я же знал ее характер! Случись нам разойтись — ей было бы мучительно взять от меня помощь. В нашей жизни она целиком зависела от меня, но когда я был в малейшей опасности, когда болел — она обретала такую энергию, все удивлялись тому, сколько она могла поднять. На ней был дом, дочь, заботы о получении денег, она была беременна, неизменно дважды в день ездила через всю Москву в переполненных трамваях ко мне в больницу. Она подняла на ноги всех врачей, добилась всевозможных прав и разрешений, учредила при мне непрерывное дежурство — не думали, что я встану. Она буквально выходила меня. После болезни я должен был ехать в Крым, где была Нора, — женщина на моем пути. Жена знала это — и она делала все, чтобы я поехал. Она сказала мне: «Если это может тебе помочь — я буду совершенно спокойна». Это была величайшая жертва для женщины. А говорить — мы говорили мало. Мы так хорошо знаем друг друга. Собственно, нам не о чем говорить.

— Она когда-нибудь плакала... при вас?

И раньше, чем она досказала, он негодуя произнес:

— Н и к о г д а!

— Никогда... — любознательно и осторожно, словно рассматривала марку фарфора, повторила Ника. — Как интересно, для меня! «Я, должно быть, при всей моей сложности, настолько более проще, что... Чтобы никак не выдать своего чувства... И надо иметь в себе одну тезу, ни антитезы, ни синтеза. Я погибаю от антитез! Я не то, что Мориц, мало горда, я — много горда, как самая гордая женщина. Но я еще, рядом с этим, и самая жалостливая женщина — вот и получается суп!..» — Она оборвала разлет своей тоски, о себе признанный, потому что в вежливом молчании Морица (похоже молчал, между прочим, и Евгений Евгеньевич) ощутилось глубокое безразличие. Подавив вздох: — И когда вы входили, после этих ночных отсутствий, как вы говорили, — ваша жена вам никак, ничем?

— Ничем.

— Хорошо! — боролась Ника за свою героиню. — Ведь, — (и скользит резец), — в горе можно онеметь — как в счастье. Но вот обычно, когда она вас ждет, неужели она тут свое чувство не выдает, когда вы, наконец, входите! В отсутствие человека так боишься, что он никогда не придет больше, —

этого у нее не было? Дайте мне ее жест, чтобы я ее увидела!

— А нет никаких жестов. Чтобы броситься мне на шею — это вообще, может быть, только *раз* было, после долгой разлуки, после ее операции! Все это очень сложно, весь комплекс. Ведь она мне и сестра, и жена, и дочь... При нашем расставании я поцеловал ее лоб, поцеловал ее руку... Она сидела, как изваяние. Вот такой человек!

— Бывает она весела?

— Бывает, но редко. И тогда смеется как ребенок.

— Ее музыкальный... стиль! — стучит Ника резцом по мрамору. — Ну, как бы это: элегия? Ноктюрн?

— Нет, не элегия. Это глубокая, страстная, замкнутая натура.

— Ну что ж, вы *по себе* нашли человека...

Ника встает.

— Да, — говорит Мориц, — и встает тоже (аудиенция друг другу — кончена), — бывают люди разных категорий: такие, что жгут себя изнутри, — и кажутся холодными, но несущие в себе ежечасный кратер, огнедышащий...

— И как-то не падают туда, благополучно?..

— Ну, это как сказать, бывает, что... А, готова? — сказал он, принимая из рук Виктора кальку.

Начались рабочие часы.

...Ника попросила Морица рассказать о его прошлом — как материал к поэме о нем. И скрытный Мориц так легко отозвался на ее просьбу! Ника поверх всего понимала отлично, что это стало для него утолнением его нестерпимой тоски — здесь, на дне, после того, как он с комсомольских лет был *строителем* нового государства — он же иначе не говорил о Советской России, как «*моя страна*»...

Но то же было, только в другом ключе — с Евгением Евгеньевичем, но для него, человека совсем другого типа, чем Мориц, для него, любителя изящного, сам процесс рассказа, воспоминанья и *стиль*, при этом рождающийся, был некой с а м о ц е л ь ю, наслаждением, в котором он почти забывался от тягот заключения, оторванности, безысходности. Вот *этого наслаждения* рассказом, нацело не было в беседах Морица с Никой — а *только* одно забвение окружающего. Тем более что он часто переходил на английский язык, которым владел отлично. Тут было удобное для него совпадение, что и Ника этот язык — там, на воле, и преподавала, и была с него переводчицей.

Но Евгений Евгеньевич не так глубоко погружался в рассказ о прошлом, как Мориц, увлекаясь в нее своей стороной, с п о с о б о м выражения, потому и отвлекался от него сразу, как было пора ложиться Нике или когда вспыхивал свет, когда можно было вернуться к труду над любимым изобретением, продвигавшем этот труд к успеху (а его — к славе, что было его тайной мечтой: обрести успех — о с в о б о ж д е н и е...).

Мориц же, в ночные часы над чередой своих заявлений, свято верил правительству *своей* страны, которой был предан до самых глубин, мучаясь тем, как по *первому* заявлению не поняли т а м, единственное, что утешало его немного — что его ценили *здесь*, что он пользуется *здесь* такими правами, которых не имели другие заключенные, что он, собственно, кроме вопроса квартирного, живет наравне с вольнонаемными. Он забывался и в том, как был одет, вольнонаемные дамы звали его «денди»; даже делали ему авансы, нередко им увлекаясь (что он понимал отлично — но *никогда* не отвечал им, как это легко делал на воле). Что бы там ни говорили, тут он блюл честь свою и жены — гордой горечью.

Вот это восхищало в нем Нику, добавляя фантастичность в его облик.

Была уже полночь, и Ника, устав считать, разобравшись в своей путанице, кончила раздел. Она встала идти к себе, когда пришел из Управления Мориц. Он повесил пальто, снял кепи и обернулся к Нике:

— Я сказал вам, что никаких жестов не было, когда я входил. Но я же чувствовал, это же было совсем очевидно — что она счастлива! Подавая мне еду, сидя рядом со мной, в каждой неуволвимой мелочи она это счастье выражала. Когда я был дома, ей не надо было никого и ничего!

Ника снова села за свой стол. Странно, ее усталость о его голос — не разомкнулась. Она превозмогла себя. Понимая, что если, придя из котла управленческой работы, он, страстный работник, вошел в продолжением прерванного работой рассказа, — ей *надо* было выслушать, воспринять и запомнить — драгоценнейший, может быть, материал для поэмы. Но утомленье ли дня, или утомление иного рода — она слушала его сейчас насильственно. И росло в ней удивление, как *он* не чувствует этого, — ведь за последние полчаса она не подала еще ни одной настоящей реплики... А он говорил:

— Бывали случаи — не хватало денег, неприятности по службе, какая-нибудь неудача, — и я в минуты пессимизма го-

ворил ей об этом — она находила слова такого живого ободрения, так умела доказать, что надо просто взять себя в руки — и будет все хорошо... Я удивлялся ее силе!

«Зачем мне это все сейчас! — стонет все существо Ники. Ночь, день прошел, сил нет...» (Это простая ревность в тебе говорит, — останавливала она себя, — разве ты не заметила, что только к ней — и ревнуешь его, к ее преданности, так на твою в жизни твоей — похожей.)

— Я знал, что этот ее характер стоит ей всех ее сил, всего здоровья, бурное начало туберкулеза, опасная болезнь глаз — она же почти ослепла! — были платой за эту выдержку.

Он закурил и начал было, как обычно, ходить по комнате, но что-то в шаг сейчас не ложилось, должно быть. Он остановился, глядя поверх комнаты, в окно ли, где далеко, в черноте мигал огонек:

— Она всегда боялась, что может меня потерять!

Нечто гипнотическое было в его голосе. Пробуждаясь ему навстречу, Ника вдруг сказала себе: «Он *никогда* не называет ее *имени*, — заметь. О тех — имена. Ее имя он точно бережет — от слуха. От меня, от поэмы. Но это чудовищно, что он говорит! — думает — и молчит — Ника. — Каким же он вскрывается в этом! Что вместо того, чтоб *бороть* свой нрав — он оставил бы женщину, так преданную! Мать детей! Любимую им больше всего на свете — оставить за то только, что она любовь свою любимому показала... Адская машина, этот нрав! И так просто сказать об этом! Не усомниться в *праве* своем...»

— Так это же не *ее* характер, а ваш, — сказала она, — а она ему подчинилась.

— Вы, Ника, часто мыслите *формально*, — ответил Мориц, и, точно эти слова придали ему силы, он пошел в свой путь — по диагонали, от угла к углу, по пути отставляя то стул, то высунувшуюся рейшину, то угол чертежной доски. — Это было не *ее*, не мое — наше *общее*. Главное я знал — что я для нее — *все на свете*! И пришло это, как я уже вам говорил, не сразу — а через четыре с половиной года. Что же, она могла никого любить, кроме меня? Может быть, и могла бы — но *ничто* не уменьшило бы ее чувства ко мне!

(«И с *таким* чувством к вам, всю себя отдавшая с пятнадцати лет, — она все же не смеет говорить с вами! — думает и молчит Ника, — должна просить пощады — у соперницы, что ли?»)»

— В двадцать седьмом году она была на Кавказе, а я в Крыму. На обратном пути я заехал к ней, пробыл у нее

два дня и вернулся в Москву. Это было в первый раз, что я ее видел одну и не в нашей атмосфере. Общее мнение о ней было, что она самое веселое существо во всем санатории! И я подумал: я *подавляю* ее! Без меня она могла бы быть другим человеком...

«И все это скучно — как в книге! — думает Ника. — И люди думают, что та «дикая» природа — худшая! И стараются ее прятать. Не эта ли в биографии пушкинской юной Татьяны с ее пошляком Онегиным?»

— Я не раз говорил ей, что с другим она была бы счастливей! И всегда получал ответ, что *если бы* она могла начать жизнь сначала — она бы *повторила* ее!

(«Довольно! — Хотелось встать, потянуться — чтобы руки хрустнули! — и выйти в милую черную ночь. — «Дважды два» пришло в твою жизнь? Хочешь поэмы писать своей кровью? Что ж, пиши...»)

— Дочь писала мне, что мать к ней страстно нежна. Это — *ново*. Этого не было в мою бытность дома. К сыну — да, но он маленький. Он родился, когда я хотел с ней расстаться — из-за Норы. *Если бы* это случилось — мальчик должен был заменить ей меня. Я прочел это в ее дневнике, она вела его в те трудные дни. Я нашел его в туалетном столе, спросил позволения прочесть. Она разрешила — и потом его порвала. И мы не сказали об этом друг другу ни слова. Я не очень люблю тайны — но и нет у меня к ним нелюбви. Я только хотел назвать *цену* этой гордости моей жены.

— Спасибо, — сказала Ника, вставая, — и вдруг что-то подталкивает язык: — Ну, значит, просто ее гордость была больше ее любви!

— Да нет же! — (Мориц гневен, чистосердечен). — Просто есть разная гордость — и разная любовь...

— Любовь — одна, — упрямится Ника. Она не смотрит на Морица, смотрит *мимо*.

— Почему вы всегда так уверенно судите обо всем на свете со своей колокольни?

— Потому что не умею смотреть — с чужой! Потому что это та колокольня, которую я выбрала, чтобы с нее смотреть. Бросим, Мориц, и вам пора спать...

— Какая у вас уди-ви-тельная склонность к риторике! Вы же упрекаете живую вещь за ее название!..

Ника слушает с холодной улыбкой.

— Доброй ночи, — говорит она.

Но зато как хорошо — писать... Ночь, она одна — и сна ни в одном глазу. Куда делась усталость? Масло на волны,

волшебный бальзам. Тетрадь перерастает в план отступившей поэмы, повесть живет — всюю.

А через барачную стену, как через толстую вату, — «Мелодия» Рубинштейна. Это Мориц включил радио? В Москве еще только вечер...

Ника, как Хлоя, кладет лицо на руки и, блаженно опустив (как Вий) веки, — слушает.

И вот это таинственное существо — перед нею. Ника держит портрет жены Морица. (Она узнала, ее зовут — Ольга.) Ненасытно впивает она темный фон фотографической мглы, потертой, в легких трещинках карточки. Лицо в половину натуральной величины — ей в глаза прямо, как будто глядишь в зеркало. Облик, ею не виданный никогда более — во всей вечности! — неповторимый. Лоб более широкий, чем высокий, но и высокий тоже, обрывающийся совершенно горизонтальной линией темных, длинных бровей — при полной разглаженности, при их олимпийском покое все же кажущихся насуспенными — так они стремительно распростерты над широкими и длинными глазами. Пристальный, утверждающий, застенчивый, застенчивость борющийся, тяжелый взгляд. Он тяжел тем, что *приковывает*. Как много больше один этот взгляд дает Нике, чем все рассказы Морица! Этот взгляд молча оборачивается к нему — и рушились «города и годы». Вот чего он не умел рассказать! Ника все хотела ее слов, Мориц искал — их не было. Говорящей оказывалась немота... Полуулыбка рта негой отражена в глазах, неулыбающихся. Это нега веет в пушке ресниц, нижних. Лицо широкоскулое. В нем грация здоровья, упорной юности, отдающей *детством* в очаровательной и нисколько не грубой пухлости щек. Как из массы мраморной восстает линия — так из округлости этих девических щек устремляется строгий контур подбородка, привнося в это мраморно-плоское лицо женщины неожиданную хрупкость и остроту, некую внезапно-прощальность, нечто отрывающееся, ускользающее, берущее себя нацело назад из тела, застенчиво-торжествующее! В неведомый и неназванный дух. Нос короткий настолько, чтобы не быть названным длинным, тонок пластической тонкостью Греции. Идеальность пропорций, делящая черты, диктующая характер лицу, ждет вот именно этого рта, грациозного и стыдящегося, своенравного и все же спокойного. Гладь лба, разыскивающий взгляд глаз темных и все-таки *не* темно-карих, имеющий свет *под* цветом; задержанный трепет тонких ноздрей, горделивость губ, отдающихся *только* этому, навсегда. Чуть беспорядочный поток волос, тяжелых, пушистых, как *еще* одна и будто уже лишняя красота, небрежно, привычно отброшен-

ная назад за крепкую шею, переходящую гармонической линией в медленный спуск плеча. Темное платье, полукругом открытое,— все в напряженном покое. Это та полнота жизни, которую Ника не поймет никогда — потому, что Ника все хочет понять, а эта себя *не* понимает, она просто дышит, как бытие. Но она недоступна!

«Я бы могла любить ее...— говорит себе Ника.— Но любила бы она меня? Боже мой! — так взывает — не о себе, может быть... в *первый* раз о другом,— и я хотела Это воплотить в поэму... Но ведь *нет* таких слов! И — но...— она бьется об какую-то мысль, и ей не находит названия.— Это иметь! Знать своим! И от этого — отрываться... Какой же силы *зов* в новые бездны имеет в себе тот, кого эта женщина любит! А ты? — спрашивает *ее* кто-то,— после *того* полета, в котором прошла твоя юность и часть зрелости,— как же *ты* вошла в эту, чужую же тебе, бездну, в душу этого человека? Он же ранит тебя *каждый* день, в нем *нет* той «высокой ноты», которая *тебя* звала от рождения (тебя и всех героинь книг, которых ты любишь, ты же — не одна!..) *Нет* в нем? — отвечает она смятенно.— Почему же *как* только я *хочу* от него оторваться — он предстает опять Кройзингом, героем «Испытания под Верденом»? Почему же бьюсь о него как о стену — и не ломаю себе на этом крыльев,— *ращу* их? Да разве оттого я не оставляю его, что мне что-то в нем *надо*? Не за его ли душу я борюсь в смешных рамках этих поэм-повестей? Не его ли душе служу, не ее ли кормлю — в страхе, что вдруг оступится в какие-то бездны, где возомнит себя — дома? Не для того ли зову его к ответу за каждую *не* ту интонацию? Господи Боже мой...»

Она, как в детстве, в слезном пароксизме, кидает о стол голову, но глаза сухи, ей кажется — больше нет сил. Ночь тиха. Смолкла Москва, все звуки утихли...

«А ты — спишь? — спрашивает она немymi губами — ту».

ГЛАВА 13 МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

Ника была на краю отчаяния: только что Мориц ей рассказал, что написал жене, чтобы она больше не слала ему посылки, не лишала детей нужной им еды. «Я сыт,— сказал он,— а Ольге, после тринадцати (!) операций глаз, запрещена глазная работа, и она работает в две смены с лотком Моссельпрома. На последней фотокарточке она стала неузнаваема. Я отказался от помощи...»

Вертя арифмометр, она думала о том, что ей делать... Но ничего придумать было нельзя, кроме — письма Ольге, опровергавшего его письмо. Умолить *ее* не прекращать посылок, без которых погибнет он, так сжигающий себя на работе, ведь ночью не прекращает новых и новых способов в заявлениях излагать свое дело, настаивать на ошибочности обвинения...

Но последняя капля, переполнившая его чашу, — было письмо его дочки, Бэллы, девочки пятнадцати лет. «Папа, — писала она, — не пиши длинных заявлений, мне сказали — их никто не читает...»

Письмо Бэллы вызвало *его* письмо к ее матери — он начал терять веру в правосудие *его* страны, он решил пустить ладью свою по течению — но *его* письмо к Ольге вызвало к жизни решительное письмо к ней — Ники. «Ольга Яковлевна, — писала она, — не верьте мужу. Ему *нужно* усиленное питание. *До* меня он — неразумно, нелепо все ставил на общий стол. Я это прекратила. Жиры я превращаю — на кухне — в печенье. Ни одна капля пользы не минует его...» Далее шла просьба прислать свой портрет и Юры — сына, она их повесит в его шкафчике, так что как только откроет — увидит.

Стук арифмометра, как вьюга, заметал все.

Мориц проходил по комнате с копией накануне отосланной в Управление сметы, когда его окликнула Ника. Он подошел. Молча, незнакомым ему — чуть повелительным и одновременно как бы просящим — движением она подвигала к нему тетрадку. Молча он открыл ее. Это были стихи. На первой странице стояло: «Мыльный пузырь». Его брови поднялись: что-то родное. Как она могла знать? Они с братом в детстве, задолго до первой войны, увлекались этим делом. Брат искусно пускал их из особо свернутой газетной бумаги, он же отстаивал метод «трубочный» — из заграничной настоящей трубки, легкой, как застывшая морская пена (или кто-то сказал, что так, и они верили...).

Ее стихи? Собачьим чутьем ощутив, что момент этот для нее — особенный, он вложил тетрадь в ведомость сметы — неучитываемое мгновение засомневался, не надо ли что-то сказать, решил сомнение — отрицательно, и отошел к своему столу. Все кругом работали. Щелкали арифмометры, счеты, и у кого-то легким, родным со школьной скамьи звуком, воздушным, только уху чертежинскому слышным, скрипел рейсфедер о гомеопатические ворсинки полуватмана, отдаленно напоминая полет норвежских коньков по льду. Это были стихи,

ему посвященные. Это обязывало? Этого надо было ждать...

Что-то хмуро легло у его рта. Незаметно ему порой сдвигались брови. Стихи были неровны, но несколько было хороших. Были портретные. Лирика. Риторика. Мимолетно он удивился в себе — отсутствие наблюдательности. Что-то понимая, не анализируя, он шел мимо этих предчувствий. Ника же, женщина, несмотря на ум, несомненный, и надо же было, все же... Не предполагал, не предвидел. Легкая тень досады сжала что-то внутри. Осложнение и без того неблагоприятной ситуации?

В юности он не любил идти по натертому паркету. Сходное балансирование предстояло теперь. Неприятности в Управлении. Срочная работа. И нет вестей из дому! И это...

Он читал со смешанным чувством досады и удовольствия. Прочел и перечел вновь.

Мориц читает стихи Ники. Это был для нее момент большой важности. Но, преодолев первый миг,— морщины его лба — она сразу сошла с подмостков Дузе — легкой ногой...

Ника была совершенно спокойна. Точно дело шло не о ней. Она видела его наклоненную голову, сейчас он ее подымет, дочитав последнюю строку. Он, конечно, не будет знать, с чего начать, учитывая ее волнение. А этого волнения — нет! Испарилось. За это она так любила «Дым» Тургенева, дым от огня. Дым, испарение огня, пар, в облако уходящий... В ней было любопытство. Сознание юмора минуты. Ответственность за совершенное. Холодила — или грела — непоправимость. Безвыходность положения их обоих! И — и дружеское участие к нему и, конечно, немного иронии. Большое переполняющее чувство достоинства — именно тем, что оно ею так сознательно было попрано, давало ей ощущение горького счастья.

Он дочитывал листки, когда уже начался перерыв, и поднял глаза.

— Нет,— сказал он по-английски,— с одним я не согласен — с названием. Это не мыльный пузырь, нет!

— О! — сказала она иронически.— А что же это?

— Это? Это — тут есть очень грациозные вещи, обаятельные...

Он перелистывал тетрадку.

— Какое вам нравится больше? — немного лениво, холодно спросила Ника.

— Вот это хорошо,— сказал Мориц и стал читать, пропуская многие строчки,— стихи «Сон»,— кое-где кошачьим чутьем останавливаясь, чтобы не прочесть дальше. Обходя капканы...

...Рука засыпала, и пальцы, беспечно
Играя Летейской струей,
Роняли страницу...

...Во сне и стихов
Ты уже не алкал.
Рука разомкнулась,
и томик упал.

...Стою, занемев на запретном пороге.
— Неможно глядеть, уходи...
О римлянин юный, не тяжестью ль тоги
Уснуло сукно на груди.

— Грациозно,— сказал Мориц,— и это:

У век, у висков — выражение оленя,
Что ранен. Недуга насмешливый гений
Качает твою колыбель...

...Бессилье глотая
Пьянящим клубком,
С ковра поднимаю
Уроненный том.
И тению к двери.
А томик — в руках.
Открыт, как упал он,
На этих строках...

— И вот это хорошо тоже:

Струился от строк этих
Горестный гул.
На этих словах он,
Быть может, уснул...

Ника смотрит, как Мориц читает ее стихи, и в ней —
отдаленно — будто кто-то со стороны читает, звучит одно из
стихотворений, ею Морицу посвященных:

Ваша улыбка насмешлива, даже когда
Вы в рассеянности
Уж позабыли о ней. Даже когда Вы —
больны.

В играх с собакой, с котенком еще
Ваши губы посмеиваются,
А уж глаза отвлеклись. Дали какой глубины
Тою параболою, что теряет концы в бесконечности,
Меряет все еще суженный легкой улыбкою взгляд,
Шелковый в ней холодок — в

Вашей мальчишней застенчивости,
В самой любезности Вашей,
Столь льстивой (сладчайший яд!).

Я не дивлюсь, что так темны, так смутны
ходящие слухи,
Вы клеветой обвиты, словно лианами лес,

Бог мой за Вас — ежечасный. Но люди —
и слепы и глухи,
Ларчики их так просты! Так желанны
им мера и вес!...

Сейчас он встанет и положит листки на стол.

Он встал. Положил на стол листки. Полувопросом:

— Вы мне не оставите их?

— Нет.

Листки мягко ложились, очертания их были легки. В комнате висело молчание, тревожное, как метнувшаяся и затихшая летучая мышь. Мориц прошелся по комнате.

«Он сейчас уйдет! — подумала Ника. — Отлично!»

— Я вам говорил, — сказал он по-английски, проходя мимо стола, за которым она сидела (по комнате шли люди, говорили, кидали дверь в тамбур), — что я не заслуживаю вашего отношения. Вы делаете из меня какое-то подобие вашего идеала, хотя вы несколько раз и отмечали мои дурные черты. Я иногда бываю совсем *пуст* от всякой душевной жизни. *Живого* во мне всегда *только* одно: это моя работа. Я *очень* ценю хорошее отношение к себе, больше может быть, чем кто-либо, и это понятно. Но мне...

«Когда придет «но»?» — созерцательно, но несколько нетерпеливо думала Ника.

— ...Люди чаще враждебны, чем дружественны, потому что я никому не спускаю, не кланяюсь и не лгу. Но...

«Наконец?»

— Я очень *трудный* человек, Ника...

В ее сознании метнулось: «*Маленький* человек!..» Она бы, кажется, ему простила: и то, что он равнодушен к ее душе, возьми он человеческий, теплый тон, назови он вещи их именами, хоть только по-братски. Он снял бы с нее половину ее тяжести. Но он отступал, отклонялся, отнекивался. Он думал о *роли*. Не о существе дела! Он думал *не* о ней, — о себе. Человек, *неспособный* быть даже братом, — что же это за человек? «*Даже* братом». Но это же *очень много*, это же драгоценнее — так многого...

Но он говорил, надо было слушать.

— Вы сказали, что я жесток. Может быть. Человек не сделан из мрамора... Когда узнаешь, что человек тебя... — он искал слово и, неволимый тем, что за спиной кто-то вошел, и, может быть, потому, что английский язык в данном пункте был пластичней русского — «likes you» (глагол «нравится»), удачно избегнув «loves» («любит»).

— Вы однажды спросили меня, два ли во мне человека. Я думаю, во мне много людей... Я не чувствую, чтобы я был

мистер Хайд, но ведь я и не доктор Джекиль... *Все* — проще. Вы преувеличиваете меня!

Ей было немного стыдно, как за провалившегося на экзамене сына. Она сказала вежливо:

— В ваших словах — противоречие. И «все проще», и «не два человека, а — много». Это же выходит *сложней*, по вашему Евтушевскому!

И пока он возражал, что-то умное, ловкое (по Евтушевскому!) и, может быть, даже — тоже по Евтушевскому — верное, она погружалась в мысль, что, может быть, в нем ничего не было особенного — *казалось!* Разве не было способов тонко, умно и *сердечно* вести себя с человеком! *Способы* — были, если б была глубина! Неужели ее не было? И в то время, как он начинал какую-то фразу — *enough*¹, прошу вас, довольно! — сказала она очень быстро и очень насмешливо, взяв листки, она шла к двери. Кто-то выходил, она вышла вместе, и по мосткам застучали шаги. Мориц постоял с минуту, прислушиваясь, идут ли шаги в молчании, с облегчением — услышал голоса, идет ли кем-то шла, разговаривая. Он прошел по комнате, закурил — и вышел на крыльцо. Те уже — скрылись. Вечер был сырой. Он вошел в дом и сел за газеты.

Несколько дней спустя, в час отдыха, Ника сказала Морицу:

— О жене вы *дали* кое-что. Дайте другие женские типы.

— Хорошо, — ответил Мориц, пожав плечами, — только трудно говорить так — по заказу.

Он подавляет раздражение. И Ника слушает, как некая женщина, увиденная им впервые, после ванны в Кисловодске, очень сильно накрашенная, особенно глаза, — против краски губ он ничего не имеет, это красит и что-то придает лицу (жене своей он всегда привозил из заграничных поездок отличные губные карандаши), — но эта женщина была накрашена не в меру. На ней была красная шелковая косынка на светлых волосах, голубые глаза. Она в том кругу была известна тем, что незадолго до этого ее муж покончил с собой. Бегло набрасывает он, видимо, против воли свой роман с этой женщиной (ее имя Женни, запоминает она), отчаяние жены, гордо ею от него скрываемое, желание Женни его женить на себе. Он переломил себя, заглушил страсть — работой. В десятидневный срок. Работал до изнеможения.

— Это хороший способ, между прочим, — говорит он.

¹ Довольно (англ.).

(«Не мне ли он его рекомендует? Чтобы я завтра сделала целый том калькуляций!»)

— Это была единственная ваша страсть?

— Нет, я много раз увлекался. Но это чувство стоит особняком.

Их прерывают. «Одно странно,— думает Ника,— почему он всегда *в бюро* мне рассказывает? Не позовет пройтись хоть по зоне — в выходной? Чтобы не увидели — вместе?»

Был час перерыва. Так случилось, что никого не оказалось ни в рабочей, ни в жилой комнате. Ощущение одиночества и возможности действовать пронзило Нику. Не рассуждая, она бросилась к Морицеву, сейчас закрытому, шкафчику, отомкнула крючок, державший с верхнего конца крышку,— и быстрыми легкими пальцами, двумя английскими булавками—больше нечем было! — крепко-накрепко прикрепила к краешку верхней полки вынутый из только что полученного письма Ольги ее фотопортрет. Но в руках скользила маленького размера фотокарточка *сына!* Юрочки... Тихо, никто не идет. Она кинулась в соседнюю комнату, к своему столу, нащупала под сердцебиение скрепку и только успела скрепить ею облик мальчика с фигурой матери, как наружная дверь — стукнула, за нею — скрип внутренней двери — на пороге стоял Мориц.

Взгляд — молчание — все во мгновение поняв, он понял и то, как быстро и молча Ника вышла из жилой комнаты — точно ему показалось, точно и не входила — он стоял и смотрел на обожаемую жену, на подросткового, полужнакомого сына...

Еще раз стукнула наружная дверь — это Ника спешила уйти из барака по мосткам — к себе, в женскую — скорее, полнее оставить его с семьей, с отступившим, оставленным, с тем, от чего судьба оторвала непонятно,— насладиться лицезрением — судьбой же! — руками Ники протянутого подарка — в этот неожиданный, редчайший час одиночества, драгоценного отсутствия всех...

ГЛАВА 14

СТРАНИЧКА ИЗ ОТРОЧЕСТВА

ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬВИЧА.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ЛЮБИМОГО МЕДВЕДЯ.

ЕГО НАТАША

— Когда я начал изучать то, что полагалось мне изучать по возрасту,— начинает Евгений Евгеньевич,— мое воображение поразил эпизод жертвоприношения Авраамом Исаака. Я без

конца глядел на картинку, запечатлевал все аксессуары события, и я решил уподобиться старшему из двух поименованных лиц. Но с первых же шагов появились затруднения. Прежде всего: то, чему приносился в жертву библейский мальчик на картинке, не присутствовало; мне это показалось важным упущением, и я решил это дело исправить. Я долго думал над выбором объекта и, наконец, наиболее подходящим счел изображение, вырезанное из дерева, которое, как я теперь понимаю, было — кариатида: фавн, держащий на голове корзину плодов. Это был кусок детали старинной обшивки, фламандской работы. Размер ее был полметра. Она стояла в далекой комнате в дальнем углу, имела таинственный вид. Уединенность самого места как нельзя лучше подходила к моему замыслу. Я почему-то был уверен, что все это не заслуживает подозрения взрослых. Когда божество было найдено, встал вопрос о жертве. Было совершенно ясно, что вся эта процедура имела какой-нибудь смысл, только если жертва была чем-то особенно ценным, как было и с Исааком. Поэтому мой выбор пал на одного из моих двух любимых медведей; они были одного возраста со мною, они как бы родились в доме. За свою не столь долгую, сколь трудную карьеру им пришлось перенести много испытаний, особенно самому любимому из них. Он пострадал, ночуя на дожде и будучи засунут в горшок и потом стиран. Он был уже не желтый, а зеленовато-серебряный, как старые блондины бывают, нечто среднее между золотом и серебром. Или когда старики курят и усы у них — желтые.

Да, Ника, только усы — рыжие. Мишки стали совсем светлые и такие мягкие, что, когда их поднимали за шкурку, она отвисала на них, как на породистых собаках. И вот этого, наиболее облезлого и наиболее измученного и любимого особой нежной любовью, я и выбрал, когда пришлось выбирать. Но в последний миг я не смог и взял в качестве жертвы все-таки не его, а его брата. Тогда встал вопрос об огне: на картинке огонь был виден отчетливо острыми белыми языками; в стороне от него старик закалывал Исаака. Это мне было на руку: я понимал, что, если огонь развести непосредственно под мишкой, могут произойти неприятности с мамой. В качестве сосуда для огня я выбрал кукольную суповую миску; в нее я налил красного зубного эликсира, и, захватив с собой большие нянины ножницы, разнимавшиеся по одному лезвию, я с бьющимся сердцем отправился в далекую гостиную. Что эликсир горит — я знал из предыдущих опытов. Ножницы, благодаря своему устройству разниматься, служили

во время игр кинжалами и тщательно прятались няней. Но я овладел ими.

Я положил книжку на раскрытой странице на стол. Сердце мое колотилось: оно отказывалось верить в то, что утверждал ум: я принесу его в жертву! Я поставил перед фавном-кариатидой кукольную миску и зажег эликсир. В полумраке, под высоким потолком было видно, как попыхивает желтый с синим огонек. В далекой гостиной была абсолютная тишина. Я взял половину няниных ножниц и занес над мышкой, как кинжал. Я занес — и длит это мгновенье не только потому, что мне было так жаль любимого многострадального медведя, но еще потому, что это был самый патетический миг: он больше никогда не повторится. Я вонзил лезвие в мишкин живот, и мишка лежал с проткнутым животом — ничего не менялось как будто. Более того, мишка не поддавался. Тогда я соединил концы ножниц и разрезал ему шкуру по животу и спине... На мгновенье любопытство оттеснило жалость, я рассматривал его внутренности, так долго составлявшие для меня загадку. Это были очень маленькие, как сушеная лапша, завитые стружечки, спрессованные, и в середине — маленький механизм, смутно прощупываемый сквозь шкуру, посредством коего мишка когда-то пищал, но уже давно был сломан. Концом ножниц я ковырнул его, зная, что он не пищит, просто так, — и выронил ножницы, потому что в том, что было еще мышкой, при свете догоравшего эликсира раздался, годы мною не слышанный, жалобный мишкин голос. Потрясенный, в слезах, я сидел на корточках над исковерканной мышкой, не смея коснуться его, и обливал глупое дело своих рук еще более глупыми слезами...

(«Как хорошо, как по-настоящему хорошо, что есть вещи, которые о т в л е к а ю т! Войди Мориц сейчас — я другая, чем когда он уходил. Да, но и он другой... И,— думала Ника,— вы опять встретитесь заново. Пусть! — сказала она себе, мишка придал мне силы».) Сквозь мысли свои она слышала голос:

— Покуда длится первый пароксизм горя, мне казалось, что он никогда не пройдет. Но вот я поднял глаза, и мне стало жутко: было почти темно, огонь потух, стоял легкий смрад, на дне миски я различал грязную жижу, и была особая пустая тишина, потому что она сливалась с темнотой, из них делалось что-то одно. Но этот страх надо было преодолеть — другим, более деловитым страхом: надо было собрать все свое хозяйство и незаметно вернуться в детскую. Сестра все еще вышивала у окна крестиком по канве, точно ничего не случилось. А я шел, выросший на целую голову. Я помнил не-

мой взгляд фавна-кариатиды: он, которому я принес свою жертву,— он осудил меня! Связанный в узелок мишка жег мне руку. Я засунул его под шкаф, потому что из-за узости пространства туда не пролезала половая щетка.

— И он так и остался там? — спрашивает Ника.

— Нет, перед каким-то большим праздником отодвинули все шкафы, и были обнаружены мишкины останки. Я никому не объяснил истинной причины их. Я чувствовал, что надо молчать. И решили, что я это сделал по глупости.— «А тебе,— сказала бабушка,— больше игрушек дарить не будем. Потому что мы с дедушкой думаем, ты умнеешь, а ты все глупеешь». Она...

Евгений Евгеньевич останавливается на полуслове: на пороге стоит конторщик и протягивает письмо.

— Только сейчас разобрали вчерашнюю почту.

Серый конверт с синенькой узкой каемкой! Евгений Евгеньевич теряет ощущение яви. Сердце бьется — и биение не смолкает.

— Вы простите меня,— говорит он и выходит в рабочую комнату.

При ярком свете, наклонясь над деталью локомотива XX, нет XXI века, не замечает, что оперся о ватман, он читает следующие слова:

«Мой Женя, боюсь, что я обеспокоила тебя припиской в моем последнем письме. Да, это было испытание. Если б ты встретил его *не* на моем пути, ты бы дал ему руку, и вам трудно было бы разойтись. И ты, и он были вдаль. Я была одна, и должна была — выбирать. Если когда-нибудь, Женя, я могла уйти от тебя, то — *тогда*. Он уехал. Только раз поцеловав мою руку. Он ждал мой ответ. Я прошла через пустыню, я ее прошла, мой любимый. И я вышла не к нему, а к тебе. Бери меня навсегда! Пусть моя жизнь будет где угодно и какая угодно, пусть трудная, пусть бедная даже — только с тобой. И чтобы близко была моя мама и маленькая сестричка. Еще одного бы хотелось (не Фергана — все равно), чтобы не было очень холодно, где мы будем жить, не так холодно, как было тут этой зимой. Но, может быть, если б ты был со мной, мне, Женя, не было бы так холодно. Если б я могла приехать к тебе! На три дня! На свидание! В другом лагере, где муж подруги, так разрешили! Но мама больна. Женя, Женя, будем же мы когда-нибудь вместе!..

P.S. Я думаю о той далекой горе, которую ты видишь только на рассвете, и мне кажется, что я вместе с тобой гляжу на нее. Твоя Наташа».

Это было в первый раз, что она так подписалась. Слово

«твоя», такое банальное, пронизывает его с первозданной силой. И он до сих пор не знал, что буквы, выражавшие его имя, были так похожи на его звук: так застенчивы и ласковы, смелы.

В этот миг, должно быть, ночной гном, потерянный при музыкальном бегстве гномий малютка, пытаюсь войти обратно в репродуктор, чтобы попасть домой, в григовскую пещеру, подымает переполох в музыке и она спешит ему навстречу, как море — наяде. Миг тишины — и комната полнится ядовитой нежностью бессмертного «Не искушай». Человек садится в кресло, письмо в руке, локтем другой упершись в стол, кистью рук — в лоб, слушает. Знает ли он, этот высокий, бледный от бессонных ночей человек, что борется с ним против его счастья все та же гравюра «Меланхолия» Альбрехта Дюрера — свиток, циркуль, песочные часы, и «Malaria» Тютчева, и его же бессмертная строчка: «Бесследно все, и так легко не быть...» — и к ночи быть с ней!

«На свободу!» — кричит в груди его сердце. Человек, делающий революцию в технике всего земного шара, смотрит на штамп и число на марке, он сопоставляет и вздрагивает. Письмо было послано в тот самый день, когда он разрешил свою техническую задачу. Когда он бросил ей вызов в пространство, раскрыв перед ней те двери, которые не сумел раскрыть для Мод — Мак Аллан («Туннель» Келлермана). Да! Но ведь н а п и с а л а она письмо раньше? Значит, не он, а она тронула стоячую воду его замершего творческого подъема. Так это, действительно, была нить Ариадны, дрогнувшая в руке Тезея? По Евтушевскому, это называется «совпадение». Он внезапно видит, как потемнела его трубка и изображение турка на ней: уже не светло-кофейного, а темно-шоколадного цвета! Так и должно быть по свойствам материала, принятым в расчет мастером. Но — так скоро! Ведь он курил почти сутками, не выпуская ее изо рта. Подчас, в острую минуту расчета, почти до головокружения. Глаза турка — белые, как у змеи в спирту. Белые завитки бороды, в резких тенях по очерку линий. Трубка — друг. И есть еще маленький друг. Он снимает с полки ящик со шхуной... Он забыл, нацело, что Ника его ждет.

ГЛАВА 15 ЖОРЖ И МОРИЦ. ТЕТРАДКА НИКИ

Когда позже Мориц вспоминал событие этого вечера, он себя спрашивал: «Почему оно показалось мне неожиданным?»

Ведь я давно думал о чем-то подобном...» Во всяком случае, когда он подходил в поздний ночной час к бюро, он чувствовал себя очень усталым после долгого совещания и шел с одним желанием — лечь. Но в рабочей комнате кто-то был. Он сделался весь зрение, весь — слух! Слушать, собственно, было нечего, звуков — не было. Но свет, низкий и неуверенный, мог исходить только из карманного фонаря, прикрытого рукой. С минуту стоял Мориц недвижно, затем прошел неслышно, как умеют ступать только цыгане! — замер в чрезвычайном волнении: над столом Евгения Евгеньевича, над его обычно сложенными на ночь в огромную папку чертежами стоял человек, наклонясь над раскрытой папкой, из которой было вынуто и сложено несколько отобранных чертежей. Они лежали отдельно. Это был Жорж. При свете стоявшего боком, спинкой к окну, электрофонарика, он укладывал остальные — в папку. В следующее мгновение Мориц распахнул дверь, и рука его цепко легла на плечо гостя, ночного.

— Нет, не рвись! — громким шепотом сказал над самым ухом пойманного, который хотел было вывернуться из-под его руки. — На таких, как ты, я изучил джиу-джитсу, один миг — и ты конченный человек! Новичок — вижу. Глупо сработал! Если б *он* тебя тут застал — тебе бы не отвертеться...

Жорж стоял неподвижно, губы дрожали.

— Молчи! Слушай! Если проснутся... Сейчас все проверю и спать иди, дурак и нахал! Если ж хоть *что-нибудь* тут, — он показал на папку, — разобрал — молчи по гроб жизни! Слово скажешь — ты у меня в руках. Мне поверят! (Он снял руку с плеча Жоржа.)

Тот стоял, онемев.

Мориц пересчитал чертежи, завязал папку. Ему показалось, что пальцы левой руки вздрагивают («Сердце шалит!» — сказал он себе).

— Все в порядке... Стой! — шептал он и — медленно, как бы решая — сказать? Нет? — Если такая минута придет, мстить захочешь, быть окончательным подлецом — помни, что у меня семья, и с тобой я сейчас — рискую. Мне и так жить недолго. А ты — молод, здоров, тебе — жить! Так живи — человеком... Счастье твое, что все спят!..

Ни слова не произнеся, вышел Жорж... Мориц распахнул дверь в ночь. Постоял, поднял голову. Там хрустально мигали звезды.

— Просто детектив... — сказал он себе с усмешкой.

Дождавшись, после обеда, ухода всех, в час короткого отдыха, Ника подошла к Евгению Евгеньевичу:

— Я вам обещала дать прочесть мои тюремные и лагерные стихи...— сказала она, озираясь.— Я вчера их целый вечер переписывала, после проверки, на нормальные странички, для вас... посмотрите, с чего!

И она показала крошечку-книжку папиросных листов для самокруток; крохи-листочки были написаны мелким-мелким почерком.

— Подумайте, уцелели! В глубоком (я его надшила) кармане казенной юбки — кроме меня ведь никто и не прочтет. И это о с т а н е т с я! уцелеет! а это,— она показала на тетрадочку,— вы, когда прочтете — у н и ч т о ж и т е...

— Ника! Побойтесь Бога! — даже несколько взволновавшись, сказал Евгений Евгеньевич. Но она не уследила за его мыслью, отвлеклась другим, подумала: «А может быть, и *Морицу* дать прочесть? И пусть он затем — уничтожит!»

И только тогда до нее дошло возражающее восклицание:

— А, вы об этом! Хорошее дело! Рискованное! Чтобы при первом шмоне...

— Получить второй срок?.. Я и так два вечера дрожала за эту тетрадку... Так с ума можно сойти...— Кто-то шел. Встав, перебирая чертежи, Евгений Евгеньевич зарывал в свои листы — Никину тетрадку. День продолжался.

В перерыве она опять подошла к нему.

— О двух вещах я хочу сказать вам сегодня,— сказала Ника, видя, что он, отложив чертежи, сел за свою шхуну,— мастера деталь ее, ему будет легко ее слушать,— во-первых, еще о том, как, должно быть, т р у д н о было мне (что я только *теперь* поняла) — выучивать наизусть свои стихи.

В тюрьме среди такого шума в камере (вы сидели в таком же множестве, вы поймете) — в камере на сорок мест нас было сто семьдесят, как сельди в бочке,— но такая тяга к стихам была больше, чем на воле,— за пять месяцев *столько* стихов, разный ритм — как все это умещалось, дружно, в эту болванскую башку, непонятно! Все повторяла, день за днем, отвернувшись к стене,— это счастье, что я у стены лежала! *Если бы между* женщинами — вряд ли бы я это смогла!

Тут — только одно — «Портрет»,— и Ника протянула пачку листов,— прочтите, и если рука не подыметя их порвать — мне вернете, я их порву.

Все время молчавший Евгений Евгеньевич поднял на нее глаза:

— Так вы их для *меня* — воплотили? Тем с большим вниманием прочту...

Была ночь, когда Евгений Евгеньевич раскрыл тетрадь Ники. На первой странице стояло:

СЮИТА НОЧНАЯ

И снова ночь! Прохладю летейской
Как сходен с кладбищем тюремный этот храм!
Не спит, как и всегда, в своей тоске библейской
Большая Ханна Хейм, химера с Нотр-Дам.

Латышки спят с угрюмыми горами,
Пригревши берег Греции у ног...
Панн гоголевских веют сны над нами.—
С китайской ножки соскользнул чулок...
То кисть художника, что Марафонской битвой
Огромное прославил полотно.

Химерою и я в своем углу молитвы
Бескрылые творю. Идут на дно,
Как в океан корабль порою сходит,
Что паруса развеял по ветрам,—
Ужели той, что спит, и в снов низинах бродит,—
Не помогу, Химера с Нотр-Дам?
Химера, да! Но с Нотр-Дам химера!
Молитвой как ключом — замки моих ключиц,
Луну ума гася светилом веры...
(Стыдись, о ум! Бескрылая химера!
Твой философский нос тупее клюва птиц.)
Летучей мышью, да! Но мышью-то летучей!
Глаза смежив, чтоб не ожег их свет,
Крылом туда, где Феба вьются тучи,—
...Такой горы на этом свете нет,
Что не ушла бы вся, с вершиною, в Великий
И тихий космоса зеленый океан.

Ты спишь, мое дитя, в твоей тоске безликой
(И мнишь во сне, что истина — обман.)
Уснуло все. Ни вдоха и ни плача —
Миг совершенно смертной тишины.

Передрассветный сон. Я знаю, что он значит —
О мире и о воле снятся сны,
Сошли на дно души, как корабли, порою
Без сил смежив пустые паруса,
Спит смертным сном душа перед трубою
Архангела. А света полоса —
Звонок, подъем. Уже! О, как весенне,
Как победительно борение со сном,
Из мертвых к жизни вечной воскресенье,
О руки над кладбищенским холмом,

О трепет век и дрожь ресниц! Туманы
Над прахом тел развеялись. Земле конец.
Преображенье плоти. Крови колыханье —
То тронул холод мрамора своим дыханьем
Ты, Микел-Анджело божественный резец!

Дальше шла

СЮИТА ПРИЗРАЧНАЯ

Довоплощенное до своего предела
Граничит с призрачным, как Дантов ад.
Над небывалым зрелищем осиротелых
Жен, матерей — ночи тюремный чад.
Являет чудо мне Чюрлениса палитры,
Храп хором Скрябинский зовет оркестр,
Борьба за место — барельефы древней битвы
Во мраморе прославленный маэстр.
А бреды здесь и там — таят строку Гомера,
И Феогнида пафосом цветут
Изгибы тела — Ропс! И имена Бодлера
И Тихона Чурилина встают.
Когда ж, устав от зрелища, о хлебе
Молю, — на веки сходит легкий сон,
Я реки призрачные вижу в небе,
Я церкви горней слышу дальний звон...

О горькой жизни рок! Между землей и небом
Разомкнуты начала и концы.
Как часто Сон и Явь в часы забвенья Феба
Меняют ощупью свои венцы!

Дальше шли города и воспоминания.

Есть такие города на этом свете, —
От названий их, как на луну мне выты:
Феодосии не расплести мне сети,
Ночь Архангельскую не забыть...

Далеки Парижа перламутры,
Темзы тот несбывшийся туман,
Да Таруса серебристым утром,
Коктебеля не залечишь ран...

И Владивостока нежная мне близость,
Где живет мой самый милый друг...
Поезд замедляет ход, и в темно-сизом
Небе — о, как рассветает вдруг! —

То Иркутск. Тут Коля жил Миронов, —
Юности моей девятый вал!
Как горит хрусталь крутых еловых склонов,
Раем распростерся твой Байкал!



Темная заря над Ангары разливом,
Да последний огонек в ночи,
Да холодный снег по прежде теплым нивам —
Это ль не символики ключи?

Крепко рассветает за моей решеткой,
Так мороз крепчает в январе,
То резец гравера линию четкой
Ночи тьму приносит в дар заре...

Сколько раз вот так все это было,—
Я не сплю, вокруг дыханья тишь...
Что же сделать, чтоб оно не ныло
Сердце глупое, доколе эти силы
Все до капли не перекричишь?..

А пока пишу — вино зари нектаром
Выси поит... огонек исчез.
Солнце выплывает легким жарким шаром
В сталактитовы моря небес!

Тетрадка кончалась надписью: «Из будущего сборника
«Пес под луной» (лагерь)».

ГИТАРА

Звон гитары за стеной фанерной,
Рая весть в трехмерности аду.
Это все, что от четырехмерной
Мне еще звучит. В немом ладу
Со струями струн, луна литая
Лейкой льет ледяные лучи
На картину, что я с детства знаю:
«Меншиков в Березове». Молчи,—
Слушай эту песню за стеною,
Дрожью пальца на одной струне,
Так поют, что я сейчас завою
На луну, как пес. И что луне
Нестерпимо плыть над лагерями.
Вшами отливает пепел туч
Оттого, что, поскользнувшись, в яме
Ледяной лежу и что могуч
На картине Меншиков надменный,
Дочь кувшинкою цветет в реке
Кротости, и взор ее Вселенную
Держит, словно яблоко, в руке.

Замирает палец над струною,
Ночь слетает раненой совой,—
На луну, как пес, я не завою,
Мне тоски не заболеть запоем,—
Под луною нынче, пес, не вой!

Звон гитары за стеной фанерной,
Рая весть в трехмерности аду.
Это все, что от четырехмерной —
С тихой вечностью в ладу.

Все кругом спали, даже Мориц. Волнение и усталость
слились в странное состояние. Вспомнились *своя* тюрьма,
свои встречи... Оставалось три стихотворения.

ДОМИНАНТ-АККОРД ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Тишина над тайгою вся в звездах — о Боже!
Да ведь это же летняя ночь!
А я в лагере! Что же мне делать, что же?
Жить этой ночью — невмочь.

Соловей — это юность. Кукушкины зовы —
Это детство. Земной зенит!
На сидящих крыльях моих — оковы,
А старость — как коршун кружит!

РАЗРЕШАЮЩИЙ АККОРД УТЕШЕНИЕ

Чего страшусь? И глад и хлад минуют,
Недуг, сжигая тело, поит дух,
И зов о помощи не пребывает втуне
Доколь смиренья факел не потух.

Я верую. О Боже, помоги мне,
В ничтожества и затемнения час
Молю, а из-за туч восходит, вижу
Звезды предутренней мерцающий алмаз.

Воздушных гор лиловые воскрылья
Грядой крылатою покрыли небосклон,
И золотою солнечною пылью
Весь край дальневосточный напоен.

Недолго нам от вечности таиться,
Запятав голову под смертное крыло, —
НАСТАНЕТ час души! И вещей птицей
Бессмертия живой воды напиться
Из мрака тела — в дух, где тихо и светло!

Последнее не имело названия.

Что терпит он, народ многострадальный,
За годом год, за веком век!
А Сириус и Марс, как над ребенка спальней,
Горят везде, где дышит человек.

Моя Медведица! Как часто эти руки
К тебе тяну я в черноте ночи,—
И рифмы мне не надо, кроме муки,
Которой бьют кастильские ключи

По Дантовским ущельям расставанья,
Вокруг Луны — огромный света круг
Все ширится. И тихо в Божьи длани
Восходит дым немислимых разлук.

Все выше мук и их теней ступени,
Но синева торжественна ночи.
Черны, страшны ночных деревьев тени,
Но звезден неба сев! Крепись, молчи!

И разве я одна! Не сотни ль рук воздеты
Деревьями затопленных ветвей,
Лесоповал истории. Но Лета
Поглотит и его.— О, выше вей

Моих мучений ветер благодатный,
Сквозь ночи тьму к заре пробейся ввысь,—
Звезда предутренняя в лиловой
Бездонности меня зовет: «Вернись!»

А он земной, народ многострадальный,
За боем бой, за веком век,
И Сириус и Марс, как над ребенка спальней,
Горят везде, где дышит человек.

Усталость от — пережитого, отрыва от жены, дома, от срочных работ, от работы над изобретением и от этой, на него рухнувшей судьбы, — все странно сливалось в некую гармонию, что ли? Он спрятал под рубашку тетрадь и вышел на порог бюро. Лаяла сторожевая овчарка. Зона спала.

Мориц встал и вдруг потянулся, как это делал черный кот Синьор, его любимец, когда его учили ходить на задних лапах. Щелкнули манжеты, изогнулось легкое упругое тело — всем своим накоплением усталости, — и снова стоял собранный и четкий человек, немного угрюмый, брезгливый и элегантный, — неуловимое с Синьором длилось. Но в движении, когда он стоял сейчас, прислонившись о книжную полку, вдруг —

не укрылось от Ники — легкая, еле заметная округлость худого, еще не начавшего полнеть, живота, уже не юношеского.

«Старее...» — подумала Ника с мимолетящей легкой дрожью, которой содрогается зрелость при дуновении старости.

Был снова вечер, и опять все ушли, кто куда. Мориц готовился продолжать рассказ. Как мало надо человеку — внимания — в холодности жизни, — подумалось ей.

— Да, так вот... Бегство из Риги, всей семьей, потом смерть матери... Ленинград, Москва, потом Красная Армия. — (Он только называл периоды, города, к чему-то спешил, К чему?!) — В Сибири я встретил мою жену. Еще совсем девочку, и вывез ее оттуда, из глуши.

Мориц уже пустился в путь воспоминаний.

— Я дам вам Женни!

— Мне нужна наружность Женни, — сказала Ника.

— Женни была невысокого роста, ниже меня, склонность к полноте — в пределах приличия. Крупное лицо, более крупное, чем удлинненное. Лоб небольшой, — у женщин, как правило, небольшие лбы. Большие голубые глаза. Небольшой точеный носик; красивый маленький рот. И, благодаря пухлости лица, особенно в профиль, она иногда напоминала морскую свинку — неуловимое сходство. Но это иногда, когда уголки губ опускались, когда она не играла, когда исчезала обычная подтянутость. Очень хорошие ровные зубы. Волосы были светло-каштановые, но она их подкрашивала, — была светлая блондинка. Потом, под моим влиянием, она перестала их красить. Она была очень музыкальна, — говорит Мориц и морщит лоб (что не дает ему покоя, чего-то он не может назвать, уловить в Женни, он все не то говорит: разрозненные черты, не лепится из них ЖЕННИ).

— В моих отношениях с женой всегда были приливы и отливы. И тогда это был — отлив... — (Он закуривает, кидает спичку.) — Женни... Ее умение одеваться, умение ухаживать за вами, и сердиться, и говорить глупости...

— А-а... Поняла! По этой фразе. Все поняла! — (Голос Ники торжествует.) — Знаю Женни! Знаю. Тот шарм, который голыми руками берет мужское! Кукла! Со страстями. Очарование глупости!

— Нет, — говорит Мориц, — и взмахивает рукой, — в жесте — категоричность, — я не выношу глупости! Она делает человека смешным. Нет, Женни могла быть и деловитой.

Ника очнулась в конец его английской фразы: *She often was a little bit disgusting, that was a thing!*¹. Этот пере-

¹ Она часто была чуть-чуть противна — вот в чем было дело (англ.).

ход от отвращения — к очарованию создавал очень забавную вещь — очень сильное впечатление...

— Какая вы собака, Мориц! Ах, какая вы тонкая собака... — молчит Ника, и она вся как парус распахивается навстречу ветру — но ветер уже стих, стал ветерком и дует в другую сторону.

Там, на воле, в Финляндии, шла война. Кто был взят, из друзей? Сердце билось... Отчаяние! И ничего не узнать!.. И хоть какая-нибудь вина была бы перед страной!.. Десять лет — с ума сойти!.. Письма Ника получала редко и — как это всегда бывает — не от тех, от кого с тоской ожидалась...

...Невозможная вещь — уезжает Евгений Евгеньевич! Не ликвидом, не освобождение, а его *изобретение* вырывает его из их жизни, из их работы! Его отзывает БРИЗ в Свободный, в Гулаг, руководить построением модели его изобретения. Ника ходит как в воду опущенная.

Г Л А В А 16 ОТЪЕЗД ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Ника ходит как в воду опущенная — да, невозможная вещь... После яркой борьбы с собой — отдать такого работника! Это ускорил, от всех скрыв, Мориц: связался с кем надо, а затем, в последнюю минуту ему стало не по себе от своей роли, и — обратно диккенсовским торжествам, где входит в дождь в хижину человек в цилиндре и ставит на стол чудовищно-большой торт, вестник наследства. Мориц весть скромкал, сообщил о вызове Евгения Евгеньевича БРИЗОм полунасмешливо-полуворчливо — теперь, мол, работа станет, людей не хватает, и ушел, чуть ли не кинув за собой дверь. Из насмешливого тона Мориц уже не вышел, боясь, вероятно, быть заподозренным в разнеженности. Виновник торжества, видимо, это понял, потому что смотрел на Морица уклоняющимися глазами и, может быть, ему было стыдно за то, что он не любит этого человека... Он ходил — как по облакам.

Ника — замерла; слезы где-то очень близко, — как бежит жизнь, как метает людей, и как люди безумны, как прозаичны, как никто никого не любит, не привязывается: уезжающему нисколько не жаль с нею расстаться, а ведь — дружил?

Волнуется, что едет не сегодня, а завтра, стал необычайно деятелен: уходит, приходит, — как Мориц, над энергией которого смеялся... Ника, нахмурясь, спросила у Морица по-французски «отпуск» — до часа отъезда, — чтобы успеть починить матерински, товарищески, Евгению Евгеньевичу белье.

Штопают игла носок... Евгений Евгеньевич уезжает... (дыра делается все меньше — немецкий пансион идет впрок!) ...только что был Мориц на «Маджестике»... — плетет коричневую вязь игла, — теперь Евгений Евгеньевич почти в пути...

Она бегаёт в кухню, печёт булки с изюмом, пусть ест с чаем, пока устроится, где-то там, с едой! Может быть — вспомнит бабушку, дом... По двору — тени от посаженных деревьев мечутся в ветре. Он треплет темно-рыжие короткие кудри и — милый! — слизывает и уносит идиотские слезы. Как она будет жить без Евгения Евгеньевича? С одним Морицем? Страшно-вато... Возле него — замерзнешь. Он же по целым дням ничего не понимает, понимает вдруг — вечером, на полчаса, перед уходом куда-нибудь, — разве это помощь — жить?..

Вечер... Уезжающий чувствует, что надо быть внимательным к Нике.

— Ааа!.. Ника, — говорит он, входя в бюро, где она кончает чинить его плащ, — мне хочется вам рассказать одну вещь! Можно?

В первый раз за все время уезжающий колет лучину — топить печь. Кличка «барин» сегодня сдала.

— Я хочу рассказать вам про один экслибрис. Комната. На полу — канделябр. В углу, в глубоком кресле, сидит кто-то в широком старинном английском плаще моды начала девятнадцатого века. Он читает большой фолиант. От его длинной ноги, вскинутой на колено другой, — резкая и еще более длинная тень. Кругом — декорации, сломанный мольберт. На стене — портрет человека в парике. На плече у читающего — кот, весь взъерошенный от ужаса, черный, с белыми глазами. И совсем в тени — высокий худой призрак в маске, он держит песочные часы. А в глубине распахнуто огромное окно, и в него видно, как крошечная картина, берег моря, луну и в лунной дорожке уходит крошечный, как мошка, фрегат. А по берегу, совсем возле воды, едет карета, уезжает по берегу от нас. А вокруг нее — всадники, с факелами. Очень романтическая вещь.

— Это *вы* уезжаете, Евгений Евгеньевич! И на фрегате, и в карете, сразу! Оттого вы и вспомнили этот экслибрис сейчас.

На этот лирический взрыв рассказчик отвечает так:

— Против кареты я бы ничего не имел сейчас, собственно... Доехать с вещами до платформы...

«Такой ответ — у такого тонкого человека! — думает она.— У людей *нет души!* Вот возле нее в комнате два человека: один — друг? другой был тоже, казалось, друг? Оба казались! И оба — совсем чужие...»

Она подошла к печке, села на корточки — шевелит угли. «Мориц, Мориц! — говорит она одними губами, в мигающие тени углей.— Вы не оставите меня, нет?»

Дерево гнется так, как будто его сейчас вырвет с корнем. Слова отлетают с губ в немоту. Их смывает как водой с палубы (того фрегата!). Ника хочет сказать Евгению Евгеньевичу, что она будет ждать обещанных им вестей, но ветер уносит слова. Несколько человек идут к вахте, где его ждет подвода. Мориц не идет. Мориц остался стоять в дверях.

Жар растет. Озноб. Или он простудился вчера, промок под этим дурацким ливнем? С этой откуда-то взявшейся грозой? Неясным ощущением тоскливой неловкости, не доходя до сознания, проносятся слова письма к жене, обещание беречь себя, тепло одеваться — *надо было*, когда выходил, взять плащ! Он раздражается вновь. И бюро пусто среди дня! Перерыв — *кончен!* Ну, проводить, конечно, ну, десять минут, ну, пятнадцать, но не за счет же работы!.. Работа — *не ждет!*

Он берет калькуляцию, садится за пустой стол. Работает. Еще четверть часа. Никого. Голова наливается тяжелым приступом боли.

Матвей ушел! Вещи помог снести (и ушел, не принеся воды, холодной *воды нет*, пить хочется!). Но *они-то*, другие, о чем они думают? Ника, *конечно*, придет скоро, к работе *стремится!* Если б понимала ее! Но «новые», оба — тоже «провождать» ушли? Слышатся голоса, входят.

Только Евгений Евгеньевич скрылся за воротами вахты — Ника увидела письмоносца. А вдруг письмо от жены? — екнуло сердце. Она кинулась навстречу. Ника уже выхватила из пачки маленький конверт с синей каемкой!

Она летела к вахте, как будто тому назад лет тридцать! Страх *опоздать* — гнал... На бегу кричала:

— Евгений Евгеньевич! Пись-мо-о-о...

Она поспела в ту минуту, когда подвода, оставляя позади вахту, ехала уже по дороге.

— Письмо! Письмо от жены! — кричала Ника, задыхаясь от бега, и, показав вахтеру зажатый в руке конверт, скользнула мимо охраны, выбежала за зону, продолжая кричать: — Письмо-о! Евгений Евгеньевич!..

Но уже, услышав крик, останавливалась подвода, и бежал назад, навстречу Нике, уехавший.

Все произошло так быстро, так все сразу — крик, бег, письмо, остановка подвода, на которой он ехал под конвоем, что никто, может быть, не осознавал в ту минуту, что з а к л ю ч е н н а я выбежала, б е ж а л а... Она уже бежала назад, радостно смеясь, вбегала на вахту:

— От жены письмо! Догнала!..

А когда прошла через вахту, завернула за барак, ей привиделось лицо Евгения Евгеньевича — благодарное, почти рядом — лицо вахтера, и осуждавшее и улыбнувшееся, и как жали друг другу руки, и он целовал обе ее, смущенный ее задохнувшимся бегом, вновь тряс и вновь целовал. «За Наташу! Понимаю! — смеялась она и весело и насмешливо. — Вместо Наташиных рук»...

«Слава Богу, что по вызову БРИЗа, — думает вслед Ника, — самого тяжкого в переброске не будет: тащить самому себе свой скарб».

Только когда *Ника вошла* в барак, ее ошпарило испугом — в какой же опасности она была, выбегая за вахту... Вспомнился ей другой случай — освободясь, кончив срок, шел, еще молодой и радостный, что едет к матери, подходил к проволоке зоны счастливый человек, которого вохровец (военный охранник) еще считал, что он заключенный, с вышки крикнул ему — куда, мол, ты идешь?! — *предупреждая*, — а тот шел весело, беспечно, в себе уверенно (в кармане имел п а с п о р т, знак с в о б о д ы!) и в ответ молча на крик сверху, засунув руку в нагрудный карман, желая помахать ему — паспортом, не успел это сделать и, с ним в руке, выстрелом сраженный, упал... не встал больше. Судьба эта эхом прокатилась по лагерю... Долго ли вспоминали о нем? Долго ли его ждала мать, пока узнала, что сына уже нет...

Мориц не мог знать, что по пути от подвода, казалось бы увезшей друга, она поняла вдруг, что он, Мориц, для нее значит много больше, чем Евгений Евгеньевич... Не знал Мориц и того, что, увидев его угрюмое лицо, она от испуга, что

он сейчас скажет что-то неподходящее, говорит *обратное*, чем хотела.

— Евгений Евгеньевич,— сказала Ника, ставя на плиту чайник,— увез с собой *столько*, без него — пока, наконец, не напишет сын, мне *так* сейчас одиноко, я не знаю, как я буду жить без него!

Удивленный развязностью тона, Мориц отвечает холодно:

— Я желаю вам никогда не иметь больших утрат, чем эта!

Он берет газету и садится читать. Вынимает градусник: 38,7. Если она его спросит, сколько — он рассердится. Она это знает, но вынужденное молчание только усиливает сердцебиение. По крыше начинается барабанная дробь, первые капли налетающего дождя, об окно рушится мокрая мгла. За потоками, тяжело моющими стекла, не видать ничего. Звук ливня свежим, неожиданным грохотом что-то размыкает в Нике.

— Мориц! — говорит она не те слова, но *своим*, подлинным тоном, в голосе — отвага и беспредельная подлинность (но чуть-чуть *слишком* много чего-то, и оно обречено на гибель, потому что в ушах Морица это звучит *shoking*¹).— Вы больны, лягте. Не надо сегодня выходить из дому! Я вас напою чаем, и все что надо.

Он подымает совсем больные и все-таки ледяные глаза.

— Ника! Идите работать. Я вас очень прошу!

Она стоит, опоминаясь. Она забыла — работу! Она упустила как раз то, что ему важнее всего, что *ему* надо!!! Срочную работу...

Мориц не слег — «выкрутился». Перемогся. Напитался таблетками. Выспался одну ночь — и с небольшой температурой пошел на работу. И жизнь пошла дальше, оставив на память о днях болезни Морица только несколько строф в Никиной поэме:

«Все хуже чувствую себя. Темперацию
Который день...» И — снова в дождь исчез...
А я с моею материнской дурью
В костер мучений — и с каких небес!

Отсутствие Евгения Евгеньевича Ника ощущала не только в часы отдыха, когда можно было «отвести душу», вспомнив что-то из французской литературы, в которой он был знаток, и не только когда он погружался, с братской нежностью, в воспоминания своего детства, ей так по душе

¹ Шокирующе (англ.).

пришедшиеся... По гораздо более современной причине: не было дня, чтобы вдруг среди черчения или проверки цифр, на «Феликсе» сосчитанных (от усталости считать часы подряд было так легко ошибиться!), — ее вдруг охватывало холодом, страхом от мысли, что будет ликвидком, что ее отошлют на женскую колонну и ей придется снова жить в шумном бараке среди уголовниц — воровок, убийц, — бросаться в их драки, разнимая их, чтобы не дать убить друг друга...

Г Л А В А 17 ДАЛЬШЕ ПО ЖИЗНИ МОРИЦА. НОРА И ЖЕННИ

Вечер.

— Вы хотите, чтобы я продолжал?

— Конечно.

— Я встретил женщину, которую я — да, по-настоящему полюбил, — рассказывает Мориц.

— Как звали ее?

— Нора. Я в первый раз увидел ее в учреждении, где я работал. Я знал, что она — дочь врача. Брюнетка, с несколько китайским разрезом глаз, очень быстрых. Когда мы встречались, она взглядывала на меня самым уголком глаза. Однажды ей понадобилась моя помощь в переводе одного американизма. Она очень смущалась, и мне это нравилось. Затем я встретил ее у моего друга, были танцы, я с ней танцевал, был теплый вечер. Я пошел ее провожать. Эта женщина так полюбила меня, — сказал Мориц, после паузы, — что она была способна по три раза подряд звонить мне домой, чтобы только услышать мой голос.

— А где была ваша жена?

— Она была на курорте. (Как тривиально! — отзывается в Нике...) Кончилось неожиданно. И как раз, когда я к Норе привязался и хотел развестись с женой и жениться на Норе. Мне пришлось уехать по работе — и в мое отсутствие жена вызвала к себе Нору, и у них был большой разговор. Моя жена ей сказала, что жить она без меня не будет и убьет себя и ребенка, она тогда носила сына. Когда я вернулся — Нора начала уклоняться от встреч, я все не мог ее застать, я не понимал сначала.

— Дайте мне папиросу, — сказала Ника. (Он не спросил: «Вы разве курите?») Не сказал: «Не курите, не

стоит», в жесте, которым он протянул портсигар, было вежливое равнодушие к ней. Зажег спичку.)

— Спасибо! — и в клуб дыма: — Вы любили ее?

— Я думаю, да.

— А жену?

— Тоже.

— Вы могли одновременно быть с двумя?!

— Мог, конечно. Перед собой — я мог. Но я не выношу лжи, и я должен был прекратить отношения с женой.

— Только что, как говорят, «сделав ей ребенка»! Мило.

Ника выпустила колечко дыма, оно вышло плохое, и стала следить, как расходится дым.

Мориц продолжал:

— Жена была дома, встречи были затруднены, и я все не заставлял Нору и...

— Я с удовольствием буду писать Нору! — вырвалось у нее.— Она была *благородна*! (Неужели тенью от этих слов на него не падает, что неблагороден был он? Остро прозвучало в ней.) О, это будет чудесная поэма!

— Конечно, мое чувство к Норе было глубже, чем к Женни. Тот миг, когда я услышал по телефону о ее замужестве, я никогда не забуду. Мне показалось, что *мир* рухнул!

— К кому из них было больше страсти?

Мориц неуловимо поморщился.

— К Женни, может быть. Но к Женни у меня не было уважения; а любовь без уважения — немыслима.

(«А страсть без любви?» — неслось быстрее слов в Нике.)

— Это была своего рода болезнь...— продолжал Мориц. Стоило голосу Женни прозвучать по телефону холодно — я среди ночи, пешком, если трамваев и такси не было, летел к ней, через весь город. Я буквально сходил с ума. Но она была вульгарна, а я не выношу вульгарности. Когда она в минуты безлости называла меня «мой муж», я бы мог задушить ее!

— У нее просто не было юмора! — сказала Ника.— Вы говорили, что ваша жена чутьем поняла вас? Вы считаете, я вас понимаю?

— Конечно. Но вы своим идеализмом себя ломаете. И вы диктуете не только себе, но и другим. *Это ваша коренная ошибка!* (В этот горький миг, вдруг из отдаленных далей к ней, опыхалом в аду,— пошло тепло: эти слова, но как нежно и как шутливо, ей говорил когда-то ее второй муж! Откликаясь на воспоминание, она не смогла удержать улыбку.)

ки. Но Морицу она показала — гримасой. Он пожал плечами. И вежливо, наспех, выполнив долг перед ее индивидуальностью, шагнул обратно в свою. Но она не дала ему продолжать.)

— Вы когда-нибудь *сознаете* свою вину? — спросила она. — Когда раскаивались — *шли* примириться?

— Шел.

— И легко это было?

— Трудно.

— Заставляли себя?

— Заставлял... Но, — продолжал он, — я *мог* это сделать *только* наедине! Потому что страх быть смешным на людях меня леденит. Страх быть смешным — это моя болезнь. Когда влюбленная женщина на людях смотрела на меня бараньими глазами, от которых шло сияние, и это было смешно, и в какой-то мере делало смешным и меня, я не знаю, на *что* я был способен! Когда на экране, на сцене я чувствую фальшь, я не смотрю на экран. Мне тогда стыдно, я чувствую, что я виноват в этом, что я участвую в каком-то *общем* стыде.

— Это я понимаю. — В Никином восхищении сгорела ее горечь. Что за диво — человек был этот Мориц!

— Я ненавижу бестактность, — говорил Мориц, — если человек со мной холоден на людях, я чувствую к нему величайшее уважение. Безграничную благодарность! Женни очень заботилась обо мне, варила, жарила и была, надо сказать, настолько надоедлива, — вот это очень серьезное обстоятельство! Я не мог этого переносить! Нора, с которой у меня было гораздо больше общего, чем не только с Женни, но даже с женой, — любовь к книгам, иностранные языки, общий культурный уровень. Но Нора никогда ничего не делала для меня. Видите ли — you see, — продолжал Мориц, — никто лучше меня не знает цену этим заботам, этим маленьким вещам, которые так красят жизнь, в быту. И я *люблю*, когда это делается! Но это должно делаться *легко*, незаметно, только тогда это хорошо! Потому что в общем, хоть они *нужны*, эти маленькие вещи, но они и не нужны *тоже*! Без них *можно* жить...

Он стоял и смотрел на нее, остановился в своем пути у ее стола, и ей показалось, что в его добрых сейчас глазах — просьба.

— Если же человек поставил меня в смешное положение, я этого *никогда* не прощаю. Я могу в таких случаях наговорить исключительно грубых вещей, быть совершенным хамом!

— Вы больше не встречали Нору *после* ее замужества?

— Я встретил ее через год, и она снова была моею. Она не любила мужа. Я встретил ее еще раз и снова был с нею. Она потом стала бояться встреч со мной... Забота, домовитость — это свято. Но когда женщина становится самой в гнезде... («Негодование — пышет. Неубедительно! — молчит Ника.— Где граница? Где объективный критерий? Только что тебе — от твоего настроения — это было *свято!* а через минуту — что-то тебя раздражило — и это станет «самка» — в гнезде? У «невесты» — священно, у «жены» — презренно... Бедные женщины! Но за уклончивостью мужской, туманностью определений женский сыск идет беспощадно: воображаю тебя, милый друг, с твоим капризным, критическим глазом — не то что *любующимся*, а просто терпящим, то жена вдруг взяла да и *расширила* круг своей женственной деятельности! За пределами твоего дома!..»)»

Наутро Ника позволила себе озорство: по-английски, хладностью тона, умеряя тепло воздуха, она сказала, что так скучает по Евгению Евгеньевичу, что не знает, что делать с собой. Мориц, мгновенно ожив в жесте поднять перчатку (он уже склонялся озабоченно над бумагами), сказал, подняв брови:

— Сомневаюсь, чтобы *он* так скучал — о вас! — И, с недоброй усмешкой: — Вы, кажется, ждали *письма* от него? — В голосе была нескрытая издевка.

— Ваш Евгений Евгеньевич похож на средневекового трубадура, — сказал «новый» (на месте Евгения Евгеньевича), — *как* это в нем сочетается с изобретателем — для современности, и, по крайней мере...

Бесцеремонно, не дав говорящему закончить фразу, Мориц дал ход своей:

— Трубадур — со слюнявочкой, с няньками!

Ника тихонечко услаждалась: ревнует?..

Но через несколько дней разговор их, температура разговора повышается.

— Я думаю, что только ваша жена смогла так целиком принять все это, войти в *ваше* зренье вещей... — говорила Ника. — Может быть, потому, что она была девочка, и это все взяла, как закон.

— Да, может быть! — отвечал миролюбиво Мориц. — И потому что по присущей ей гордости она при других — молчала.

Мориц готов опять повернуть руль разговора, но Ника:

— Я хочу *видеть* Нору, Мориц... дайте мне ее лицо, манеры. Она будет в поэме... это же нельзя так...

— Рост мой, примерно, чуть ниже. Девичья фигура. В смысле красоты черт — она была менее интересна, чем Женни. Глаза с китайским разрезом, нос — большой, но с горбинкой, орлинообразный, глаза темно, темно-карие, живые, блестящие. Рот — довольно большой. Лицо удлинненное, смугло-розовое, — персик. Она не умела одеваться. Не было нарочитой, женской заботы об одежде. Я люблю наблюдать — искоса-то, что не хотелось бы, чтобы увидели. Даже по отношению к людям, которых я люблю по-настоящему.

— По отношению к вашей жене, например, — голосом, которого не распознал Мориц, сказала Ника. Она погружала лот. Лот, как она предполагала, дна не достал.

— Видите ли — you see, — и голос его стал до краев — теплый, — настолько я знал ее и настолько, с другой стороны, считал себя не вправе залезать в ее душу, что мне не надо было наблюдать за ней. Я принял ее как данность, раз навсегда.

Ника *знает* глубину страдания жены Морица, — в этой его фразе. Лот и тут не достает до дна.

Была глубокая ночь. Глава поэмы была закончена. Ника вспоминала рассказ Морица и о том, как Нора встретила первый его поцелуй, даже физическим выражением трепета: «She was trembling like in a frost...» Это звучало сильнее, чем русское: «Она дрожала как на лютom морозе...» Это Нике не только как женщине, но и как писателю было — откровением о Морице. И странным образом через это откровение Мориц стал (стал, становится во всяком случае) братом, а Нора сестрой...

— Вы — странный человек, Мориц, — вздохнула Ника, трудный, еще труднее меня... Но я всегда считаю себя виноватой. А вы — вы признаете все свои данности за неизбежность. Вы совсем не боретесь с собой. Я тоже так жила — но в молодости! Потом — перестала.

— Но почему вы считаете, — запальчиво отвечал Мориц, — что ваша моральная мерка приложима ко всем? — Он пожал плечами.

— Не надо, Мориц... — мягко отвела его протест Ника, — Мне обидно за вас! Что вы большое чувство испытали не к какой-нибудь великой актрисе вроде Асты Нильсен или к какой-нибудь мировой певице, к чему-то неповторимому и трагическому, а к маленькой и даже не вполне доброкачественной женщине, которая, любя вас, заодно вас ловила — интриговала — что это все такое? В вашей жизни нет Клео-

патры и нет Кармен, нет того, что равно — жизни! (в восприятии данного человека, пусть и ошибочном). В вашей жизни — одно священно: некое подобие Галатеи — это ваша жена. Не иди через вашу жизнь *это* чувство — я бы *только* огорчилась, слушая.

Ее прерывал Мориц:

— Говорить на эту тему я не считаю нужным. Почему я должен был любить актрису, а не просто женщину? Неубедительно. Но я вспомнил один маленький факт, который, может быть, даст вам что-то — в вашу писательскую лабораторию. Вы спросили меня, не был ли я влюблен в девочку, будучи еще мальчиком. Я был свидетелем, в шесть лет, бурных выражений страстей такого мальчика к маленькой девочке, и я возненавидел подобные выражения. У моего троюродного брата в Риге на детском празднике я увидел, как один мальчик в какой-то бешеной страсти (девочка была хороша как кукла) прокусил ей ухо. «Красная шапочка» заплаканная сидела на руках у матери с бинтом на ухе. И я негодовал, и мне было *стыдно* за нее: как она могла сидеть тут, при всех, после того, что случилось!

— Да, вот это — ключ к моему герою, Мориц, — сказала Ника, — это я забираю в поэму, спасибо! Это действительно реактив в одну из моих колб. Вся ваша любовная жизнь может стать прожектором, исходящим из этой вспышки вашего *нет* безыскусственной человеческой слабости. Из этого укушенного уха.

Его раздражал этот тон Ники: что-то от пифии! Какой-то треножник в комнате! И эта открытость ее вечного «иду на «вы!»». Она «разрешила» проблему — как разгрызают орех.

Но он не знал одного: что она это знала. Что сознательно шла на то, чтобы терять как женщина, выигрывая как писатель. Он не знал этого не по недостатку тонкости, а просто потому, что не знал вакхического момента в творческом процессе: той самой вспышки света, от которого вся дальнейшая жизнь Ники — де Сталь — Жорж Санд — Марии Башкирцевой была лишь распылением света. В этом стыке скрестившихся на мгновение двух прожекторов, двух противоположно направленных...

Ника кончала пересчитывать расценку, когда дверь широко распахнулась:

— Договор с Германией! О ненападении...

— Что-о-о...

— Вечно радио выключают! — кричал кто-то. — Мешает считать!

Один за другим, крича от волнения, входили помпрораба, прораб, конторщики, десятники, Мориц, еще кто-то.

— Но это просто феноменально смело! — кричал Мориц, стараясь осилить крик. Его перебивали:

— Кто мог ждать этого? Договор с Германией о ненападении!

— Здорово! — кричал Виктор. — Кто теперь посмеет напасть на нас? Америка?

— Нет, кто мог ожидать такого?

«Они, наверное, правы, — подумала Ника, — а я вдруг испугалась чего-то».

В поднявшемся шуме — Евгения Евгеньевича не было! Не с кем было перемолвиться словом...

ГЛАВА 18 ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРЕЖЕ

Сегодня утром — отчего? — ей все вспоминалось, как сын ее Сережа лет семи, в один жаркий час, в Судаче, в начинавшийся голод, пришел к ней с расширенными, чему-то ужаснувшимися глазами. «Мама! *Как* это может быть?» — сказал он, остановясь от бега, тяжело дыша. Она прервала его: «Что с тобой?» (и рукой — о лоб). Но он нетерпеливо отмахнулся. «Слушайте! *Как* это может быть? *Бесконечность*... *Не* было начала — и *нет* конца! Мама! *Вы* — понимаете?» Она чувствовала: ему, всем существом его, хотелось, чтобы она сказала: «Да, *понимаю*, и *ты* поймешь, потом, когда вырастешь». Его глаза молили об этом. Она никогда не могла лгать ему. Она ответила, что этого никто не может понять, что это... — и хотела прижать к себе и погладить родную головку, но он в каком-то негодовании уклонился от ласки — и пошел от нее, не побежал, а пошел... Ей и сейчас было больно от этого его движения...

...Но бывали безысходные часы. Сына пришлось из-за нужды отдать в школу физического воспитания, интернат. Там хорошо (нет, не то слово. Кто мог «хорошо кормить» в то время!) — там кормили. Дома же было нечего есть. На работе выдавали фунтики крупы, несколько пар селедок, спички, иногда — макароны. Хлеба кусок — как образочек. А мальчику надо было расти — и учиться. Разлука и слезы. Она ездила к сыну в редкие дни свиданий с корзиночкой «усиленного питания» (что удавалось купить на Смоленском рынке, а для этого брать на дом переписку, пачки библио-

течных карточек, редко попадавшийся перевод). То, как гордец-мальчик повисал у нее на шее, еще не успев взглянуть на гостинцы, тем опрокидывая ее упреки в «отсутствии сердца», — было трудно и теперь помнить... То, как с криком *ласточки* он бросился — на каникулах, дома, к ней (давно уже, терпеливо, булавками — потому что гвоздиков не было — он приколачивал все отстававшие подошвы вконец изношенных полусапожек), — а она вошла без улыбки, строго, чтоб не расплакаться: «Одевайся! Идем покупать башмаки». (П о к у п а т ь! Небывалое слово! Он не ослышался?) Этот ласточкин крик Сережи нельзя было вспоминать.

Раз, в гостях, мальчик не выдержал — попросил, чтоб подарили ему крошечную каменную обезьянку. Радостно подарили, но весь путь обратный она стыдила его, довела сына до слез. По пути оказалось, что он — потерял подарок! Новый взрыв материнского негодования: «Ты даже то не умеешь любить, ради чего унился! Какой же ты растешь человек?!» А через две недели, в утро ее просыпания, в голодный день ее рожденья (ей начинался тридцатый год, ему было одиннадцать), у ее изголовья сидела припрятанная обезьянка, крошечная, каменная, и его ликование не было конца! А за год до того, на этом же стуле, лежали кружком — двенадцать половинок яблок, потемневших и чуть кое-где уже подгнивших, от выдаваемых ему — по одному — в день... Берег — волновался — сберег...

Часть II

ИЗ ЖИЗНИ НИКИ. МЕЖДУ ГОРЕМ И СЧАСТЬЕМ

ГЛАВА I ГЛЕБ И МИРОНОВ

Ника посидела — более чем задумавшись над раскрытой тетрадь. Писать для Морица кусок своей жизни — чтобы быть понятой? Это падало тяжестью. Если бы это!.. Не это! А воскресить то, что с таким трудом когда-то было преодолено собою, вызвать из того, что уже стало тенью — живое дыхание дней... Как устоит она перед этим? Не закачает ли ее от всего этого, что прошло, — раз она это все родит в явь? Чем она защитится от людей, которые шагнут в ее день из своей тени? Все пережить вновь?

— Я не переживу вторично, — сказал кто-то в ней самонадеянно, трезво, — но *его* я заставлю пережить нечто большее... То, что ему жизнь не дала? А может быть, он сокровенное — скрыл? О чем же тогда — поэму?! Я напишу все это (сказала она, медленно, себе), чтобы разбудить в нем — душу. А если для этого мне надо вновь пострадать немного — пусть будет так! Начать — с юности. И как же назвать это? Может быть, так: «С первой настоящей любви». И — не растекаться по дереву! Кратко она скажет о первом муже, о фантастике, романтике этой встречи, о мучениях дней, когда они перешли во враждебный мир секса, о том, как секс разбил романтику, угасил ту любовь. Схематично! Потому что не рассказать — человека. Плененность, трагизм индивидуальности неповторимой. Потому что не это — тема. Тема — тот огонь, который *этот* кремень из ее камня — высек, с чем она осталась один на один — расставшись. Никогда не станет Морицу родным, как ей, ее первый муж Глеб, драгоценными его светлые волосы, как ей таинствен синий пронзительный взгляд. Тысяча его неожиданных, ни на кого не похожих выходов, из гордыни и отрешенности зачерпнутых, — Мориц непременно перестанет быть слушателем — опрокинет, заспорит, огрубит осуждением, сомнет то, чего смять — нельзя. Значит, она должна огрубить, превратить в схему, закрыть дорогое на ключ — чтобы не спорить.

Просто назвать — принимайте на веру, как факт. Так. Упростить, отбирать — в миг давня. Ну, так что же прошло? Что? Она думает — остро, жестко (как Мориц).

Пришла — горечь. Пришел — отврат от близости, объяснений, попыток быть понятой. Неверье в возможность слияния. Просто начать вот с чего: Разочарованность. Привыкание к одиночеству. Над всем был — вздох.

...Утром наши с Глебом во Франции, поездки ранним поездом из Трайас в Канн. Этому 24 года. Но этому уже вечность, потому что этого никогда не будет.

И зачем это было?

Как на кинематографической ленте мелькнули улицы, рестораны, универсальные базары, площади, кафе, магазины; сколько мы прочли вывесок, во сколько входили дверей, скольких кельнеров и гарсонов — лица я еще ясно помню; я воскрешаю во рту тающий вкус огромных иерусалимских апельсинов; тени в скверах от пальм, скамейки, гравий, песок, ровный прибой длинных голубоватых меланхолических волн...

Я помню себя в элегантном пальто с огромным воротником из «пана» — шелковистого бархата, спадавшим на плечи и грудь мягкими складками; в большой, с черными маргаритками, шляпе — и зонтик помню в руке...

Я помню широкой волной на все дни разостлавшегося настроения — безделья; ласковое безразличие к тому, день ли сейчас или вечер. Запах сигар, запах фиалок. Запах воды. Бесцельность денег в щегольских портмоне, наши чуть скучающие фигуры у витрин...

День склонялся к полудню. Наступала жара. Усталые, с массой пакетов, мы входили в широкие двери какого-нибудь пустого кафе — рай, отдых.

Вмиг мы становились друг к другу ласковы; забывали споры о направлении улиц и часы отхода поезда — карта вин в руках Глеба; нам несут «caviar gusse» (икру, русскую).

Светло сочатся из кусочка лимона на тартинке с икрой — капли. Тонка и ароматна айгеур¹ этого странного блюда!

Взглянув на нас, кто бы сказал, что мы муж и жена! Как безнадежна чувствовалась жизнь впереди — полное отсутствие будущего. И как мудры были мы в 17 и 19 лет, иностранцы и путешественники, — что не глядели вперед.

И ведь мы вправду ничего не хотели!

А в ласковости, с которой мы обращались друг к другу, все уже было — вне мер.

¹ Кислота (фр.).

Я вижу лицо Глеба, острое, строгое, сигару у губ, синий дым, светлое золото легких волос, отброшенных; и задумчивый взгляд пронзительных синих глаз, в которых — щемящий мне душу холод, — полное его одиночество!

И мое — полное. И его ребенок во мне. Тьма над будущим.

Отодвинув тарелку, я развязывала пакеты и свертки — о изяществе желтого маленького деревянного веера, с ласочкой! Кольцо к салфеткам. Шкатулка. Портфель. Шелковые тяжелые галстуки... Наклонясь над дорожной чернильницей, Глеб рассматривает тонкий узор гирлянды фиалок.

За окном несся — и стекла тихонько звенели — открытый автомобиль.

Я помню, как в Москве, вечером, зимой, я спускалась в домике на Собачьей площадке, по крутой каменной, мокрой и темной лесенке, ведущей в светлую и жаркую кухню. На мне черное платье из бархата, круглая бриллиантовая брошь и кольцо с бриллиантом. Выйдя от тепла вечно горящего камина, я куталась в боа и дрожала от холода. Я шла сказать что-то об ужине. И вдруг — я остановилась на ступеньках.

У камина, в комнате Глеба, сидели у огня несколько человек и, увидев меня, уже приготавливали мне место. Я поглядела на них острым, внимательным и широким взглядом и молча села у огня. Меня укрывали маминой бархатной шубой. Юные лица всех нас были ярко освещены.

В комнате Глеба часто и при мне пели романсы и песни, и меж них — песню о Стеньке Разине, утопившем княжну. Мне — не знаю, но тонко чувствую, почему — каждый раз становилось одиноко, оскорбительно, горько, меня заливала тоска и негодование. Я слушала, опустив голову над чашкой чая, вселые мужские голоса, певшие так беспечно, так юно, так пошло-юно, как мне казалось, гибель персидской княжны от руки атамана Разина — и мне мнилось, что они сами таковы, все до единого — беспечны, грубы, через край налиты своим мужским правом, гордостью, спесью, каждый из них бросит в воду «княжну», как только друзья станут на его дороге с насмешкой.

О тонкие ручки и ножки ее, узорные туфельки, о тоненький звон запястьев и ожерелий, «о ночь, о глаза», все это было залито водой, превратилось в труп — из-за разбойников, из-за мужской спеси — о гадосты!..

Они пели. И мне казалось тогда, что это меня они

топят, во мне все кипело и угасало, мне хотелось встать и сказать им, что я их презираю, но что-то горечью держало сжатым горло, в котором уже стоял и душил меня клубок.

...Глеб приходил, и часто вдвоем со своим другом, в час, в два утра, после игры на бильярде. Он уходил, не говоря куда, не ответил бы на вопрос, когда он вернется, — но я не задавала его. Мы почти никогда не бывали наедине. И, запершись в своей комнате, рядом с детской, где няня укачивала Сережу, я часами писала дневник, подводя итог своей жизни, которая рвалась на глазах.

Я не могла позабыть того Глеба, входившего почтительно в мою комнату, два года перед тем, с которым у меня до полуночи шли разговоры, после того, как я мчалась с ним на норвежских коньках! Зачем это было...

Г Л А В А 2 МОРЕК И МИРОНОВ

Прошло три года. Какие три года!.. Разве их рассказать? Я еще долго мучилась с Глебом. Расстались... Мне двадцать лет. Мориц, вы умны. И, *может быть* — вы поймете.

Один знакомый, не влюбленный, слава Богу! Захотел привести ко мне друга, — «палата ума, воспитанный, сдержанный в чувствах». Но случилось, что в назначенный день знакомый был телеграммой вызван, — и — попросив разрешения по телефону, тот — «палата ума» — пришел один. Была прелесть в незнакомом скромном человеке, с тенью застенчивости в дружеской улыбке, переступившем порог. С первого же вечера, далеко за полночь продлившегося, — дружба. Когда он ушел, я была не одинока на свете, но свободна более, чем до того: *этот человек, если и полюбит меня, не наложит руку ни на какое свойство, не внесет тяжести в мои дни. И мы — видимся.*

Я стою, прислонясь о вешалку, не зажигая света. Рассвет. Он в пальто, держит в руке книги и шапку. Я почти не вижу лица. Вижу белый блик, окруженный чем-то черным (мех). Мы шутим, мы все время шутим. Он хочет идти. Я все не отпускаю его, он называет меня безжалостной — ведь он не успеет отдохнуть до занятий. Он кончает второе высшее учебное заведение. Он просит меня начинать заниматься, а я говорю, что поеду его провожать на вокзал, когда его возьмут на войну, и на сутки приеду ухаживать за ним, если он заболит. Отчего, когда я прощаюсь с человеком, мне всегда кажется, что я вижу его в последний раз?

Я не вижу лица, но чувствую на нем улыбку. Черный

силуэт, белые пятна рук, держащих шляпу. Утро? Ночь? Все — призрак, все — сон. Мы выходим. Через косые переплеты стеклянного коридора падает ранний свет.

С медленной неизбежностью вырастаем друг в друга. Он старше меня на десять лет. Все легко — как во сне, тихо и глубоко, как над колодезем, в котором не видно дна. Заботлив. Просит раньше ложиться. Уйдет, чтоб легла. Соглашаюсь. Я и без него с ним! Затем на такие просьбы — отказ: «Мне важно вас видеть. Зачем томиться вашим отсутствием? Не надо разбивать ритм...» Полулежу. Смотрю на него изучающе, задумчиво: все равно жизнь *разобьет* этот ритм, не надо ее торопить... «Да, не надо».

Он стоит, уже встав идти, докуривает папироску, курим оба. В синей завесе я слабо вижу его.

— Ритм, вы сказали? — всем надо управлять, — и тихо-нечко гасит папиросу о пепельницу.

Гляжу, молча. Он уйдет, надо будет спать, вставать, есть, говорить с людьми.

Он еще здесь? Может быть — уже нет? В доме так тихо...

— Когда вы уходите, мне кажется, это последний раз...

Тяжелые веки его над очень светлыми печальными глазами чуть вздрагивают. За приоткрывшейся дверью — выходящая приоткрыта тоже — из стеклянного коридора — город глухо гудит. Гудки паровозов. И все города, где мы не будем вместе? Но все виадуки, все вокзалы, все страны мне видятся — только с ним. Но — проклятый вопрос «близости» все поглотит, изменит, потому что законом своей заколдованности этот враг — сильнее всего. Он потребует жертв тривиальных и чуждых, в которых нет ничего сходного с этими неповторимыми часами. Я провожаю его до дверей, и, когда его шаг затих, я выхожу одна в предутреннюю Москву, я живу на окраине. Я встречаю утро в снегах тихих улиц. Разве это можно забыть?

Я не знала, что бывает такое!.. Совсем незнакомо. Точно я родилась — еще раз. Еле иду от усталости. Мимо дома Шмидта, разрушенного в 1905 году, мимо маленького моста, меж сугробов — и мне нисколько не страшно. Он уже спит? А я — нет...

Его отец ослеп, семья пролечила все — чтобы вернуть ему зрение. Работали и учились при одной керосиновой лампе. Копили. Выписали из Индии чудодея — он вернул отцу зрение: он увидел своих, ожил, был ликующий праздник! Но однажды — вскоре — отец проснулся, и снова, уже навек, — в темноте. Мать жива, очень старая. (Я о себе — тоже урывками, к слову...)

Он приходит почти каждый день. Однажды под утро — он тихо сидит в низком кресле, все спят, няня в детской с Сережей. Я лежу на тахте. Из-под тяжелых занавесок сочится голубой свет — молчание переходит в сон. Сплю. Просыпаюсь от сердцебиения: он стоит надо мной, стараясь тихонько поправить — чтоб не разбудить — соскользнувшую белую шкуру, в руке портсигар и журнал, он крался незаметно уйти.

Было ли это — или приснилось, из глубины в этот рассвет, еще снящийся, — руки, кажется, поднялись полуизвиняющимся, что уснула, движением ему на плечи, губы нашли в воздухе его рот. Я не помню поцелуя, был ли? Так этот первый поцелуй во сне остался — вопросом. Но если его светлая тень и не отразилась в зеркале яви — он все равно был, раз приснился. И я знала жизнь не хуже его, старшего, свою жизнь: что-то должно было разбить ритм странной совместной жизни — в моих руках телеграмма: Николай Миронов, друг Глеба, человек, меня платонически любивший все эти годы, сообщает номер воинского эшелона, просит ждать там-то перед войной проститься. Я любила его в тяжкие месяцы, годы расставания с Глебом, не решаясь соединиться с ним.

...Только записав эти дни, она уже стала спокойнее и тверже, даже если Мориц тут ничего не поймет! Да и как понять, что она любила и того, кто прислал телеграмму, что сердце от страха его гибели на войне так бьется, что она еле может дожить до часа, когда придет ее новый друг — протянуть ему этот зов, это их расставание... Лучшие дни! Глаза его только чуть дрогнули, взглянув на часы, отвечал, что надо ей торопиться, что до города Т. немало часов пути... Лучше, чем лучший брат, помог ей собраться — к сопернику, провожал, помогал.

Осмелев от близкой разлуки, я беру его руки, он сжимает мои осторожно и нежно, его веки дрожат, губы стараются улыбнуться. Мы так близко стоим друг к другу, глаза не могут расстаться... И руки! Длжащееся рукопожатие заливаает голову — в этот миг мой друг делает легкое движение притянуть к себе свою даму, первоклассный танцор, мастер танца — начинает со мной вальсировать. Мы медленно кружимся по ускользящему паркету комнаты, рядом с той, где мы обычно сидим. В ритм превращена нарушившая наш мир

телеграмма, она вальсирует с нами, трепеща медленным легким трепетом, как наши сердца в этом танце прощания и — встречи — жизни, где ничего не понять... В се вхлебнув в о д н о м вздохе.

«Ритмом,— сказал мой друг,— ритмом жизни?— надо уметь управлять...» Как наш первый поцелуй — в полусне, так наше первое объятие — в танце.

— Ника устала...— говорит он, бережно сажая меня, мы прошли много кругов вальса...

Головой о его плечо, отдавая себя в его уже все осознавшие руки,— потерянно и все-таки твердо:

— Я люблю его — и люблю вас. Что мне делать?

— Ника поедет. Ника должна ехать. А если Ника захочет — она вернется. Ничего страшного нет...

Он шутит, отводит глаза, но его веки дрожат, и под веками, и у рта — мука. Но я помню ночь, когда после расставания с мужем мы ходим рука в руке с Мироновым из комнаты в комнату, его темно-золотые глаза под ласточкиными крыльями бровей смотрят мне прямо в душу. И он едет на фронт!

Я встаю:

— Я еду. Надо все устроить — с Сережей и няней.

— Ника ни о чем не должна беспокоиться. Я все беру на себя.

Мы на вокзале. Четыре руки сжаты, как склепаны. Их сейчас расклепает звонок. Он раздастся. Один человек легко спрыгивает, остается стоять на перроне, другой уносится ритмом поезда. Глаза еще видят последние огоньки московские... Ночь.

Почти сутки на Тульском вокзале, эшелон 37-й запаздывает. Люди так живут по несколько дней. Без сна, в несчетный раз выхожу к разливу путей. Не верится ни во что.

Прямо ко мне, шагом, крупным и твердым, полоща в ветре полы шинели, переходит пути человек в военной папахе. Не узнаю. Помню его черноту, ее нет — папаха серая, весь в хаки, военный цвет. Одни брови черные! Забыла, что так улыбается... Что так сияют глаза: мрачный и восхищенной нежностью, в ней спаялись Рогожин и Мышкин... Я просто забыла Миронова. Стою, онемев. Чувствую ровно столько, сколько надо — чтобы сойти с ума. Сесть в поезд с ним — и никогда не вернуться. Но на моем щите — как некогда на щите моей матери — начертано слово «долг». Там, в Москве, был долг — отъезд. Теперь тут, в купе, я не беру его руки, не даю себе воли, потому что я должна вернуться назад.

Мы не виделись два года. С дня, когда я шестнадцать

часов по приказу врача (его уже нет, убит на войне) просидела над больным Колей Мироновым, через час вливая ему в рот по ложечке черного кофе. Мы расстались в тот день.

Я рассказываю ему все о себе — о прощании с Глебом, с детства друге его, о как будто столетней усталости.

Он знает о вас — все. Усадил в поезд... Я совершенно свободна. Он любит меня навсегда, как и вы. Все понимает. Все вынесет. Я должна вернуться к нему.

Миронову двадцать лет. Я с ним, и поезд летит к фронту!

Он никогда не смел думать, что я отдам ему свою жизнь, он не понимал никогда меня рядом с Глебом, не оспаривал, не добивался, он был счастлив, что я есть, он верил в немыслимость будущего, не называя его, он знал меня в самую трудную пору с Глебом. Он был и будет мне верным, он очень давно со мной, когда мой теперешний друг и не подозревал меня в своей жизни. В моей жизни Миронов старше его, и он едет туда, где смерть...

Он наливает мне чай, ломает шоколад, вынимает закуски. Утро встречает нас — брат и сестра — в несмолкаемой за ночь беседе. Он прижал к плечу мою голову, уговаривает меня лечь.

(Ника пишет и сбивается, с «я» на «она», пишет — и поправляет.)

Но у Коли жар, ангина еще с Сибири. Я ухаживаю за ним. Заражаюсь? Простуда? Свалилась. Он вызывает врача. Никогда, после матери, никто не был с ней в болезни так нежен. Жар растет, лекарства не помогают. Ночь на двух диванах. У нее сорок и выше. Бред. Седлец — садясь в поезд, я хотела тут выйти и ехать назад. Об этом — и речи нет! Едем. Перед Варшавой он получает приказ вести свою роту на расквартировку. Из Седлеца, еле добредя, Коля посылает телеграмму моему другу Маврикию. Дикая боль в горле не дает пить. Еда отошла в преданье. Выступая с ротой, он успевает найти и поставить ей под холмом пролетку, поручает денщику: «Ответишь за нее». Называет гостиницу, перед ночью он приедет туда сам. Но когда я с денщиком, еле ступая, ноги не слушаются, голова плывет, выхожу (крепко держит меня!) из поезда — пролетка, объехав холм, увозит офицерскую семью! Превозмогаю бред. Не выпускаю из рук корзиночку, где мои дневники, я их читала Миронову... Денщик держит меня, я — корзинку. Еле идем. Варшава — на горизонте. Как мы дошли — я не знаю. Сколько верст? Вечность. Говорят, четыре версты. Ног не было, одни руки. Голова где-то реяла. Мой спутник был хороший мужик — дотащил. Он посадил меня на крыльцо первого домика — и ушел за извозчиком

в город. В гостинице прихожу в себя. Врач. У меня scarlatina. Почти сорок один. Больница. Я в ней пролежала два месяца. Тяжко болела. С войны шли письма от Миронова, из Москвы от Морека — так называла я Маврикия. Над Варшавой летали цепелины. Были бред кругом, стоны и смерти. Странно кончился мой отъезд из Москвы, моя встреча с Колей! Весной за мной приехал Маврикий. Лето пятнадцатого года я прожила с сыном в Коктебеле.

Когда я вернулась, я узнала, что Маврикий Александрович не в Москве, а мобилизован в маленьком городе, в трех часах поездом. Я рассталась с московской квартирой и переехала с Сережей — туда. Жизнь со вторым мужем была удивительна. В заботах обо мне он был мне отец. Но в начале беременности я заболела, и хирурги слали меня на операцию. Я должна была потерять ребенка — а я так хотела его! Я металась между врачами, и один, умный, отверг неверный диагноз, спас меня и беременность мне сохранил. В это время с войны на несколько дней неожиданно приехал Миронов. Я ввела его в дом. Между ним и мужем дружба приняла вид нежного братства... Поле, снег, мчимся на лошадах, бубенцы, мы втроем.

Ника чувствовала, что она перестала писать так, как писала, она гнала рассказ — и, может быть, Мориц ничего не поймет, потому что из сухого изложения фактов ускользнет — главное. Но она уставала на срочной работе, боялась не докончить хоть как-нибудь свой рассказ. Да и события шли тяжкие. Как их было подать?

Но когда мы, после поездки в санях, садимся за ужин и пьем вино, Миронов, черноволосый, как цыган, и красавец, встает и, глядя в упор на меня, начинает своим волшебным голосом петь.

Безумно люблю
Не отдам никому,—

низкий, томный голос его полнит комнату, дом, ночь,—

Целый мир погублю,
И с тобою умру...

Муж сидит, устремив на поющего взгляд, светлый, страдающий, рот его чуть дрожит под усами... А мне кажется — стены рушатся от золотых страшных глаз под бровями, почти сросшимися, от его тоски, от прощанья — через четыре дня — на фронт!

Мы в театре с Мироновым — вдвоем, студия Художественного театра. Пьеса Гейерстама «Гибель «Надежды». Застра-

хован, негодный, корабль. Страховку получит хозяин. Матросы, не знающие, что корабль обречен, нанялись на него. Юноша, Баренд, узнал о беде. Его требуют на судно. Мечется, кричит: «Я не хочу постонуть в грязном вонючем море...» Его ловят — запродан. Меня тихонько трясет. Ночь, камин (сцена). Сирена ревет. Шторм. Гибель судна.

На обратном пути я говорю Миронову:

— Я уверена, что вы будете живы.

— Вы меня как Баренда провожаете? — отвечает он с, может быть, добротой и иронией — но перчатка брошена — и поднята.

Поздно ночью он, уложив меня, долго сидит в ногах, говорим. Он встает.

— Я пойду? Поздно...

— Оставайтесь!

Я сказала это как ответ на фразу о Баренде — не «волны страстей» — долг, оплата! — только с ебя я могу дать за три года любви его платонической. Перед кошмаром фронта. Мне нет выхода. Решение от воли? Ума? Но когда разверзается ночь, наша, первая — платоника оказывается детским бредом, и все четыре дня его до отъезда мы не можем разнять рук. И когда я вхожу с ним в поезд — нет никого кругом, ничего: только он! Его провожают сестра и мать. Прощается с ними, не видит. Не отрывает глаз от моих... Первый звонок, второй, третий... Та же ночь — синева, мороз, небо в барашках. зуб на зуб. Еду домой. К мужу, ему чужая. Простаясь с самым близким, который, может быть, никогда не вернется. Озноб.

С этой ночи — столько ночей, Мориц! Она победила все...

Я вхожу. Муж открыл мне.

— Я принадлежала Миронову.

— Я знал.

Он снимает с меня шубу, провожает меня в мою комнату, укладывает меня, как всегда. Он уходит, не заглядывая в глаза. Заботливо укрыв, затенив лампы. Приготовленный ужин...

Стоит долгая, темная ночь...

«Вы любите ваших детей, Мориц, — пишет Ника, — и мой ребенок вернул меня мужу».

Тот человек на войне кажется сном, хоть сном очень памятным. Поколебленный мир в дом — вернулся. Семейное счастье, очаг? Но когда еще раз приезжает с фронта тот, кого я насильственно забываю, уже месяцы, — он стоит на пороге, пол рушится подо мной, я иду ему в руки, как голубь,

и это уже — не жизнь... Еще шесть дней нам протянула судьба, всего десять дней.

Снова отходит поезд, и снова нельзя жить. В эти дни муж хотел дать мне и ребенку яду,— и себе. Он сказал это мне.

— Но я с собой справился. Я люблю вас такой, как вы есть. Я никогда не оставлю вас! Это было последнее искушение. Я вернулся к вам, и я ваш...

И когда родился наш сын, Глеб, вернувшийся с войны, с параличом руки и лица, после больницы, приезжает к нам, подружась с моим мужем. Что за странный дом,— думают соседи по улице,— где жена с детьми засыпает, откормив грудью младшего, а первый и второй мужья глубоко в ночи сидят за беседой, как за стаканом вина... без него! Позже Глеб напишет мне: «Вы прислали мне списанные страницы вашего дневника. Читаю, не отрываясь. Как истукан буду переворачивать страницу за страницей — пока не заплачу. Целую Ваших сыновей. Жму руку мужу. Ваш Глеб».

Весь день я занята: хозяйство, дети, русская печь. Прислуга стоит в очередях, пропадают продукты. 1916 год. Устаю, еле везу день. Возвращаясь с работы, муж становится у корыта, моет пол, помогает во всем. Но он видит — я таю. Неужели ему вторично готовится то, что он в юности пережил, когда его невеста умерла на его руках? А когда мы вместе с детьми — страхи тают. Дай только войне кончиться — Ника снова порозовеет, они объездят весь мир.

Но, должно быть, существует возмездие: еще нет младшему года, когда в девять дней от гнойного аппендицита — ошибка врачей — умирает Маврикий. Я стою на Дорогомилловском кладбище не в силах что-либо понять... А через шесть недель в Крыму — умирает в пять дней наш сын, начавший ходить, говорить, так на отца похожий! Я осталась в двадцать два года одна — с Сережей.

Шла революция. В банке пропали деньги. Начался непосильный труд. Нищета. Мы живем на горе в южном городе, в маленьком, белом доме. В лиловом небе — жара. Цыганская слобода. Невозможность найти работу. На счету каждый грош. Уцелевший Сережа болеет. Рецидивы его болезни отнимают остаток сил. Под землей, по которой хожу,— гниют муж и сын. В Бога, в иную жизнь я не верила. Здесь же — потерян смысл. Рот закрыт для общения с людьми. Если б не болезнь сына...

Два облика младшего, его сына, гасят все остальные: на руках няни, в белом платьице, с перламутровыми пуговицами, в белой панамке. Начал розоветь, чуть — загар. Длин-

ные, уже Сережины, синеватые глаза, очень блестящие, так похож на отца! Смеется... Тянет ручки, кричит: «Ма-ма!» Другой: крошечный, потому что уже на полу, начинает ходить, шажками, качаясь, выходит на каменную террасу, где я варю обед. На нем красное платице. Чуть кривоватые ножки (ванны с морской солью), в чувяках. Очень легкие кольца кудрей, золотистых — надо лбом и над ушками. За ним, умиляясь этой ходьбой, стоит четырехлетний Сережа, оберегает. Алеша был веселый ребенок! Совсем здоровый. Зачем нужна его смерть? Где он? Тело в земле. Его смех? Голосок! Его ласковость! Его остроумие! Уронил яйцо, разлилось. Он смеялся, кричал «а-а!» Где это все? Не в могиле... Но рассудок диктует отсутствие Бога, невозможность жизни не в теле.

Я стараюсь отвлечься, но и книги попадают странные, мрачные — «Тереза Ракэн» Золя, «Мелкий бес» Сологуба. Над городом — жаркие дни, как в пустыне. Няня тихонько плачет, вода по простыне утюгом, вспоминает Алешу. Старший с детьми во дворе. Как ласточкины их крики! Только Алеши нет...

Чем дальше жить без денег? Пока еще московские запасы. Скачки цен. В городе нищета и не сдающееся на жалость богатство. Начало гражданской войны.

Человек, ждущий в гости, — старый друг. Звал очень. Никто из друзей с ней не говорит о ее несчастьях. Обещания о работе. У стенки иду вдоль моря.

Ника писала, все боря странное чувство. Оно и на бумагу выходило. *Не хотело* перо — писать Морицу «я», «мне», «меня», оно ошибалось упорно: «она», «ей», «ее», и она перечеркивала. Она вдруг остановила себя: *зачем* я борю себя? Значит, *так* и а д о... И, перевернув лист, она дала руке водить перо — как руке, душе и перу было легче. Может быть, так легче писать? Да, свободней. И было в этом — правда; с тех лет прошло *столько* всего, с дней Сережиных четырех лет, Ника честно будет писать — «она»...

Г Л А В А 3 АНДРЕЙ

Когда она вошла в знакомую квартирку друзей высоко над морем, в Феодосии, в теплый уют гравюр в овале, багет рам, заботливо собранной на толчке старины, бисерных мелочей, золоченых чашечек в объятия еще более золотых, как пруд, блюдец, на полках, сияющих перламутром рядом с мертвенною желтизной слоновой кости, ветер колебал шторы

и ползучие стебли растений, висящих в горшочках у окон. Гудела сирена. В комнате шел жаркий разговор о последних известиях. Будь живы ее сын, ее муж — все бы звучало. Когда рухнули эти два ее мира, казалось, почти естественно, что мир и кругом — рушится. Тупое равнодушие к чужому горю. Свое заслонило все. Зачем фарфор золоченой вазы, ненужной?

Хозяин, пожилой грек, встал ей навстречу. Белый китель, черные усы. Он только хотел усадить ее, когда ему пришлось обернуться к другой двери: в комнату выходил юноша, скорее, казалось, мальчик, лет семнадцати, щегольски одетый, со стэкком.

— Верхом? — бросились к окнам — коня нет!

— Я пешком. А стэк — по привычке... В город приехал поездом. А вчера скачу по степи, далеко за Ислам Терекком, а мне вслед: «Мальчик! Мальчик! Чья лошадь-то?» — «Лошадь? Моя!» — «Ну, а ты чей?» — «Я? — Свой!» А вслед — свист, крики...

Рассказав свою озорную реплику, он откидывает рукой светлую и густую прядь.

— Что-то устал сегодня!.. — И садится на ручку кресла.

Ника смотрит тоже устало, с любованьем старшего, чуждым на эту юность и пыл, на тягу — к авантюре, должно быть... На рисовку! Как это далеко позади! Мальчик ничего не знает о мире! Узенькое лицо, профиль — с медали. Полоски воротничка и манжет... Кто так смотрит за ним, что он так элегантен и четок? Избалован, наверное. О, какая тоска, как все везде чуждо!

Гость вскоре уходит, почтительно поцеловав ей руку. И сразу — костер голосов.

— Первоклассный наездник! Тысячный жеребец! Обьезжает любую самую дикую лошадь... знают во всей округе!

— Кумир семьи! Образован! По-французски... Жил в Париже с отцом...

— А я слышал — превосходный художник! Да, да — у Машкова учился.

— Мать-революционерка, сидела в какой-то крепости... Шлиссельбург? Или в Петропавловской, в молодости — вот и передала сыну дух, мятежный...

Вздохнув, Ника пила чай. Как все это было ненужно, этот спор, наблюдения... Ее легонечко тряс озноб. Сейчас она спросит, нет ли чего-нибудь о работе, — и пойдет к себе, назад вдоль шумящего моря, в свой угол, в свою тоску.

В те дни Нику нашел старый приятель молодости, художник. Он знает об ее утратах, но ничего не говорит о них. Зовет ее идти через город — чудные краски заката! Вам, как художнице...

Ника весь день возилась с хозяйством — просеивала крупу для еще нездорового сына, покупала на дальнем базаре цыпленка, варила еду, раскатала — в запас — лапши... Одна она бы никуда не пошла. С человеком — можно. Людвиг (поляк) — хороший пейзажист, его горные и морские этюды...
Вздых!

Узкие улочки цыганской слободки, феерия заката над морем. Здание на холме, с колонками — как маленький Парфенон. Это, может, Афины? Так — не людьми, а природой, искусством — подкрадывается жизнь...

Чужой дом. Вечерний уют. Звон гитары, люди. Толк о войне. Какой-то молодой человек — кокаинист, говорят, — потерял семью, отрезало. Импровизирует на рояле. Реликвия города, бывшая уже красавица, — слушает, Ника глядит одним глазком, слушает одним ухом. Но во внимании к ней друзей начинает звучать ритм жизни. Хотя мелодии нет и не может быть. Среди гостей тот мальчик. Он слышал, она художница, он — тоже, немного... Почтителен и галантен, владеет талантом речи, так понимает кузминские Александрийские песни, много знает Блока — наизусть. Остроумен. Но замедленно-тих в беседе, и какая-то в нем, озорном в первый раз, — печаль... Повадка неуловимой шутиivosti и иронии. Что же он такое — пережил? Но какой еще в людях есть, в их неподрезанных крыльях, — ум, вкус! А в ней — одна пустота. Удержанный вой, волчий.

...А в этом мальчике — странная смесь светского лоска, мальчишеского задора — с какой-то большой... усталостью. Удержанный вздох. Глаза умны, очень. Цвет — синий. Над губами (они чуть сухи — или это от следа операции?) извилистый шрам.

На гитаре кто-то берет аккорды, стареющая красавица подпевает: «Васильки — глаза твои...» Спор о правде данной эпохи. Кто-то плетет мысль — неясно. Ника встает на защиту мысли, несколько четких слов. Почтительная похвала мальчика. Незаметно началась беседа. Ничего не сказано, собственно (оба собеседника, каждый по-своему, избегают рассказа о себе), но вскоре она понимает, что и он не верит в то, во что верят так многие, — религия! — и во что не верит она. Но пути их, должно быть, разные. Ника уже ничего не ждет потому, что не хочет, даже отталкивает (но ведь об этом сказать невозможно, никто ее жизнь не знает).

А мальчик из жизни, чем-то ему не нравящейся, рвется — на фронт...

Когда двумя часами позже они и еще несколько человек выходят на улицу в ночь, Ника с удивлением ощущает, что эта странная словесная полудружба что-то на ладони — весит: человек вполне непонятен, включая даже и возраст, но он ловит мысль на лету, находит именно то, нужное слово. Но — но — сборы в кавалерию явно по личным причинам, а стэк, конь, дрессировка коней, чуждая воля к жизни — все это так ненужно ей, такое чужое, что не хочется даже взглянуть...

Проходит неделя, идет вторая. Станный образ уже начинает гаснуть, когда вновь, зайдя с Людвигом, она встречает его. Встретились — «как друзья». Она с сыном. Он внимателен к ребенку. Сережа, чувствуя не наигранность внимания, откликается на нее, но не материнским стилем, а стилем отца. Сережа вундеркиндовыми сентенциями — скорее замечаниями, чем вопросами, — возбудил интерес «мальчика» (как в мыслях называет Ника странного своего — друга?).

Беспощаден ритм жизни. Она прислушивается к себе. Да, чуть теплее вздохнулось... Бороться? С чем? С дыханием? Но ведь она — жива...

Задумчива беседа двоих, идущих под крутой уклон горы, держа за руки — по руке — глядящего на луну ребенка. Шум взлетающих волн. Крик птиц в молодых тополях, пирамидальных, приморские дома караимов — фантастика архитектуры, каскады веток, живой каталог ботанического сада, субтропики, блестит темной мглой стекол ночь.

— Мама! — говорит ребенок, оторвавшись в ужасе и восторге от неба. — А что там — пустота без конца, вы — понимаете?

— У вас замечательный сын... сколько лет?

— Скоро пять. Уже пять — много! У него отец замечательный (тоном, должно быть, того же восторга, горького, как ребенок — о небе).

— Это ваш первый муж? Жив?

— Да... — неуверенно, надо ли — и как об этом — продолжить... И, сыну: — Нет, Сережа, этого не понимает никто.

Но он спешит на выручку (у человека лисье чутье, как у вас, Мориц).

— Я о вашей судьбе слыхал.

Так хорошо сказано. Не понадобится профанация рассказа. Как верно в этой спартанской данности сказал человек:

— Вы разрешите мне когда-нибудь навестить вас на вашей горке?

Приходите. Буду рада.

И вот он у нее в гостях. (Ему совсем не так мало лет, как кажется, он ей ровесник.) Андрей Павлович знает французскую литературу, жил во Франции, любит французских импрессионистов, Гогена, Врубеля, ценит Петрова-Водкина. Его «Красный конь»... Она наблюдает в нем странное перемежение — разниц: все, связанное со страстью к верховой езде, к объезжанию диких коней (сюда идет и его жокейская легкость, драгоценный этому спорту невысокий рост) — с пресыщенностью зрелых суждений (усталость?). Весь тон — об искусстве ли или о стихах, о живописи — являет такое мастерство, изысканность вкуса — от родителей? Но почему так просто, доверчиво рассказывает о своей семье? По мимолетным напоминаниям о них, особенно теплых об отце, на кого он, говорят, похож. Чувствуется, однако, что ни отец, ни мать не живут в мире его увлечений. Отец — вольтерьянец. Мать — ближе к политическим и революционным идеям, от искусства — далека, хозяйства своего хуторского не любит, хозяйство ведет, — Нике странно слышать, — он, ее сын.

Прислонился плечом к распахнутой створке окна... Это что же, рассвет обвел очерк головы и плеч? Как на светлой эмали сейчас — профиль. Как коротка летняя ночь!

«Мальчик» уходит, чинно поцеловав руку, прося позволения прийти еще — будет сбор абрикосов и свежих грецких орехов у них в саду. Когда ей захочется, она, может быть, придет посмотреть на хутор? По-татарски — Бузулак, «Темный сад»...

Уходит. Сын стоит, с долгую минуту, слушая, как стихают его легкие шаги — полупрыжками по круто сходящей тропинке. Вспоминает. Такое же утро — уход человека — такой же взгляд вслед. Выходит из дому, бережно прикрыв дверь, и идет одна (какое-то зеркальное отражение смолкнувшего и исчезнувшего — невероятно!) по пустым рассветающим улицам — к морю. Она долго лежит, глядя на восходящее солнце, щуря и отводя глаза. Засыпает, — впервые, может быть, за месяцы, совершенно свинцовым сном. Просыпается сразу, точно кто-то разбудил. Солнце высоко, жара, плечи и шея — горячие, пахнет водорослями и рыбой. Домой! Надо бы в лавку — (хлеба) — нет, нет! Спешит, будто гонят. Едва успевает войти — цокот копыт. Она видит, как из всех дворов —

головы, тут лошади нет пути — не бывало: гарцуя, узкой тропинкой изогнутой к ней слободки — черный и мощный конь, на нем маленький стройный всадник. Останавливает у ее калитки коня, спрыгивает; привычно и ловко — коня на привязь, входит во двор.

— Я завез вам корзину груш и книгу стихов Кузмина. Я буду в городе через неделю.

Фуражка в руке, ветер шевелит густую светлую прядь надо лбом.

И вот уже конь, грациозно ступая, почти танцуя, как цирковой, берет неудобный путь — под шепот, голоса, взгляды.

Она держит в руке — корзину янтарных, чуть подгнивших, спелых груш. Книга раскрывается на строках:

Поцелуй, что к вам прикасается,
Крепкой печатью ложится.
Кто устам любимым причащается,
С прошлыми со всеми роднится.

Сердце бьется. Она чувствует, что краснеет. Ей стыдно себя. Она резко ставит в кухонке корзину и, не взяв груши, кричит:

— Сережа, я сейчас тебе опшарю грушу и половину дам, больше тебе нельзя. Няня, я подогрею чайник, а вы кушайте груши. Их надо есть, они слишком спелые.

— Сами-то кушайте, — сумрачно отвечает няня.

— Я потом, — уклончиво отвечает она и кладет Кузмина на стол. Она не открывает книгу. Она этой книги боится. Сережа бежит во всю прыть на зов.

Но неделя проходит — как год. Она плохо спит, и опять, как после смерти Алеши, — тяжелая голова.

Когда Андрей Павлович входит — он с порога, остановившись, спрашивает:

— Вы плохо выглядите. Вы опять заболели?

Тщетно силится он шутить. Его галантность — совсем легкая маска: в голове та теплота заботы, которая ясней слов. Круг завершен. Опять то же заклятье над жизнью, опять невозможно расстаться, опять уже не возвращенье, частичное, к жизни, не отдых, не утешенье. Назвать — у же мука. Сладкий, тяжелый плен...

Он — предчувствует? Или бежит от...?

— Я сегодня пришел проститься. Ответ из отряда получен.

— Так, — говорит она. Она совершенно спокойна. Чему-то

ее научила — неделя! Она не скажет ему ни слова. Только зачем он пришел? Удивительно. Так было в ее шестнадцать лет с Глебом, он сказал ей, что уезжает, но когда он стал уходить — ему вдруг сделалось плохо, что-то с головой и с глазами, у него такое бывало, она уложила его, холод на голову, а когда встало солнце (был май), он, сквозь свою всегдашнюю отчужденность и скрытность, сжав зубы, сказал ей, что он ее любит... С шестнадцати лет — больше пяти лет... Но ведь и тогда она ничего не сказала! Первый раз! И — теперь.

Но уж, кажется, хватит этих прощаний... Это то, что жизнь хочет ей предложить? Ты не знала, что у жизни ничего нет другого в запасе? Не научена? Ну, учись...

Может быть, овеванный ее холодом, ничего не доосознав, не поняв, на легких рысцах ответной гордыни и отъехал бы «мальчик» от ее окна — но в дверь, хохоча, обвитой ее сыном, как лианами, роняя пакеты, зажав в руке золотую игрушку — застекленный столбик вина, ворвался Людвиг. В этих криках, гонке и смехе существ, инакоживущих, безумных, лопнул мыльный пузырь их вступившего в бой гонора. В звоне стаканчиков, вынимаемых из карманов Людвигом, в плеске воды — их мыть, в прорвавшихся мешках винограда и яблок. Андрей Павлович забыл их дать, а ребенок нашел, — стала ясна еще раз человеческая жизнь, от которой они отвернулись, — жизнь ясна и добра, но Людвиг уходит, и полвечера, пока у них его...

Теперь она рассказывает Андрею Павловичу об отрочестве и детстве, о юности, первом браке, — но она ни словом не касается того, что было потом... Имя второго мужа она блюдет как святая святых, потому она не сможет сказать о том, что ее гнет к земле — о священном законе возмездия, потому ей ее рассказ враждебен, он искажен, она может показаться жертвой, ее грех останется тайной, и она себя презирует за полуправду. Но даже ради полноты правды, в которой ей бы вздохнуть, — она не перейдет черты, за которой ее свежая рана. Имя второго мужа не подлежит слову. Она не знает, что десятки лет спустя придет день, когда она возьмет карандаш и сядет писать о нем — для человека, которому это в сто раз менее нужно, чем тому, кто ее сейчас слушает. Бесценный дар было бы это тому, кто решает что-то сейчас. Кто г о т о в принести ей — свой, рассказ-загадку того, почему он вплотную стал у порога смерти, решает рискнуть жизнью, идет на войну, куда столькие, еще не поняв начавшегося, в томлении ждут призыва. В дни, когда «генералы, как спичечные коробки, кладут к себе в карман — города...» — фраза

газетная, запрещенного номера, рассказанная шепотом. Напряженно слушает он историю ее жизни, — той, что так не вовремя, так непонятно — вошла в его жизнь. Он слушает о людях, близких по духу, — но слушает с двойным чувством. Да...

...уста, целованные столькими,
Столькими другими устами,
Вы пронзаете сердце горькими,
Горькими стрелами, стаями...

Почему они теперь встретились — а не раньше?

Эта стрела горечи, которой нет равной, мешает вниманью. Тому вниманью, с каким слушает ее Людвиг, ею любующийся, оценивающий рассказ как художник. Слушающий ее жизнь — как рассказ.

Понимает ли пересказчица и слушатели, что происходит? Что бейся не бейся, ставь перед собой препоны, переходи не переходи черты — на развалинах прошлого воздвигается новый воздушный замок... Зацветает не ретроспективно — жизнь!

Ее мужество тает перед этим панцирем и огненным существом. Перед его пониманьем на лету — мысли. Выбором тех именно слов. Скрываньем чувства так, что другая их бы не угадала. Но ее опыту жизни, ее, сейчас, ужасу — они ясны.

Она думала: если бы был жив второй муж — Маврикий! Что было бы? Она бы ему все, как всегда, рассказала. Она бы познакомила их. Он бы гладил ее волосы, грел бы похолодевшие руки... Он, так полюбивший Глеба, так принявший Миронова...

«Так! — останавливает она себя. — Почему ж, если так — ты молчишь о нем твоему новому другу? Потому что он — что его почти нет уже, — потому, что он — идет на войну?»

Голова шла кругом! Еще никогда не встретилось ей такого совпадения мыслей, в интимнейших сокровеннейших вкусах, в тайнах, едва подлежащих учету, сходствах, в которых вот уже третью неделю идет ее жизнь... Но девятый вал назывался не так, не так даже. Он звался совсем просто, отчего она вдруг, не заметив, что замолчала, понимала только одно: они расстанутся, он едет на своем черном коне на фронт. Этот конь ему друг, не она. Он с ним от нее уходит. Еще раз бессмысленна жизнь.

Но уже вновь мешала (или помогала?) жизнь: по ковру катался Сережа, няня ловила его, Людвиг защищал от нее, снова вскипал кофейник, луч солнца стал косой, был почти темным на узорах ковра. Ника наблюдала Андрея Павловича.

...Манера войти, сесть, курить, встать, взять вещь, передать книгу — все волшебство, так, как должно. Смотреть на этого человека было, помимо всего, состоянием как перед произведением искусства. Было нежно помнить (родной и ласковый юмор...), что в два с половиной года он стал вырывать у цепного пса кость — с такой немладенческой силой, что пес — сплоховал, кинулся на ребенка и искусал его. После чего дитя было увезено в Харьков на операцию разорванной щеки и губы. Теперь о нем шли сплетни. Но одну — «сплетню»? — Ника приняла в сердце — в ту неделю до нее дошедшую: что Андрей Павлович свел с ума молодую красавицу, жену видного в городе человека. А в Москве осталась его подруга, женщина с огромными «египетскими» глазами. На празднике Кайрам Байране, татарском, без памяти влюбилась в него дочка их арендатора, для него одного исполнила национальный татарский танец...

Как это сочеталось в нем с застенчивостью, тишиной, с этим удержанным вздохом почти — усталости, странной в его юном существе...

В квартире ее, где из-за вспышек болезни Сережиной, реалистически возвращавшей к смерти Алеши — в грубых приметах и суевериях няни, в запахе лекарств и советах — противоречивых — врачей, день в быту с хождением на дальний базар за цыпленком, варить ему, в страхе, что тают последние деньги, в бесполезных поисках работы — к вечеру она уставала и приходила в унынье. Людвиг развеивал атмосферу подавленности и тревоги, она радовалась выйти с ним к морю — куда-то идти. Купив груш, они выходили за город по сожженным холмам, от которых почему-то пахло Помпеей. Шли пустынными дорогами за старыми городскими арками, где — и хоть где-то там шла война — турки, татары, старые, торговали — все еще — фруктовой колбасой из высохших запасов. Ее покупали в часы перебоев с хлебом. Ближе к центру города хмуро встречались купцы, караимы — съесть чебуреков и потолковать — непризывной возраст — о малопонятной гражданской войне, далекой...

Она шла с Людвигом пустырем, когда из-за угла выбежал огромный мышастый дог. За ним показался Андрей Павлович. Он шел фланирующим шагом. Увидав ее, он явно смутился.

— Вы покупаете груши! Такие плохие... Если бы я знал.— Но, поговорив, он, видимо, спешил продолжить свой путь.

— Так, если разрешите, до завтра?— И, свистнув дога, пошел дальше, пересекая пустырь. Куда же он шел, к кому?

В маленький домик на горке над кривыми улочками сло-

бодки, с распахнутым на обрыв окном, где она томилась мукой смерти три месяца, вошло робкое дыханье жизни: вдвоем пришли Людвиг и «мальчик». Принесли груш и яблок. В ее старом татарском медном кофейнике с длинной ручкой кипит на мангале кофе; маленькие чашки на ковре меж самодельных «подушек». (Людвиг хозяйничает, художник.) Подарок мужа ее, последний, граммофон новой конструкции, видом раковина, без трубы; из него льется мед пения. Темный от грусти, низкий голос Вари Паниной поет прощание с любимым.

...На свете только и есть что прощание! Не надо удерживать человека — пусть едет на фронт на своем черном коне...

Диск пластинки кружится, словно в вальсе, покачиваясь на музыкальных волнах, игла ловит и пожирает мелодию, — а! это мелодия вошла в жизнь, зажгла ритм, спустив стрелу с прославленной тетивы древности, а в распахнутом настезь окне на обрыв — августовская, темная, солью звезд падающих, крупно посоленная ночь!

Но Людвигу вдруг стало плохо с сердцем, ему надо лечь. Уходит домой.

Рассказ начал с полуслова, с полувоспоминания, ответ на вопрос, и в первоклассное внимание, жажду знать о ней ее странного гостя, ухнуло то, что я для вас записывала, Морис, — будущий второй муж мой, телеграмма Миронова, поезд, скарлатинный барак... жизнь ретроспективно цветет, на ковре, среди расставленных чашек, под сонное бормотание няни и детские сны, они говорят, а за окном, далеко, морской шум, крики птиц.

А потом, потом — наступает молчаливая мука. Они уже не могут говорить; слова — ложь? О чем говорить, когда эта беседа — прощальная? В ее жизни — это второй раз. Шесть лет назад — только вместо августа был май — к ней прощаться пришел Глеб. И к чему это все теперь? Она не верит жизни, ее юность и она, оба — от пережитого с о г л а с н ы на одиночество, зачерпнутое полными пригоршнями. Так зачем именно о н а встала на его дороге, зачем ей о н преградил ее путь? С каждым, с каждой было б легко бороться — но вот это родное прощающееся... Часы идут, небо бледнеет, звезд почти уже нет. А когда солнце встает, у нее оказывается такое усталое, прозрачное лицо, и такая — словно во сне — непонятная теплота взгляда, глаз замученных и не желающих просить пощады... Глаза — она стоит вполоборота к окну — такие золотисто-зеленые, бледные — по нему идет легкая дрожь. Он чувствует ее — своей, и, раньше, чем успевает опомниться, он делает к ней шаг, жадно берет руками ее

голову — и на ее губах сладость его горького прощального поцелуя.

Он ее поцеловал — чтобы проститься. Но как в детской сказке о «Спящей Красавице» — она пробуждается. Совсем юная, она стоит перед ним, изменившаяся волшебю. Она — девочка, этот поцелуй — первый в ее жизни! Руки взвились ему на плечи, не отпускают, это властное счастье ребенка! Неисчерпаемое и парящее — и он не может уйти!

Он все-таки уходит (чтоб не остаться совсем!) — чтоб осознать происшедшее, чтоб овладеть собой. Он отступает, не отводя глаз от ее лица, шаг за шагом к порогу, она, не замечая, идет за ним. Того, как она стоит, вся золотая в утреннем солнце, в светло-сером халатике, и смотрит, как он сходит с крутых уступов улочки (барьеры, которые брал его конь), замороженно, молча смотрит на него уходящего, оборачивающегося — он не мог позабыть.

Он прислал ей письмо. Что любит ее больше всех, кого он любил. Но не может губить другую душу, о которой она не знает. Ему нет выхода. Она все позже узнает. И он едет на фронт. Но он еще будет у нее через неделю.

В письме — подарок: почерк. Запах (тень запаха папирос?) и как будто — шипра?.. Не один подарок, их два: листок и конверт. Листок плотный, бумага шершавая, темнее, чем белая, с рваными краями. Почерк прямой, узкий, странный, тонкие и толстые линии пера «рондо». И эти несколько строк — фантастических, чудесного стиля... Зачем он вошел в сердце, почерк? Ведь он уедет на фронт, чтобы уйти от той души и от нее уходит?.. Непонятно... Как — но проходит неделя. Все устроив к отъезду, он приезжает к ней — как обещал.

В письме его значился адрес. Она не ответила. Она отвечает сегодня: она встречает его со спокойным, зрелым достоинством. Ни о чем не спрашивает. Говорят почти как чужие. Они едят абрикосы, курят. Он предлагает пройтись.

Южный пыльный закат. Под его алой крышей они зеленым двориком входят в мастерскую Богаевского (он одобрял этюды Андрея Павловича, знакомы они давно). На огромных полотнах художника — заревые и мрачные тучи клубящихся над миром ландшафтов вулканической Киммерии. Край сказочности. Творенье мира. Преображение природы. Творец этой — новой? древней? — вселенной — невысокий худой человек, узколицый, аккуратный, усатый, как котик; печальные, застенчивые глаза. В его медленной остроумной шутливости — сходство с Маврикием; тоска ее — еще глубже. Зачем они сюда забрели? Что останется в душе от всего этого? Поцелуй, бредовый поступок, дико совершенный (дико при-

нятый), и еще — его жизнь в живописи! (она не подтверждает ему, что она — тоже живописец). Их тождественное восприятие музыки. Полонез Огинского им кажется торжественным прощанием с жизнью. Кто-то идет на смерть! (А маленьким мальчиком Андрей пристал к матери: «Сколько будет: тысяча — да еще — тысяча!» Величие слова, сложенное с таким же величием, представало ему — необъятностью. Он хотел получить ее и м я. «Отстань! Две тысячи», — отвечала прозаически мать. И его негодующее: «Как м а л о!..»)

Восемнадцатилетняя сестра Сильвия, умершая от туберкулеза. Как мать Ники, этой болезнью болеет и он.

На улице их ждет ночь. С минуту они стоят молча. Налево — ее дом (близко). Прямо — далеко, через город, — дом, где он останавливается, приезжая с хутора. Направо — тупик, закоулки — и море. Его шум — непрерывный аккомпанемент. Она не говорит: «Идемте ко мне», и он молча выбирает путь — прямо.

— Знаете что? Пойдемте тише!.. — говорит он вдруг, что-то мне...

— Пойдемте тише...

Идут, еле переговариваясь, но она замечает, что он идет с трудом.

— Что с вами?

Он морщится:

— Ничего, пройдет...

— Что пройдет? — она останавливается. — Я не пойду дальше, пока вы не скажете.

— Довольно сильные боли... то есть не сильные, сейчас уже легче... Как глупо!.. В правом боку.

Андрей Павлович показывает на область аппендикса. Она берет его руку, ведет, прислоняет к низенькой каменной стенке.

— Вы никуда не идите, не двигайтесь, пока я не приду! Я приведу извозчика! Дайте слово, что вы не ступите шагу. Вы знаете, что с аппендицитом шутить нельзя?

Она вся в гусиной коже от страха. Поваяло смертью. (Он не знает, от чего умер ее муж!) Она бежит вперед, и зуб не попадает на зуб. «Что за судьба у меня с этой болезнью? Сама чуть не умерла — в детстве, операция Глеба, смерть мужа (перитонит)...» На углу темных улиц слабый свет фонаря, парный извозчик. Господи! Только бы он дождался ее!

Он стоит, как обещал, где она оставила его. Она помогает ему сесть в экипаж. Так она помогала мужу в то утро, когда он слег. Извозчик спрашивает, куда.

Она кладет руку на рукав заболевшего — и тотчас же снимает ее: пусть как Судьба! Он медлит.

— А у вас кто-нибудь есть в городе? — строго спрашивает она. — Отвечайте правду!

— Мои все в Бузулаке...

— Тогда не о чем говорить. Если это аппендицит, нужен полный покой. И уход. Бросить вас одного там — то же, что бросить вас тут на улице. Велите ехать ко мне! Завтра приедут ваши и перевезут вас.

ГЛАВА 4 БОЛЕЗНЬ

...Андрей Павлович слег в сильнейшем приступе аппендицита. Врач, вызванный ночью (больница была, к счастью, близко), абсолютно запретил больному передвижения. Шесть недель он пролежал в Серезиной комнате. Ника забрала сына с няней в свою. Приехавшим родителям хирург велел не трогать больного с места. «Надо постараться избежать операции: хлороформа сейчас не достать, а состояние легких больного противопоказывает эфир. Можно бы его перенести на руках в больницу, но такого ухода, какой он имеет здесь, там не будет, и мечтать нечего. Лучшей сиделки...»

Почти все свободные от хлопот часы своих дней и ночей она простояла на коленях на коврике у постели больного, держа его руки. Если когда-нибудь была близость на свете, нежность, верность, понимание с полуслова, если две трудные жизни могут слиться в одно — то эта близость была там, и две трагедии слились воедино.

— Как я счастлива... — говорила она, зарывшись лицом в его горячие (жар почти не спадал) ладони, — фронтом ваш бред кончен. С туберкулезом на фронт — вы там не нужны! А с операцией или без — с верховой ездой надолго покончено, если вы не хотите себя погубить...

Всех безумств ухода за больным — не сказать. Она отговевала его у смерти. У той болезни, которая унесла ее мужа. И у той, от которой погибла ее мать и его сестра Сильвия.

А сын в соседней комнате продолжал болеть болезнью, от которой погиб его маленький брат. Она была заразна. Страх заразить своего гостя и друга (еще и перед лицом родителей, навещавших, не знавших, благодаривших)... Мытье рук, дверных ручек, зверские меры по разделению посуды, грозный режим, диктуемый няне (все это Андрей Павлович с улыбкой звал «изуверство»). Но самое страшное было —

боли Андрея. В первое время сплошь, ночи и дни, потом реже, но были они так сильны, что она мучалась почти не меньше его, на него глядя. Все, что можно было сделать — делалось педантично и неустанно, через сжатые зубы. Так мучался ее муж, девять дней, она была вдали от него, у его родных. В то горе уже не хватало сил теперь — погружаться. Вот тут у этой постели на коленях, держа его руки, она рассказывала Андрею — о муже и о Миронове — подробно, открыто — все. Он молча целовал ее руки.

Она урывалась к сыну — уход няни за ним проверялся ею неукоснительно, вызывая протест той. Сын рвался к Андрею и плакал, что не пускают, — не понимал, не смирялся, — ему ведь недавно пошел всего шестой год.

И была еще нелегкая вещь в вынужденной болезнью близости Ники с Андреем: бешеный, негодующий мужской стыд быть перед ней — слабым, принимать ее повелительные заботы (а это была единственная форма, в которой она могла их являть, чтобы не разнежиться, не показать острой жалости). Она старалась дальше прятать лирику, быть прозаичной. Если б знал он, с какой нежностью она выносит его судно, моет клизму (условия невозрастания болей, температура!). Процедуру эту — и из-за боли, ей сопутствующей, и из-за жгучего стыда перед ней — Андрей переносил, стиснув зубы, и после долго не мог стать собой. Если б знал он, до каких Геркулесовых размеров доходила ее нежность именно к этим «некрасивым» (идиоты, так чувствовавшие!) заботам (лицемеры! фанфароны! пустые сердца!) — он бы, может быть... Но в его природе стыд и надменность возросли тоже до величин Геркулесовых. Но вода долбит — камень. Час за часом, день за днем Ника эти Альпы перевалила: он п о в е р и л ей! И тогда — однажды вечером после тяжелых болей, сжав ее руки, — он начал говорить — о себе...

Этот первый рассказ был куплен признанием и примирением после взрыва ее слез в ответ на его отчужденность. В ответ на ее вопрос, что же такое с ним было, что он так долго не верил ей, — он и начал рассказ. Это были последние семь лет его жизни (ему было столько же лет, сколько его слушавшей). Они прошли в неразлучной близости к женщине, — красавице, балерине. Первые годы это была идиллия, дарившая радость. Затем стало тяжелей. Наконец любовь перешла в нечто, что было трудно назвать, что над жизнью его стало — тучей. Разорвать эту сеть было нельзя, так они вросли друг в друга, но кроме мучений — ничего уже не было. Живого оставалось — только болезненная друг о друге забота, страх потери — и обоюдное чувство вины. Дни проходили в обидах,

упреках. Ревность и слезка были этой жизни — дыханьем. Кидались друг к другу, чтобы спастись от тоски, забывались — ненадолго: в близости или в эфире, нюхали его много и дошли до бредовых вещей. Его отъезд на фронт был прыжком из этого — лучше было сложить голову, чем жить так! Теперь все еще более осложнилось с его болезнью. Остановить он ее не может, потому что любит ее страстной жалостью, как родного ребенка. Мужской любовью он ее уже не любит, но и в этом отказать не может, она на краю самоубийства, она не растает с эфиром. Бросить ее он не вправе — стать безответственным должником? Но его мать ее не выносит, требует их «развода». Он ее встретил девочкой — и бросить!

Пока он говорил, Нику как маятник качало меж двух измерений душевных: высотами и — глубинами (может быть — низинами?) души. И когда одолевали последние — ей хотелось прекратить рассказ его — былъ довольно! — встать и спросить: «Хорошо, все понятно. Спасибо, что откровенны. Ну, а для меня вы ее оставите или нет?» (Это было самое верное — кратко и полно.) Она имела на этот вопрос право. Оно подтверждалось не только тем, что с ней было бы, уйди он, встав от болезни, от нее — к той; но и тем, что с ним будет, вернись он — назад, туда! Прослушав его рассказ — краткий, но смыслом своим очевидный, она не только чувствовала (что чувство! чувства тех двух друг к другу были, может быть, не слабей ее чувств!) — но она понимала, что туда его отпустить — невозможно, в эфире погибнут оба. И так как они это, конечно, скрывали — то чья же воля должна была положить конец этой гибели, если не ее воля? Раз он ей открыл эту тайну, которая, если сейчас не вмешаться, погубит двух людей (себя, третьей, она тут не ощущала). Не будь тут опасности гибели, бесцельной и неотвратимой, она бы свою роль третьего приняла бы как роль уходящего: разлуки ей были не внове. Но так сложился чертеж ее встречи с Андреем на его перепутьи, что и не люби она его — ее долг был бы его спасти — от той. Биться за свое счастье было делом не очень великой чести! Но биться против несчастий другого был — долг. Однако спросить его так, как волной подымалось из самых глубин сердца, когда он явно не мог сказать «да», это «да» могло только сделаться в самый м и г выбора, не заранее (ах, да и что дал в такой м и г выбор Льву Николаевичу Мышкину между Настасьей Филипповной и Аглаей? Мысль шла дальше... между Мышкиным и Рогожиным — в Настасье Филипповне? Человек ведь не всегда себе ищет лучшего, он может пожелать себе — х у д ш е г о...). Но он был

болен сейчас: материнство насторожилось. И она бросилась в свою обратную крайность по отлету, по диапазону маятника:

— Ну что же,— сказала она, опустив глаза, что-то поправляя на постели (пусть он не поймет, что она-то все продумала, ему будет это легче — сейчас... пусть он чуть-чуть ее сейчас п о з а б у д е т, все тонкости, их связавшие; ее собачье чутье, кошачью ласковость, человеческое уменье страдать и, страдая, играть — игра ведь идет крупная! (Пусть она идет крупная — втайне...) Она говорила: — Раз вы на фронт не пойдете, потому что вам нельзя ни ездить верхом, ни — вы еще не скоро поправитесь,— пусть она приедет, помирится с вашей мамой, она уехала после неприятностей?— эфира она сейчас, может быть, не достанет, врачи наркотики берегут для операций — и вы оба будете поправляться — на хуторе...

Он посмотрел на нее молча, сжал руку. Целуя эту руку, он сказал восхищенно и все-таки грустно:

— Я не знал, что вы умеете лукавить...

— Лукавить? Разве это не есть вывод из того, что сказали вы?

— Разве я сказал все?

— Ну, вы скажете, что вы меня любите, еще это... — Чтобы не взволновать его этим двойным признанием, она полушутливо ластилась щекой о его руку... но уже стучало сердце, и грозно качались в ней какие-то силы — или бессилие? Она, должно быть, не учла чего-то...

— И еще то,— сказал он тихо и медленно, тоже стараясь смирить волнение,— что без вас я жить не могу... Не хочу, вернее!

Но какой-то бес в ней еще за нее договаривал... и она попустила ему. Он суфлировал.

— Отлично... И что же вы предлагаете? Любить ее — и меня? Не получилось у нас с мужем моим и Мироновым, полвечера только продлилось...

Но она тут же сказала иное, иначе, потому что хлеще, через суфлерскую будку, летела волна *счастья*, сметая все по пути! Пенной щедрости, сами вспыхивали — лунным светом — слова:

— А что, если я помогу вам в этом?— сказала она, широко и бережно обняв его поверх одеяла.— Хотите, я ее полюблю — не меньше, чем вы ее сейчас любите! и сделаю так, чтобы она полюбила меня, и уговорю ее, закружу всех нас во всевозможных глубинах... которые у нее есть, иначе вы б ее не любили! И она с вами простится, и уедет — и не погибнет. Хотите?

Она на него глядела зажегшимися, просветленными глазами (и все-таки в них расширились зрачки).

Он молча любовался ею, глядя ее кудри.

— Даже вы не смогли бы этого...— сказал он, всем весом усталости, которая не оставляла его.

— Не смогла бы?— сказала она, и ему вдруг показалось, что ее лицо стало удаляться точно бы — в обратный конец бинокля. И голос ее стал тих, и как в дурном сне зловещ.— Ну, так вы дадите мне слово, что н и к о г д а больше не возьмете в руки пузырек эфира. Она — как хочет, если вы отвергаете мою помощь... Вы не смогли ей помочь! Но право на это требованье — о вас — за мной!

Она чуть привстала с колен и, разомкнув объятия, руками опершись на кровать:

— За мной — или нет?

— За вами. Ника, что с вами?

— Со мной? Ничего. Я боялась, что вы не дадите мне это слово. Это бы означало — конец. Раз дали — значит, вы еще не безумны. Она вас еще не свела с ума! Если так — как поправитесь — поезжайте к ней и будьте возле нее трезво, пусть она нюхает свой эфир, если вы не хотите меня пустить к ней...

— Андрей,— сказала она, кладя голову на его руку, — и он тотчас обеими эту голову сжал.— Я знаю кое-что об эфире, я его пробовала в отраве первого брака, с тем, умершим, его другом... Но я не дала себе в это войти и — бросила... поняла, что это! И вас я туда — не отдам! Но я не знаю, зачем вы ей, если ваше бытие с ней ей не заменяет эфира. Вы простите меня, но ваше пребывание с нею и вся эта бесплодная жалость, из ж а л о с т и близость с человеком (ложь — ей, потому что она бы на это не согласилась, она — женщина, которую вы — л ю б и л и!). Из жалости ложь человеку — это вещь, вас недостойная, Андрей Павлович!

— Андрей Павлович?— переспросил он, глядя на нее снизу вверх, потому что она встала, но голос его, лежавшего, уронил эти слова сверху вниз — на нее, стоящую, потирая концами пальцев лоб, смотря на него отдаленно, стремительно, странно. Она увидела, как его глаза потемнели и он сделал движение как будто бы приподняться. В ужасе, в горе, в раскаянии она уже стояла на коленях перед его постелью, гладила его виски, его волосы, неотрывно глядела в глаза.

— Простите меня. Я просто опять на миг ощутила свое одиночество. Я очень быстро приучаюсь к нему... Знакомая сфера! И если вы меня когда-нибудь оставите — я очень быстро все осознаю, сама уйду... я — умею,— говорила она, а

слезы текли ему на руки, — я так привыкла — терять, расставаться, переносить все... я ведь так — сон, фантом... я не буду «бороться за свое счастье», что я — борец, атлет? Женщины вам, мужчинам, импонируют своей простотой, грубостью своих всегда определенных желаний. Таким, как я, будут, может быть, посвящать стихи, мы вам, может быть, будем сниться, но жизнь строят мужчины — с другими! Только мой второй муж...

— Ника, не надо! — сказал он добро. — Я не могу ревновать вас к умершему, и я этого друга вашего — глубоко уважаю... Но мне слушать все это... ах, Ника, Ника!

Он закрыл глаза от физической ли боли, вновь его мучащей, или от нефизической — как это было узнать? Он же старался скрывать — и те, и другие. Она смотрела на него молча, позабыв, о чем говорила. Это лицо она любила больше всего на свете. Как страшно было на него глядеть!

— Есть такой спуск в саду, он — огромный сад, где мы с Сильвой родились... Мы один раз в нем потерялись, — он говорил, не подымая век, — такой медленный спуск, отлогий. Где начинаются грецкие орехи. Там — особенная трава. Мое любимое место в детстве. А дальше — абрикосы, без конца — абрикосы... Там мы будем идти с вами. В степь — там миражи, в жару, и мы...

Он не бредил, нет?

В теплый синий день, с цветами с базара, пришла домой Ника, тоже, как и ее подопечный, уже начинавшая розоветь. У калитки ее встретила их знакомая врач, зашедшая навестить больного. Она вызвала Нику во дворик: без нее няня подала Андрею Павловичу протертую рисовую кашу, в которой что-то хрустело, няня сказала — соль крупная. Больной съел и вдруг наколол язык, поглядел — стеклышко. Каша была посыпана толченым стеклом.

Ника стояла, онемев. Умереть было легче!

Врач поняла, что с ней. Не волноваться! Выждать. Может быть, крупный осколок и не проглочен, мелкие могут пройти, прободенья не вызвав.

— Температура уже поднялась, вы долго на базаре задержались сегодня, но кто бы мог ожидать! За ребенком так хорошо смотрит... Что температура поднялась — неприятно. Я вас ждала. Сейчас же надо — масляную клизму. (Она пояснила, как это сделать.) Вечером еще зайду.

Андрей лежал спокойный, шуточный, точно родной брат второго ее мужа. Он успокаивал, смеялся. Но ведь если он

и обратное думает, он будет говорить так! И она словами его — не прониклась. Сделав все, что велел врач, она пошла допрашивать няню, знала, что та больного не любит, но — т а к о е... В ответ на ложь ей в глаза, она схватила лгунью-преступницу и так стукнула ее, в бешеной ярости, о спинку кровати... На няню это подействовало отрезвляюще, и она созналась, истерически рыдая, что ненавидит Андрея Павловича, хочет, чтоб Ника была только с сыном и с нею! На приговор: сейчас же расчет и отъезд — она отвечала, что скорей ляжет на рельсы. Расстаться с Никой и Сережей — не может. Обещала стать образцовой — никогда ничего..

— Я вам верю, сказала Ника, — но если что-нибудь замечу — я вас сразу отдам под суд. И тюрьма! От меня вы теперь не скроетесь. Оставляю я вас — на пробу. Потому что вас любит ребенок. И потому что вы любили Алешу. Но я вам сейчас — никто. Меня вы еще должны заслужить. К вам у меня — ни капли жалости. Берегитесь.

Поздней она еще ей сказала:

— Я думаю, что еще до суда вас бы убил отец Андрея Павловича. На что вы надеялись? Такой путь — опасен. И бесполезен: себе гибель найдете. Когда не хватает у человека сердца — тогда и ума не хватает! Кто яму другому роет, тот сам в нее попадает. Андрей Павлович имеет и ум, и сердце. Он меня упросил за вас! Счастье ваше, что Сережа был во дворе, ничего не знает. Он обожает Андрея Павловича. Вас бы Сережа — выгнал!

Нянька плакала так, что опухла. Ника не отходила от Андрея. Клизма ли масляная помогла — но температура спала, болей не было, все шло хорошо.

А от Людвиг из Керчи пришло письмо: «Королева — колдунья Ника!» Так оно шло дальше, полное бредовых признаний.

Ника читала весело и сочувственно. Она Людвиг знала: он был прежде всего — художник! Она ему нравилась — как этюд к картине. Он не очень-то входил в ее душу, даже мало и знал ее. Ему нравилось писать сумасшедшие письма, нравилось быть молодым, вообразить — влюбленность...

Адреса обратного не было — ему и ответ был не нужен. Людвиг был, слегка помешанное, с о к р о в и щ е...

Затем пришло письмо с непонятым штемпелем, не удалось прочесть город. Но Ника узнала почерк: Миронов! Письмо долго странствовало к ней через бездны гражданской войны и чудом попало по назначению. Он писал из белогвардейской тюрьмы. Миронов ждал суда. Господи! Письмо было

писано в лихорадочной сосредоточенности, но на дне его, как всегда в Миронове, звучал глубокий, мрачный и одновременно светлый покой.

«Я не думаю, что придется расстаться с жизнью,— писал он,— потому что верю в наше будущее. Я все время думаю о тебе. Меня заботит твое материальное положение, но я надеюсь, что ты живешь вблизи Максимилиана Волошина и его матери. За меня будь спокойна. Если б случилось, что меня поведут на расстрел,— помни, что до последней минуты, как было и с твоим мужем, конечно, я буду думать о тебе и хотеть тебе счастья. Береги детей...»

Ника не видела подписи, слезы застлали глаза. Губы дрожали — он не знает, что мой младший — умер... Он думает обо мне, готовясь... Он, может быть, уже умер...

Андрей Павлович внимательно следит за лицом Ники. Он не н а в и д и т Миронова.

Она рухнула на колени у постели больного — «его уже, может быть, нет на свете»...

Но это были последние слова, когда-либо сказанные о нем при Андрее Павловиче, потому что он, рванув свои руки из ее рук, крикнул тихим от гнева голосом:

— Ну и что же? Пусть умрет! Это — лучше для него, чтобы умер. Вы плачете о нем при мне! ...Ну, а что, если он не умер! Вы — что? От меня уйдете — к Миронову?

В первый раз, полусидя на постели, уже одетый, в подушках, он откинул плед и, сделав резкое движение, встал на ноги.

— Вы с ума сошли! — крикнула Ника, схватив его и борясь с ним. — Как вы смели?!

— Как вы смели? — крикнул он, — теряя голову от негодования, потому что не понимал, о чем она. Она, может быть, не о Миронове, а о нем крикнула, о его движении встать — и он выпрямился и шагнул от нее — вид его был совсем дикий, было что-то почти вульгарное в этом мужском жесте откинуться, руки в карманы, и это детское (больное) желание с т о я т ь! Только стоять сейчас... Ничего подобного Ника ни от кого не видела — но было великолепие в этой почти распушенности...

Схватив его в охапку, как бы схватила Сережу, плача и уже смеясь:

— Я никогда от вас не уйду! — сказала она. — Я вас люблю, как еще никого не любила... но вы сумасшедший, и если вы теперь заболаете, что я вашим родным скажу!

Но он, отведя ее руки, сжал ее так, что миг — и хрустнули бы ее кости. Губы к губам — и она задохнулась.

— Нет, вы сошли с ума! — сказала она, приходя в себя и заливаясь слезами через еще сияющий счастьем взгляд. — Так жать меня! Да у вас рецидив будет! ...Вы меня чуть на тот свет не отправили, что же вы с собой сделали? — Властно она укладывала его, слушала, как его сердце бьется, все еще теряя голову от горя и страха, — и не сдаваясь на блаженную слабость, полугрубостью, полукюмором прикрыла себя.

Из соседней комнаты о закрытую дверь неся залихватый, колокольчатый голосок:

— Мама! Вы победили Андрея? Вы победили?! Уложили его, да? Чтоб не смел вставать! Ведь я не вставал, когда был больной?

— Я не встану больше, Сереженька, я — лежу... — отзывался, смеясь, Андрей.

В эту странную, совсем не похожую ни на что семью — пришло письмо сестры Глеба, той русалкообразной девушки, с которой когда-то были ночи бесед в Никиной комнате в антресолях отцовского дома и вечера прогулок по межам и лугам хутора Глебова отца. Она просила найти ей комнату — она пробьется сквозь военные события с маленькой дочкой и придет к Нике, вместе жить, вместе растить детей. С мужем она разошлась, горько в нем разуверюсь... Но письмо было даты давней, о пути сюда или даже об ответе думать не приходилось. (В следующий раз, когда весть о писавшей достигла Ники, — это была весть о смерти ее, уж давно совершившейся, быть может, через год, полтора — после ее к Нике письма, — от сыпного тифа...)

И пришло письмо от когдатопного друга матери Ники, туберкулезного, в ту зиму ее леченья в Италии, любовь к которому мать Ники превозмогла именем долга, семьи. Он писал, что прочел напечатанный в давнем журнале отрывочек Никиных воспоминаний детства, где был упомянут он, и глубоко взволновался: «Я любил твою мать и люблю ее до сих пор, это был большой человек, помни это! Будь такой, как ты есть, будь собой, но не забывай, что ты — ее дочь: это обязывает. Я пишу тебе из Москвы. Я здесь после двадцати лет изгнания из России царской властью. Но при встрече с новыми людьми все иначе, чем ждешь, и я болен, и с переездом, со сменой климата, со многим — трудно справиться, и мне много лет. Мама, прощаясь со мной, зная, что мы уже не увидимся, мне поручила тебя, сказав, что твой отец занят наукой, а родные от тебя далеки душевно. Не смог я этого, потому что вы жили в Москве, а мне, как царскому каторжнику, был запрещен въезд в Россию. Но здесь, где есть

люди, знавшие твоих родителей, мне особенно не хватает тебя. Нам надо увидеться...»

Это письмо пришло, когда врачи уже позволяли вставать больному. Оно тоже шло много месяцев. Если бы не Андрей, в какой тоске была бы она! Теперь все к Андрею тянулось, все в нем тонуло. Она рассказывала ему о сестре мужа, о детской любви своей к другу матери. Письмо его было дверь в ее детство. В него шагнул Андрей, а так как сын тоже хотел слушать, перешли втроем на ковер в бывшую Никину комнату, среди диванных подушек, по-татарски, в рыжих закатных лучах, потом — лунных, Ника долго водила двух мальчиков, большого и маленького, по дорогам своего детства. Пили кофе и чай из маленьких чашечек, ели последние — их уже больше сюда не везли — турецкие апельсины.

Прошла еще неделя, и еще одна, и еще, боли у Андрея уже прочно кончились, он выглядел поздоровевшим. С хутора приехал отец, посланный матерью с сообщением, что без «панича», как звали там Андрея, хозяйство пришло в упадок, мать не умела ладить с управляющим (отец же был вообще далек от хозяйства, ироничен к нему, «вольтерьянец!»). На семейном совете будут решать, когда и как ехать в Симферополь на операцию, приготовят Нике с ребенком и няней комнату. Это было первое расставание за много недель.

Было так странно пусто, когда Ника, проводив Андрея с отцом с горки, где стоял ее домик, вошла в давно ею не замечаемый дворик. Длинная золотая полоса холмов тонула в бледном вечернем море...

Ей показалось, что остановилась жизнь. Торжественно-утрюма была нянька, и вдруг страх обуял Нику, что сейчас Андрей начнет делаться в ней — призраком.

— Сережа! — крикнула она в отчаяньи. — Мы с тобой сейчас все переставим в доме — хорошо?

— Все? — вбегая, ответно закричал ребенок и с разбегу стал на голову от восторга. — Ура!..

Под его птичьи крики восхищенья о разрушении старого мира они через полчаса вошли, усталые, в дом (нарочно выйдя из него на минуту во дворик!). Все изменилось как по волшебной палочке. Серезина комната стала вновь маминной, Андреева — снова Серезиной, и все вещи стояли по-новому: иначе висели ткани, иначе лежал ковер — мамино «логово» (слова из «Маугли!»), и первый луч еще молодой луны, лежавшей вчера на столе и на книжной полке, сегодня лежал на широком пустом полу, комната отступила куда-то. И было грустно, одиноко и празднично, как после ухода гостей в воскресенье. Сережа уснул, как в канувшие годы ран-

него детства, — мама пела ему, рассказывала всякий вздор, а потом у обоих глаза были в слезах от воспоминаний об Алеше. Луна стояла высоко, и где-то далеко, настойчиво и печально голос татарина напевал «Хайтарму»...

С ночи задул норд-ост, нашли тучи. Ника легла на своем низком одиноком ложе, она давно не лежала так — спала все эти недели, прикорнув возле Андрея (то на коленях, боясь его потревожить, то рядом с его кроватью — на стульях). Лампа, потухая, горела на опрокинутом ящике, покрытом стареньким гобеленом еще из отцовского дома... Она лежала, слушая далекий рев моря, крепчавший свист ветра, и, так как лампа совсем гасла, она дунула на нее. И тотчас же раздался стук калитки, и кто-то быстро вошел по ступенькам. Дверь дернули, легкий крючок соскочил, и, подняв от подушки голову, Ника увидела в лунной раме распахнутой двери четкий очерк невысокого человека, в плаще. Она бросилась навстречу — точно не виделись годы!

Он поднял ее на руки как лучший трофей своей жизни. Губы к губам, тихо:

— Я не мог не вернуться, Ника! Я отложил отъезд — до утра...

ГЛАВА 5 ОТРАДНОЕ

— Хутор наш когда-то назывался «Светлая роща» — по-татарски. Но моя мать переназвала его в «Отрадное», взяв это слово из «Войны и мира», помните, — там любовь князя Андрея и Наташи Ростовой? По привязанности к этому роману она и меня назвала Андреем...

«Оазис посреди крымской степи», — сказал Андрей. Это, собственно, рай. Амбары ломаются от плодов, еще цветут поздние розы, и стоит та самая осень, которую золотом и синевой писал Левитан. Старый дом, низкий, длинный; книги, рояль, жерла печей, где рушатся в пламя горы соломы; поездки верхом в степь: у Ники рыжая лошадка Франческа; они едут шагом, доктор и она иначе не позволяют, черный — норман — понимает, что хозяин доверил ему свое перестрадавшее тело, он ступает бережно, он — друг.

В саду цесарки, фазаны, и всюду собаки и кошки, а на столах — сыры, брынза, масло, окорок, мед, вина, абрикосы, груши, орехи. На армане — золотые соломенные коридоры, где один раз почти заблудились «панич» и его подруга. В жаркие часы, полуденные, серебрятся по горизонту миражи — плы-

вут пароходы на несуществующем море и отброшены в воздух татарские сакли где-то в дали утонувшей деревни Ортай.

Ника и Андрей не расстаются. Но на стене его комнаты, теперь их спальни, — дышит не менее живой, чем они, жизнью, портрет Елены — кисти Андрея. Сизо-синее платье полукругом оттеняет белизну ее шеи, обводит плавный спуск плеча. Пышность темных волос спадает назад волной. Синева глаз таит таинственную радость, губы вот-вот засмеются. До чего хороша! Но какой же Андрей — художник, это создавший... Андрей предложил — снять его, перевесить в другую комнату. Ника, естественно, отклонила. Она не смеет сознаться себе, что она от портрета — страдает. Но разве она сможет допустить, чтобы Андрей его снял?

Светлая роща, да! Сколько в этом саду света, брошенного солнцем и осенью на рвущиеся в ветер деревья, в вихрь их оттуда срывающий и несущий по саду, над садом, над Сережей, бегущим с собаками вокруг низкого, скромного дома... С минуту Ника стоит оторванная, как лист, от всего: этот дом напоминает — другой, в воронежской степи, куда, оставляя ее тосковать по калужским холмам над Окой, уходил Глеб, как гоголевский казак, в свою степь влюбленный... Сереже там был — год, не помнит!

Раскрыв дверь в сарай, в луче солнца, Андрей зовет ее — пировать: груды яблок и груш невиданной величины и расцветки! Не успевают раскладывать урожай плодов! Абрикосы, персики, в зеленой еще шелухе — орехи. А поздние розы! Аллея роз!

Счастье по часам дня идет, как по ступеням лестницы, — вглубь: вечер, заглодало. Вороха соломы завалили прихожую, где топится печь: станет тепло в столовой и в маленькой комнатке рядом (тут жила Сильвия...). И в раскрытую дверь тепло на теплых лапах войдет — хмурающийся на огонь Гри-Гри — великолепный кот, темно-тигровый.

Жарко! Печь — как чуланчик, высокий, и темный, и пустой каждый раз, как дают соломе стореть. Ника просит чуть-чуть подождать, упиться шорохом огнистого низа печки, мгновенно темнеющего под опустевшим сводом, унесшим огонь вверх, — такого она не видала; и снова летит в печь сноп, вспыхивая, праздная неистовое объятие огня, рев трубы (в саду — ветра), и уже стих россыпью тлеющих стебельков; периной упругой, пышущей, шепчущейся; внизу — черно-красной.

Блаженно греются люди и кошки — Гри-Гри и Тигричка — на полу озаренной прихожей. Пятнадцатилетняя Марфа —

бело-черная! и ее сын четырнадцати лет — пучеглаз. Лицо Андрея изваяно из меда — огнем.

Ника много раз слышала, что Андрей — художник. Но столько богатств было в Андрее, что ей как-то не верилось в его этот талант... Она застенчиво молчала об этом, боясь взглянуть на его работы. Елена — та, по его рассказам, досаждала даже — напоминаньями, чтоб работал. Зачем? Средних художников — много...

Это ли чуя в ней, он никогда не говорил о своей живописи. Тосковал ли он — в болезни — по ней? По коню — тосковал люто; даже сам запах конюшни — к этому все в нем рвалось. Живопись? Разве она была его жизнью? — думалось Нике.

Андрей стоит посреди лужайки, у склона к грецким орехам, о которых он вспоминал, лежа больной у Ники. Перед ним легкий дорожный мольберт, ящик с красками, масло. В левой руке — палитра.

Взгляд сосредоточен, остер, рот сжат. Нике — подошедшей было и тотчас отошедшей — его взгляд показался невидящим. Но и она права: не только ее он не видит, ничего не видит сейчас. Нет, он видит. Он видит цвет, переходящий в другой, тень, обнимающую освещенную плоскость, это не плоскость, это торжество света и волшебно рождающийся объем. Перед ним на фоне высоких деревьев — копна. С замершим сердцем отходит она тихонько, в удивлении, не понимая. Но она говорит себе: молчи и уйди. И — уходит.

Она боится снова своих мыслей и чувств. Отвлеченья сейчас! О, к Сереже! Счастливо бежит она, как девочка, по предвечерним полянам сада, подбирая яблоко, срывая веточку слив, от себя убегая. Свежий голосок сына — ему скоро шесть! — слышится ей навстречу.

...Поймать, успеть, освещении! Розоватость эту, еле еще уловимую, сена — посредине, тонущую в лиловизне правого бока, где тень... Густоту зеленого тона, поглотившего край тени по боку копны и вбок от нее упавшую на лужайку длинную тень от копны. Не упустить эту замшу, оливково-лиловатую, это «наотмашь» отраженье копны!

Уже пало начало вечернего сумрака, когда Ника увидела идущего в дом Андрея... Он улыбался ей. Взяв ее за руку, он с нею вошел к себе. Положив мольберт, палитру и краски, он закрыл дверь. В закатное окно еще шло последнее догорание зарева.

— Скорее! — сказал он. — Свет уходит!

Он шагнул к окну со своим этюдом в руке. Ника, прикинувшись к плечу Андрея, медлила взглянуть. Сердце ее — билось. Она боялась. Это был — миг: взгляд, всплеснувшись, уже тонул в пласте солнца, сочно прикинувшись к зеленой поляне, слившись с ней, родясь в новый цвет (не тот, что покинула Ника, уходя из сада, о, совершенно другой!). Жадный глаз художника совершил это волшебное претворение, взнуздав все цвета предзакатности для сумасшедшей скачки прощанья солнца с землей. Пласты сена, заплывавшие розоватостью, превращали стог — в праздник света, круто по краю, где легли тени, рушившегося в лиловую мглу, и была в ней сиреневость, поглотившая розоватость. Стог был почти кругл. Он выступал вперед, он почти сверкал мягким последним сверканьем — перед тем, чтоб начать гаснуть. Пласт солнца, заливавший полянку, был темно-зеленое золото. Но цвет был неподвластен словам. В нем смешались все краски дня, отданные закату. Крутые полукруги лесных дубрав за всем этим были почти темны.

Ника стояла молча, прижавшись щекой к плечу Андрея. Его лицо было радостно, светло, как во сне.

«Прости меня! — говорит мысленно Елене Ника. — Я была плохой тебе заместительницей, но я же не знала. Он, по скромности, не сказал мне, какое меня ждет наслаждение! Но я обещаю тебе, что он будет писать, он мне вчера сказал это — ты не должна огорчаться его словам, что будет писать для меня, — сколько лет он писал под твоим восхищеньем, мы тут все вместе, твои глаза смотрят на него — с твоего портрета, под твоим портретом — всегда цветы!..»

Ника, как Скупой рыцарь, перебирала вынутые им этюды. И любимые Андреем сиреневые и лиловые тени все сплетают, обрамляют, делая все живее во сто крат!

Ника счастливо смеется над своими сокровищами. Скупой рыцарь! — он сейчас ей принесет новый дар!..

В конце зимы Андрею назначили операцию, в Симферополь поручили везти его — Нике. В гостинице, когда Ника слушает советы и резоны хирурга о наркозе, нянька зло говорит Нике:

— И сестра их от чахотки померла — скоро и Сережа заболит чахоткой...

— Вы прекрасно знаете, что я никогда не даю ему есть или пить из посуды Андрея Павловича... — резко отвечала мать.

— Мало ли чего не даете! Сами пьете с больным и заразите ребенка.

— Ребенка в губы никогда не целую и не даю никому целовать.

— Заболеет, дождетесь! — садистски тянет нянька. — Припадки-то уж начались!..

— Какие припадки? Вы будете говорить по-человечески — или мне вас почитать говорить?

— Учить нечему, научены! — наглеет нянька. — Как вчерась бельмы глаз закатил под лоб, да как задергался, я тут с ним одна — думала, со страху пропаду... Мать называется!

— Как вы меня называете — мне нет дела, — в тихом бешенстве отвечает Ника, — какой был с ребенком припадок и как вы могли молчать?!

— Потому как вниманья не обращаете. Только и делов слышно — температура, да питание, да операция, других слов у вас нет, что только один Андрей Павлович...

Подойдя — вплотную:

— Вы будете говорить — или нет?

— Что мне говорить, пусть сам ребенок расскажет... Голубонька моя, расскажи-ка матушке своей родной, что с тобой вчерась приключилось...

— Не приключилось, — говорит «поперечный» ребенок, как шутя зовет его мать, — просто закатились глаза...

— Как это «закатились»? — мать строго, чуть сузив на няньку глаза.

Мальчик глядит на няньку, но глаза няньки опущены.

— Сережа, говори правду! Что ты чувствовал?

Уже у порога, плача, против чего-то весь протестуя — против матери? няньки?

— Не чувствовал, а...

— А как ножки и ручки задергались...

Она — няньке:

— Я не вас спрашиваю!

— Кричал «больно»... значит, не сладко было... рази дите упомнит!..

— Сережа, мы едем к врачу!

Слезы — матери, сына; тревога, хмурая, няньки.

Долгий осмотр невропатолога. В той больнице, куда положен Андрей на испытание, чтобы решить, когда операция — отложить ли ее до весны.

— Неправдоподобный рассказ. Такой развитой ребенок иначе бы рассказал. Что-то ваша нянюшка — крутит... Рефлексы — в норме.

Но нянька не сдается. Мальчик — отмалчивается. На другой день, придя из больницы от Андрея, мать застаёт ребенка сильно кашляющим.

— Простыл! Чем на хуторе жить в тепле — по гостиницам разъезжаете!

За врачом. Больница, гостиница. Мечется Ника по лестницам. Подходя к своему номеру, различает голоса:

— Сахар на снег сыпала, не ври, не ври, видел! — кричит, негодуя, Сережа. — Разве мороженое так делают? Такую машинку вертят...

Мать замирает у двери.

— Окно зачем открывала? И меня не одела... Мама велит — одевать... С подоконника, с грязного, наскребла...

Ника вошла — как ни в чем не бывало. Сейчас уехать она не могла; ждали решения хирурга об операции. Глаз не спускала с няньки, собиралась — на всякий случай — в путь. Но, уйдя в аптеку, она застаёт сына в слезах; он бросается к ней:

— Няня нарочно, я играл, любимую вашу, еще вашей мамы коробочку, деревянную, желтенькую, с фиалкой и с ласочкой. Вы читали там — «Санремо» слово написано. Каблуком! Раздавила... Врешь, врешь, молчи, все скажу! Ты... ты... — град слез.

Но нянька уже, вся белая — не ждала, зуб на зуб, лежала на полу, Никой кинутая, и руки ее были скручены.

— Ну, сами себя вините... Ребенка назло простудили? О т ж и л и вы со мной! Андрей Павлович уезжает, мы едем — и Сережу вы уж не получите. Расплачусь с вами — скатертью вам дорога! Все!

Операция отложена. В тот же день нянька заболевает. Жар, лихорадка. Ее довозят с собой в Феодосию — и сдают в больницу.

Буйно щебечут птицы в ветвях, в которых спал иней, в который раз в этом году весна, а в саду — золотая осень. Крым, ничего не понять...

Никого на набережной! Тесно, рука в руке, как одно, они пролетают у низкой каменной стенки вдоль моря, сын бежит далеко впереди. Они — все вместе — идут в гущу моря и тополей, вглубь, в неизвестность, в беспощадность своей неповторимой судьбы... Андрей Павлович останавливается вдруг, словно подкошенный:

— Я забыл тебе — утром, в больнице мне передали — письмо моей подруги... Его надо нам вместе обдумать. Она едет сюда, ко мне.

(«...Забыл! — повторяет она, — и чувствует, что она — счастлива».)

— Ты хочешь ее приезда — или не хочешь? — отзывается она, как с разбегу. — Говори с о в е р ш е н н у ю правду! Все

пойму — вы семь лет были вместе... Я — не идол из дерева!

— Я хочу быть только с тобой. Ее приезд страшен — по последствиям. Я не могу ее — бросить! Стать безответственным должником...

— Андрей, ты мне веришь? — говорила Ника, сжав его руку, они все шагали вдоль моря, оно шло серыми и зелеными полосами. — Она уедет отсюда без ненависти к тебе, без отчаяния... Только дай мне действовать, как я хочу!

— Ты не знаешь ее...

— Я ее знаю. Я читала ее письма, я смотрю на ее портрет. Эти длинные и широкие глаза — умны... Вы любили друг друга. Не может быть, чтоб в ней была одна красота — телесная... В ней д о л ж н а быть душевная красота! К ней я буду в ней обращаться... (Сережа, не беги по стенке, упадешь! Иди по ней, но не быстро.) Видься с ней, как хочешь, говори, что хочешь, только не трогай эфира и не проси ее, чтоб осталась. Это самое трудное, знаю. Но оно — неизбежно. Говори о том, что ее увело отсюда — невозможность жить ей с твоей матерью. Остальное предоставь мне!

— Ты не знаешь ее. Она дико ревнива. Как только она увидит тебя — еще до твоего первого слова. («Сережа, дай руку, — говорит он ребенку, — прыгни и иди с нами!»)

— Не пугай меня, Андрей, не испугаюсь. Не для того я прожила такую жизнь, чтобы не уметь подойти к человеку. У нас есть еще сутки? Ну, вечер! Тогда — ни слова больше об этом! Идем ко мне, на старое место, на горку, на нашу Цыганскую слободу... Сядем, как сидели на ковре. Отдохнем!

— Ура! — закричал Сережа.

Номер гостиницы. Вечер. Ресторанная музыка снизу.

Елена. Маленькое, стройное, однако с наклоном к полноте, холеное женское тело. Одно из красивейших лиц, Никой виденных. Глаза — синие, огромные, длинные! Черные волнистые пышные подстриженные волосы, фарфоровое нежное лицо. И все-таки неуловимая, но уловленная *тень* вульгарности (Театр?).

Их беседы, вошедшие в ночь, как входит человек в комнату, в душу — не повторить. Соперничество смято ударом безудержной откровенности и прямоты обо всем — кроме ее физической близости с Андреем. С настойчивой добротой показана необходимость подруге Андрея — уехать. Обострения отношений Андрея и матери. (К ней, Нике, тонко пока, но уже тоже цветет протест матери.) С ней мать вежлива, потому что она «спасла Андрея», уход за ним на ней, Нике. Нужно

бережное, настойчивое откармливание, радикальная поправка легких, чтобы грудь выдержала наркоз операции. Ника аппендицитом болела; им болели оба ее мужа. Значит, все опасности, с ним связанные, она знает. С детства росла в атмосфере лечения туберкулеза, от которого умерла ее мать! И Андрей только ей подчиняется.

— Что произошло у вас с матерью Андрея — я не знаю, — говорит Ника, — но она не захочет вас видеть, в их доме ваше имя не произносится, а Андрея сейчас волновать нельзя... Я буду держать вас в курсе всех дел, всех семейных планов, может быть, откроется путь на Москву или вы приедете сюда вторично — *сейчас* необходим ваш отъезд, для мира семьи.

Но еще одно необходимо — чтобы Андрей страдал меньше за вас, — говорит Ника, — нужно бросить эфир. Я знаю об этом. Больше: я *сама* его пробовала, *знаю* его гибельность, не только Андрей, но и я — как сестра! — умоляю — превозмочь себя, не касаться эфира!!! — Она берет руки соперницы. Глазами Андрея она смотрит на его подругу, жалобную, несчастную, ее красота облагорожена страданием, сердце Ники раскрыто навстречу сестре.

В эту минуту что-то выпрямляется, резко, в слушавшей. Ничего жалобного в ней нет! Взгляд стал грубым и диким:

— Нет! — страстно и повелительно кричит она. — *Эфира* я не отдам! Это *моя* услада, *моя* защита! Как вы *м о ж е т е* *этого* от меня требовать!

Но Ника бросается к ней:

— Но вы убьете себя! Свою д у ш у! Свою красоту! Ваше искусство! О! Я бы на вашем месте погрузилась бы не в эфир... В *искусство*! Вашу графику я видела: ваш талант...

Ника не может оторвать взгляда от синевы длинных глаз, на нее глядящих. От рук, поднятых к белизне лица, к черноте волос. Стоящая перед ней — прекрасна! Она не может дать ей погибнуть! Уже не для Андрея, не за него она бьется, за эту вдруг полюбленную женщину! В пароксизме горя, жалости, восхищения она прижала к себе ее голову, она гладит кудри ее, целует сухие веки, и ее трясет дрожь, грудь поднята рыданием, и медленная судорога слезно затмевает глаза.

В этот час запоздавший поезд, которым из Ислам-Терека ехал в Феодосию Андрей, подходил к перрону. В то время, когда обе его подруги, держась за руки, смотрели друг другу в глаза — в жадном познании друг друга, — в дверь постучали. Они бросились обе к дверям. На пороге стоял Андрей.

— Отлично! — сказала Ника, опустив глаза и берясь за пальто. — Я вас сейчас оставлю, друзья мои!

Она вышла, не поглядев на то, как стояли те, двое, навсегда упустив их встречу, подавленная горем об Андрее, начавшимся в миг, когда раздался стук в дверь.

Все чувства, в ней до того бушевавшие, уступили место — другим, не менее сложным и, может быть, еще более сильным. Зорким внутренним взглядом она уловила, что о же было острее всего в ней в этот острый перегиб душевного часа: страх за Андрея. Страх отчаянья в нем, страх вспышки запоздалой страсти к той, ему принадлежавшей, женщине, страсти, в которой по силе переживания он не увидит путаницы жалости, чувства вины, он сможет *принять* это чувство и натворить бед себе. Следом за *этим* страхом ее обуял ужас эфира, в который, если та привезла его, они могут броситься оба. Затем шел интерес, правильно ли она почувствовала ту душу, и вопрос, что та чувствует — к ней...

Ника до глубокой ночи ждала Андрея в условленном месте, на углу улицы и набережной, у моря. Он пришел. Он пришел полумертвый, в последнем отчаянии. В полубезумьи. Но, сама измученная, она не чувствовала в себе сил вслед за ним погрузиться в пережитое за эти часы — им. Иначе: чуть-ем зверя она ощутила, что делать этого ни в коем случае сейчас — нельзя: это его обессилит. Она сказала ему просто — голосом отчужденным:

— Выбирайте: она — или я.

Простота этих слов только и была целительна ему в этот час.

— Если идете со мной — там кончено. Если останетесь тут — кончена я.

Он пошел с ней.

До утра она боролась с ним, как борется человек — с болезнью, со смертью. Не на жизнь, а на смерть. Как Мцыри — с барсом. Он ушел — среди ночи — и бродил один по ночи. Она выжидала. Он пришел без сил, но спокойный. Преодолев себя. (Так, должно быть, второй ее муж метался, решая — дать ли яду ей и ребенку, затем — себе — или принять ее такою, как есть. Она думала это, зорко на него глядя, когда он перешагнул порог.)

На другой день она усадила подругу его в поезд. Она была с ней нежна — без игры, жалостью и воображеньем: да, вообразив себя — ею, оставленной, уезжающей. Она заставила себя представить себе годы ее близости с Андреем.

Он *эти* руки любил, *эти* глаза. *Эти* волосы гладил. Она мучила его ревностью — но он годы ревновал ее к каждому. Значит, она — сестра...

«Сестры» пришли на вокзал — заранее — и ходили без конца по перрону. Был закат, потом — звезды. Ника говорила стихи Кузмина. Увидала в замученном лице — отдохновение, уловила пробужденное и прекрасное в этом красивом женском лице. Она спрашивала ее о графике, она будила и завораживала ее — на жизнь. (Годы поздней, встретив давнего своего друга — поэта, она услышала ее имя: он встретил в Харькове поразительную женщину, приехавшую в годы войны из Крыма, где она любила другого — она нелегко сдалась на новое чувство, но — сдалась! Они были счастливы. Он ей рассказывал о Нике — она тоже в Крыму, где-то... У этой женщины — ее звали Елена — было совершенно фарфоровое лицо. Так сплетались и расплетались судьбы. Но мы не знаем будущего. И его для нас — нет.)

Последнее объятие. Последнее обещание не терять друг друга из вида, сообщать о здоровье Андрея — и Ника одна стоит на перроне, вокруг — мгла, огоньки города и реющий морской прибор... Будет день, когда Ника этот час — вспомнит. Ибо с такой же силой, как нам нет будущего, — прошлое для нас есть.

В один из теплых, крымской зимы, дней в степи показалась закутанная фигура — это была выписанная из больницы нянька. Она шла прямо и строго, с пьяным равнодушием сектантки — к происходящему в стране. Она держала путь на Бузулак.

Но ее не допустили в дом, Ника не допустила.

— Вашу телеграмму я получила, — сказала она, — в ней — ложь! Как и все в вас! Как я могла вам *так* доверять Алешу! Мне *казалось*, что вы его любили почти не меньше, чем я. Когда вы будете в следующий раз слать фальшивые телеграммы — помните, что врач не напишет «местов нет в больнице» и *не так* сообщит о незаразности болезни. Я вас не приму. Я знаю теперь, отчего у Сережи была кровавая рвота. Вы ему дали эфирно-валерьяновых капель, чуть ли не пузырек. Я *многое* узнала о вас, прощайте!

Но та, равнодушная к стоявшим вокруг работникам и работницам хутора, уже рухнула на пол перед образами в углу людской и тянула на колени Нику:

— Я не то еще вам скажу, все скажу, — говорила она властно, — только вы меня от себя не гоните! Я все равно без

вас пропаду, я вас так люблю, как своих не любила, — да разве я теперь уж могу без вас жить? Власть переменится, думаете, жить нечем будет? Мне платить нечем? Неужто мне деньги нужны? Да я вас с Сереженькой прокормлю — стирку, шитье на дом брать буду! А коль не оставите — так под поезд...

Хуторские работники слушали мрачно, враждебно, с презрением к такой привязанности, к таким несовременным тем дням признаниям. Ей было все равно. Она неслась, как на тройке. В ее покаянной позе было вдвое больше к ним презрения, чем у них — к ней.

— Нет, — сказала Ника, потрясенная этой картиной, продираясь сквозь целый лес чувств к единственно верной тропе, — я вам не верю. (Сердце ее падало, но — будь что будет! Даже если эта плачущая ляжет под поезд... слово не пускать ее назад было Андрею дано, оно должно быть выполнено!

— Да Сережа у вас без меня пропадет!.. — как княгиня Морозова грозя гонителям, еще на коленях, но уже против *всего* восставшая, крикнула нянька.

— Сережа без вас *цветет!* — сказала коротко Ника.

Этого удара уже не снесла грешница.

— Так хоть проститься-то дайте!.. — завyla она, и ее красивое лицо с пылающими черными глазами, космы волос из-под сбившегося платка, огромные дрожащие губы — все это, залитое слезами, было прекрасно и отвратительно.

— Через стекло окна! — сказала Ника. — Идемте!

А потом был городской вокзал, тот же перрон, где она прощалась с отъезжавшей подругой Андрея, снова — другой — бред, на прощанье с уезжавшей снятые с руки часики — она сажала ее в поезд сама, чтоб знать, что она *не* осталась. Обе снова, как в *тот* вечер отъезда, были в слезах.

И пошла по темной ночи по знакомым когда-то с Глебом еще улочкам, сейчас глухим и чего-то, как люди, в них скрывшиеся, ждущим. Люди по вечерам не гуляли, двери были наглухо заперты, почти нигде не было света. Море ревели, как когда-то в Греции, как в Ардавде, как при генуэзцах. Как от века. Город ждал.

В ясный и холодный день на хутор пришли крестьяне — к старой барыне, матери Андрея. С паничем говорить было как-то совестно. Сказали: земли — их, завтра тут будут отряды. И скромно заняли одну комнату в доме. Старая хозяйка хутора ходила и охала. То вспоминала Шлиссельбург и

разнеживалась мыслью об единении с крестьянами — не за то ли билась она в юности? То начинала звенеть ключами...

В доме мужчин, кроме Андрея, не было. Отец был в городе, болен. Сын уговаривал мать ехать в город к больному отцу, не дожидаясь отрядов. Но в старухе вдруг вспыхнул огонь:

— Бежать? — сказала она. — Зачем? Я еще в юности любила народ, я хочу видеть мой народ — освобожденным...

— Ты увидишь не то, что ждала, случайных людей — не тех, за кого ты сидела в крепости. Они могут прийти, выпить вина, ты нарвешься — на что предсказать трудно. Собирайте необходимые вещи, — сказал он матери и Нике, — я не могу подвергать вас опасности. Мой браунинг со мной, но вам, женщинам, встретиться с подвыпившими крестьянами, с неизвестными пришлыми, что потянутся сюда в ожидании регулярных войск...

Но еще раньше, чем были уложены необходимые вещи, — пришел отряд. Заняли часть дома, говорили с крестьянами. Вели себя пристойно и сдержанно. Это были молодые парни с крючковски выпущенными из-под фуражек коками, с глазами мрачно-веселыми, с громкими, но почти добрыми фразами о наведении в стране порядка. Кратко, спартански, совсем просто хотели устроить свой справедливый рай. Родное и непонятное было в них. Их вид, молодецкий их вид взволновал Нику. От них веяло царскими эмигрантами ее детства в Италии, это были их выученики. Это были те самые — поколение поздней — войска, которые и тогда хотели служить народу, о которых Ника в детстве читала книжку «Солдатский подвиг», где были строки:

Смело, братцы, песнь затынем,
Удалую в добрый час, —
Мы в крестьян стрелять не станем,
Не враги они для нас!..

От этих строк еще и теперь сердце билось (и у кого не забилось бы!..).

Стрелять ни в кого не стреляли, но о чем-то они с крестьянами спорили, удалая молодежь — с седобородыми, а вещи уезжавших уже были сложены, и так как было непонятно, дадут ли лошадей со скотного двора и дадут ли увезти керосину и сахару и любимые книги, этюды и натюрморты Андрея, Ника, улучив минуту, когда не было Андрея, позвала в комнату Андрея двух отрядчиков. Она показала им картины кисти Андрея, среди них были шедевры — она, бывало, подолгу стояла, не в силах отвести взгляд (что я делаю, в спешке и не обдумав, — ведь они могут оставить их себе, а Андрей хотел

их укладывать... что я делаю?! — в ужасе неслось в ней!.. Но они, равнодушно взглянув на этот густой мир цвета и света, на волшебство теней, оба стояли под портретом женщины, с длинными, «египетскими», как кто-то о ней сказал, глазами.

— Чья? — спросил один коротко.

— Больно хороша... — сказал другой.

И вдруг страх прошел по Нике. Она не смогла назвать имя. Но как мог неразумный испуг подсказать *другое*? Раньше чем поняла, она услышала свой голос:

— Это дочь старухи, больной, которая едет в город. От чахотки умерла, на краю сада — ее могила, увидите. Семнадцать лет умерла! (как она могла сказать ложь?)

(Сильвии все равно! — шепнуло в ней что-то. — А Елена — жива, и во власть живых...)

— Жаль девку! — сказал отрядчик. — Больно уж хороша! Другой был настроен критично:

— От богатства — и померла от чахотки: чудно!

Но Ника спешила. Войдя в библиотеку, она выбрала легкие интересные книги с картинками, посоветовала прочесть. Расспросила, откуда родом, давно ли в армии. Затем завела их в Сережину комнату, затворила дверь.

— Товарищи, — сказала она, — у меня к вам дело! Вчера вы с крестьянами о чем-то спорили. Крестьяне, сами знаете, народ — непросвещенный. В армии — человек сознательный, там — дисциплина, а они...

Отрядцы кивали головами, не понимая пока, что от них хочет эта бойкая московская женщина.

— Мы тут — семья: старуха, ее сын (этот самый художник), я и ребенок. Мы уезжаем в город. Мне нужна ваша помощь — вы честные, вы — не копеечные, не крохоборы. Только вы можете быть нам защитниками от несознательных, темных людей. Тут где-то по Крыму они уже начали безобразия, с женщинами на каком-то хуторе по-своему расправились...

— Дискредитируют власть! — строго сказал тот, что усомнился в чахотке в богатстве.

— Некультурности! — сказал второй. — Их царская власть во тьме затем и держала, чтоб кругозора не заработали... Вот и шалят...

На Нику повеяло холодом: надругательство над женщинами назвать — шалостью... От него немного пахло вином. «Не тяни! — сказала она себе. — Надо *сегодня* же выехать! В амбаре вина хоть немного, но есть... Страх по боку! — возразила она себе. — Это чудные парни, надо только разбудить в них достоинство! Они все могут понять!» В то вре-

мя первый продолжал излагать свое мнение о крестьянах:
— Дикари они! — сказал он сурово. — Их еще учить и учить...

— И я говорю: защитите нас от их некультурности! Они даже того не могут взять в толк, что старуха хуторская — они ее зовут барышней! — в крепости за народ сидела. Они ее зовут *доброй барыней*, потому что она с них не требует ничего, может быть, даже и *глупой* ее считают... — *убежденный* ее не могут понять! Вы-то знаете, *читали* Некрасова «Русские женщины», нет — так прочтете, как дворян Трубецких, Волконских царь в *Сибирь* сослал за революционную деятельность! Про декабристов знаете, как их вешали... А крестьяне ничему не учились, они хоть и любят свою хуторскую хозяйку, но могут не дать ей взять личные вещи ее, сахару по хозяйству, керосину для керосинок, для ламп, *свой закон* хотя бы применить...

— Кулаки! — сказал первый.

— Вот я и обращаюсь к вам как к власти, — сказала Ника, — проводите нас четыре версты до станции, помогите погрузить то, что надо на первое время — можете осмотреть: сахар, крупы, книги, собственные картины художника, — он учился в Москве.

— Ну что ж, талант! — сказал второй. — На выставку в городе их повесят, чтобы народ смотрел...

— И домашние вещи... — закончила с облегчением Ника. — Оградите нас, проводите!

— Это можно, — сказал по-деловому первый, черноволосый ладный паренек, и поправил движением плеча винтовку, — кулацкие элементы, конечно... Не понимает идей революции...

Ника смотрела на него. Милее ей был тот, русский, совсем еще мальчик, у того было доброе лицо. Но в глазах этого был блеск иного порядка. Какой-то сухой блеск убежденности, в волевых чертах была юношеская чистота, что-то почти вдохновенное. («Где я, когда, совсем недавно, — в растерянности спрашивало в Нике, — то же самое испытывала, на человека глядя?») Она совсем отвлеклась на миг, от момента, от *темы*, деловитости разговора, — в счастье, что она нашла в этой смуте *друзей именно в тех*, кого даже в людской боялись, она плыла по какой-то мгновенной, но блаженной реке... По своей! И вдруг — те, «египетские»! Там, в гостинице, там, на перроне... Та же победа — в дикости, как и здесь, условий, победа человеческого над женским; над собственничеством в той уезжавшей подруге, полюбленной — в сопернице — сестре... С этим парнем — от него *не пахло вином!* —

хотевшим законности и добра, ей было уже жалко — расстаться!

— Это можно... отчего ж... — сказал младший. — Потому вы — женщина, и с ребенком, а старуха — больная. Наша власть везде открывает больницы, бесплатные. А что в крепости она за народ сидела, пусть подготовит бумаги и на учет встанет.

— А старухе можно взять ложки серебряные? Вам они не нужны, — с ужасом чувствуя, что совсем не то говорит, сказала Ника, — знаете, как старухи...

— Ну уж известное дело! — отвечал с гримасой сострадания старший. — Нам ложки ее без последствий! Наша — страна вся! А художнику вашему, раз вы все добровольно народу отдаете, хутор свой, наша власть в городе мастерскую построит, а в Наробраз надо будет вам обратиться, у нас это скоро в порядок придет, государство по-новому во всех городах уже построили...

«Уцелеешь ли ты, друг, в каше войны?!» — думала Ника.

Как в бреду прошел день. Обежали сад, в последний раз собрали груш, яблок, грецких орехов... К коню прощаться Ника не пошла с Андреем — пусть один на один! Как с Еленой... С Сережей прижимали они к себе в прощальном объятии Гри-Гри и Тигричку, двух самых любимых котов. Марфа, самая старая из кошек, пятнадцати лет, запропастилась куда-то. Пучеглаза поймать не удалось. С собаками со слезами прощались. В людской, обнимаясь с покидавшей их матью Андрея, навзрыд плакали хуторские женщины.

И под вечер два экипажа, полных людьми и вещами, и два верховых с ружьями через плечо тронулись в путь по степи.

Они садились в поезд, пожимая руки своих конвойных. Парни были чудесные, дружеские, кивали Нике, что-то ей желали на прощанье, крепко жали руки художнику... «Светлая роща», Отрадное было темным оазисом посреди закатных полей, под нахмурившейся тучей над горизонтом...

Г Л А В А 6 ЗИМА В ФЕОДОСИИ

Поселились в доме, где жил — на Феодосийской окраине — отец Андрея, в семье уютного и смешного, очень старого старичка — инженера, женатого на француженке. Он еще за год до того забронировал двери своей квартиры, снабдил их тяжелыми блоками и колокольчиками; приехавшие оказались

как в крепости. В городе неуверенно ощущалось двоевластие. Откуда-то хлынувшие матросы распоряжались по-своему, отряды отдавали приказы, матросы не слушались, происходили стычки. Жители старались сидеть по домам, пока положение прояснится. Хозяйка квартиры, много моложе старого мужа, щебетала без умолку на спутанном языке, франко-русском. Кроме них двоих, в их семье был еще только кот, большой, ангорский и разноглазый. Он спал на чашке весов, под ним стрелка весов подрагивала, показывая то больше, то меньше девяти фунтов. Ласкать себя кот не разрешал, предупреждая о том глухим, но нарастающим рычаньем. Кот хотел спать.

В тесноте двух комнат отношения матери и отца, матери и Андрея, матери и Ники начинали портиться. Отношения Андрея и вольтерьянца-отца, отношения отца с Никой — держались. В той поговорке о тесноте, где шалаш вспомнят, в семье: Андрей — Ника — Сережа — любовь цвела.

В квартире на Цыганской слободке Ника лихорадочно вынимала из глубин еще московских корзин запасы круп, макарон, белой муки, сахару — все, накупленное в последнюю зиму с Маврикием в городке Александрове в долгих очередях. И куски, ломаные, маленькие, непокупного мыла с мыловаренного завода, которым ведал муж. Хоть было оно простое, но добавленный им туда запах (тонкое духовенье какого-то нежного пахучего вещества), — неуловимый и страшный в своей сохранности, Маврикий простирали над этими ее, им уже не виденными, днями свою все еще заботливую руку. Память о нем чтит Андрей. В такие минуты все вокруг нее останавливалось. Замерев с мылом в руках (она, придя из своего уголка, отдаст его матери Андрея, маленький кусочек даст щебетунье француженке), она стояла, закрыв глаза, погрузясь в ужас п о м н и т ь... затем — возвращалась к дню.

Она никогда не ходила одна на старую свою квартиру, где хранила остатки вещей (за что платила — для какого-то непонятого будущего — по восемь рублей в месяц), — если не с Андреем, то с Сережей. Одной с прошлым она не могла.

О Маврикии, о своем Мореке, она Андрею могла говорить. О Глебе — в особых разрезах. Он слушал молча, со стиснутым ртом.

Припасы уносились частями, потому что на улице могли их отобрать. Это был ее взнос, ее плата за жизнь «на господских хлебах», тощих теперь, когда хутор отошел в прошлое. Андрей смеялся — или негодовал. Сжимал ее голову и, глаза в глаза:

— Что мое — твое. Навеки. Пойми это раз и навсегда!
Так он привык говорить в Отрадном. Теперь он хвалил

особенно ее припасы, даже каши, которые ненавидел. Морщась, ел их. Это было наибольшее, что он мог.

Дворец Айвазовского стоял мрачный. Свечи в люстрах были давно сожжены. Окна тускнели. Керосина не было. Хозяева были далеко, никто не знал, где. Многих не было в городе. Другие — переоделись, ходят молодцевато. Вещи из покинутых домов свозятся возами — куда-то. Роскошный дом, снимаемый десятки лет семьей Мины Адольфовны, лечившей детей Ники, хозяйка отстояла тем, что стала в дверях: «Я врач городской больницы!» Ушли.

Двоевластие длится. К матросам примкнули какие-то совсем непонятные... Где те чудесные русские парни, что так верили в скорый порядок, говорили о бесплатных больницах, о Наробразе? Слух о высадившихся анархистах. Кто-то утверждает, что на базар вместе с орехами из Турции привезли похищенных турчанок. Кто-то слышал, что называющие себя анархистами их продают — и что феоdosийцы их покупают в домработницы — чтоб их отпустить, спасти от анархии. А может быть, все *врут*...

«Идут», «придут»... Так шли недели. Слег в тифоиде Сережа. Он был в жару. Мина Адольфовна принесла лекарства. Но жар еще рос. Мальчик метался, когда грянула весть: «Пришли!» Там, где не отпирали, — анархисты взламывали двери. Старичок-инженер бормотал хитро и упрямо: «Мои двери такими ломами не ломаешь! Я их укрепил по последнему слову науки!» Он сидел, маленький, толстенький, старый, в верблюжьей фуфайке и широких штанах, в кресле. Ноги его дрожали от старости, но дух не сдавался. Ему было 79 лет.

— Кот, ты слышишь меня? — шептала сыну Ника, щупая его лоб, заглядывая в глаза. — *Если* я тебя возьму на руки и вылезу с тобой на чердак — не пугайся! Слышишь? Помнишь отрядчиков — нас провожали на станцию? Про Наробраз нам рассказывали? Говорят, они совсем близко! Как братья в «Синей Бороде», — «пыль клубится, кони скачут», я читала тебе? Их с башни увидели — так и мы тут сейчас! Но если ты испугаешься, закричишь — мы пропали!

— Не испугаюсь... — сказал мальчик, вцепясь ручкой, горячей, в руку матери. — Только я сам не могу, *крепко* меня держи... Сейчас весна, да? Мне жарко...

— Да, Сережа, весна!

Все было готово: дверь на чердак открыта, отец Андрея и Андрей стоят у нижних дверей, чтобы женщины успели взойти на чердак и скрыться. В парадную дверь слышались глухие удары. Не было ли у тех бомб, или они были плохими, но ни от каких стараний анархистов двери не сорвались с

петель. Старичок сидел в кресле со своим белым ангорским котом на коленях. Синий глаз кота замороженно глядел на дверь, зеленый был мрачен,— кот, казалось, исполнял роль пифии.

— Не поддается! — торжествовал старичок.

Ребенок, с плеча матери поникая от жара, как ветка, все же немножко веселился — от кота, старичка, Синей Бороды, бомб — и бормотал, засыпая, про то, что с чердака, из окна — все будет видно... Андрей и его отец были мертвенно-бледны и шутливо ободряли женщин.

Удары в дверь стихли — сразу. Через час, стоя у окон, увидели, как идут и идут, один за другим, поезда, битком набитые людьми и ружьями. Но на них не было военной формы. Уезжая, они стреляли по окнам феодосийских береговых дач. И многих из них уже в Джанкое встретили выстрелами какие-то регулярные войска. В эту ночь все спали как убитые. Сережа не проснулся до утра. Должно быть, в эту ночь был кризис.

А наутро первый настоящий весенний день. Апрель. Солнечные лучи сделали совсем новую комнату. Распахнув дверь на балкон, Андрей звал Нику. Зрелище было странное: дворник, настоящий, давно не виданный дворник в фартуке мел метлой — тротуар. Сережа спал сном выздоравливающего... Белый кот лежал на коленях взволнованного вчера хозяина и на своих весах — и весил ровно девять фунтов. Старичок и жена его спали.

Поручив Сережин сон своей матери, Андрей звал Нику на воздух. На миндальных деревьях розовели первые цветы. Небо над ними было как эмаль на флорентийских тарелках, синева лиловая.

Рука в руке, потерянные от счастья, что снова они на час одни, вместе, в тишине, вокруг наставшей в природе и в городе, они медленно шли по улицам спящего утренним сном города, шум моря стихал, позади оставаясь. Они шли к той квартире, где они впервые друг друга увидели. Оттуда, с бульварчика на возвышенном месте, будет виден весь город вдоль набережной. Была настороженная и одновременно отдыхающая тишина. Внезапно что-то сверкнуло на солнце, над землей, в воздухе. Так сверкали в воздушной дали, при подъезде к Москве купола Храма Спасителя — золотой искрой. Но эта искра была серебряная. Андрей сжал руку Ники. Это было не любовное касание — тревога передалась Нике мгновенно. Он вводил ее за руку на тротуар — с мостовой, по которой они шли. Лицо его было строго, нахмурилось. Из-за угла, огибая караимскую дачу, медленно въезжал на конях военный отряд

в касках. Лейтенант обратился к Нике по-немецки — с вопросом, как проехать.

Она отвечала со своим шварцвальдским акцентом на языке, знакомом с детства (ничего не понимая — откуда тут немцы. Ведь ждали Красную Армию...).

— Beste dank¹, — воскликнул военный и, вновь приложив руку к виску, тронул приостановленного было коня, отряд завернул за угол.

— Немцы у нас? — сказала она пораженно. — Но как это? После мира, вынужденного, они же бросились к себе, где вспыхнула революция?

— Все сложнее — и не так гладко, как кажется, — отвечал Андрей. Расстроенный вид его тронул ее за сердце.

— Бывшие враги — а как вежливы! — сказала по-женски Ника. — С женщиной. А каковы будут на «работе» своей... в роли интервентов... если им встретятся подобные нашим «конвойным», — тут возможен даже террор...

— Господи! В такое чудное утро, мирное... Террор над теми парнями, чудными русскими... Не успели вздохнуть — опять...

А жизнь — продолжалась.

В эти дни чудом почти, потому что почта не действовала, пришло письмо Андрею Павловичу — от его подруги, из Харькова. Оно было — отчаянье сплошь. Знакомый до ужаса почерк, со школьных лет сопутствовавший, сами буквы эти длинные, узкие, с неровным наклоном и — показалось ли? или было? — еле ощутимый запах духов ее? Мог ли он не выветриться за путь? Да и были ли у нее духи еще?.. В п а м я т и они жили, задавленные настоящим, и вид почерка вызывал их к бытию. Знай это Ника — пришла бы она в отчаянье? Но не он ли учил ее *такту* любовному? Он молча показал ей письмо.

— Ответить надо — любой ценой... — сказал он упавшим голосом. — Телеграфом, конечно!

Они слышали, что очереди стоявших у почты перед телеграфным окошком — в последние дни расхитились, таяли быстро: прием частных телеграмм был прекращен, шли одни военные германские телеграммы. За обедом заговорили об этом.

— Если вам это нужно, — сказала Ника Андрею Павловичу, — я *отошлю* вашу телеграмму.

Засмеялись. И заспорил отец.

— Телеграмма *пойдет*, — сказала Ника, — до тех пор я

¹ Благодарю (нем.).

домой не вернусь. Дайте текст. Стойте! Она в письме спрашивает про операцию Андрея,— слово «операция» должно быть в тексте... Но немножко — туманно.

— Нельзя слать телеграмму, что *не* было операции. Мне же надо аргументировать *срочностью* вести,— сказал Андрей Павлович.

— Отлично. Составьте. И я пойду!

Ее стали разубеждать. Но она не сдавалась. Один Андрей Павлович не был убежден в неудаче — после ее свидания с его подружкой он допускал, что она может достичь даже этого.

Она ушла утром — и вернулась перед темнотою: только что, как военная телеграмма, ушел успокоительный текст о скорой операции и в нескольких неясных, но понятных адресату словах — его забота о ней.

Нику окружили. Отец Андрея смотрел на нее с восхищением. Рассказ был — целая эпопея.

— Я не присела ни разу с утра! Шла по инстанциям. Очереди, толчея. Приемные, дежурные, преграды. Но ведь я училась в отрочестве — в Шварцвальде! Свободней всех владела языком из просителей. Пригодился немецкий пансион! Говорили давно еще, что у меня «зататки писателя». Ну, так понимание психологии — помогло. И потом — я же обещаю а л а Андрею! Моя уверенность в важности телеграммы ре-зала преграды — ножом!

— Как ты была хороша, когда все это рассказывала! — говорил поздней Нике Андрей.— И этот юмор твой, которым ты переплела все... Ты была бесподобна! — И, сжав в руках ее голову, опять, свое вековечное как я люблю тебя...

— И потом, я ведь уже пропустила *обед*,— говорит Ника и чуть поднимает брови,— я была очень голодная! *Это*, может быть, придало убедительности? Я сумела внушить немцам, что отправить мою телеграмму — дело их чести, что это *им* важно! Они *долго* в этом не убеждались, но потом... А вы помните, у Чехова есть рассказ, как вдова приходит требовать пенсии за мужа? О, это чудный рассказ! Она *не туда* приходила, не в то ведомство, но она так не слушала, что не туда пришла, она так была убеждена, что *туда*, что ее *не* переубедили! Я не помню, чем этот рассказ кончается, но я бы его закончила так, что они убедились в ее убежденности — от нее же было нельзя отделаться — как от меня сегодня! Они *так* от меня устали — один даже сел, в усталости. Военный сел перед дамой!

— Ника, *ужинать* — будете? — прервала ее, смеясь, мать Андрея.

— О, я *два* ужина съем!

— Если бы ты знал, в каком припадке тоски я там билась... — сказала она вечером Андрею, когда восхищенный матерью Сережа уснул. — Ведь это я дурака валяла, за ужином! Да, я их убеждала, но как я боялась, что дело сорвется! Я же не могла вернуться к тебе, как побитый пес... Я же чувствовала, как она там страдает, как ждет ответа! В *низах* инстанции был грубый отказ. И я пошла по мытарствам — через взрывы слез, дрожь зубов о стакан с водой, успокаивали уже в инстанциях выше, тронутые моим знанием языка, а потом я выгралась в роль, пошли фразы о моем разочаровании в Германии: «Я *училась* в вашей стране, я росла на вашей литературе, я *верила* в высоту германского духа, нас воспитывали на Гете, на Шиллере — нет, вы, потомки их, перестали быть человеческими, я *увидела* лицо теперешней вашей Германии» — и пошло, и пошло — они пожимали плечами и направляли все выше и выше, а там делалось все глаже и глаже — и росчерк пера решил дело: меня попросили сделать текст немного стремительней, резче об операции — и подпись начальника, велевшего принять текст как военную телеграмму, при мне он был передан подчиненному. Я летела к тебе — как на крыльях! Когда я выходила — тот, подписавший, предложил мне на память о Германии — розу! Вот она, я ее, увы, смяла. Трофей!

(Ника писала это и думала: «И такими были немцы за пятнадцать лет до прихода в их ряды — фашизма! Это было — невероятно. Мориц — и то удивится!»)

— Я бы, может быть, могла быть авантюристкой, — сказала потом Андрею, — но мне — скучно, не люблю *дел*. И я презираю *выгоду*. Я могу служить только фантазии, эфемерному. *Оно* для меня звучит! Если не своему, то чужому безумию. Я бы, как Мирович у Данилевского, спасала Иоанна Антоновича из темницы. Самозванцу могла бы служить — за *его страсть* к короне (презирая его за страсть к *короне*, но уважая — за страсть...). Если б был авантюризм не земной, а какой-то, ну, лунный, я была бы в середине его событий!

Он, смеясь, поцеловал ей руку.

Вскоре между отцом Андрея и Никой произошла размолвка, за грубоватое его выражение за столом. Но она углубилась, в споре старик обошелся с ней чуть ядовито. Она улыбнулась:

— Vous n'êtes pas gênéux¹, — сказала она ему.

Как Андрей любил ее... Он совершенно терял голову в ее

¹ В вас нет щедлости! (фр.).

близости. Только его молчаливость и броня делали *степень* его любви тайной для окружающих. Что Андрей ее *любит*, знали, конечно, все. Но было одно: *ее* муки о его еде. Он не *хотел* есть. Его тошнило от вида яиц, масла. Вчера за острую закуску, ему врачом запрещенную, у них была ссора. Он не хотел ссор. Они напоминали его жизнь со старой подругой!

Дописав до этих пор, Ника, опершись в руки лбом, тупо глядела в тетрадь:

«Что делать, *что* делать... Это было какое-то «вечное возвращение» Ницше... *Что* они, были — малоумные, что ли, эти два человека, на руки ее судьбой положенные, — тогда и теперь?! Если б *она* на их месте — через все отвращенье к еде, зная, что это н у ж н о, — она ела бы все, скрипя зубами, — ради одного того человека, который бы об этой теме страдал! Андрей — *любил* ее. Мориц — *не* любит. А поведение их — одинаковое. Должна ли она п р о щ а т ь Морицу то, что он делает? (*Потому*, что так делал десятилетия назад — Андрей?). Согласясь третьего дня не есть суп, в котором был перец, вредный его горлу, коему грозит туберкулез в соседстве с больными легкими, он вчера ел картофель, посыпая его *сам*, перцем! Она ничего не сказала ему, были люди. Но, глядя на него, она глотала — огонь... Скажи она — он только поднял бы на нее взгляд, взбешенный, — и продолжал бы есть перец — на ее глазах».

...А в городе жизнь — изменилась. Вернулись многие исчезнувшие куда-то во время непонятого двоевластия, стрелявшие друг в друга, укрепясь — одни на мысе Св. Ильи, другие — на даче Стамболи; жители, ничего не понимая, сидели в домах.

Торговая жизнь цвела у фонтана Айвазовского, в ресторанчике Паша-Тене, — «хоть день — да мой»... Девушки влюблялись в молодых лейтенантов, расспрашивали, идет ли у них война между политическими партиями, революционеры они у себя дома или нет, и жив ли их кайзер Вильгельм, и какие женские платья в моде, и кто им нравится больше, в Германии, — брюнетки или блондинки.

Г Л А В А 7 СУДЬБА ГЛЕБА

К концу лета пришла весть: в Феодосию едет Глеб и его вторая жена, беременная. Ника знала ее — они в Москве, в вечер знакомства, до утра просидели в комнате уехавшего в

Воронеж, к отцу, Глеба. К утру они уже были друзьями. Ирина Ивановна — актриса, талантливейшая, и красавица, ее фамилия на афишах печатали жирным шрифтом, публика валом валила на пьесы с ее участием. Это была восходящая звезда. Сходство было в ее лице с лицом Веры Холодной, но ее лицо было теплей, добрей. Ради ребенка от Глеба она на годы оставила сцену. В долгом пути в Феодосию их обокрали — в чемоданах с ее гардеробом актрисы, сданных на хранение, оказались солома и кирпичи. Но еще были деньги — во внутреннем кармане пальто Глеба. Он, тщетно пытаясь утешить жену, уложил ее в зале ожидания и лег сам. Было жарко. Он снял пальто и накрылся им. Усталый от длинного тяжелого пути, он уснул слишком крепко, когда проснулся, не было ни пальто, ни денег. Так они стали нищими в одну ночь.

Этого не знала еще Ника, приехавшая в Феодосию встречать их. Андрей намеренно отпустил ее одну. Но, прожив два дня в своей старой квартирке, она (не дождалась их запоздавшего поезда, — было непонятно, где они, — опаздывая к Андрею на сутки) тронулась в обратный путь. Она хотела дать им ключ от своей квартиры и устроить их там.

Ника возвращалась назад в грозовой день, начинавший склоняться к вечеру. По пути со станции, четыре версты, ей стало жутко идти одной. Рокотал гром, гнал тучи, был холодный ветер. По-южному быстро темнело. Она не была уверена, что идет верно, на Отрадное — его не было видно. Она шла и шла. Подходя к окраине сада, она попала в невиданные ею камыши, под ногой было болото. Накануне Андрей высылал к поезду лошадей, сегодня, не зная, едет ли она, — не выслал. Он боялся худшего — ее встречи с Глебом. В гневе своего заблуждения, в заблуженье гнева он и предположить не мог, что она поедет одна, на ночь глядя.

«Где я? — думала Ника, в испуге вылезая из трясины. — *Заблудилась!* И Андрей не знает! *Как бы он бросился мне на помощь...*» Ей и в голову не приходило, что он, в предельной ярости отчаяния, считает, что она, как с Мироновым, вдали от второго мужа, сейчас с Глебом встретясь, впад в его чары, — не торопитесь назад... *Как бы она удивилась, оскорбилась бы, узнав!* Но в этот час ей своего горя — хватало: проваливаясь между кочками сырой травы, в отвращенье и ужасе от беспомощности в этом гиблом месте, она убеждалась, что попала к чужому хутору... Гремел гром, все ближе, все ниже, где-то лаяли собаки, было почти темно. После того, как во время второй беременности ее укусила собака, она, при всей любви своей к ним, — дико боялась незнакомых собак. Из болотис-

того места пути не было видно, темные привиденья деревьев казались ближе, чем были на деле. Путь к людям (но и к собакам!) был через трясины, идти бы *вдоль* нее! Но не в гущу ли ее она шла? В страхе, в омерзеньи она повернула обратно, спеша и от трясины, и от грома, под дождем — неизвестно куда, малодушным ходом от болота навстречу риску быть растерзанной овчарками. Но на этот раз судьба была милостива: знай она, что она не у чужого хутора, что это лают Андреевы, *ее* собаки, выбеги хоть одна из них к ней, — как бы она ожила!

Радость спасенья пришла не так пылко — будничной: как пред вертящейся сценой зритель, в ее поколебленном страхе сознания, она увидела что-то знакомое, обходя при свете молнии группу деревьев, — два шага, еще пять шагов — и родилось подозренье, что, должно быть... может быть, — не у ж е л и? она обходит, кажется, одну из сторон своего сада... она почти молила удара грома, молнии! — чтоб убедиться, увидеть! Холодея от крепнувшего дождя, она почти бежала теперь. Еще минута — удар грома, молния — она вбегала во вдруг явившиеся во всех подробностях, на миг, раскрытые ворота Отрадного. И уже танцевали под уставшим дождем вокруг нее собаки, стараясь лизнуть в лицо. Испуганные объятия Андрея, не ждавшего ее в этот грозовой час, обняв, увлекая, полуподняв, принимали ее в дом.

Как в молнии, никому, кроме него, не явной, рушилось на них счастье, вся сила его раскаяния, мрак его подозрений, недостойнство его маловерия! Когда, вытертая спиртом, переодетая и накормленная, она была уложена под одеяло и плюшевый плед, он все же впал в искушение ей *рассказать* все: как потеряв голову от ее отсутствия, он, пережив ее ночь с Глебом (*жену* его он страданьем своим *отстранил*, как фантом, мешавший его мыслям о мести), он чувствовал, что мог задушить ее в момент возвращения... Негодующая, она уже вскочила с постели, готовая ринуться в ночь, откуда пришла. «Не находя нужным оправдываться!» Но уже руки его душили ее — иначе. Она плакала. Он целовал ее слезы.

Ника была счастлива встречей Андрея с Глебом! С первого часа — не стремительно, нет, медленно (тем верней) — приглядывание переходит в прочную д р у ж б у! Оба зорки, не отрывают глаз друг от друга. Давно уж, должно быть, как один, так другой, не встречались с таким романтизмом — в ком-то, кроме себя. И если в зоркости Андрея — стрела отравы (не другому в грудь — себе, как он уже говорил), недремлющая память о любви Ники к Глебу, то в Глебовой

радости встречи нежданного по фантастике друга этой отравы нет — слишком давно они разошлись с Никой, слишком когда-то измучили друг друга, слишком устали, слишком прочна между ними простота отношений, одобренная непреходящим уважением друг к другу, признанием и н д и в и д у а л ь н о с т и, — что прочнее, может быть, даже родственных уз.

Все это учитывая, всему этому радуясь, Ника не отрывается от бесед с Ириной Ивановной... Роскошь так любоваться «соперницей» уже сама по себе опьянительная. Но как опьянительна эта соперница, этого уж не сказать! Как она смеется! Заливается! Какой-то водяной колокольчик! А глаза! Вся Русь в них, зеленоватых, как орех лесной, лукавых, безудержных в смехе, в самозабвенности, самоотдаче (и в гневе, и в ревности, может быть...). Не соперница, нет! Заместительница! Ну то же — разве плоха? Восхитительна! Эта женская зрелость — хоть всего на года четыре старше, эта женская победная сущность, взявшая на руки и несущая того, кого Ника в бессилии выпустила. Кроме благодарности — ничего! А талант рассказа! О чем бы ни начала — перлы сыплются! Весь мир она держит в руке, претворяет в рассказы, в неудержном глотаньи и запоминаньи, в жажде подарить слушателю! Раздариванье! («Грушенька!» — скажет о ней в свой день Миронов, захлестнутый ее талантом общения). Да, талант, не только на сцене, а в каждом *часе*... Сидит в бедном капотике, русая коса почти не тоньше, чем в отрочестве, и, хоть беременность, прощание со сценой, обнищание, расстройство, дорога — во всю щеку румянец деревенского зноя, круглые брови, нос прям, тонки в улыбке губы — горя ей мало, что театр бросила, не ей о нем горевать...

И сквозь все это — Ника взволнованно слушает беседы тех двух — ее первого и *последнего*! (говорит она себе упоенно об Андрее): любопытно, ведь они — одного «оперенья», как она бы сказала, — оба светловолосы, «как рожь», у обоих — «васильки — глаза твои»... (как споет Андрею жена Глеба). У обоих черты точеные. Красивее — у Андрея (правильнее). У Глеба *строже* лицо, что-то ястребиное у ноздрей потомка князей туркменских, за бунт разжалованных Петра. Когда это лицо без улыбки — взгляд потеряян вдали, рот нем — это лицо жестоко, отрешенно, ничье. Им владеет Мечта, к которой он пойдет — и идет с сомнамбулической верностью. От решенья, самого бредового, если «принято», то есть вошло в душу, его не отвратит ни событие, ни человек. Что-то от Агасфера, задержавшегося на час, — в этом молодом, перед чем-то замершем существе. Но вот его шутивно окликнули, при нем назвали одну из его тем — Дон Кихот,

«Три мушкетера», «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково» Достоевского, «Записки Пиквикского клуба» или обожаемый Гоголь, сгиперболизовавший вокруг себя все на свете, и он о жил! Ни следа от одержимого Агасфера,— в нем сотни жизней: в его блещущей, как шпага, иронии, загорается, как алмаз, вечер. Галантностью своих речей, окунутых в XVIII век, он, словесным кружевом, опутывает собеседника. В уюте его камельковых, морских или охотничьих сообщений, в гротескности его Диккенсовых ассоциаций комната, как дормез на высоких колесах, перекочевала в староанглийское поместье; на высоте маяка, мигающего световым глазом над бурей, тут его подлинный дом: уже закипает грог...

Сережа, в восторге полного обладания прекрасным, сверкает глазами отца с высоты своего небольшого роста (шесть лет!) — наслаждаясь участием своим в этой невероятной семье, где все — отцы его, все — его матери... Ирина Ивановна не сводит глаз с вбежавшего в комнату мальчика, это же второй Глеб!

Скудные узелки и саквояжики, уцелевшие, распакованы. Пока закипает чай, Ника сносит в угол сеней свое оставшееся добро, чтобы и тут, и в крошечной кухоньке, и в двух комнатах, они обрели себе дом — после долгого и горького путешествия.

«Эти двое» сидят на окне первой, проходной комнаты, той, где на полу у Ники лежал старый коврик в углу, где на нем пили в маленьких чашках кофе, где звенел Сережин «тустеп», где когда-то Андрей в ту черную ночь поднял Нику на руки как трофей своей было оборвавшейся жизни... Они сидят на окне, выходящем в обрыв, где шуршит осенней травой ветер, и, пока женщины и ребенок устраивают на Цыганской слободке — житье, эти «первый и последний» говорят о бурных событиях в стране — вести сюда идут туго,— а море вдали шумит, и месяц стал почти золотым в почти зеленой лазури неба.

Через месяц Ирина Ивановна легла в больницу — рожать, а Андрей и Ника увели с собой Глеба. Думая отвлечь его от тревоги, в которой никто не мог ему помочь, они взяли билеты в приехавший в город цирк. Он не спорил, но, дойдя до цирковых афиш, простился с ними и повернул назад — бродить возле больницы.

— Андрей,— сказала Ника, не смея спорить с Глебом, но не уверенная в правильности его ухода,— а может быть, это

предательство, что я отпустила его одного в такой вечер? Ведь в ночь рождения Сережи он оставил меня одну, только когда его не пустили ко мне няньки...

— Может быть, было бестактно, что мы позвали его в цирк, — сказал Андрей, — но что *сейчас* не пошли с ним — не только мы оба, но и вы тоже — это правильно, потому что неизбежно! Ведь он хочет быть с *ней* сейчас, а не с вами, с *будущим*, а не с *прошлым*...

— Вы правы, — ответила Ника, и навстречу музыке и ржанию коней (у Андрея уже загорелись глаза) они вошли в цирк.

— Вы это *все* можете делать, что делают эти наездники? — спросила она его, сидя рядом. — Мне *говорили* о том, как вы ездите...

— Это! — сказал он (одно это слово!). — И скромно и чинно: — *Есть* один человек на свете, у которого я мог бы еще кое-чему поучиться, — и он произнес медленно и с улыбкой: — Чинизелли!

Слыша дикие мольбы Ники, он пол-лета не ездил верхом, хотя врачи давно разрешили, а это была жертва для него, не равная почти никакой другой. Ржанье его коня ему навстречу и стоянье возле него щека к щеке...

Иногда он хмурился, холодея от негодования:

— Но ведь это же с вашей стороны — изуверство, поймите...

— Пусть. Впрочем, вы свободны. Но ведь вы же знаете, что будет со мной, когда вы вскочите на него... Вы забыли, что Маврикий Александрович умер от аппендицита?

Наконец день наступил, когда Ника осталась одна посреди степи, за воротами сада, глядя, как грациознее всего, что она видела, отъезжает на своем черном коне Ивана Царевича — «мальчик».

И каждый день он стал уезжать, а она — оставаться. Тоскуя, как не тосковала никогда ни о ком до того.

У Глеба и Ирины Ивановны родилась дочка! Сережа ликовал: пять дней, что они с мамой, отпустив Андрея в Отрадное, жили «на горке» у отца, была веселая и необычная пора его жизни; мама варила еду, учила его писать, спорила с папой о воспитании детей, носила тете Ире молоко и клюквенный кисель в большом синем кувшине, умывальном. Ходили гулять вдвоем с папой, пока мама в крошечной кухне хозяйничала (а папа рассказывал *такие* удивительные истории про Робинзона Крузо и про Барона Мюнхгаузена! И делал такие

гимнастические упражнения — почти совсем как в цирке! А мама звала их к обеду и ужину... Вечером мама с папой читали стихи и говорили о чем-то своем, — «о глубоком», как называл Сережа, мама точно вышла замуж за папу! Сережа сам для себя понимал, что это только «так кажется», что папина жена — тетя Ира. Он не только понимал это, он это чувствовал. А однажды вечером он спросил:

— Папа, а вот если вдруг — пожар сделается! А ты спасти можешь только или меня, или тетю Иру, кого бы ты спас? — Лицо у Сережи пылало победным казуистическим любопытством.

— Какие ты пустяки говоришь! — нарочным тоном ответил папа. — Так *быть* не может!

— Нет, может, — кричал еще более победно Сережа, потому что «папа вывертывается!» — Нет, может, может! Ну, кого?

— Я бы спасал тетю Иру, а она своими руками спасала тебя, а ты бы своими руками спасал маму! — вывернулся папа. Папа так умеет вывертываться...

А у Сережи — *сестра!* ...У нее лиловые глаза, и ее зовут Инна, папа говорит:

— Когда ей будет пятнадцать лет, я буду, как в сказке принц, целовать ее ручку принцессы...

Все так теперь хорошо — только скучно Сереже без Андрея!

Ссоры в Отрадном росли, и Андрей решил уехать от матери, снять домик в Старом Крыму и на зиму там поселиться.

Переезжали. По стране ходила болезнь — «испанка», от нее умирали. Ника заболела в самый день переезда. Она ни за что не хотела остаться, уверяя, что «ничего особенного — и там врачи»... Легла сверху на мажару на сено, «как собака морда в лапы» и с температурой 38 градусов, то засыпая, то просыпаясь, проехала верст двадцать пять — тридцать. Снились чудные сны! Дом стоял на площади, в нем было четыре комнаты, кухня, конюшня, хлев для коровы Домахи и стойка для поросенка. В обнимку с Сережей ехала Тигричка, она всю дорогу мурлыкала. А за ними шла черная с белым корова Домаха и рыжая Никина лошадка Франческа. Он ехал на своем черном коне. В доме топились печи...

Андрей снимал Нику с мажары, нес ее в дом.

Г Л А В А 8 ПИКОВАЯ ДАМА

В Феодосии — с моря норд-ост. Близ Цыганской слободки, по горе к водяному бассейну стоит очередь. Меж баб с ведрами, переговаривающимися и перезванивающимися, стоит каждый день с ведрами Глеб. В первое время, до холодов, стоял в пиджаке, заботливо заштопанном на локтях. Эти заплаты, должно быть, и молодое, чистое лицо примирили с ним баб, чувствовавших в нем интеллигента: бедность сближает, а вместо дыр — заплаты как-то трогают сердце — интимностью своего вида. Медленно двигалась очередь, ветер крепчал, пробирался в пальто — организм ли слабел или морозы московские легче, чем крымский норд-ост? И времени жаль — идти черепашью шагом. Но хоть *насмешек* тут не встретил Глеб — этого в те дни Судьба ему не принесла.

Ирина Ивановна вынимала из Глебовых рук ведра — как драгоценность: кабы не крошка-дочь, у груди засыпавшая, — о, как девчонка сбежала бы она с горы — встать в очередь (через пять минут вся очередь бы заливалась радостным смехом от ее шуток, острот, прибауток... и норд-ост бы стих, как стихал театр, когда *она* говорила на сцене).

Но крошка уснула, и нужна тишина, и в этой тишине бродит из угла в угол Глеб, думая о том, *что* же делать? Работы не удастся найти никакой.

Но он *находит* работу — подмастерьем на гончарной маленькой фабричке. Хозяева — выжималы, он трудится до пота и приносит домой меньше, чем надо для прокорма семьи. Продают последнее.

Однажды в праздник, когда гончарных работ нет, он проводит на базаре все утро. Одеяльце, выношенное и невзрачное, чисто выстиранное Ириной Ивановной, две простынки из-под утюга лежат жалкой стопкой все утро. Затем Судьба вдруг меняет свое лицо: подошедшая женщина покупает все, не торгуясь, и спрашивает, что есть еще. Может быть, в *доме* есть — продажное? Как в гипнозе, он дает адрес — и прилетает домой сам не свой.

— Что с тобой? — бросается к нему жена.

— Она сейчас будет здесь! — говорит он, весь бледный.

— Кто? Да что с *тобой*?!

— Она. Дама Пиковая. Моя судьба.

Уже слышались колеса. Коляска? По *этим* улочкам? Не бывало! Но уже кто-то входит на крыльцо.

Прислонясь о стену, скрестив на груди руки, стоял Глеб, глядя на дверь. В комнату вошла молодая женщина. Черново-

лосая, черноглазая, с орлиным носом, красавица — но что-то зловещее было в ней. Увидев спящую Инночку, она было шагнула к ней:

— Какой прелестный ребенок!

Но мать, потрясенная видом вошедшей, как птица на защиту птенца, бросилась к дочке.

— Я приехала купить все, что у вас продается! — сказала странная гостя и, не глядя, взяла ей предложенное, вынула из кошелька деньги — и ее уже не было в комнате. Стук каблучков с крыльца, звук колес. (Колеса! По Цыганской слободке? Не поверит никто! Пробуждаясь как от сна, прыгнула к калитке Ирина — улица была тиха и пуста.)

Глеб все так же стоял, скрестив на груди руки, глядя — вслед.

В следующий приезд в город Андрей Павлович предложил Глебу перевезти к ним в Старый Крым Ирину Ивановну с ребенком: у них свое молоко, а места в доме хватит: «И вы будете приезжать к нам с субботы до понедельника».

Нелегко было гордецу — согласиться. Но отказать жене и дочери в том, чего он не мог им дать — в сытости и комфорте, — права не было. Он согласился. И так был гостеприимен, благодороден и прост его новый друг, что приезды в Старый Крым стали веселы и естественны, как праздник. И Глеба ждал весь дом.

В этом человеке тяжелого духа жил и противоположный — детский светлый и легкий дух. В атмосфере тепла, радости встреч и общности вкусов, среди бесед о любимых книгах он оживал и делался, как ребенок. У чужого, но близкого очага, где он был драгоценный гость, он отогревался от мрачного чувства Судьбы, его обнимавшего. И для всех, в этом доме поселившихся, субботы и воскресенья приездов Глеба стали самыми веселыми днями.

Инна росла и день ото дня хорошела. Шестилетний брат заливался возле нее смехом. Осень уступала место зиме. В доме был уют и свобода от посторонних, в нем селился счастливый Диккенсов дух.

Полтора года назад Глеб был на фронте, год назад — в психиатрической больнице с параличом рук, через полгода — кто знает — но утро наше, детское, дружеское, — всем юным хочется жить!..

Вечер перед Сочельником. Городок горячо жжет желтыми окнами морозную тьму, как недавно еще выжигал он себя ими

в осеннем тумане! Месяц светло стоит в зеленом сумеречном небе над уютом печных труб, дымов, пора праздничной суеты.

Ника и Глеб идут из церкви, куда ходили за восковыми свечками для елки, уже вставленной Микишкой в вырубленный деревянный крест, шестое Сережино Рождество, первое — Инночки. Колокольный звон отходящей всенощной идет над ними ритмическим гулом. От ветхих крылечек, от запаха пирогов, от красавиц, укутанных в шали, веет стариной. «Заунывный гудит, воет колокол», — вспоминает Глеб из «Купца Калашникова». Острая жалость к нему, бездомному гордецу, качает Нику. Ей кажется, это пять лет назад, они идут вместе — в гости. В гости к Андрею? Покаяться ему в этом — потом... Легкие тени их скользят по снегу, небо — почти темно.

С каждым месяцем происходящее в стране, многим еще неясное по путанице сообщений и слухов, по разорванности связи между частями страны и между людьми, — становилось Глебу все более чуждо — с обеих сторон. Ни там и ни здесь он не видел того, что единственно любил — романтику.

Мировая история — так он чувствовал и говорил — обрекла человека на прозаизм материального благосостояния, требовала от всех — деловитости, приведения себя к одному для всех знаменателю специализации. Со всеми ему становилось не по пути. Он хотел не той свободы, за которую билась одна часть России, воспринимал ее недоверчиво. Он, как Дон Кихот, герой его, мог бы жить, зарывшись в тома старинных романов воинственных рыцарских времен. Силы внешнего переустройства мира не интересовали его — и нигде, ни в каких течениях окружавшей его действительности, он не находил себе единомышленников — все были разумнее, рассудочнее его, все стремились к чему-то себе выгодному и понятному — потому, может быть, он потянулся к Андрею, в котором почувал ту же тягу к романтике. Он знал, что только встреча с Никой и болезнь его (это как-то непонятно спуталось) удержали его от того, чтобы броситься в вихрь войны, чтобы, может быть, сложить голову. Но и тут он видел с с о б о й разницу: *его* не удержала любовь к женщине, он и от Ирины ушел два года назад на фронт, где заработал нервный паралич и за свое, немыслимое по отношению к военным властям, поведение — диагноз, пославший его в палату сумасшедшего дома. Где-то он смыкался, их читав, с Джоном Рескиным и Карлейлем, восставшим против утилитаризма общественности еще в прошлом веке. Но и те, кто выступал с оружием в руках, боролись только (с точки зрения его) за

форму жизни, за «шкурку» старины, тоже прозаической по сути, за которую не держался Глеб. (Недаром он был братом человека, сказавшего еще в 1905 году крестьянам, указывая на собственный хутор: «Вот это гнездо вы мне первым долгом сожгите, как только революция начнется», и прятал у себя листовки, гектограф.)

После прихода в дом его мрачной мечты, Пиковой Дамы, — говорила потом жена его, — он стал совсем равнодушен к окружающему... Его судьба свершилась. Он, как в полусне, принял предложение Андрея Павловича перевезти в Старый Крым дочь и жену — чтобы им было лучше. Ему уж ничего не было нужно. Перевезти вторую жену к сопернику по первой жене? Единственное предложение жизни — и он принял его. Но чтобы это было все же не даром, он старался для них заработать, что-то купить, привезти. Пальто, кем-то ему на зиму данное, он саркастически называл «дипломат». От Ирины он старался скрывать свои невзгоды, чтобы у нее не портилось в груди молоко. Он знал, что пришел к финишу.

— На днях я в городе слышал, — сказал он в последний приезд Нике, — что всех занятых на частной работе решено забирать под ружье и делать из них подкрепление для карательных отрядов, начатых немцами, считающих себя вправе, даже вменяющих себе в долг расправляться с крестьянами за разграбленные имения. Я решил — отказаться. Что последует за моим отказом — этого я не знаю, но иначе я поступить не мог. Ирине об этом — ни слова!

Страшный вечер, вьюга воеет, как зверь, двери рвет с петель, ни зги за окнами, и мороз крепчал. Выглянувшая за дверь Ника с ужасом подумала о несчастных, которых бы такое застало в пути, подумала — и содроганьем и малодушием всего существа скорее захлопнула дверь. Часом или двумя позднее в дом застучали — слабо, затем сильнее — на пороге стоял Глеб в своем «дипломате», в чем-то утлом на голове. Ирина всплеснула руками, уж тащила его в тепло — и он странно шел, и лицо у него было необычное, и в ответе его прозвучало: «40 градусов температуры». И про мальпост, полный народа: Павло не брал; наконец, посадил рядом с собой наружу, но Павло в тулупе, а — дальше зубы забили дробь, Глеб прислонился к стене.

Рука Ники легла на совершенно холодный лоб. Она было начала: «Глеб, по-моему...» Он не дал досказать. Скривив рот (он особенно кривился при волнениях — остаток операции саркомы), прервал ее: «Лоб холодный, потому что я ехал в морозе... У меня 40!..» Ирина уже вводила его. Но он, еле на ногах стоя, все же не забыл передать Нике — заверну-

тый в розовую марлю сверток сахарного песка, заработанный. Он сделал это не без некоторой детской (пробивающейся через горечь взрослого) гордости — что хоть чем-нибудь мог быть полезен в хозяйстве...

Беря этот сахар, Ника, хоть и не верившая в серьезность его болезни (ведь лоб был *совсем* холодным под ее рукой — стиль Глеба гиперболизировать: 40...), внезапно подумала (не она, ее п а л ь ц ы) — а вдруг я буду насыпать этот сахар, а Глеба уже — н е б у д е т... Она содрогнулась, кинулась за градусником. Лоб, насильственно охлажденный в дикой метели, быстро начал пылать, как все пылало внутри; ртуть, послушная его ощущению, поднялась до роковой цифры, им названной... Быстрые, трепещущие руки Ирины умело, заботливо укладывали его в постель. Она бросалась то к нему, то к просыпавшейся дочке, все силы ее существа отдавались служенью двум ее дорогим. В доме наступила тревожная, насто-роженная ночь.

— Андрей, точно я чувствовала, что он едет с н а р у ж и в этом ледяном мраке и буре, — шептала другу своему Ника в глубокий час ночи, — когда я вышла на минутку за Наташей к Домахе и ужаснулась тому, что было за дверью, — а он ехал снаружи мальпоста — больной.

— Спи, родная... — отвечал шепотом Андрей. — Я рано утром пойду за доктором, будет сделано для него все, что в силах, а сейчас с ним его верная Ира — тихо там, слышишь?.. Усни...

В бреду, как потом рассказывала Ирина, он все же пытался поэтизировать свою горечь. Его заставила жизнь стать кем-то в мировом базаре — и вот пришла расплата, конец... Всего еще двадцать пять лет ему было, метавшемся в жару, но уже жизнь проживший, второй раз муж и второй раз отец, выдавший и войну, и сумасшедший дом, претерпевший операцию саркомы, перекосившую ему рот, услышавший (потом это оказалось ложью) о сожжении хутора, где прошло его детство и юность... стройный, высокий, со своим шиллеровски-ястребиным лицом простоявший уже больным на улице, сторожем возле своей насильственной службы... Видящий прекрасное только в далеком легендарном прошлом, не понимающий и не приемлющий настоящего, в будущем ничего не ждущий, кроме свершенья своей судьбы, которую он ждал со сосредоточенной мрачной страстью...

Трагичность фигуры его была ясна, может быть, даже бабам в очереди — беловороность, несмотря на молодость! В величавости его нищеты не было позы, это ч у я л о с ь... Глядели *все* (уже *этим* мучая), но не смеялся — никто...

В последний раз, провожая его в город, Ника и Андрей долго смотрели вслед, как смотрят только в подлинное лицо жизни, и тесно, плечо к плечу, возвращались молча домой — в свое по-иному счастливое отъединение от людей, в свое, будто перед ним, уехавшим, грешное — теплом и уютом — жилье. В такие минуты Нику кидало к Андрею, словно бы она силилась утопить в нем все без остатка, чтобы в душе уже ничего, кроме него, не звучало. *Все* — даже память о прошлых, ушедших — казалось ей изменой ему. Какие-то внутренние глаза фанатически закрывались на все, на всех — ничего не чувствовать! не помнить! не отвлекаться — быть только с ним, только ему служить... Это, может быть, для нее неосознанно, была оборотная сторона подавленной или подавляемой, проглоченной ревности, страдальческой оскорбленности видеть возле когда-то ее мужа — другую, делающую для него все лучше, умелей, зрелей и талантливей, чем удалось и пришлось делать ей, еще совсем тогда девочке, всего коснувшейся в первый раз.

...Но была и простая радость, со снятием с себя и ответственности за судьбу Глеба, — что у него есть друг и что ей велено отойти от него, от них, радоваться их единенью...

Ночи близости *ее* с другом, ночи неповторимых признаний — казалось, такое никогда никем не было шепнуто ни в чью ночь. Все прошло, кроме этого. Андрей сумеет ее сохранить от мира, от живого — на каждом шагу! — прошлого, так они сгинут вместе, неразлучное целое, уже слившееся (после грустных попыток слияния — с другими...). В эту таинственную и блаженную тьму, где когда-нибудь все обретут покой.

...А жизнь летела вперед, к неизвестному будущему.

Ревность? Она и Глеба не ревновала к подругам. На успех Андрея у женщин она отзывалась такими словами:

— Любите кого и сколько хотите, не останавливайте себя тем, что мне разрывает сердце, — говорила она, — меня же вы никогда не разлюбите, я всегда буду с вами, вы из них со мной никого не сравните, я счастливее их всех... И как же я бы перенесла мысль, что я у вас отняла что-то?

Ира тихонечко напевала песню Сольвейг, укачивая Инночку, Сережа спал. Спали все — только Глеб бредил.

Здесь когда-то жил и умер такой же, как он, человек, у него тоже были и сын, и дочь, он тоже был молод — и умер. И он тоже умрет, и его похоронят на кладбище, которое на горе, — как того, давно здесь умершего... Затем он стонал, — *так болит голова!* — и легкие руки жены, окунув в холод, вы-

жав полотенце, — окутывали его лоб и виски... Но боль головы крепла, он пытался вскочить, требовал, чтобы кто-то «разделил с ним трагизм», бунт бушевал в его больном существе, страсть жить боролась с насильственно отнимаемой жизнью. В чувстве, что его убивают, пронзают длинным и острым, шла ночь и шел день.

Доктор определил пневмонию, но больной — в бреду ли? наяву? — спорил с доктором. Он настаивал, что в груди болит меньше, чем в голове. Лекарства не помогали, жар не спадал. Бред делался тяжелее, он хотел вскочить и бежать, жена с трудом удерживала его. В этой маленькой женщине вскрылись большая сила, она справлялась, укладывала его, как ребенка, ложилась рядом.

— Люди умирают, — говорил Глеб, — не оттого, что больны, — а оттого, что они уже не нужны жизни, что в н у т р е н н е они уже не могут жить. Я умру оттого, что мне нечем жить, я в н у т р е н н е стар. А организм подчинится этому. Врач не видит, что смерть уже во м н е!

— Он говорит п о д с о з н а н ь е м... Не рассудком, — уверенно утверждает врач.

Скривив рот, больной отвечал врачу — спорил с ним о сознании и подсознании. А жар не спадал.

— Крестьяне *правы*, что хотят поместья — себе и берут их. Но жить только местью — нельзя. Но когда их *за это* «карают» — это чудовищная глупость и подлость, и выйти из этого круга я могу *только* теперь в смерти!

В жару, побарывая его — или ему подчиняясь? — он говорил, переживая кашель:

— Смерть — романтика, жизнь — утилитаризму, уже ни Бодлера, ни Уолта Уитмена, ни Жерара де Нерваля, ни Эдгара По с его «Вороном», ни «Баллады Рэдингской тюрьмы»... Каждое «я» должно спрятаться за фигуру доктора, инженера, юриста. Я не хочу быть *никем* из них. И потому я должен умереть.

Несколько дней до того он нашел на себе вошь.

Глеб говорил — беспрестанно. О книге, которую он бы мог написать — столько он теперь знает, он мог бы сказать это все, но никто не поймет, эту книгу не смогли бы прочесть; потому он умрет — он слишком многое знает...

— Это он говорит подсознательно, он не соотносит эти слова с сознанием... — пояснил доктор.

— Вы так думаете? — отвечал Глеб. — Доктор, *как вы больны!*

То, что считали бредом — росло. Оно делалось все величавее. Все больше в его словах рождалось чувств — о небесном.

О том, что над жизнью. О том, куда он уходит. «Нас много так наверху,— говорил он, и он называл имя умершего друга,— и он там, и я там... О, как там светло...»

Боль головы росла. Он кричал. Он бился головой о стену, страх смерти бил его существо — он кричал, что смерть страшна. Его крик был так страшен, непереносим для живых, что все они выскочили на улицу. Но Ирина вернулась к нему.

Ника бежит за доктором (не успев завязать ботинок, шнурки треплются вокруг ног — уже забежала за угол). Врач, пожилой, отказался идти. В городе креп слух о сыпном тифе. Испугался ли? Сказал, что есть другой врач. Ника бежала к другому. Тот, молодой, пошел. Он сделал успокаивающую — морфий? — инъекцию. Больной утих.

Когда пришел в себя, потребовал священника. Повторилось то, что с врачом,— старый священник, соборный, отказался идти. Второй, отец Федор, моложе, исповедал и причастил — и таким покоем стало наполняться сердце Глеба, что и Иринино лицо просветлело. Она не спала уже которую ночь, в ней вскрылось много больше сил, чем в Нике и Андрее, которые, не ухаживая за больным, еле могли спать, были как в лихорадке. Андрею еле удавалось успокоить Нику — и то ненадолго. Он не оставлял ее ни на миг.

Без слов понимали они, что доктор ошибся — может быть, проглядел сыпняк. Ника мучилась по многим причинам. Основная была та, что она, теряя Глеба, безумно страшилась потерять Андрея. Она запретила ему входить в Глебову комнату. Обещала, ответно, не входить сама. Уход за ним был только Иринин.

Ника баюкала Глебову дочку. Обдумывала один нужный поступок — как его скрыть от Андрея. Это надо будет сделать завтра, с утра — на коленях пойти в церковь... *Умолить* Бога, чтоб Глеб остался жив!

После прихода отца Федора, исповеди и причастия Глеб стал мягок и тих. Более не порываясь встать и бежать, не спорил, ни над чем не насмеялся. Речи его делались все спокойнее, светлее, все чище, все тверже слова о смерти. Страх смерти исчез. Все складывал пальцы правой руки в крестное знамение. И он все больше отрывался от всех и всего. Он уже утешал Ирину. Он объяснял ей, что не сможет остаться после всего, что он знает о смерти, после того, что он видел там, наверху, высоко-высоко в облаках вместе с умершим другом, другом детства и юности. И все-таки он все возвращался к книге, которую он бы мог написать,— всем стало бы совсем

ясно, как жить... Но эту книгу нельзя написать, она — тайна, потому ее не сумеют — прочесть...

Шли дни болезни, кризис еще не наступил.

— Ника,— в отчаянии говорила, забегая в их комнаты Ирина, измученная, особенно первыми днями, когда Глеб терзал ее инквизиторскими вопросами, более тяжкими, чем в «Жене мудреца» Шницлера,— я потом *напишу*, я *должна* написать книгу о том хотя бы, что он мне говорил о жизни и о смерти, это — потрясающий документ! Это книга откровений, это *живая философия*, глубокая, страшная... Совсем не то, что напечатано в книгах...

Она смело шла от мужа к ребенку, кормила, поручала девочку Нике, у нее не было и тени сомнения о какой-то заразе, вера ее, рядом с верой Ники, была сильная, простая, без сомнений. Она ложилась на край постели больного, пила из его посуды. Она видела, что Ника боится заразить и Сережу, и Андрея, высылала мальчика — во двор, но ни разу не отозвала Ника сына, когда он часами играл с сестрой, неразрывной с Ириной.

Ника тесно, грудь к груди с Андреем, говорила:

— Андрей, она *лучше* меня! Я не вхожу к Глебу из-за страха заразить вас и Сережу. Как тот врач и тот священник. Все боятся сыпного тифа, само *слово* страшное. А она *ничего* не боится... Но это еще не все! Я сделала *страшную* вещь: когда я узнала, что у него худые подошвы — *тех самых башмаков*, в которых он со мной встретился на катке, на которых он мчался со мной — в «только утро любви хорошо» — он с них снял коньки, это были его *единственные* ботинки,— вы решили отдать ему ваши охотничьи болотные сапоги, дорогие. А я, зная, что вот-вот снова нечем будет жить, ваше усиленное питание... — я сказала вам, что они на него не налезут. Это была неправда, он может носить тридцать девятый размер, у него высокий рост, но маленькая нога... И он теперь, может быть, потому умирает, что простудился на тех подошвах! Сыпной тиф он, может быть, и вынес, но сыпной тиф и воспаление легких...

Лицо Андрея было темно, в судороге ответного за Глеба мученья. Но еще больше было мученье за нее.

— Ника,— сказал он,— он умирает от *сыпного тифа*, это — *картина тифа*. Он же почти не кашляет и не жалуется на грудь.

Он крепко обнял ее, защищая от нее самой.

— Вы не виноваты. Но если он встанет, он встанет прямо в этих сапогах. Пусть он даже *сейчас* их увидит! Может быть, он хоть немного им порадуетя!

И Андрей, выдернув из глубины шкафа высокие, «богатые» сапоги, понес их Глебу.

— Нет! — властно крикнула Ника. — Вы туда не пойдете... я не *пущу* вас! Чтобы еще вы у меня на глазах умерли — нет! *Только* издалека!

Она вошла в бывшую мастерскую, где все еще стоял мольберт и где лежал Глеб, позвала его. Тот откликнулся. Андрей ласково спросил, как он себя чувствует, и, стоя на пороге, сказал, что нашел свои сапоги — это его, Глеба, теперь, он их сразу наденет, как встанет.

Кажется, Глеб понял, сказал что-то, — должно быть, поблагодарил. Ника в соседней комнате плакала, упав на колени перед пустой постелью Андрея, лицом в одеяло, чтоб не услышали. Если б Андрей знал, когда, шесть лет назад, в Женеве, Глеб и Ника целый вечер ходили искать ушедшего с угла, где стоял, горбатого нищего, чтобы дать ему больше, чем дали (серебряную монету, когда могли — золотой)... и не нашли его, пропал — если бы знал Андрей, что когда-нибудь Ника с другим будет стараться заглядить свою вину перед ним, как они перед тем нищим. Что он, он, Глеб, ее Глеб, будет болеть тяжелым воспалением легких — потому, что она, бережа для другого, — спрятала сапоги, которые были нужны ему, могли с п а с т и его, спрятала их от него... Оставит его в пронзенных, тех самых, коньковых, с которых рукой нищеты он сам отвинтит коньки, — чтоб надеть... Значит, любовь к одному с отказом от всех, не нужна, грешна, страшна, отвратительна... Значит, *христиане* правы, не язычники! Значит, и ее любовь к Андрею, ее служенье ему — грех, *не надо* принадлежать одному и ему одному служить, надо служить *всем*, как служит сестра милосердия.

Ночью Ирина позвала Никку пощупать пульс Глеба. Пульс падал. Глеб лежал такой, как на его восьмилетней фотографии (ее не видала Ирина, она осталась у Ники в Москве). Чистое, детское, очень маленькое лицо, несмотря на остроту черт напоминавшее отрока Сергия Радонежского, глядящего на виденье на картине Нестерова. Завесившись простыней, Ника положила земной поклон у его изголовья. Веки дрогнули, синие глаза на миг приоткрылись, огромные.

— Что такое? — сказал он.

— Ничего, ничего, Глебушка, это Ника пришла...

— Ника? Какая Ника? — спросил он.

На его голове мешок со льдом, окутанный белой тряпкой, делал его лицо еще меньше. Ника вышла на цыпочках, в слезах. Андрей спал. Она легла, тихо, рядом, и, еле обняв его, мысленно стала просить у него прощенья за то, что она сделает,

должна сделать... Сердце билось тоской. Она знала, что он скорее убил бы ее, чем — допустить еще раз в ее жизни эту муку, уже раз ею испытанную, когда умирал Алеша. Но ведь выхода не было: *пришел* ее час действовать. *Может быть*, Бог услышит ее! Идти на коленях. Тогда (перед Алешиной смертью) она же не знала, *к кому* она идет, зачем на коленях! Теперь она знает: в церковь. Тогда она шла в пустоту (вокруг дачи).

Когда рассвело, она тихо встала, оделась и вышла. Наташа спала, Микишка ушел. Было пасмурно. Земля отсырела, туман рассеивался. Звонили к обедне. Люди шли в церковь.

Ника вздохнула, смиряя сердцебиенье, стала на колени — и пошла. Идти было трудно — кроме сырой земли, юбка-клевш, черная, шерстяная, запутывалась вокруг колен, скоро набухла от полужидкой грязи. Она шла по камням. Очень скоро заболели колени. Стучало сердце, и был дикий страх — собак: если кинутся на нее — что делать? И страх, что вдруг — Андрею скажут! И он придет — и что будет тогда? Он *прикажет* ей встать, а она ведь встать *не* может, пока не дойдет до церкви!

Тогда (от этого она зажмуривалась, потому что умереть было бы легче) — тогда, может быть, он встанет рядом на колени — и пойдет с ней рядом? (Где ты, Кайя, там и я, Кай)...

Или эти идиотские тупомордые прапорщики, замучившие работой ее второго мужа, повелят схватить ее «за беспорядок»...

Как глядят на нее прохожие — она не видела, шла, опустив голову. Как и тогда, перед смертью Алеши, помогала боль ног.

Она заставила себя выйти на главную улицу — и дошла часть пути — по ней.

Когда она подползла к церкви, народ расступился. Зашептались. И, как в первый раз — и н и к т о (спасибо, спасибо, милые, чудные люди, не посягнувшие, у в а ж а в ш и е нелепость ее поступка!) не остановил, не спросил, не вмешался. Она вошла на камень плит с трудом, потому что вдруг обессилела. Вставая, она еле разогнула ноги в коленях, и тяжелая, в жидкой грязи юбка облепила ее.

Постояла, помолилась, расправляя внизу тяжесть комков грязи, в которые обратилась юбка. Затем она попросила Бога оставить Глебу жизнь.

И, разрешив себе идти назад — просто, она пошла прочь из церкви — медленно, насколько позволяла боль ног.

Сенсация, должно быть, облетела городок: «У ней муж умирает. Да не муж он, не муж он ей, у того мужа другая жена, живут всем скопом!.. Ага! Как хлысты!» «Видишь, женщина убивается...» — стыдил кто-то в ответ. И одна из таких жен-

щин, зная, что Ника пришла проведать ее. Ника лежала, была приветлива, не ответила на утешенья ничего. Отмытые колени были в ранах, плоских и красных, болели. Позднее началось нагноение.

Андрей спал, когда Ника вошла. Как она благодарила Судьбу! Ей удалось незаметно помыться, спрятать юбку. И только когда он проснулся и, как всегда, потянулся к ней со все так же бессильным к выражению — «Как я люблю тебя...» — она, тихонечко присев возле него, головой о его грудь, не глядя и не давая ему оторвать лицо в его взгляд, рассказала.

Полуостановившийся взгляд, гневный, страдающий, синих глаз.

— Этого, помните, Ника, *этого* я вам не прощу! Хуже *этой* измены — за моей спиной сделать такое — уже не будет! Если б вы за *меня* сделали это — я бы убил вас.

Но она уже улыбалась, сжимая его руки. Какое счастье, что не случилось (самое страшное, рок пощадил ее...), чтоб Андрей из-за угла выехал на своем англо-нормане...

Глеб умер на другой день, 6 февраля 1919 года. Умер он тихо, не дожидая кризиса. Все складывал пальцы — крестом.

Но весь мрак, окружавший кольцом эту светлую душу, им в конце жизни поборотый, обступил дом. Все шло — «не как у людей». Дикая по шумности погода, дьявольский ветер рвал голые ветки, священник наотрез отказался хоронить на соборном кладбище — тифозного. Пришедшие с дезинфекцией делали ее по-дикарски и грубо, портя картины и стены, поливая все из кишки. Инночка кричала. Сережа не вылезал из-за шкафа, и мать стыдила его за бесчувствие. Он не плакал и не спрашивал ничего. Только вечером на другой день, такой много- и тонкоречивый, сказал, ни на кого не глядя:

— Смеялся, ходил большими шагами, сам наливал чай, — а теперь *нет*. Как странно!..

Андрей с Ирой шли на похороны вдвоем, Ника, разгибая опухшие колени, с Наташей вела детей в номер гостиницы, пока проветрится дом после дезинфекции.

Почему-то долго не могли сделать гроб. Кто-то сказал, что можно похоронить без гроба, в простыне. Ника соглашалась, боясь для детей заразности и новой беды в дом, Ира не соглашалась. Гроб сделали — пронесли Глеба мимо Ники высоко — она не увидела.

День Ника провела одна с детьми и Наташей в гостинице, отвлекаясь Глебовой дочкой.

Замолила ли она — пройдя на коленях — свой грех с сапо-

гами перед Глебом, ей было неясно: ее жертва не была принята.

Придя с кладбища, Ирина рассказала Нике — какие страшные, нечеловеческие были похороны: возчик гнал гроб вскачь. Андрей и она полубегом еле поспевали за дрогами. Ветер валил с ног. Над горами стояла огромная туча. Каркали вороны: Из калитки вдруг вышла черная старая женщина со страшным лицом, в темном платке, посмотрела, как ведьма, на гроб и скрылась. Старый священник ждал, пока закопают, не отходил от кладбищенской ограды и только тогда подошел к могиле и отслужил панихиду. Только много позднее, когда и Ирины не стало, Ника спросила себя: да, панихиду. А отпевание? Ответ ли Глеб? Предан ли земле? — И не знала ответа.

Полубезумная от горя и страха (тогда никто не знал, как заражаются сыпным тифом, боялись его, как чумы — через воздух) появилась в конце похорон Сусанна, худая, зловещая, как цыганка, молча постояла над могильным холмом, будто посланная той Пиковой Дамой — предсказанье Глеба свершилось: «Это моя смерть за мной приходила» — как он сказал. Судьба позвала его...

Подушки, на которых лежал Глеб (под него постелили все диванные подушки), и все вещи его — сожгли во дворе. Дом стоял голый, пустой, страшный. Искали квартиру.

Вскоре от сыпного тифа умер священник, отказавшийся подойти к гробу. А когда квартиру нашли, переехали, дом Канаун, где умер Глеб, после дезинфекции и ремонта, снял доктор К., отказавшийся прийти сделать больному сыпным тифом укол морфия. Он умер от сыпного тифа в той самой комнате, куда он не согласился войти (к Глебу). Больше смертей от этой болезни в Старом Крыму тогда не было.

Глеб предсказал верно: он был похоронен над городом, на холмистом татарском кладбище. Уже после похорон Ника наткнулась в уголке маленького буфета на пакет в розовой марле. Руки содрогнулись — вторично. Но *высыпать* сахарный песок, не съесть сахар, о котором Глеб в 40 градусов температуры радовался, что его съедят — было нельзя. И она насыпала его в сахарницу и понесла людям — пить с ним чай. Глеб уже гнил в земле.

Они жили теперь тесно втроем — Ира, Андрей и Ника. В первую ночь после Глеба они, забрав детей к себе, еще на старой квартире просидели над ними, спящими, всю ночь, тихо разговаривая об умершем и невольно прислушиваясь, нет ли звуков в его неправдоподобно стихшей комнате... В проме-

жуточной с ней, Серезиной, сейчас уже темно, и от ужасной усталости, и от еще живого в нас, его тяжелого бреда первых дней сыпняка, от горя по нему, от всегдашней непонятности смерти, от гробовой тишины мерещилось, что он ходит по своей смертной комнате,— может быть, сейчас войдет. Ирина была — как в бреду. Она пересказывала его речи, прощальный пафос, его предсказания и озаренья, откровенье его отлетевшей куда-то души.

Ира пила с ними вместе из одного стакана, задремывала, прикорнув рядом. Ждали, что вот-вот кто-то из них заболит — и все начнется сначала, на новой горе уже не было сил. Что-то хрустнуло. Тишина...

Вторая их ночь втроем после Глеба застала их тут же (еще до гостиницы, когда еще не был готов гроб,— и мерещился трупный запах, о котором Глеб в бреду допрашивал Иру, не слышится ли он от него? Тогда пожимал плечами врач — и как знал Глеб, что умрет!...). Не от такой ли ночи Мышкина и Рогожина, когда-то вчетвером, Глеб, его два друга и Ника вышли, будто пьяные, из театра Незлобина в зимнюю ночь, чуя, как тихо лежит убитая Настасья Филипповна! И пешком, молча, каждый в своем, дошли до дома Глеба и Ники и сели у камина к огню...

— Всех нас похороните,— сказал ей Глеб после смерти своего друга,— и заживете спокойно...

Слова его исполнились. Уж и его — не было! Не спокойно, нет — но — живу!

Что делать? Как оберечь человека от смерти? Куда от всего бежать? К Андрею! Но *этим*, тем, что это навек, она покидала в смерть — Миронова.

Ира рассказывала: еще задолго до болезни Глеба она вошла в мастерскую Андрея, и на потолке, полусклонясь через угол стены, была тень. Тень монашенки, нагнувшейся — точно читает по ком-то. Она тогда выбежала, в испуге. А вчера, выйдя во двор снять с веревки пеленку, она только взялась за замерзший край, как увидела — показалось — идет к ней из-за веревок и веток — Глеб. Она крикнула: «Глеб, уйди!» — и он тотчас же исчез...

«А вот я человек — реальный,— подумалось. Нике,— я такого никогда не увидела...»

Ближе сядились друг к другу живые, и посапывание спящих детей казалось священным.

Третья ночь — в гостинице — была легче. Так в сапоги и не встал Глеб, не принял их, жизнь — оттолкнула. Вернее, смерть. У них осталась благодарность его, щедрого и чинного джентльмена, уже в сапогах не нуждавшегося,— как нуждался

за две недели, когда еще был жив, мерз, промокал, сторожил чей-то склад, шагнув в ненавистный ему «мировой базар» — для дочери и жены... Когда «смеялся, ходил большими шагами, сам разливал чай»... Играл с сыном, на миг свободный, как в детстве... Как странен своей пустотой был мир без этого лирика... Родной сын Дон Кихота Ламанчского сошел в землю.

...Почему не поехали они тогда, как она предложила, в Испанию, семнадцати и девятнадцати лет, на три дня перед их первым расставанием, решенным? Не захотел. От гордости — на милость ее трехдневного с ним примиренья.

...Как она любила делать ему подарки — старинный пистолет, двустольный, мотоцикл. Как он был счастлив этим мотоциклом, «Некарсульмом» (60 лошадиных сил?). И как он ей принес в Рождество на французской Ривьере те старинные бронзовые канделябры для уже не существовавших в нашем веке квадратных свечей... Он их называл «шандалы». Но сапоги перекрывали все. Сапоги, может быть, стоившие ему жизни!

Удерживая каторжный бабий вой, грозно где-то у горла стоявший, Ника молча сжимала руку Андрея, клянясь своей жизнью хоть этому-то остаться верной — навек...

Мучил слух о сходящей с ума Сусанне после самоубийства брата, старшего, — ему отказала в любви молодая армянка, которую он полюбил. И не ей судить! Она защищала Сусанну перед Ириной, которая рвала и метала... «Человек живет раз, — говорила ей Ника, — и должен быть совершенно свободен! И если ты человека любишь — ты первая должна ему эту свободу устроить. Страдая? Ну что ж, это твое дело...» Но этого Ирина не понимала.

Те же слова, в негодование слуха, она сказала, чуть поиному, поэту Наташе В., такой умной! И благородной. К ее удивлению (более женщина, чем человек?), та осталась на Ириной позиции. Но, пойдя с Никой в один из первых весенних дней далеко за Старый Крым, где недавно еще шли бои, она *вдруг поняла* Нику — когда в ответ на стихи Наташи; влюбленные, к Андрею Павловичу, где был воспет его мужественный и властный и все-таки нежный образ, образ его на коне, — Ника пришла в восхищение, ни словом не показав ревности. И Наташа стала рассказывать ей о себе, о своей жизни, — и они долго ходили, не в силах расстаться, как ходила Ника по перрону с подругой Андрея Еленой.

Они возвращались в город. Не рассчитав расстояния, Ника еле шла от болей в коленях. Навстречу им бежал Локк, дог Экков, серый дог, с которым шел в первые дни знакомства

Андрей, когда его встретили Ника и Людвиг полтора года назад. Локк, с которым любил, в приезды свои в Старый Крым, гулять Глеб, нищий «лорд» с чужой собакой, в чужом пальто. Она сказала об этом Наташе, о своей боли об этом...

— Теперь он — «владетельный князь» — после такой смерти, таких похорон... Ему ничего не нужно, у него — все есть...

Она говорила слова, звучащие гордо, с пафосом, — а голос дрожал, слезы текли. Наташа ждала ей руку.

Где Андрей? Ржал конь? Его увели с Франческой, гнедой золотой лошадкой, подарком ей Андрея. Только раз выехали они в степь — она в дамском седле, неудобном, ехала, чуть покачиваясь, но с улыбкой сказала своему учителю верховой езды, что чувствует себя привеском к Франческе, что ей бы хотелось верхом ехать — «по-настоящему»... О своем коне *словами* Андрей не упоминал. Не помнить — не мог. Но в дни, когда все было полно Глебом, неожиданным и немислимым уходом его, горе о разлуке с Рапидом глоталось молча, глотком — в трагедии о Глебе вместились все разлуки и все утери. Локк пробежал, чмокнув воздух возле руки Ники, благодарно, тепло лизнул... Уже звучал ритм стихов Наташиных, в луже сверкало солнце. Те, кто ушел, — их нет. А живые — тут... Голос Наташи крепнет, он оживает:

Летний сад, обнаженный и странный,
Эти мощные липы в цвету,
Фонари под вуалью туманной,
И храпенье коней на бегу.

— Знаете, *какие* стихи Глеб читал мне, когда меня полюбил, семь лет назад?

Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом —
Моя любовь летит, пылая,
К тебе — огнем...

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна,
Ты мертвецу святыней слова
Обручена...

— Наташа! Его интонации живы — а *его нет*... Соллогу-
бовское:

То не голос трупа
Из могилы темной,
Я перед тобой...
Слушай, как восходит

В твой приют укромный
Голос дерзкий мой...
Слушай, мандолине
Душу открывая,
Как звенит струна!
Про тебя та песня,
Льстивая и злая,
Мною сложена...

Все старания Ирины узнать что-нибудь о той страшной гостье, покупательнице вещей, посетившей Глеба дом, — ничего не дали: ее никто в Феодосии не знал и не видел, а там знали — всех. Она канула в воду. Нереальной ее делала та коляска, звук которой они слышали: если Рапид не без труда грациозно проехал по косым тропинкам Цыганской слободки, сужавшихся у их домика в человеческий шаг, то колесам коляски путь был невозможен просто. Выбежав тогда на их звук, коляски Ирина не увидела. Виденье? Но она, — гостья, оставила — деньги! Голова рвется с плеч!

И огромные стояли над опустевшим миром обожаемые Глебом с его семи лет строки «Мцыри»... Страсть его юности — «Песня о купце Калашникове», которую он читал упорно, несравнимо ни с кем и ни с чем. «Заунывный гудит — воеет колокол...» И как тот упал, как сосенка — «Во сыром бору».

Под смолистый под корень
Подрубленная...

Наташа понимала все с полуслова. Маленькая ее сухая рука сжимала Никину, большие умные глаза на некрасивом лице — сияли.

В последние дни, молча об этом в газетах, — город пустел. В яркий и теплый день вошли красногвардейцы. Было пятое апреля, день, о котором сказал, умирая пятого февраля, Глеб. Но никто не вспомнил про это.

Ника искала работу; со двора увели Домаху. Не было места детям, из Бузулака не шло ничего. Жить стало нечем. Ника поступила библиотекарем в читальню. Ей был вручен ключ от читальни. Она вспоминала бред Глеба о мировом базаре. Он бы сказал так:

— Ключ? Хотят прикрепить им меня — к дверям! и с ч и т а т ь (не читать) книги — счет и запор, мера и вес, понимаю!

Но Нике на работе нравилось, хотя в первые дни читателей было мало. Заходили, листали газеты. После работы она

относила ключ тем, кто взял ее на эту должность. Наутро снова брала его. Но вскоре стало больше читателей. Она увлеченно искала и выдавала книги.

В маленьких комнатках новой квартиры, где за стеной поселилась у хозяев в роли учительницы Ирина с дочкой, было людно и шумно; тесновато.

Ника кидалась к плите, к посуде, столовой и кухонной, к корыту, к мытью полов и к вытиранию пыли — неумело, но педантично. Пыль, вредная легким Андрея, изгонялась рьяно и «изуверски». А наутро — в читальню. Не отдыхая ни часу, она уставала — но радовалась, вот когда могла успокоиться мама Андрея, — данное Андреем ей и Сереже за эти годы — возвращалось — радостно. Но Андрей худел. Кашлял и переставал спать.

Часть III

ЖИЗНЬ НЕ У СЕБЯ ДОМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ГЛАВА I МЫСЛИ О МОРИЦЕ

«Эту часть я назову между горем и счастьем,— сказала себе Ника,— нет, между счастьем и горем. Как лучше? Сначала ведь было горе,— в том, что я написала, потом — счастье. А потом — опять горе... Как назвать?»

Ника кончила писать это в перерыв. Это был конец первой части. Она передала ее Морицу:

— Прочтите, это для вас.

Он поднял на нее глаза:

— Прочту вечером, ночью. Иду в Управление.— Он запер тетрадь в шкафчик и ушел.

Начался рабочий час. Ника отложила тетрадку и стала подводить итоги сделанного ею раздела. Она работала, но сквозь четкий процесс работы туманно думала о том, что главная тема ее дрогнувшего уважения к Морицу — его недержание обещаний. Этого она — всем воспитаньем своим, учившим ее неперменности — не примет никогда и, стало быть, никогда не скажет об этом человеке — твердого «да». В том соглашении их, которое он подписал, так как она этой подписи требовала, значилось: неработанье по ночам (он же не знал, что она, за его спиной, тайно вела об этом переписку с его женой) — кроме случаев *срочной для всех* работы; никогда не читать сидя — всегда лежа — он, верно, все нарушал. Значит, он *давал* страданье — сознательно? Он же знал, что каждым десятком непролежанных (обещанных) минут он отравляет ее короткий отдых! Когда она сидит за столом, ожидая, замученно, пойдет он лечь или нет! Его «не хочется» или «мне некогда» в часы перерывов ему довели *больше*, чем его обещания. Но ...не говорит ему ничего! Ее отдых — вместо творческого подъема (писать бы!) — погибал у него на глазах. *Возле* того места (через стену), где была его комната, где он мог лечь и уснуть...

Запоздав, шел Мориц. Ника встала разогреть ему (сама

приготовила вкусное кушанье), положила много масла,— он отодвинул тарелку: «Невозможно есть — жирно!»

— Вас надо *заливать* жирами, вы эту аксиому не знаете?

— Масло каши не портит! — бодро сказал Матвей.

— Не буду! — отвечал Мориц.

Мгновенной волной, «наболевшей» еще два десятилетия назад о другом человеке, к Никиным глазам шли слезы. Усилив воли она остановила их.

Ночью,— обещавший ей ради жены и детей ложиться не позже двенадцати, Мориц пришел от вольнонаемных в половине второго (был выходной). И в три часа ночи он сидел у окна, делая маникюр. А в следующую ночь пришла срочная работа. Так человек с активным туберкулезным процессом сознательно (а семья?) губил себя — день за днем. Перед этой тупой стеной Нике иногда казалось, что еще немного — и она лопнет, как детский воздушный шар, если надавить крепко.

Что было писать жене? Что, до трех поработав, он, может быть, в четыре уснул? а в восемь уже шел на работу? Бедная жена, бедные дети, которые ждут его!..

Но восстать — бросить *этого человека* — значило приблизить его конец: восьмилетнего срока, до его возврата в семью...

...Его интонации при ее ошибке: «А это что такое? Нет, что это *такое*, объясните вы мне!» (издевательский тон гувернанток, страдание детства многих детей, ненавидящих за это отцов). В Нике жила надежда, что по отношению к своим детям Мориц не пользовался им. Но тогда тем стыдней и необъяснимей, что к ней он этот тон применял: пошлый, пародирующий непонимание — «Объяснить ему» — почти «подымите мне веки!» Вий-ное, тут рассчитанное на то, чтобы испугать и унижить ошибившегося... В каком молчаливом, стесняющем позоре (и за свою, и за его ошибку) она сидела, мгновенно занемев, и за тысячу верст от его «объяснения». И он хотел претендовать на ее (не от щедрости, а по праву даваемое) отношение, когда с его достоинствами, в которые она верит, будут сосуществовать черты предательства высоких интонаций души? Она больше уже не искала ответов. Ей была естественна — немота. Удаление. *Из них глядеть на него...*

Но как только дверь за ним закрылась, она сказала с улыбкой: «Конечно, он прав, я не права! *Надо* планировать работу, и он *должен* ее требовать в срок — ведь с *него* требуют! Но у меня глупый характер — когда она *срочная* — я от страха, что не успею, путаю больше, чем когда не спешу». Она знала,

что остальные работники от чувства превосходства вряд ли скажут «мы тоже», — тем возводя ее ответ Морицу в право и правило. Так — на возможный такой случай с ними — она в пользу Морица и в пользу работы диалектически закрыла им рот.

А ночью она думала о нем. Он же знал, что она ложится, когда он тушит свет. *Войди* она, постучи — он бы вздрогнул, как пойманный школьник. И он уходил на работу, глотнув чаю с куском хлеба, не тронув ничего, что было в шкафчике, что присылала жена. Он хотел так жить, замалчивать, что он себя губит, говорить о стихах и о книгах, волноваться о газетных известиях, о польской и финской войне — и отводить рукой ее волнения об одном из тех самых людей, кто, переживая напряженность умственного труда и напряженность соотношений с другими странами, не желает считаться с самой *нужной* из всех наук, с медициной? На что надеялся Мориц — человек слабый? Или слабый, или психически неизлечимый. Третьего не было. Третье — была ложь. Он жил без борьбы с собой. По воле схоластически экипированной «левой ноги». Она *знала* его возражения: «Не судите сосвоей колокольни!» Но это была увертка, — разве мир не владел объективацией? Логика была неумолимая вещь. Чтобы ее забот о нем не замечали (он так хотел), они вместе и создали режим его рабочего дня, который он в письме ответном — подписал. И не ударял пальцем о палец — исполнить. Почему не написал он «не могу», «не хочу»? «не хочется, не привык, я дисциплинирован только на работе, в быту я — как выйдет, я не хочу изменять этого ни ради здоровья, ни ради семьи, ни ради вас!» Это было бы честно. Он написал: «Я буду делать все, что вы требуете касательно моего здоровья». И это было так просто: оба они хотели его возврата — туда, назад, в нужные ему по болезни условия, в любимую им семью. *Ее* совесть была чиста.

Когда размышления о Морице доходили до таких вопросов — Ника опоминалась вдруг! Нелепость! Что-то *в ней* было неправильно, ее *точка зрения* на него (со всей логикой своей) была не верна. *Если б* он был человек слабый, о нем не гремело бы все Управление лагерной стройки (а позади у него уже несколько их было!) — его рабочие всегда выходили на первое место, побеждали в соревновании. Да, он *сжигал* себя на работе! Он был образцом человека! Чего-то она не брала в нем в толк... Рабочие — заключенные его уважали, любили, он оправдывал их доверие! *Не* любили его, критиковали — интеллигенты. В чем же тут было дело? Неужели она готовилась быть заодно с несимпатичными ей сотрудниками, на него косо

глядящими, знавшими его карьеристом? Для нее каждая минута была минутой *жизни*. Она жалела, что он не увидит *ее* на ее любимой работе — у преподавательского стола. Ибо, может быть, наиболее доступная человеку грация у нее появляется именно на работе, по десять часов иногда в день (когда ей это позволял голос, пока не срывался, в морозы, в простуды). Вот где ему было поучиться — терпению! И как могла бы она, преподаватель, позволить себе раздражаться на непонимающего! Тогда звался к проявлению весь талант педагога! *Ее* поколение воспитывали на том, что *нет* плохих учеников, есть плохие преподаватели. Талант *дать*, искусство быть понятным вменялось в обязанность. Как она любила вот этих неспособных, но прилежных! Сколько *своих* часов, из своего кармана, она давала им «по общественной линии» в дополнительных уроках! Какое это было счастье — что он *начинал* понимать! В этом и была жизнь *ее* — а эти одаренные, хватавшие с полуслова — они не умели (и *не хотели*) работать, это были почти враги... Как это было далеко от Морица. Она не за грубость его обиделась, а за то, что он, дав *им* карты в руки грубить с ней, — тем повредил фетишу, работе...

«Где же он настоящий?» — задумалась она ночью. Сказал он о своем первом опыте... «Знамения времени», — чем они были для меня? «Санин», «Ключи счастья» прозвучали чуть позже, были отброшены как чужое, вульгарное. Эти книги не вошли в душу, уже потому, что они были плохо написаны, оскорбляли вкус, воспитанный классиками, своими и иностранными, не могли даже стать на полки книжного шкафа рядом с настоящими книгами — с «Ундиной», «Орлеанской девой», с поэмами Бодлера, Верлена и Роденбаха, с поэзией всех стран. Арцыбашев, Вербицкая были низы, о них не было ни интереса, ни спора, ни времени думать: они вызывали только один жест — от них отвернуться. И никаких «Буревестников» тут не было! «Туннель» Келлермана, «Мистерии» Гамсуна, поздней — «Идиот» Достоевского, «Сага о Иёсте Берлинге» Лагерлёф, «Странная история д-ра Джекиля и м-ра Хайда» Стивенсона. Величавые дни сметри Льва Толстого, дело Бейлиса — этим билось сердце! Книги Диккенса, так рано полюбленные... Залы Щукинского музея, дарившие волшебную французскую живопись... Сколько было кругом всего! от «Звонаря» Роденбаха, от «Орленка» Ростана (раньше от «Contes de fées fevau») не вставалось идти на какие-то вечеринки! Годы шли с такими же, как она, подругами и друзьями в сердечных и умственных поединках, с памятью о полученной или нанесенной, увы, ране. Жизнь давала и отнимала друзей... *Не* комната, полная молодежи вокруг, — галерея

портретов! И, порой, зеркальное отражение, в остром счастье соответствий и постижений. Как все это иначе звучало! «Знамения времени» — старалась понять Ника, — что это было? Тревоги *своей* эпохи? Но если это были Нагородские и Вербицкие проблемы, от которых дурно пахло, — почему надо было пребывать в этом плохоньком настоящем, когда за плечом полыхала крылами вся мировая история, столько героев! От имени их падало сердце. *Бессмертная* галерея портретов — зеркал! Жили среди кумиров — исторической и собственной кисти, а когда линяли тона — навстречу шли новые тени. Жизнь цвела вдохновенным меланхолическим праздником *отбора* и *преклонения*. Была одна трагедия — Расставание. *Когда* встал вопрос, сводивший с пути? Умалчивания, стыд, пышные строки об *этом* — поэтов... страх... вздох. Не совсем понятные места в книгах, жаркие и темные движения своей неизвестной души, которой своя же гордыня и свой беспощадный юмор надменно отвечали — нет!

Созерцательность! Вот что отметило ее юность — и юность Марии Башкирцевой — и это при разнице их характеров. Никин был веселее и мягче — все равно, в конце дня воду пили из того же источника — «Все течет к грусти, как по наклону стекает капля воды», — писала Ника в пятнадцать лет в дневнике, и жизнь протягивала ей страницу Марии Башкирцевой: «Все, что не глупо — грустно, и все, что не грустно — глупо и все»... Брюсов, Бальмонт. Их стихи, воспевавшие страсть. Даже и *это* воспринималось старшинством созерцательности. «Едва ли ей было четырнадцать лет». Брюсова — «Альков задрожал золотой бахромой, она задернула длинные кисти... О да! ей грезился свод голубой и зеленые листья!» Любопытства — *не* было. Хотелось спасти *ту*, подпавшую младшей судьбе, но... *не* это было трагедией жизни! *Не* секс! «На заре туманной юности всей душой любил я милую»... Юность — старость, память — забвение. Любовь и Измена, Романтизм и Реальность, Жизнь и Смерть! Секс был высоко-температурной, но *подробностью* жизни.

Нику звали. Зная ее страсть к собакам и кошкам, женщина со двора, вызвав ее, сообщила, что на соседнем холме скулит щенок, — должно быть, подбросили! Маленький... Ника уже мчалась туда. Солнце сверкало в стеклах барачков, разбросанных среди мачтовых сосен. Кроны их медленно вальсовыми движениями — медленней часовой стрелки — покачивались в совершенно лиловом небе... Что-то зеркальное было в воздухе дня.

Ника сбежала с холма, прижав к груди рыжего крошечного щеночка. Она несла его Морицу. Испуганный щенок скулил и пытался выскользнуть из рук.

Мориц сидел за проверкой калькуляции на цементные работы. Перерыв — не перерыв — работа.

— Что такое? — устало, угрюмо сказал он, еле взглянув на щенка. — Уродливая собака!

— Уродливая! Такая душенька! Тебя обидели! — твердила растерянно Ника, дрогнув под ударом Морицевой реакции на ее радость («уродливая» — еще полбеды! Но — слово «собака» об этой шелковой крошке с агатом глаз из длинной кудлатой шерсти...)

— А она очень *понимает* эти обиды! — грубо-насмешливо сказал Мориц. Ника глядела в щенячьи глаза, с кем-то опаленными бровями (уже мучили!).

— *Такое* личико — «уродливое», — сказала она шутя, но уже очень серьезно.

— У собак — морда, а не лицо! — тоном, нарочно, оскорбляющим, нравоучительно сказал Мориц. Он щелкал на счетах, взглядывая на записи.

«*Было* или *не было* осознание произвола в его ответе? — думала остро, через боль, Ника, — если и *сладости* произвола не было (гнусной, но объяснимой) — то уже вовсе неоправданна злость такой выходки — просто страшно!» Выйдя в тамбур, она, прикрыв дверь, опустив щенка на пол, уже наливала ему молоко, и он, поверив ей, толкся между ее туфлями и блюдцем и неумело ткнулся всей мордочкой в молоко. Вечером Ника отнесет щенка в женский барак.

Отступая, поэма дарила место повести о Морице, и куда как нужны в ней были мысли, мешавшие и работе, и Никиному покою, — но, что бы она ни делала, повесть стелилась за ней. Была ли она пауком, из себя пускавшим паутинные мысли? Но ведь и мухой была она, себя ими окутывавшая, опутывавшая? В каком же из лабиринтов мысли была ариаднина нить?.. Было что-то почти нищенское в том, чтобы, как делал он, подчинять себя — часам дня! Вертеться за ними, а не их вертеть за собой... Разве именно не в этом его «токи высокого напряжения», и, может быть, Мориц — просто маленький человек с большими порывами?» Какой женщине он мог быть героем, если *она* с *таким* всепрощением все же *колебалась* о нем? Женщина, доверчивая *по глупости*? Или — с еще большим всепрощеньем, то есть просто уже монашенка? Но монашенке *окончательно* не надо *этих* форм человеческого общения, она от этой их ненужности и ушла в монастырь! И какой друг мог *ценить* беседы, жалобно наступавшие в

назначенные часы дня! Быть чем-то вроде патефона, в коем рукой дня менялись пластинки? Это и был тот новый тип человека? Нет, это было подобие робота... Без старания шагавшего из Лирики в Прозу, без негодованья, умело и точно... Какой-то Гордиев узел! Но разрубая его — получалось убийство самого человека.

— У Морица — естественность дикаря! — вспоминала она слова Евгения Евгеньевича. — А то, что он взял от культуры, связало его по рукам и ногам — вместо того, чтобы ему дать свободу! Мориц — весь *ложный*, — сказал он ей тогда, в час откровенности, когда еще не знал, что скоро Ника станет Морицу — другом.

— Но ведь он погибает... он идет на работу с температурой, — тогда отвечала Ника, — какой же человек будет...

— А вот такой, как он! Он играет *большую* игру, он себя и до смерти не пожалеет...

«Чепуха! — сказала себе тогда Ника, внешне смолкнув, чтобы скорее перестал ее убеждать говоривший (он был неспособен понять масштаб Морица). Нечего, если так переубеждать его, метать перед свиньями бисер! Человек, отдавший всего себя работе, который себя *не пожалеет*, если его *смерти* потребует стройка, и такой человек — карьерист?.. Какой нонсенс! Карьеру — на тот свет?!»

— Да, он очень искренен в этой ложности, — слышала она как сквозь туман голос продолжавшего обвинять... Голова трескалась от всего этого! И все же. «Да, может быть, он — не Кройзинг...» Она сказала это своему отражению в чашечке кофе, ей хорошо было пить его сейчас, такой горький...

Увы, Ника не знала, что у Морица бывали часы, когда он ощущал себя в корне ироническим ко всему интимному. Оно представлялось ему в кавычках. Это наставляло с большим выделением энергии — как при гашении извести. Некий ветер (ему он не знал названия, только силу его!) выметал душу. В эти часы он мог натворить бед, наговорить неслыханных грубостей. Все обращения к нему, кроме делового, заставляли его сжиматься. Взглядом, мальчишеским — плутовской глаз, искаса, ожидая уже атаки, — обегал к нему подходящего: не случится ли покушения на... понуждения выразить чувство. *Все* чувства тогда были *shoking*! В непосредственном ощущении этом все человеческие обязательства были порваны, паутина отношений — расплетена. Напоминание о ней — болезненно. Вдвойне: причиняя страдания ему самому и тем, кто к нему обращались. Ведь в ответ шло возмущение против него, от людей. Никто не понимал, что этот его отрыв сильнее всех обязательств — дружеских, душевных, даже семейных (хотя

он бы их никогда не нарушил, — внешне, частью все той же гордости!). Над ним властвовало коренное, немое его обязательство, данное себе самому. Оно усиливалось ощущением одиночества: договорить собою «эту штуку», ее додумать — было нельзя. Вне выводов: процесс погони за выводами был ложен, даром что он лежал в основе его природы. Последнее, что подлежало учету, было присутствие собственного глаза, искоса полыхающего и скрывающего, знающего и не хотящего (не могущего?) называть. В эти часы можно было только одно — действовать. Одно, на что Мориц вполне беззаветно откликнулся тогда, было — работа! Работа была друг: не дознавалась, не судила. Звала и требовала — одного: верности — до конца! И он бросался в нее самозабвенно, готовым в ней сжечь вместе с грехом измены всему остальному, заодно и само остальное это, и, следом, себя! Каверна? Температура? Все подчинялось — по Павлову! Человеку служить не умея — стране он умел служить! А чем заплатить — не все ли равно?

Да... но так как маятник взлетает вправо только с той силой, с какой его разогнало — влево, то через время, вечером, и уж почти неизбежно ночью, Морица возвращало назад в покинутую им паутину, пучину человеческих отношений. Он кошачьей лапкой трогает паутину: не вся сметена, нет! Чудеса! Из-под шелковой и бархатной лапки тянется шелковистая бархатистая нить! Он ходит по комнате грациозными, обольщающими шагами, что ни слово, роза изо рта! Как в гриммовской сказке. Розовая паутина обвивает и обвивает — это не брюссельские кружева? О глубине муки Морицева сознания никто не сказал. Говорили: Хайд, Джекиль! Как просто! Как не то...

Как в сказке — Гримма? Музеуса? — пришлось бы ему, как тот гном, об имени коего не могли догадаться, прыгать и петь в потаенном месте:

Oh wie schön das niemand weiß,
Das ich Rumpelstilzchen heiß!¹

Но он был еще одиноче гнома: не прыгал, не пел, а так незаметно плечом: Румпельштильцхен ли? И надо было жить с людьми, как будто бы все отлично и концы с концами сведены... С детства этот протест против всего положенного! От ненависти к богатым родным захотелось такого богатства добиться, чтобы их богатство — бедностью показалось! «Карьерист, говорят? Чтоб пусто им, с их «карьерой!»!» Он посидел, сжав

¹ О, как хорошо, что никто не узнает,
Что мое имя — Румпельштильцхен (нем.).

лоб... Лоб горячий. Встал. С удесятеренной энергией — за работу. Придется сидеть до утра.

Собаки — звали их Мишка и Каштанка — были общие, их собственные, проектной группы, взятые еще маленькими щенками. Их любили все. Но споров, суеты, даже ссор из-за них было много. Их принес Мориц и отдал Нике, на ее попечение, и больше всех они любили его и Нику. Он с ними после работы играл, смеясь над их проделками своим громким, низким смехом, мужественным и радостным. Собаки, как Ника, знали в нем живую человеческую душу, не взирая на жесткую видимость.

На Нике была забота их кормления из отпускавшегося в барак бюро пайка ИТР, того самого, за который Мориц ежемесячно сражался с присущим ему пылом. Трижды в день приносил дневальный в ведре супу, в кастрюле — кашу и каравай хлеба. Тут хватало и собакам. Люди были сыты (с помощью посылок из дома), и — великая в этих местах редкость — хлеб не делили на пайки.

На Нике не лежало учение их чистоте и убиение за ними — дневальный, по мужскому самолюбию, этого не делал, считая собак в положении лагерном осудительным барством.

Как солнечный луч ворвались в занятый, и на отдыхе невеселый, день Мишка и Каштанка, сеттерята, брат и сестра. Чертежные доски, рейшины, готовальни, листы полуватмана, арифмометры «Феликс» — все ожило, как в той же гриммовской сказке, от присутствия в этом царстве счета и меры умиительно-прекрасных щенков. Черно-желтым клубком сплетшихся, в разъяренной игре, рычащих с визгом, когда под зуб попадали шелковое ухо или, нежней гриба, песий нос. Они уносились и появлялись, как луч из-за облака, — кого, по пути, облизав, кому — сунув в руку мокрую морду.

Так расцветает в сером дворе факирьим цветком — шарманка.

И как-то надо было собрать морщинами лоб, чтобы в озабоченной мотивированности продолжать подсчет БАМовской сметы — после волшебной немотивированности, которой одаживали — животные.

Но была в их счастье — закономерность: старшим всегда оставался Мишка — самый умный, самый красивый, самый любимый всеми. (Ника, за это неравенство, любила Каштанку наравне с Мишкой.) Каштанка не только в глазах всех, но и в собственных занимала скромность второго места: она была как бы тень, золотая, от великолепия черно-золотистого бра-

та (гордон — и ирландка). Все меньше, тоньше, жиже одаренная собачьей красотой. И когда кончалась игра и меж людей и собак наставала трезвость — бранили за следы мокрых лап, звали ли есть или гнали прочь, — в манере Каштанки неизменно сквозило сознание своей неполноценности — рядом с самоутверждающимся Мишкой; и рикошетом рождавшаяся благодарность, что и ее ласкают, и с ней шутят. (Ужели не видели это — все? Неужели только у Ники щемило сердце от касанья к нечеловеческой грации, которую хотелось назвать «ангельской», кабы не было необходимости звать ее — не вверх от человека, а вниз — собачьей?).

Проходя мимо Никиного стола, увидев из-под края платья коричневатый Каштанкин нос, Мориц бросал зло:

— Совсем уж собак испортили! Из сеттеров — будут болонки?..

Ника не успела негодуяще поднять глаз, но, опоздав, — промолчала (самый убийственный Морицевой гордости взмах рапиры!). Его уже не было: упругий шаг по мосткам, Мориц *один* имеет пропуск за зону, в Управление.

ГЛАВА 2 СМЕРТЬ МАТЕРИ МОРИЦА

В тот вечер Мориц отплыл в воспоминания более ранние.

...Мой день был перенесен на другое число. В доме была больна моя мать. Она болела уже две недели — казалось, простуда. Но страдала она довольно тяжело. И, однако, никто не ждал такого страшного молниеносного конца.

В комнате матери висело очень хорошее зеркало — изумительной чистоты, а сверху была маленькая полка, на которой была спрятана лампа, удивительно освещавшая глядящего. Я очень любил причесываться при ней, всегда придавал очень большое значение прическе. Я причесывался необычайно гладко, с огромным количеством бриллиантина, мой пробор блестял, и когда мои товарищи — я был еще совсем мальчик — старались меня взъерошить, я отчаянно защищался.

В этот день, в честь моего рождения, сестра подарила мне изящное портмоне. В то время уже исчезла, из-за войны, разменная монета и появилась новинка — портмоне для бумажных знаков, марки. Вы помните.

— Посмотри, мама, что Соня мне подарила, — сказал я.

— Зажги свет, — сказала мама, — здесь темно, я ничего не вижу.

Был светлый день, и мне сделалось жутко. Мать сказала:

— Ты почему так редко ко мне заходишь? Ты что? Не любишь меня? Или боишься?

Я поспешил ответить что-то вроде: «Что ты, что ты, мама»... Я подошел и поцеловал ее.

Это были последние слова матери, обращенные ко мне. Часа́м к пяти, когда должны были собраться гости, матери стало очень плохо, и отец в ужасном отчаянии собрал врачей. Помню каждую деталь этого дня.

Врач вышел с сокрушенным видом из комнаты матери.

— Я, к сожалению, бессилён что-либо сделать!

Отец драматическим жестом широко раскрыл двери в комнату матери.

— Дети, ваша мама умирает...

С братом сделался обморок. Я вбежал в комнату. Мать лежала со спутанными седыми волосами, с исключительно молодым красивым лицом. И — странное свойство души: она — неверующая! — была без сознания, но повторяла попольски начальные строчки католического «Символа веры».

Я не помню ее последних секунд. Я помню, как я в шинели внакидку целую ночь бродил по квартире, стоял возле нее. До слез меня тронули два мои товарища, сидевшие на площадке лестницы, не решаясь подняться наверх. Увидев меня, они встали, крепко пожали мне руку, молча пропустили меня и остались сидеть. Это было по-настоящему трогательно: молчаливое товарищеское дежурство.

Мама умерла в воскресенье, 12 февраля. Хоронили маму 14-го, в день исполнения мне пятнадцати лет.

Ника медленно вспыхивает. Она оперлась лбом о руку, чтобы он не замечал ее лица. Он вспоминал о *матери*, а Ника думала: «Вот не хотящий глубины человек, но...»

В морге... Мы вошли. Был очень тяжелый воздух. Был — или нам показалось. Ища среди других умерших тело матери, мы с отцом прошли мимо трупа молоденькой девушки, странным образом напоминавшей мать, сходство в лице. И мы не нашли матери. Мы шли назад, и вдруг отец говорит мне: «Да ведь это же мама!» Что произошло? Седые волосы были спрятаны под белый платочек, и остался высокий лоб, черные густые брови и как выточенное мраморное лицо. Лицо совершенной красоты.

После смерти матери дом стал быстро катиться под горку. Приехавшая через несколько месяцев мать отца и его сестра, моя тетка, уже не могли спасти нас от того хаоса, который во дворился в доме. Отец, потеряв главный центр своей жизни, единственного человека, которого он действительно любил,

начал опускаться все ниже, дом разваливался и трещал, а дети стали жить по-своему.

Мориц закурил и прошелся по комнате. Держа во рту папиросу, чуть блеща зубами, выпускал струйками дым. («Точно пьет, в жажду!» — отметила Ника.) Но он искал слов. Они не находились. Было грустно, что он берет первые попавшиеся слова. А может быть, дело было в том, что ей это кажется не тем словом?

Ну вот, такие были дела... Москва того времени была довольно диковинным зрелищем: все старое рушилось, а новое зарождалось, еще спутанное, и у многих была психология: «хоть день, да мой!» Оргии, кутежи... Да, известно ли вам, миледи, что я одно время так азартно играл в карты, что...

Входила охрана, продолжался рабочий день.

Г Л А В А 3 АНАЛИЗ НА СОВМЕСТИМОСТЬ

Эти стихи Ника молча положила на стол Морицу и ждала, пока он их прочтет.

СОМНЕНИЕ

Да, если б я с тобой одним боролась,
Но я, мой друг, борюсь с самой собой,
Достоинства неумолимый голос
Давно уж веет над моей судьбой.

О, если бы с одним тобой боролась,
Но я тебе — что прошлогодний снег!
Трагикомедии склонился долу колос
И ждет, чтоб его срезал человек.

Нет, это — сон, где острие рапиры
Движеньем — в мира пальмовую ветвь...
Не мне (ответа не приемлю) — лире
Улыбкою приветливой ответь.

Он не сказал ничего, но жизнь его выручила: его позвали, и он ушел.

А Ника думала ему вслед: тут нужен анализ на совместимость. Он рассказывает ей о своей семье, о матери. Обеднить рассказом ему — свою мать? Уже годы и годы Ника перестала говорить о своей семье, как делала в юности. *Теперь* естественным было молчание. Утешала лишь мысль, как восторженно и почтительно стал бы он *говорить* с ее, Никой, матерью, встретиться он с ней: в этом было бы что-то от его тона о тех знаменитых актрисах, кого ему удалось видеть и слышать, но в матери Ники было *еще* нечто — не то от M-me Rolland,

не то от Софьи Ковалевской, возвышавшее ее *над* актрисами — императивное, героическое — это не ложилось в слова. В матери была статья. В Нике она появлялась только на миг — или в воображении. Но кончала юмором или жалостью. Эта статья перегрызала себя, как на бегу аравийский конь — жилу. Именно статью читал Мориц в людях — ко всему беспощадную, кроме того, чему эта статья служила. И именно за *отсутствие* статьи в ней (в их отношениях) Мориц не читал ее... Хоть разбей себе лоб об стену!

Теперь повелось так: когда Мориц после ужина был свободен, он, вместо того чтобы садиться за кроссворд — domino — шахматы, выходил к ней, хотя не уговаривались, и продолжал свой рассказ. Это было интимнее и напряженнее, чем ранее с Евгением Евгеньевичем, хотя рассказ шел при свече, а не в темноте, как тогда. Евгений Евгеньевич, когда был свет, шел чертить свое внерабочее изобретение, а Мориц, которому только бы и чертить машины, бродил, вспоминая «*Matrossenlieder*» Гейне. Тот *смаковал* фразу. Он низал фразы, как бусы на нить, — вкусом согретого волоса. Как бы чуравшийся открытости, он не удосуживался слушать себя, как Евгений Евгеньевич. Но продолжение рассказа было теперь для него неизбежностью, хоть он не сознавал этого. Он отплывал в своей шлюпке в себя, один его голос расшивал узорами пустоту. Мориц в рабочем кресле сидел с природной родовой грацией маленького лорда *Фаунтлероя*. Он рассказывал не себе: поверив в ее внимание, он делился, может быть, вербовал душу? Властной рукой он приподнимал завесу лет. Он глядел на нее уже почти добро. В руке щелкнул спичечный коробок. Он закуривал.

Я не могу говорить о моих чувствах! — недоуменно и все же категорично говорит он. — Когда я много говорю, я лгу. Уже много лет я никогда не говорю о моих чувствах. Я ненавижу слово «любовь». И даже людям, которых я любил, я не говорил его. Себя я могу выразить только в письмах. Это — моя природа. Что же касается моего сходства с Печориным (он сидит у стола, вода по нему согнутой в локте рукой, машинным широким, однообразным кругом, отодвигая все в сторону — бумаги, линейку, резинку, и от бесконечной, должно быть, усталости — грация тоже вне мер) — это сравнение неверно в корне. Печорин — бездеятелен, — продолжал Мориц. И даже в вопросе о женщине *нет* сходства. Печорин не отталкивается от живого женского типа, как я. Он создал себе воображаемый идеал женщины, и он глубочайше убежден, что этот идеал живет только для него. И все встречающее-

ся ему живое он пытается втиснуть в прокрустово ложе своей абстракции. Только будучи отвергнут, он начинает ощущать любовь,— через страдание. Все это — абсолютно враждебно мне: я борюсь с абстракциями. В каждом конкретном типе я вижу жизнь во всех проявлениях, принимаю ее как данность. И в каждом ищущем что-нибудь свое, *частичку* этого идеального типа, который *в целом* — в этом-то все и дело! — сказал он настойчиво,— все-таки *неясен*... В том — одно, в том — другое. Я ищущий ж и з н ь! Для Печорина же это его умственное построение было одновременно его защитная зона — и его ахиллесова пята!..

Он кидает линейку на стол и встает.

— А когда Лаврецкий встречает Лизу, Онегин — Татьяну, Печорин — княжну Мери,— это было действительно идеал, по *их* плечу — крест, но *они* могли принять его только через отрицание. Через отрицанье отрицанья! Разум Печорина был абстрактен,— говорит Мориц, крупно шагая по комнате.— Мой — конкретен. А все женщины в моей жизни — если бы я мог положить на стол их письма и проанализировать — нет, это слово неверно, я не разлагаю на части,— а снова вдохнуть весь аромат этот — вы знаете,— говорит он, оставаясь,— я прихожу к тому, что литературно *только* документальное. Я не согласен с тем, что никогда так много не лгут, как в письмах. Это неверно! Легко лгать *на словах* и *трудно* лгать в письме.

Но тут встает, в напряженьи, в волненьи Ника:

— Ах, Мориц, *если б* вы знали, насколько сложнее писем — писать — *писателю*! Есть вещи, которые так дороги, что о них невозможно писать! *Видишь* ее, глотаешь — в себя! В сокровенное! Как это вам объяснить? Это же звучит надуманно, вычурно — а это *сама суть вещей*... *Этой* сокровенностью пишешь, дыханием ее — да. Но когда сама *вещь*, которую ты должен дать, тебе сокровенна, вдруг какой-то священный ужас берет тебя и какой-то голос говорит тебе: «Ты не вправе» — и рука пишет где-то рядом об этом, у какого-то края, но не самую суть. Суть нельзя вымолвить, она страшна как жизнь и как смерть, и ее сказать — святотатственно...

Еле дослушав эту «очередную рацею», как в себе определил ее Мориц, он отвечал холодно, отстраняюще, наставительно:

— Эти заумные вещи мною неприемлемы — в корне! Голос писателя должен звучать не в нем, а в его творчестве.

— Минуточку еще, Мориц,— не слушая его, говорила Ника,— я сейчас доскажу все! Мне одно время казалось, что у

вас нет души! Это неверно, она у вас есть, и прекрасная. И она *основа* вас. Вы *все* слушаете о себе — дурное, но когда вам говорят, что вы бездушны — вы знаете, этот человек — дурак.

Мориц чуть улыбнулся.

Не покупаясь на эту улыбку (а как бы ей хотелось купиться и как было бы легко: только смять тему, округлить, и человек весело пойдет в ночь, с холма, и комната эта станет светлее — но какой-то уголок правды был бы загнут или оторван — предан...), она не сошла с суровой тропы темы:

— Но вы — в аберрации: вы *слабостью* считаете свою силу. Вы думаете, что вы *поддались* слабости, вы с *нею* боретесь, с *душой* вашей! А надо *за нее* бороться! Вы не понимаете, что ваша душевная жизнь инертна, что у вас — от раза до раза — «как выйдет». Не планированное строительство! Десятников не там расставляете. Прораб у вас — жуликоватый, со схоластическим образованием — тут и теория относительности пугается... Вообще Мориц, *какой* человек бы из вас вышел, кабы вы...

Но Мориц, туго улыбаясь, кидал за собой дверь.

Слово «ликвидком» зловещей птицей носилось в воздухе. Мориц уже не оспаривал его, Мориц молчал.

Страшнее его молчания — что может быть?

И вот опять этот ее страх, холодом ее обдавший! Она доверяла его Евгению Евгеньевичу, и он умел так тонко, так сложно, так ни на кого не похоже усмирять это в ней... То уверением, что Мориц ее не отдаст, или — что она уже становится настоящим, хорошим чертежником, что никто не вернет ее на те работы, где она приносит так мало пользы... А то — юмором, подбадривающей шуткой. В Морице ничего этого не было, она была одинока теперь... И все же надо было верить в те тяжкие лагерные дни.

Ника шла по зоне. Путь лежал мимо кухни. В открытое окно она увидела знакомую ей по работе ее первого лагерного года картину — повар, он, как и все повара, ставленники начальников колонн, брал на длинной палке ведерный ковш и, зачерпнув им из котла гущу из супа, сливал назад, в котел, жидкость. Слив, наклонял ковш над стоящим на досчатом полу широким ведром, пересыпал в него крупу и картошку утром, при лепке заложенную в котлы.

Если б суп такой густоты как полагалось ели заключенные!

Увы, они ели оставшуюся от взмахов ведерного ковша — жидкость с плавающими в ней картофелинами, плавающими в замутненной крупой воде.

Гуща же шла ежедневно, во всех колоннах, где перебивалась Ника, — в свиное ведро. Ибо этой гущей выкармливали к весне начальниковою свинью.

И не раз наблюдала Ника начальниково бесстыдство, когда, наевшись, видимо, досыта свинины, колбас и ветчины, он — через повара — продавал порционно тем, у кого были деньги, свиные отбивные, котлеты с подрумяненным картофелем.

И вспомнились Нике худые силуэты заключенных из «слабкоманды», толкавшихся у женского стола, ждавших, когда сольют женщины из своей жестяной миски — в пустую — лишнюю жидкость жидкого супа. К этим полупустым мискам, оставленным, жадно рвались руки полупризраков «слабкоманды», после болезни немного поправившихся, но не могущих выполнить и полноремы и давно уже не мечтающих о пирожке или куске рыбы, коими награждались те, что перевыполняли норму...

И не раз видела Ника, как мужские худые руки старались выхватить эту, другим уже схваченную, миску, в которой плескалась горячая еще жидкость, пахнущая супом.

Г Л А В А 4 НАЧАЛО «НИЗВЕРЖЕНИЯ В МАЛЬСТРЕМ»¹

Еще день. Еще день труда сброшен. Кто-то включил радио. Ника, как и все, любит сеттеренком Мишкой, во всяком прыжке, во всякой уловке победным, безоговорочно бравшим в плен. Но еще нежнее стала любить Каштанку — за то, как застенчиво она качалась, вилась позади, не забегая вперед, не озоруя, кланяясь за то, что купается в славе, не ею заслуженной. Что-то в ней заставляло щемить сердце. Она даже убирала за братом, когда Мишка, мощно расставив великолепные чернокудрявые лапы, лакал из миски, плеща во все стороны, и, не доев, как балованное дитя убежал — Каштанка, уже отошедшая в сторону (она ела мало), подходила и деловито, виновато маша хвостом, быстро-быстро подлизывала за братом: за еду надо платить аккуратностью... Понимала слова Морица-денди: «Развели тут безобразия»... Молча отвечала ему — подлизывающим языком.

Мориц входит скольльзящим, ритмическим шагом, магнитом (музыка) влекомый. Господи, как он худ!

¹ «Низвержение в Мальстрем» — рассказ Эдгара По. Мальстрем — гигантский водоворот.

— В аргентинском кафе, в Париже, это вот танго я танцевал с одной чудесной девушкой — парижанкой. Пили шампанское, ничего не ели — да, мандарины!.. — радуется он. — И это была *майская* ночь. Все цело.

Ника смотрит на Морица, точно в первый раз его видит, — он иногда, когда так устал, похож просто на призрак — щек нет, профиль, провалы глаз, слишком полные для мужчины губы. Но лицо, годное для фильма, — в жизни, среди других лиц — потрясает тонкостью и худобой, лицо чахоточного — и *эта* лирика! *Эта* нега (сейчас)! И эта энергия — нечеловеческая!

Душой в парижском кафе, в аргентинском танго, а волей — тут, на лагерной стройке, — кому бы, как не этому человеку, такую стройку доверили — с ее фантастически-краткими сроками, к будущему году — и ни месяц позже! ляжет водохранилищем вся долина... Но выдержит ли он этот год? Как далеко была Никина жизнь от всего этого — кто, как не он, *в ней* пробудил азарт сидеть ночь за срочной работой? Ошибается? Да, иногда; может, и от усталости. Но она уже вошла с головой в этот труд, и кому, как не ей, Мориц стал давать на проверку подсчетов разделы, сделанные другими, находя ошибки в них? Ей, меньше всех знающей технику дела, он больше всего доверяет в честности результатов, в неподкупности, неутомимости, в самозабвенном упорстве проверять досконально каждый листочек черновика...

К этой новой, крепнущей роли ее с растущей к ней ненавистью обращаются сметчики. Да и прорабы, и помпрорабы стали к ней суше и холодней. Матовое ее, как у всех рыжих, лицо, без кровинки, за последние недели похудевшее; косым пробором разделенные темно-медные волосы блеском контрастируют с бледностью. Чуточку слишком длинный нос кажется тонким. Вполоборота сейчас слушая Морица, в ней сходство с портретом Вильгельма Оранского. Как у него, плавность волосяного шелка кончается кольцами завитков. Для женщины — мужественное лицо. Но сквозь всю усталость, погашеств лица, рот — его называли когда-то ртом Пьеро — еще не утратил своего очертания. Хотя молодость безвозвратно прошла.

— Если б я была твоей женой, — говорит, шепчет в музыку Ника, — я бы дала тебе *такую* свободу, больше, чем ты бы захотел сам! Твое веселье было б моим весельем. Я бы блаженно засыпала одна, зная, что тебе хорошо — где-то, с *твоей* жадностью, и я бы благословляла тех женщин. (Под музыку не стыдна громкость слов, если их говоришь себе тихо... Слова знаменитых цыганских песен *без* пенья — смешны.)

«Все вино — твое, все гранаты и мандарины! Все ночи, все кабачки, все танцы, все розы — и все духи! Я бы хотела сделать тебя Гарун-аль-Рашидом, подарить тебе гарем, где каждая была бы выбрана тобою, чтоб голова кружилась от их изобилья! И изредка ты бы возвращался домой, как усталый ребенок — к матери, и я бы тебя укладывала на отдых, как кладут в футляр — драгоценность», — мечтает Ника.

В комнате — свет. За окнами черная ночь. Мориц стоит у окна. И все еще аргентинское танго. Кончался длинный разговор о поэме, о женских типах, о герое. Осмеян был Морицем печоринский плащ — «Тайна» на двух ногах!

— Но почему, — сказал Мориц, перебирая на столе чертежные карандаши, — вы не даете и *его* в борьбе с собой? Может быть, он *тоже* борется... Неужели вы...

— Борется? — спросила она пустым, незаинтересованным тоном. — С чем?

Ника стоит у окна. Та зимняя ветка, что тогда ловила шар луны, покрыта зеленым пушком. Как все ясно. Грусть совершенно *смертельная*... Грусть — меч. Но на этот меч нужно еще опереться!

— *Все*, кроме работы, — балаган! — сказал Мориц.

— *Все?* — переспросила она.

— *Все!* — отвечал он, отважно и дерзко, всем своим существом.

— Так, — сказала она, — и семья, и весь интимный круг жизни... Женни, Нора? Вы уверены в том, что вы говорите?

Она говорила тихо, голосом как за тысячу верст.

— Видите ли, — мирно начал он, обманутый мирностью ее тона, — иногда является вопрос, поскольку это отношение к работе лежит тоже в плоскости *чувства*, — не стоило ли поступиться его частичкой (при наличии тонкости у человека).

Морицу и Нике в беседе часто приходилось на миг — пока посторонние проходили через комнату — делаться нарочито туманными, перестраивать фразу как бы о каком-то третьем лице.

— Чтобы привести в порядок отношения с людьми, хотя бы с этими же на работе (не хватало смелости сказать «ведь это было бы выгодно для самой *работы*»), — потому что думать, что отношения к работе складываются только типом самой работы есть ошибка...

Но в конце концов он не делает этого!

— Почему, Мориц?

— Потому что страсть к работе оказывается все же сильнее.

— Так... Значит, это — страсть. *Не* разум. Берет верх та,

которая сильней. Ясно. И вы считаете, что *разум* — прав? В этом выборе?

— Да! — с большой гордостью.

— Почему?

— Потому что это все же высшее благо!

— Для кого?— (они были снова одни) — Для вас?

— Да.

— А для окружающих вас?

— А-а... ну, это в конце концов *мало* меня трогает!

— Та-ак...

Ведь он мог бы оставлять часть дела на попечение помощника, чтобы не так нацело отрываться от остального мира?

— Видите ли, неполное переключение на камертон работы, оставление некоего звучания, частично, того камертона, в котором он иначе общается с людьми, например, воспринимает искусство — может быть, отозвалось бы на рабочем камертоне — помешало бы ей.

Ника кивала. *Это* было точно, честно, понятно. Вот было, кажется, все сказано. А теперь — шли мысли. Это бывало, как нашествие татар или гуннов, а может быть, тоже род страсти? На пожирание которой Ника была отдана?

А может быть, дело у него было просто в том, что удачно, по бедности (и в более лестной роли!), было для него больше при камертоне рабочем, а не том, интимно-лирическом? Уже гаснут огни... А как бы он в *быту* разрешал эту проблему: своей и чьей-то еще страсти к работе, если бы эти два рода работы требовали бы *противоположного* друг другу: ему обстановки шумной, многолюдной, и, например, ее работа, писательская, требовавшая тишины...

«Безделье? — с удивлением спросила себя Ника — о тех словах Морица о днях праздничных (о его *пребывании* в лирике, отдых с музыкой, стихами, дружескими беседами). — Для меня, например, лирика не безделье, а *дело*, и выходной день — день самой большой занятости. И для Лермонтова, и для Маяковского лирика была — делом. И для Гейне, и Верлена — и стольких!.. Вот отчего мне показалось, что Мориц моложе меня в те майские дни — и по более легковесному погружению в самое существо строчек. Что только *любующеся* что-то было в нем! Так же — как во всем уменье моем ему помогать, не разнимая мы, мы и мы в его отдыхе, являющемся моей рабочей средой. Бедная жена его! *Ж д а т ь* человека и *знать* годы, что, три четверти жизни ведя в работе, он все эти часы, что она топит, убирает, освещает и освещает гнездо, — *он* считает это

гнездо — «балаганом», четверть жизни — в нем греясь и отдыхая — какая это страшная вещь... В роли жены — что? Полюбить размах нефтяных приисков «Города Анатоля» Келлермана, больше друга своего? О ложь...»

В общем, объективно — не было ничего между ними! Он же всегда был так спокоен, так трезв (то — вежлив, то — груб, а то — рассудителен... почти всегда — прозаичен! в отношении к ней — всегда). Ткань эту — меж ними ткала она — «платье короля» андерсеновского! (И он терпелив, между прочим...) «Ну хорошо,— вопрошала она себя неумолимо.— Ты бы простила ему это слово, за которым такая бездна его значения — «балаган»? Если бы он у тебя за него валялся в ногах? Может быть — да, а может быть — нет, и тогда б не простила... В смертной икоте его простила бы. Это — да. Но не раньше! Потому что — больше ее уже не будет, жизни (а мечта та есть, что он бы исправился, длись она...) далью это простить — можно. Близью — никогда. Как назревает прощанье! Неумолимо, как музыкальный финал...»

Что-то свежо, но не хочется уходить от окна. Она сдергивает с кровати одеяло. Понять, до конца, о Морице! Вот оно еще раз, его стихийное, собственно, во всем одеянии прозы: в такой густоте вдохновения прозой сидит — уж безумье. Вот то, отчего у него взгляд такой! Скользящий. Редко — глядит...

То, против чего она так боролась! Закапывая в песок «счастье» своих о нем, уносимых ветром иронии, постижений! Над чем так смеялась, купаясь в его вспышках света! — уголок тьмы затаился — и цвел. Цветенье этой тьмы она видела вчера, в вызывающем, ненавистном тоне его разговора: дикую тяжесть этого человека. (При всей легкости переключения его на — обратное, на обаятельное, под коим живет деспотическое, бездушное, неумолимое. Как, фальшиво прикинувшись «простотой», это называется «человек любит работать». Часть выдавая за целое!) «Ну, хорошо,— останавливает она поток своих мыслей,— а у тебя не две сущности? Две! Но мои так просты, если их верно назвать: женское — и мужское... стелюсь ковром, а потом взвиваюсь в бой. Мой неизбежный ритм. Но я ни в одном из них от другого не отрекаюсь. Я — помню... И не счастливая ли я — в моем суровом, как в кротком, начале? Сходство (если это сходство)! Мы были обречены на встречу и на расставание. Мориц не имел еще возле себя человека с двойным пыланием. Но он должен меня потерять!»

Она плотно укутывается в одеяло вся, как в детстве, по добрав ноги; как птица на краешке подоконника, головой о

небо: бесприютно от него — и уютно — в себе... Ее пронзает на миг ток жара и силы. И, ястребом — сверху на сегодняшнюю добычу: вот момент, когда здравый прозаический взгляд — совпадает с романтическим: это момент правды, должно быть...

Она слышит шарманку, любимую, детскую, доходят колебания того камертона: она помнит, как сквозь водную толщу, то, что бывает внутри, когда стелешься и все вытерпишь. Когда — любишь. Но она видит это — хоть вода и прозрачна, — как сквозь водную *толщу*. Она сбрасывает одеяло, закрывает окно, кидает в ночь, наотмашь, створку форточки. И начинает ложиться. За окном не погасло всего несколько огоньков. Глубокий час ночи. От холода — или от одиночества — озноб. Усталость. Покой. И все.

Вышло глупо: надо было проглотить все это — и жить. Ника же, увидав Морица, вдруг исполнилась *такого* негодования — после того чудесного покоя ночного, — что сказала ему все, о чем с ним она не согласна в последнем их разговоре. Она никогда не видела Морица таким негодующим — вся шерсть на нем «стала дыбом».

— Только самое неправильное толкование могло породить такое фальшивое обвинение! — сказал он ледяным от взбешенности тоном. — Вы, как всегда, прицепились к слову! «Балаган» с точки зрения работы — это не «балаган» вообще!

— Но позвольте, — рванулась сказать Ника, — ваши слова были: «Все, что не работа — балаган!» Вы в это время находились *не* на работе и не в *лирическом* состоянии, а в состоянии «среднем», откуда вы могли судить о работе и не о работе — неким третейским судом, с незаинтересованной, промежуточной инстанции. Так это и было, когда вы, не работая, сказали: «Все, что не работа — балаган!» Вы не можете отговариваться тем, что это о себе кричал сам пафос работы — это был пафос некоторой объективации, от которой вы теперь отказываетесь. Это — передергивание позиций!

Мориц, видимо, перестал слушать то, что ему представлялось бредом.

— Вы, должно быть, переутомились, — сказал он холодно-вато, — я уже говорил вам, что ваше упорство работать *ночами* — к добру не приведет. Вряд ли кто-нибудь мог бы уразуметь то, что вы сейчас наговорили. И все-таки я попробую вам ответить, пользуясь тем, что вы вышли на работу сегодня раньше времени. Я люблю жену, ребят, друзей, музыку и искусство. Люблю полноценную жизнь. Я хотел бы любить *всех*

девушек мира, быть на *всех* праздниках вселенной. И я чувствую к этому не только желание, а и силы. Я — оптимист. А вы для вашей поэмы хотите из меня сделать робота, что ли? Или какого-то... мизантропа! Работа — мой идеал. Во время работы я *все* подчиняю ей. Без работы долго быть мне — скучно, но я не утверждаю, что это все в моей жизни. Мало того, моя работа в моей жизни меня не удовлетворяет, теоретическая работа, хотя я к ней имею склонность. Меня влекла к себе, например, работа в кино: *искусство плюс жизнь*. В строительстве мне более всего хотелось бы строить — театры, дворцы. Решать проблемы интерьеров и обстановки. Как я был счастлив, когда я построил чудесный клуб-театр! Огромный!

Ника слушала. Он не лгал. Но где, в этих увлеченно, мягко очерчиваемых контурах, — где тут было место тому холодному остервенению, переживаемому *им* в процессе работы? Зачем он это все говорил? В *ее* ум не верил. Разве этими уверениями он уничтожил то утверждение о «балагане»? Или он хотел просто хоть как-нибудь, по упорству, «выйти сухим из воды» этого их спора! Но это уже было не умно, прежде всего... Была еще одна возможность объяснения происходящего: что он просто (уже!) просит прощения за озорную нескладичу им сказанного?.. Но за чем идти еще одним поворотом этого мальчишеского упрямства? Это — как если бы *она* дала Морицу маленькую задачку на уравнение с двумя неизвестными и допустила бы возможность, что он с ней не справится. Какая печаль! какая пустота... Неужели он с нею — шутит? Позор...

Он говорил:

— Я люблю красоту. В этом вся моя жизнь. И если *ее*, к сожалению, не бывает на работе, то тогда *это* остается за *ее* пределами, в том — заслуженном после труда — *dolce far niente*¹, которое я, поверьте, люблю и ценю... Но, конечно, с точки зрения увлеченной работы, работы, в которую с головой входил, *это* — «балаган». А вы опять под гипнозом слова хотите меня превратить в робота?

— Пойдите, — сказала Ника, вдохновенно, строго вбросив в свой тон всю страсть вновь увидеть его настоящим, — *начала* вы сказали, что работа для вас — высшее благо, и откуда глядя, интимная жизнь для вас *quantité négligeable*², а теперь выходит... тут же полное противоречие! Отдайте же себе отчет!

¹ Сладостное отдохновение (*ит.*).

² Величина, которой можно пренебречь (*фр.*).

— Н и к а к о г о противоречия! С точки зрения более низменной работы...

— Мориц, но вы же говорили обратное! Вводя противоположное понятие, вы ставите вещь, как думаете,— с головы — на ноги. *Мне* же ясно, что вы ее *сейчас* ставите с ног — на голову, подтасовывая — неосознанно? — понятия... *Нет* низменных работ, ведь так?

— Вы, как всегда, Ника, мыслите формалистически! Вместо того, чтобы уяснить... я отказываюсь говорить даже в таком духе. Это — бесплодный разговор!

Пока он говорил, она слушала с печальной улыбкой: «Неужели человек обречен — на путаницу? Связан! *Такой* человек».

Но когда он договорил последние слова...

— Мориц,— воскликнула она умоляюще (она рисковала на максимальное!).— Вы *умеете* быть героем! Я уверена, я знаю — вам приходилось! О, и придется еще! С этой гидростанцией, с нашей стройкой! Со многими еще! Ведь умеете! До конца! В большом! Так будьте же героем и в маленьком! Сознайтесь! Будьте *честным* сейчас...

Последний, самый крупный золотой был брошен — сейчас будет отыгрыш!.. Но страшная машина рулетки повернулась в роковую сторону — и пожрала золотой.

— Я, может быть, *умею* быть нечестным,— с горечью произнес Мориц,— но я честен! Я постараюсь сказать ясней.

И так велика была в Нике жажда доверия к Морицу, что она, как та рулетка, на миг — заколебалась. Только чтоб он оказался героем... она была готова сжечь свои корабли! Вопреки *всей* психологической очевидности!.. Что делает человек с человеком!.. А может быть, действительно прав Мориц, а Ника со своей прямолинейной логикой была права?..

— Поймите меня! — настойчиво сказал он. — Человек чувствует огромный запас энергии, знаний, умения. Таланта, если хотите. Чем трудней задача, чем ответственней — тем лучше с ней справляться. И вместо затаянного прыжка в неизмеримом воздушном океане — он привязан, в лучшем случае, к тросу парашютной вышки. Привязан. Привязан, потому что он — неудачник.

— Неудачник? — пораженно воскликнула Ника. (— Вы? — она готовилась сказать это одно слово, когда, кидая за собой дверь, вошел Виктор.) Он шагнул к Морицу.

— Пора начинать работу? — полуспросил Мориц и бросил взгляд на часы. — Еще три минуты. Как с той вечерней ведомостью? .

Нет, нет, не так, — что-то еще было! Крокетный шар ее

изумления, вместо того чтобы пролететь в ворота вопроса — столкнулся с другим шаром — с той самой *работой!*

Нет, нет, не так! В приостановке ее слуха что-то было Морицем ей отвечено, неучтенное ее вниманием, неповторимое — навсегда!..

«Феликс» ее стучал в этот день с особенно горячим ожесточением. Она работала с полным самозабвением. Она не ошиблась ни разу. Она подала пересчеты — не опоздав. Она ни разу не обратилась за разъяснением. Ей казалось, что *она* все сама понимает сегодня! Если в срок туннель подаст в водохранилище первую воду — будет и ее волна в воде этой. Может быть, у нее сегодня был — жар? Есть о чем думать! Мориц с температурой работает месяцы! Но когда начался перерыв и все вышли из бюро, точно они только что разговор прервали, обратилась к нему:

— Хотите ли вы сказать, Мориц, простите, что я вас прерываю! — что в вас нет жестокости, нет грубости? Что они — маска?

— Они есть, но они нарочито гипертрофированы.

— А человек, ваша насмешка над человеком на работе? Садизм?

— Что такое садизм? Как вы любите слова, Ника... У *меня* это или грубость врожденная, или — маска. Может быть — обе...

— Хорошо. Вы ответили. Я вас слушаю.

— Что же касается слова «балаган», вас смутившего, я ведь повторил ваше, как-то сказанное. От этого слова я легко могу отказаться.

— Отлично,— сказала Ника с горьким удовольствием,— этот термин тоже сойдет! С чем он только срифмуется, если станет в конце строки?

Мориц не слушал. Он говорил:

— Работа — это широкий концентрический круг. Личное — круг с меньшим диаметром. Центр — общий. Причем эти круги являются величиной переменной... Что есть функция? Функция есть то, что меняется. Диаметр круга — функция интереса и удовлетворенности. Заполнение этого круга пространственно есть некий шар. Он заполнен жизнью. Следовательно, диаметр этого круга определяет широту жизни, вовлеченной в работу. Жизненной потенциальной работы. Это я говорю о большом круге. Что касается маленького — диаметр его тоже переменен. Причем получается интересная вещь: чем шире интерес и удовлетворение, эти аргументы работы,— тем становится шире диаметр большого круга. И если он возрастает в арифметической, скажем, про-

грессии, то диаметр меньшего круга возрастает в прогрессии геометрической. Разница между кругами сокращается, и, может быть, практически и имело место такое положение, когда оба круга сливались. Тогда достигается наибольший потенциал!

Он остановился, ища поворот недосказанного.

— Причем еще интересно, что это вовсе не предопределяется очень большой абсолютной величиной большого и малого круга. В минуты творческого удовлетворения в нем участвовало много элементов его интимного круга. Он их вовлекал. Потому что этот живой в этой грубости полон ее модуляций, разнообразных и гибких, которые не приходят извне волевым, нарочитым образом.

Не надо быть уж очень глубоким психологом, чтобы понять это. Значит, он лгал? Или — давно уж уверил с е б я в этом? Она стеснялась за него (как мать — перед людьми, перед Виктором, добрым парнем, и перед новыми сотрудниками, и перед каждым случайным свидетелем). Больно было и то, что реже всего грубым он был с этой двоницей: с Худым и Толстым, как она прозвала их — они *сами* были грубы, оба. За попытки его эту грубость на работе объяснить «маской» она стеснялась *его*. Все реже и реже она с ним спорила: не хотелось... За все время их совместной работы и жизни — ни одного человеческого слова ободрения и одобрения — в лучшем случае он деликатно о ней *молчал*. Скажи он хоть раз ей: «Слушайте, ну чего вы страдаете? Разве я не рядом с вами, не друг вам?» Он держал ее, может быть, думалось ей, рядом с собой молча, давая волю всем ее подозрениям, из которых одно было, что он держит ее не за достоинства какие-либо ее, а *только* из жалости. С этим — будь оно так — она мириться никак не могла. В первый же день, как ей удалось бы установить, что оно именно так, — она бы оборвала все нити, к нему ведущие. Но он не давал ей ни убедиться в этом, ни это развеять. В унижительном положении чего-то проблематического он давал ей жить рядом с собой и иногда, когда все, уже утомясь, спали, позволял помогать ему в срочной ночной работе. Понять, что она через силу делает это, чтобы спасти его от какой-то дозы переутомления, — мог ли он? Она пробовала спросить его — он уклонился. Выйти же из его жизни вот так, по своему решению — она *себя* не считала вправе: может быть, она все же нужна ему! Если так — дело менялось — можно было вдохнуть воздух глубоко — и жить. Где-то в самой глубине в ней жило странное чувство, что, пока она тут с ним, ничего не случится, ничего рокового.

На Морица нельзя было положиться. Дать он мог в любой

миг больше, чем от него ждешь, но дать от него ожидаемого — он не умел. А жизнь строит ведь второе, *не* первое!.. (Первое — перестраивает.) Это было в нем женской чертой (быть может — от матери). Давать — неожиданно, создавать праздник! Мужской повадки — давать непрерывно, буднично, утверждая *фундамент* жизни, — в нем не было. Странно ведь, мужественный человек! За своих работников бился, как лев: чтоб им все было (материальное). А в душевной области — был женствен... Ему нельзя по-дружески пожаловаться, по-дружески — напомнить. От него нельзя привычно потребовать помощи — а ведь только эта уверенность в непоколебимой помощи человека создает *ритм* жизни. Своей — женской? — страстью к кажущейся независимости, к соблюдению декорума этот человек *разрушал* ритм. Не было в ней покоя, «пребывания» — Парменидовского. Он, должно быть, с детства вошел в Гераклитову знаменитую реку, в вечность Движения и Изменяемости...

Это было в первый раз, что Ника не сказала Морицу чего-то, в ней происходящего! *Если бы он поправил* дело! Сказал бы: «Я — сболтнул, а сейчас злюсь и храбрюсь, упираюсь. Чего вы меня мучаете? Вы же знаете, как тяжело иметь дурной характер! Неужто вы думаете, я не понимаю, то это двояственное толкование слова — лишь бы от него не откатиться! — чушь, недостойная меня? Мальчишеское, неизжитое упрямство — и все!» — она бы уж стояла, мысленно, перед ним на коленях, за этот психологический героизм. Но он сделал обратное: гордец, предпочел гордость маленькую (упрямства!) — Гордости сознаться — Большой. Правда, он не ушел, он не прервал разговора, но почему же не распрямил плеч? Он, до того бравший все барьеры, — этого не взял... Неужели он принял бы, чтобы от любви к нему поглупела, поверив его *словам*, а не духу его и облику, спорившая с тем, что он сказал. Когда она, автор и женщина, бьется в стихах за каждую свежую строчку! И *он* осмелился называть ее формалисткой! Когда это именно *он* упирался за сохранение *слова* (потому что не все ли равно — в обидности «балаган» или...).

Неужели не понял он, что *не за себя* она билась, а за его женщин, за его интимную жизнь, за Ту, которую она приняла в сердце, встретясь на фотографии с ее взглядом? Ведь *на него* был этот взыскующий взгляд устремлен — а он, отодвинув *словом* «работа» всю остальную жизнь, назвал и Ту — «балаганом».

В таком состоянии недоумения она пробродила, полная тайным горем, все свободные часы шедших дней. Но и

силы тайные пробуждались в ней: тетрадь звала ее, утешая...

Они — Мишка и Каштанка — все более расцветали в уже полусобаках, когда, кидая на стол рулон ватмана, Мориц швырнул дверь. И сердито:

— Этот сукин кот, комендант, безо всякого основания — потому что бешеных собак тут нет — велел ловить *всех* собак! Выдумал своей глупой башкой! Делать дураку нечего! — Нике — отрывисто: — Вы, миледи, озаботьтесь охраной псов. Чтоб их не выпускать за ворота. Я вечером принесу из Управления разрешение на *пять* здоровых собак нашей точки.— И он стал раздавать им ватман для чертежей. Будто не понимая, какую бурю он в Нике поднял, он стал объяснять ей расценки. Только уходя, он бросил вполголоса, проходя мимо Никиного стола:

— Не забудьте, что я вам сказал. Понятно?!

Ника кивнула, вертя ручку арифмометра, подсчитывая смету, следила, не проснутся ли псы, выходила во двор прогулять их.

Поздно вечером он принес вожденную бумагу с печатью. Этот Мориц во всякое неверно вертящееся колесо вставит палку... Наотмашь бил, без промаху по каждому, как говорил, — головоотяпству. И здесь, в своем положении, *добивался*: для работы «условий», а сегодня — для псов. А они, видно поняв, что Мориц принес им охрану, в цирковой игре солнечных зайчиков чуть не сбили его — легкого, невысокого — с ног. Отмахиваясь от них, как будто это были мухи, как будто не за них он бился там, в Управлении, почти полчаса.

— Ну, товарищи! — сказал он, кладя на стол сверток синек.— Смета с р о ч н а я! Завтра едут в Свободный. Придется нам сидеть ночь!

Через день:

— Виктор, что делать?— сказала возмущенно Ника, входя в помещение группы.— Шла сейчас по зоне, а комендант этот болванский *гоняет* наших собак! Чем они мешают ему?

— Эпитет, вами ему подаренный, все объясняет. Ему же хочется все *время* власть свою проявлять,— отвечал, отрываясь от чертежа, Виктор,— может быть, его раздражает, что они — веселы и не замечают его?— И с философским спокойствием: — Помочь тут *ничем* нельзя... (и, добро): — Толь-

ко одним: развивать в себе — самообладание... У вас его, Ника, столько по отношению к Морицу, уделите немного — сюда...

Какая это была прекрасная ночь! Мишка с Каштанкой спали в своем углу, на собачьем коврикe, положив крест-накрест головы друг на друга, в бараке включены самые яркие лампочки, почти безостановочно на электроплитке кипит чайник, заварен крепчайший чай. В летнюю ночь распахнуты окна, черная свежесть поглощает сизый папиросный дым.

Все остальные бараки спят, одно бюро живет.

В глубокий ночной час сделали перерыв: еще раз коллективный чай; доели хлеб, бурно, как работали, — отдыхали. Собаки проснулись. Склонив набок голову, черную с желтым, стоит Мишка, подергивая бровями, ждет кусок, — позади — золотая тень. Стесняясь жадности, Каштанка то отводит желтые глаза, то вспыхивает ими, хлопнув зубами воздух, умильно прося. И твякают оба (Мишка — почти грозно), когда люди, жуя, говоря, — забывают о них.

Под утро, когда Ника досчитывала свою часть сметы, рука вдруг уснула на ручке арифмометра и прямо над собой Ника увидела, в миниатюре — шишкинских медведей (Мишку и Каштанку...). Но дисциплина — прежде всего, Ника заставила себя проснуться и стала снова считать. Собаки опять спали.

Ника dokonчила раздел в седьмом часу утра. Обойдя барак, она с торца вошла в женскую комнату. В бараке женщин было мало. Они вставали на работу, подъем уже был. Ника стала ложиться. Сладко спать, выполнив долг. Какая роскошь (и какое же слово «роскошь»! — как морская раковина, шумящая сама о себе, о море — вытянуться засыпающим телом, сознавая, от всего тяжелого на свете уходишь в сон... И какие же сны! Обо всем, что прекрасно на свете, и в такой изумительной путанице, как у Шехерезады — ковры...)

Звуки, запахи, прикосновения... Снятся собаки: возня, голоса, визг, скребки лап о дверь, ухо настораживается, пытаясь победить сон, но в него льется веселый мужской смех. И тотчас рассудок успокаивает было проснувшуюся душу, — смеются, значит, плохого нет... Назад, в тягучий, как восточная фруктовая паста, сладкий, как она, сон...

Мориц снова — в который раз — ввиду ночной срочной работы договорился с вечера с военной охраной, чтоб не будили на поверку — сосчитали с порога, сонных.

Выходной. Проснулись среди дня. *Пропустили* завтрак! Ну, верно, обед скоро... Ника идет широким двором. Чудный

день. Молодые насаждения, белизна баракров. Из дальнего мужского — песнь. Тишина, праздничная... Солнце.

Из-за угла кто-то шел, голоса крепили. Голос Морица казал разительно-ясно — будто отрубил топором ветки с деревьев:

— Утопить в помойной яме, в мешке, пять живых здоровых собак — по его болванскому распоряжению! Не согласовав ни с кем! Самоуправство, достойное царского времени! Что вы тычете мне в глаза комендантом, когда я представил из Управления бумагу за подписью и печатью! Отдал завхозу! Комендант был при этом. Подпись! Печать! Для чего существуют? Беспрецедентное зверство! Пьянствует, скотина...— И, не слушая чьи-то слова: — Собаки были *здоровы!* Об этом сказано в справке...

Слова Морица — правда в ее безвозвратной нежданности, в неправдоподобии, что мы живы, а их — уже нет, шли по Нике огнем позора, что она не знала, не чуяла, что случилось. Не заметила, в усталости утра, праздничного — Мишкиной тишины... Так идет нож по еще живой ране. В отчаянии, с каким, услышав, шла навстречу Морицу, тонули и он, и она. Жизнь была та самая помойка.

— Вы — это *узнали?*— сказала Ника, теряя последнюю соломинку надежды.

— Я спал. Мы все спали. Этот мерзавец воспользовался...

Лицо Морица было еще худее. Шло пятнами. Глаза уклонялись, узкие его, нарочито жесткие, блестящие, непонятные глаза.

— Так я пошел,— сказал шедший с ним, Нике неизвестный. Мориц кивнул, не отвечая. Он, казалось, забыл о нем.

— Прекрасных, к тому же породистых,— сказал он, глядя мимо Ники, и нелепость того, что он говорил (как будто породистость заживо утопленных добавляла к смерти собак!),— показала ей, что и Нику он не замечает — *думает* вслух. Миг — и Ника поняла, что *нелепости* в его словах не было, «породистость» увеличивала вину коменданта — в это он и бил, в отмщение. Тотчас, точно отвечая на ее мысль, он сказал: — Об этом я написал — в донесении,— его рот криво усмехнулся, выговорил это слово.— Кроме наших, еще три штабных — две дворняги и пойнтер. Завязать в мешок и с высоты трех метров...

Многословие Морица лаконично шло в душу ножом. Он опять сделал это движение шеей, точно ему мешал воротничок. По лицу Ники — и она ненавидела себя за это — не удержиимо шли слезы, и рот всхлипывал, попирая волю, стыд, уважение к сдержанности. Ника была бессильна.

Она видела, как летят, грызя друг друга, ужаснувшиеся тьмы и полета собаки: они знали смерть еще до нее! Из ручных счастливых, вмиг одичав, став ничьими зверями. В зловонье, жидкое, пять живых тел, борющиеся в мешке... Еще надеялись? Борясь (друг с другом!) Мишка, самый сильный, Каштанка, самая... Боясь чего-то в себе, Ника было рванулась вбок, прочь — потому, что ее тряс вой... И вдруг встала: глаза Морица были совсем не его. Не отвертывались. Не были узкие. Горели. В них был — Ника вдруг глотнула тот вой, и, размыкая его в слова, неожиданно:

— Мориц,— сказала она,— и зуб о зуб (далее был уже тот скрежет, который есть яд) — это же я виновата! Да. Вы не знаете. Я во сне — слышала... Они царапались о мою дверь! Их ловили... Но *те* — смеялись! Я сквозь сон подумала: люди смеются, *значит* — не убивают! И я уснула, я — успокоилась, а они вырывались, они же знали, надеялись, что я не отдам их, а я...

— Не надо,— сказал Мориц и вдруг положил ей руку на плечо, как старший (а он моложе ее на восемь лет), и по-английски (кто-то шел): — Be quiet! You see, it won't help... You *aren't* in fault, we *all* were too tired after this night-work...¹ Но он мне ответит за это, *не* беспокойтесь! — И глаза его стали узкие, те скифские (стихи Блока) глаза,— я к нему подберу *все* ключи! Он наших собак запомнит!

Кто-то звал его, к ним шли люди. И он пошел навстречу той тине, которая часто зовется жизнью, но он верил, что тина — не есть *жизнь*.

Ника стояла над открытой помойкой, над открытым люком ее дощатого помоста. Там было тихо. Над лагерем плыло серебро облаков, под ними серые, финской стружки крыши белых барачков. Шел, видно, послеобеденный час.

Люк был черен. Нике было трудно от него отойти.

И только в воспоминаниях она топила это горе.

— Что это за крик там?— спросил Виктор, он начинал сдавать в смысле спокойствия своего, будто бы веселого настроения.

— «Воспитатель» орет! — отвечала входившая с зоны заметно побледневшая Ника.— Всех, чтобы шли в агитбригаду, там на спектакле начальство будет! А мне *так* не хочется на спектакль.

¹ Успокойтесь! Это — не поможет... Вы не виноваты, мы все были слишком утомлены после этой ночи работы... (англ.).

— Это вы, Ника, напрасно,— отозвался веселее Виктор,— если будут ставить «Русские люди» Симонова — я готов и во второй раз...

— Голова трещит...

— Ну, это другое дело...

— Да, он орет «стоцентная явка!» Уж, кажется, на самом дне,— и то не оставляют в покое...

Часть IV

ИЗ ЖИЗНИ НИКИ. СМУТА

ГЛАВА I СНОВА ОТРАДНОЕ

Хутор, полуразоренный анархистами, сменявшимися и боровшимися друг с другом, встретил их картиной неожиданной.

Но прежде надо сказать еще одно: в пору жизни у старичка-инженера Ника в часы, когда приходилось быть со всеми вместе, занялась тем, что с детства любила — мастерством рук, из коробочек, мелочей, ножниц и клея — когда-то в отрочестве — она сделала калейдоскоп, камеру-обскуру и лифт, подымавшийся на веревочке. Она выпиливала и переплетничала — в ней пропал мальчик. Теперь она сделала — Андрею, на память об Отрадном и семье всей на удивление — крошечный макетик его узкой комнаты с библиотечной стенкой, окнами в разные стороны сада, с широким диваном, крытым плюшевым пледом, с вазами осенних листьев, художнически в саду собранных, с письменным столом и креслом и — на стене — портретом женщины. Все было в точности воссоздано: книги — из наломанных спичечных коробков, занавес — из тонкого лоскута, плюш — из бархатной ленточки, не были забыты ни два двухсвечных бра, ни книжки, лежащие на столе, ни чернильный прибор. Там, где была дверь, было стекло. Поворачивая крошку-макет у лампы, рождали солнечные лучи то в одно, то в другое окно. Кабинет Андрея ж и л, неистребимо — как в памяти. Он жил всего зиму. В переезде он уместился в ботике. Но когда его вынули (он некоторое время находился в Никиных вещах на Цыганской слободке) — то в горе замерли: изгрызенный мышами, он был в полном разрушении.

Но что случилось с Андреем и Никой, когда, приехав на хутор, они открыли дверь в кабинет, — трудно себе представить: исчезнувшие после борьбы друг с другом, перед отъездом, может быть, подвыпив, анархисты сделали, что кому пришло в голову; — нарвали обоев, оставив висеть клочья на высоте полстены, разбили оконные стекла, выбросили с полок книги на пол, на диван, под стол; разорванные журналы об искусстве

валялись на полу — густо, мешая войти. Изгрызенный мышами в ботике картонный макетик оказался точным предвестием увиденного в комнатах дома. В этом было мрачное волшебство.

Женщины засучив рукава бросились в работу с таким жаром, что к ночи можно было сесть за стол в сколько-то упорядоченном окружении. Андрей с работниками уносил поломанную мебель, гребли мусор лопатами. Обломки, осколки, обрывки материй несли на носилках, везли в тачках. Собаки, узнав хозяев, прыгали вокруг них с радостным лаем. Деревья и те были сожжены, многие. Видно, тех двух рыцарей революции, которые провожали семью в поезд, давно не было здесь: получив приказ двинуть отряд дальше, они еще осенью покинули Отрадное.

Из следующей весны Нике помнится незабываемый миг, когда хирург, знаменитый в Крыму доктор Рыжков, сказал, что операция прошла благополучно. Этот день начал новую жизнь.

Однажды, еще зимой, зайдя в семью внука художника Айвазовского, Ника встретила там учительницу их детей: скромного вида и среднего возраста, лет на восемь-десять старше ее. Некрасивую, длиннолицую, сероглазую. Поговорили. Через несколько дней она зашла к Нике в читальню.

Но это была другая женщина, другой человек: на черном корсаже бледно мерцали хрустальным отблеском пуговицы, похожие на крупные капли росы. Глаза были не серы, а сини. Оживленность, острый, смеющийся ум, привычная грациозная повелительность. Она была ласковая. От розы, приколотой к груди, шел тонкий и сладостный запах. Ничего от учительницы, скромной и незаметной, какой она была в первый раз, — это был другой человек...

Дружеская заинтересованность дрогнула ей навстречу. Но, взяв книгу, она ушла.

Весь день, до закрытия читальни, Ника была под впечатлением встречи. Она не могла его сбросить, рассказала Андрею.

— Если ты хочешь — можно позвать ее в гости, — сказал рассеянно Андрей.

— О, я очень хочу! Но я не сумела тебе рассказать... Что-то удивительное есть в ней! Не встречала такого! Какой-то размах... обаяние!.. И точно она тебя видит насквозь. Она пробыла у меня минут — семь? восемь? десять? Я весь день о ней думаю! Я хочу, чтоб ты ее увидел!

— Ее муж — художник, я встречал его где-то. На д'Артаньяна похож. Ходит с сеттером.

— А, с ирландским! Так это ее муж? Интересно... Я видела его на улице несколько раз. С ним носятся в Наробразе. Кажется, остроумный... Шутник. Школьничает, как мальчик. По-моему, довольно красив! А сеттер еще лучше!

Они пришли охотно и просто — и вечер вышел на славу: стихов, рассказов, а главное, смеху — как в детстве...

Жена относилась к мужу чуть — как к ребенку, с неуловимо-нежным «свысока». Муж и жена — благоговейно, почти как к неоспоримой ценности. И что-то таинственное было в их союзе.

После их ухода долго не спалось, было радостно и взволнованно. Это было первое событие, первое волнение от человека, от новой дружбы, после Глеба. Андрей уснул, а Нике сон не давался. Отчего?

«Она не понравилась Ире, — думала она, глядя в темный потолок, — а Глебу д'Артаньян понравился бы! Увлёкся бы им — как только Глеб умел увлекаться, стилизовать, воссоздавать, пародировать, романтики тут — хоть отбавь!»

С Глебовой смерти прошло — меньше трех месяцев. И как Глеб бы понравился д'Артаньяну... Подружились бы как, веселились бы! («Бы» теперь пойдет во всей жизни, по всему, что ждет впереди!) Дорог станет каждый, кто видел Глеба, — но рассказывать о нем бесполезно, рассказать Глеба — нельзя...

В следующий раз Анна Васильевна — так ее звали — пришла одна. Лунный вечер лег полосами окон на траву, постеленную в стеклянном коридоре, — был канун Троицы. Терпко пахло березками, их вянущие листки трепетали. Шар луны розово плавал в воздухе. Они просидели до свету — и не хотелось расставаться.

Слушали ее волшебный рассказ: она помнила свое прежнее существование. Это было в династии Меровингов, при дворе короля Хильперика. Вы были его жена, Асмаведа. Вы носили длинные косы, перевитые жемчужными нитями. Ника и Андрей слушали завороченные. Такого не было никогда.

«Но пора пробиваться к концу моего рассказа!» — говорила себе Ника, чувствуя, как наплывают на нее воскресенные дни, сминают и уносят ее настоящее, заговорив с ней живым, ее языком... Совсем не того ждала она, сев за тетрадь, — какие-то образы «настоящего, подлинного» хотела она преподать Морицу, разочарованная его рассказами и от них уставшая, огорченная перечнем небольших страстей его — его, которо-

го хотела возвеличить в поэме, которая не родилась, ибо нет поэм, где один герой, а если есть, она не того хотела, жаждала услышать и воплотить что-то по плечу ему — в его прошлом. Но, кроме жены, ни одна с ним рядом не становилась, тщетно он встречал их и ей изменял. Он не понимал того, верил в их бытие, а оно — его не было. И, быть может, надуманно было сие предприятие — подарить ему *свою* жизнь, хоть кусок этой жизни, где были *настоящие* люди! Может быть. Но когда она, разбежавшись, как на норвежских коньках, по льду *своей* жизни, опомнилась — стало ясно, что *ему* оно вовсе не нужно. Нужно *ей* не для нее начатое повествование, поднявшее за ее спиной крылья! Не на них ли ей суждено — отлететь от этого искушенья и испытанья? Не *те* ли люди отзывают ее отсюда? В смятении, не равном ничему, она стояла над раскрытой, полуисписанной тетрадью.

Черная в ней силу, прося еще сил претерпеть, она посидела с пером в руках.

Поздней ночью начала писать продолжение Ника: о человеке, которого полюбила еще, может быть, больше, чем Андрея? которого звали — Анной. Это «О»! Кольцо. (Соломоново? да, и о н о прошло *тоже!* Вытянутое вверх и вниз. Рай и ад, длинным озером окаймившее ее счастье с Андреем, — и уже ничего нельзя было понять...)

Но уже цвел вокруг них — и в них — небывалый Союз Тройственный, неудавшийся ей с Мироновым. Тут он зацвел, никого из них не спрося, сам — для чего? Так спросить было здесь так же странно, как спросить весну: зачем ты пришла?

Трое ждали ежевечерне стука калитки, когда, вслед за тем, будет стук в дверь, двое кинутся отворять, сияя глазами друг в друга, третья — войдет, их осиявая улыбкой. День сброшен — все трудности дня кончены, добыта, сварена, поглощена еда после дня работы, опрокинута вымытая посуда, дотерт высыхающий пол. Двери заперты. Три души сливаются в непонятном союзе, что вливается в час, вечер стал ночью, она говорит:

— Асмаведа! Да, так вас звали. Вы носили косы, темные, перевитые жемчужными нитями... У вас были глаза газели... В том моем воплощении я вас ненавидела, Ника. Так же, как теперь вас люблю. Меня звали — Фредегонда. У меня были волосы цвета огня, рыжая грива. Никто не знал, кто я при дворе короля Хальперика. Теперь это называли бы — авантюристка. Я себя никому не объясняла. Я делала зло.

— Вы были колдунья? — полуутверждением говорит Ника. — Вѣдь вы и сейчас колдунья...

— Волшебница! — поправляет Андрей.

Она взглядывает на него.

— Ника меня лучше понимает, — говорит она с доброй печалью, — волшебницы служат добру. Я — я рвусь к Добру, но какая-то темная, властная сила тянет меня — к Злу...

Она говорит это так, что оно звучит с большой буквы, трагической, неумолимой, ей еще от того ее воплощения, в которое она верит, сужденной... Но ее синие, скорее темно-голубые, прозрачные, длинные — ни у кого таких нет — глаза полны такой мукой, что им обоим ясно, что она Злу не сдается, не сдается, что всем ее существом волшебным Злу объявлена в ней война...

— Мне было одиннадцать лет; но я была совсем взрослая — а с виду еще полурбенок. Я чувствовала в себе мне непонятные силы. И это почувствовал мой отец. Это был человек известный, я не могу назвать его имени. У него были сложные отношения с моей матерью. Моя мать была старшая кружевница при дворе последнего царя. Мой отец не жил с нами. Однажды, когда он пришел к нам, матери не было дома. О чем мы говорили — отец и я, — я не помню. Он потерял от меня голову. Я знала, что это дело моих рук, я все понимала, но вдруг настал миг, когда я испугалась. Я бросилась бежать от него, в комнате был длинный стол, я обегала стол, а отец погнался за мной. Я ощущала в себе тоненькую красную нитку, которую и отец мой ощущал, — все было сильнее нас. Я не знаю, что было бы с нами, — потому что, мне кажется, отец меня ненавидел в эту минуту, — но кто-то пришел, и это нас спасло. И всю жизнь меня качали эти волны. Добро и Зло во мне вели бой...

Ника не отрывала взгляда от говорившей, и взгляд Андрея встречался с ее взглядом, тем удешащая внимание.

Завороженность жила в доме — вошла и в нем поселилась. В ней пропадали все события окружающей их жизни. Муки этой души превышали накал их мук. И как ни жалели они рядом с ними жившую Иру, как ни восхищались ее мужеством в смерти и после смерти Глеба, как ни были к ней близки — им было непонятно упорство ее нелюбви — к Анне, ее жар отрицания ее.

Для Ники в читальне работа над книгами, усталость полуголодного тела, физический труд по дому и уход за Андреем — все отступало, стихало, отодвигалось в нереальность, как только Чудесная Гостья переступала порог. Теперь короткие ночи после ее ухода (чаще всего за ней заходил муж) продолжали ее присутствие — только о ней говорили они, ос-

тавшись вдвоем, ей хотелось служить, ей облегчить судьбу, о расставании с ней, если так поведет жизнь, — замирали сердца. Поверить, что днем она учит детей русскому, арифметике и какому-то языку (в о л ш е б н и ц а), было трудней, чем поверить в те прежние жизни, о которых говорила она...

В какую-то ночь она рассказала им о муже. Она любила его той самой Жалостью с заглавной буквы, которую в Мышкине назвал Рогожин «пуще моей любви». Он был ее сын и друг, ее дитя...

Днем, как всегда на работе, Ника углубилась в труд по каталогизации, когда, подняв голову, увидела, что читальня пуста. В тот же миг кто-то на бегу застучал в створку раскрытой двери:

— Чего сидишь тут?! Беги! Враг в городе, а она в читальне сидит...

Жизнь была не менее фантастична, чем их ночные беседы! Где Сережа? Вскочив, заметалась доисполнить свой долг — закрыть читальню. В руке был тот самый ключ, о котором Глеб бы... (что за странный характер, созерцательно, себе о себе: так боюсь всего, многого! Ожидая, воображая. А вот сейчас — все куда-то бегут, а я совсем прозаична: запираю — и понесу сдать мне вверенный ключ).

Закрыла — а мимо нее с ее сейчас никому не нужной читальней — скачут верхом. Сухой треск перестрелки... Наробраз был рядом. Она вбежала — двери настежь, в ящиках столов — пусто, выдвинуты... н и к о г о!

Она постояла — с ключом в руках. Кому-то не слушающему:

— Все летит, и ты, бедный ключ, летишь вместе со мной...

Тотчас трезво:

— Однако, почему мне ни слова? Могли бы все-таки вспомнить?

Она бежала по улице в детский сад.

Когда встал вопрос о Бузулаке, сын поставил матери ультиматум:

— Если просишь *меня* принять хутор — все передашь мне! Если опять будешь палки в колеса — уеду.

Мать обрадовалась его согласию. Вечером Андрей держал совет с Никой:

— Д'Артаньяна беру — управляющим. Едем туда — все вместе? Я охотно пригласил бы и Иру, но вместе с Анной

они немислимы. И Ира хоть как-то устроена, а Анна с мужем — никак.

— Да... *Театр*, я думаю, сохранится — только назовется иначе — о ней заговорят сразу! Ты ее не видел — на сцене...

Ника ошиблась: театр новой власти в маленьком городке не понадобился, Ире пришлось пережить с дочкой Глеба много тяжелого.

Еще в пору, когда они жили у старичка-инженера с женой-француженкой и ангорским котом, Ника в мальпосте разговорилась со старым педагогом в вицмундире — умником, но маньяком. Сдружились, как бывает в пути. Теперь в его доме поместился центр новой власти. Шли слухи о зверствах над теми, кому не удалось ускользнуть. В полицейском участке поролы шомполами активно служивших в городе. Дошел слух о поимке бывших начальников Ники.

Андрей выехал на хутор вдвоем с д'Артаньяном.

Ника облегченно вздохнула: будь Андрей здесь — ей бы не поступить так! Волнуясь, она пошла к тому, в вицмундире. Он принял ее с изысканной вежливостью. Она отвела ее движеньем руки.

— Я по делу. Живущие у вас, я слышала, начали за городом террор. Начинают и здесь. Завтра будут пороть красных служащих. Фамилии моих начальников — Николаев и Лемкин. Запомните. Их поймали. Я пойду туда, где их *могут* бить, и *если* их будут — я пойду и того же *себе* потребую, я работала там, где они. До свиданья!

Педагог в вицмундире, квартирохозяин властей, целовал ее руку: «Вы — Жанна д'Арк!» Проводил Жанну д'Арк до калитки. На другой день долго бродила по улицам перед участком Ника, прислушиваясь к фамилиям вызываемых. Но человек в вицмундире, видимо, защитил их фамилии — ради фамилии Ники. Их не тронули. Вечером вернулись д'Артаньян и Андрей — веселые, собираясь к отъезду.

(Когда Ника в следующий раз села за свою рукопись, она поняла, что не может вспомнить, куда же они ехали — все вместе в тот ей так памятный день! Выходила нелепость: они ехали — ясно! — из Старого Крыма, где жили, — в Бузулак? Так как же могло статься, что *по* пути они *п р и е х а л и* в Старый Крым — потому что то, что случилось, — случилось в Старом Крыму (звали врача, она бегала на базар — не в степи же!). Но как они могли *заехать по* пути в Старый Крым, где они жили? Посидев недоуменно и не зная ответа, она решила — ну вот, так я и напишу, что *н е п о м н ю*, прошло столько лет! Сколько? Она сосчитала — прошло

семнадцать лет! З а б ы л а... это было честнее, чем лгать и выдумывать. Точка.)

...Арбы движутся по дороге. Ночь. Луна зашла. Этот путь — единственная возможность им поговорить. Андрей введет д'Артаньяна в понятие о его новых обязанностях, очертит круг людей, с которыми придется ему иметь дело: садовник-француз, конюхи, кучера, арендатор фруктового сада Богос, арендатор степи, чабаны, татары-соседи — к утру, когда они приедут, он будет знать все. На задней арбе уложили женщин, едут тихо, пусть спят на мягком душистом сене — намучались с этими сборами! Мальчика мужчины взяли к себе — уже спит, как в гнезде, между ними.

Над рогами волов — звезды.

— Через неделю начнем жатву,— говорит Андрей Павлович.

Огромное небо раскинулось над арбами, то самое, которое на поле сражения видел князь Андрей, Андрей Болконский. Она подумала об этом, что-то подумала Анна, и улыбкой, перебежавшей с губ на губы, поняла, что подумала. (И могли ли — подумать о разном!) Кити и Левин угадывали мелом написанное — начальными буквами — целые длинные фразы — только так естественно! (Как могло быть иначе!) «И как много не знал Толстой»,— подумала Ника, лежа головой на плече Анны, покачиваясь на пружинных слоях сена, блаженно закрыв глаза. Она не смеет шелохнуться, чтоб не спугнуть страшной ей сладости т а к быть счастливой — не с Андреем, т а к понимать сердце рядом — не Андрея... Боится сделать малейшее движение, что-то нарушить в этой — впервые — близости. Так бы ехать, ехать ночи, дни и годы...

— И правда, как многого все-таки не знал Толстой,— говорит задумчиво Анна.

Ника подымает голову:

— Как! Вы — тоже...

— Ну конечно! — улыбается Анна.— Что же особенного? Это всегда так... И это только естественно, когда между людьми такое!..

Легкий незримый озноб бежит по Нике — холодно? Или от страха? Но, уже поняв, Анна укрывает ее, прохладными пальцами коснувшись ее шеи и головы, кладет назад ее голову на свое плечо, но ее глаза успели омыть лицо Ники таким всевидящим взглядом, проникнув собой во всю смуту происходящего, что Ника — ее уже нет, она уж летит, сорвавшись, в страшную глубину, которая топит все и с которой бесполезно бороться — потому, что она сильнее всего, она и есть ты, та ты,

которой ты просто не знала, но это самое сердце души... И не может оторвать взгляд от глаз светлых и темных, длинных, будто очерченных некоей болевой линией горя; будто не падающей, во весь глаз — слезой, синей. Она не знала, что человеческие глаза бывают т а к и е... Что они могут т а к глядеть — так горевать — так ликовать, так просить прощенья — и так п р о щ а т ь с я уже... Что женская ласка может быть так волнующая — и так матерински чиста, голубиным касаньем... И нельзя отвести глаз... Ничего нет! Т о л ь к о это лицо, прекрасней всего, что зналось. Прощающееся. Просящее простить за Зло, причиняемое! Лицо, не требующее ничего — и все-таки просящее пощады — за все, что придет потом!

Если б так умереть сейчас...

— Печальные глаза газели...— шепчет одними губами старшая, глядя ненасытно и скорбно в покорные молчащие глаза. Не молящие ни о чем, с бездонного дна пропасти. Хотящие одного — быть с ней, только с ней на всем свете, забыв все...

(Почему не вспомнит т е п е р ь старшая те косы, перевитые жемчужными нитями своей сказки. Почему не сейчас повторит: «Я погубила вас, Асмаведа! Тогда — ненавистью, теперь — любовью...» Но не будем торопить жизнь!)

— Прекрасные глаза газели...— повторяет она, как начаток песни, сама уж теряя власть,— властно и бережно наклоняется торжествуяще, как к добыче, смотрит в глаза.

Как будто его позвали, Андрей Павлович вдруг соскочил с мажары. Он прыгнул через ее борт — легко, как прыгают с корабля в волны — если пришла пора. Его спутник прыгнул за ним.

Когда татарин остановил волов и соскочившие подошли к своим женщинам, уронив руку в руку старшей подруги, Ника приподнялась на локте. Из глубокого сна она взглянула в глаза Андрею.

За его плечом гасли звезды. Уж зеленел рассвет.

Надо было спешить с поклажей ехать прямой дорогой. Мужчины вскочили в мажару к своим женщинам. Надо было, дав крюку, заехать в маленький татарский городок к татарину-арендатору.

Состоянье Ники можно сравнить — с обмороком. Но при первом движении Андрея сесть рядом с ней она поняла, что она его не оставит. Но ведь и Анну она не отдаст, значит... Значит, жизнь должна будет справиться с ними — верней, она — с ней. Пережив расставанье с подругой, когда Андрей еще был вдали, теперь, когда он был рядом, она дала себе

роскошь любоваться подругой, сознавать себя победителем. Крезом, владельцем двух несметных богатств! Она знала негу смуты: быть счастливой, не называя, не досознывая, жить в двух мирах одновременно, пировать, не страшась. Грех? А кто мог сулить возмездье? Почему она была виновата, что жила в мире, где Добро одному значило Зло другому. *В мире не уживалось* то, что уживается в ней! Будь что будет! Так пойдет она через жизнь, не согнет плеч, смеясь в лицо осуждению! Быть счастливой!

Она будет пировать до конца...

Когда все входили в дом арендатора, отпуская ее от себя, подруга сказала ей:

— Знаете, чего бы мне сейчас хотелось?

Темно-голубые глаза светились как будто бы детским смехом.

— Блюдечко земляники!

— Оно у вас *будет!* — в счастливом задоре крикнул Никин голос, — раньше, чем она поняла слова.

И, повернув с крыльца, она понеслась, как в детстве, ничего ни у кого не спросив. Только опомнясь, она обратилась к идущему с вопросом:

— Где тут базар?

— Базар недалеко, да летким делом — уже разошелся... Прямо — и влево! — отвечал на ходу спрошенный. Но Ника уже бежала вперед.

Улочки, ей незнакомые, были узки, нечисты, кривы и уютны, домики казались — из сказки. Она выбежала на маленькую пустую площадь. Тот человек был прав: никого! Растоптанная солома, обрывки газет, овощные отбросы. Но в конце площади, у пустой палатки, кто-то стоял. Женщина.

С бьющимся сердцем, вся превратясь в одно желание, Ника подбегала к стоявшей. Все ближе. У ног той валялись пустые мешки. Она что-то держала в руке. Она держала блюдце, и в нем что-то красное. Это была земляника.

И веря и не веря глазам, Ника крикнула:

— Есть еще?

— Только немного осталось, — отвечала женщина, — возьмите... Ягода спелая, крупная... Сходит уже!

Ника бежала с блюдцем в руке — покрыв бумажным клочком, — еще быстрее, чем сюда. Разве не чудо? — звенело, мело, ликовало в ней на все голоса! Но кто-то ей отвечал еще веселее, еще лукавей: почему — чудо? Это только естественно, когда между людьми такое, понимание...

Легкой, победной побегой она прыгнула на крыльцо. В передней комнате почему-то окно было закрыто газетой.

Толкнув дверь, она очутилась уже совсем в полутьме. «Не туда вошла? — удивилась она. — Как будто та самая комната...» Она различала кровать, возле которой они на пол сложили вещи, с арбы снятые. Глаза со свету не сразу увидели: на постели лежал Андрей, глаза его были закрыты. Перед ним (до дна изумясь, различила Ника) — на коленях — Анна. Руки, как крылья, обнимали его спящее тело. И тотчас услышала, как кто-то тихо вошел. Обернулась — Ника так и осталась стоять с блюдцем в руке, бумажка с него слетела — но не видела ягоды Анна. Приложив палец к губам, она шепнула тише, чем шепот:

— С ним плохо. Доктор сейчас придет...

И будто всю жизнь ухаживала за лежавшим, в сестринской, в материнской, в женской отваге вновь обняла — широко, бережно, Андрея.

«Уж не мой он», — этим сознанием пронзаясь, Ника ставила блюдце на стол. В с е вдруг поняв!

Входил д'Артаньян с доктором. Им навстречу шла Анна, отвечая на вопросы врача.

— Да, внезапно. Пульс очень слаб — и сильные перебои.

Она помогала доктору, держала голову Андрея, ворот уже был расстегнут. Он не приходил в себя.

— Полный покой... Нет, мы его сейчас *разбудим*, — говорил доктор, — *спать* ему дать нельзя. Сон может при таком состоянии — перейти... Вот так, чтобы выше. Отлично.

Он сделал пациенту инъекцию. Андрей открыл глаза и *увидел* возле себя Анну. Нет, не все поняла Ника. Но ни о чем не справляясь, не обвинив никого — кроме себя, — одно она знала твердо: возмездие. За свое счастье, с Анной. Счастье? Перед этим возмездьем бледнело все.

Г Л А В А 2 Н О В О Е О Т Р А Д Н О Е

В Отрадном — новая жизнь. Новый управляющий весел, добр, шутлив, деятелен. Он постоянно в разъездах — кто бы мог знать, что *художник* может так увлечься хозяйством? Отдыхая и радуясь расцвету хутора, мать Андрея гуляет по аллеям, как гостья, а за ней, веселясь и веселя, ходит Сережа.

«Он такой умный, он все умеет, все понимает, все помнит и так любит животных...» — так о Сереже говорит мать Андрея.

Андрей по-прежнему занимает с Никой ту угловую комнату, где они были так счастливы; он чаще в комнате Анны, или ездят верхом — она прекрасная наездница, ей так идет

амазонка, она в седле, как та, на картине Брюллова, а Нике не нравится верховая езда. Кроме того, Ника ездит в город лечить зубы. Узнав от зубного врача, что ей надо пломбировать четыре верхних зуба — болят, — она поражает врача ответом:

— Нет, не могу. Говорите, неделю жить в городе? Нет, не могу. Я дала слово помогать к празднику Аннинного дня, он через четыре дня. Нет, не могу — о б е щ а л а! А боль мешает мне, у нас будет много гостей. *Рвите*, доктор!

— Рвать *верхние*? Из них два почти передних? Но это безумие! Женщины умоляют лечить совсем уж негодные, — а ваши требуют *маленьких* пломб и будут всю жизнь служить вам...

Она отказывается наотрез. Она настаивает. Он зовет коллегу с соседнего этажа. Вдвоем они убеждают, негодуют, отказываются.

— Ну, я пойду к плохому врачу, к коновалу. Я же сказала вам — я о б е щ а л а! К одиннадцатому я должна быть дома — без боли!

Она идет, пошатываясь, по улице, кокаин — очень приятен, он дает силу, с ним все легче... Она вспоминает эфир, ту подружку... Весело, она рассказывает свое приключение девочке Тане, за которой заехала — пригласить ее в Бузулак. Нет, о нет, Таня не девочка. Год прошел — ей скоро семнадцать, она совершенно прелестна!

— Андрей Павлович залюбуется вами! Так вы окончили институт?

Таня вспыхивает. Она в темно-лиловом, почти до полу, пышном платье, в белой пелерине и рукавчиках — институтская форма. Каштановые волосы косами вокруг головы. Розовая, застенчивая, стройная. Близорукие большие глаза цвета ореха спелого. Алые губы! Год назад Ника не любила ее, а она ненавидела Нику, а теперь — они неразлучны.

День Анны! Ее именины. Назначено грандиозное пиршество — начиная от Коктебеля, огибая все хутора, приглашенные со всей округи — едут к Андрею Павловичу. Ника взяла на себя самое трудоемкое: восемь тортов по восьми рецептам, огромных — чтоб каждый гость отведал от каждого по куску! Девичья — к ее услугам: стирают сахар с желтками, бьют белки, трут масло гигантскими деревянными ложками, сбивают сливки, колют миндаль и свежие грецкие орехи, тонкими кулинарными приспособлениями превращают их в крупу и муку, смотря по рецепту.

Груши «дюшес», персики, абрикосы — все лучшее, что

дает сад,— на украшение вензелей и бордюров — в честь Гости — именинницы. Гости? Скорее, хозяйки! Чистят вишни и сливы, толкут что-то в золотистых ступках. Помогают и гости, строго слушаясь указаний Ники; в облаках ванильных, кофейных запахов, шуруша серебром вокруг шоколадных плиток. И пробуют, пробуют, пробуют...

В доме два музыканта: скрипач-татарин, молодой и красивый, и пианист, немец, старый, как мир. Музыка! Звуки дуэтов полнят дом, поднимают на небеса сад, напоминая имена Паганини и друга Лизы Калитиной, Лемма...

...Надоели Нике причитанья и сетованья о вырванных ее зубах! Зубы! Подумаешь! Вставит! Неужели данное *обещание* — быть на Аннинном пиршестве и *помочь* пиршеству — не дороже каких-то зубов! Еще четверть сотни осталось! Боль — прошла, а что видна дыра почти спереди и, когда сметется, подальше вторая — так «не смотрите, если не нравлюсь! Пожалуйста!».

Готовятся иллюминации и костры. Какие фейерверки Андрей Павлович задумал... Трое художников: сам хозяин, Людвиг и д'Артаньян — собирают в саду особых тонов цветы, листья, ветви — декорировать дом.

Кто здесь из друзей Никиных? Мина Адольфовна, Володя, Таня... Еще в поезде она положила тонкую смуглую ручку на большую мальчикову кисть Ники — и был заключен мир. (Слышала ли Таня об Анне? Кажется, до города дошло...) Уже Нику и Таню зовут неразлучными, хоть часто они ходят вместе с Миной Адольфовной и Володей. Ждут Сузанну, Наташу-поэта и, может быть, Ирину, если отпустят те, у кого живет и учит детей. Муси нет — Муся пропала. Гости едут и едут. Обещал Макс.

На Нике белое платье, почти совсем длинное, у бедер, как носят, перевязанное широкой шелковой лентой, шотландкой — подарок Анны. На ногах сделанные по рисунку Андрея Павловича сандалии. Волосы — темно-золотыми кольцами, надо лбом все ярче и шире делается два года назад появившаяся седая прядь.

Мина Адольфовна глядит на нее и любит и не может понять, что с Никой? Новая в ней, горькая удаля, свобода движений, какая-то смелая грация, а остроумие, ее дар, расцветает необычным узором. «Неужели правда — слух в Феодосии, что Андрей Павлович полюбил эту Анну? — думает Мина Адольфовна. — «Эту сухую жердь с лошадиным лицом, холодную и расчетливую авантюристку?» Как о ней говорят... Нет, быть не может! Разлюбил Нику? Да разве ее можно разлюбить?.. Но отчего же Ника так весела, как никогда увлекает

всех,— на нее глядит даже старший брат Андрея, молчаливый, ко всему равнодушный чудак, курящий трубку, как столетние моряки... И кажется, этот татарин, новатор в национальной музыке? И старичок-пианист как-то особенно церемонно и бережно — это заметили — с ней говорит».

Но праздник почти в разгаре, думать — некогда! Торты удались на славу, поздравляют Анну, золотой лес бокалов — хвалят Нику, а ужин — ужин не описать! Он еще лучше обеда! Из-за цветов не видно гостей.

Ника сидит рядом с Анной — оттого, что Анна так хочет и чтобы видели, что они — в мире, что Анна не хочет ей зла.

Восточная музыка так по-особому томит душу, скрипка играет прекрасно, от вина чуть шумит в голове. Ночь.

Рука в руке выходит Ника с Миной Адольфовной в сад, но в другой руке — ручка Тани, и уже взмывают к дыханию стихи.

Андрей Павлович приглашает гостей на иллюминацию, над листвой — первые звезды, с армана¹ метет золотой дождик полowy, горячая рука Мины сжимает Никину руку, ей так хорошо, так взволнованно сейчас с Никой! Их дружба цветет!

Ночь. Погасли костры, все разбрелись по огромному саду. Гостям стелют постели в отведенных им комнатах, а они четверо вздумали дикую вещь: убежали от всех на арман, взобрались на высокие горы соломы (под луной она вероятного цвета), взявшись за руки — Ника, Таня, Мина, Володя, — танцуют на тугих пружинных волнах высоко над землей, падают, закапывают друг друга, и по этим соломенным улицам ушли прочь от хутора в степь, где только луна их видит и, далеко, чабаны. Привязалась глупая песенка про цыпленка, который «тоже хочет жить», они поют ее хором и соло, говорят вздор, хохочут так, что уж больше нельзя, сейчас что-то внутри лопнет... Падаешь с соломенной высоты — и опять на солому, как в море, и невозможно удержаться. Кругом, как будто все — пьяное, идти нельзя, можно только качаться и танцевать, сама соломенная «земля» пружинит и подкидывает их. Но Мина Адольфовна — чувствует, что веселье Ники — не ее, не легкое! Слишком уж громки фразы, слишком веселье на отчаяние смахивает, слишком она опьяняет всех — мимоходом, помимо желания, слишком хвалит Анну Васильевну. Сейчас луна провалится в купу деревьев — настанет настоящая ночь. Где Андрей Павлович? Почему она не с ним, почему он не с ней, как всегда? Почему он не с ними на этом волшебном армане, как мог он не пойти вместе с ней?! И почему так под-

¹ Ток (крымский диалект).

черкнуто почитателен был с ней весь вечер, глядит на нее лихорадочными глазами, требует от Людвига Никин портрет, и почему — почему — думает Ника.

«Когда же я уеду?» — спрашивала себя Ника. Ей так хочется на свободу, в жизнь беднее, суровой, к каким-то неведомым людям, об которых, об незнание всего, ей забыться.

Уложив Мину Адольфовну и посидев возле засыпающей Тани, вышла одна в сад. Она думала о себе. О том, чтобы понять себя. Отчего она так ни одного слова не спросила Анну о ее отношении к Андрею с той минуты, когда в том городке татарском прилетела на крыльях в дом, победительницей, со сказочной земляницей, на блюде — и стала, как вкопанная, сломав крылья, побежденная, все потеряв. Она не знала ответа. С того прошли недели долгие — ни одного вопроса. Она восхищалась Анной, но уклонялась от общения с ней, отмалчивалась, отступала, стремясь прочь от обоих.

— Помните, вы — *моя*, и я к вам в е р н у с ь, — говорил ей Андрей. — Это наваждение, чума в моей жизни, и я преодолю ее... Я вернусь к тебе! (Это «ты» больно ее ранило... Она отводила глаза.)

Он стоял и смотрел на Нику.

— «Чума», вы сказали? — отозвалось в Нике (это его состояние). — Вы не ошиблись в слове?

Кто-то нажал в дальней гостиной клавиш, где только что снял руки с рояля старичок-музыкант, доиграв «Элегию» Массне.

В десятую долю голоса... как потом пояснила Анна о раздавшемся звуке пения, трепетом прошедшем по дому. Неподлежащее слову был тот звук, не пение, а только касание к пению, поступь тоски, певческой, вдруг прорвавшей запрет. Это рождался голос ее — от стихов и людей ушедшей, в одиночестве нечеловеческом, зверином почти... голос заточенной Психеи, тихий и грозный, в своей еще одной встрече с Прощаньем. Рокот заглушаемой бури. (Горной, тут в степи...) Один только звук, прерванный. Песнь земли о своей обреченности — о — стихающей — тяге в любовь и смерть. Рвущееся назад, в прародительский Хаос, в Эон! ...В десятую долю голоса!.. в доме, где она разбивает две жизни, уносит и третью, оттого, что вспомнила *те* девять десятых... И, вспомнив, — не могла продолжать...

Проходя, она сжала руку Ники и — ее уже не было, шелест платья и чуть стукнула дверь.

— Какой голос, — сказал потрясенный старичок-музыкант, — какой *голос*...

В его голубых детских старческих глазах были слезы.

Андрей стоял в дверях, глядя, где же она, понял — молча, мимо Ники — за ушедшей.

Таня, как мотылек — к лампе, припала к стеклянной двери, она из сада бежала на голос, хоть знала, чей.

Но что-то смогло прорваться ей в душу от ненавистной женщины. Стояла, опершись о косяк, вся вспыхнув в раздавшемся молчании, как веточка, которую надломили.

...Она вышла одна, наконец, в сад, который уж тоже спал, и шла, шла по любимой Андрея и ее аллее, где над стволами чуть колебались вершины, а внизу исчезали кусты роз. Их не было видно, они только пахли, это был запах ее первого лета тут с Андреем... Позади, в окне Анны, был свет. Он был там. Да, он все еще живет в комнате с Никой — для виду. Почти никогда не бывают наедине! Она была теперь, как воздушный шар, у которого отрезали веревку: полет был бесцелен, потому, что он не мог иметь направления, но ощущение свободы, горькой и оглушительной, пронизывало каждый ее миг. Это, искусно скрываемое, шло с ней каким-то анабиозом — а в состоянии этого странного опьянения обвинить было некого: Андрей уже потому не был перед ней виноват, что *не разлюбил* ее, он любил ее *п о п р е ж н е м у*, в этом и была вся трудность! *Если бы* Анна исчезла вдруг, они бы кинулись друг к другу (да и кидались при каждой почти встрече), но Андрея тянуло еще сильнее к Анне (точно в нем было два сердца!). Разве она, Ника, не знала это по любви к Миронову и к Маврикию. Она же все *п о н и м а л а*... Разве она в то утро в татарском доме (где среди ковров на полу для них поставили кровать — и на ней лежал, без сознания, ее друг...) не любила Андрея? Разве она не любила в то утро и Анну, когда они ехали на арбе? *Отчего* он потерял сознание? Она не знала — и никогда не узнает — и не спросит их никогда. Андрей *все* понимал, переживал с чудовищной силой. В горьком своем бессильи он был близок к самоубийству — вот что пугало.

— В мою жизнь вошла болезнь, Ника,— сказал ей Андрей,— это *не жизнь* то, что со мной. Поймите. И она пройдет. И я буду с вами, как раньше — и лучше, потому, что я расту. Я вижу, как я все-таки *мало* ценил вас, я *только* теперь понимаю, какого друга я имею в вас... *Без* вас рядом я бы этого вообще не вынес! Я не забываю вас ни минуту. И это не так,— торопился он,— как я с вами не забывал Елену, как я страстно *жалел* ее, но я рвался от нее на свободу. Тут я все время рвусь к вам — но она меня держит с такой силой... Ника, вам я ничего не могу объяснить тут!

— Я понимаю,— ответила она,— я же сама любила ее, Андрей. Я и *сейчас* люблю ее, стоит ей подойти ко мне, улыб-

нуться, даже просто когда она входит — меня *тянет* к ней, как ни к кому. Она — колдунья. Только то, что я с вами *так* связана, что я навсегда ваша, что это уж никогда и никто изменить не сможет, и то, что я задыхаюсь без вас, что я вообще сейчас *полчеловека* — мне помогает ее забывать. А вас — помнить... И вы не мучайтесь, жалеите ее тоже — ведь она тоже все понимает. *Ей*, вы думаете, легко? Андрей, ей *еще*, может быть, труднее, чем нам, она может назвать себя виноватой и потому, что страдает муж ее, он же не все понимает, Дон Педро, но он же сходит с ума! Значит, не одной ей *так* трудно!.. — Эта мысль придавала сил.

— Ника, если бы мы могли уехать куда-нибудь вдвоем, чтоб *его* не было, но ведь у него нет другой должности, он же *работает* тут... Без него, с вами и с нею, я, может быть, скорее пришел бы в себя!

Она с улыбкой гладит его волосы, золотую густую россыпь, спадавшую косо на лоб. Висок, ухо, крутой чудный затылок, воротник рубашки, воротник френча — все было такое родное, что даже руку отнять нельзя было, не то что душу... («А ведь надо будет отнять...»)

— Аня тоже не хочет, чтобы мы остались вдвоем, — говорит он, не замечая, как меняется лицо Ники при этом, ей незнакомом, уменьшительном имени, новой интимности, вошедшей в его жизнь, — нам *о б о и м* вас не хватает! Она мне сказала, что если кто-то все-таки *должен* уйти, то пусть это будет она, она меня уверяет, что найдет в себе силы и что это лучше даже, потому что не погибнет муж! Но — я не могу!

Он всплескивает (он, такой связанный в *жесте*) — всплескивает сухим рывком двух кистей рук и, сжав ими лоб, глядит ей в глаза — потерянно. (И все-таки — испытующе властно. *Будто* бы господин положения.) Его взгляд на миг становится прежним. Он кладет, как встарь, ей руки на плечи. И гипнотически смотрит ей в самую глубь, там читая.

— Вы *даете* мне слово, что *победите* искушение уехать?! Я могу верить вам? Если я вам не *могу* верить — тогда жизнь уж вообще совсем непонятна, и легче не жить, чем...

— Я вам *даю* слово, — говорит Ника — самозабвенно, — но меня все-таки *так* тянет куда-то, чтобы забыться...

Его сжатая челюсть, чуть слышный ее скрип давали ей силу — надолго. Может быть, на целую ночь, и на день еще... А как они были долги!..

— Вы думаете, я могу вынести мысль, чтоб кто-нибудь вас коснулся? Чтобы вы коснулись — кого-то?

— Не надо, не бредьте, Андрей, я вам друг до конца! —

И она повторила слова, так любимые: — Где ты, Кай, там и я, Кайя... Андрей, идите к Анне, она вышла в розовую аллею, я видела. Не оставляйте ее одну...— Она крепко сжала его руки, поцеловала в лоб: — Будьте радостны! Я *все* вынесу! У вас своего горя хватает... (Почему же у него с ней — мучка? — спросила она себя, — ведь у меня было с ней — счастье...)

Но когда она увидела, что по розовой аллее, над кустами роз, так пахнущими, идут уже *двое*, где она так счастлива была с ним, вся ужасная лирика расставания охватила ее бурей — уже она была по пути к Коктебелю... Где был Макс живой и у м е р ш и й Алеша, и море-море, ужасное, пустое и шумное, море, которое поможет смыть все...

Г Л А В А 3 МЭРИ

В Отрадное в конце праздничных дней приехала подруга Ники — Мэри, недавно на гражданской войне потерявшая мужа. И загостилась у них. Гощение вышло странное — она мечтала больше не выйти из гостеприимных дверей Отрадного, верней, из его сада: чтобы ее похоронили тут.

...Любовь загорелась сразу, да и как могло быть иначе, она же была *подруга* Ники! — с первого взгляда на Андрея, но он любит другую, и Мэри больше не хочет жить! Муж убит, Андрей любит другую... Единственное, что она могла еще делать, это писать стихи и читать их людям, но так как не все знали французский язык (Мэри была француженка, но по семейным причинам училась в Англии — откуда и Мару), она читала стихи Нике, себе, в воздух — Андрей был неотлучно со своей новой подругой, и при той не хотелось читать — Андрею — стихи. Красотой Мэри не обладала, но была своеобразна, неотразима: маленькая, худая, похожая на мальчика, узколицая, со взглядом умным и острым и внезапными приступами смеха, которым она, может быть, лечила свою лирику, несущую ей одно горе. Мэри влюблялась с самого отрочества, может быть, даже с детства, но галльский ее темперамент всегда уверял ее, что это — в первый раз, и разубедить ее было нельзя.

Когда она приехала, Ника была так ею счастлива, что стала в тупик: она еще может быть — отчего-то счастливой? Мэри несла ей воздух их юности и искусства (его, в отрыве от Андрея, так не хватало сейчас), — отдых с Мэри будет все-

го драгоценней! Дни с нею будут набиты стихами — лекарством. Вместо этого Мэри сделала единственное, что никому в этом доме — ни ей самой — не было нужно: при виде Андрея потеряла голову, забыла все прошлое, настоящее, будущее, и, сразу поняв, что происходит в доме, и свою ненужную роль, пришла, минуя сложность Никиных мук, — к главному выяснению, уедет ли он с ней от всех или нет, все-таки с нею, Мэри, которая ведь не может уже теперь быть без него, а если не уедет — чтобы тут умереть от его руки — это будет лучше всего!

Так, вместо отдыха с Мэри, на Нику пала новая забота. Мэри могла утешаться только Никой, только о ее плечо головой, и, неотрывно говоря об Андрее Павловиче, кончала просьбой:

— Ника, он вам поверит! — говорила она, и французское «р» ее дрожало жалобно. — Если он *не может* любить меня, пусть он *х о т ь э т о* для меня сделает! Я хочу умереть именно от *его* руки... Ника, не смейтесь, а постарайтесь *понять!* Я же *п о н и м а ю*, что это звучит смешно, но я же говорю совсем серьезно, я же все равно умру, Ника, вы увидите, но зачем мне самой умирать так глупо и так бесславно, как какая-то отброшенная собачонка, когда я могу получить от *него* смерти! Ника, это будет так правильно, так сладко (это слово выговаривалось «суадко», и в неправильности произношения этих двух букв утверждала себя как-то по-детски вспыхнувшая и заявившая о себе любовь). И пропадала глупость слова «сладко» (должно быть, крившаяся в обыденной букве «л»...).

— Ведь *если* он этого не сделает, я все равно сама это сделаю, я выкраду у него его браунинг, и я уже все знаю... Ника, объясните ему, что Анна — она, может быть, очень хорошая, я же понимаю, умная и, наверное, благородная (и это, конечно, вздор, что говорят, что она *именье* хочет себе, это глупость. Что такое *именье*, по сравнению с Андреем Павловичем? У мужа тоже было *именье*, и было очень приятно, что мы богаты, но я все равно один раз чуть не повесилась, когда он меня ударил... Это — удобно, богатство, но это же не имеет никакого значения! Было *имение*, потом его отняли — это же ничего не меняет в *н у т р и*! А эти женщины, которые тут все ее ненавидят и так про нее говорят, — это значит, что они *сами* так думают, что это очень важно — хутор этот, но это же чепуха!). Анна Васильевна, наверное, лучше их всех, раз он *ее* любит, но вы ему объясните — она же все равно его бросит, потому что у нее есть муж, который ее не бросит... И потом, Ника, я так *ужасно* боюсь, что он их обоих застрелит...

(ее «р» пророкотало, как крошечный выстрел), — и Мэри разразилась слезами.

Ника, удивленная сходством и несходством с собой (сходством в чувствах и несходством в желаниях), тронутая, матерински озабоченная, изучающая то же горе, свое, на другом человеческом материале, — она неотступно была с Мэри, боясь с ее стороны какого-нибудь безумства, которое ей подскажет галльский ее темперамент.

Из всех тех дней не видно было будущего всех там спаявшихся. Последнее было — этот день, синий и жаркий, свистели птицы, Сережа бежал с хлыстиком и смеялся, Андрей уехал по делу в Ортай верхом на своем коне, купленном по выбору Анны, Нике он показался — чужой...

Мэри вышла за ворота проводить в степь Андрея, Ника была одна. Она вышла в сад. Ей навстречу шла Анна, нежно взявшая ее под руку, шли вместе. Старшая гладила голову младшей и была в касании ее рук, длинных и легких, нечеловеческая прохлада — ею она, Фредегонда, в той сказке когда-то губила людей... В тот же вечер Ника устроила Мэри тайное свидание с Андреем (она так просила хоть *раз* побыть с ним наедине, стерегла окно Анниной комнаты, ходила ее «заговаривать» смеясь — термин Мэри).

— Ну, заговорите ее, Ника, вы же для меня! — можете... Ну, расскажите ей — что-нибудь... Я только спрошу его: если он с м о ж е т меня полюбить когда-нибудь (ведь это всегда знаешь, сможешь или нет). И я буду ждать... Ведь она его непременно бросит...

В этих двух настойчивых «р» был легкий радостный ключ заточенья Мэри, которое откроется же когда-нибудь. («А я?» — хотелось спросить Нике.)

После свиданья с Андреем Павловичем Мэри решила уехать назад в Коктебель — к своей матери и маленькому красавцу-сыну (сын был — в погибшего отца).

— Я обещала ему ничего не сделать с собой... это было так трудно! Но он был так ласков, он все так понимает, Ника... Он сказал, что мы не знаем будущего и что там, может быть, и будет все хорошо. Он на меня так смотрел! Разве я могу не верить ему? Я — верю...

Перед отъездом Мэри весь вечер читала всем свои французские стихи — романтические, причудливые, — она ими немало гордилась, их хвалил писатель Франсуа Коппэ, их хотят в Париже издать. Надменность женщины-поэта, знающей

себе цену, неожиданно чередовалась с полудетской интимностью. Этот фейерверк восхитил слушающих. И все это в хрупком теле, в узком личике из-под тяжелых, над плечами обрезанных, спутанных по-мальчишески волос, в девическом голосе, с этим рокочущим «р», в этой своеобразной повадке читать человеку при всех о своей любви к нему — и все-таки читать ему о том, что вся ее жизнь — это странствие стихами по людям, как по небесным светилам, она, с детства, шагала по небесным орбитам от одной путеводной звезды к другой. Где кончится небесное странствие — не знает...

Андрей смотрит на нее из восхищенного и нежного далека — она была будто сестра Ники — и от этой родной ему грации его сейчас отрывала жизнь!

— Скажи Макс, что я непременно приеду, — сказала Ника ей на прощанье, — только его дом и Коктебельская волшебная бухта могут мне немножко помочь...

Мэри не слышала. Она смотрела на Андрея Павловича. Он стоял на фоне окна в профиль. Ее взгляд был потерян в этом окне, как теряется слух — в музыке. Но когда он подошел к ней проститься — в ее глазах, умных и пристальных, слились эти ее — и стихотворные и в жизни — *tendresse et dèdain*¹.

Проводили Мэри. Был лунный вечер, долгий, потом сделалась лунная ночь. Ника ластилась допоздна об укладывании сына, но он давно уж привык засыпать сам, и уснул, наговорив ей полукошачьих вундеркиндовых нежностей. Дом был пуст. Все куда-то ушли.

После Мэри она долго просидела за дневником, возобновленным с начала ее одиноких дней.

Но попалась страница дней после смерти Глеба, когда Андрей боролся с ее горем, клялся ее никогда не оставить, перебарывал в ней ее неудавшийся поединок с судьбой за жизнь Глеба. Она прочла слова Андрея, услышала его интонации. Она просто з а б ы л а Андрея того, настоящего, своего. По-забыла, *какой он* и как все это случилось, что она жила все это время в анестезии — и вот вдруг все, все вспомнила, все осознала!

Она стояла и слушала творившееся в ней сумасшествие, а уж ноги несли ее куда-то вперед, бежать. Она бежала из двери прямо в розовую аллею, душную от запаха вянущих лепестков — заросли роз, перезрелых. Лунные лучи бушевали в деревьях, прыгали в ветре, теплом, высокие вершины, вся аллея качалась, в этом качании потопив луну. Она бежала

¹ Нежность и презренье (высокомерие) (фр.).

через тени стволов, они качались упавшими под ноги деревьями — сейчас сорвешься в глубину! Она прыгала через лунную лестницу, одиночество вокруг нее бушевало каким-то сирокко, ей мерещилось, что это не Отрадное, а хутор отца Глеба, она сейчас повернет налево к дому — и увидит его сестру Марусю (она не знала, что та умерла, как брат, в эпидемию сыпняка в избе, потому что отец не простил ее за связь с семейным соседом и не пустил в родной дом, умерла, поручив трехлетнюю дочку жене своего любовника, — ничего не знала Ника — может быть, узнай она это, она вышла бы из своего горя, чтобы войти в соседнее — и стала бы этим сильна). Но в ее одиночестве этой лунной безлюдной ночью ей казалось, что она совсем больше не может жить... И в этом беге ей было бредовое облегчение — она убегала от себя.

Она бежала, пока не оказалась во внезапно открывшемся поле, над ним стояла луна, и в этой метаморфозе тишины после шума деревьев был какой-то конец всего.

Выбежав на поляну недалеко от могилы Сильвии, она увидела костер. Возле него на земле полулежал Володя и бросал хворост в огонь. Длинная тень увеличивала его и без того большой рост, делала его очертанье — огромным.

— Ника, вы здесь? — сказал за ней голос Тани. — Где же вы были? Я искала вас... мне так жутко одной, такой шум от деревьев...

Ника обернулась:

— Вы не спите? Что с вами, дружок? Где вы были? — она провела рукой по ее волосам.

— Я... Я — я сейчас сказала Андрею Павловичу, что я его презираю! Что он не смеет! Он не имеет права! Что вы лучше их всех, что он...

Но она уже лежала, как упавшая кукла, закатив глаза.

— Господи! Как мы не поддержали ее? Она же очень ушиблась...

Не удавалось прощупать пульс. Володя бегом принес из дому какое-то лекарство, дала Анна, зубы Тани то стучали, то были сжаты, жидкость еле удалось влить. Они до утра проводились, приводя ее в чувство, растирая ступни щетками, кладя мокрое полотенце на грудь. Затем Володя перенес ее в дом.

Солнце вставало легким алым шаром, в утреннем холоде защебетали птицы.

— Если бы вы знали, Ника, что я вчера пережила с мужем!

Он хотел убить меня. Что ж, это была бы кара моя... Но я испугалась — за Андрея, Ника, мой муж — это как *сын* мой! И он был так жалок, и я вспомнила Лялю, умершего ребенка нашего, я не могла его отпустить — так... Я уговорила его, солгала, что у нас *нет* связи, это было чудо, он п о в е р и л невероятному. Я и презирала себя, и уважала. Я должна была обоих — спасти! Но я без сил сегодня, мне кажется — мне сто лет... И как мы будем жить все — непонятно!

Они вышли из дому, чтобы быть вдвоем. А начиналась гроза, тучи низко неслись над деревьями, грохотал гром, ветер мешал идти. Чтобы дышать, они шли, пятясь.

— Ника,— сказала Анна, беря руками ее голову и глядя ей в лицо темно-лучащимися от горя и любованья глазами, как там, на арбе.— Не надо больше ничего, я уже все решила, я вам его отдам! Отдаю! — сказала она гипнотически.— Он уже не мой, ваш! Вы поняли? Я уеду!

Она медленно, как бы кланяясь, поцеловала Никины глаза. Ветер свил их два платья — в одно и, закружив ими их ноги, не давал идти.

Ника дала поцеловать Анне глаза, а уж слезы, покорные закону грозы, падали и из глаз, и из туч.

— Друг мой! — говорила Ника, вытирая мокрое лицо о плечо Анны.— Разве я могу принять эту жертву? Разве я хочу ее? Разве я могу сейчас быть счастлива с ним! И разве мы оба не кинулись за вашей коляской, и вы бы остались... Мы же оба л ю б и м вас! С первого дня, когда вас увидали. Я же вас полюбила еще раньше, чем он! Разве вы это забыли?..

Прижавшись к ней, как дитя, так и пошла младшая, уводящая старшей от хлынувшего дождя.

Молнии освещали все — не как днем, а как будет, может быть, в каком-то огромном космосе, когда от подведенных итогов все цвета перейдут — в свет.

Ника окончила писать «Смуту» и сидела, головой о руки, брошенные на стол.

Затем она передала всю тетрадь — Морицу.

Передавая, думала вслед: «Не поймет! О ее увлечении Анной скажет: «Ненормальность». И — все!»

Мориц читал почти всю ночь. После рабочих часов. Кончил читать в перерыве... Ника следила за ним. Перерыв кончался. Ника была в волнении: Мориц не может же понять —

такое! Она не знала, что он читал почти до утра, дал себе лишь краткий сон. И теперь не мог оторваться.

Победа над его божком — работой — было то, что он, читая про Анну, о том дне с земляницей — опаздывал на работу! (Взглянул на часы — опаздывает? Она следила за ним уголком глаза, торжествуя и радуясь...) Нахмурился, листки в руке дрогнули, но он дочитал. Крупным шагом перешел в комнату и, кладя их на ее стол, бросил вслед только одно взволнованное слово:

— Шедевр!

И пошел, круто шагая, в дверь, по мосткам, в Управление.

СНОВА У МОРИЦА

ГЛАВА I ЖИЗНЬ

После отъезда Евгения Евгеньевича в проектное бюро поселился совсем другой дух: им веет от новых двух сотрудников, толстого техника, и его товарища, но старшего по работе, худого сметчика-инженера. Они прибыли с другим этапом, знали друг друга по воле. Худой кичится своим политехническим образованием, бледен, желчен и зол. В глазах Ники у него противоестественная способность составлять калькуляции — со страстью: в свои двадцать пять лет он — типичный сорокапятителетный клерк (Морицу — неоценимая помощь). Он повелевает толстяком, в работе — бездарным. Они вместе со школьной скамьи. Разговор — о костюмах, о «пупочках» (оба они неженаты). К Нике отношение — свысока, это — не женщина! Ника, тихонько вздыхая, теперь с ними — весь день. Виктор держится от новичков в стороне, беседы их ему не по нутру, но Виктора Мориц часто забирает с собою в Управление, жаль — с ним было бы лучше... Она старается сохранить равновесие, иначе начнется ад. Ей удастся им намекнуть, что их и всего бюро благополучие зависит от Морица, но что он человек больной, с ним не надо за обедом говорить о работе — ни в перерыв, ни после работы — иначе он сляжет. Подкупленные тем, что Ника погладила им привезенное помятым «бельишко», они слушают мирно. Но в тот же день за обедом Худой начинает говорить о водохранилище. Мориц оживляется, его тарелка стоит нетронутой, голоса горячают, его суп остыл.

— Целый день цифры! — раздается громкий голос Ники.— Я, наконец, тоже имею право на отдых за едою, раз мы столуемся вместе! Ведь уговорились...

Миг молчания. Затем, подымая голос, Худой очень просит его оставить в покое. Он ни с кем ни о чем не уговаривался, и не собирается, и просит «никаких замечаний». В голосе — еще вежливая — угроза «или вы хотите, чтоб я»...

— Я хочу того, с чего начала: по современному выражению

«переменим пластинку!» Неужели же мало тем? Сейчас — час отдыха!

Мориц молча стоит в дверях. На губах у Ники странный привкус — соль? мята? Ника напряженно-спокойна: при властном, императивном Морице не будет императивен никто.

— Вы говорите в з д о р! (Худой повышает голос.) И я *требую*, чтобы вы *никогда* не делали мне никаких замечаний! Иначе я наговорю вам *таких* грубостей — предупреждаю!..

(Ох, зачем она начала все это, только лишнее волнение Морицу — ведь он сейчас *вступится*, у нее сердце колотится так, что трудно дышать.) Она инстинктивно поворачивается к Морицу, не зная, прося ли *прощения* за все это или — прося *помощи*, когда раздается ледяной его голос:

— Не пора ли это *прекратить*? Вы *в корне* не правы, Ника. Какое вы имеете право диктовать *нам* темы бесед? Наш товарищ по работе, наш новый сотрудник — совершеннолетний, и может говорить — о чем хочет. С *кем* хочет, когда хочет. Я стою за *полную* свободу! Что это такое?

Ника старалась потом вспомнить, что она чувствовала, встав посреди комнаты: слышала ли она все слова, или она только старалась справиться с выражением своего лица. Что-то кричал Толстый — она не слыхала слов.

Кто-то что-то сказал о чужом монастыре со своим уставом; что в столовой «поела — и» — Худой сделал легонький жест, показывая на дверь. На что последовал вялый ответ Морица, что — столовая, положим, *общая*, но что...

Она деланно-лениво допивала чай (а жидкость в горло шла как-то совсем странно) и, сказав о том, что, конечно, пусть делают кто что хочет, она медленно — показать, что ничего не случилось особенного, направилась в бюро. Там она нарочито долго покопалась в своем столе, переставила пузырьки с цветной тушью (как, кстати, давно она не чертила! При Евгении Евгеньевиче она отдыхала от цифр за любимой чертежной работой!) и отдыхающим, в совершенстве сыгранном спокойствии, шагом вышла в тамбур — и по мосткам, к себе.

Во дворе был ветер. Вкус мяты все еще стоял на губах. Отчего? Она никогда не пила мятных капель. Нет, это не мята, это... Идя, она закрыла глаза, кусочек прошла — как слепая. Она улыбалась. Она думала о Евгении Евгеньевиче. При нем бы... жаль, Виктора нет. Может быть, он... Даже при Жорже этого бы не случилось! Воспитанный...

Что, собственно, случилось? Попробовала она сказать себе, но уж это не вышло: бравировать наедине с собой — не получалось. Случилось — непоправимое: при *Морице* с ней прои-

зошел позор — и он этот позор санкционировал. С какой охотой она теперь — в облегчение себе! глотнула бы его *еще* раз — только чтобы *его*, как Евгения Евгеньевича, как Виктора, *его* бы не оказалось в столовой! Быть побитой чужими людьми на улице — несчастье. Но если при муже, жене, брате — как после этого жить? *Ведь позор перешел на него!..* Только об этом теперь будет думаться и ночью, и завтра, и за работой. И все послезавтра потом... Будь свобода — она бы ушла далеко, легла бы на землю, лежала бы. Были сумерки, холодно. Она вошла в женскую комнату и легла на кровать. Нет, так нельзя будет жить! Надо как-то *помочь* положению... Может быть, он не понял, что с нею? Так дал уйти! А может быть, *так* было всего разумнее? Из-за дипломатии дня! Он так органически не выносит скандалов! Так любит броню! Так вот в *этом бы* и заключалась героика — пойти ва-банк в разнузданье чужих страстей — если друг в беде. Друг? Тут был предел понимания. И вдруг — радость, свобода: никаких уже нет — поэм...

Ее мучила *его* униженность перед вечным обликом достоинства: человеку вспыхнуть, когда *вспыхивается*, реагировать *раньше*, чем себя спросил, надо ли.

Господи! Неужели нельзя заснуть и *заспать* этот день?! Чтобы смолк этот метроном справа-налево, от Добра — к Злу? С ума сойти можно — от четкости 2×2! Простить? Хорошо, прощаю! Но ведь в *глаза-то* глядеть невозможно! Метроном не дает глядеть! Метроном — родной, правильный, он — везде — в музыке, в ритме стиха, в вопросе — в ответе (в вопросе — в молчаньи, и так.) *Не преjdeши!* Так что ж, притворяться, чтоб — легче? Так же правильно притвориться, раз-два! Притвориться? Можно! Для них! Это — можно... Даже совсем их с пути сбить можно — чтобы не поняли, завести в лабиринт. И его? Тут была точка. Неподвижность. Его запутать? Который и так запутался? Его топить вместо того, чтобы звать его за собой по волнам, как делала Фрези Грант в «Бегущей...»? Фрези — с п а с а л а! И ты, до сих пор...

Нет, его — не трогай сейчас. Не являйся ему. (Шлюпки — есть, не потонет.) Дам *ему* пожить — без себя.

Вопрос о другом: *как жить тебе*. П р а з д н и к о ч е л о в е к е к о н ч е н! Не поможет ни щедрость, ни грация. Но ведь *он* несогласен с тобой! Может быть, *тут* надежда? Что *он* сможет переубедить? Как?!

В лампочке дрожат зигзаги раскаленного света. Где-то поют, будто бы по-татарски, — монотонно... Так в Коктебеле напевал татарин, и шел, продавал чадры... Волны у Кара-

дага, и ветер, и юность. Она не знала, что будет сегодняшней день! Но по сердцу блаженно веет бешеный голос Морица, которым он «ставил на место» Матвея, когда тот был груб с нею. А сегодня ей *при* Морице — просто указали на дверь. *Не* фигурально! Нет!!! (Она вскакивает.) — Этого *не* было! Это был *не* Мориц! Морица *не* было! Мориц, с его пресловутой грубостью, с его нравом. «Что, у тебя жар, что ли?» — холодно говорит она. Крепко держит ладонями лоб. Мысль — струится:

— Евгений Евгеньевич *защитил* бы тебя *тоже* — от разума! Как Мориц от разума — не защитил. Хорошо! Но *есть* где-то, что-то, что *не* разумно, чем можно дышать полной грудью? Или его — нет?!

Была ли это слабость? Она не пошла после обеденного перерыва в бюро. В первый раз! Через полчаса пришел Матвей.

— Скажи Морицу, что у меня болит голова. Срочной работы нет? Я простудилась немного. Приму лекарство, к утру пройдет. Ужинать? Нет, не буду. Я, наверное, сейчас лягу спать.

Ника садится на кровать. *Как* устала! Как хорошо, что никого нет! Текут слезы — только бы не допустить рыданий — через стену услышат. А легче бы стало.

— В общем, ад, — говорит в ней тихий правдивый голос. Нет, не ложиться — разнежишься. Слезы надо *душить*. Только не зарыдать, чтобы женщины не услышали. Луна легкая, светлая, всплывает в верхний угол окна. Синее поднялось и стало почти голубое. Неужели — рассвет? Опершись о косяки окна, широко руками:

Ива по небу распластала
Веер сквозной...
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой,—

это когда-то сказала Ахматова. Много стихов есть и песен. Кристаллизация чьей-то, некогда, боли. Может быть, краски Гогена так хороши, потому что он был болен проказой? Есть легенда, что «Полонез» Огинского — название «Прощай, отечество», — дирижирован им впервые на свадебном балу любимой им панны, — и с последним звуком — в себя выстрел. Легенда? Тогда кто-то же ее «выдумал»? Стала — нотами, кровь слилась с типографской краской.

Боже мой!

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est la
Simple et tranquille,

Cette paisible rumeur, la
Vient de la ville...¹

До самого сердца, сердца...

— Мориц! — говорит она, глядя на ветку, качающуюся вокруг луны.

В комнате уж почти светло, синий сумрак.

Когда Ника после обеда вышла из барака, в комнате наступило молчание. Затем Мориц медленно проговорил:

— Конечно, Ника была неправа в своем требовании, но надо, имея дело с людьми, смотреть не как бы отдельные их проявления, а на *мотивы* их поступков. Ника — человек исключительно благожелательный к окружающему. Ко всякому окружающему! Это просто ее природа. Она всегда должна заботиться о ком-нибудь. Я кое-что слышал о ее жизни. Это человек, отдавший — последнее. Мне кажется, никто, из здесь ее знавших, и, более, знавших ее вообще, не сможет указать хоть на один ее поступок, имевший целью повредить кому-нибудь. Я имею о ней сведения, что даже людям, причинившим *вред* ей, она всегда платила добром. Это несовременно, и я даже не придерживаюсь такой малокровной морали, я даже *враг* такой морали, но нельзя же не отдать справедливости человеку...

Он замолчал и затянулся папиросой. Толстяк круглым хитрым птичьим глазом наблюдал за поведением Худого. Тот хотел что-то сказать, но только глотнул, моргнул, ехидно повел в сторону начальника глазком — и воздержался.

Мориц устало пошел лечь. И вдруг раздался никем не ожидаемый голос не примеченного в комнате Матвея:

— Это вы *правильно* про *ее* сказали. Сколько, бывало, поспоришь с ей, и все было, греха таить неча, инный раз бабе и назло что сделаешь. Другая бы тебя — у! Со свету бы сжила. А эта, — Матвей развел в стороны руки, — правильно, добром за зло платит... Я таких даже, можно сказать, не видывал. Сектанты у нас были — ну те — у их, значит, мода такая. Неплохая женщина! — Он вышел, зацепив кочергу, споткнулся через нее, выругался, и его шаг стих в тамбуре.

Слышал ли его слова Мориц, слушал ли: он лежал на кушетке, закинув руки за голову, и глядел в потолок. Стук кочерги вывел его из задумчивости. Он легко, упруго вскочил, пре-

¹ Боже мой, Боже мой, жизнь
Проста и покойна,
Тихий далекий гул
Поднимается от города... (фр.).

одолев инерцию тела, которое уже погружалось в покой.

— Ну-с, пора идти в Управление,— сказал он, хлопнув себя по карману (папиросы, спички, все в порядке).

— Думаете закончить к ночи раздел по пакгаузу,— обратился он к Худому,— отлично! Матвей, сукин ребенок, опять пропал! Шлите мне его, как придет, я с ним передам все материалы.— Он вышел и кинул за собой дверь.

— Опять «срочная»! Как это так?— спросил Толстяк.

— Каждый по-своему с ума сходит,— ответил Худой.

«Мориц, может быть, не понял, что произошло,— допрашивала себя Ника,— но ведь это *то же*, что Наполеону пропустить час боя! Нет, он просто думает так: «Проза прозой, а поэзия — поэзией. В будни надо быть зубастым, а поэзия — для выходных дней!» Нет, это тоже не то, потому что он *сам* один раз оборвал меня, когда я работала в перерыв и спросила его что-то, а он читал книгу. Он оторвался и угрюмо сказал: «Да бросьте вы, работать в часы отдыха! Это совсем не нужно, это — неуменье работать! Тут читаешь такое прекрасное описание, а вам понадобились водопроводные трубы! Будет для них время! Идите гулять — или спать!» Почему же я не могла сказать то же самое? Он не прав, как ни *кинь*... Не бойся он потерять Худого, стань он на мою сторону все-таки... ах, теперь уж все равно! Грубость можно простить, тут дело как раз в обратном: что он мягкостью отдал себя на позор!.. Скучная душа, поступившая «по Евтушевскому», когда *одно* его слово могло насадить рай... Я ходила по облакам, идиотски, а жизнь шла в трех измерениях, и мой романтизм никому не был нужен! Я ему нужна меньше, чем Худой, чем Толстяк. Вся суета этой моей любви — и Поэзия, и Проза — ему просто совсем не нужна!»

На другой день она *вышла* на работу. Но и этот день, очень долгий, прошел. Она стояла в дверях, уходя движением хотящего *в стену* войти: не будь двери, она бы, кажется, вышла бы из комнаты — *так!* движеньем отступанья, уклонения — начисто от разговора! Только что бросив ему краткий упрек, уничтожающим тоном (дрогнула бровь, юмор, сторожил — близко!).

— Мастер ли вы — я не знаю, возможно. Но что вы не knight¹, это я знаю!

Тотчас поняв, о чем она, и вспомнив это слово в ее стихах ему, он пошел в наступленье, не лукавя ни капли: *уничтожающе* встал на самозащиту.

— Вы не правы,— сказал он,— не правы сейчас. И не правы были.

¹ Рыцарь (англ.).

— Я не *хочу* этого слушать! — сказала она очень твердо. — Никто не переубедит меня, при всей моей пресловутой «кротости», я только *так* могу отнестись к факту, что у вас в доме — потому что этот барак тут, в лагере, — это *ваш* дом! — у вас в доме меня *оскорбили*, мне указали на дверь! Вы, *бывший* при этом, — смолчали! Я этого *никогда* не забуду. И *вам* — никогда не прощу.

— Но вы же не знаете, что после вас...

— Я не *хочу* слушать.

— Хорошо! — Он пожал плечами. — Дело ваше!

И так как он замолчал, она повернула ручку двери и вышла.

Мориц прошел к столу и сел за единичные расценки.

...Сколько? Двадцать пять тысяч... триста девяносто один вместе с I-м разделом — тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто девять. Ведомость была кончена. «Недотыкомки» ее усталости чехардились друг через друга. «Не 36 тысяч было, по-настоящему, а 360 тысяч, и не 509, — почему она пишет 509, когда на каретке и до сих пор не сброшено — 599!» (Шушукались в мозгу «недотыкомки» ее усталости — вот потеха — слепая? Она — слепая? Или она — дурочка? Все это — в подсознании, в некоторой тревоге.) Она отложила ведомость и взяла другую. Хоть одна — в порядке.

— Трешку? Тебе — трешку? — говорил чей-то голос в соседней комнате бюро, балагурия. — Все деньги тебе, да деньги, — зачем тебе деньги, когда мы с тобой — сами золото?!

— Вообще люди были раньше не такие, как теперь, — говорит Толстяк Худому, — теперь маленький пацан, два года — ну, три каких-нибудь — а он уже соображает! А раньше люди — просто так были!..

— Каких-нибудь, да? — отвечает себе, мыча, Ника, мгновенно оживая в знакомое вдохновение юмора.

Толстяк кидал костяшки счетов и пел:

— «Целовались — обнимались и смеялись — обнимались...» 3037... 2723... 427 (он играл на счетах, как на рояле; пальцы порхали, как жирные мотыльки), — ну, и начал я ему тут кота гонять, — продолжал он, — гонял, гонял, гонял-гонял, ну, вижу я, парнишка мой совсем скис, ты что же, — говорю, — сукин сын, сам-то билет достал, а меня... Так и не попал... А потом — сам знаешь, так: то одно, то другое... Звала меня туда раз одна пупочка, да я занят был! Ну ее, — вместе с этим ее планетарием...

— А один — не мог! — хохотал приятель.

— Чего это я буду один по планетариям мотаться... Кабы я астроном был!

Ника садилась за свой стол.

Она повернула ручку арифмометра. Она только что дописала в уме утром начатую строфу:

Баланс сведен, предъявлен счет.

Безжалостен анализ.

Дальше застопорилось...

— Что это такое — «лежни»? — спросила она, наклонясь над калькуляцией, которую надо было пересчитать. — И как их брать: тут так — «с подкосами» или...

— Я не знаю, как вам Мориц сказал, — отвечал Худой, сразу уходя в скорлупу, как только дело касалось разъяснения Нике работы («Мне за это денег не платят», — учил он жить Толстяка).

— А мне ничего не сказал, это — в таблице...

— Ну, берите тогда — без подкосов, — из еще вежливой, но жестокой дали сказал голос Худого.

— Лежни без подкосов, — повторила Ника — рассеянно, потому что кто-то подал в мозг слово «банкрот». «Что это? — успела она подумать, и тотчас же забывая обо всем на свете, — кандидат (формально — не первосортный) — в рифмы к первой строке, но явно *сюда* сужденное слово, точно бы «баланс» сам выдвинул себя в кандидаты своего собрата «банкрот». Оставалась пустота между последним словом второй строки «анализ» и последним словом третьей строки — дописать третью строку и родить четвертую!

Едва она успела осознать эту дистанцию и примерить смысл, могший бы улечься в нее — казалось, просто, — рот расцвел словами: «Мой друг! Вы предо мной — банкрот!» Они легли в немую ритмическую дистанцию, слоги успокаивались, отстаивались.

Но палец все водил по таблице, зовя волю понять, что означает графа «без подкосов». Быть может, будь эти два слова *напечатаны* в таблице, Ника бы доделала параграф верно — списав норму и ее, по Евтушевскому, помножив. Но пальцы на миг отвлеклись вместе с мозгом и шепотом — в родившуюся строку, отпустили на именно этот миг было прижатую страницу, не ощутив, когда ее *вновь* прижали, — что это была, иллюстрируя учение Гераклита, уже не та струя (страница) — другая!

«Лежни без подкосов», — сказала она еще раз, пытаясь понять смысл слов, боря всею волею — борющуюся за право родиться, смутную еще четвертую строчку, но мозг вдруг —

отступил в тень: «Я же не знаю, что такое подкосы, потому и не знаю, что значит «без подкосов»,— говорил он,— и потом — я ведь тоже не получил ответа на вопрос, что такое «лежни»...» Она ощущала, что сидит в тине (как существа в патоке из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэррола).

— Это как «без подкосов»,— спросила она громко,— и, смело — это вроде «а вы без какого сиропа сельтерскую хотите — без малинового или без вишневого?» Это профессор Каблуков спросил в буфете фойе смутившуюся студентку. («Я не знаю, что такое «подкос» и что это «лежни». Должно быть, складность первого четверостишия продиктовала — бесстрашие.)

Ее голос был совершенно трезв (именно в эту минуту в ней прорезывалась, как зуб в десне, как луч сквозь тучи, четвертая готовая строка — ее уже *написал* в ней кто-то, она теперь вспоминалась: «А Крезом мне казались...» (стихнув, пробилась-таки!).

Господи! Но *кто же* продумал в мозгу во время ее охоты за лежнями, во время аргументации о них — эту абсолютно оправданную по смыслу, именно ее, необходимую, и как стрела заостренную в рифму в «анализ» — строку?! (о, как надо было *это* рассказать, подарить ему!).

Кто-то обтирал в тамбуре ноги. Дверь скрипнула, широко раскрываясь. Вошел Мориц.

А Крезом мне казались...

Вид у Морица был усталый, легкие темные тени вдоль щек. Глаза — узкие, воспаленные.

— Готово?— спросил он.— За итогами подсчетов приехали...

— У *меня* готово,— скромно — и в этой скромности была развязность,— отвечал Худой.

— А у *вас*? Заканчиваете?

Толстяк кивал, рука летала по счетам.

— Виктор где? Да, а у *вас*? (Мориц стоял возле Никиного стола) Что? Что *такое*?— ахнул он, заглянув в ведомость.— Что? что такое-о-е?! — голосом, в коем было почти отчаяние, крикнул он, не замечая, что кричит.— Сколько? Тридцать шесть тысяч??? Какая-то у *вас* тут чепуха!.. — Вдруг — мирно: — Наврали в знаках; триста шестьдесят тысяч, это — может быть... Проверьте поскорее, пожалуйста,— вежливо сказал он Худому.

«А ведь он очень терпелив иногда»,— думала отвлеченно Ника (она уже почти вся пропала в гавайской гитаре. Репродуктор...) Но, должно быть, одна «недотыкомка» усталости еще замешкалась поблизости, потому что, поддаваясь иску-

шению отнять у Морица гавайское волшебство, она сказала с улыбкой:

— Как Евгений Евгеньевич любит гавайскую гитару...—
И, шагнув к столу сотрудника: — Дайте, я проверю сама!
Но Мориц уже несся к ним:

— *Не вы, а тот, кому я поручил* проверить! А вы кончайте подсчет!

Ника села молча, низко нагнув голову, — *не могу больше!* (последний звук гавайской гитары в ней). Тотчас же, четко — как напечатано в воздухе — четыре строки:

Баланс сведен, предъявлен счет,
Безжалостен анализ
Мой друг, вы предо мной банкрот,
А Крезом мне казались!

Листки стихов Ника положила в перерыв на стол Морицу и из столовой зорко следила, не войдет ли кто-нибудь в бюро. Мориц молча наклонил голову и взял стихи. Ему бросились в глаза строки:

Вдохну — полынь,
Глотну — полынь,
Горечи — полон рот.
Хоть на минуту с сердца схлынь
Польнный водоворот!
Баланс сведен, предъявлен счет,
Безжалостен анализ:
Мой друг, вы предо мной банкрот,
А Крезом мне казались!
Я б за тебя пошла в огонь...
И это зная — что ж?
Ты, Сцевола, м о ю ладонь
Невозмутимо жжешь!

Великое кладбище земли — Искусство, поющее вечную память Жизни!

...Была все это время такая радость: выходя, видеть свет в окнах барака: там жил Мориц — в свете его окна что-то было от *него*. Теперь надо будет не глядеть в эту сторону. Какой сумасшедший бред! Она засыпает, когда Матвей, перед тем как идти за завтраком, затопил печь. Ника только открыла глаза, как перед ней стоит Мориц. Она сидит за рабочим столом. Мориц сыплет ей на ведомость сушеный шиповник: «У вас цинга, пейте его настойку! Я нарочно для вас достал». Ника хочет сказать, что у нее не цинга, а очень болит сердце. Но не может раскрыть рот. Она онемела! Но Мориц, точно ему ее слов не надо, отвечает: «Тут надо сердечное, а у меня только сульфуродатум...— И перебирает

рукой шиповник.— Я не смогу больше читать вслух стихов...» Но из-под шиповника всплывает в ее зрение — точно бы отражение в зеркале — лицо Морица. Какое это лицо! Чудное, нежное, просветленное. «Я буду читать вам стихи,— говорит он,— я вчера ночью, после того как вы не захотели со мной говорить, написал главу для вашей поэмы. С юности не писал стихов!..»

«Я знала, что вы поэт!» — кричит Ника.

«Вот видите...» — Мориц смотрит на нее немного насмешливо, но это только, чтобы только позволить глазам на нее смотреть. Так нежно, наверно, смотрели друг на друга люди в первые дни мира, когда все было для людей в первый раз... Она просыпается, видя это лицо совсем ясно. В комнате лучи солнца. Рано! Она спала как будто полчаса? И она мучалась вчера всю ночь? Из-за какого-то глупого вздора? Разве не сущность человека она сейчас увидела во сне? Оно было — это лицо, только что сейчас было, оно еще есть, глаза еще улыбаются... разве это был — сон?! Она встает бодрая и счастливая. Вчерашнее — как рукой! На дворе, на самой верхней ветке птица. Ветер рвет платье, волосы, гонит тучи. Такое утро было раз в Генуе, в ее пять лет... В гостинице пахло томатовым соусом, гремел маленький бродячий оркестр под окном — трое, им кидали монеты, в лиловое небо взлетал фонтан. Ника в первый раз видела «жалюзи»: все в дырках, зеленые, через них лучики света. Итальянская горничная была худая и черная и говорила непонятно, как птица. А над памятником Гарибальди стояло такое облако, как сейчас стоит над горой. Как заливается птица!.. И ослики были в Италии почему-то в лентах. А леденцы звались Чапелетти... Такая маленькая птица, так заливается!

Немо, как во сне Морицу, Ника говорит птице: «Ты умнее меня».

— О чем я так мучалась? Не понимаю... — обвинений — Вавилонские башни! — сказала себе Ника. — Просто Мориц так же трезв иногда, как я, и все хочет наперекор всему. А потом фантастичен, открыт, возволнован — тогда я нужна ему. А когда опять *то* — он не понимает — зачем я ему. Где его вина тут? Я, по крайней мере, не могу обвинить его. Но почему так поздно всегда — все постигаешь?!..

Мориц идет с начальником по объектам. Такой ветер!.. Ох, чтоб надел шарф — непременно! Наденет! Он же обещал, что будет избегать — всего, что грозит здоровью! Он дал ей слово (она сказала «во имя семьи!..»).

Она вбегает в тамбур, куда только что вышел — стоит Мориц.

— Холодно, непременно возьмите шарф!

— И не подумай! (грубым голосом, в нем клекот индейского петуха).— Мориц намыливает уши и шею.

Все ухнуло. Жизнь стала узенькая — как перешеечек печочных часов.

— Мориц,— сказала Ника, бессильная перед этой стеной непонимания,— я вас прошу это сделать! Вам невозможно с вашим горлом, больным, без шарфа!

— Н-ну... Вы — знаете... (в жесте, с каким он обертывается, брызнув водой с голых до локтя рук, было крайнее нетерпение к неуместности ее слов).

Но, еще витая где-то, она не сдавалась:

— На такой ветер, у вас без шарфа — открыто горло! Вы сляжете... (громко, точно глухому). Для тbc — самое дурное время! Мокрый, ледяной ветер...

— Н-ну... знаете...— и, так как она продолжала,— предостерегающе, за нее стесняясь: — *Я вас прошу*. Мне это, наконец, надоело!..

Они говорили дуэтом, и он, через свои слова, слышал ее почти слезное — и это было ему глубоко отвратительно — «Но вы же мне обещали...». Он шире расставил ноги, стал к ней спиной, наклонил под струю умывальника шею. Она ничего не видела от слез и шла не в дом, а, толкнувшись об дверь, только чтобы скорее уйти — к себе, огибая барак. На ветке сидела, на самом верху, глупая птица. Как глупо, что трудно дышать!

Ясно, все ясно — ну, и решено, и *кончено*... Есть же предел! *Так* не говорят с человеком, которого уважают... говорит она себе в огненное нутро страдания, если *опять* размякнешь... Ради *всего* прошлого своего! Ради тех, что — любили — чтили. Ради всех поэтов и всех женщин, кого-то любивших... Твердо? Ну, по рукам!

Стук в дверь. Матвей: всех в контору!

— Скажи, сейчас иду.

Тропинкой, сырой. У конторы — шум страшный. Все кричат. Кто звал? Она не может добиться. Ее окликают Толстяк.

— Почему вы здесь?— говорит он.— И вас звали?

— «Почему», «почему»! — кричит он.— Я им теперь работаю! — а потом сокращать! Я до ареста в Семипалатинске... (по негодованию пресекает было начавшуюся похвальбу).

— «Сокращение», хорошо! Но почему меня? — кричит он. Раз! — и он, не замечая того, как многие счетные работницы, привычно делает — в воздухе — движение положить что-то на счеты, только костяшка не щелкает, вхолостую. — Морица нет. — Два! (вторая костяшка, воздушная). — Без начальника — его штат сокращают! Черт знает, что делается... Угоняют! И вас, и меня! Идемте в бюро, — говорит он обычным голосом, — народу тут... Не добьешься толку!

Она молча поворачивает за ним. Чудный солнечный день.

— Мы оба с вами уже вычеркнуты. Приказ! Вы с Морицем дружите, — говорит он ей тише, — может быть, как-нибудь он вас — меня заодно... оставит! Поняли? Вот сволочи... — вновь петушится Толстяк.

— Когда придет Мориц?

Никую трясет дрожь.

Они сиротливо садятся за свои столы. Почему-то ни Худого нет, ни Виктора. И в конторе их не видать.

Так как Ника вышла зачем-то в тамбур, ей вслед:

— Дура! Интеллигентка! Не поняла, что я ей... а ну ее к шуту! Да меня и без нее Мориц не пустит! Куда ему без меня?

На часах десять. На часах одиннадцать. На часах двенадцать. На часах — час. Два, три... Нике за эти часы, — годы. Много раз она душевно расставалась с Морицем — и много раз оставалась с ним. Она говорила ему все, чего нельзя говорить, она брала слова назад и говорила другие. Сейчас она так поглощена, так измучена вопросом своей переброски.

— Не дура, а формальная идиотка! — говорит себе Толстяк, проходя. Но какое-то неудовлетворение ощущается в этих словах, что-то не то сказал, не так говорят! С детства было так с ним — подражая старшим, упускал что-то немножечко! И оно мучало его — как когда вспоминаешь, не ухватить за хвост! В другое время он бы плюнул на это, сейчас — не мог. Вынужденное безделье совало его в эту тоску, ее умножая.

— Не дураки, а формальные идиоты! — сказал он тоже вслух, во множественном числе, проходя мимо Ники — в какой-то неясной, слабой надежде.

— Кто форменные идиоты? — спросила Ника рассеянно, отрываясь от нормативника.

— Во, во! Форменные, я вам говорю, — возликовал Толстяк, как ребенок, и в этом маленьком, но невероятном, нежданном спасительном чуде, что она, не слыша его ошибки, произнесла слово — как его все говорят, — он всем своим ленивым существом, больше всего ненавидевшим перемены, понял, что все хорошо будет! Уладится! Раз такое случилось, в пер-

вый раз за всю жизнь — что его мучения — прекратились.

— На то она и интеллигентка... — сказал себе, и вновь проходя мимо Ники: — Не переживайте! И — бросьте работу. Мориц — *уладит*, я вам говорю!

Она кивает ему, но работает и работает. Может быть, это — последняя ласка Морицу...

Заплывают глаза. Капает на цифры. Цифры — Морицевы! Она бережно вытирает бумагу. Ее жизнь обрезана как ножом. Четыре часа, пять часов, шесть часов. Солнце заходит. Когда стемнело — она так измучена, что не может понять, что она скажет Морицу?

...То простое, чего ждем, чего не можем дожидаться, — невероятно в момент появления. Отняв нацело силы, оно взамен подает себя почти как фантазмагорию.

Мориц входит, как всегда, бодро, широко распахнув дверь. (Знает или не знает? ...Он проходит туда, где сидят Толстяк и Виктор, с порога сообщая последние новости.)

Ника затаила дыхание. Его перебивают, рассказывают.

— Да, — говорит он, — я слышал. Думаю, что уладится. Сокращение идет по линии... А, Матвей, холодной водички! Пить хочется! Вообразите, уже пыль кое-где! Совсем сухо. Насчет бюро я имею кое-какие виды. Попытаемся отстоять...

Ника сидит, ослабев от горя и счастья — сразу. Как будто много выпила вина! Все, что еще живое в ней, сжалось в ком восхищенья перед человеком. А она-то думала, допускала — что он так легко отдает «своих людей»! «Своих»! Она — *его* человек?..

Входит прораб. Он за Морицем. Что-то случилось. Мориц проходит по комнате быстро, однако бросив в ее сторону зоркий, мгновенно что-то ухвативший, взгляд.

Восемь часов, девять часов, все-таки — десять. Он входит, усталый. Лицо в резких тенях.

— Авария! Обвиняют *не* того, чья вина! Частично только — пока! — *удалось* защитить невинного... Сук-кины дети! Главный бой завтра... Ну, я докажу им, кто виноват! — Вы — шутите! — кричит он, обращаясь ко всем, ни к кому, к кому-то, с кем прерван его разговор. — Человека бы в два счета — уничтожили! *Лгут*, сук-кины дети! В глаза! Ну, не на такого напали! Сами, понимаете, творят беззакония, предупреждал, доработались!.. Устал — смертельно! Выпить что-нибудь — чай, кофе — есть?

Ника вскакивает — нести еду, когда входит помначальника пожарной охраны.

— Я составлю *акт*, — говорит он повышенным тоном. — Вы что думаете? Акт о состоянии печей в вашем бараке! И пе-

чи я запечатаю! Печь не в порядке, а вы — как вечер, так топить ее? — И он еще повышает голос.

Матвей стоит, растерянно переводя глаза с пожарника — на Морица.

— А кто не прислал печника трубу починить, печь проверить? — кричит Мориц — он стоит маленький, перед высоким пожарником — но это Давид перед Голиафом, — вы на своих печников акт составьте! *Вы* за своих мастеров отвечаете! Сукины дети что-то привязывают проволоками — им *показываешь*, тычешь их *носом* — хоть бы один кирпич тронули, тунядцы! Я на *вас* подам начальнику охраны! Через час вас к нему вызовут! И печи вы не закроете...

Мориц пулей вылетает в ночь.

— Поесть не дали! — (сокрушенно, Матвей, было испугавшийся насчет печи, — радешенек) — Небось не закроют! — говорит он вслед вместе с Морицем исчезнувшему пожарнику. — Ну и молодец он у нас! Я таких и не видывал!..

Мориц возвращается через час.

— Пришел, а главный их спит, зараза! Ну, я ему кота погонял! Печь *не* запечатают, только сегодня — ветер! — просят печь не топить... С утра пришет печника.

Он садится за стол, но от усталости уже и чаю не хочет. В нервном подъеме он рассказывает, как представитель не согласался на условия, какой был скандал — но все-таки удалось все уладить. «Не уступил ни одного пункта, чего ради?! Подписали как миленькие!»

Затем он поворачивается к Толстяку:

— А *наше* дело, надеюсь, устроится. У меня есть одна идея — давно уж она созревала — переформировка бюро с расширением штата. Удочку я в Управлении закинул, обещали меня поддержать! Иначе мы задохнемся от объема работ. Хоть еще одну единицу — сметчика!

...Скоро полночь. Ника сидит за столом. Мориц садится напротив, за бывшим столом Евгения Евгеньевича. Яркий свет. Ника кончает проверку ведомости по пакгаузу.

— Вы что-то хотели сказать мне? — мягко говорит Мориц. — Вы все тут без меня переволновались. Напрасно! Это есть такая манера — пускать слух о еще нерешенном и всех всполошить... я, конечно, не могу *обещать*, потому что я не на все сто процентов уверен, но я *почти совсем убежден*, что мне все это удастся уладить. Правда, *может* случиться, что между расформированием *этого* штата — если оно будет! — и утверждением *нового* штата будет маленький промежуток, но тогда *временно* вас переведут...

— ...*Далеко?!*

— Не далеко! — восклицает невинно Мориц. Ника печально улыбается, как старшая.

— Я совсем мертвая, — говорит она, — или, верней, как пьяная... я так, так устала! Только потому, что вы — здесь, мне не страшно. Когда вас нет — я сразу забываю, какой вы... Когда я вас вижу — я не верю, что есть что-нибудь, чего вы не сможете сделать! Вы как капитан из «Тайфуна». Как Кройзинг! Вы помните — «Испытание под Верденом»?

— «Воспитание», Ника, — добро поправляет ее собеседник.

Он улыбнулся. Он чертит карандашом по столу.

— Все устроится, увидите...

Он встает.

— А теперь я должен идти разбирать дальше это дело с аварией...

Она осталась в бюро одна.

Это давно шло об руку с Морицем — и подавить его было нельзя — презрение к непригодности, к отсутствию потенциала жизненного престижа.

Никин романтизм раздражал своей беспомощностью, хотя и вызывал — в отдельных случаях — уважение бескомпромиссностью. Кидаясь от одного заработка — к другому, она сумела до зрелых лет не выбрать окончательную специальность. Зная несколько языков, качалась между преподавательской деятельностью — и переводами.

На другой день к обеду Мориц не входит — вбегает. На нем лица нет. Он швыряет портфель. Кричит:

— Сокращают бюро, где пять человек и столько работы — и не трогают финчасть! где — «мертвые души»! А ценных людей — в этап?!

Он вдруг смолкает, споткнувшись о Никино выражение лица.

— Я им прямо сказал! Подаю в Управление рапорт! На них, поименно!

Ужас, охвативший Нику — на мгновение, но нацело переходит с размаху в то, что зовется — «счастьем»: во взгляде Морица она прочитала подлинное волнение, что ее (ведь не за Толстяка он «переживает»!) сократят.

Мориц не обедает, не слушает зов Матвея. Он уходит и приходит с людьми в Управление на экстренное совещание. Он

возвращается вечером и входит, смеясь. Кидает пальто и на него мальчишеским жестом — кепи.

— Сук-кины дети, сволочи! — говорит он без запятой. — Дело дошло до начальника Управления. Фонды сметного бюро — поднялись!

Мориц подбирает со скамейки кота Синьора и, глядя его черный блеск на синем френче, скрипичным движением аккомпанируя себе, продолжает:

— Температура в Управлении — повысилась! На сегодня — штат группы остается в силе! Подписал начальник и пом. начальника Управления! Назавтра начинаю расширять штат! Хватит ночами сидеть: требую сметчика и двух чертежников! Чай есть? Голова трещит...

Чайник дрожит в руке Ники.

— Капитан из «Тайфуна», — говорит она себе немо, не подымая глаз.

Вечером, зайдя в барак, где было сто женщин, Ника, в уголке, рядом с красивой и умной уголовницей, слушала ее рассказ:

— Увел он меня от мужа моего — понимаете? Увел!

Ника рвется сказать, что женщина — не овца, что ее нельзя «увести», — но, глядя в жесткие черты соседки, понимает, что спорить с ней — не поможет: уверена в своей правоте! Решает молча глотать всю эту несурезицу и неправду. Слушает.

— И два года я с ним жила. А потом — загулял. Загулял, понимаете? Меня от мужа увел, а сам... меня!

— Вы любили его? — втискивает Ника свое — в ей чужое. Чтобы понять!

— Мужика любить? А за что? За то, что гулять пустился? Бабу его я видела — ничего себе, из себя подходящая. Он и вещи забрал, к ней перебрался. И квартиру, говорит, с тобой разменяем, двухкомнатная у нас с ним была. Во мне все кипит, ну, ничего, сдержала себя. Говорю: «Перебирайся к ней! Мне твоего ничего не надо. Забирай все! Только вечером зайти ко мне, попрощаться. Раз уж так нам с тобой не пожилось — хоть по-человечески попрощаться! Ужин сготовлю — в последний раз...» Подивился он, обрадовался: «Добрая ты, я всегда знал!» Приходит. У меня стол накрыт, вино, угощение, чин чином. «Ну, говорю, коль не судьба нам с тобою, — выпьем за нашу любовь!.. И стакан поднимаю. И он — свой. «Чокаемся?» — это я ему. В левой руке — стакан. Он как взглянул на меня — я из правой — заготовила — полную горсть стекла набитого — раз ему в его бесстыжие... Как закричал, стакан

уронил, обоими кулаками глаза зачесал — ну и втер... «Вот, — говорю, — тебе на прощанье...» И ослеп. Ну, а баба его — донесла на меня. Срок дали, три года. Как освободилась — поехала я в город ихний. Хожу мимо дома их взад и вперед. Вижу — идет; девочка махонькая водит его гулять за руку. Так во мне все забилося — вспомнила, как он меня от мужа увел! Иду мимо него, и что-то сказала. *Голос* узнал! Аж задрожал — а мне только и надо было, у в и д е т ь! И как она, сука, узнала, где я у людей ночевала? Арестовали меня, как без прописки, и судили, пять лет. Вот я у вас оказалась. Ничего, срок закончу, съезжу к ним, попляшу на ее могиле — и назад, с большим сроком, в лагерь, в родной дом...

Ника слушает во весь слух, силясь понять. В другие дни такая красивая, милая в обхождении, обаятельная... Дивится Ника силе характера, злобе, смотрит во все глаза...

Как найти слова, чтобы ее поколебать в этом решении? Пусть бы свою жизнь пожалела... Но Ника не первый год в лагере, и от мужиков такие слова слыхала... Не примет обратных слов! Простилась с красавицей, не сумела помочь. Другой мир!..

А через несколько дней переброска?.. В пересыльной тюрьме — все с большими сроками...

Женщина, очень старая, с благообразным лицом, жесты — прямо в Малом театре, классика! Ника села рядом на нары, слушает.

— Как забрали меня, за неделю — сто лет стукнуло, на суду не была. Монастырь-то наш разогнали. Тройка судила. Десять лет дали, как всем! Я уж на *тот свет* собиралась... — (руки вверх подняла монахиня) — но уж коли правительство! — (руки в стороны) — приказало! — п р и д е т с я жить! — (руки развела, уронила их).

«Нет, пожалуй, и МХАТ бы такую — не сыграл! — В восхищении думает Ника, не отрывая глаз от лица столетней. — Какая ирония! Живут же на свете — такие...»

— Маруся, — спросила Ника красивую молодую женщину, из урок — просто грезовская головка! — ты твою 36-ю¹ получила зря, тоже, как мы, — 58-ю².

— Чего — зря! — отвечает Маруся. — Как схватила топор, как дала ему по башке — так и запрыгала голова по ступенькам... — Маруся знает, что лжет, Ника понимает, что не так легко снести с плеч голову, но ей жалко Марусю и за ложь, и за убийство... Вдох: — Да, должно быть — не зря...

¹ 36-я статья УК — «убийство».

² 58-я статья УК — «контрреволюция».

Часть VI

ПОВЕСТИ ИЗ ЖИЗНИ НИКИ. СВОБОДА

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста...

А. Блок

ГЛАВА I ЯГЬЯ ЭФЕНДИ

(Начало сказки о нем)

Снова Отрадное... Из низкой двери маленькой теплицы, выбрав дыню, с ней под мышкой, со скрипкой и смычком в руках, высокий и как-то не по-мужски, а по-детски сложенный, желто-смуглый и черный, в низкой барашковой шапочке, сияя навстречу смеющимся черными глазками, выходит человек. Он — смотрит — молчит — улыбается.

В эту минуту, как нагретая стеклянная трубка, перегибается под углом ее жизнь.

Оно вошло не страстью, конечно, и не любовью, ясно — чем-то гораздо более веселым и детским, без имени. Скрипач был совсем как дитя. Он любил больше всего свою скрипку и бился над вопросом старой и новой музыки. Его душа была неуловима, потому что заключена в его скрипке. Она пела из скрипки, и пела такое свое, простое и ни на кого не похожее, в ней отдыхалось от всех других душ, сложных, перепутанных, трудных,— и эта душа пела о детстве маленького татарского Паганини, у кого, обратно жизни того, слепцы-родные о т н и м а л и скрипку, чтобы он был обычным татаринном-хуторянином, женился бы на татарочке и имел бы много маленьких татарчат. Ягья не хотел татарчат! Он не хотел — совсем не хотел жениться, он сам еще был так недавно! мальчиком-татарчонком, с шести лет начавшим играть. Но этого не хотели родные. Ни мать, ни отец, ни братья, ни сестры, ни дед, ни даже бабушка, добрая бабушка... Но один дядя, хитрый и толстый Курты, прищурился, стал слушать игру мальчика — и вдруг стал ему другом и купил ему хорошую скрипку, и стал увозить к себе — и у Ягьи стала новая жизнь... С победами, с радостями, с гармонией и мелодией, с контрапунктом, с прошлым татарской музыки, с будущим Ягьи. Но ему нужно опору! Может быть, он найдет где-то в большом мире — род-

ную крепкую душу. Но он не знает людей, он так мало их видел, у него, кроме дяди Курты, не было друга, он еще никогда не полюбил даже ни одну девушку, девушки не понимают музыки, они могут только под музыку танцевать, и то не всегда в ритм! Он сделает революцию в музыке! (Как Мориц — на земном шаре... — с улыбкой пишет Ника на углу страницы, ее перечтя.)

Ягья опрокидывает старые каноны и создает новые, он победит или умрет, и ему ничего не надо, только «родная душа»!

В этот величавый и жалобный бред, в его — как он играет ее! — Хайтарму — Ника вступает твердым и радостным шагом и пылким (оно еще живо?) сердцем. Они уже неразлучны.

Улыбается матерински Анна. Пристально смотрит Андрей, чуть сузив глаза, потом закидывает знакомым движением голову, схватясь ладонью за лоб, и такое опьянение горечью в его сжатой челюсти, в на миг закрытых глазах...

Но уже Ника в другом кругу, в огромном кругу свободы, куда он ей открыл дверь... Она там *нужна*! Нота откликнулась камертону... Выпустили птицу — летит...

Еще только Ягья увидел, как она хороша, еще только *начали* его чаровать ее речи, а уж Ника видит, как в глухой татарской деревне она с ним в сакле, объясняя его сумасшедшим родным, что играть на скрипке — не грех, что грех — не играть на скрипке с таким даром, Аллахом данным, как у Ягьи!

А затем вместе, всем домом, сев на мажаре, провалившись в свежее сено, едут они по всем хуторам окрестности (это уже не во сне — наяву... И скрипка и смычок — с ними!). Анне захотелось узнать окрестных людей. Андрей, Анна, муж ее, Людвиг, Ягья, Сусанна и Ника ночуют в большом чужом доме: Анна с Андреем в одной комнате, а рядом — Ягья эфенди, а дальше — Сусанна и Таня, а Ника — да она не ночует вовсе, она уже трое суток не спит! Она пишет о Ягье и читает ему, он дивится, радуется — не она попала в татарскую сказку, это он попал во что-то огромное, без названия, об этом можно только сыграть, он сыграет, о, он сыграет! И все услышат про Нику — и русские, и татары, это будет революция в музыке!.. И он играет везде, куда они приезжают, и татары слушают, качая головами в барашковых шапках, а русские говорят непонятные слова о нем и его скрипке, но они тоже радуются!..

Они едут дальше (как ездили в «Мертвых душах»). Людвиг неверно указал дорогу — и все (ночью) летят с мажары,

которая наклонилась, как корзинка, и все — кто под мостик в маленькую речку, кто на землю — смех, крики, черная сажа вокруг (это по-английски так зовется черная ночь без луны)!

Ника, уцепясь, усидела, схватила вожжи и, подражая Андрею, натягивает их изо всех сил, но лошади испугались, она несется с ними во тьму — и кричит... Но уж Андрей вскочил на мажару, выхватил вожжи и, рывком прислонив к себе Нику, — мастерским движением останавливает коней, а сзади бегут, кричат, веселятся...

— Никогда не забуду, как раз в Старом Крыму, — кричит Андрей, — нас в тумане понес с Никой Коля! Я смирял его, а он все несся, а впереди был столб! Мы неслись на него. Ника (я ее схватил за руку) мне сказала очень обыкновенным голосом: «Ничего, он же остановится, он же устанет...» Ох, Ника!..

Ягья слушал с ребяческим восхищением (но чье восхищение звучало Нике — пусть скажет сама...).

...Жара, миражи, татарский праздник, кайрам-байрам, дом Курты.

Матрацы, покрытые коврами, стены в цветных тканях, гости возлежат, как в «Шехерезаде», блюда с виноградом, кувшины с напитками — кто не хочет вина.

Пляска с ножом, пляска с бубном, девушки с девушками, и все как-то в профиль, движенья тихие, как оживший барельеф (думает Ника). Словив ее мысль, Анна:

— Как на египетских барельефах, правда?

— Я непременно это напишу! — восклицает Андрей, не отрывая глаз от танцующей татарской девчонки, он знает ее: сестричка Ягьи, Зарэ. Она для него танцует! В этом танце это очень трудно, но она ухитряется не сводить с него глаз!

Маленькая, в косичках, в монистах, крашенные ногти, рыжие, сверкают, как коготки птички! И вместе с ней — Фатьма, выше, стройней, личико уже, он уже на нее перевел взгляд — тотчас уследив это, Зарэ загорелась, как бабочка в луче солнца, — запорхала, затмевает Фатьму!

А зурна звенит тихим, звенящим гудом, рвет души на части! Вторящий ей давл, инструмент из натянутого пузыря, овечьего, спорит со скрипкой, а скрипка — нет, уж про скрипку не рассказать!

Дядя Курты счастлив. Ковры уставлены блюдами: дыни, брынза, шашлык, чебуреки, барашек... Так гуляют три дня.

На коврах, меж медных кофейников с длинными ручками, в маленьких чашечках — кофе с гущей.

...Дальше! Степь, жара. Чужой дом, «экономия» чья-то.

Люди, яства, стихи, Хайтарма, «Татарин плачет на могиле матери» (последнее сочиненье Ягья). Ника пламенеет к его музыке почти страстью, удержанной и осмеянной ею же, пока Ягья еще только раскачивается увидеть о ней — первый сон...

Коктебель близится. Увидеть Макса — как напиться в жару из источника. Друг еще девичества ее, как о й друг! Он держал ее головой о свое плечо, когда умирал ее маленький сын, он — все знает! Одинокое дерево треплется в ветре на самом краю земли...

И человек играет на скрипке.

На следующую ночь они опять на новом месте. Этот вечер они провели вдвоем — все ушли бродить по огромному саду, а Ягья остался играть.

Он восхищался своей спутницей, как музыкальным произведением, но — как сам он сказал про слушавших его симфонию о татарине на могиле матери, что только очень красивые звуки им кажутся, симфонию — не понимают! (Но сам в Нике не понимал ничего. И это его, по-своему, мучало.)

— Вы так умны, что ни в одном мужчине я не встречал такого ума. Я только встречал в книгах. Вы все видите, как сквозь человека. Я ничего не говорил про себя, а вы мне всю мою жизнь рассказали... И про музыку все поняли, про струны скрипки, а ведь вы же не учились на скрипке, только на рояле учились...

— Я — колдунья, эфенди,— отвечала Ника, улыбаясь, как ребенку,— я напишу сказку про молодую колдунью Зарэ и про старую — Азиаде, да? И в сказке будут решать, кто сильней из них...

— Молодая! — сказал Ягья, и в веселой нежности он бросается обнять ее, но она отклоняется и, склонив его голову властно, как старшая, и — чтоб губы его не нашли ее — целует его в лоб.

— Слышите, как море шумит? Идите спать, эфенди, детям пора спать...

Он играет и слушает, играет и слушает какие-то новые звуки, а она довыдумывает его подарок — татарскую легенду о богатыре Тангонг-Арслане и о Злодее Тэджале, который явится при конце мира,— «и он будет великий музыкант, Тэджал, но только тогда будет все поздно, и музыка тоже будет стоять перед Аллахом — так говорила моя бабушка, которая не хотела, чтобы я играл...»

И так как вся эта полудетская блажь ее — по-своему глу-

бокая и святая — тоже просится в сказку, то Ника приоткрывает ей дверь, и Ягья (уже впрыгнув в нее несколько дней назад) творит в ней все новые чудеса на скрипке, беспечный, смешной, упрямый. Он не умеет говорить — только смычком. Он отрицает все старое... Зарэ, чье имя должны отгадать женихи, сидит в сказке на кровле, и так как Ника (а значит, и Зарэ) тоже новаторы, то татарская сказка пересыпана искрами английского юмора, и о сказке, в ней же, ведут разговор два читателя, а Зарэ смеется над ними, а Тангонг-Арслан едет высоко в небе, у него черный, сказочный конь, только *этому* всаднику он покорен... А слоны с дарами, неприятными, уходят обратно в свои страны, и потухают бархатной пылью — о самый край горизонта...

— По-моему, это очень красиво! — пробегает по струнам смычок. И вместо: «Идите спать, эфенди» — Зарэ говорит другое: «Не уходи, эфенди...» (что значит: «Не уходи, господин...»).

«Ночь. Ничего не надо, луна! — говорит автор сказки. — Мне не надо лживых людей! Столько их было, и они все прошли, как сны! Я буду писать сказки о них! В сказке Зарэ любила эфенди, а наяву никто никого не любит, и мы с ним тоже не любим друг друга, мы просто любим любовь».

Ягья сказал:

— Ваши европейские женщины часто берут на два, на три дня в мужья наших проводников-татар! — (он не знал, что это его «горькое», горячее уверенье «давно уж», как сказал Борис Пастернак, «висит на стене в Третьяковской галерее», для Ягьи — в первый раз!)

Она ему про это сказала:

— «Ваши женщины»? Это не мои женщины, эфенди, они — глупые! Разве э т о человеку надо?

Он понял:

— Нет, не это! Это я знаю! Надо, чтоб в *сердце* играла музыка!

«Это висит, — думает Ника с улыбкой, — в Третьяковской галерее на *соседней* стене...»

Ника смеялась, ей казалось, что она отдыхает. Как трогательно он это сказал — и какая простая в его сердце, верно, играет музыка — она бы *могла* также сыграть на его скрипичных струнах! А Ягья (тот, в сказке), досказав свои смешные слова о сердце, вдруг стал совершенно серьезен, «его брови нахмурились, глаза из золотых стали — черные, вдруг обозначилась его квадратная азиатская челюсть — и он заиграл Хайтарму...»

Сказка была — кончена?

ГЛАВА 2 КОКТЕБЕЛЬ

Ника закончила, а жизнь сказочная продолжает: башня с полукруглыми окнами на самом берегу моря, плоская азиатская кровля, как та, на которой сидела Зарэ. И Макс, старый волшебник (уж серебро по золотым кудрям Зевсовым), но все так же остер взгляд. Он встречает их всех, сходящих с мажары, улыбается им всем одинаково, как и подобает волшебнику. Начиная со старшей — Анны и кончая сыном Ники — Сережей. Одного возраста с ней — подруга Анны, о которой не было речи. Она недавно приехала к Анне, через все фронты, страну разделившие. Она годы и годы стремится быть возле Анны, неотрывно о ней заботясь, и в этой опеке, может быть (так, кажется, мало ее знающим), свободолубивой Анне — нелегкая преданность по гроб жизни. Она соскакивает с мажары, маленькая, бойкая, некрасивая, по-мужски коротко стриженная, резкая, готовая на любую защиту своей Аннушки, если бы ее кто-то задел.

Макс ведет всех в мастерскую, двухвысотную, с лестницей на библиотечные антресоли, с пятью длинными, полукруглыми окнами на морскую бухту. Рассаживаются, кто где хочет: на креслах, табуретках, на лестнице, на двух диванах, крытых цветным холстом, под огромным бюстом гипсовым египетской царицы Таи-Ах, среди этюдов, мольбертов, окантованных пейзажей, и всюду — как символ степного, горного, морского дома — стоящих ваз и бутылей с ветками ковыля, полыни и чертополохов всех цветов и форм, неведомых, пышных, легких, сухих растений, заткнутых по углам, как в пещере горного короля.

Насладившись лицезрением этого, обойдя стены, исчезнувшие за стеклами пейзажей, просят стихов. И, покорный друзьям и гостям, гостеприимный хозяин начинает читать.

Он стоит в своей привычной ему крымской одежде — длинной холщовой рубашке, шнурком подпоясанной по мощному телу, в коротких холщовых штанах, в сандалиях на босу ногу. Только Зевса напоминает его голова, больше он ни на кого не похож, и Зевсов голос, ритмом и рифмой смягченный, льет в воздух звуковой, горный мед — из стройного кувшина вкуса и мастерства:

Восставшему в гордыне дерзновенной,
Лишенному владений и сынов,
Простертому на стогах городов,
На гноище поруганных вселенных,
Мне — Иову, сказал Господь:

«Смотри:
Вот царь царей — всех тварей завершение —
Левиафан...»

Из приехавших только Ника и подруга Анны Маруся слышали его стихи в Москве, остальные только затем и приехали, чтобы, как всегда в эти наезды из степей — к морю, в Доме Поэта слушать его самого. Что он и художник, что это его пейзажи, что он с юности пишет свою Киммерию — знают все. Но он сейчас о другом.

Сперва было будто бы без охоты начавший (что-то мелькнуло в лице от обиженного ребенка, хотевшего что-то другое сейчас), он разгорается, оживает в стихии звука и слова. Громкий голос теплеет, становится мелодичным. Правой рукой помогая себе, он точно подает ею, поддерживает, сопровождает строку, и в чертах Зевсовых радость — одарить ею.

Нет, не только Зевс! Он и Пан еще. В непролазной гуще русских кудрей, их смиряя, тонкий стержень полыни, а глаза — светлее человеческих глаз — разве это не глаза Пана? Но и не Пана стихи это — больше! Выше!

И видел я, как бездна океана
Извергла в мир голодных спрутов рать:
Вскипела хлябь и сделалась багряна.
Я ж день рожденья начал проклинать.
Я говорил:
«Зачем меня сознанием
Ты в этой тьме крошечной озарил,
И дух живой вдохнув в меня дыханьем,
Дозволил быть рабом бездушных сил,
Быть слизью жил, бродилом соков чревных
В кишках чудовища!»

Неотрывно смотрит на Макса впервые в мастерской Художника, в Дом Поэта вступившая Маруся. Там, в Москве, стихи ей хоть нравились, в годы студенческие ходила их слушать, но не знала, что такая мощь в Поэте сокрыта. И дом такой она видит впервые. Да и нет дома такого. Это чуют и знают все.

...В раскатах гневных
Из бури извергал Господь:
«Кто ты,
Чтоб весить мир весами суеты
И смысл хулить моих предначертаний?
Весь прах, вся плоть, посеянные мной,
Не станут ли чистейшим из сияний,
Когда любовь растопит мир земной,
Сих косных сил алкание и злоба —
Лишь первый шаг к пожарищам любви.
Я сам сошел к тебе, как в недра гроба,
Я сам огнем томлюсь в твоей крови.

Как я — тебя, так ты взыскуешь землю.
Сгорая — жги.
Замкнутый в гроб — живи.
Таким мой мир приемлешь ли?
— «Приемлю...»

Утерев пространство и время, Мария вдруг становится на колени перед Поэтом и кладет истовый земной поклон. В разноголосом отклике на поступок, в восклицаниях, смехе смутившегося хозяина, подымающего ее с колен, старающегося обратить это в шутку, в глаза взволнованной женщины, сестры милосердия по занятию, зорко падает взгляд Поэта, взгляд волшебника, острый и изучающий (изучивший).

Ника смотрит на Марию — сочувственно — ведь и она могла бы так поступить! Бессомненное мужество женщины, все и всех забывшей ради *сейчас*. Это мужество восхищает Нику. С этого часа она знает себя другом Маруси, на долгие и долгие годы. Но кто знает *сегодня* будущее? Будущего не знает никто...

Остроумием, в коем Макс — мастер, инцидент превращен в шутку, но остро и радостно — ибо она — не ему поклонилась! — его взгляд задлился на ней. Меньше пятилетия спустя, в роли сестры милосердия, у постели его заболевшей матери (гремящей по дому в час гнева, умеющей смеяться — этим, не сдающимся старости, смехом...), в роли его друга, няни, жены, — после смерти, цербером для окружающих, пьющих его силы, будет жить она возле него, медленно отходящего на покой в стенах все той же самой мастерской, посреди своих киммерийских степей, полынных, окруженных горами, любимыми, вулканическими, с которых написано им столько стихов, картин... Но будущего не знает никто! Может, только волшебники? Но волшебники, как Пророки — заговорят в свой час!

ГЛАВА 3 ЕВГЕНИЙ (ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА)

Ника смотрит сейчас во все глаза на незнакомого человека, во всю душу, во всю себя.

Чахоточного вида, худой, черноволосый, черты резкие, словно один профиль, — на кого-то ужасно похож. На Мефистофеля? Нет. Еще на кого-то, сейчас она вспомнит!

...На Никколо Паганини!

Поэт, переводчик. Имя — Евгений.

Нет, и еще! Он похож на Глеба, умершего! (Светловолого, синеглазого. Но — взгляд, острота взгляда и черт...)

Когда они приехали, уже были люди у Макса, и за многолюдством не сразу его увидела Ника — но на нем была темно-зеленая куртка — как раз того цвета, которого было в этот день надето ею летнее платье; от общего цвета одежды она перевела взгляд на лицо — и что-то родное вспыхнуло ей в этой наружности: этот человек, надменный, язвительный, гордец в каждом жесте, в каждой повадке, — скучал. Это было так ясно, что ей сделалось за него неловко: скучать — з д е с ь!

Узкие, темные глаза его были, казалось, еще сужены, он томился. Ему не были нужны эти стихи, эти люди? Стихи, может быть, *были* нужны — ответила себе Ника — но *люди*, наверное, ему не нужны!

Волнистые волосы, длинные, длиннее чем надо, почти достигшие плеч, тоже напоминали дни встречи с Глебом — тому назад семь лет, когда он носил светлые свои волосы отрезанными у шеи, как на портретах Листа, Вагнера, Но Глеб был — добрее, сказала себе Ника, веселее, он загорался от человеческого образа, хоть и мог быть надменен и холоден. *Этот же...* Дальше мысль не шла. Дальше шло чувство — свободы... Он сидел в кресле, волосы его были отброшены назад со лба, как Глебовы, он долго сидел нога на ногу, скрестив на груди Глебовым жестом руки, на них были необычайно длинные ногти, это больно укололо Нику, сбавив ее интерес: он был манерен?.. Но в нарочитой позе сноба этот человек был чем-то родной! (а в Глебе не было нарочитости).

Когда она, уйдя, наконец, от всех — от Анны, от Андрея, от Мэри, от эфенди, даже от стихов Максиных, от возможности быть познакомленной с Евгением; собравшись, как из ртутных разбежавшихся серебрянок собирается ртутная капля, — в себя, подходила к маленькому деревенскому татарскому кладбищу, где она была два года назад в день похорон сына (на другой день заболел Сережа, и она бросилась к докторам в город), то совершенно неожиданно, потому что она вышла из Максиного дома с тяжелым сердцем от нахлынувших смертных воспоминаний, ей от этого кладбища навстречу хлынула такая волна т е п л а, что она остановилась в испуге. Что это было?.. Ответа не было. Ликующая, с ног валяющая радость. В один миг ее горе, все тяжести, все сомнения, как поступить, где жить, — вся намученность последних месяцев — все было смыто.

— Алешенька, *ты?* — прошептала она и захлебнулась слезами, побежала вперед, между мшистых старых, с татарскими письменами могил.

А навстречу ей — верхушка Сюрю-Кайя, под которой был

кладбищенский склон, и как раз против того места, где была ссохшаяся от жары, почти зававшая в землю, могилка сына, поднимались розовые лучи. Ника, раз только тут быв, сейчас металась вправо и влево, не зная точно, где же она. От вершины горы оторвались и окрасились в нестерпимый для зренья цвет алого золота, из одного центра вышедшие, расходящиеся лучи, перистые, невесть откуда вышедшие, взявшиеся облака... Они шли как бы от восходящего солнца (а было время предвечернее, мог скоро начаться закат). Распахнуто обняли они небо широким, запылявшимся под горой розово-золотым костром. Шатром, вернее. И он состоял из полос самых, по географическому учебнику, высоких, перистых, нежнейших из облаков...

— Алешенька, сыночек мой!.. п о з а б ы т ы й... — спотыкаясь, проговорила Ника, потрясенная происходящим, и упала на колени, на сухую пустыню земли, и, поцеловав землю, легла на нее, как ложится пес на могилку хозяина, у почти сравнявшегося, выветренного холма с маленьким покосившимся крестом. Она встала, когда потемнело. В небе были кроткие звезды. Спокойная, все решившая. Алеша, маленький, нигде не сущий — встретил, утешил, научил лучше всех, ее утешавших.

Подходя к дому Макса, под последней тенью заката, на западе приподнявшей просветом мглу, увидав в этом просвете звезду, она вспомнила строки:

И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
Как пламя воздухом колеблемой свечи...

Так кончались стихи Макса.

Шум моря утихал в согласии с таянием очерка гор. Коктебель остался позади, как мираж.

Ника не знала, удалось ли Мэри вчера заполучить Андрея Павловича для разговора, его без Анны, хоть она очень старалась устроить ей это свидание.

Полулежа на сене мажары, глядя на мальчишеское лицо дремлющего Ягьи, она думала о нем и о Евгении — вместе, и о том, у всех ли «оттачиваются» чувства одно о другое (из чувств вторичных, не все поглощающих) или это только у нее, в ее, оставленной любимым, ищущей забвения, опустошенной душе?

А над степью уже начинается вечер, терпко пахнет полынью и еще какими-то травами, что-то тихо стрекочет в

граве, цикад уже нет, что-то другое, легонький звон! Первые звезды...

Эфенди спал, и над его сном, забыв о нем, глядя в смеркающееся небо, под тихие голоса Андрея и Анны (слов не было слышно, а только шелест голосов, заглушаемый скрипом мажары), Ника думала о человеке с лицом Паганини (но нежнее, светлее, моложе), которому давно наскучило влачить с собой свое превосходство, как спадающий с плеча плащ. От облика этого человека в нее канул опаляющий уголек. Да, он еще напоминает того, из немецкой сказки, кто увел крыс из Гаммельна пеньем волшебной дудочки, а затем, за невыполненное обещание, увел дудочкой всех гаммельнских детей... О чем-то засмеялись Андрей с Анной (как может Андрей смеяться при ней!).

И снова впереди темная коронка Отрадного, и над ней — тучи... Было похоже на тот вечер, когда они выехали оттуда на станцию под охраной двух красноармейцев. Они были лучше всех, эти чудесные, строгие преобразователи жизни, они верили и в земной рай, в земную человеческую справедливость — уцелели ли они в боях? Как это давно было! Глеб был еще жив, никто не верил в его обреченность (только он знал, что скоро — конец...) Андрей был еще ее — б е з р а з д е л ь н о!

Подымаясь, висит над конями, мажарой, над ними, как распластанная птица, рассвет...

На другой день у себя в доме Андрей сказал ей:

— Ника! Эфенди, Евгений — это все призраки. Я понимаю, вам трудно сейчас без них, но п о м н и т е: вы — моя, вы мне ими разрываете сердце: я к вам *вернусь*, Анна — не жизнь моя, жизнь — *вы!* Она — это мой недуг, но я его п е р е с и л ю, ах, если бы вы знали, к а к м н е с ней иногда тяжело.

— А со мной не было тяжело? — говорит, глотнув, чтоб удержать слезы, Ника.

Она откидывает со лба пушистую, цвета спелой ржи, его прядь, и улыбается, и не слышит ответа. Ей причудился голос Ирины, поющий «Васильки — глаза твои...».

В тот же день она выносит разговор с Сусанной и Таней. Сдружась, женщина и девочка напали на нее объединенным фронтом: об этом же говорят — Феодосия, Старый Крым, все друзья, — что Ника, слепая? Глухая? Что терпит в доме эту Анну. Анна — это погибель для Андрея Павловича, она злая, жадная! Она его вообще не любит, это посто расчет, он же

богатый... Она совсем перестала стесняться, она вчера взяла полосу любимой Никиной шелковой материи и повесила у себя на стене. Таня худеет, не спит, больше *не может!*

— А как я могу?— улыбается Ника.— Учитесь, Танечка... Так я — глупая, по-вашему? Ну и дочка у меня... И не стыдно ей? А я-то думала, что Таня меня понимает... Я, Сусанночка, вчера подарила Анне Васильевне ту бархатную материю, в узкую полоску, сине-зеленую, мою любимую, мне ее еще муж купил, при Алеше... Говорю, чтобы вы знали, что она все имеет — по праву! А за сообщение о шелке — спасибо, я его ей подарю, я не знала, что он ей нравится! У нас с ней похожие вкусы...

Она обнимает их обоих за плечи и поворачивает с ними к дому.

Узкое цыганское лицо Сусанны пылает, темные волосы треплет ветер, сражение проиграно. Таня гордо подняла голову (с картины Греза!). Нет, в этом она не понимает Нику, ни Андрея Павловича, зато они с Сусанной отлично поняли Анну, они оба — Андрей и Ника — игрушки в ее руках! Это вовсе не «колдунья», как романтически сказала о ней Ника,— это низкая аферистка, вот кто она.

Отмахнув это как муху, расставшись с ними, Ника шла по аллее — прочь от дома, к могиле Сильвии. Ее тянуло сюда, к единственному месту, где было и теперь единение ее с Андреем — (Андрей очень *любил* сестру и не мог ее позабыть...) Шла и думала: люди в людской, совсем ее не понимающие, стали неровны к ней: то неуловимо небрежны, то — подчеркнуто к ней заботливы, ей сочувствуя, как покинутой фаворитке. Терзания шли отовсюду: и от друзей, и от простого люда, и из любимых аллей Андрея, из каждой комнаты дома. Только старший больной брат Андрея не мучал: впервые недавно надолго приехав домой, он увидел Нику и, находя ее красивой и прекрасно воспитанной (Анна уже чуть начинала стареть, ей было тридцать два года, а Ника была в расцвете, и вообще Анна была не в его вкусе, они всегда с братом расходились во вкусах, но он никогда не входил в его дела), он просто любил, курия свою трубку, глядеть на Нику, и, выпуская дым, сверкнув зубами смуглого стареющего лица, вдруг улыбаясь. Улыбка эта кого-то напоминала Нике — может быть, умершего брата? Как глаза его радовались. Ей было почти двадцать пять — да, она расцвела. Мэри могла привлечь тонкого ценителя, Ника — «годилась» любому. Старичок-пианист, немец, не сводил с нее глаз.

Что, рядом с человеком, «именье»? Бедность и труд? (Как смели они так думать об Анне!) Только Мэри понимала,

сказавшая: «Богатство — это очень приятно, но это же не имеет никакого значения!» (и ушла утешаться в тетрадку стихов). Только Мэри *добро* об Анне сказала: «Она умная и, наверное, благородная, но ведь она его — непременно бросит...» Как обвинительный акт был рокот ее «р».

Ника попробовала заговорить с Андреем о своем отъезде:

— Я перееду в Феодосию, буду давать уроки по языкам, а пока устроюсь — не буду вульгарно горда, я от вас *возьму* помощь, не беспокойтесь... Мне все равно, что скажут, вы мне — родной, этим все сказано.

Он прерывал. Она умоляюще продолжала:

— Мне будет весело зарабатывать, как тогда, в народной читальне, куда ко мне забрела Анна...

— Вы меня доведете, Ника, — сказал он, — что я от всех уеду, я уже *думал* об этом, у меня тоже *уже нет* сил больше! Вы обещали мне быть другом, как вы *смеете* мне говорить такое? О каких-то ваших уроках, пока я *живу*?

Весь вспыхнув, весь, как натянутая струна, он повторил ее слова, когда-то ею сказанные в споре кому-то:

— Vous n'êtes pas généreux...¹

И она осталась. Так прочно, точно ей тут — умирать...

В другой раз он застал ее в слезах: какая-то прозрачная обида — от прислуги. Он сжал ее голову, целуя глаза, которые она отводила, отбиваясь от его ласки:

— Хотите, я расстанусь с ними со всеми? До одного человека! Заплачу неустойку арендатору, *изменю* все вокруг вас! Скажите *одно* слово, и если это вас хоть сколько-нибудь облегчит...

Но она уже успокоилась:

— Зачем вредить людям? Простите мне эту слабость, прошло! Вот Анна это все *не замечает*, она проходит мимо. Лучше мне скажите: хороша моя сестричка Мэри?

— Прелестна... — отвечал он, — но только что мне с ними со всеми делать? Это уж начинает мучить Анну, она *очень* ревнива...

— Уведу их с собой в Коктебель — Таню, Сусанну... Простите, я *не* уеду, пока вы *сможете* без меня...

Лето цвело. Целые дни привозили с полей «скопщину», и так как молодой хозяин, зная положение в стране, не относился серьезно «собственнически» к хозяйству, то лишь затем,

¹ Последнее слово труднопереводимо: благородство, щедрость души, великодушие, может быть. «В вас нет щедрости!..» или «Вы не щедры...» (фр.).

чтобы со своим новым управляющим не ударить в грязь лицом перед матерью, все выполнялось, что было положено, — как будто бы играли пьесу, но ей будет скоро конец.

Урожай был небывалым, зерно ссыпать было некуда, а его все везли и везли — отдавали зерно тому, кто хотел взять, — без счета. Этому помогала и революционность старой хозяйки. В людской дивились происходящему. Там такое не одобрялось. «Скопщину» встречали хохотом. Д'Артаньян, идя принимать зерно, строил невероятные рожи, на что был мастер.

Смеху, несмотря на трагичность взаимоотношений, было столько, что это была стихия. Несколько остроумий, отталкиваясь, создавали фейерверк. Ника отдыхала в нем, будто купалась в Оке. Сидя рядом с Анной, она держала ее руку и ей улыбалась. Это успокаивало сомнения д'Артаньяна. Шли гулять по аллее вместе, Андрея отзывали на скотный двор, к коню, или его звала мать, Таня молча шла рядом, она не выносила Анну, и все горячела в обиде за Нику. И — что было уже совсем чудом — обида, растя, перерождала ее увлечение Андреем Павловичем, она все более гордо с ним обходилась, что в ее семнадцать лет было прелестно, он подрачивал ее, она в ответ была обаятельно-ядовита. Все замечали, как день ото дня она под влиянием Ники умнела. Скоро и ей настанет черед быть объектом для увлечения многих...

Дом утопал в плодах и розах, овощи и те в то лето вырастали немыслимые по размеру и качеству. Отрадное было оазисом в степи.

В эту степь выезжала иногда с Андреем Анна. Она ездила превосходно. Превосходство и здесь над Никой было явное, та оставалась стоять у конца главной аллеи, с улыбкой следя, как они медленно уменьшаются в зрении и, наконец, исчезают: есть еще? нет? есть, будто бы... нет, их нету — только серебристая дымка зыблется по горизонту — миражом.

Близится день рождения Ники, ее двадцатипятилетие.

Прощаясь с Мэри, она обещала ей когда-нибудь провести с ней в Коктебеле хоть день. Разорвать заколдованный круг. Долг был — (для них) — остаться, долг для себя был — уезжать. Надо было исчезнуть, тем дав ему возможность з а б ы в а т ь ее, ее физически *не видя*. Может быть, его *просьбу* остаться — уж больше не надо слушать...

В тот же день Ника встретила в саду Анну.

— Видя вас, — сказала, взяв ее руку, Анна, — я вспомнила рассказ Тургенева, кончившийся так: «Дура», — проскрежетал кто-то сзади. «Святая», — донеслось откуда-то в ответ»...

Ника сжала ее руку, но странно! — не почувствовала

того, что обычно бессильно вело ее в руки Анны. После Коктебеля в ней появлялось что-то новое. Это сейчас же почувствовала Анна.

— Что с вами? — спросила она. — Я к вам *не* изменилась...

И она обняла Нику. Трепет *пошел* по ней, но она устояла.

— Это не может быть, — упрямо сказала Анна, — *если я захочу, будет как было!*

— Нет, не будет, — отвечала и дерзко и нежно Ника, глядя ей в глаза.

В глазах той вспыхнула мука. Но и сейчас не сдалась Ника.

— Нет, — сказала она твердо, — я вас люблю, но я стала другая, я не ваша теперь, нет...

Кто-то шел, им помешали.

В доме много людей — и плодов земли, масса арбузов и дынь, груш, грецких орехов — все изобилие некогда «райского» сада — в сложных переплетениях человеческих отношений.

Подходил все ближе день рождения Ники.

Праздник Андрей готовил на славу. Попросил ее сделать по своему вкусу закупки в городе. Сладостей — и вин! Горько и весело было ей разбрасывать деньги Андрея — «на прощанье»! Все купив и сдав провожатому, она осталась на день в Феодосии. Там был уехавший из Отрадного Ягья эфенди, и она пошла к нему, захватив вина и пирожных, — их было как-то странно покупать — где-то ведь шла война, о которой были прерваны вести.

ГЛАВА 4 ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗКИ О СКРИПАЧЕ ЯГЬЕ ЭФЕНДИ

В закатный час скользнула она через порог низенькой сакли, по-татарски убранной. Жили там Ягья и его брат. С нею была Таня. Братья встретили их неожиданный приход — восхищенно, позвали двоюродных сестер, Зарэ и Фатиму.

Вино развеселило всех. Ника пила много. Вскоре Таня встала, обещав идти по делу куда-то с матерью. Ника пошла проводить ее. Над морем длинным блеском, разрезая его тихую синеву, стояла луна.

Ника вернулась назад. Не помнила, как ушли девушки, куда исчез брат. Они остались вдвоем с Ягьей. Но запомнила, как над ковром, где они по-татарски полулежали, свешивался

со стены широкий золотой шелковый пояс, как полыхала свеча и как при свете свечи она прочла ему все, что о нем написала. После чудесного описания наружности, слов, поведения — в неслыханной им рамке ее прозренья в него, в его музыку, в его музыкальную судьбу. Это бросилось ему в голову сильнее, чем выпитое вино, вино люди пьют постепенно, а Это... В томленьи он потянулся к ней, но он знал, что она ускользнет, рассмеется... Подчиняясь ей, музыкально, он смеялся сам, а свеча, догорев, гасла и, вдруг склонив голову, умерла. Но во мгле, волшебной окутавшей ковры, окно, пояс, их, стал быстро рождаться рассвет — совершенно зеленый...

Они вышли из дому как брат и сестра, незаметно прожив вместе ночь, солнце вставало над морем.

Они за руку взбежали на круглый холм. Высоко над морем!

— Оно муаровое, видите? — сказала Ника. — «Муар» — это такая материя, переливами, как хвост павлина.

Он не слушал. Он не понимал. Он смотрел на нее и потом на разводы, серебряно-синие, бледно-розовые, облака под светлым жаром солнца, и снова смотрел на нее.

Он еще не знал, что на свете так бывает, такое, он сейчас будет играть новое, совсем новое, он уже чувствует, оно пришло!

Если бы кто-нибудь посмел сказать про русскую молодую женщину, которая у него ночевала, сама принесла сладости и вино и читала ему — такое! если бы кто-нибудь осмелился ему — он — он...

Когда заиграла где-то музыка — и это зачем-то был вальс — она встала, пошла прочь от звуков, этот вальс звучал — игла по черной пластине, — когда Андрей приходил к ней на горку, они слушали молча, друг в друга глядя. Куда это все ушло?..

Ко дню рождения Ники в дом съезжались гости. Андрей украсил дом осенними цветами — золото-зелень-пурпур. Сад предложил Нике, третий год его посещавшей, — дары.

Цвели стихи — лица — смех, вина в стаканах, остроумие на губах, горели, как в Аннин день, костры, иллюминация удалась даже лучше! а когда все утихло, гости — кто разъезжались, кто — уснули, Ника, с сердцебиением войдя к Андрею и Анне, сказала им, что завтра она уезжает из Отрадного — так надо — время пришло.

— Не отговаривайте, *не* отговорите! Я много месяцев была у всех вас на поводу, мне было *трудно* здесь, я хочу в мой

родной Коктебель, к Макс и Мэри, к морю, к Алеше, в мое прошлое, в мое будущее. Я буду у вас под рукой и по первому требованию, если я буду нужна, *вернусь*. Но не уговаривайте меня, я — *уюду*, вам надо остаться вдвоем, и мне надо остаться одной!

Что началось! Они оба бросились в бой, но она не уступала. И к утру победа все-таки осталась за ней. Но она почти обессилела за эту ночь.

— Позовите меня — я вернусь. Но дайте мне одно обещание: перед тем, как послать за мной — пожалуйста меня... И если уж *тогда* нельзя будет не звать — я приеду!

Она бросилась укладывать вещи. Побарывая лихорадку отъезда, Таня помогала ей. Она выехала, как и сказала, 15 сентября в жаркий час (что-то помешало выехать утром), и с нею вместе из Отрадного выехала, не захотев остаться, протестом против Андрея Павловича за нее, — Таня.

Все вышли проводить ее по главной аллее: друзья, и слуги, и серебрившиеся по горизонту миражи, и собаки еще долго слышались, пока не угасло миражом Отрадное.

Андрей выехал с ней до Старого Крыма. Анна осталась. Лошади бежали по белой дороге, увозя мешки белой муки, картофеля, всякой снеди. Ника взяла денег. Когда кончатся, даст знать. Андрей даст еще.

— Не дам знать... — молчала и улыбалась Ника.

В Старом Крыму Таня рассталась с ними, поехала в Феодосию, к матери. Из богатства — в бедность. По велению сердца! Да благословит судьба Никину дочку за этот отъезд!

Даже теперь, через почти два десятилетия, у Ники не подымалась рука написать ее расставание с Андреем. Пусть оно так там и останется под упавшим занавесом, за ним.

ОКОНЧАНИЕ СКАЗКИ О СКРИПАЧЕ

Подъезжая к ночи к Коктебелю, самозащитой, может быть, чтобы не думать об Андрее, она вспомнила свое прощание на Феодосийском вокзале с эфенди — он хотел через неделю приехать в Отрадное — приедет, бедняжка! милый ребенок... а ее уже там нет...

В поезде, которым она тогда, перед днем рождения, возвращалась к Андрею, не было мест, и народ садился на крыши вагонов, Ягья ее провожал. Посадили и Нику. Разместились даже уютно, полулежа. Были какие-то загородки, низенькие, у края, позволявшие не бояться упасть.

Стоя внизу на чем-то, облокотясь на край крыши, на кото-

рой, как Зарэ на кровле в ее сказке, лежала Ника, Ягья говорил с ней.

Она, уже решившая свое будущее, как бы в шутку спросила его, что было бы с ним, если бы она вдруг исчезла из его жизни, то есть *как бы* он ее помнил — как кого, как что?

— *Я не могу себе этого представить,*— отвечал Ягья,— этого не может быть! Но *если б* это случилось, мне показалось бы, что как бывает буря промчится, так это надо мной пронеслось... Но вы должны обещать мне, что вы *не* исчезнете, что если куда-нибудь решитесь уехать,— вы все можете сделать, я знаю,— то вы мне напишите, что не забыли меня, что хотите меня видеть,— и я к вам приеду! Потому что если не напишете — я гордый, мы все такие, я буду мучать себя, но не приеду, если не позовете... Я не глупый, не думайте, я знаю, что я не то для вас, что вы для меня, я знаю...

Поезд трогался. Она приподнялась, он схватил ее в объятия, и она, смеясь, по-матерински поцеловала его — он не умел целоваться.

Но этот первый спешный поцелуй своей освобождающейся жизни она приняла как символ горькой свободы.

ГЛАВА 5 СНОВА ЕВГЕНИЙ

Когда Ника на мажаре с провиантом подъехала к дому Макса — весь берег высыпал смотреть. Проснувшийся Сережа уже висел на ком-то. А Ника объявила, что завтра — третий день празднования ее двадцатипятилетия. Она приглашает друзей на торт и вино.

Мэри только взглянула на Нику — и сразу все поняла. Сопереживая и ничего не спрашивая, она стала помогать ей в подготовке пиршества.

Среди гостей в ее маленьком, прощальном с двадцатью пятью годами жизни, пиру, был тот человек по имени Евгений. Пили много вин, говорили много стихов, море ревело, как стадо львов, осенний ветер трепал платье, и волосы и плащ Евгения, когда он встал идти. Ника от выпитого вина — она опять много пила в тот вечер, нарочно мешая сладкие и сухие,— уже ничего почти не помнила, только — что надо поцеловать руку человека, похожего на Паганини.

И она это сделала. Это было у края висящей над садом террасы, он пытался отдернуть руку, но, может быть, все понял — по настойчивости ее поступка. Он в тот раз видел ее с Андреем и с Анной, может быть, он что-то почуял, кто

знает? В его несколько жестких чертах что-то вдруг на миг помягчело — почувствовал, что, кроме его плаща Паганини, есть — другие плащи? Он сходил с легкой белой лесенки Максовой в шум молодых тополей и в рев моря, — может быть, шагом прислушивания? Где была Мэри? Ника не знала. Она помнила, как в первый раз в жизни так смело презрев страх волн, она плывет по ночному, холодному морю, прочь от берега, в открытое, шумное — и хохочет, что плывет в аш-два-о...

— Меня на экзамене спросили! — кричит она, борясь с волной, рядом с ней плывущей подруге Макса Татида. — Я на извозчике выучила сорок восемь формул, я их забыла... (ей безумно смешно кажется, что *она их забыла*), но две и теперь помню, которые я ответила по билету — серная кислота и вода!

Татида — женщина, преданная Максу, понимавшая Нику с дней болезни и смерти Алеши, чистая душа, бессребреница — смеется нежно, уговаривает Нику не плыть больше в открытое море, повернуть *назад*! Ника не слушает!

— Думаете, я серную кислоту позабыла? — кричит она, плеща по воде руками, мотая головой, чтоб не захлестнула волна. — П о м н ю! Аш-два-эс-о-четыре, — борется она с ускользающей памятью — одолевает ее и хохочет. Татида не отстаёт от уплывающей Ники, но крик Татиды был испуган и громок: Макс! Макс!

Больше Ника не помнит ничего.

— Ты хохотала ундинным серебряным смехом, — сказал ей наутро Макс, — и я еле с тобой справился, — ты уплывала. Я вынес тебя на руках, и мы с Татидой тебя привели в твою комнату. Ты была холодная, скользкая и кричала про аш-два-о... Ты бы утонула, ты захлебнулась бы, ты была такая противная — упрямая, ты не хотела из моря уйти...

Сережа спал у матери Макса, уложенный с вечера, и Ника утром проснулась одна, голова свинцово болела. Отдаленное ватой беспамятства Отрадное казалось далеко за морем, и было непонятно, как жить.

И хотя оно, непонятное, длилось недели три, — осталось в памяти Ники как один долгий день. Один вечер, одна долгая ночь.

Любовь к Евгению.

События? Почти никаких. Знакомство с его женой, чудесной, стройной. Золотоглазая, волосы на прямой пробор, пушистые, темно-каштановые. Правильные черты. Улыбка — застенчивая. Какой-то трепет в лице, в желании быть спо-

койной. Ласковость. Она моложе Ники на два года, как и ее муж. Ожившее изображение ангела. Мэри так говорила! Рядом с демоническим обликом Евгения — она — не словами, *собой* все сказала. Союз не на жизнь, а на смерть.

Но темно-зеленый цвет их — его и Ники — одежды среди множества гостей Макса, с того первого раза, определил символически все. Предстояла краткая — или долгая — борьба с собой и друг с другом. То, что звала Ника — Любовью, а он пытался назвать естественным дарвиновским подбором.

Борьба длилась не день, много дней. Может быть, две недели? Пока борцы у б е д и л и с ь в наличии сущности.

Раз, разжегши им брошенную папиросу, Ника стала медленно тушить ее о свою руку, выше кисти. «Плоть шипела», пепелилась и отступала, перерождаясь во что-то. Когда папироза потухла, Ника разожгла ее и еще раз сделала то же по дико горевшему месту. Потом был долгий нарыв, загрязнение, должно быть, и кончилось — на годы — шелковым блестящим кружком, никогда с руки не исчезнувшим.

Евгений, сам уже терявший голову (насколько человек такой экспериментаторской страсти, в чем — в мрачности, в инквизиторстве — так походил на Глеба, *мог* ее потерять), — однако фанфаронадой встретил Сережин захлебнувшийся рассказ о руке маминой: он так кричал на маму! мама — не слушала...

— А ты бы маме сказал, что есть пепельница!..

— Мама *не хотела* пепельницу! — с укором крикнул Сережа. Он, как и мать, пристрастился к Евгению — и не мог понять, как *тог* не понял, что тут ни при чем — пепельница!

— Мама, — спросил он ее, — а кто, по-вашему, *глубоче*: Анна Васильевна или Евгений Яковлевич? Я думаю, Евгений Яковлевич! Еще глубоче! А *может* быть, если очень *подумать*, — все-таки Анна Васильевна глубоче? Даже Евгения Яковлевича?!

Сережа всегда выражал Никины тайные мысли. (Положиться же на Сережину дружбу нельзя было: как и отец его, он мог каждый миг стать холодным, мучительно-неуловимым, отплывшим — уже — в свое что-то...)

Но в этой борьбе Евгения с Никой было понятно обоим: они *оттягивали* развязку: споры о коктебельских камнях — халцедонах, агатах и сердоликах (остальные звались — «собаки», но собак так любила Ника! и, конечно, любил и он...), о стихах — у Евгения стихи холодные, без мелодии, и все-таки колдовские (колдовские — и все же холодные, филологические, от ума). Они чаровали Нику. И было что-то горькое в

его издевательской манере их чтения... Но полюбить их она не могла.

Ничего не попишешь, Евгений! «Дарвиновский твой подбор» — налицо! И недаром бледна, настрожена твоя Близкая, отпускающая тебя сюда...

Придется раскошелиться, гордый скупец. Скупой рыцарь чувства! Что в том, что *тебя* полюбили? Привычно. Дело-то глубже — приходится *тебе* полюбить!

Полно играть в детские игры, из арсенала гамсуновских «Пана» и «Виктории», не расплатиться тут мелкой монетой повестей и романов, ставь сердце на кон!

Вечером, в мастерской Макса, читает доклад доцент. Свободно и просто, на глазах многолюдства, садится Ника на скамеечку возле Евгения, как бы у его ног.

Я не думаю о *равенстве*, — говорит ее поза, — видела тебе равную — лицо иконы, одновременно из заколдованного леса, лицо даже страшная необычность — как бы лицо из сна! Не жена вовсе!

«Разве эту можно обидеть? Антипод той, к Глебу перед смертью пришедшей, демонической — Ангел! Ангел жил в самом Глебе, — думает Ника, — тайно от многих, откуда его сходство с отроком Сергием Радонежским с картины художника, к нему пришла та — взять в плен! Есть ли в *тебе* ангел посреди твоей гордыни и горя? *Служить* тебе хочется, не состязаться, недоступный друг мой...»

«Женственность в апогее!» — в себе, немо ей отвечает Евгений, чувствуя ее своей, севшей так рядом, так свободно, так широко в этом унижении на подножной скамеечке. В его опыте побед, поединков, всегда победных, встречалась ли такая покорность, о себе поцелуем руки возвестившая, — от которой кружится голова...

Но в ней не отмирая живет Андрей, она дала слово вернуться, если такой день придет! И — повлекшись так к этому строгому светлому ангелу, — ведь это и *ее* антипод тоже, потому что и она, Ника, как и Евгений, демонична, она *не* из породы ангельской, нет! Разве она из святых, как сказала о ней словами Тургенева Анна Васильевна? Вот *эта* — святая!

(И братство ли это, или сознание, что развязка — близка, вот тут, под рукой, без слов все друг другу сказано.) Но только гордец Евгений на глазах всех весь вечер сидит так, рядом с Никой. А доклад все идет...

Он встает оппонировать. Его блестящие доводы вызывают на Никиных глазах улыбку удовлетворения, это тщеславие удовлетворено, за своего — как бы могло быть иначе? Под-

няв голову, чуть откинув ее, любитесь всласть — так хорош этот Демон лермонтовский! Но к чему — смаковать? Праздник! Прежним страданьем — заслуженный! Прямо из рук Андрея жизнь передавала ее в руки — достойные, как не вспомнила она тогда демоническое и мужское очарование.

В их следующую, в Москве, встречу Сережа встретил входящего к ним восклицанием патетическим, в свои девять лет:

— Мама, это — знаете кто? Из «Принцессы Брамбиллы» Гофмана, мы видали в театре! *Совершеннейший* «Искуситель»!

— Замечательно сын Глеба встречает Евгения! — тогда скажет Ника. Да, Ника может кому угодно — Андрею! — показать его! «Первый сорт»! Той же «масти», что Глеб! Его разница с Глебом? На четыре года моложе его, Евгений, может быть, человечнее? Быть может, его научный панцирь делает его в жизни — мягче и тоньше. Глеб не принимал жизнь, и он был Дон Кихот. Этот — нет. Евгений искушенной, жизненной, чем Глеб.

Себя он именует — материалистом. Это несходство корней при том же цветении — скоро начнет мучить Нику. И жена Евгения, которая его отпускает к Нике, тут понимая что-то...

Ника тщится родить облик его — на странице: экспериментатор чувств. Слов не надо — к чему? Но они иногда сами собой вырываются. А порой — все же творят странное.

— Как! — воскликнула Ника. — Вы не знали, что я именно так бы ответила? Вы не знали, что я — вас — люблю?

Сережа ночует у матери Макса.

Она стоит у стола своей комнаты, у окна над садом. Он — у того же столба сбоку. Он взмахивает рукой, словно что-то ловя над собой — или он дирижирует? Может быть, это рука Паганини взнесла смычок?

— Постойте... — начинает он, но после тире нет слов, а может быть, *ее* слова — сильнее, чем он хочет себе сознаться?

Лед треснул, и уже летит ледоход!..

Руке Паганини не надо делать ее скрипкой. Музыка, меж них зазвучавшей, полна ночь. Он — бережет. Он знает, что под рукой Никколо Паганини струны из человеческих жил и что они могут сгореть под *этим* этюдом! и тогда окажется прав их окружающий зал, все вспыхнет демонским хаосом... Так, оберегаемая, покорная, как всегда, смычку струны, за руку с братом проходит она осторожно, по кругам ночи. Ибо, если *сорвутся* — то уже не расстанутся, а расстаться им — *надо*, потому что завтра гонец может прискакать Андреев — и

жена Евгения, конечно, не спит ночь... Это помня, сколько часов пролежала Ника в руках Евгения, не принадлежа ему... Блаженная горечь, от нее нельзя оторваться (все-таки оторвались, чтобы опомниться), — его лицо над нею с поцелуем, без кровинки, лицо худое донельзя, горбоносое, узкоглазое. Темные надо лбом пряди, надменно назад отброшенные. Рот и жадный, и бережный, отказывающийся быть подвластным напитку и пьющий, лицо истомленное и томящее, входящее в память навеки, которое, чтобы забыть, надо будет забывать, пока будешь жить. Лицо демона, держащего взглядом всю ее женскую сущность. Лицо брата по общей беде!.. Глядя в ночь расширяющимися глазами, она понимает, что — в воздержании этом — их долг. Только оно дает им право на это объятие, которое длится ночь...

...Она была бы ему хорошей женой, она хотела бы от него — сына... (но, должно быть, с ее первой любви девчоночьей, начавшейся с расставания, — так и пойдет от разлуки к разлуке...) Они рвутся встать, оба. Вспоминая — неспящую, и никак нельзя оторваться, этот проклятый подбор, которому не дают ходу, подобрал их как-то уж очень — верно...

Никогда не забыть его глаз, ставших совершенно — новыми. Ради чуда *явленья* которых — *стоило* жить на земле!

Как уйти ему от нее, когда руки не размыкаются, губы пьют и не могут напиться, хотя пьют уже — целую ночь. В эту ночь интеллект, памятью победивший забвение, справился с — проклятьем? благословеньем? — дарвиновского подбора. Что будет *завтра* в ночь?.. Это — рассвет?

День — тянется, и — промчался. День? Его не было. Лежа снова в его руках, ей раскрывшихся, слыша биенье сердца, принявшего ее горе, она рассказывает небывалому другу все: о встрече, разлуке с Глебом, о Миронове, о смерти Маврикия, о смерти Алеши. О том, как вошел в опустевшую жизнь — Андрей. О его болезни, о годах неотрывной любви, о смерти Глеба, о приходе Анны в их дом. О том грешном дне с блюдечком замляники... О лете ее умиранья. И как, увидав его, так недавно, на Глеба похожего, поняла, что жива! Она сказала об Андрее и Анне. Что Андрей изменил ей, но она ему изменить не может. Сама уйдя от него... Она никогда не изменит ему! Дарвиновский подбор. Держа эту душу в руках — и наклонясь к ней — есть ли ему сейчас существо — желанней? Он знает в себе силы, «силы и средства» сделать ее счастливой, нацело погасить, как тушат свечку, ее прошлое... Не разнять рук, не разлить водою! Но ту — обидеть нельзя... Которую ночь бьются они друг о друга, не уступая себе. *Себя* уступая Долгу. (Где же дарвиновский подбор?)

Но кто-то, кто им говорит: Нельзя вам быть вместе... — он властней *всего*, даже *этого*, что с ними...

Неужели опять — рассвет?!

Он встает. И тотчас же зеркальным движением она встает тоже. Она стоит перед ним, Ева перед Адамом, отдельная, вновь таинственная, став другою: женщиной, которая вынесет — все.

Она уже не льнула к нему. И тем неотрывней он к ней тянулся. Они сходили по лестнице к берегу, дом спал, над морем желтела заря. Оно не было муаровое, как после ночи чтенья с эфенди, оно блистало, оно лежало разлившееся, как огромный драгоценный камень. ...Топаз? Это все идет ледоход? Их затирают льдинки.

...Как? Уже — рассвет? Шум моря? Еще есть это все, кроме нас? Это утро встает, скоро люди начнут просыпаться — нам не дано уснуть... И мы *никогда* не уснем вместе, это бы значило — *начало жизни* (Ника, не замечая, с «они» сошла на «мы»), нам только к о н е ц дан! А рассвет подымается, возвещая нам расставание, это птицы защебетали за дверью, на дереве над террасой, мы *сейчас* расстанемся... Но когда он встает идти — я не даю встать, я, как ветка на его руках и плечах, я обвила руками его голову, я не могу наглядеться! Это — слезы? Это — я улыбаюсь? Он так не глядел, знаю, ни на одну из тех, это *моя* победа! Не моя — победа души над кругами головокруженья, которые он — «изучал»... Я смеюсь! День встает, он уйдет, и я буду счастлива до самого вечера, когда он снова придет ко мне!

Мы у двери. Вот так — выйти, высоко над морем, во вставшее солнце, в свищущий птичий крик...

Вместе! Разве мы думали, что это нам дастся? Это стоит целой человеческой жизни!

— Идете! Уже?

Я смотрю, как он сходит по лесенке. Его черные кудри — кудри Ромео! Кто сказал — что он Паганини? Тот был страшный, а этот — прекраснее нет лица! Обернулся... Я лечу с лестницы — еще раз в его руки. Ничего, одни птицы — и мы. Шум моря.

— Придешь?

И он приходил. Была еще ночь, и еще ночь, и еще... Но моя голова *поднята* перед его женой. Я у себя *отняла* и его, и — его сына... Перед такой силой тяги — ей не поддаться? Моя совесть чиста!

Ника подарила Евгению — Глеба — на несколько месяцев разминулись!.. И он принял его в себя, как брата, почти что зажегся им.

Ника пишет, не замечая, что с «она» сорвалась в «я».

Я постоянно возвращалась к имени Глеба, как к Андрею и Анне, хотя те живы, а он уже — Там!

Он понял все. Что я могу быть каждый час позвана к Андрею, что я Андреева... Что я счастлива, что у него — т а к а я жена. (И что этим ежечасно терзаюсь... Андрея же и Анну он видел, мне от этого — легче!)

И об эфенди (но о нем он *не мог* воспринять *так*, всерьез как было, а с нежно-ироничным юмором, что тот на пожаре все хотел — спать...)

Евгений вступил в мою жизнь, как домой. Собираясь через несколько дней — из нее выйти, исчезнуть (война, почты нет — навсегда?!..)

Только дописав *это*, Ника заметила, что она перестала писать «Ника»: я, меня, мне... Перечла. С — их ледохода. Со слов следующей дневниковой страницы «Я сына хочу от него...»

«Любопытно, — думает Ника, на сегодня закрывая тетрадку, — оно еще живо во мне?»

Был день, Сережа, маленький «мужчина» семилетний, в панамке и английской рубашечке, мальчишеских штанишках коротких, в носочках, сандалиях, идет через мостик. Он несет письмо мамы, а назад — а назад он несет, как горный гном, драгоценности: целый ящичек отборных коктебельских камней — плод труда всего лета, чудеса качества — а количество! Алые сердолики, желтые халцедоны, мрачные, как туча, агаты. И в этот их двойной труд всего лета жена Евгения положила свой самый любимый камень!

— А Евгений Яковлевич — я не знаю! — так на нее поглядел, странно: «А тебе этот камень — не жалко?» Она сказала: «Нет, мне не жалко», но она на Евгения Яковлевича не глядела. Но, по-моему, ей *было* жалко, потому, что она наклонилась над камнями лицо, как будто сейчас заплачет... Это хорошо, правда? — сказал Сережа, — что она *так* этот камень любила — и все-таки отдала! Я бы не мог, кажется... Мама! Вы *поцеловали* ее камень, и я это ей *скажу!*

— Не надо, деточка, ничего не надо, — сказала мать, целуя мальчика в голову.

«Женщины все странные, — думал мальчик, — сейчас у мамы такое лицо, будто она заплачет...»

Она не плачет, нет.

Она стоит на балконе, что к морю, в том самом платье, черном, в талию, по-старинному сшитому, с пышной юбкой, с черной бархоткой у шеи, в котором она последнюю ночь была с ним. Подняв коктебельским приветствием руку: вниз, мимо

дома проезжает коляска, в ней Евгений Яковлевич и жена его. Все кивают, и обе улыбаются. А он снял свою широкополую шляпу, он не улыбается, он кланяется ей, смотрит вверх.

«Нет, не так! — говорит себе Ника. — Иначе!»

Я стою на террасе в то роковое утро. Их отъезда. Стерегу коляску. Она проезжает, и они подняли руки, прощаются. Подняла руку и я. Стою улыбаюсь.

..Господь, ко мне!
То на одной струне
Этюд Паганини...¹

Когда в далекой дали стих последний отзвук колес — как тихо...

...Сколько прошло времени?

Огромный шар неба начинает сине темнеть, наверху он еще почти светел. Когда это стало? Уже серебряная льющаяся полоса пересекла волны. Что осталось Нике еще?

Она слушает шум моря.

И сразу после их отъезда — она востребована в Отрадное. Письмо Анны. Едет, сына оставив у матери Макса.

Анна встречает ее вестью: Андрей, достав через Мину Адольфовну прививку против брюшного тифа, выпил ее. Вызов судьбе? Фронтом не удалось тогда между первой подругой и мной, — думает Ника, в содрогании, — не удалось, болельница помешала. Теперь — между мной и Анной? Не перенес мой отъезд! Некогда додумать — он *выжил*. Слава Судьбе! Очень слаб. Ее присутствие необходимо.

Они снова втроем.

Что она помнит о тех двух, трех днях? Радость свою о его ж и з н и. (Опять возмездие — за Евгения?.. Как тогда, за землянику — тот день?..)

Осень. Сидят на полу перед топящейся печью, в большое жерло которой сыплется вороха соломы, мгновенно вспыхивая огненным пеплом, пышным праздником. Опадая в темный пепел небытия. Не говорят о случившемся. Как одно сердце. Даже не негодуют на Мину Адольфовну — *так* просил — у п р о с и л, ясно! Поняла — иначе не выживет. *Выжить* ему помогла? Переболев! Рискнула?

За дверями — звуки и тишина осени. Д'Артаньян уехал — не смог. Скоро многие будут уезжать, уедет и он (в Турцию?). Сердце Анны рвется. Так прожили вместе дня три.

В эти дни, если верить позднему рассказу Сережи, он, отпросясь у матери Макса на берег, выехал в море с Кафаром

¹ Стихи Марины Цветаевой, 1920 г.

(старый рыбак) и — поцарствовал с ним в открытом море — всласть.

Год спустя Ника, прожив все до копейки, едет на заработки, — Феодосия, родная, ты!

За последние полгода в Судаке они с сыном испытали голод, лежали в больнице Красного Креста. Их оттуда свели под руки. В результате того, что Андрей, приславший ей достаточно денег, получил их назад, вместе с приветом и благодарностью. Теперь, поправившись, она решила искать работу — частные уроки у неуспевающих.

Больше года не виделись Ника с Ириной. Сестра из сестер! Сколько за год было... Ее мытарства учительницей у людей, невероятные происшествия. Рассказы ее — глубоко в ночь.

Сережа ликует в играх с двухлетней сестрой. Инна — синеглаза, трудна, повелительна — вся кровь отца!

Поселились близко. Ника, в ответ на расклейку записок о преподавании языков, с первых же дней находит уроки: у начальников, у торговцев. Отношение — как к служанке. Впускают с черного входа, о деньгах приходится напоминать. Зато — счастье купить на свой труд — на базаре — вязочки дров и с Сережей печь на *подсолнечном масле!* олады! из серой муки! *Быть сытыми!..*

Живут — в кухонке, пол — кирпичный. Умещается два топчана, но со второго в первый же вечер сенник засунут поперек окна в норд-ост, наглухо! На одном сеннике вдвоем, как собака и щенок, согреваются! Крошечная печурка протоплена (на столе, на полу нет места!) Дверь, норд-ост рвал с петель, медленно утихала под комьями засыхавшей замазки (ее разогревали в руках, в четырех, дышали, мяли, катали, так и не отмывшись, ушли в сон) — кто-то достал и забыл этот клад замазки.

У Тани встретились с Андреем. Взволновались. Предложение о помощи. Отклонила — работаю, обошлось (не рассказывать же о голоде, лазарете, нарывах — мучать? Зачем?)

— До меня дошло, что вы у себя приютили художника и, говорят, остались должны — я бы хотел расплатиться.

— Я взяла деньги у него только раз, когда еще были ваши припасы, и он жил у меня. Не мучьтесь — не стоит! Я уж — забыла! Я ведь двужильная, с меня все как с гуся вода! Отряхнусь — и как пудель! Живу! Помог, главным образом, пароход — увез его, и хорошо сделал!

Андрей слушал со щемящей болью. *Это — его рук дело?*

Этот ее тон... Зрелей стала, горечь перекрывает все. И это ее издевательское, мастерски подаваемое веселье! и эта душа, эта рука ушла из его жизни!..

В городе бушевал сумасшедший старик. Богач, караим. Огненные, черные глаза, библейская борода.

Кричал на улицах: «Кукареку! Петушок я!» Кто говорил — притворяется... Его знали все (говорят, палата ума был... Разбросал богатство, знался с революционерами...)

В фойе кинотеатра, куда с кем-то забрела Ника, он подошел к ней.

— Красавица моя, жизнью играешь. А на сердце — темно, я вижу... — говорит он, презрительно оглядев кого-то, кто был с ней. — Дурак я, петух, а из всей толпы тебя отличил!

Голос с караимским акцентом накален — докрасна:

— Будешь жизнью играть — плохо кончишь! Это петух сказал! Помни! Ку-кка-ре-ку-у... — закричал он во всю мочь, поднял палец.

— Сядьте сюда! — сказала Ника, тяня его за рукав — к стулу возле их столика. — Слушайте! Я вам отвечу стихами. Это наш лучший поэт, Марина Цветаева:

Веселись, душа, пей и ешь!
А настанет срок —
Положите меня промеж
Четырех дорог.

Там, где во поле во пустом
Воронье да волк —
Становись надо мной крестом,
Раздорожный столб!

Не один из вас, други, мной
Был сыт и пьян.
С головою меня укрой,
Полевой бурьян.

Старик неотрывно глядел на нее пламенными библейскими очами — и качал головой.

В эти дни пал Перекоп.

Красные вошли стройно и чинно. Объявили амнистию тем, кто не успел отплыть пароходами. Люди на улицах обнимались. Максимилиана Волошина сделали комиссаром по делам искусств.

Еще висели на заборах афиши о грандиозном диверсионте, назначенном на тот день, а деньги валялись на мостовой вместе с лошадиным пометом. Воздух дрожал от гула орудий — с моря: недолет, перелет. Союзники.

Садись на пароход Андрей и Анна. Еще терзала руку

память о только что в волнении прощания уроненной литровой бутылке пресной воды — (их две принесла — Андрею и Анне) — камни пристани напились ею вместо их жажды в море... Последний подарок!.. Голова падала с плеч.

Они уезжали от родины — она оставалась. Догорали пароховые погреба, взлетевшие как отрадненские фейерверки. Еще видно — у рейда? *Дальше* уже... отошедшие пароходы. Город в огне...

Не знали на пароходах, что по городу загремела амнистия. Не видали маленьких сибирских лошадок вошедшей мирно дивизии. Но в разгар братских объятий с другого конца города входили — другие, не называя себя, зеленые? белые? — никаких «амнистий»! — непризнание распоряжений из Крымского центра. Туча двоевластия покрыла город. Город дрогнул — и притаился. Никто ничего не знал. Кого-то ловили. Где-то перерезали провода... Кто? Что происходит? Царили одни слухи.

Какая-то женщина, прибежав с детьми в кем-то покинутую квартиру, варя детям еду, жгла деловые бумаги и книги. Другого топлива не было. Дома заполнялись пришедшими.

Кто они — победители, побежденные? И кто кого победил? Шел слух (полз, вернее), что первые, хотевшие с населением мира и уже было начинавшие учреждать порядок, ведут переговоры с — пришедшими.

Чуя, что правда — у первых, своими глазами увидев обращение с какими-то пойманными, считавшими себя амнистированными, — Ника прошла ко дворцу Айвазовского (откуда отчалили его внуки, где впервые увидела она Анну) и сообщила о виденном — настоящему сибирскому штабу. Они приняли ее вести спокойно, еще были уверены, что возьмут верх, водворят порядок. Ника ушла с облегченным сердцем, но к вечеру (дополз слух), не увидев толка от переговоров, первые поднялись и на время покинули город, избегая бесплодного боя. Отошли и вторые, *подчиняясь* чьему-то приказу...

И пора перейти к концу смутных дней.

ГЛАВА 6 ЛЕОНИД

Феодосия. Осень. 1920 год. Заседанье Центропечати. Но приглашены кроме газетных работников — библиотекари, работники Политпросвета, Наробраза. Учрежденья молодые и шумные. Люди узнают друг друга «в процессе работы».

Центропечатать — небольшая, голая комната. В небольшой,

но речистой толпе Ника узнает двух: того, что в Судаке пытался продать катушки черных ниток, говорил стихи, был голодным. Пожилой. Следа нет от ниток, стихов. Деловитость, умелость, точно от века создавал государство. Деятель.

(Он тут — председатель.)

Другой — человек, виденный в дни операции Андрея в Симферополе, — нельзя было не заметить его на улице: горбатый, маленький, широкоплечий, две сильных руки на двух палочках передвигали немощные ноги. Тогда он был в студенческой фуражке. Это было два года назад.

Она запомнила его с тех дней не по одному очертанью человека-калеки: по удивительному лицу. По взгляду снизу вверх на идущих — нет, он не казался сверху вниз, а сложнее: взгляд был — сияющий. Но не блаженностью, что можно было бы озаглавить — болезнью. Взгляд был потрясающе у м а. И — готовности. Радости. Вот сочетание *этого* ее тогда поразило: одно мгновенье мимолетное, на улицах. Но она тогда была полна до краев — операцией Андрея...

Теперь это видение — ожило: оно называется Леонид Ландсберг. Он — юрист. *Теперь уж нельзя думать о ком-то другом. Он поглощает.*

Он окружен — друзья смотрят на него восхищенно. Слушают его медлительную речь — медлительна от упоенности пониманием, от дара называть вещи и состояния. От привычки, уже утомительной (было бы, если б не) — счастье, что все подвластно. (Кроме тела, ходьбы, движения.) «Ноги подвели, вот неудача какая» — без слов говорит он, одним дыханьем юмора, доброго — его главной способностью все оценивать... Как он бы определил себя?! Попытки за него это сделать предстают Нике бесплодными. Она — как и все вокруг — *слушает* Леонида. Занята любованьем этим блеском словесным, речевым талантом его, тут же радующимся, что — понимают его и — любят.

Он поднимает на человека глаза — и тому весело жить на свете! Весело, понимаете? Оттого, что *есть* Леонид! Что можно пожать ему руку, сесть рядом, слушать, что скажет. Он скажет интереснее всех, потому, что правильно, понимаете ли? *Так*, как не скажет никто. В самую точку! И (если это не обидит того) если тому захочется — он наполнит каждую фразу — ликующим юмором! (Юмором — понимаете ли?)

Ощущая себя бессильной *рассказать* Леонида, Ника постарается хоть — наружность. Шар его головы, круглой, безволосой. Зачем он его бреет (чтобы видели, что голова — круглая?) К р у г л а я, понимаете ли... (Когда забудет побрить

ее — она медленно зацветает пушком апельсиновым). Глаза? Голубые. Нет, это не синева («Васильки — глаза твои», отплывающие от Феодосии...), это — легкий цвет, а не тот, чем любят. Любованью *цветом* тут места нет. Все поглощено выражением. Леонид глядит и себя выражает, ежечасно, ежеминутно. Он не может не выражать себя, потому что выражение его, самовыражение его — адекватно его содержанию. Слиты! Это — единым дыханьем делается, нерасторжимо...

Он — с момента, когда открывает глаза до вечернего часа, на заседании Центропечати, адекватен своим словам, слова адекватны — уму. Вкус! Вот слово! Он его не говорит, он им — как умом — и как радостью — наполнил все, что он делает, чего хочет, о чем печется.

Он — с момента, как открыл глаза в этот мир — *так всем* захлебнулся, что, не раскатысь он в пять лет по паркету, не ударясь спиной, не начини расти горб, не пролежи девять лет в гипсе — детство и отрочество, — кто знает, смог ли бы он жить жизнью людей? Теперь может.

Андрей уехал! Леонида он не увидит... (как месяцами разошелся с Глебом — Евгений! Но Леонид *узнал* об Андрее, понял и полюбил). *Море* между Андреем и Леонидом... Ника принята улыбкой его в круг друзей. Все легко, все светло, все упоительно-весело, потому что *есть* Леонид!

Длинной рукой своей над искалеченным телом, над бесильем *ходить*, он раздает утешенье жить — думать — определять — утешать — восторгаться...

Вот, вот оно, слово! Не говоримое им, Леонидом: *восторг*. Точно печью в мороз, он согревает вокруг — собой. *Восторгаясь*. Разве не восторг во взгляде его, на Нику сейчас поднятом, тем движеньем симферопольским, якобы снизу вверх? Леонид ведь на четверть метра ниже самого невысокого человека! Каждой женщины, девушки, и только на голову выше головы старокрымского дога Локка, с которым ходили Андрей и Глеб... Леонид на треть метра ниже — мужчины. Он так прожил, выйдя из гипса, — много лет. (Ему столько лет, сколько Евгению, — 23 года.) Он так проживет — до конца.

Он был рассчитан на высокий рост: размер головы, размер плечей, длина рук, сильных. Его черты — высечены резцом мастера. Это лицо со статуи. Но — живое! Калека и красавец. (*Красавец*, они говорят, как смешно!)

...Неужели они расстались в тот вечер? Расстались? Но ведь он только *ее* и ждал, всю свою юность... *Расста-*

лисы! Но ведь это — до завтра, а завтра, понимае-те ли...

Завтра — не человек: музыка! Не разговор — лов мыслей и чувств. На лету! Дыханьем в о с т о р г а! Уж не разнять рук...

Ника — первая женщина в его жизни. Но ведь он ее и ждал так давно!

Ночи и вечера в каком-то далеком доме, «доме Воод», при-морском. Комнату отбирают, и Леонид на своих палочках ка-рабкается по местами ледяной улице. Товарищи помогают ему. Одну ночь он остается у Ники, без сил идти... Морозы. Ника не идет в Наробраз. Дети не идут в школу. Три дня, день и ночь не расставаясь. Пир души! Ничего до сих пор не было (так — Ника). Но не так Леонид: кубок Никиной жи-зни он *выпил*, сладчайший яд! Принял всех в себя, у нее ничего не просит, не требует верности, калека и созерцатель.

Он знает, что она с ним не будет «навек»: оторвется, превозможет (но — никогда не заменит. Измена — будет, за-мены не может быть). Но она с ним. Он — счастлив!

На работу, с работы — вместе. Медленный путь с калекой через улицы города. Гололедица. Метель валит с ног. Падает. Она силится поднять его — и не может. Падает вновь и вновь. Спокойный голос, лицом ко льду:

— Ника, *оставьте* меня! *Если любите. Я не хочу, чтоб вы мучались!* (Как убедителен...) *Я привык.* Ведь это *всю мою жизнь.* А вам — *внове.* *Ничего нельзя сделать!* Я так счаст-лив — *зачем мне, идя с вами, переживать это унижение?* (Медленно каждое слово.) *Одному мне — легче, даже с о в с е м л е г к о!* *п о н и м а е т е?* *Вы идите, а я до ползу, потихоньку.* Я *встану, не бойтесь, вот видите — я уже стою!* У меня очень сильные *руки...*

Но она плакала, *целовала* эти руки, умоляла не гнать ее, замолчать. Тогда он улыбнулся, как старший, крепко взял ее руку — и они вместе с трудом *дошли.*

Сидеть он не мог, бедренные суставы срослись. Он или полулежал, отклонившись назад, опираясь на локти, или стоял, наклонясь вперед, опираясь на палку. Шли вечера и ночи. Она в нем родила и воспитала мужчину. Она была ему — *всем.* Быть друг без друга — *томились, как бы болели.* Встретясь — *радовались до недр.* *Вдвоем был покой от всего.* Все было *совершенно понятно.* У *п о е н ь ю* не было конца!

Стихи Леонид понимал, как будто каждая строчка им на-

писана. Их приносил старокрымский Володя. Стихи, хлеб. Колл дрова. Керосина не было — ни ламп, ни свечей. Володя соорудил «Семисвечник» — в жестянке семь фитилей, и они выдвигались. Принес флакон керосину. Сережа боготворил Леонида. Как все. И еще друг его приходил — Ваня Морозов (с ним обедали по талонам в «Астории»). Он был библиотечный работник. Стали бывать вчетвером. (Нике вспоминался, как «вечный возвращенец» Ницше — Глеб, его два друга, она. Тому назад более восьми лет. У камина, вино.) Нет, вспоминать не надо.

От тех и с т и н н ы х дней с Леонидом — струилась тоска. А ты все еще стараешься, во дворце Снежной твоей Королевы, сложить из льдин слово «Вечность»? Какой мой... Нет, не Герда я твоя, андерсеновская, я не жду тебя! Все складываешь то огромное слово — и не можешь сложить? И все — каешься? А я вот — не каюсь: волна смывает волну! Но я люблю в с п о м и н а т ь сказки! Любимая Глеба была «Ледяница», там был мальчик Руди... Дева льдов. А ты все еще — «Снежную Королеву»? А мы с тобой любили «Мила и Нолли» — помнишь? Они мчались на ланях по краю пропасти — «опьянение, опьянение»... А теперь я их разлюбила, мне есть только *одно* слово: Забвение!

Часть VII

ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЗ ЖИЗНИ НИКИ.

ГЛАВА I ИСКУШЕНИЕ ОЧАГОМ

— Нельзя так жить, как я жила! — говорит себе Ника. — С такой же силой, как я тянула навстречу любви — руки, с такой же силой пора их себе — скрутить. Преодолевать эти чувства! Перестать слушать только себя — на другие сердца оглянуться! Разве я не разорвала сердце Леониду, когда оставила его? Хватит! надо *иначе* жить! Следить за собой ежечасно! Работать, растить сына! Иметь *трезвые* дружбы. Тогда в ответ на волевой шаг дня — зазвучит в душе иная музыка... И она даст силы — на все!

В звуках музыки вспыхивает иногда голос Анны — жара, миражи, метет полова с армана, — и одиноко стоит дерево на самом краю земли... И вдруг — из Парижа — письмо: *до боли* знакомый почерк, родной — Андрея, узкие буквы, перо рондо — и там его нашел — родное! Это был перечень пережитых мук на чужбине, невысказанных для рассказа. Безработица, кризис, болезни, несколько операций лица (гайморит), безденежье — и сомненья, не был ли грехом неоплатным союз с Анной... Она без конца мучается судьбой мужа! А о Нике — бесконечно благодарная память о всеильном возрождении после мук ревности и собственничества с той первой подругой, отдохновения перед новыми муками *возмездия* на чужбине...

Затем уж не испытание просто, а само Искушение входит в дом: ученик отца, теперь пожилой профессор, классик, привороженный ее умом, ее убеждениями, начинает бывать у нее. Он знал ее ребенком. Между ними — поколение. Он сед. Он сед и прелестен. *Vieux-beau*¹. Бездна ума, воспитанья, изысканности (недаром учился в Греции...) Но — язычник, но — словесный гурман. Ночи бесед.

(Есть *всегда* один миг, и не виноват искушающий, ты даешь на него согласие!) Когда этот миг наступил — не подняв

¹ Старик-красавец (*фр.*).

глаз (а он только ждал — жеста, слова...), свернула и то, и другое. Проводила его до дверей. Было три часа ночи.

Но был незримый час Вечности. Перед нею она была права. Дома его ждала жена, тревожилась, что поздно. Урывать, воровать у жизни радость общения? Ради *своей* сладости? Как с Евгением? Нет! Ради достоинства человека — эту сладость отвергнуть. А жизнь продолжала свое: колдовать... Новый друг. К ней на четвертый этаж подымался старый земский деятель, журналист, старец.

Под деревьями дома отдыха началась их дружба. Как молодой он вошел в ее жизнь. Ввел ее в свою семью. Жена — старушка, тонкая, умница, очень больная, отзывается во всю мощь сил. Ника дружит с *ними*. Множество их детей — ей чужды (почти ее поколение — у младших). Ее приходы к ним, редкие (много работы) — им праздник. А ей — в ней уже началась смута.

Новые друзья рожутся в ней, как Скупой рыцарь в сокровищах, это все тот же их «*Sturm und Drang*»¹, у которого *нет* возраста.

Она приносит им читать свои сказки. Об эфенди, о Зарэ и Фатиме, о Зорэ и Азиаатэ и многих. Скучные взрослые дети скучно слушают и пьют чай, старики загораются, как молодые! И зовут этого старика — Леонид!

Полгода сидит он у нее в кресле, среброволосая грива до плеч прекрасна, как кудри юности...

Вскоре, поболев, умирает жена старика. Ника едет вместе с ним к ней на могилу. Затем Ника получает письмо: он просит ее подождать, не рушить *сразу* его воздушные замки! Ей и ее сыну будет *лучше* покинуть бессемейную и притом бессолнечную комнату. Один из *его* сыновей переедет в *их* комнату, а они — в большую, солнечную, обжитую квартиру: тепло, уютно, готовый стол (у них прислуга), она внесет свой пай в их хозяйство, получит много всяческого тепла и уюта, будет свободна от быта, сыну будет семья — а ему, старику, — радость дружбы — жизнь позади, впереди только смерть, но она будет рядом с ним на старости его лет. Ника читает — и сердце бьется. Ей *хочется* этого! Но — ведь это у с л а д а! Ежедневный бой с — чувствами... Уход от *своей новой* духовной свободы. Но как трудно — отказать человеку его возраста, отнять у него *последнюю* мечту, платоническую! На Никиных плечах — ноша *почти* не по силам! Решить такое — и в *ту* сторону, и в *эту* — как будто умереть, немножко — или самой

¹ «Буря и Натиск» (нем.).

умереть, или дать смерть другому... О нет! — говорит она себе.— *Такие* рассуждения — лукавы! Будь ясна и чиста. И она берет лист бумаги:

«...Мой дорогой друг! *Углубитесь* в меня. В то, что Вы во мне любите. И Вы поймете,— кто, кроме Вас поймет?— мой ответ: Вы знаете мое отношение к Вам — знаю, что знаете. Вы зорки, и тонки, и опытни, и все понимаете. Мне очень по сердцу Ваш план. Я так и двинулась к Вам навстречу. Но — увы, это *но* все решает! Ваши дети, неизвестно, как все это сложится. Трудности с моим сыном. Безвозвратность такого решения (не может же Ваш сын переезжать туда и обратно...). В отношения — безоблачные пока Ваши со мною,— войдет то, от чего мы свободны — жизнь... И чтобы Вам пожалеть о предложенном? Чтобы еще маленькая морщинка легла на дорогое мне лицо? И еще: моя цыганская жизнь, со стирками ночью, с примусом — на полу, с отсутствием *дня* и *ночи*, с ночной варкой крепкого чая, с внезапными приездами друзей, с беспорядком *моим* (мне — *волшебным*) — всему этому будут подрезаны нечестивые крылья в Вашей доброй семье, а ведь я к этому, как кошка, привыкла...

Будем видеться, как виделись, если удастся — чаще. Будем мудры, осторожны, во всем — дальновидны... Я жму обе руки Вам от всего сердца... И простите мне рушение нашего общего воздушного замка!»

Года через три она жила в доме отдыха. Была осень. Листья густо шуршали на сырых дорожках. На нее вдруг напала неиспытанная ею тоска! Она металась, как будто вдруг заболел. Не понимала. Так — несколько дней.

В Москве, приехав, узнала: в те дни Леонид Вячеславович умер. От рака печени. Именно в те дни.

Она стояла над его могилой вместе с его старшей, хромой, и, должно быть, самой любимой дочерью. В ее лице что-то отцовское, и та же застенчивость взгляда...

«Нет, не может быть, чтобы он *не* знал сейчас, что со мной! (Если тогда и *не* знал, умирая, как я в эти дни — мучалась: тогда *мог* не знать, но теперь — знает!)».

Луч солнца упал сквозь листву на увядшие венки на могиле, ветерок тронул ленты, солнце пронзило темные лепестки цветка...

ГЛАВА 2 ИСКУШЕНИЕ ЮНОСТЬЮ

А жизнь шла дальше. Сереже был уже девятнадцатый год, когда в Никины дни вошел человек, двумя годами старше ее сына, занявший ее внимание надолго.

Она помнит, как, войдя в ее комнату, кем-то к ней при- сланный, в светлом поношенном полушубке, из которого вырос, от него повеяло чем-то родным, домашним. Юноша долго снимал калоши и что-то силился произнести, пока она поняла, что он — заика, и увидела его: поднятый на нее взгляд был смел, умен, радостен, и в нем ликовал заплетающийся, как заиканье, рвущийся к преодолению юмор: молчанье первой встречи, которое сейчас, вот сейчас, оно же не может иначе! он, слишком много слышав о ней, *знает* — все сейчас перейдет в дружбу! Взгляд был голубой, лицо узкое, рот — девствен? детский? — и в комнате, от рукопожатия, стало весело, они засмеялись, он рассказал о себе: шахматист, теоретик. Живет с мамой и теткой, мама — друг, тетка? смешная она! она же не понимает его, а — старается воспитать — и они снова смеются. Волосы у него сзади подстрижены (тетка велела), спереди — высоко надо лбом, густо и пышно, гребень не проберет, русые. Волнистые. Он пишет стихи.

— Маяковского любите?

Оно вылетает через судорожность заикания, повелительно.

— Ну, еще бы!

Он презирает стихи — все эти, ну, понимаете? Понимает! Через час кажется, что он никогда не выходил от нее, тут родился. Сын? Брат? И он не уходит. Когда он ушел под утро, все не попадая в калоши и ужасно над этим смеясь (а соседи спят, надо тихо, а он не может), она знала, что жизнь ей прислала *такого* друга — а был ли такой? Обожает ее, каждое ее слово — предчувствует. Все по х о ж е! Непонятно — 36, 20! Стало волшебным жить...

Женя из семьи материнской, художника, знаменитого, русского, по отцу еврей. С отцом давно врозь. Отца Женя чтит, мать — любит. Мать и тетка — революционерки. Их, детей, было двое: Дима и он, Женя, девять и восемь лет им было, когда мать, тетка и они — шла война — в красном поезде — рельсы через лед переставили — *должны* были в обход врага переехать замерзшую реку... Могли провалиться под лед. Но мальчики *знали*, что — (Дима сказал Жене) — *мы будем живы! Мы умереть не должны! Значит*, спасутся все!

И поезд *прошел* через лед. Но с той ночи Женя стал заи-

калась. Двенадцати лет умер Дима. Женя один с тех пор. В день смерти ездят к нему на могилу... (Померкнув, он замолчал. Смотрел потерявшимся взглядом.) Ника попросила сказать стихи. Заулыбался — и стал заикаться. Стихи были странные «боль — быть», бредово-филологические (может быть, похвалил бы их Евгений?..).

Женя вошел к Нике — домой, ходил с ней всюду, день за днем, месяц за месяцем. Сережа, поудивившись, привык. Он жалел Женю и уважал за непонятность его и за шахматы. Вскоре, постаравшись понять, восхитилась и Ника: он в четырнадцать лет получил первую категорию, с буквой «А»! Из Германии, он принес ей открытку тех лет. «Многоуважаемый мастер» — писали ему о его этюде — (он их печатал), хоть мастером не был тогда.

Он не любит *играть*: ведь играть можно сразу с двадцатью и с пятьюдесятью, с одним — неинтересно. Этюды, да! В них он и живет. Есть поэзия в шахматах, есть проза. Он — теоретик, поэт. (Нет, не надо, пожалуйста, ни к кому, кто увлекается шахматами!) Не к шахматистам пойдемте, куда хотите, я с вами всюду пойду!

Несколько раз увидела она его за шахматами (и кому же было вести его, чтоб понять, как не к тем, кто слыл — шахматистом, из знакомых?) Это дополнило веру в него. Один из них, на ее рассказ о нем:

— *Вы знакомы* с этим шахматистом-теоретиком? Это же г е н и й!

Она следила за с к у к о й его поведения с партнером, он ее не мог скрыть.

На обратном пути он по-детски выл, заикаясь:

— Нну, ззачем вы ммменя приввели ккк,—«нему» — не получилось, но выпаливал вдруг радостно, как из игрушечной пушки,— он же не умеет играть!

После работы Ники он уже был тут как тут, шел с ней в магазины (весь юмор быта он глотал упоенно, они *так* смеялись, это был фейерверк дня! Если ее не было — ждал. К ночи развеселялись, погружались в глубины беседы. Сережа давно спал, а они все шептались — и унимали друг друга. Стихи он понимал *удивительно*!

Весной Сережа поехал на практику. Это была первая их разлука. Жизнь помогла: она поехала на вокзал проводить его — с Женей. Как он нежно ее утешал! Как понял ее состояние! Заботливость, рассказы о детстве, все было ей на потребу, и он не ушел. Как сына в его детские годы, она уложила его и, отойдя, прибирая в комнате после отъезда сына, напевала; напевала как маленькому, пока не уснул Же-

ня... А наутро, когда она собиралась на службу — Ника работала в библиотеке, — пришла его мать.

Это была седа я весна. Сердце! Душа! Ласковость! Но она — ошибалась: она пришла к тридцатилетней женщине по благодарить за своего мальчику. Она думала, что... Ласковым смехом ее разуверив, Ника разъясняла, пыталась... Не совсем поняв, и, может быть, совсем не поняв, мать ушла — другой, радостно, увидав хоть ту комнату, где пропадал ее сын, и владелицу комнаты, Нику, которая — хоть с ней через сына! не породнилась — ей показалась — родной...

Это было — любовь? Еще раз? Если этим словом зовут неразнимание рук, неразрывное желание быть вместе, при так называемом «сходстве душ»... Да, но что помогало благополучию этого союза? Почему избежали они — столько месяцев, уже год? тех вещей, что бросают людей друг к другу? Ну, со стороны Ники — обещание, ею данное себе. А с его — ведь они уже давно сидят на диване бок о бок. Женя — юн. Инстинкты его притуплены, он немножко вроде как «ангел» (с умом демона, ироническим, и со всем протестом юности против зрелости. И юмор, острое чувство смешного, он у него в плену).

Слушая презрительные слова его, что он «не признает — поцелуя», Ника радуется, что хоть *этого* искушенья нет! «Зачем отравлять этот невинный рот?» — говорит она себе, блаженствуя в безопасной близости.

А час этот их стерег: час, когда уже *не* развести рук и когда, в сторону отменя рассуждения о *сущности* поцелуя, — абстракция и тонкости сил тяготенья перейдут в грубое колдование — практики. Не двое мудрецов будут мудрствовать вокруг поцелуя, а поцелуй научит их, «мудрецов», *своей* ошеломляющей, мудрости.

Этот день подходил: в отсутствие Жени ей думалось только о нем, и в этот день Женя не смог быть без Ники до четырех часов, когда она приходила из библиотеки, а в два часа пришел к ней в Музей.

Залами эпох палеонтологии они ходят, пойманные, и стараются, в тумане чувств, в счастья близости, он — достигать, она — уклоняться. В нем — радость, в ней — страх. Вплотную, лицом к лицу, вконец заболев друг другом.

— Но пойми, это же — невысказано... Мне тридцать шесть лет...

И каждое слово ее ликовало, что оно — ничего не значит! Ничего не весит! Что оно — пусто! Легко! (что «это» мыслимо, потому что оно уже с ними, здесь...).

— ...Потому что я почти вдвое старше тебя, почти что, и, если б это случилось — ты бы мне никогда не простил, что я бы тебя бросила. Ты — умен! Это *разбило* бы наши с тобой отношения! (говорил ли когда кто — умней?) Наконец, я обещанием связана... Себе данным! Слишком многое было в моей жизни, годы «свободы». Но это был дурной путь. Он шел в пропасть. И я обещала себе — бороться со своей природой.

— Я не чувствую твоего обещания! — сказал через гору заикания Женя, и жестом длиннопальцевой и все же мясистой руки, чуть влажной, неуловимо и как-то обаятельно-противно, тронул ее руку.

Сиянье его потемневших, синих сейчас, прозрачных, и все же чуть помутневших, глаз было...

Она тихонько, как змея кожей, содрогнулась ужасом (хоть и негодованьем уже!), что она завела себя в то, где человек *смеет*, и *вправе* так сказать ей!

Она проводила его до дверей, тяжелых дверей музейских. Она подала ему руку: «До вечера!» Он эту руку, пожав, держал, не в силах выпустить. На них кто-то взглянул, проходя. В лице Жени, очень юном сейчас, улыбающемся от сознания силы, от счастья, в глазах загипнотизированных, гипнотизирующих — было что-то такое страшное, по неперенности их сближения, почти уже происходящего, что, остатком разума вынув из его рук руку свою и закрыв за ним двери, она сказала себе — в ветер между дверных половин:

— Завела себя? — вылезай!

На Арбатской площади бушевали прохладные силы, живые. Сейчас случится что-то, что исцелит ее! Она *знала*, она шла, улыбаясь — в ветер.

— Сейчас же иди в парикмахерскую, стригись как мальчик! Красу кудрей — с плеч!

— Нет! — отвечала она себе растерянно, негодую. — *Не могу!* Лучше *что* угодно, чем это...

— Что угодно? Ну тогда ты будешь сегодня же с ним! Тридцатилетняя — с двадцатилетним! Подарок Сереже?! Знаешь, что будешь, не лги! Выбирай! *Идешь* к парикмахеру?

— Ну, если так, то иду!

Но она села в трамвай и поехала к одному старому Другу. А на его двери был замок.

Значит, суждено *самой* справиться? Маленькая сложенная записка влезает в дужку замка: «Вспомните вечером обо мне, — мне трудно!»

Ее тряс озноб. Кудри падали на пол и на халат. Голова,

яйцевидная, мальчишечья, обнажалась. Зеркала сверкали ее пропавшей красотой.

Нет, не все! Дома она надела курточку сына, сняла феодосийский протез. Наверху своих уцелело всего три зуба. Теперь она спокойно ждала его.

Но так тупа, так жадна, так тонка и упряма страсть — что он, в первый миг ахнув, в следующий — ожил, *не изменяясь* к ней. Она приготовила ему сюрприз: позвала в гости *прелестную* молодую женщину, задержала ее допоздна — чтоб поехал ее проводить, она же без него ляжет и не отойдет на звонок. Но он вернулся через десять минут, только доведя красавицу — до трамвая. В ярости на нее, он было сжал ее в объятиях. Но она вырвалась, велела ему или сейчас же идти — или спать («соседям мешаешь!»), подняла, нежно, на смех. Уложила, как маленького, развенчивая все и все засыпая юмором, ошеломив его, победив.

...Это был провал апогея их дружбы. Под гипнозом ее материнства трезвея, под натиском ее грубоватости, он стал реже бывать, дружба их стала меркнуть.

Она увидела его другими глазами. Входящая в ее тон с ним проза — озадачивала его.

— Вы с мамой, живя на *ее труд*, поступаете неблагородно. В школе вы не учились из-за заиканья. Хорошо. Сдали экзамены. Но с тех пор сели на шею двум рабочим старухам — и погоняете. Нет, погоняете: едите их еду, носите их одежду. Еще покупаете *книги* на их бедные денежки!.. Вы — лентяй. Вы — должник безответственный... У мамы опять был сердечный припадок — и вы не ударяете пальцем о палец, чтобы приносить домой *деньги*! Если мама умрет — кто даст вам хоть пять рублей на ваше барство, кому вы нужны?

Женя слушал, сжимая губы и морща лоб, — и поступил на курсы корректоров. Он их кончил, стал корректором и стал носить матери триста рублей в месяц.

Устав от ее воспитательной деятельности, он отмалчивался, остывал. И однажды:

— Конечно, я по-прежнему полон к тебе, то есть к вам, *то* есть к тебе — интересу и уважения, но... *то* чувство — прошло! Я уже не имею — любви! — он заикался.

Это было при Сереже. Должно быть, сказал — грубее, потому что — сын не смолчал:

— Вы мне, Женя, всегда были чужды — но такого я от вас не ждал! Разве так говорят с — женщиной! И — с такой, как моя мать?!

Ника стояла молча, с улыбкой. Ей было горько и стыдно за такую долгую измену сыну, за превозношение над ним, его,

может быть, тяжелой, но благородной природе Глеба — Жени. Жени, может быть, и гениального, но дефективного не в заиканьи, в чем-то душевном, в х о л о д е — под теплом обаянья, которому она так поддалась... Но она не порвала с ним, они виделись. Все реже.

ГЛАВА 3 ЕЩЕ ИСПЫТАНИЕ

В Большом зале Московской консерватории Ягья эфенди играл на скрипке знакомые Нике мелодии, и Ника погружалась в прошедшее, когда слышала его в татарской деревне Ортай, в крымской степи, где миражи... Семь лет назад. Он давно утерял ее след и не знал, что она сидит в зале. Но, слушая его музыку, она думала не о нем.

Светлые глаза с тяжелыми веками, изможденное худое лицо. Доктор Р-в, Петр Михайлович!

В начале войны 1914 года в его лечебнице лежала мать первого ее мужа. Доктор отговаривал пациентку от операции язвы, брался лечить. Ника навещала ее. Она уже рассталась с ее сыном, Глебом, но мать его любила Нику и не упрекала ее. Нику поразило сходство доктора с братом мужа, старшим сыном больной. Мать видит своих детей — иначе. Тот же взгляд светлых глаз, и тяжелые веки, и грассирующее «р». Сердце сжалось: братья, Глеб и брат его, были похожи, за это сходство она почти полюбила старшего его брата... На них был похож Петр Михайлович! Разве сходство *взгляда* может быть — внешним? Говоря с ним о болезни свекрови, она не сводила с него глаз. И когда, предчувствуя, что *улыбка* будет тоже похожа, она улыбку *увидела*, в ней узнала *их* печаль, их грацию отступления в какую-то свою, им одним ведомую тень — ей показалось, что это еще один брат их встал на ее пути. И он хотел спасти их мать от опасной операции. Ею не узнанный сын!

Странное чувство потрясло ее: «Я бы могла любить этого человека». Но беседа кончалась. Мать мужа не послушала совета, не узнала в нем самого старшего сына, дала другому врачу убедить себя в *нужности* операции — и умерла после операции, той же весной, в больнице доктора Герцена, на Никитской.

...Годы спустя Ника пришла, в смятении, к доктору Р-ву, беременная от второго мужа, любя его и не желая терять его ребенка, она была обречена видными хирургами на операцию, дитя у нее отнимавшую. Осмотрев ее, доктор Р-в отверг диагноз врачей, спас и ее, и сына. И снова — в этом свидании

с ним она испытала то же странное чувство, оно называлось все так же: «Я бы могла любить этого человека». Эта мечта подспудно прошла через весь ее второй брак. Затем умерли по ошибке врачей ее второй муж и второй ребенок. Был 1917 год.

Ее второй муж, друг ей и отец, умер на руках знаменитых московских врачей, отказавшихся делать ему операцию аппендицита: «Через три дня будет здоров». А он через девять дней погиб в муках: гной прорвался в брюшину. Ника была вне себя. Дети, брошенные на друзей, были в Крыму. Она металась от кладбища к железной дороге — не быть отрезанной от них начавшейся гражданской войной. В эти дни заболела ее старший друг, как бы мать ей — тоже аппендицитом. Больная не соглашалась ехать к врачу, в горе — на войне пропал ее муж, и ей было все равно... Но Ника не могла потерять ее! Она бросилась к доктору Р-ву. Поймет ли Петр Михайлович необычную просьбу? Она не могла остаться с больной из-за детей: задержка могла оторвать их от нее на годы. А солдаты, царские, не в силах воевать без оружия, бежали с фронта, в поездах творилось ужасное.

— Поймите меня! Выслушайте! Обещайте! Я оставлю вам телефон и адрес больной. И если она завтра не позвонит вам — поезжайте к ней *без* предупреждения, — да, лучше не позвонив, потому что *если* вы позвоните... Я — с могилы мужа, он умер от аппендицита, из-за врачебной ошибки, я верю *только* вам из врачей! Вы спасете ее. *Обещайте* мне! И я смогу ехать к детям...

Этот бред выслушав, удивленно, но добро — он обещал. Спросил фамилию ее второго мужа — эту фамилию он знает. У него есть пациент...

Она уехала. Больной стало лучше, доктору не пришлось к ней ехать. Но вскоре Ника получила от нее письмо, в нем странно вплеталось еще раз в ее жизнь — имя Петра Михайловича: «Первый, кто после Вас, сразу после Вас, сразу после Вашего выхода из кабинета доктора — в него вошел, был брат Вашего мужа. Мне это рассказала знакомая, сидевшая в приемной доктора. Я уже говорила Вам, что гордиться перед его родными, не просить помощи Вы имеете право — только за *себя*. Но у Вас его *сын*! И права не обратиться за помощью *ему* у Вас нет. Может быть, это судьба, что доктор встретил своего пациента словами: «А у меня только что была жена Вашего умершего брата». — «Жена? Какая жена?» — дверь захлопнулась, и слышавшая эти слова больше ничего не услышала»... Ника прочла. Сердце билось. Совпадение, что она прошла рядом с братом мужа, — было странно.

Рассказ ему доктора о ней, может быть, обещал что-то ее мальчику? И еще больше, может быть, взволновало ее — уже личным волнением — то, что Петр Михайлович *так* захотел помочь ей...

Но Алеша умер через шесть недель, в Коктебеле, от дизентерии — и помощь его родных не понадобилась. А память о докторе Р-ве жила — годы — с ней. Годы шли. Они были разделены гражданской войной: он — в Москве, она — в Феодосии. Встречи с людьми, годы и молодость возвратили ей любовь к жизни. Но через все в ней таилось виденье: площадь у Мясницких ворот, больница Петра Михайловича, где и квартира его (он и ночью приходил в палаты, подходил к тяжелобольным). Но ей виделся — день. Сзади хлопнула выходная дверь, она взбегает по лестнице. Сдергивает с руки замшевую перчатку, снимает с кудрей бархатную шапочку с вуалью — и она в объятиях Петра Михайловича: невеста его? Жена? Она была уверена — так будет...

А Ягья эфенди играет свою композицию «Татарин на могиле матери», и скрипка — как только он начал первые звуки этой знакомой вещи — властно воскрешают те дни: Андрей, Анна, крымская степь, национальный татарский праздник, над горизонтом — опрокинутый пароход — мираж... Прошлое! Ты живой настоящего! Будущего же не знает — никто.

Но не бледней, чем мираж над Ислам-Терекской степью, плывет над ней лицо — узкое, бледное от бессонницы ночей над больными, светлые глаза с тяжелыми веками, сходные с глазами ее первого мужа. Они смотрят в самую душу...

1926 год.

С последней встречи с доктором Р-вым прошло девять лет. Девять лет разлук, смертей, болезней, переездов, войн, разрухи, голода — и вот, как в ту весну, заболела ее родственница.

Точно не было этих лет перемен, переездов, страданий, в ее мозгу возникает имя. Петр Михайлович Р-в! Да, в мозгу. Сердце давно изменилось, утихло, научилось бороться с собой. Оно зорко и трезво (иные говорят — сухо). Но в глубине жива п а м я т ь о человеке. От которого увела Жизнь. Свершились на глазах судьбы, свершилась и ее судьба. Конечно с любовной судьбой, с поиском счастья! Книгой, где-то давно горчичной, лежит позади — прошлое. Но распахнулась вокруг — бесконечность, и — переназвалось все. Теперь, когда надо было просить помощи доктора Р-ва, был страх, что утомленный и занятой, знаменитый доктор откажет. Как его убедить?!

Ника подымалась по лестнице медленно, подготавливая словесное обращение. (Уж одно удачно — что жив! Когда

столько погубло, умерло и исчезло... Значит, еще работает? А сколько ему сейчас может быть лет? И сколько было — тогда? Этот вопрос никогда не приходил в душу...)

Звонок. Но испорчен. На стук выходит женщина:

— Я сестра доктора, но пустить вас к брату не могу.

— Занят, понимаю! Но я...

— Нет, не то чтобы занят... (замялась).

Ника глядит на нее — и нет слов. Если б была похожа! Глаза — совершенно другие... Незнакомый человек!

— Брат — болеет...

Спазм страха, что — вот сейчас откажет, страх научил, что сказать. Под натиском отчаянных слов — о его давней славе, незаменимости, о близких, лечившихся у него, и о том, как погубили врачи мать мужа, которую он бы спас, и о том, как он ее спас и сына, — женщина дрогнула. Отступила — и скрылась.

Она вернулась и что-то зашептала. Ника не слушала — рука уже была на портьере двери, заветной. *Теперь* уж не надо было учить ее, что сказать!

Она вошла к нему с бьющимся сердцем: к родному, к Другу, к Носителю Добра, к Служителю помощи людям...

Шагнула — и замерла: в кресле посреди комнаты сидел человек, совершенно неизвестный.

Так бывает во сне. Он был почему-то завит мелким барашком. И этот мелкий неизвестный барашек был — сед. Сидел человек из желтого воска, и жест, которым он показал ей — сесть, был — стеклянный. Парикмахёрская кукла, заводной механизм, страшный. Глаз не было — веки. Наполовину опущенные. Робот!

Он повернул к Нике лицо — и она поняла: сумасшедший! Но так был велик гипноз его имени, память о бывшем, что страх, что *он* может не услышать ее, он может отказать в докторской помощи, — сжал ее *сильней* ее потрясенности. Это был все-таки — он. Петр Михайлович!..

Она, как сквозь водную толщу, стала пробиваться к нему. Она старалась на него не смотреть, мимо — и рядом (точно тот, прежний, был рядом с ними — и переведет ему!).

Ника сказала все, что приготовила. Она старалась нагнетать *выражение* в слова, и она продолжала не смотреть на него — боялась того, что настанет, когда глаза встретятся — и он поймет ее страх. (Страх — чего? Его отказа? Его самого? Его — *согласия?*.. Разве *такой* может лечить?..) Но что-то, не менее безумное, чем он, держало ее, расковывало скованность помимо сознания и воли — и она выложила перед этим непонятным созданием все, что прежде горело в ней к его

докторскому таланту, к дару диагноза, о котором по Москве десятилетия шли — слухи, рассказы.

Она напомнила ему его славу, ошибку врачей, и его горение над больными — все напомнила, обо всех, когда-то связавших их. О себе, о своем маленьком сыне, потом умершем вдали. «Если б не вы, его бы зарезали еще до рожденья, он не прожил бы год и две с половиной недели, счастливо, в русском саду, в Александрове, у татарского моря под Феодосией, среди всех, кто любил его... Разве я могла забыть вас? Разве над его маленькой жизнью не было врачебной ошибки? За два часа до его смерти, когда я, уже видя ее, в отчаяньи рвала все, мною написанное, — в жертву какому-то богу, в которого я не верила, ненасытной слепой Судьбе, врач сказал: «Его надо кормить тапиокой». А он не разжимал рта!

Что-то дрогнуло — не в лице, в *позе* сидевшего. Ноги его, покрытые пледом (только теперь она увидела плед, клетчатый, как на предсмертной фотографии Ницше, на фоне ветвей, на фоне его «вечного возвращения», страшной идеи, повредившей мозг философа...), ноги переместились. И был какой-то звук: вздох? *Рот* двинулся — и сомкнулся. Она подняла глаза: ужасная своей силой жалость сметала все, только что бывшее. И в восковом лице с обтянутыми скулами она увидела взгляд. Он глядел на нее, как будто опоминаясь от сна (наркоза лет, прожитых, превративших его в — *это?*). Он сделал движенье — вперед. Рука тронула плед у колен, плед упал. Ее движенье поднять он остановил — жестом. Повелительным. Но — мягким. Его *прежний* жест! Что это? Попытка улыбки? Или — гримаса боли? Слились... В лице что-то задвигалось, точно в нем таял воск, в который он был закован. Откашлялся. Нет, не кашель. Не вздох, что-то иного свойства... Он вдруг поднял кисть руки — и замер, словно прислушивался.

Мгновенный испуг, что кто-то прервет то самое, что началось с ним, что делало его как-то отдаленно похожим — на прежнего... *Что* он слушает? Сестра? Сейчас войдет?

Она тотчас поняла ошибочность своего подозрения: он в с п о м и н а л... Слабая улыбка искала черты. Она пробивалась сквозь маску. Глаза — она их увидела! — стали теплеть, как взгляд брата мужа, волшебным и страшно соединяя чувства, когда-то ее потрясшие, и в тихом ознобе страха просыпаться в себя — прежнюю, она, как под гипнозом, смотрела в его глаза. Отречение? Да, ото всех. Но — от *этого?* Господи, да я люблю его...

— Помню! — сказал он медленно, неожиданно громко —

всех вспомнил! (его лицо торжествующе озарилось).— Все! Она умерла? У Герцена! *Зачем* сделала операцию?! (Он почти крикнул «зачем»— и в слове «операция» его «р», родной звук семьи ее первого мужа, усиленное его волнением, каркнуло, как вороний крик). Я говорил ей! Тогда еще все было цело и можно было лечить! Я мог помочь ей!..

Он привстал, он протянул руку. Время — будто — вернулось.

— У меня была *первоклассная* лечебница, все оборудование из Швеции. Из Ш в е ц и и! — каким-то весенним голосом крикнул он, и глаза его вспыхнули.— Я же сделал ей все исследования!..

Его речь полилась потоком. Он вспомнил ее, Ники, болезнь. Одиннадцать лет до того, ошибочный диагноз врачей, и что он прописал ей тогда и — диету!

— Таблетки д-ра Югурта, отличные! Белое мясо, кофе из винных ягод... Никакой операции вам! Ребенок был спасен, потом вы были у меня, когда умер ваш муж, заболела ваша подруга... Я обещал, да! Я не обманул, я бы *поехал*, но она позвонила мне и сказала...— Чем-то омрачился лоб. (Забыл, что она сказала?)— Да,— спохватился он, возвращаясь к радости памяти,— брат вашего мужа был мой пациент! Я сказал ему...

В нем проснулся не только врач! Человек... Он готов был слушать, чем *теперь* заболела родственница — рыцарь науки, спасатель стольких! Но и боль пробудилась вместе с сознанием! Уже не Ника говорила — он! Без страха увидела она, как колыхнулась портьера и просунулась голова сестры. О, уже опасности не было — теперь повелевал *он!* На лице сестры было изумленье, испуг, радость... Она кивнула Нике и скрылась.

— Сядьте! — властно сказал доктор, видя, что она привстала, и Ника села, радостно повинувшись.

Он рассказывал о себе, о своих, он горестно воскресал в рассказе: в его лечебницу пришли чужие — и все изменилось. Незнающие испортили оборудование. Потом, наверху, *послушали* его, сняли виновных, но починить аппаратуру уже было нельзя!

— Но я бы *пережил* это, я бы все равно стал работать — ведь было столько больных тогда! Мне везет — да, теперь уж не мне, но в *лечебницу* везли тифозных. И я начал лечить их... Но мой сын покончил с собой! Жена, — он тронул висок и вжал в него пальцы, — не вынесла. Она умерла через несколько дней. Вот этого, одно за другим — я не смог... Я очнулся в палате, психиатрической... Теперь — это давно уже, теперь

легче, но это не жизнь! Я — консультирую, — крикнул он, — я только иногда выезжаю, но они не могут понять, — правая рука сжала лоб, лицо затуманилось, — у нас есть одна точка в мозгу, в мозжечке, — сказал он страшно внушающим голосом, — в ней таится *вся жизнь человека*... — звук его речи перешел в шепот. — Я это знаю, понимаете? Я это знаю... — говорит он изумительно (просветленно, таинственно. Нет, это уже вдохновение...). Ника в трансе слушает его материалистический бред. Но истину ли медицинскую он глаголет, провидец — или безумец перед ней?

Король Лир под грозой!

Он пробует вступить в дикий хор мучающих его голосов жизни и смерти — возносящим (это — главное сейчас!) утверждением. И он музыкальностью (ухом) *сердца ловит* ее тон, отзывается. Но *тему* — отвергает, яростно. Нет, нет, нет, не то — не Бог! — о ш и б к а!

Нику знобит. Зуб о зуб. Из куклы ожив, бьется перед ней человеческое страдание — безысходности, беспросветные ум, душа, каторжное среди людей одиночество — целая рухнувшая жизнь!

О, мечта не обманывала ее годы — вот он! Теперь ты *можешь* спасти этого человека, годы бесплодно любимого, — только ты! Но не лги себе, что — дружбой! Не тот случай! *Всею* собой, дух и тело, отбросив борьбу с собой, *сломав* свою строгую жизнь! А, тебе жаль себя, путь свой? Толкаешь его назад, в его бездну? Нет уже силы, правды — сказать ему: «Дайте мне руку, я же давно вас люблю...» Ну, отталкивай... Но ведь Ника уже несколько лет назад дала себе слово жить ради сына, только. Растить его, во всем помогать ему, ни во что «свое», для себя — не отвлекаться...

Он что-то улавливает в ней. Следя за его мгновенно начавшимся угасанием, почти теряя сознание от страсти войти в этот дом — домой, взять этого человека на руки, преобразить, возродить ему все... она встала. Ноги едва держали. Он тоже встает. Стоит, попирая плед. Как сон, видит она парикмахерски завитую голову (так и не узнает, *зачем* — и когда...), видит любимые глаза, столько лет! Она слушает свое сердце. Сейчас она положит ему руки на плечи: «Петр Михайлович! Я вас люблю! С первого мига, когда вас увидела! В горе, вдали мысль о вас грела меня. Держала! Но я тогда не была вам нужна — а теперь... Я знаю свои силы! Все вернется! Вы станете тот, каким были!» (Но комната ходит кругами. — За *свое* счастье бьешься! Хорош твой духовный путь! Сделку предлагаешь ему! Ему — здоровье, се-

бе — счастье! За счастье отдашь правду своей новой жизни?)

...Ника слышит свой голос о выезде — если понадобится — на консилиум к больной, благодарит его. Подняла и положила на стул — плед... Дает ему пожать свою руку. От его теплого, почти нежного, пожатия что-то ухает вглубь, в ней («Еще твой!» — «*Моим уж никто не будет...*»).

Мимо сестры, глядящей на нее неуверенно (вопросительно? гневно? растерянно?), не взглянув ей в глаза, мертвой ногой — за дверь. Лестница. Та, их! По ней взбегала, в мечтах, упорных, стягивая с пальцев перчатку — в навстречу протянутые...

...Если простятся ей большие ее грехи гордыни и сластолюбия — так это за сегодняшний день!

...Шла, не разбирая пути. В Москве — 1926 год — наводнение, не пропускают, обходом. Нежданно — Молочный переулок у Зачатьевского монастыря. Мимо дверей друзей — к их ступеньке подступила с набережной вода. Трамваи стоят. Почти вечер. Далеко за Москвой-рекой — колокольный звон...

Мертвец идет по Москве.

Дома ждет человек с письмом от друга из Харькова, от Леонида. И билеты на скрипичный концерт татарской музыки в Консерватории, Ягья эфенди — «Татарин на могиле матери», «Новая Хайтарма», «Революция в музыке».

Не пойти? Дать себе *право* побыть без людей — *сегодня*? Отпустить, уговорясь на завтра, приехавшего? отговориться? Никто не дал права на такие свободы! Жизнь идет, и обижать людей потому, что тебе не может быть? Запри себя на замок — и живи!

Но она еще увидится с Петром Михайловичем, в неожиданный день! Она будет идти осенью по тропинке — навестить своих дорогих. На кладбище тихо, как в покинутом парке. Часовня, закрытая. Идет, загребая ногами — листья.

Взгляд вдруг останавливает ее. Не понимает! Точно кто-то позвал... Переводит глаза — в сером стоячем камне под стеклом — медальон. Светлые глаза под тяжелыми веками с худого лица глядят неотрывно. Они вдвоем! Еще не хочет понять, не сдастся... Черным по серому «Петр Михайлович Р-в». Слезы застлали, не видит. Рушится на колени, лбом о прутья решетки: *УМЕР! Господи Боже мой!*

ГЛАВА 4 ЕЩЕ ОБ АНДРЕЕ

Семь лет спустя от дня, когда Ника провожала на пристань Андрея и Анну Васильевну, ей судьба привела быть в Париже. Узнав, что она здесь, Андрей приехал с границ Испании, где жил со своим братом. Родители его давно умерли. (В год голода Нике удалось послать им посылку съестного, всего одну, сама жила впроголодь с сыном. Они ответили ей благодарностью.)

Встреча с Андреем на вокзале. Неузнаваем! Постарение? Да. Но глаза все такие же чудные, синие! Но не споешь о них теперь «Васильки — глаза твои!»... Другие глаза, о таких не поют песен... Кончились песни — встречи, опьянение (сказка «Мила и Нолли!»), заблуждения, расхождения... Будто *Время* остановилось в глазах этих — и не в сердце они глядят себе — в Душу!

Рукопожатье, бережный поцелуй в щеку, голос тихий, не тот. Но *тебя* познает внимательно, заново. Собственно, это не встреча: знакомство двух, на *изменение* расставшихся. (Ну как ты — за г о д ы? Где ты? Какова ты *теперь*? Годы прошли — так ли живешь, как надо? Себя — побеждаешь ли? — вот что *молча* его глаза говорили, окунувшись в ее глаза.) И то, что она *рассказать* хотела — все ее «нет» встречным, все ее «нет» — себе, что несла как победы (ибо не даром далось!), — так легко стало на вес, что — смолкло. Как-то — «язык к гортани» — перед синим молчаньем этих глаз. Все, что спросить хотела — об Анне, ж и в о п и с и его, о здоровьи, — все отзвучало, не прозвучав. День провели в тихой комнате у его друзей, оба с пути усталые (он — особенно: худ очень! Вопрос: Болен? — отвел рукой). Лежа на двух диванах, говорили о внутренних путях человека...

Собственно, Андрей — неузнаваем. Хотя так же блещут глаза. Нет, совсем иначе — другим огнем. В первый час обозначилось, что жизнь Ники — с людьми в искусстве — Андрей воспринял как свое прошлое. Он читает только философские книги, и других не надо читать — искушение. Но одобрил Никино обещание, коим себя пять лет назад связала, по своему желанью, и что держит его, что так называемой «любовью» не соблазнется — похвалил. Чужих семей не разрушает, своей хватит, не хочет. Он давно уже понял, что так. Жизнь с Анной была тяжела — потому что греховна. Когда и она поняла это — расстались. Уехала к мужу. Только этим попытались искупить. И ни словом не вспомнили Андрей и Ника про когдатошнюю *свою* любовь. На другой

день шли по обожаемому Никой Парижу — но и это отвлечение от главного он отверг, осудил. Только раз, присев на скамью под деревьями, прохладной рукой подняв прядь седую со лба Ники, он сказал, с улыбкой:

— Ах, юмор, юмор ваш... «Юмор, как привиденье»... как вы писали мне...

В утро отъезда Андрея Ника накупила ему дорожного угощения. Он принял грациозно и добро, но все это ему не было нужно — сладости передаст дочке брата... Отрешенность. Об Отрадном — ни слова, как его и не было. Он жил уже в том внутреннем мире, где не было ни дат, ни имен.

На прощанье они обнялись по-братски. И поезд его ушел...

А через несколько месяцев Нике пришло письмо от друзей из Парижа — о смерти Андрея. Он умер один: девушка-друг, за ним ходившая, ушла отдохнуть после бессонных ночей, так как у него наступило облегчение. Когда она вернулась, все было кончено: горлом хлынула кровь... Священник, его хорошо знавший, сказал, что это из всей его жизни — самый высокий образец и что Андрей изнурял себя постом, чего от больного никто не требовал.

Ника с письмом в руке рухнула у постели на колени. Все с ним пережитое проснулось в ней с небывалой силой. Единственное счастье ее жизни, так странно расплетшееся в этом пароксизме слез, всплеснулось в ней вопросом: если б не Анна — они б не расстались? Или он все же ушел от нее в этот свой путь? Ушел бы от нее — или нет? Но кто бы на это ответил? Человека такого — нет...

Из письма Ники — Леониду:

«Слушайте, Леонид! Я Вам сейчас — в ответ на это Ваше, передо мной лежащее — нежное, словно в первый день нашей встречи — письмо — расскажу один день, Вами, должно быть, забытый? такое бывает? чтобы н а ц е л о позабыть? расскажу *один* день, вернее, *один час* моей (и, как видите, Вашей) жизни... Я Вам даю, как встарь, мою руку. Держите ее, как встарь. Слушайте, как Вы эту руку — выпустили...

В гуще дня, перегруженного работой, людьми, занятиями с сыном, в гуще дня — телефонный звонок: «Леонид приехал в Москву на несколько дней, просил Вам сказать — вечером будет дома. Приедете? Сможете? Концерт Зои Лодий? После работы и до концерта успеете к нам зайти?»

Леонид! м и р рухнул! Ни осени, ни (легкой!) просту...

ды, ни — дикого ветра... День позади, озноб радости. Лечу переулком Никитской (счастье, что друг Ваш живет так близко от Консерватории!). Успею — сегодня же повидаться! С п е ш у — точно 16 лет! Над переулком высоко — два освещенных окна... Ох, как холодно! А мне — жарко!.. Уже следующий дом — Ваш!

Лестницей — через ступеньку. Звонок. Ваш голос. Кому-то на руки бросаю пальто. Но люди так мешают сейчас! Так давно не видались, сколько надо сказать, чего в письме не напишешь...

Смешные, оживленные рассказы. Задышающийся, легкий, полузастенчивый, нарочито смакующий, так давно любимый Ваш смех!..»

Смех Леонида, сотрясающий, тихо, плечи. Опершись о свою палочку, наклонив, как птица, клювастую голову, блестя льдинками пенсне, вскидывая на меня все вмиг постигающий взгляд, — точеные черты, за много лет уж чуть постаревшие. Он убедительно, с ядовитой императивностью и с медовой медленностью — что он сейчас мне скажет? Люди друг друга заняты, в комнатном гомоне мы — одни.

— Вы понимаете, Ника, — говорит он, беря длинной рукой мою руку, неотрывно мне глядя в глаза, — все, что так музыкально определилось в Вас в эти годы, эти — я сосчитал, Ника, т р и н а д ц а т ь лет, — он переживает немного, — мне стало теперь совершенно чуждо... Да, стойте! о р г а н и ч е с к и, Ника, чуждо... — упоенно настаивает он и крепко, как хозяин, сжимает мою руку. — Вы просто п е р е с т а л и, Ника, — понимаете? до самой г л у б и н ы перестали для меня быть а в т о р и т е т н о й. Вы мне больше *не* им-по-ни-руете!.. Основное Ваше для меня уже больше *не звучит!* Для меня звучит — знаете кто, Ника? Дос-Пассос, Хемингуэй, Джойс. *Всего* больше сейчас — Джойс! Вы его не читали! Я прочел его в о с х и т и т е л ь н у ю книгу — я Вас обязую ее прочесть! Вы скажете, что я пуст, Ника? Да, я пуст совершенно, — но в этой пустоте есть такая интенсия и к непустоте...

«Я стояла и слушала, Леонид: Вы пространно и лаконично (после тринадцати лет — какой! Дружбы! которая поглотила даже л ю б о в ь нашей встречи, и более неожиданно, чем если б потолок обвалился) читали мне Ваш манифест. Манифест Вашего освобождения от нашего мира. Я стояла и слушала.

О, я не изменилась в лице. Разве в этом мире просят пощады? Мария-Антуанетта — движением, которым приносила корону, бросилась под топор гильотины. Мне оставалось только повторить ее час...»

— Я знаю, Ника, все, что вы мне сейчас скажете (он улыбается, но на улыбке настаивать некогда, слишком много надо сказать). Но я наконец прерываю:

— Но я так Вас, Леонид, знаю, что вы могли бы отдохнуть, я бы за вас говорила. Мне грустно сейчас, но я стала ненавидеть трагедии, дайте мне вон то пирожное с кремом, я съем его — и пойду. Я не хочу опоздать на Зою Лодий...

— Да, да, я не все сказал. Я должен сказать вам еще одно: что, несмотря на все это, — я не хочу, Ника, чтобы вы меня — бросили!

Леонид смотрит на меня внезапно тем самым взглядом, каким смотрел на меня в нашу первую встречу:

— Я не освобождаю вас от себя. Я хочу быть совершенно свободным (упоенным звучит в устах его это слово!) — и все-таки знать, понимаете, Ника, знать твердо, что вы для меня — есть...

— До свиданья, Леонид, — говорю я, — если не хотите «прощайте!» — Я все поняла. Через двадцать лет мы еще поговорим с вами!

Он прижимает к губам мою руку, я целую его в лоб. Я бегаю по лестнице — в ледяной ветер. Противясь ему. «Вот и кончено», — говорю я себе, круто нагнув лицо, чтобы дышать, — от горечи и от ветра, и спешу, спешу очень — сейчас начнется концерт!

В вестибюле — полутемно, — только зеркала провалами в мерцании притушенных стенных канделябров.

«Опоздала...», через закрытую дверь доносился изумительный голос, — как вовремя он раздался сейчас, смирив горечь, заливая ее — другой, чудной печалью... «Час незаметно за часом проходит, дальше скользим мы по зеркалу вод...» Шуберта поет Зоя Лодий.

«Леонид! Спустя восемь лет Вы мне писали: «Забудьте, Ника! Это не я, это какой-то дурак говорил, Ника...»

Вы утвердились в своем отношении ко мне.

А затем прошло еще тринадцать лет, Леонид, и я Вам, сейчас, отвечаю. Я — никогда не менялась к Вам... Мы встретились с Вами в 1920-м...»

Годы спустя — после лет переписки — будет день, когда Леонид привезет Нике свою жену Мусю — высокую, темно-волосую, красивую. Она для него оставила мужа, а муж не смог с ней расстаться и, полюбив Леонида, долго жил с ними — возле них.

Знакомство с Мусей венчалось ночью, весенней. Она, Леонид и Ника шли по Москве, ночной, и тихо, втроем, говорили...

Это, собственно, была передача Никой Леонида — Мусе, и это была удивительная ночь... Ночь — итогов!

Этой ночью еще раз оправдалось ее одиночество, его человеческая и женская правда. Как в отказе ее переехать к тому старому другу, после смерти жены предложившему ей с Сережей помощь и кров. Как в том дне с доктором Р-вым. Как в срезанных у корня кудрях, чтобы убить тягу двадцатилетнего к тридцатилетней. Как в отдаче Андрея — Анне. Как в отдаче Леонида — Мусе, теперь.

Замысел Ники дописать важное из своей жизни шел к концу. Оставалось — встреча с Мироновым. Ей хотелось так же подробно, как дописала о Жене, вызвать в жизнь те полтора месяца, что они прожили вместе с Колей. Но — усталость. И — драгоцебно! Что-то в ней противилось — дать Морлицу те зрелые дни с Колей, такие еще недавние.

ГЛАВА 5 ЕЩЕ О МИРОНОВЕ

Ей шел тридцать девятый год. Придя домой, она узнала, что уже два раза без нее заходил «какой-то Миронов». С их разлуки было шестнадцать лет!

Он пришел. Сознался, что, не сосчитав лет, он долго ходил по переулку, не решаясь подняться.

— Я боялся, что увижу — старуху... Но я потрясен! Ты совсем молодая...

Ее молодой вид так, вправду, потряс его, что он, смеясь, должен был сесть. Сели рядом в кресло — и проговорили до света. Он был в Центре в командировке, и прожил у нее много недель. Их чувство, не прошедшее, вспыхнуло. Он хотел — брака — «Ника, пора наконец». Она рассказала ему о себе — все. Что никогда не будет она ни с кем — кончено. Он видел, что она его любит по-прежнему. Но выслушал и все понял, он был тот же самый, что и в девятнадцать лет, — не требовал от нее ничего, а только ей радовался, и никогда не любил никого, кроме нее. Он был женат на прелестной, юной, но она от него уехала и увезла их дочку. Они

где-то в Шанхае. А он — он ездит с товарищем на маленькой самодельной шхуне, назвав ее «Конек-горбунок», возит товары. Он выучился английскому, он дарит Нике две английские книги — одну честерновскую «What's wrong wight the world» (Я бы это перевел: «Что неладно с миром»...) — и на обеих он делает надписи. На первой «To my eternal friend»¹, на второй — вся страница исписана, вся душа мироновская легла на эту страницу, та самая, что заставила его выпрыгнуть на ходу с поезда — вслед за спрыгнувшей с него его собакой... («видишь, как-то уцелел!»). Та самая душа, которая промучалась тягой к *его* Нике, Миронов помог и в этом ей, не соблазнил, прислушался и поверил.

— Как ни трудно мне, — сказал он, глядя ее волосы, — но раз это так теперь для тебя стало — как бы я ни желал с тобой близости, потому что она так естественна, как дышать, есть и пить, но лучше, чтоб ее не было, чем, чтобы ты потом сочла, что это, по-твоему, было не надо и чтоб ты пожалела об этом...

И он целует ее в лоб и в глаза.

— Я уеду, я все равно уеду, далеко, я не могу жить, как все живут, в городах, и ты поедешь со мной...

— Нет, я не могу оставить моих друзей...

— Ну, мы и их возьмем! Мы будем на острове в океане, там будут розовые рыбы, и природа такая же будет странная, как все мы...

Ника смотрит на Миронова: он постарел, ни следа от черной медвежьей шерсти надо лбом, и поредели ласточкины крылья бровей, но глаза, темно-зеленые, те же, та же улыбка небольшого, нежадного рта. Проникаясь всем тем же молодым чувством его *особенности*, ни на кого непохожести (он глубже, страннее других), она замечает обаятельный стиль его речи, он отточен годами. Так они живут вместе. Все замечают ее необычайное помолодение: *тело колдует, хотя и в устах...* он не отрывает от нее глаз.

Только теперь от старшей сестры его Лели она узнает, что их бабушка была цыганка, ее увез из Грузинского хора их дед, от этого брака родился их отец. Но их мать, немка, запретила ему говорить о его цыганской крови, и только старшая из них, Леля, об этом знала, но в угоду матери Никоной не сказала из детей, что в них цыганская кровь. Коля уезжает в эти дни от Ники — на восток, к матери.

— *Вот откуда твой чудный голос, которым ты пленял всех!* Это похоже на сказку, но это — бль, — говорит ему Ника. —

¹ «Моему вечному другу» (англ.).

И, может быть, вся наша жизнь — это только песня и музыка... (Пение Анны и пение Коли, а жизнь летит, и ничего в ней нет, кроме памяти! Ничего в мире нет, кроме песен...)

В эту минуту — звонок — входит тот самый друг ее, которому Ника в памятный день с Женей вложила записку в замок, прося помощи. Он по делу, спешит. Радостно, она их знакомит. Но ее зовут к телефону.

Она идет проводить уходящего друга. Его тоже зовут Леонид.

— Леонид! Это — человек, которого я любила...— говорит она.

— Он очень хороший! Прекрасное впечатление!

(Они были вместе без нее — пять минут!)

— Кто этот человек?— восклицает в волненьи Миронов, когда она возвращается,— это какой-то Свет! Какой-то апостол Павел...

— Да! Он меня спас — от ошибки! Помог...

Поезд шел. Она, проводив Миронова, глядела вслед.

Часть VIII

МОРИЦ В ДЕЙСТВИИ

ГЛАВА I

— Конечно,— сказала себе Ника,— как я устала! Но, кажется, все хорошо?.. От всего — освобождение... Да, но как это все прочтет Мориц? У него же получится совсем неверное впечатление от г у с т о т ы этих встреч, какая-то механичность начал и концов, вереницы. Это вынудит его к неверному выводу. Значит, не он будет виноват? Я? Да. Потому что *не* повторится жизнь! Тут даны — одно за другим — болезни, исцеления. Клин, которым вышибается клин предыдущий. Но не даны (просто потому, что нет у меня времени, сил) п р о м е ж у т к и. И получается странного очертанья поезд без буферов и переходов, площадок — из вагона в вагон. Но ведь задача моего описанья встреч, чувств — сильных, сложных — противовес Морицевым. Но я не включала истории буферов!.. *Это* я растолкую ему, когда он начнет свои обвинения...

Но уже и эта тема отступала. Что-то большее всплескивалось за плечами. Сила, обретенная в законченном ею труде. Этот труд далеко перерос ее замысел! Что скажет Мориц о разделе «Преодоления»? Да он же его просто не поймет! Он ему чужд! То — что ей всего ближе! Вот в этом и есть «коренная ошибка» ее отношения к Морицу! — так сказал бы Маврикий.

Ее прожитая жизнь — Глеб! Маврикий! Миронов! Евгений! Леонид! Они подняли ее *над* ее днями с Морицем! Немного покружилась голова...

Оставалось — дать прочитать Морицу «Преодоления».

— Как я далека от того замысла, для которого начала *писать*...— сказала себе Ника,— *для него!* Ему, в лучшем случае — интересная книга, для меня получилось — освобождение! Спасибо вам, Мориц! Для другого бы — не стала воссоздавать все это — и оно бы ушло — навек... Вы во мне разбудили уснувший долг — перед прошлым!

А себе я написала — спасательный круг посреди катящихся

вокруг меня волн жизни... И я держусь за него, на воде.

Да, я дам — пусть прочтет. Но *говорить* с ним обо всем этом — я не в силах!

Прочтя конец повести, Мориц сказал Нике:

— Завтра надеюсь через того же переправить туда же, в Москву. Человек надежный...

А слухи о ликвидкоме длились.

Расставанье с Морицем ей непосильно, потому что он стал ей так близок, как сын.

Росчерк чьего-то пера — и он станет призраком... В дни, когда заговорила его каверна, когда новое горе встало впереди — его смерть...

Жест, которым Мориц молча передал ей кота Синьора, согревает ее, точно печка с раскрытой дверцей. Он понял, что с ней? С этим человеком — да, не соскучишься, но — можно пропасть, сразу — от истощения сил...

Она открывала в бюро дверь, когда услышала голос Толстяка:

— И высокая?

Хрипло отвечал голос Морица:

— Лезет вверх!

Сердце Ники замерло... Он сидел — было видно в открытую дверь бюро. На худых щеках цвел румянец. Она знала этот румянец (по брату).

— Да немного, тридцать восемь и девять... Немножко еще поработаю. Чаю налейте мне, Ника,— сказал он,— покрепче, пожалуйста... пусть немного остынет. Он сел за рабочий стол.

Ника дочитывает письмо к ней Морица:

«Тогда Ваше отношение не будет терзать меня, как это часто бывает сейчас. Я много раз говорил Вам, Ника, что иногда заботой можно погубить человека. Говорил и о деспотизме самоотречения. Думайте больше о себе, это будет мне вдвойне и тройне приятно, и плодами этих Ваших забот и я воспользуюсь».

На полях было приписано: «Вот и сегодня я лег не в 12 — из-за Вас».

Неужели последние слова — полемика? — спросила себя Ника — или он вправду ощущал, что должен лечь в двенадцать? Может быть, вдруг *понял* то, что не понимал до сих пор?

Довольно! Не надо больше в нем сомневаться! Этим его письмом какой-то цикл — завершен.

Она встает с насквозь освещенным сердцем. В нем светло — и в мире светло тоже. Она окутана тихой радостью, что теперь действительно н у ж н а ему. Как долго она этого добивалась! Какая мука была — себя в каждой мелочи дня отдавая — сомневаться именно в этом. Она изменит все — в корне. Перестанет что-либо напоминать, упрекать. Просить. Она т а к доверяет ему, что возвращает ему свободу. Как она — в сомнениях, так он мучался от ущемления свободы. Да, этого она недооценивала — страсть к свободе — самая яркая в нем черта. Он был т е р п е л и в к ней, — она этого не понимала. Теперь ясно — все. Маленькие срывы — прощать. М о л ч а терпеть их. Контрольные пункты заботы о своем здоровье в этом бешеном темпе работы — так, чтобы не погибнуть — он взялся держать в руках: «Режим исполнять б у д у. Буду с т а р а т ь с я, чтоб исключений было м е н ь ш е». Чего еще требовать от человека? Теперь он не узнает ее. Узнает, к а к и м другом она умеет быть!

Она сидит за работой. У м ее понимает, что фраза о ее заботе о себе, плодами которой и он воспользуется, — эта намеренная, им решенная ласка. Он погладил ее — как кошку. Что ж, неплохой жест: желание одарить... Конечно, тут было больше любезности, чем сути. Но на уровне его прежних выходов — это ценность. И работа ее идет хорошо. Но когда Мориц уходит в Управление, в ней — отчего? — начинается тонкая горечь. Что-то есть сейчас в нем такое, что парализует ее. Ее молчание с ним, которого — она хотела и которое должно быть радостным, — подается с удержанным вздохом... Ему неловко с нею, ей — с ним. Что за мука! Какой коротенький роздых! Ирония над собой распахивает за ее спиной — крылья! О, недобрые крылья! Наклонясь над работой, она закрывает глаза. Сжимает в себе что-то — самозащитой.

Но жест, которым он молча передал ей кота, согрел ее, точно раскрытая дверца печки. Он понял, что с ней? С этим человеком — да, не соскучишься, но — можно пропасть от истощения сил...

Она уходит к себе точно, в законный час, а они садятся играть в домино, при свече — так как опять потух свет! Но какой-то его виноватостью пожрано ее счастье от его письма.

Ника попросила Морица по-английски — сказать Матвею, чтобы он поднял доски возле его, Морица, кровати — проверить, нет ли там воды:

— If you want to be kind to me — do it — For my sake!
— Useless! — отвечал тот, — there is no water there.
And if you want to be kind — go to your work instantly¹.

И вот уже снова был маленький земной ад: грызла мысль, сделает ли это Мориц — завтра — и станет ли это ежедневной работой Матвея, пока пройдет вода, — или так и будут жить легкие Морица над гниющей под кроватью водой.

Наутро, встав рано, она увидела, что пол — сух, и все — на месте. Оттого ли, что на улице был ледок, Матвей решил, что можно не проверять воду? А ледок — как слюда, уже тает... Но добродушно обратясь к ней, Матвей сообщил, что в пятом часу он вытаскал около десяти ведер воды, а затем зашлаковал их вместилище.

— И больше воды не будет, увидите!

— Матвей, ты — умница! — восхитилась Ника. — Только ты, как я, жалеешь Морица!

— Да разве я не понимаю! — отозвался Матвей. — От воды под полом — какая польза? От ей — один вред... (И вот был снова маленький земной рай...)

Но демон сказал зорко: «А почему ты счастлива? Тебя же занимал вопрос, для твоего ли покоя Мориц велел Матвею поднять доски? Какое это имеет отношение к тому, что Матвей взял да и зашлаковал подполье?» Она вяло ответила: «Не знаю»... «То есть как не знаешь?» И она удивилась: «Почем же я — не знаю? (зорким глазом в себя), — максимальный анализ есть одновременно и минимальный, потому что стоит не дополнить одну унцию дела и — zerfallen die ganze² постройка... Потому что на месте, где должно быть сухо от верного понимания, стоит лужа ложного толкования дела, и надо анализы — эту лужу вычерпать.

И — зашлаковать... А-ах (вздых вялости) — в чем дело? Почему не хочется мне — додумать? Да потому что — потому что — после стольких унижений от Морица, стольких его неглубинных ответов и поступков со мной — полной веры в его дружбу не будет?! Но вот что ясно, — сказала себе Ника, — это то — что, раз я успокоилась, значит, главное все же не вопрос моего покоя и его отношения к нему, жестокого или не жестокого, а вопрос Морицева здоровья. Реальный вопрос, есть ли вода под Морицевой кроватью — или этой воды нет. И, если это так, —

¹ — Если хотите сделать мне приятное — сделайте. Ради меня!

— Бесполезно! (.....) здесь нет воды. И если вы хотите сделать мне приятное — идите работать немедленно (англ.).

² Разрушилось целое (нем.). (Здесь: разрушилась вся постройка.)

задумчиво продолжала Ника, — как жаль, что Мориц, такой умный, этого не понимает, упрекая меня в какой-то деспотической жертвенности.

Мориц пришел рано и велел всем кончать работать в законный час. Хотел ли он — ввиду несрочности этой работы — поиграть в домино? Все бросили, только один Худой сидел (у него была маленькая, но срочная работа). Но не будь она срочной — он бы все равно не встал по приказу Морица — чтобы показать независимость и выделиться среди других. Вопрос теперь был в том, что сделает Мориц: подождет ли, пока Худой кончит, и тогда откроет дверь перед ночью — или ляжет спать, не проветрив? Что лучше для его легких? Он только что стоял возле своей кровати, должно быть, решая этот вопрос, как она. Сердце сжалось материнской гордостью: в этой позе его, решающей, как сделать лучше, — он ей предстал весь — как слиток чистого золота, 96-й пробы. Как решит, так и будет верно! Она радостно пошла ложиться. Да, если он из мучителей — то и мученик. Должно быть, потому я, вопреки всему, — ему в е р ю... Ведь будто все пропало меж нас — и вдруг из беспощадности игл выглянуло теплое ежовое рыльце, шар развернулся, высунул голову — и оказался живым... Дышащим, пыхтящим и нюхающим. И я тоже рою почву, как еж, и чую, что меж корней — корм...

На другой день...

Проходя мимо нее, стиравшей в тамбуре (был час отдыха) его шелковую майку, он сказал сухо:

— Для чего вы это делаете? Точно нет прачечной!

— Точно вы не знаете, что в прачечной р в у т белье! — отвечала она, вспыхивая сухо, как спичка, — и ч и н и т ь его — трудней, чем стирать!

Позор э т о й причины ее заботливого труда обдал ее жаром, и жар этот был тоже позором.

— Вы всегда делаете то, что не надо... — сказал он.

Но позор его непонимания был жарче всего. Превзойти его могли — только слезы. Проглотившие все слова! Но такой детский выход из путаницы, обоюдной, слов, почему-то был невозможен (по испорченности взрослых умов и сердец заблудившихся). Кто знает — если б хватило горя заплакать — нет, горя — х в а т а л о! Если б хватило смелости слезы не задушить — раздайся они вместо слов, слезы, взявшие себе право на жизнь, — кто знает... Но ложные чувства правят нами сильнее истинных. («Вы живете, словно по раскаленной сковороде ходите...» — ей как-то сказал Мориц, пожав плечами.)

Стоя на сковороде, раскаленной, она снимала с майки

мыльную пену. Этот жест был — сплошь — пожиманье плеч: жить было н е м ы с л и м о...

Отчаяние не уметь жить с Морицем, говорить с ним, сделать себя — понятной! Шаг — и ответный удар. Что делать? И еще это его «Enough!» («хватит!») на ее просьбу, чтобы Матвей поднял половицу — при не й, чтобы она увидела, нет ли под полом — снова воды. Как можно в такое отчаяние ввергать человека — этим... «enough». Почему?.. Если эта полоска пола так ее беспокоит — неужели это так мало, что для п о к о я ее нельзя сделать о д н о движение — топором приподнять половицу — вода же сразу блеснет, если она там есть! Это же дело *минуты*...

Не тот же ли человек сказал ей о жене: «Мне лучше умереть, чем обеспокоить ее чем-нибудь!» Почему же так бить по ее материнству? Ясно: ему она н е мать! Ларчик прост! Она — самозванка... Да, но откуда же тот беглый, но ею пойманный взгляд теплоты, почти умиления, когда он, войдя неожиданно, застал ее за черпаньем — ведром — воды, которая нашла под их дом? Можно двояко отнестись к той же ее заботе? Тот взгляд — и этот удар отчуждения?

Она же так постарела за год, это о н с ней сделал, она так благодарна чему, укрепление на ее пути бесплодного служения человеку, отречение стало — п р о ч н ы м. Так как же можно за его, за отречение — удар за ударом? Да не может же этого быть!..

Мориц, убеждая ее, долго, просил оставить подпольную воду в покое: «Завтра Матвей вычерпает!» Он рассердился, пожал плечами и сел за письмо домой. Ника работала молча, упорно. Внезапно Мориц поднял лицо: оно было доброе, умиленное, почти нежное:

— Ника, я п р о ш у вас — п е р е с т а н ь т е!

Ника не сдалась. Не надо ни на что сдаваться,— сказала она себе,— только все принимать и учитывать. И помнить, что в этом человеке следующий миг сметет этот! Она смолчала.

— Право,— сказал по-английски Мориц,— ну зачем это? Тратить ваши силы на то, что Матвей легко сделает завтра! Я вас прошу!!!

— Знаете,— сказала Ника, вскипая,— уж если я не прошу вас ни о чем, не прошу о режиме будущей вашей ночи — то уж вы-то не просите меня!

Он засмеялся своим лучшим, мальчишеским смехом:

— Вы иногда совсем как маленькая девочка!

Кончив, Ника вымылась и села за свой стол.

— Уж скоро двенадцать! — сказала она в воздух.

— Знаю! Мне надо дописать письмо.

В первом часу он встал. Лицо его было жесткое, неприязненное.

— Идите спать! — сказал он. Руки его нервно собирали папиросы, конверт, перо.

«Хочет играть», — подумала Ника. Она скомкала черновики подсчетов и встала.

Наутро она повторила свою работу — набралось ведер двадцать; свое негодование, что мужчины поленились, впустили воду (недоглядели) в высушенный дом, она выражала вслух, резко. Мужчины возражали вяло, что участок затоплен.

— О чем говорить? — прервала Ника. — Можно было сделать...

Уходя, Мориц велел Матвею сделать глинный вал и сказал Нике об этом тихо, так, чтобы никто не слышал (иногда говорить по-английски они могли, не возмущая этим не знавших языка — когда интонации были «разговорные», не деловые. Обращения же короткие принимались враждебно, как явно скрывававшие смысл слов.). Этот вал Мориц подарил Нике: вклад в его здоровье.

В перерыв Ника ушла спать, сказав сорвавшееся с языка: «Еле на ногах стою». Это было не совсем правда — просто устала. Без нее никто пола не тронул. Заражаясь настроением барака, Матвей изрек: «Чего он мне дался! Велят — тогда сделаю»...

Вечером Ника при Морице сказала Матвею, что на ночь нельзя оставлять воду гнить под полом. И вдруг Мориц взорвался:

— Я вас *очень* прошу ничего сегодня не делать! — сказал он. — Довольно! Утром!

— Как оставить ее набираться — чтоб гнили доски?

— Утром. Сегодня вы их не тронете.

— Трону!

— Нет, не тронете. Я сказал Матвею, что завтра.

— Вот как! — ответила Ника. — Вы обращаете в мой каприз эту борьбу с водой, которая только благодаря вашему согласию со мной и приказу Матвею следить за ней наконец разбила их лень? Вы понимаете, что вы делаете? Подымаете меня на смех? Смеееете запрещать *мне* что-то при них, при Матвее? (Разговор опять шел по-английски.)

— Вы всегда портите то, что начали хорошо!.. — Мориц вскочил бешено. — Я это уже слышал! Я — лжец, фанфарон, грубиян, я над вами смеюсь... Хватит! Идите сейчас же кончать работу и о воде — кончено!

— Я пойду, — отвечала Ника, — но если вы так поступаете, — вы меня потеряете. — Ее голос был холоден. — Я пой-

ду, но не потому, что вы так сказали. Я воды не трону, потому что я более не имею отношения к вашему дому!

Она вышла. Правота душила ее. Она шла, не разбирая дороги. Еще в ней бушевала мысль, что он не понял ее: ему надо было дообъяснить, *что* происходит, *как* он вредит. Она вернулась. Он не хотел говорить, но она досказала свое, слово за словом... Бешеный тон спал. Они вдруг улыбнулись оба.

— Давайте не будем об этом! — сказала Ника. — Прошлое прошло. Будем о будущем.

У Морица было милое, сконфуженное лицо. Обожание этого человека сжало ее тисками.

— Чего вы от меня хотите? — спросил Мориц. — Я больше не могу глядеть на то, как вы работаете с водой. Два дня глядел, хватит!

С глаз Ники пала пелена. Сознание перегибалось под углом 180 градусов: она думала, что он за внешний мир продает ее страх за его здоровье, отдает ее в тоску и тревогу, — а это была забота о н е й... Она еле владела собой. Сын оказался сыном. Но с такой гордыней, что скрывал пружину своих действий. Что за характер!

— Видите, — сказала она, — иногда *бывает* смысл дискутировать. Можно договориться... Но, не войди я к вам с одной фразой — я была бы несчастнейшим человеком... Вы, не снизойдя объяснить, обвините *меня* в жестокости. Я подчиняюсь!

Лицо Морица было совсем новое, и бежали по нему тени... Уже хмурость. Но хоть кратко во мраке жизни, но на одно мгновение раскрылся маленький рай...

Слухи о переброске, об этапе продолжались... И Ника металась. Но говорить с Морицем наедине не удавалось. Она написала ему письмо. Разуверяла его в словах, брошенных ей на ходу: «Никуда вас не тронут. Нонсенс!» Напоминала, что *предупреждали*, что собак могут убить — он не верил... Так же не поверит ее предупреждениям? Приедет — а ее нет... И если она *нужна ему* — пусть, во-первых, *ей* это скажет, и если не скажет — будь что будет...

Письмо она передала Морицу — вечером. И полночи пролежала с «глазами в ночь», как она раз о себе написала. Утром он, проходя мимо нее, сказал по-английски:

— Ответ под вашей чертежной доской. Сейчас же его возьмите — от случайности! — И ушел в Управление.

«Для чего эти слова, — спросила себя Ника, — точно я *могла* не взять его сейчас?»

С письмом она прошла в свою от женского барака отделенную комнату. Через бумагу просвечивали чернильные строчки. Сейчас она их прочтет — и все станет уже безвозвратно!

«Какой удивительный миг,— сказала она себе, изучая себя как писатель,— внутри — ничего нет, п у с т о т а! Это миг остроты прозы! Читай! Второго такого мига уже *никогда* не будет, значит...— она пыталась определить смысл промедления,— значит, худшего, чем сейчас,— *не будет*, сейчас — самое плохое... спокойно — читай!» Она развернула листок:

«Странный Вы человек,— писал Мориц,— если Вы не нужны мне, то кому же тогда Вы здесь нужны? Вы просите, чтобы я честно ответил. Этот мой ответ совершенно честен».

Эта была, должно быть, радость — тот обух, который ударил ее... Она рухнула на колени лбом в постель.

«Спасибо,— сказала она, не зная кому,— мой сын Мориц оказался добрым и честным... (в сказке это бы сказал ангел-хранитель). Но за другим плечом горькой надменностью отозвался бы ее душе — демон: «А ведь он лукаво ответил... Даже решив согласиться на это «нужны» — он подал сие так, что только глупцу от его ответа — не горько... Чего радуешься? Что тут сказано? Тут, во-первых, *не* сказано, что ты нужна ему. Тут даже л е к с и ч е с к и написано — вчитайся! — «Вы не нужны мне» — а только спереди приставлено «если». Составлено так хитро — не подкопаешься! Как будто бы сказано, что — нужны... Если *так* хотите понять! Но ведь *продолжение* фразы *тоже* идет двойной нитью: «кому же тогда вы здесь нужны» (как не мне — подразумевается). Потому что можно понять и иначе: «Уж скорее мне, чем им, если уж кому-нибудь человек *должен* быть нужен... а впрочем, где это сказано? Человек может быть и вообще никому не нужен... это, как витающее сомнение, присуще любому составителю фразы!»

И сказано — и не сказано! Король и одет будто — и гол... «Ложь», — сказал бы сказочный ангел. Если бы он так сказал, он добавил финал: мой ответ — честен... И если так... «Легко веришь,— продолжал голос вражды,— а ведь он тебя еще и лягнул: ты, мол, здесь никому не нужна... Не забывай, пожалуйста. Хитро, и накормлена твоя требовательность — и ничего не уплачено за корм. Твое малодушие тебе шепчет успокоение. Слышу. Что у каждого человека есть особенности и с ними надо считаться? Так почему же он не считается с *твоими* особенностями?» — продолжал шептать дух сомнения.

«Нишкни! — сказал сказочный ангел устало.— Дай дочитать».

«Я ненавижу повторения,— писал Мориц,— я не приемлю ультиматумов, я от всей души стремлюсь в разговоре с вами сохранить дружеский тон...»

«Стоп,— сказал демон сомнения и иронии,— это не тогда ли, когда в ответ на вопрос «Кашу будете кушать?»— он отвечал через плечо: «Допустим»...

«...но Вы делаете все, чтобы взорвать меня,— продолжал Мориц, и резкие взрывы его почерка красноречиво взлетали над строчкой,— Вашими повторениями, Вашими спорами, Вашими преувеличениями...»

«И вот почему,— сказал неумолимо дух недоверия и осуждения,— он повторяет, на самом для тебя мучительном месте, слова свои размеренно, как дятел... чтобы тебе помочь? тебя успокоить? чтобы...»

«Ложь,— сказал сказочный ангел,— у человека такой характер, который не позволяет сказать *добрую* вещь — добро, он должен сказать — зло...»

«А кто же *мешает* ему сказать ей — добро? Кто заставляет сказать ей — зло?»— все еще не сдавался голос.

«Да ты же!»— проверял сказочный голос в умиротворявшейся, страдавшей душе Ники. Здесь полностью сказано: «Ты нужна мне»— но только с почти небесной грацией сказано, *з а с т е н ч и в о...*

«Ну, ч-т вас знает, сказал ч-т, поперхнувшись добром, как костью, с вами, людьми, с ангельскими штучками вашими сам ч-т ногу сломит».... Но это были уже не слова, а так, чуть проверяло в комнате...

Так! Все укрощено (спасительно углублено). Трезвость! И тотчас же решение: черпать воду. К демонам все сострадания, сомненья — *р а б о т а т ы*! Дав волю своей страсти подвижности, в и д и м о й деятельности, она неким психологическим чудом обрела вес, в нем — ритм дню, и все подчиняются: столы отодвинуты, вдруг кроткий Матвей и она черпают и выносят воду из-под поднятых половиц. Дверь в жилую комнату закрыта. Мориц, с утра температуривший, лег, спит. Час перерыва. Все разбрелись, не мешают. Вода уменьшается. Ника чувствует; она не отдаст Морицу написанного ему письма — все меж них тоньше и убедительней — взятого ею тона. Их дружба и *р р а ц и о н а л ь н а* — и что в ней поделает трезвый тон?! Дверь распахивается — входит Виктор. Он бросается помогать — но с водой уже кончено.

— Мне надо с вами поговорить... Вот только кончим с Матвеем уборку! Идите к Морицу, он уже проснулся... И тут же, с размаху — Жоржу, который стал на дороге: — Проходите, товарищ, вы же мешаете — разве не видите, убираем...

Тон ее обращения, «товарищ», краткое и повелительное, он не простит. Но Нике сейчас море по колено! В душе Мориц,

Сережа — оба ее сына с нею (сейчас Виктор во взлете ее благожелательности — тоже почти сын...)

Тряпки выжаты, руки вымыты.

Блаженный мир одиночества (сейчас придут все!). Сжав ладонями виски, Ника стоит, улыбаясь. Точно солнце ворвалось в день...

«Понимает ли он, что со мной делается?» — спрашивала женская душа Ники про мужскую Морицеву душу! Неужели не понимает? Какой ответ получить было хуже — она не знала. Как в глубокой простуде человек избегает кашлянуть, чтоб не изранить острым стеклом в груди, — она не додумывала, старалась не кашлянуть. Это Мориц называл «из всего делать драму». Но то *редкое* сито, через которое ему было желательнее вольно пропускать события дня, было для Ники — собственно, отсутствием сита — все можно было объяснить, оправдать при наличии права на душевную беззаконность. Тут Никино дыхание останавливалось и прекращалась жизнь... Его письмом жгло ей бок: после строки «буду стараться, чтобы исключения были редки, буду выполнять «режим», он, вместо того чтобы после срочной ночной работы лечь, по ее окончании, рано, просидел в накуренной комнате до часу за домино. Как всегда в горе, она была на высоте внешнего поведения, но головная боль обручем сжала лоб. Опять потухло электричество. Достали лампу. Накануне свеча прочадила всю комнату.

— А вы думаете, лампа меньше начадит? — спросил кто-то.

— Ну конечно. И потом, светлей же... — отвечала она, и в тамбур Матвею: — Иди, Матвеюшка, лучше за молоком, чем за керосином. Я сварю ему кашу!

Но молока Матвей не достал. С воли никто не принес. Все курили. Услышала: Мориц кашлял. Ника вошла в тамбур и тихонько открыла дверь. В густом табачном дыму, в вонючем нагаре свечей шла игра в домино. Голоса были приглушены. Мориц сидел спиной. На часах был час ночи — сердце ее стучало точно сразу во всем теле. Голова отказывалась понять — она обошла еще и еще вокруг дома. Игра продолжалась.

— Уже второй час! — сказала она, став на пороге.

— Мы сейчас кончаем, — ответил Мориц, не обернувшись.

— Здесь у ж а с н ы й воздух, — сказала она вдруг прервавшимся голосом.

— Мы проветрим...

В голосе Морица вспыхнуло какое-то тепло. Это ударом прошло по Нике: сознается в слабости, не спорит, не фанфа

ронит, попросту просит простить... Она молча вышла, шла по мосткам. Она вспомнила отца Морица, и г р о к а... Тоска прибывала, как вода под таявшим снегом. Она ушла к себе, вяло, горько перечла письмо. Она сидела и глядела на часы. Через сорок пять минут послышался шум отодвигаемых стульев. То время, что он играл после слов ей — это было уже сознательно, *через* азарт. Какая же фальшь было его уверенность, что его заботит *ее* здоровье! Если человек *мог* так поступить, дав обещание,— все объяснения бесплодны. Не подымались веки взглянуть на него, не размыкался рот.

Наутро, опасаясь, что вечером опять погаснет свет, слали Матвея во все концы зоны за керосином для лампы. Чтоб не пропали часы игры?

— А не войдет вода в тамбур?— спросила Ника Матвея.

— Не, не войдет! — уверенно отвечал он. (Чистил лампу, дышал на стекло.) Жорж ехидствовал, предвкушая игру и победу над Никой. Ника молила судьбу не дать керосину (свечи кончились).

В перерыв она ушла, без сил, прилечь. Когда вернулась — доски тамбура хлюпали по воде. Никто ничего не делал. Морица не было.

Вечер агитбригады. На этих вечерах присутствуют вольнонаемные. Слух до женщин, живущих в бараке, дошел, что сегодня будет петь солист Большого театра Сладковский. Нике и раньше его показывали — старика в лагерном облачении.

Барак. Вместо нар и «вагонок» — то есть второго этажа нар — пустота, воздух, и ряды скамеек, на которых заключенные готовятся отдохнуть, вспомнить прошлое. На первой скамье — начальство.

Сначала обычное женское пение лагерниц из уголовного мира с душещипательным воспоминанием о невинных годах детства, с рефреном «ма-ма», а на смену — что-то из чтеца-декламатора, в роде (мужской голос):

Зачем же в белом мать была?
О Ложь святая! Так могла
Солгать лишь мать, полна боязни,
Чтоб сын не дрогнул перед казнью...

Жидкие аплодисменты, шепоты, призыв к тишине. На сцене — невысоком помосте — невысокий старик в черной рубахе навывпуск и в черных штанах. Он, некогда во фраке с белой манишкой (как попавший сюда, за что? Этого в те годы не спрашивали, ибо, кроме воров, убийц, попавших за дело,—

все остальные — под именем «каэровцев» — все ни за что, по доносу или за неосторожное слово).

Что он поет сегодня, Сладковский? Он поет свою — и на воле коронную вещь, знаменитую «Клевету» Россини!

Гром негодования — невинной осужденности, составляющей силу этих известных строк, потряс стены барака:

...Клевета все потрясает
И колеблет мир земной...

Некрасивое, старческое, безбородое, истощенное лицо — вдохновенно. Он — да, в честь Россини, в честь своего учителя пения там, на заре забытой, — Мастер, солист Большого театра, поет себя, свое горе, свою невозможность быть понятым, свою погибшую жизнь.

Тот же, кто был цель гоненья,
Претерпев все униженья,
Погибает в общем мненье,
Пораженный клеветой...

И начальство, как один человек, перед ним встало, аплодируя изо всех сил — чтобы он не тянул *так* последнюю, прославленную ноту, за которую вот сейчас лопнет эта старческая жизнь — эти напряженные мышцы шеи, это багровое, задохнувшееся лицо, — но он тянет ее, пьянея от своего мастерства, служа ему так же, как своему горю и сознанию *победности* над этими людьми первого ряда, в военных мундирах. Апофеоз певца, не слушающего аплодисментов, умоляющих его — во имя *жизни* прекратить сейчас последнюю минуту пения, могущую его погубить.

Как спичка от слоя, ее зажигающего, зажглись они — об него, *так*, как может быть никогда — Большой театр от своего солиста.

Он был почти страшен сейчас, в своем неземном вдохновении, старик-лагерник перед своим начальством. Да, он был страшен, зверь в клетке, бросающий в лицо содержателям зоопарка свое обвинение им, рукоплещущим голосу, попавшему в клетку (им, бессильным изменить что-либо в стране, превращенной в грандиозный зоопарк, ибо они были лишь служителями зоопарка).

Где еще искони россиневская «Клевета» прозвучала так, от загубленного клеветой!

Он был *свободен* сейчас, *совершенно свободен*, освобожденный до срока под гром рукоплесканий...

Мориц уже второй день не давал Нике работы. Забывал ли? Не желая спросить у Жоржа, она сама себе выдумала дело: списывала цены в подсобном справочнике, сличая их с ценами крайплана. Жорж сердился на Морица, что не достал керосину. Звонили в Управление — там, оказалось, есть керосин — «пришлите за ним!». Ночью все будут сидеть за домино при лампе — над полом, где застойная вода. Торжествовать над волнением Ники о Морицевой каверне, на которую плюют, потому что она не в их груди. Перемигиваться, стараться, чтобы он проиграл! (Один вечер она была счастлива: Мориц играл спокойно, не петушась, сохраняя достоинство.)

Тяжко еще было то, что Мориц в беседе с ней брал ее тон об игре («сверху вниз»), употреблял выражение «между делом», а в яви игра была самоцелью и затмевала часы, обещания о здоровье, память о человеке, мучившимся за стеной.

В этой невольной фальши была слабость, куда менее достойная, чем скажи он просто: «Да, я азартен, не могу с собой справиться». Желание приукрасить эту слабость еще усиливало ее.

«Дальше идти по этому пути страдания некуда! — сказала себе Ника. Насильно требовать у человека — достоинства. Надо дать человеку жить, как он хочет, и посмотреть, как он живет... А каверна? А что я скажу его жене? Иногда в голове — все мешалось. Его убедительный тон: «Вы просто больны, Ника, ваше недоверие ко мне...» «Неужели он лгал? Или... но если *он* прав был — значит, она не права?» Этот бой со своей душой подкашивал силы. Полтора года *веры* Морицу, так давно осмеянной Евгением Евгеньевичем, трезвым и зорким... Она пыталась стать трезвой — сама. Но *в чем* была трезвость? В вере в него — или в насмешке над его письмами?

Она пыталась себе доказать, что Жорж вовсе не «Тинте» из Гофмана, зловеще впутавшийся в Морицево здоровье, что он «просто» — но как было «просто» объяснить, что он, с первого дня сказавший, что домино не признает и пролежавший все вечера игры — с книгой — вдруг вчера присосался к Морицевой игре? Мечта «посадить на мель Морица»? Разве в этих им нагло выраженных и нагло покинутых утверждениях не было чего-то гофмановского, гоголевского? Издательского, необъяснимого? Этот человек, невзлюбивший и тайно возненавидевший Морица, упрочившийся в бараке и на стройке, — разве это не было страницей Гофмана? И *в этом* ей надо ж и т ь!

Он! устает от *нее* — когда бы она рада каждую пылинку с него...

Он не обедал.

— Компот вам готов,— сказала она, подвигая ему тарелку супа и покрытое тарелкой второе и открывая мисочку с компотом.

— Я вижу,— раздраженно отвечал Мориц.

Почему ничего нельзя с собой сделать — в ответ на такой тон? Сразу — клубок в горле... Матвей оказался добрей Морица (впрочем, это, может быть, действовал приказ Морица — не грубить ей). Он взял топор и поднял половицу: под ней воды не было: *какая гора с плеч!*

Но прораб, которого Мориц просил прислать рабочих прокопать канаву, отвести от барака воду, не слал их. Снег все идет. Вода под крыльцом опять скапливается. Получасовая работа Матвея спасла бы дело. К приходу Морица барак будет опять на воде. И все-таки еще раз обратиться к Морицу у нее нет сил. Услышать его «Я слышал»... и, может быть — «Я же не могу бросить все дела и *этим* заняться!». Увидать еще раз сухой блеск его глаз, больных и перемогающихся (так же блестяли глаза ее брата шесть лет назад!).— Нет!..

На другой день Мориц после ужина сел играть в домино. Не одну партию и не две, а уж без счета, не прилегли и на полчаса, как умоляла Ника. По-английски привычное «Не ляжете? Совсем?» пылало у Ники на сердце и тлело на языке. Но она заставила себя промолчать: он же *знает*, как ей сейчас тяжело, так — о чем же? И *о чем* он писал: «Постараюсь разрядить исключения. Увидите, не злоупотреблю Вашим терпением. Буду держать режим». Так он — безнадежен? *Н а с л а ж д а е т с я* игрой в домино в дыму, зная, что *она* (как и жена, дома) мучается о каверне? По их сердцам ведет н о ж?..

Надо только осознать это крепко и дотерпеть до того часа, когда больше *нечем* терпеть... Она ведь *знает* себя — в прошлом (с Глебом, с Андреем) — оно станет будущим: она боится себя. Она же знает, что будет миг, когда она, не подымавшая глаз, их подымет — все выговорит — это будет прощальный взгляд. Слова будут — в прошлом (вот сейчас еще — «прошлое»...). Морицев взгляд будет в ответ одним голым стыдом (равным — бесстыдству!). (Значит, *совсем* в глубине он *не* ценит ее *веры* в него. Не стыдится стыда. Перестает (это будет — *тогда!*) быть Морицем! Тем, о ком поэму и повесть... О чем — их тяжкие отношения. Миг тот будет, в конечном счете, мигом цинического спокойствия: «Ты мне — никто. Я тебе ничем не обязан. Что мог — дал. Ты мне — не

мать (моя мать — умерла)». «Это был — не мой сын!» — скажет в тот миг та, что в повести звалась Никой. А что в этот миг жизнь померкнет — не важно будет, в сущности, никому.

И тогда пусть — переброска. Или его внезапное назначение куда-то, потому что нет устойчивой жизни в лагерях. Ее, по крайней мере, жизнь в заключении подвластна законам бреда. Но двойной веревкой жизнь ее прикрепилась тут — к чужому ей человеку, от него мучаться, от его раздражения! в полной неразберихе чувств, забот, объяснений... что это все, как не бред?

И еще — возмездие, закон: она искусилась Морицем, она преступила — *душевно!* — данный ею обет... Годы и годы отсекая личные чувства, раз осужденные ею для себя.

Что из того, что никогда бы не пошла на близость, — оттого ли, что тот обет, оттого ли, что не любит, от гордости? Какое-то сумасшедшее веретено! Душа точно полна эфиру! Легкие — не воздуху, кислороду!

Глядела на дверь: войдет. Матвей пришел с вестью, что его — к начальнику Управления. Он вскочил и пошел. Ника знала, о чем! Этап и «бронь». Он же подал заявление о ней! Независимо от результата — с п а с и б о! За то, что спешит о ее судьбе. Она смотрела на дверь, чтоб не пропустить ни секунды его лица — еще на пороге понять! Молча, она скажет ему взглядом: «Знаю, не удалось! *Не волнуйтесь!* Мне *настолько* важнее, что вы для меня *делали* сегодня, — чем... Вы не услышите от меня ни одной жалобы. Все приму, со *всем* справлюсь. Ты, со щитом или ты на щите, — мне одинаково дорог!!!»

Трудно ей было простить жизни, что, когда она на несколько минут вышла из комнаты — Мориц вошел. Она не увидела его входящим. Он был на щите: распоряжение начальника лагерного строительства, с подписью его заместителя.

Ника была *так* счастлива, что от застенчивости (не показать счастья!) сморозила глупость о «*заместитель* начальнике». Тон ее был вполне прозаичен. И тоном умученно-прозаическим победитель ответил: «Этого я не мог! Я не знаю, чего вы от меня хотите!»

В такие минуты такие недоразумения — трудно простить жизни! Мориц путем не поел: может быть, потому, что Матвей слишком грел еду — она же ходила по приказу Морица к прорабу. И вообще сейчас не хотела ухаживать за Морицем; при всех было приличней этого сейчас не делать. Понял ли он все так, как оно было? (Ведь он понял же ее идиотскую фразу о «заместителе» — сказала, чтобы что-то сказать, от счастья! — а он ответил в яви, в ужасной, ошибочной яви!..

Но как он мог ответить иначе, раз ее вопрос прозвучал? Кто, когда мог отвечать на противоположно подуманное? Получался — сумасшедший же дом...) Вечером он не ел почти. Был слишком устал и издерган.

А потом опять была ночь.

ГЛАВА 2

СЕРА

Лето двигалось, и в бараках лагерных развелись клопы. Это мешало сну, значит — работе. И вообще — непорядок. Было решено провести борьбу — капитальную: окурить бараки поочередно — серой. Поднялась невообразимая кутерьма: укладывались, как при отъезде, мешки, рюкзаки, — и каждый из них должен быть просмотрен детально — убедиться, что ни одно, даже самое крошечное, насекомое не затаилось ни в белье, ни в бумагах, ни в книгах. Тут обнаружилась резкая разница в людях, это мероприятие исполнявших: одни — небрежно, другие — дотошно (надзор над соседом, от которого потом ты будешь терпеть), третьи — терпеливо, честно, подробно — все градации между. Иные спорили: откуда клопы? Кто-то предположил, что их завезли с машиной старых досок, откуда-то взятых, или из материалов разобранных старых бараков. Обвиняли, судили, кричали. Предстояло на сутки запереть барак, замазав окна и двери, оставив тлеющую в железных подвесных корытцах — серу.

Проблемой были продукты, женой Морица припасенные, Никой понемногу привариваемые ему к обеду и ужину из его московских посылок. Куда было спасти их — от серы? Запах серы проникнет в них — погубит... на нее кричали — она задерживает начало работ, рабочие придут — что, ее ждать прикажете?

— Возится с какими-то банками!

— Бабы — известное дело!

— Так до вечера провозиться можно!

— И все с этой серой — Морицевы фантазии! — Храбро, в отсутствие его орал Толстяк. — Ничего мы выносить его вещи не будем, подумаешь, барин какой — ушел, а мы...

— Он ушел на работу! — вспыхнула Ника.

— Мне не нужна сера, — кричал Худой.

Все, устав, устраивались на ночлег: кто — под небом, кто в соседних бараках. Упав меж мохнатых пахучих сосновых веток, затихла мирная ночь. Еще много огоньков горят, едва начинают погасать...

И как только все стихло и все блаженно уснули — жизнь

состроила этой ночи — гримасу: с пожарного пункта прибежал начальник охраны, перебудил всех, наорал — матом и, под угрозой разбить стекла в окнах, потребовал немедленно потушить серу! Никакие объяснения, увещевания не помогли. Не помог дерзкий спор с ним Морица, предъявившего письменное распоряжение из Управления (этот спор слушала из окна — временного жилья — женского барака полураздетая Ника, спрятавшись за занавеской). Первым ее движением было рвануться — туда, в спор. Иногда женщине — мягким тоном — могло удасться то, что мужской аргумент и тон привел бы к обострению. Но стыд стать смешной — вмешательством, в случае неудачи Морица — остановил ее.

В конце каждой Морицевой фразы слышался упрямо, начальственно-монотонно голос неслушающего, только свое повторяющего: «Откройте двери, или я их взломаю!» (Иногда: «или выбью стекла!»)

— Попробуйте,— гремел Мориц, стоя, разгоряченный сном и спором, в пижаме, в холодной ночи. («Хоть бы пожарник устал спорить, разозлился бы,— думала Ника,— и взломал двери сам! У них же есть маски!»)

— Нет,— сказала она себе,— выдержи! Я прошу тебя — выдержи! Не иди туда! Вообрази, что тебя тут нет!

Запах серы был очень остер, а по небу шли темные струи. Их не было до сих пор!.. Дым, густой дым! Загоралось? Пожарник — не зря?! Она ускорила шаг, когда впереди, перебегая дорогу, метнулось что-то в белом — от двери барака. Гремя ведром — и отфыркиваясь...

Ника похолодела: выбежавший из замазанного глиной барака из самой гущины серы — был Мориц!

Завидев ее, он глубоко затянулся воздухом, и — голосом неузнаваемым, который он старался сделать прежним, стоявшему лениво Толстяку:

— А интересно! Совсем не дышал там... Знаете?— Он закашлялся.

— Вы были — там?— еле выговорила, переждав его кашель, Ника.

— Был! Я заливал серу. С Матвеем! — крикнул он беспомощно — и закашлялся снова.

— Да Матвей спит!.. — усмехнулся Толстяк недобро. — Чего там!..

Ника больше не слышала ничего. Она огибала барак, шла куда-то — от звука кашля: сейчас он не примет никакой лекарственной помощи! От нее — и при них! — ни за что...

— Этот кретин такой хай поднял! — сказал, появляясь

откуда-то полураздетый Худой. — Никакой опасности не было! И зачем вы, большой человек...

— Я тоже так думал! — хрипло отвечал Мориц. — Я ошибся: там загорелась сера! Как вы думаете, если бы барак вспыхнул, — вы видели клубы дыма над крышей? Кто бы отвечал за пожар? После моего отказа открыть двери! Я большой человек, да, — но я, я человек... (кашель мешал говорить, а если бы...)

— Ну пусть бы он разбивал стекла! — кричал Худой. — Пес с ним, зачем вы-то...

Мориц махнул рукой — на него, на кашель, все продолжавшийся, и пошел прочь от барака, махая и другим — уйти...

Ника шла прочь от барака — в другую сторону, не от дыма, а от людей и от Морица, не зная, куда идет. «В одну минуту можно прожить целую жизнь», — говорит где-то автор «Анны Карениной», а прошло много минут, пока Ника вернулась в комнату, пробродив по мосткам и сходя с них, спотыкаясь и «вытирая морду», как она мысленно зло о себе сказала — про свои поздние, бесполезные слезы, — платка не было, шелковой шапочкой («морда» была вся в слезах и опухшая), а они всё шли и всё шли. О чем она плакала? о вере ли своей в человека, в его обещание, о том ли, что заставила себя простоять у окна, чтобы не испытать перед людьми унижения — ценой которого она бы — *может быть*, добилась того, чтоб каверна не вскрылась, лёгкое бы не наполнилось серой! Может быть, сегодня не будет у него кровохарканья, ни завтра, но оно *будет*: через месяц, может быть? О том ли, что ее тогда с ним не будет — о той ли женщине, которая мучается в разлуке с мужем и бессильно дрожит издали — «за климат, губительный, по врачебным сведениям, даже для *второй* стадии ТБЦ»? О том, что — это *третья*? О брате, умершем от этой болезни... Может быть, о той ночи своего детства, когда, подбежав ночью к матери, увидела чайную чашку с чем-то темным, как черный кофе, но красней?.. «Кровь, — хрипло сказала мать, — позови кого-нибудь... за доктором!» Это было в марте — а в июле мать умерла. Она вспомнит все это — потом. Сейчас она уж не плачет. Иссякло! Это хорошо, что так совершенно кончается. Когда не ищешь ответов — потому, что вопросы кончились. Все так ясно. Если б Мориц сделал это — спасая оттуда ребенка... Если б он *погиб* из-за этого даже — ради ребенка! — она бы в слезах отчаяния утешала бы себя тем, что *иначе не мог* — вошел, чтоб спасти! Долг чести — и каверна не выдержала... Рана бы ее вечно со-

чилась, но возразить нечего! Тут... Ника стоит близ барака у окна, за которым час назад стояла так по-другому, полная веры в данное человеком обещанье,— и уже нет человека... Как просто! Туда вошел комок нервов, клубок петушиного гонора (надоело ему слушать крики пожарника!). О, если бы тут был Виктор, он бы не бросился — сам!

В этот миг постучали в дверь на крыльце. Ника пошла открывать. На крыльце стоял Мориц. Он был в пиджаке, темном, глядел ей в глаза.

— Вы не спите еще?— спросил он — голосом уже менее хриплым.

Ей так было трудно к нему обратиться, как если бы говорить под водой. Что-то она сказала.

— Я так полагал — что не спите! Я боюсь, вы не поняли? Сера!.. Стоило бы одному бараку вспыхнуть — от всех одна бы зола осталась: ветер! Мог я думать о здоровье? Я бы за все ответил. А люди? Оставить их без крова? И — если бы я этого не сделал, жена и дети не увидели бы меня никогда. Я бы получил второй срок.

Мориц, объясняя, долго говорил. Она — молчала.

— Есть минуты,— сказал он, когда нельзя помнить о — теле! Оно должно подчиниться. Нервная система командует, по Павлову! Если же нет — значит, тело уже не годно, и нечего о нем жалеть! Я это хотел вам сказать. А теперь — извольте ложиться, и я пойду — лечь!..— Он ушел, не прощаясь.

А Ника... В ее душе — восхищение и отчаяние... Что было из них — сильней?..

Придя в столовую к ужину, потянув воздух, Ника сказала Морицу по-английски:

— Вам лучше не ночевать еще тут сегодня, тут — кроме запаха — еще сыро...

— Я не буду ночевать здесь эту ночь,— ответил он мирно,— но я думаю, что в бюро хорошо бы вы присмотрели за ними, не доверяю их способностям водворения порядка!

— Хорошо,— отвечала она.

Матвей звал ее разбирать в тамбуре матрацы и одеяла, требуя, чтобы она унесла — все свое. Она схватила в охапку все, что могла удержать, и, так как руки больше взять не могли, сунула в уголок возле узла с чьей-то постелью то, что держала в руке — книгу с вложенными в нее листками поэмы. Забежала второй раз за тюфяком, положила книгу на стопку белья, лежавшего на скамейке, и поспешила к себе. Вернувшись, когда постелила постель, она остановилась в недоуме-

нии, тотчас перешедшим — в испуг. Не было ни книги с поэмой, ни белья, ни скамейки!.. Она метнулась обратно в барак, бросилась за Матвеем.

— Ника,— орал Толстяк,— забирайте свою посуду, а то я тут все переколочу к чертовой матери, с этими клопами!

— Да погодите вы! — отмахнулась Ника. Ужас того, что если кто-нибудь прочтет поэму — догадается о ее героях, стиснул ее тисками. Кривые страшные зеркала, в которых отразятся и талант ее, и ее мука усмешечкой «Скверного анекдота» Достоевского, потрясли ее всю в один миг. Она выскочила в ночной дождь. В самых дебрях тамбура Матвей готовился колоть дрова.

Сбивчиво, жалобно, повелительно — сразу втолковывала ему для него невнятную суть: он понял одно — искать что-то нужно. Уваженье к бумагам проникло даже в него. И когда дело было уже «на мази», и он, бросив дрова, пошел на помойку ворошить то, что с газетами и бумажками он туда выбросил, и вытащил часть упавшего на пол Никиного справочника с подмокшими листками поэмы,— Толстяк заорал во весь голос:

— Я тебе, сукину сыну, ноги переломая, если ты тут с пустяками будешь возиться! Целый день, лентяя, не было, а теперь писульки какие-то ищешь? Комнаты мести надо! По чистому натоптали — в хлеву-то чище! Книжки! Бумажки! — обернулся он к Нике.— То-то вы о работе радеете! Писульки день и ночь! Я — живо,— он задыхался,— я в два счета вам блат устрою, только шепнуть в Управлении, чем вы тут на работе заняты — а н г л и ч а н е! По помойкам бумажонки искать!..

— Да ну тебя, разорался! — кричал Худой — и тихо: — вот услышит шеф, как ты с Матвеем говоришь — да и с ней, тоже... Ну тебя,— и он «выразился».

Матвей, только что туго уразумевший, что можно и не искать бумажки — что бумажки — *не те!* за которые ему Мориц шею намылит, косо взглянул на Нику, подошел к Толстому.

Ника стояла в тамбуре и под звуки дождя, при свете, падавшем из окошка, перебирала, идя мелкой дрожью, мусор, газеты, куски затоптанной белой бумаги, листочек поэмы, сырой, но еще живой.

— А я што? Рази я знаю — бумажки? — трепал языком Матвей, поощряемый Толстяком.— Мне што? Как Мориц сказал — штоб в два щета все убрать в тамбуре,— я все захватил и понес... А куда нести? На помойку.

«Мориц! — повторила про себя Ника одним дыханием.— Нечаянно! По его приказу случилось!»

Но, должно быть, судьба решила, что на сегодня — довольно. Ника нашла большую часть листков, может быть,

вспомнит наизусть остальное? Но нацело пропала работа всего дня, так удачно сделавшая целое — из разрозненного, это уж не воссоздать меж рабочих часов, после вчерашнего дня! В каком-то *озареньи* работалось. Держа в руках мокрое, с потекшими строчками, она счастливо улыбалась: миновала опасность прочтения поэмы — посторонним. Счастье, что Матвей «схватил — и понес!». В сто раз лучше помойка, часть поглотившая, чем вынесение Морица и себя — на позор. И вдруг — разрядкой всего дня — у Ники начался смех! В первый раз она поняла, перебирая листки, что путного о женщинах, о тех — не написалось! *Жило* в поэме только двое: герой и — автор. Станным образом погибла в мусоре главка — о Женни. Порванная, но уцелела — Нора... Вернулось в прошлое, не став настоящим, все остальные тени — собственно, только наметка на них! Ну так что ж? Она уже не смеялась, все равно бы он их не признал за своих, *вины* моей нет: я так старалась. Тут она вдруг вспомнила, что ведь и белья ее — нет... Целой стопки! Она совсем позабыла о нем! *Такая* беловоронья сущность, за нее Мориц бы упрекнул ее: не словами, а тем, как он бросился бы искать белье, свое. Почему ей *все равно*, что белья нет? От усталости? Неужели его — искать? Она шарила по полу — нет ли его тут где-то. Нашла у бачка с водой затопленное кем-то, скинул — унося скамейку (не Матвей!..). *Это* ее взорвало. Раньше, чем она успела подумать: «Кто скинул мое белье, чистое, на пол?» — услышала она свой звонкий, негодующий голос.

— Кто взял скамейку?!

— Какое еще там белье! — отозвался бешеным криком Толстяк. — Вы, Ника, мне попадетесь под горячую руку — не обижайтесь!

«Значит, Морица *нет*, если он так обнаглел... — мелькнуло в ней. — Значит, Мориц уже пошел — лечь! Спит, может быть, — после бессонной ночи».

— А идите вы — в хорошее место! — крикнула Ника и подивилась мощности, бесстрашию своего голоса в борьбе с наглецом. — *Боюсь* я ваших горячих рук! — очень!

Они стояли друг против друга. Она протянула к нему свисавшее с ее рук белье, смятое, со следами земли. И внезапно Толстяк — померк. Она повернулась и пошла прочь.

«Отчего на душе мир? Оттого, что Толстяку стало жаль белья? Нет: голос Морица — она заметила — уже не был хриплым...» Она глядела в темный потолок, думала о поэме. Снова будет бессонная ночь? Ее тревожило то, что она не видела свою натуру — скульптурно: вокруг Морица не обойдешь. Что делает, например, он в природе? Ему бы — ка-

жется ей — было бы везде то душно, то неустроенно... то муки — он бы все стремился *уехать* куда-то — где лучше! Скорее всего, кабы мог — сел на пароход и уехал куда-нибудь (неосознанно!) — *средостение* к природе *видеть* ее, *чувствовать*, но от нее не зависеть, ехать на каком-нибудь механизме (интересно, сколько километров в час, марка?). Какого строения мимо плывущая гора? — и лежать не на дикой траве, а в шезлонге...

Так это в нем, *не так*? Если не так — *чем* он составляет о себе такое впечатление? (Оставляет, составляет? — и так, и так можно). *Если* это аберрация? За окном грузовая машина медленно проехала неширокой дорогой между бараками. Луч света прошел по стене.

...Мориц — изнежен? В быту — как кот Синьор: съест кусок вмиг, а моется потом полчаса! И ничего не решишь о Морице, — сама Жизнь! Только она установила, что он к ее здоровью, быту, сну — безразличен, как он входит с пакетом и — вбок глядя: не надо ли ей масла? Ему достали, а у него еще есть. Положил пакет ей на стол, точно он жег руки (запомнил ее слова Жоржу, что без мяса жить можно, без масла — нет?!)

Есть два типа, думает Ника: одни, как клюква в сахаре, он сверху, а внутри — кисло. Другие, как орех: сверху кора, а внутри — концентрат питания и вкуса. Мориц — второго типа. А как я о нем пишу? В поэму надо дать свет не менее ярко, чем тьму. Это трудно, даже Данте не удалось: «Ад» — силен, «Рай» — слаб. Зло — живописно, его каждый жест — складка тоги. А добро — застенчиво, *избегает* жеста... А у меня что в поэме: каждый темный жест дорос до трагедийности, а, по существу, с Морицем *то же, что со мной*: сердце не соглашается с моими выкладками здравого смысла о нем — как у него во *всей* его жизни.

Он движенья сердца оценивает как слабость, но не это важно. Это же опять выкладка здравого смысла — о сердце! Важно, что *действует* он по велению сердца, *не* по рассудку. Вся эта история с «балаганом», пережитая мной как удар!.. Как *непоправимое*, когда просто о б м о л в и л с я человек, потом — заупрямился. Ведь он временами сам чувствует свое мальчишество. Глупость, смешная во взрослом. А *ты* не поняла? *Вот* так — автор!

Устало работала она наутро и в перерыве взялась за поэму. Не клеилось. Мориц в бюро писал что-то, должно быть, письмо домой. По радио передавали цифровой агро-

номический материал. Ника выдернула штепсель: «Ах, это радио!» У Морица иронически дрогнула бровь, но он ничего не сказал. Позже Худой вставил штепсель — уже была музыка. Ника все продиралась сквозь дебри. Перерыв шел к концу. Зашипела-закачалась невидимая грампластинка, и голос начал цыганскую песню.

— Выключить? — спросил, привстав, непередаваемым тоном Мориц (сколько в нем было теплой, ледком покрытой игры). — Вам мешает?

Но Нике — поэма не ладилась — этот тон показался ударом.

— Можно выключить... — отвечала она с деланным равнодушием.

Пожалел ли Мориц ее, не хотел углублять «размолвку»? Он не встал, спешно кончал письмо — надписывал уже конверт. Нику и это обидело. Встань он — это бы ее взорвало.

— Я всегда подыму перчатку, помните это! — сказала она, глядя на часы — было пора работать. Цыганская песня еще длилась. Он сделал вид, что не слышал ее слов. Это произошло на другой день после того, как он, поняв, что его пояснение того, что случилось с серой, не вернуло меж ними прежней простоты, положил ей на стол записку. Причудливыми, отрывающимися от строки буквами, рвущими то пополам, то на три части слово, почерком Морица было написано:

«С Вашей фантастической нетерпимостью, которую Вы умом (а не чувством) стремитесь обуздать Вашей философией всепрощения, с Вашей угловатой прямолинейностью, с Вашим пылом судить сразу, даже по формальным признакам, Вы бы в средние века, бесспорно, были бы инквизитором. Мой рассказ Вам недостаточен. Что делать — повторять его не буду, но огорчен, что Вы не поняли. (Последние слова были подчеркнуты.) То, что я и тогда, и теперь решил заговорить первым, для меня нелегко. Но состязаться с Вами в упрямстве — излишне. Вывод один: прежде, чем судить, надо хоть спросить, что было. То, что я сделал, был мой долг. И иного выхода не было. За пожар я бы до конца жизни просидел в тюрьме».

Строки, далеко друг от друга, разбежались по простору большого листа. Ответ, написанный строчками, сжатыми туго, на маленьких листочках прямым мелким почерком Ники, гласил:

«Ваше объяснение принесло мне три вещи: 1) Нужный в поэму Ваш жест крыть козырем карту. В конечной редакции это свойство будет возведено в сан лейтмотива. Ваше самолюбие пусть не страдает. Письмо Вы писали не мне, а пря-

мо в поэму — я только рифмую его. 2) Глубокое и бесплодное сожаление, что я себя тогда у окна убеждала — не поддастся тому, что Вы назвали «пылом». Может быть, я бы вмешательством кого-то толкнула — войти вместо Вас. (Я сама. Не пострадали бы мои легкие — потому что здоровые.) Мой иронический рок Ивана-дурака, на похоронах желающего «носить — не переносить», годящееся только на свадьбе. Удержала себя там, где надо было вмешаться. Утешаюсь тем, что вряд ли Вы были бы способны на такой героизм, как без спора дать войти *мне*, другу, «женщине — помилуйте!» При людях! Была бы я или нет — результат был бы один... 3) Возросшее презрение к тем, кто дал тушить серу — Вам, больному. Интересно, что они на другой день Вас осуждали: «А Вы к нему с мелочью о здоровье! Мы ж говорили Вам — бесполезно, он такой человек! Есть люди такие — им как горюх об стену!» По существу, я не оправдываю Вас и теперь. Ваш поступок был *лучше*, чем я сочла.

Я не даю Вам советов. Лишь отвечаю на вопрос: «Что мне оставалось делать?» Вам не надо было спорить с пожарником — открыть ведь пришлось, не так ли? Может быть, если бы он сделал (открыл), он бы сказал стоящим: «Ну-ка...» И кто-нибудь бы вошел, все, может быть, сразу, один перед другим. В три ведра — в три раза короче... Побольше вобрав воздуху, спокойно и точно — я видела, как Вы вышли из клубов серы, как задохнулись, — потому и пережила то же (сердце), в ту ночь — что Ваша каверна. «Спокойно и точно» действовать, задыхаясь. «Подумаешь, как просто!» — как сказал Сайли из Честертоновского «Черверга», когда стулья его и спутника полетели вниз под пол — на слова спутника «нечто вроде винта». Вы погибнете, как Тарас Бульба за трубку, наполовину по своей воле. Помочь Вам нельзя.

Упрямство мое? Неверно. Молчу — потому что что-то во мне сломалось. Даже Ваша записка не делает меня прежней. Омертвление — уж не первый день. Неплохо с этой практикой не порывать».

Листки были исписаны с обеих сторон и по всем углам, их надо было читать в лупу.

Отдав ему свой ответ, Ника пошла к себе в барак, в каморку. Был чудный золотой час, холмы пылились солнечной пылью. Как в Римской Кампании — описанной Гоголем в отрывке романа «Рим»... Отчего не было в ней того возрождения, всегда наступавшего после каждой его козырной карты в ответ на ее очередные ему «J'accuse». («Я обвиняю» — Эмиль Золя.) Он крыл картой *той же масти, но тузом*. Они были разных мастей: домовитая зоркая забота о ее рабочем

устройстве, не раз колебавшемся, — то, что он не отпускал ее от себя (туз бубновый). Презрительная беспощадность пикового, крившая все ее добрые порывания земных забот о нем, — что составляло ритм ее горестей. Сияющее высоко обаяние его всегда застенчивой сердечности, вдруг ослеплявшей, как солнце из туч, одаряющее, воскрешающее и уже склоняющееся назад в тень, — тут была конфигурация сердца алой масти — туз червонный. Наконец, высшее из всего высокого — среди всех неточностей психологических — неизменная твердость его философии мужественности, жаждущей дела, кипящей несчетными силами, — то, из-за чего он мальчишкой ушел на фронт, что делало его капитаном «Тайфуна», то, за что завистью его ненавидели (зоя — карьеристом!) — только его Альфа и Омега — действие! (верхушка королевского — в картах — жезла — туз трефовый!) Так что же было с нею, это все понимавшей? Перед нею лежала кучка его белья, серебристо скользила игла, утверждалась заплатка, а мысли шли, шли... Нет, он не был неправ, что она простила — умом (не чувством): прощенье для нее было — стихия, такая же, как для него — действие (и у нее тоже это была действенная стихия, совсем отдельная от ума). Простить — значило кинуться служить, помогать, *исправлять* наделанное осуждением. Это был Праздник праздников! Разве *это* принадлежало уму? Разве хоть раз она *заставила* себя простить ему что-нибудь? Когда все внутри клокотало негодованьем — простить? Прощенье расцветало внутри как *дар* — страданный. И вот сейчас оно — не расцветало. Она только умом согласилась, что ему было трудно поступить иначе. Что-то с нею *стало* в ту серную ночь. Унизительность страха подойти к нему, убежденность, что он оттолкнет ее, *даже* тут, когда дело шло о спасении его легких! Прежде, после каждого паденья от удара, снова, как ванька-встанька, она *возвращала* себе равновесие — в вере, что в *этот* раз он уже не оттолкнет. В ту ночь — в самую важную, из до того бывших, — она поняла обратное: что у нее *нет* права ждать этого, что она — чужая ему. Свое унизительное бессилие вокруг этого человека она больше оправдывать не могла. *До* записки его она только, в тоске, надеялась, что он, может быть, и тут ей поможет, как столько раз помогал.

На приказ из центра о сокращении — «надеюсь, улажу» — и ладил. Что ж не ладилось тут сейчас? Поняла ли она в ту ночь несовместимость *его* главных и *ее* главных карт?

Что не уступит никто — было ясно, вывод напрашивался сам собой. Рубашки были починены, носки — тоже. Оставалась зеленая шелковая фуфаячка. Она стала вдевать нитку в

ушко, приблизив к лицу. Нитка — лилипутным канатом перечкивала очерк бараков и кусочек неба. Где-то пел тот самый голос женщины, который она не раз узнавала по радио, и песнь, ею слышанную однажды весной, тут же:

Вы-хо-ди-ла, песни заводи-ла,
Про степно-го сизого орла,
Про того-о, кото-рого лоби-ла,
Про того, чьи письма бе-регла...

Что-то тоже с ней тогда было, какая-то горесть! Забыла — какая! Так и это — забудется! Фуфаечка была кончена.

А почему это всегда было, когда она хотела все кончить — что-нибудь непременно случалось, что ее возвращало к нему! Или он получал из дому плохие вести: кто-то заболел — там, или ему хуже делалось со здоровьем, или эта история с сокращением, или как во время одной из размолвок она услышала, что пропал его любимец — пес Мишка, и она бросилась искать его везде. Не найти ему Мишку, когда она, может быть, могла это сделать, — было предательство; все же его не найдя, она, вернувшись, узнала, что Мориц тоже ходил искать его, а шел дождь, он промочил ноги, был раздражен (не было Евгения Евгеньевича, чтобы этот ее упрек услышать, понять, как он не прав. Он тогда сказал, что Мишка — это Морицева забава. Что он через неделю ему надоест — и он велит его выбросить!).

Через час — Ника сидит за столом и слушает:

— Нет, а *еще* один магазин на Кузнецком, — доглотив сладкий соус из халвы и варенья, устроенный в поллитровой банке Толстяком, говорит Худой.

Но на пороге Мориц:

— Калькуляции готовы?

От усталости дня и работы, от настороженности встреч с ним, самозащитой, должно быть, — шли перед ней сцены детства, вставали мать и умерший брат, миражи в степи под Ислам-Тереком, татарский праздник Кайран-Байрам, тот хутор, где она была счастлива — «как в раю». Медленно переворачивался, как узоры Большой Медведицы над крышей. Рождественский и Пасхальный отцовский дом, натертые паркетные (как в доме Евгения Евгеньевича — «как желтое стекло», хорошо сказал он!), знакомые книги на трех языках! бессмертные в памяти коты и собаки, уют свечей и ламп керосиновых, горящие печи, парад люстр, гостей...

Ее ласковое детство вспоминать — как пить ключевую воду. А с утра — пустыня душевная неистребимой безответной любви, оазисы мирных встреч с Морицем. Покрывшись по шею — потому что еще ночи свежи, она видела, как погасают огоньки в небе... Звезда сорвалась и потухла! Где она будет через год? В будущее глядеть так же страшно — как в небо нельзя доглядеть — отворачиваешься. А почему он все же стал ласковее? Потому что близок — конец? Расставание? А может быть, будет день, она себя спросит: «А где же был остальной мир, когда ты была с Морицем?» («Какая я буду тогда? — перебивает она себя в каком-то сердечном ужасе. — Ведь он ни за что не бросит работу, когда кончится срок, он *сросся* с ней! Он так и умрет здесь, каверна... Господи, я опять о нем думаю! Не надо! Опять не усну!») Отчего разный свет звезд?.. Мориц мало-помалу становился для нее — призрачным. Она иногда глядела на него, сидящего от нее на расстоянии метров двух-трех, — и было почти физическое ощущение огромных пространств между (как под действием опиума, это казалось де-Куинси в книге, переведенной Бодлером). В состоянии, где шли прозрачные волны, останавливаясь о то же прозрачное стекло, было место и юмору: вся «Симфония» чувств — вроде «Неоконченной симфонии» Шуберта — была ему не нужна — *совершенно*: будущее — когда он увлечется женщиной — объятье, простое и жаркое, было ему куда нужнее этих, готовых на жертвенность, чувств, хоть, может быть, та будущая *ничего* для него не захочет сделать, ни думать о нем, ни понять, а только себе из него потащит все, что удастся схватить, из последних сил человека...

Как длинна ночь, как коротки — сны! Она думала о том — его «балагане»: снимая, как пену, как шелуху, весь крикливый клоунский вздор его спора, мишуру, нищету (меняющуюся — богатством атласно-алмазного колпака с недостойными человека «помпонами»), — обнаруживалось высокое и трагическое одиночество циркового работника, строгое искусство сохранения равновесия на канате высоко над ареной, где не один принял смерть. Ежемгновенная отданность, отказ от себя — и от самого дорогого, любимого всем нутром — *гнезда*, смерть на посту, если это посту надо, непринадлежанье себе.

Как она могла не понять этого? За деревьями не увидела леса! Изучала — и не изучила, хмурия брови и щуря глаза от режущей зрение балаганной раскраски! Не поняла, что человек...

У Морица давно тихо, как хорошо, что он спит!

Большая Медведица совсем боком встала — а Полярная

звезда — вон там! Как звезды крупно дрожат! Им тоже холодно...

А когда она наконец засыпала — в ее сон легко, как через низкий порог, входил Мориц, почти каждый день. Ей было вольней с ним, чем в яви, они обычно куда-то шли, и она говорила ему о его здравии, своим языком, но смелее: «Не спорьте, вы таете, я же вижу. Когда вы год назад тут шли (она хотела сказать «месяц» — но во сне получилось год), вы были не так худы.

И он во сне был всегда к ней мягче и проникновеннее. Было ли то самовоспитание или самозащита — но она никогда не видела его во сне интимнее, чем наяву. Сон — может быть, именно потому, что мог себе все позволить, — церемонно, во всю мощь сна, спокойно — не позволял себе ничего. И во сне он никогда не подозревал ее ни в чем, как, кто знал, может быть, подозревал — наяву. Эти сны, вдруг сошедшие к ней на ночи ее бессонниц, спускались с каких-то блаженных островов, как воспоминания детства. Так — за день — она жила в двух мирах: в мире своей душевной слитости с Морицем — и в мире — жизненной, реальной необходимости.

Поэма валилась из рук, повесть — тоже. А дочка Леонида Утесова пела (из репродуктора) надтреснутым голосом упительные свои песни, и Нике казалось, что это в *ней*, в ее душе, собственной, музыка, ее нелепая, неоправдываемая, неистребимая любовь к нему...

— Мориц, — говорила она в пустоту, — со мною *о вас* — то, что с вами — о музыке — когда поет дочка Утесова. Любовь *сильнее* Разума, она его заколдовывает, — как Лорелея тех рыбаков. Что же, значит — *слаб* Разум? Нет — *сильна* Любовь. Мориц, вы никогда не будете ни мужем моим, ни ребенком, а я вас чувствую — тем и другим. Сейчас, на всегда возможном краю, что нас всех перебросят, разбросают куда-то, сломав эту хрупкую, но единственно мне с вами возможную совместную жизнь, я, как баба крепостного, вою у ног барыни, которая ее разлучает с милым. (И эта «барыня» — лагерь.) В последние дни я не могу быть во вражде с вами! Может быть — близок конец? (Если бы я не была крепка в моих внутренних — в чем я выросла — убеждениях, это могло бы привести к самоубийству.) В час прощанья оно станет *еще* сильнее — как это смешно и как страшно. (Мне — страшно, а вам — смешно?) У меня сейчас все время как 39 градусов. Будет еще и сорок, и сорок два. Сознание не потеряю, не бойтесь. Все *apparences*¹ — вам так смертельно важные — будут *соблюдены!*

¹ Приличия (фр.).

...И жизнь *потекла*, как текла. Ника глядит на подпись Морица. Свою фамилию, короткую и стремительную, — у него не хватало терпенья дописывать. Он писал начальную букву — и некое подобие следующих. Были варианты от почти до конца написанных — до бытия всего одной лишь начальной в размахе лишь перечеркнутой летящей чертой. Можно без конца глядеть на его подписи, до того они передают человека! В них все его жестокое и все его застенчивое обаяние. До чего может любовь истончиться. От вида его подписи начинается сердцебиение.

— Здравствуйте, Мориц! — говорит Ника, входя со двора в тамбур.

— Здравствуйте, — отвечает он, как всегда, по утрам, грубовато. — Эй вы, милорд! — кричит он Виктору. — Вы извольте-ка в полном порядке сдавать казенную готовальню! А вы, миледи, — он вешает полотенце, — подберите номера калькуляций, они у вас — разбросаны. А вы в сводке опять наврали (Толстяку) — так же нельзя, надо же, в конце концов, отвечать за свою работу! Когда починят *арифмометр*? Действительно! А как люди вообще считают без арифмометра?

Толстяк и его приятель сидят за срочной работой. Ника и Виктор взялись им помочь. Мориц вышел, сказал, что — ненадолго — в Управление. Щелкают арифмометры, соревнуясь треском. Распахивается дверь. На пороге — Мориц. На нем нет лица.

— Слыхали? По радио! Выключено? Выступление Молотова, — он швыряет портфель. — Германия на нас напала! Предательски!

Ника не могла вспомнить никогда, что было сразу потом — с ними со всеми! Все смешалось в общем крике и ужасе, все говорили зараз, вбежали прораб, десятники и конторщики, ждали, что еще будет по репродуктору... Она не могла вспомнить, сразу ли она сорвалась взглядом от помертвевшего Морица — к мысли: «Давно ли это было, что — вот так же, вбежал Мориц с газетой в руке — восхитясь смелостью заключить договор с Германией? Господи, что будет теперь...»

Кто-то вбежал со двора.

— Слыхали? Бомбят? Налет на Киев... Брест держится!..

— Вот сволочи! — кричит Толстяк. — Знаешь что? Сейчас бы — на передовую! Руки чешутся! Я бы их разорвал — пополам...

В этот вечер в Управлении было экстренное заседание, затянувшееся глубоко в ночь. В группе тоже поздно работали — одиноко — Худой и Толстый. Ждали вестей по радио. Но

когда Мориц, вернувшись из Управления, — входит — все уже спят...

— Устал — смертельно!

Расставанье! Оно будет, оно уже, все время есть! По знакомым широтам и высям пройдет жизнь, образ Морица начнет отступать и пылиться, только несколько дней (день разлуки *так* долог) будет нестерпимых — но вытеснятся! Будет — Жизнь. Жизнь — то есть Искусство. Страшен только тот миг, когда к нему пути отрезаются, когда не звучит ритм, безразлична строка. Когда им съеденная или не съеденная простокваша застилает на миг все. С *этим* бороться в себе! С бабьим, утробным воем на вокзалах 14-го года, когда эшелоны шли на фронт... Искусство! Это странное слово, странный родной дом, где прожитый день был вечен. Разве с этим мог сравниться *sex*¹? Что он мог предложить? О, несравненные вещи, ни на что не похожие, все пересиливающие. Да, но ведь это и было их единственное достоинство: то, что они были — сильны. Но они *проходили*. Мстили за себя: брали себя назад — с лихвой. Первое. Они были окутаны мучительной тиной стыда. Второе. Они были головокружительны, но не были благородны. Но были — щедры. И в итоге всего Ника была благодарна Морицу, что он не полюбил ее. Не дал ей испытать с ним эту чудную сладкую тину — спас ее от погружения в нее. Поселил ее в родном ей, высоком чувстве любви, обогатив его — безответностью! Круг был завершен.

Если бы ей сказали: «Слушай. Ты очень страдаешь? Хорошо! Пусть Мориц тебя полюбит *по-настоящему*. Вы в каюте «Маджестика»! И океан не качает, и нет подводных льдин, как с «Титаником», вы едете вокруг света и вернетесь в твою родную страну...») И Мориц дарит тебе бесценный подарок: Ты будешь носить и растить вместе! — его сына (и он будет в его воспитании согласен с тобой). *Ваш* земной шар: Сингапур — Таити — Каир — Шотландия — Лондон — Сиерра-Невада — Ты увидишь его за игорным столом Монте-Карло — кабачки Стамбула, леса Шварцвальда — он поддержит тебя, сводя в гондолу у сине-зеленых сводов собора святого Марка, Адриатика — ваша — и все книги, которые вы вместе прочтете, все концерты, которые вам прозвучат, — и у тебя будет лицо твоих двадцати лет! Но за это откажись от встречи, когда-либо — с сыном!» И Ника *тогда*, без мину-

¹ Секс (англ.).

ты раздумья ответила себе: «Нет!» — Значит, он не дороже тебе — всех? Значит, нет... Значит, голова не потеряна, — не все позади (впереди!) сожжено. Раз *есть* нечто, что ты не отдашь Морицу! И трагедия — не в нем одном, а в Тебе». Ее честность говорит ей: «Если так — вы квиты, не отдаете себя (хоть по-разному, все равно!) друг другу». Сердце играло: значит, *та* любовь к сыну, который так далеко, была больше этой? И все же...

Беда — грянула!

Ликвидком стал — явью. Всех женщин пересылали далеко на север, на Аван, на кирпичный завод. Мориц уже ничем не мог помочь Нике, никаким авторитетом своим у управленческого начальства.

Намечалось число этапа.

Женщины метались, укладывались.

Очень трудно не смеяться, когда Мориц улыбается лукаво, как бы приглашая на танец. Она улыбается тоже, но ему «улыбнуться» — мало! Он вызывает ее на смех — настоящий! О, он добьется! На ближайшие пять минут он это делает — целью. И он достигает ее. Ника чувствует, как все в Морице играет, как в те майские позапрошлогодние дни, ему *нужно* сейчас ее любование! («Почему это так, — несется в ней теплым и горьким вихрем, — чтобы он был *мой*, когда я *должна* от него удаляться? Как только меж нас дистанция — он делается моим? Голова кружится от этого круговорота дистанций... Мориц так явно меня *завлекает* собой сейчас!»)

Они пьют из чашек чай. Он рассказывает ей об Афинах (закрыв дверь в бюро — не мешать работать Худому, чуть ли не в первый раз засидевшемуся в перерыв...). Ника слушает как сквозь сон:

— Желто-голубой город! Пыль — желтая, розовая. Колорит Афин — забываемый (Ника помнит сходные с этим слова в рассказе об этом же городе — отца ее, в детстве — как удивительно переплетается все!).

— Эта известковая пыль — и *синее* небо! *Синее*, не голубое! И солнечные лучи — какие-то удивительные! Я был на Акрополе несколько часов — с середины дня до захода солнца. Лучшее всего там сохранился Парфенон — розовый мрамор, символ мужественности! А Эрехтейон — воплощение женственности... (на миг она перестает слушать, — смотрит!) Он белый, вообще говоря, мрамор, но, когда заходит солнце, Парфенон становится от золотистого цвета до рубинового

почти; мрамор — *живет!* А Эрехтейон проходит через все оттенки — от желто-зеленовато-синеватого до фиолетового, — глаза Морица смотрят вдаль — вот таким она его запомнит. — В Париже — вы знаете? точная копия Парфенона — он втиснут в узкие бульвары Парижа — это блекло, мертво! Без Афинского неба. Там сохранился цирк первого века, Ареопага — скала немножко ниже Акрополя... (он кладет в рот печенье, мягко откусывает его) — и, увлеченно: — Мне хотелось бы — на миг! увидеть на сохранившемся мраморном постаменте давно снятую, литую из золота, статую Афины Паллады, которая сияла далеко за пределами города под лучами Афинского солнца, — он наливает еще чая, и, отпив: — с горы Ликабет открывается чудеснейший вид на Акрополь и на Пирейскую бухту. (Причем машинам запрещено почему-то пользоваться естественными гудками, у всех — какие-то пищалки с резиновыми грушами.) Вы стоите на Акрополе — и весь город в облаке этой золотящейся пыли, и сплошной звук пищалок, последнее — очень смешно, и смешно, что у каждого магазина мальчик, который стирает с вашей обуви шелковистой щеточкой — известковую пыль. — Мориц оставляет чашку и закуривает. — Я видел изумительную вещь: я видел статую, сетями окруженную (рыбаки, пирейские), Геркулеса. Этот в полном смысле слова — шедевр, проходящий ряд химических ванн, — в одной из них я видел его лежащим и директора музея, фанатика, старика, хлопчущего вокруг него. Я был в «залах любви» — это залы, закрытые для широкой публики, вход туда — лишь по разрешению директора, научного работника — людям искусства, видящим в этом не порнографию. Это, главным образом, амфоры — фресковая тончайшая живопись, где изображена любовь во всех ее проявлениях, — и сделано это так чисто, — огромная, жизнеутверждающая сила, гимн человеческому чувству.

— Амог!¹ — говорит она, и вдруг большая теплая радость — как в тех залах радость искусства — наполняет ее. — Я *нашла* название для поэмы! — она говорит скромно, чуть поеживаясь. Я сегодня кончу переписывать! Я ее назову — Амог.

Иногда приходила в бюро с поручениями из другой колонны женщина — именем Дина, в прошлом химик. Высокая, плотная, умница, обладающая природным весельем, несмотря

¹ Любовь (*греч.*).

на свою страшную судьбу. Фамилия ее была Корнилова, и, говорили, за эту фамилию она когда-то получила срок. На воле, у мужа, остался ее семилетний сын, повсюду за матерью ходивший, за что прозвали его «Хвостинька». Муж поспешил отречься от жены.

Ей было неизвестно, что через годы — когда она увидит сына уже семнадцатилетним, стоя на пороге, он ей скажет: — Я не намерен разговаривать с врагом народа!

Однажды она вместе с деловыми бумагами принесла кошечку, совсем еще маленькую, белую с серым.

— Ее зовут Мурыся, — сказала Дина деловито, как все, что она говорила, забрала чертежи и ушла. И как-то так вышло, что Мурыся стала Никиной собственностью.

Она росла, умнела, знала, кто ее любит, кто же — нет, и в рабочие часы спала непробудным сном на Никином столе, сбоку.

Дни шли, плаваясь в месяцы. Мурыся стала красавицей необычайно изнеженного типа: каждая поза была — картина, и кокетству ее не было конца.

Но когда Ника однажды с гордостью повторила слова Морица, что Мурыся — «с а м а ж е н с т в е н н о с т ь», уборщица Лена подняла ее на смех:

— Сразу инженер виден, Мориц ваш! Женственности! Это ж кот! Еще «Мурысей» зовете!

Смущенная, не веря, Ника было бросилась в спор, но была всем хором женщин брошена на лопатки.

И стала Мурыся — котом. Не смущаясь номинальным изменениям своей судьбы, он так же изящно ловил лапами солнечные лучи, перекачиваясь на пушистой спине по дощатому полу, — и все рос, хорошея. Одной из его забав было — считать на счетах. Только раньше он проваливался лапками меж прутьев, теперь, лежа, занимая их почти целиком, цепкой белой пятерней ловил убежавшие шарики.

Так прошел год. И вот грянула весть о женском этапе.

Мурыся перестал есть. Заболел, явно. Он не сходил с Никиного топчана, не ходил к своей миске, но однажды ночью удивил: бросился на уроненный сухарь и жадно его сгрыз.

— Да не болен он, твой кот, мать! — сказала одна из женщин, подметавшая комнату. — Это он, знаешь что, — т о с к у е т!.. Понимает, что едем мы...

Никины вещи уже лежали завязанные на топчане. Она что-то читала. Вдруг Мурыся встал, прыгнул на задние лапы передние — ей на плечи, стал неистово (истово!) ласкаться, обнимая, прижимая голову о грудь, терся подбородком об нее...

— Ты гляди! Ты гляди, что делает! — говорила уборщица.

— Кабы наши мужики с нами так прощались...

Кот, оторвавшись от Ники, прыгнул на окно и выскочил в форточку. Только мелькнул пестрый хвост.

Больше его не видели.

Ника кончала перечитывать свое письмо:

«...поэму я так и не кончила. Но допишу — тогда Вы поиному прочтете ее! Тот, никакой разлукой не залечимый факт, что мы встретились...» Дальше было написано почерком спешным, трудно читаемым.

Я начала — с полуслова, так и кончу. Жизнь, Мориц, — битва близи и дали. В этот раз победила — даль. (Прыжок выше головы своей, так получилось.)»

— Вздор! — сказала Ника, перечтя. — Ему это не нужно! — И рвет листок.

Но карандаш не шел с рук, как не сходит с рук — не хочет! — ребенок.

«Я все-таки не удержалась от искушения — и разорвала мое письмо к Вам. Не жалейте меня! Жалеть за то, что человек не умер, а будет жить, — никто не умеет. Вот, Мориц, когда меня укачало — в последнюю ночь! Мне раз продували уши (вода, от купанья), меня качнуло — так далеко и чисто я все услышала!

Вот это со мной сейчас. Я вспомнила народную песнь военную — двое прощаются:

Как я твой узнаю путь?

— Все равно, — сказал он тихо, —

Напиши куда-нибудь...»

Его никто не поймет, думает она, потому, что он безумец — но он Человек! Только три пути ему было: быть дипломатом — быть правителем (соправителем?) какой-то страны — или стать человеком искусства. Он не пошел по ним — но эти три поприща в нем цветут каждый день, каждый час! Делая его в стае шумных черных ворон — непонятной белой вороной. И разорви ты, прошу Тебя, это письмо, совершенно ненужное! Он, может быть, не порвет его, и оно будет жить где-то, и кто-то его когда-нибудь — прочтет... Посмеется! Тебе это нужно? *Les paroles s'envolent, les écrits restent*¹.

Постояла, с минуту подумала — и порвала письмо на мелкие клочки, взяла другой, чистый бумажный лист...

Ночь. Часы тикают. И сверчит сверчок. На ногах Толстяка спит серый кот, любимый кот Евгения Евгеньевича. Бараны

¹ Слова улетают — написанное остается (фр. поговорка).

светлые глаза приоткрываются по временам и снова смыкаются, и лапы «велосипедят» — раз-два... Ника все-таки уснула — перед утром.

Наутро, когда солнце зажгло верх одинокой далекой горы. Спали все, измороженные прожитым днем с его страшной вестью, набираясь сил на будущее.

Гора зажглась о солнце и потухла о воздух — одна.

Разгар спешки сборов женщин к отъезду. Собираясь, кричали в голос, матерились.

Ника не успела передохнуть, когда помпобыту с членами штаба колонны появился в дверях женской комнаты и стал зачитывать фамилии отправляемых женским этапом. Именуемые — каждая отзывалась именем-отчеством.

И двинулся в путь караван обремененных — каждая — своими пожитками.

Когда Ника показала в дверях, Мориц, кивнув ей, молча взял ее чемодан и зашагал рядом с нею к вахте — все, что мог для нее сделать. Нет, он шагнул через вахту, донес чемодан до телеги с вещами. Затем церемонно поклонился, поцеловал ее руку — это уже выходило «за пределы» лагеря.

Ника протянула Морицу письмо. Он взял его бережно.

Проводив Нику, Мориц возвратился в барак. Кидает кепи, думает: поработать? Но чувствует: нет сил! Сейчас он прочтет письмо, — некогда было! Ничего сперва не поняв, останавливается над рабочим столом — письмо начиналось с постскриптума:

«Это не письмо, Мориц, — писала Ника, — письмо имеет цель, ее у меня нет. Жалеть меня надо не за то, что я — слабая, а за то, что — сильная. А сильного никто не жалеет, и слабые живут за наш счет. Пожалейте меня за то, что я даже в таком горе — все-таки люблю жизнь».

Он откашливается, наливает себе крепкого чая, снова читает:

«Я так верила в Вашу мощь... сказочная вера! Что Вы никогда меня не оставите! Пишу и не верю, что Вы завтра войдете — и не будет меня. Ведь ни разу не было, чтобы Вы не опрокинули все, не сделали все по-своему!» Листок дрогнул в Морицевой руке. «Теперь — все опрокинулось! — сказал он скорее скрипом зубов, чем словами»...

«Если я письмо порву — Вы его не получите... Письмо мокрое, его надо *сушить*. Я сейчас понимаю, что отсылают от Вас. С той силой, с какой Вы бы пожалели меня, если бы я сейчас умерла, — пожалейте меня, что я буду жить. Но вы любите молчание — я и тут проиграю — потому, что пишу Вам. Прощайте, Мориц. Мне хочется сказать Вам многое, что

я не сказала. Но что мне делать с тем, к чему я сейчас пламенею — Вашим *здоровьем*? Я еду, а Вы гаете, желтеете, сохнете, Вы опять ляжете и сегодня, и завтра в три часа ночи, и никто не принесет Вам ночью чая и какой-то еды, как я приносила... (Но что проку — there is no use crying over spilt milk.¹)

Вы правы! Поставим здесь спартанскую точку. И порвите эти бредовые строки.

Ника».

Пальцы еще держали листок. Он складывает письмо. Луч прожектора омывает стены и потолок. Он пересекает светом — раз, и еще раз, и еще — ходящего по помещению человека, столы с чертежами. Горит и на миг смиряется перед прожектором — лампа. Исчез! Лампа висит на невидимом шнуре, как звезда... Луч, с вышки еще раз омыв барак, бюро, бежит по ночи дальше и вверх, исследует свинец туч, гаснет в немыслимой высоте, где бездонное небо с барашками.

Мориц все ходит по бюро. Он накурил полную комнату дыма. Лицо еще хуже, чем было. Работать, работать, еще *больше* работать — *теперь!*

— Пить хочется!

Он ищет стакан. Но он налит. Чаем, уже, холодным. Рядом со стаканом — апельсин. Очень большой апельсин. Такие на днях принесла ему Ника из посылочки подруги. Апельсин — «подумаешь, как просто!». Брови Морица дрогнули.

Он стоит и держит в руке апельсин. И, может быть, это — земля, освещенная солнцем, лежит в руке человека, хотящего ей дать — жизнь — и мир.

ЭПИЛОГ

И вот Ника на кирпичном заводе, в женском бараче. Ночью разбуженные спешат к поезду и подают кирпичи на товарняк, женщины брали по три кирпича, каждый весом по три килограмма, — а у нее едва хватало сил на два кирпича, и это вызывало насмешку... Потом пришлось ходить с мужчинами на стройку, ей — собирать строительный мусор и по десять часов (с одним часом перерыва) таскать его в ящике, волоком (другого способа, по силам себе, она не нашла). Этот «мусор» состоял из обломков камней, тяжелой штукатурки, и ящик, даже только наполовину наполненный, весил больше, чем она могла сдвинуть с места.

¹ Слезами горю не поможешь (англ.).

На кирпичном заводе проработали только зиму, и то не всю... К весне пришел приказ произвести пересмотр женщин, и Ника попала в число отправленных в инвалидный городок.

Так прошла вторая зима.

Вздыхнув от тяжести физических усилий, на кирпичах, Ника и в инвалидном городке не осталась, как все, без работы, на скудном пайке. Она помогала прорабу.

Работа несложная, но иногда ночью, выходя сдавать на сектор сведения о работе, она попадала в такой холод — что веки ощущались как твердые крышечки — над глазами: значит, 50 градусов или больше. При такой температуре работяг в лагере не выгоняли за вахту — на строительные работы или на лесоповал.

Ника сшила себе ватные наколенники, какие, говорят, делают для лошадей?.. Из рукавов рваной шубы она сшила подобие меховых валенок. Прораб обещал добиться ей улучшения питания. Ему это не удалось, но к весне, узнав, что она работала чертежницей, кто-то из начальства перевел ее на северную колонну на чертежную работу, и она долго проработала там.

Зима медленно сменялась весной, весна — летом, осень наступала каждый раз неожиданно, за осенью шла зима...

Ника рядом с новым другом, недавним, — дружбе всего два-три дня, но ее собеседник, конторский работник, на воле — астроном, стоит рядом с ней и диктует взгляду ее — правее, левее... вбок от Полярной звезды — а та вбок от Большой Медведицы — вот она, Рождественская звезда...

Через неделю вызвали, внезапно, астронома — на другую колонну, но Ника, одна в зоне, подрагивая от мороза, и — прямо в небо повторяет, упрямо и самозабвенно:

— *Es ist Weihnachten, und es wird Weihnachten werden* — или лучше — *es wird Weihnachten sein...*¹ (она *забывает* язык!..)

Прошел год с исчезновения астронома, но в Сочельник Рождественская звезда стоит как стояла, и Ника, на год старше, с упорством ее счастья в детстве, заколдованно глядя в небо, — твердит — как твердила в прошлом году — *Es ist Weihnachten, — und es wird Weihnachten werden...*

И вот однажды, в тихий рабочий час, когда стоя, наклонясь под прямым углом над чертежом — зрению — вредя, — Ника вся ушла в работу — ей сказали, что некий «такой-то» — была названа фамилия Морица — добивается, из очень далека,

¹ — Настало Рождество, и Рождество будет (.....) Рождество останется... (нем.).

узнать, устроена ли на «чистой работе» она, Ника. Улыбаясь (во всю душу, чтобы смочь не сделать этого — ртом), она отвечала, чтобы этому человеку передали, что все у нее с работой благополучно, что она надеется без вреда для здоровья дожить срок именно так.

А в сердце вошла тишина — словно лег на дно широкий солнечный луч.

И потом Ника сидела одна в глубине барака, в небывалом одиночестве: всех женщин разогнал пьяный мужик из соседнего мужского барака (как ему удалось так напиться? где же ВОХРа была? — думала Ника). Но бежать вместе со всеми что-то мешало. Она осталась сидеть за столом, только что покинутым убежавшими, но, к счастью Ники, пьяный, распугивая женщин, озорничая, убежал вместе с ними. Сейчас военная охрана приведет все в порядок, а пока можно заняться испанским — как восхитителен был перевод «Тройки» Гоголя переводчицы Марии-Луизы Алонзо — тройка мчалась в каком-то волшебном краю полу-России — полу-Испании.

На Дальнем Востоке, в тех местах — неважное лето, предваренное сырой невеселой весной. Ветер, с февраля дующий жестоким холодом, рвет голые ветки вздыбленных ему навстречу деревьев, — что-то из суровости японского пейзажа.

Но после невеселого, часто дождливого лета наступает ясная осень. Она здесь безветренна. Голубое небо шатром покрывает землю. Сколько к середине ноября выпало снега — столько лежит до февральских заносов. Зима стоит синяя, морозная, неподвижная. Все это — в первый год — удивленно наблюдала Ника. Но годы идут, и, хотя было несколько перебросок — оттого их жизнь и называется «лагерь», — она уже свыклась с этим краем.

— Девушки! — радостно объявляет она, входя в барак. — Я в прорабстве увидела градусник: 40 градусов всего; не холодно, ни крошечки ветра!

Тайга здесь так же сурова, как тундра. Лес густ, дик. Куст жасмина, попавшийся им вчера, лишен запаха нацело. И не поют птицы. Они перелетают с ветки на ветку беззвучно. Неужели люди, тут родившиеся, любят этот свой край? — думает Ника.

Несколько месяцев Ника пробывала дневальной женского барака на шахте. Два только воспоминания сохранилось у нее об этом: как, видя, что одна таскает у другой что попало, она сказала уходящим на рабочую смену: «Девочки, прячьте получше, что есть, чтобы не валялось! Я за ваших сменщиц отвечать не берусь, помните!» Но кто-то, все ж кто-то оста-

вался — больные? — в бараке. Убрав, она пошла умываться — но, мыло взяв, полотенце на койке — забыла. Бросилась за ним — нет полотенца! Кинулась назад — за мылом — нет мыла!

— Вот и умылась я! — сказала с горькой иронией в сторону, где чьи-то души — обретались. Дружное молчание — в ответ...

Да еще запомнилось, как несла ведро с углем — топить печку; запнулась, упала и больно ушибла грудь о край ведра; но помочь некому, собрала уголь, дотащила и протопила; но долго болела грудь.

Чуть седеет она на висках, но так же легок шаг, как год и как два назад, и как три — кутается она в старую шаль сверх бушлата и упоенно повторяет — этого не оспорит никто:

— Es ist Weihnachten!..¹

Неужели звезда, Рождественская, не слышит этих — раз в год, год за годом — утверждений праздника, который она упоенно встречает, — *Рождества*...

Корочка! Кудрявая, румянившаяся в печи, пахучая, желанная превыше всего в дне! На ночь заткнуть пустоту в желудке, хоть немного наполнить эту пещеру, желудок, столько лет уже позабывшую — сытость... Но — такую маленькую, всегда (потому что и днем есть хотелось, и съедалось все, кроме нее одной. И такая маленькая она была, и так долго она поглощалась, чтобы дольше длить наслаждение... и от нее — в сон...).

Так прошло много лет. И однажды, в один, счастливо-беспечный светлый час Ника сказала Марусе, полной, высокой, работавшей в пошивочной — туда вольнонаемные приходили (Маруся, чернокудрая, веселая, сытая, и понятия не имевшая о той корочке, хоть и была зека, как и Ника).

— Марусенька! У вас там, верно, остаются куски хлеба, захвати немного, пожалуйста! — попросила Ника.

И Маруся, чернокудрая, большая, веселая, сразу став и суше и холодней, *отняв* дочерность, сказала:

— Да нет, мать, не остается у нас хлеба...

Просьба! Она явилась в неожиданный Никой и вдруг случившийся незадачливый, темный час! Чем заслужить за это свою вину Нике — перед жизнью, полной то ответственности, то — достоинства, то — терпения? Как чудесно, что не *принесла* ей Маруся хлеба, в ответ на жалкое «пожалуйста», — ведь случись ей принести — чем бы потом отмолила Ника эту единственную за жизнь нищенскую просьбу о хлебе, выгово-

¹ Настало Рождество!.. (нем.)

ренную тем членом, которым хлеб поглощают — ртом? Но Тот, Кто бдит, надо всем — над героем, предателем, над терпевцем, Кто все видит, все помнит и хочет того же от нас — послал за неповторенностью поступка *Своей* рукой явную мощь!..

В уголке барака — постель маленькой некрасивой женщины лет — тридцати? Что их свело? Память Ники молчит, упираясь в года. Но Нике кажется, что она ей дочка? Так она заботлива к ней, ласкова, и она ждет ее с работы, как мать заправляет ее постель, брошенную в беспорядке. Утром — что Ника делала еще? Что может делать мать для дочери в лагерном бараке? Самое малое, ибо барак — лагерь. Это круто пущенная в ход машина, и в нее что-то свое на ходу вставить — трудно. И все-таки Ника вставляет. Типично *домашнего* типа, не столько нужные, как желательные, и вот эти «палки в колесе» красят Никину с нею жизнь. Как и кусочки хлеба, обрезки вольнонаемных булочек, их богоданная дочка аккуратно приносит без всякой ее просьбы, потому что «дочка» ее работает в булочной и ей это сам Бог велел. Ника пишет ей письма домой и читает треугольнички с фронта от брата, быть может, потому, что там, на далекой воле, все идет и идет война...

Ту не дочку ее звали Марусей, и ей это грустно, такое русское имя! Никина «дочка» — земное дитя, но ее в лагерном бараке ангельская доброта безымянна, она такая земная, что неотделима от хлеба земного, потому и послали ее на работу в булочную, она же, в доброте сердечной, может быть, помня о своей матери где-то в селе, в деревне, где идет война, тесно сжилась с Никой, одарив ее к плечу подошедшую старость — тем, что всего невозможнее в лагере, — сытостью... Поддержав тело дожить до конца срока, *еще и не* аукающегося, увы.

Но когда Бог шлет помощь, Он шлет ее щедро, через край — и ученики Ники по английскому языку, полит- и медработники переводят ее с обычного лагерного питания — на «диетическое», тем облегчив ей лагерную жизнь на весь раздел физический из *психофизических* переживаний, все, чем дано человеку облегчить ношу собрату...

«Мориц, Мориц, где вы?» Иногда пробуждаясь в Нике — он отступал все дальше...

Отобрав по формулярам четырнадцать женщин, могущих работать на культурной работе, в их числе была и Ника, их старались посадить на поезд, но это не удалось. Вернули на штабную колонну. Ника только хотела лечь и начала разде-

ваться, как в барак вошла начальница колонны, и с нею члены штаба. «Помпокавээр» — обычно это делает помпотруду — громко назвал фамилию Ники. Уже став Винтиком в лагерной машине, Ника рефлекторно (может, и во сне было бы то же) отвечала имя и отчество...

— С вещами!

(Арест! Боже мой! В изолятор?!)

Дальше все было как во сне: вмиг члены штаба собрали Никины вещи — и, ни с кем не простясь из тех, с кем она жила уже давно, Ника оказалась за зоной. Но с ней шел только один солдат. Штаба колонны уже не было.

— Мать,— сказал солдат (у него было доброе, молодое лицо),— ты не переживай, это только с виду — арестовали тебя,— знаешь что... Тебя начальство умыкнуло, в другое, в наше отделение. Прочли в твоём формуляре, кем ты на воле была... Умыкнули и увели тебя, чтобы ты им языки преподавала. Так ты сама иди через поле, в ЦРМ¹... Так тебя либо там устроят, либо в ДОКе². Там тебя встретят...

— О, нет, дорогой! — ответила Ника.— Одной мне идти, без документов? Что я, глупая? Раз увел — доведи... И чтоб меня обвинили в побеге и дали бы мне — срок?!

— Ну ладно...— добродушно сказал солдат, и они пошли через поле. Солдат помогал Нике нести ее вещи. Нику взяли в ДОК — и стала Ника преподавать начальству английский язык. На первом же уроке — телефонный звонок, и в ответ голос ее гневного ученика:

— Ничего, попрыгаешь и остынешь! Пришлешь мне формуляр! Пришлешь... Человек не ходит за формуляром, сам знаешь законы, сам — прокурор!

Жизнь медленно тянулась — к освобождению...

«Там» — шла война. И все уменьшали пайки (хлеба) вольнонаемным. Заключение не раз слышали горькие восклицания вольных:

«Вы — сберкасса, вас — берегут». «Даже с собаками!» — добавляли с горьким смехом зеки...

«Вам — паек полагается, не урезали еще...» — «Нам...»

Радостно вспоминала позднее Ника, что с тех пор, как ее выкрали для себя и вернули ей специальность преподавателя языков и она уже не была голодна, ей иногда удавалось передать тихонечко через вольнонаемных — куски хлеба их

¹ Центральные ремонтные мастерские.

² Деревообрабатывающий комбинат.

детям. Эта радость зажигала вокруг нее почти феерическое — освещение.

«Вот и лагерь тебе»... — пело в ее нутре неким родом чревовещания.

Как же это случилось? И потолок не рухнул!

Ника узнала в 1943 году вещь совершенно невероятную, нежизненную — в ту эпоху. Почти что *небывалую*: заключенного — *освободили!* И этот человек — Мориц! Из всех — Морица! После шести лет заключения и — его — заявлений, во *все* инстанции! Горечь без дна и края, — да. Но *торжество* факта — перекрывает его! Значит, Мориц *недаром* верил в то, что *его* — его страна — у с л ы ш и т! Не бросал надеяться — писал и писал. Если б он *бросил* писать — тогда было бы горе. Он не бросил. Он знал. Он — дождался.

Мориц — вольнонаемный! Это — победа — подобная той, с капитуляцией целой страны. Будет ли в эту ночь спать — Ника?

На другой день пришло разъяснение: Начальник сметно-проектной группы Известковой, Мориц по освобождении назначен старшим помощником — следовало крупное имя, известное всем — начальника всех лагерей края. Ника плакала, лбом в подушку, подушка-сенник, ей еще на четыре года дарованную. «Не сможет еще два года (последние его восьми) вернуться к жене, домой, к Ольге, к детям... Но он сможет съездить к ним, домой в отпуск, — утешала себя Ника — разве это не огромное счастье? Огромное!»

О, Мориц показывал себя! Он работал не только на стройке, но и над досрочным освобождением лучших рабочих.

Разделенная расстоянием и событиями, Ника узнала, что вскоре Мориц перевезен в больницу с диагнозом: две каверны и туберкулез горла. Он уже с трудом говорил. Она узнала, что за Морицем самозабвенно, горестно ухаживала жена, вызванная его начальством, оставившая сына на попеченьи старшей сестры его и друзей. Она не отходила от умирающего ни на час, до самой его смерти. Долго не было вестей о Евгении Евгеньевиче, но когда пришел ответ от его сестры на запрос Ники (адрес которой он ей — «на всякий случай» — оставил), Ника залилась плачем: сестра его сообщила, кратко, что он умер — в лагере, — и ни слова о его изобретении!.. Но и далее не услышали никогда о его блестящем транспортном изобретении. Но потому, что оно не было введено в жизнь, можно было думать, что или все же *была* ошибка в его расчетах... или что изобретение это вместе с моделью погибло. Погибла — в одной из лагерных перебросок при обыске — и поэма Ники, ею почти dokonченная.

На всю жизнь будет памятна ночь, когда, лежа в женском бараке (многие на полу, сняв с нар жидкий матрасик), их разбудил хриплый от усталости, но громкий от волнения голос диктора, объявлявший небывалую весть — капитуляцию Германии! Женщины вскакивали, как в бреду, кидались друг к другу, обнимались, крича: «Домой, домой!»

Кто из них спал в ту ночь?

Сколько надежд, какая невероятная радость! В самих словах было колдовское звучание... через них открывалось будущее. Тает лагерь! Размыкаются оковы... Жизнь распахивалась, силы удесятерялись! Эту ночь не забыть вовек! Как хорошо, что она *была*... Эта была целая, новая маленькая жизнь...

Бедные женщины! Месяцы шли, превратились в годы, ни один срок не дрогнул, никто не был выпущен, лагерь проглотил эту весть, как акула, и равнодушно продолжал жить, как до нее...

...И вот Ника — за отказ сожительствовать с начальником штаба колонны — послана в прачечную. Из 75 штук белья по норме (*плохо* стирая, спутницы ее вырабатывают и полторы и две нормы) — считая грехом стирать плохо — вырабатывает в день не более 55 штук, в поте лица. Но *целиком* уйти в этот пот — не выходит. Остается остаток души, парящей *над* грязным бельем — и Ника пишет в воздух по-английски поэму «Близнецы» о Джозефе Конраде и Александре Грине. «Здорово получается»... — говорит она себе радостно и трет крепче грязь о стиральную доску. И по руке ее из вышвырнутой кучи белья — прикипевшего? — ползет оголтелая вошь.

There was a Polish sailor once
He came to English shore,
And as his fairy story runs
He left it nevermore...

К вечеру пять четверостиший — и счастье...

У д и в и т е л ь н о! *Нацело* от белья, пара, вшей отдирает ее ритм стиха! Руки трут, а душа подымается над корытом

Time went. He changed the mast for the desk
He wrote romantic stories.
They undervent the strictest test,
His English style is glorious.

Правда рождения из себя этих строк — дело не мгновенного постижения, строки не летят к ней как птицы, а кру-

жатся, реют, бьются как в облаках — зарницы, но сердце ими согревается точно в луче солнца — и так вдруг легко жить на свете...

А двенадцать лет спустя, окончив свой десятилетний срок, попав, у сына Сережи полтора года прожив, на вечную ссылку, Ника жила вдвоем с дорожной спутницей, полюбившейся, в маленькой комнатке, в нетопящейся пристройке. (Хозяин сложил, не умея, печурку кирпичную и, пожалев постояльцев, потому что печка грела вспышками, ненадежно, — завалил каморку снаружи — соломой.) Ника проснулась в минуту, когда спутница, за чтением уснувшая, держит руку на вершок от наклонившегося лампового стекла. Миг — и вспыхнет пожар, — конурка посреди соломы. Ника не пожалела спутницу: разбудила, пояснив, в чем дело, та обещала больше не засыпать, — но это было не в ее власти, на следующую ночь она снова уснула, не потушив лампу, — а требовать от нее, чтобы она, придя с работы, не читала, — от нее, всю жизнь свою до последних лет связанную с книгами, отнять у нее ее единственное утешение после трудного физического дня, было бесчеловечно. И, поразмыслив о положении их сеном окруженной избушки, Ника стала выдумывать нечто, что могло помочь ей, Нике, не спать до мига засыпания спутницы — что-то увлекательное вне мер. И такое нашлось: она будет ночами переводить ту давнюю поэму о Конраде и Грине — на русский. Труднее и увлекательнее ничего не могло быть. И с первой полночи сторожевой ей удалось первые строчки, ставшие следующими:

Приплыл из Польши раз матрос
К английским берегам
И, говорят, как в землю врос,
Навек остался там.

Время освобождения приближалось, и странно! силы не падали. Они уже, должно быть, нацеливались на трудности (возможные) вхождения в жизнь — неизвестную — там, на воле, идущую жизнь, послевоенную. Далеко позади были месяцы и годы метания ее о Сереже, — когда она шла бы и шла — за его адресом — сын был жив — кто же знал тогда, что через почти полтора года после рождения внучки ей придется уехать от сына в Сибирь на вечное поселение?

МОЯ СИБИРЬ

Повесть

ГЛАВА I ПУТЬ И ПЕРВЫЕ ДНИ НА МЕСТЕ

Наш этап из Новосибирской тюрьмы был в день мокрый, июльский. У грузовиков опущен задний борт, но усталые люди не хотят ждать. Мужчины тащат вещи, лезут, становясь на колеса, огромные, серые, скользкие улитки, полувросшие в мокрую землю. Мы едем в ссылку «навечно».

Есть среди нас слабые, неумелые. Всем им, успевая туда и сюда, подает помощь худенькая, с проседью женщина: быстро и ловко втаскивает неловкую за руку, от другой принимает чемодан, тюк, успевая и пошутить, и ободрить, усадить, попросить подвинуться, — словно всю жизнь только то и делала. Что удивительно — в этот пасмурный час ее слушались. В каком-то быстром движении она повернула лицо — меня обдала синева ее глаз. В худобе лица они огромны и так добры, так улыбкивы, что меня осияло покоем: чудесна жизнь, если есть такие люди! Какая душевная воспитанность, какое самообладание!

Машины грузно, медленно движутся по дороге. Застряв, останавливаются. Женщин просят сойти; мужчины, все больше пожилые, дружно раскачивают кузов. Садимся. Путь продолжается. Идет дождь. Закутанные кто во что, радуемся, что не осень — не заболеем! Мысленно мы уже там, на месте назначения, в сибирском селе.

Грузовик, где сижу, везет бочку с бензином, она тяжело подрагивает на ухабах, рискуя краем попасть по ногам. Подобрав их, сунув вбок, напряженная, как струна, сижу на своем узле; пытаюсь увидеть окрестность — тщетно: дождевая завеса скрывает все.

Ехали уже третий день, когда в сгустившихся тучах — молния! Загрохотал гром. Дождя нет. Молния! Моментальным снимком! Взрезав мглу, ослепительно даря пейзаж. Мгла. Грохот! Гора грохота! Гроза в сухом небе — зловеща.

«А если молния ударит в бочку?» — молнией мысль.

Молния! Обвал грохота... Громовые удары рассыпают ла-

вины грохотов. Молния! Гром. Град. Струи дождя. С неба — светлыми каплями — успокоение...

Спасенный бензин тяжело плещется в бочке. Привстав, усилием ступней сдвинув узел, блаженно сую ноги в другой бок, разогнув колени. Дождь стих. Привал.

Не в ту ли ночь мы заночевали в деревне? Без света и без еды — все доелось. Черную мокрую ночь трудно забыть. Но — прошла!

А наутро мир заново молод. Лезем в грузовики, как в родные дома. В тучах прорези синевы. Третью пути осталась? Еще как доедем!

— Знаете, как моя сестра написала, Марина? «Больше балласту — краше осанка!»

Отзыв соседки:

— Прекрасно сказано! — Она снова стоит, подавая руку влезавшим.

В разрезы туч — лучи, и мы видим дорогу и короткую вереницу машин. Сибирская равнина расстелилась во все стороны, и мы отрезаем и отрезаем пространство, отбрасывая его назад. Четвертый день... Пятый день. Просят сойти.

Голос:

— Граждане! Остается двадцать километров. Почва болотиста. Ехать дальше нельзя. Вещи повезут. Кто в сапогах? Слабых повезут волами. Волы пройдут! Они вездеходы!

Я вызвалась идти. Меня не приняли: неподходящая обувь. Возраст был еще сходный: за пятьдесят.

Сижу с двумя старухами и стариком на длинных досках, прилаженных на поперечинах у колес (повозок несколько).

Воле, тяжело шлепая по глубокой грязи, пошли по вдруг далеко осветившейся равнине. Изредка появляются избы. Провиант, на дорогу выданный, рассчитанный дня на три пути, затянувшегося почти на пять, давно съеден, остается в хлебных мешочках несколько пригоршней крошек, осыпавшихся с крутого сибирского хлеба. Едим, понемногу насыпая в ладонь. Как вкусно!.. Но пить хочется! Решаем остановиться у первой избы по дороге — просить воды.

— Всем идти не надо, — говорит старик, я пойду и кто хочет из вас; двое останутся; мы принесем, давайте нам кружки!

Идти вызвалась я. Подошли к маленькой бедной избышке. Навстречу — женщина в черном платке, глаза заплаканные.

— Дала б молочка, кабы было... Нету! А киселем овсяным угощу — что твой хлеб! По сыночку моему сороковой день справляю. — И нам — глиняную миску застывшего, почти твердого серого киселя, кислого и прохладного. Упоителен — никогда ничего вкуснее! На ладони по куску треугольному

(как, бывало, торт); содержимое миски крест-накрест, и жуем, и сосем, и пьем несравненное угощение и питание — в память умершего сына.

И снова шагают волы, и мы подрагиваем от ритма их шага, как та бочка с бензином, — она уже прошлое наше, жизнь шагает вперед медленно, как волы, но мы духом не падаем. Мы — живы, и все впереди!

Вечером мы соединились со своими во дворе большого рубленого дома (школы). За поздним часом никто не поднял вопроса о еде — где взять ее сейчас? Только спать...

В просторных классах на соломе, сняв с себя полупросохшее, укутавшись кто чем мог, уснули сразу, как засыпают дети. Даже храп не мешал в ту ночь! Наутро — школьный двор, богатый высокими соснами. Зрелище невиданное: сосны, стоящие в воде. Местность болотистая? Ежегодно речка — приток Оби — под напором ее, разлившейся, заливает весь городок. А мы в ботинках и туфлях. И те, чьи близкие могли помочь, послали просьбу о денежной или вещевой помощи. Без сапог тут — никак. Я послала три телеграммы: сыну, родственнице и Борису Пастернаку, прося денег на сапоги. Получила триста рублей от родственницы и пятьсот¹ от Бориса. Сына, как я позднее узнала, через несколько дней после моего отъезда перевели на Урал, на новое место, и я надолго лишилась его адреса.

В пути столкнулась с пожилой женщиной. Почти сдружилась — так бывает в трудные часы. Тема нашей беседы была — томление ее среди людей другого душевного толка (ее соседок). «У них нет, как говорят по-немецки, *Feintühlung*’ (тонкости чувств)!» — сказала она мне. Потом мы встречались редко, занятые каждая своим.

Село Пихтовка (ставшее потом районным центром), окруженное кедром, пересекается узенькой речкой. Широкие сибирские улицы меж домов зажиточного типа.

Женщина, помогавшая нам в пути, Антонина Константиновна Топорнина, в прошлом — заведующая большой библиотекой, имевшая под началом не один десяток служащих. Тоня, моя новая подруга.

Что удивило нас — на плетне ночуют новые сапоги, на кол, точно на гвоздь в избе, вешают до утра ведро, алюминиевое. Как это так? Узнаем: глушь, некому снять. Замки? От кого? (Сказочный рай, что ли?)

¹ Дореформенных.

— Скот загоняем в стойки только на зиму. От весны по позднюю осень скот у нас ходит на воле. Не было случая воровства. Сперва в колхозах работали, а потом домики себе наработали, новые улицы выстроились, все у каждого есть, чего воровать? Все друг друга знают, полжизни вместе прожили, чего это я пойду воровать? Чудно...— сказал нам один из тут живущих.

Мы с Тоней поселились в единственном нам предложенном жизнью — в спешке устройства приехавших — пятиметровом чуланчике в крестьянской избе. Ход из сеней. Печи не было.

— Печь? Да я вам такую сложу, кирпичную...— Веселый хозяин подмигнул нам, как сообщникам.— Сто рублей, по пятьдесят с души! Поселяйтесь!

Выбора не было. Поселились. Только позже поняли мы легкомыслие хозяина нашего: печь он сложил. Но — без поворотов... Тепло выдувало первым порывом ветра.

Обрадовались подполью, спустили туда купленные мешки картофеля. Увы, не знали мы ничего о завалинках. С первыми морозами застучали картошки наши — как камешки! Ели их, сладимые, скользкие, мягкие... мечтая о будущих участках, где разведем огород,— местное начальство предлагало по семьдесят пять рублей за двенадцать соток (семь пятьдесят). А пока не одни картошки, мы и сами начали замерзать — ночью, а днем — задыхались, толкая дверь нараспашку.

Вскоре Тоня нашла работу. На кирпичном заводе. Работу! То, без чего не могла она жить... И что сняло тревогу стать, хоть на время, на хлебником старшей сестры Капы, имевшей домик в Ташкенте. Не Капа будет слать помощь, а Тоня будет собирать ей посылочки! «Что?! а хоть орехи кедровые!..»

Худенькое лицо бодро поднято. Синий огонь глаз. Тонкий, чуть длинный нос над улыбчивым умным ртом. Сколько отваги в ней, пожилой, и как скрывает она усталость лютую, приходя с далекой и трудной работы... Настоящая русская женщина!

Жизнь шла. Пока Тоня на работе, я топлю печь, варю еду, занимаюсь с хозяйским сыном Васей, школьником лет десяти. Добрый был мальчик! Очень любил животных. Но вот школу как-то не полюбил. Мать, худенькая, в работе не покладавшая рук, уже стареющая (кроме Васи выростившая еще двух, взрослых уже, дочерей), качала головой, глядя

на сына: и муж-то работник не ахти уж какой, и коль уж второй такой будет... За уроки Васе очень мне была благодарна, наливала мне молока.

Вася, глядя на меня бледноресничными, лукавыми, застенчивыми глазами, говорил просительно:

— Вы мне, бабушка, не объясняйте задачку, не надо! Вы говорите, что мне *писать*! Вы ведь знаете, а я-то ведь не знаю... (последние слова говорил без лукавства, от чистого сердца).

Отца же его мы поняли только, когда, праздную свадьбу старшей своей дочери, выходявшей за почтового работника, хворого, «но все-таки ведь мужика!» — плясал! Как плясал! А ведь лет-то много — за полсотни! Часами, без малейшей усталости! Он плясал, как резиновый мяч! Переплясал всех, кто пытался соперничать! Что — соперник! Он дорвался до пляски! Он праздновал! «Дочь выдаю!» Едва пригубив стакан. Что вино! Он был с ч а с т л и в! В доме наконец пляска!..

Мне работы не находилось: возраст и болезнь глаз, ни жары, ни наклона, ни тяжести. Слали помощь, как только узнали мой адрес, сын с невесткой. Купленные на 293 рубля сапоги оказались отличные, яловые, ходила с сухими ногами. Тонины, увы, протекали.

Г Л А В А 2 ЗИМА. ПЕС

Помню день.

Как вчера и завтра, на холме у стройки сую стружки в мешок. Когда попадают щепки, обрубки — счастливый день. Нынче стружки занесло бураном, и откапывать их холодно так, что пальцы в перчатках, закоченев, еле ворочаются. Уйти — жаль, куски коры меж сырых дров так помогают жить!

Хороводы стружек, слегка слипшихся от морозного снега, почти звенят, как металлические венки на могилах.

Вдруг, меня завидя, копающуюся в древесном мусоре, мимо бегущий пес, изменив курс, понурой замерзшей побежкой стал приближаться ко мне. Черный с желтым, большой, останавливается, замирает. Замираю и я. Боимся друг друга. Какой худой... Улыбаюсь, протягиваю руку, зову. Не верит: исповедует превыше всего — осторожность. Какие там ласки и дружба, когда такой холод, такие ребра! Я отвожу глаза, стою. Он начинает красться к разрытому мной холмику стружек.

Почти рядом. Вижу шерсть в инее, впалые щеки, седые усы, нескончаемо несчастное выражение этих щек, обмерзшей

морды, вздрагивающих бровей над глазами, почти человеческими от тоски. Хочется псу есть!

Поборов страх, роется в стружках, мне подражая: раз человек роется, значит, есть в чем рыться!

Нюхает еще и еще, огорчается на обманутые надежды, на тщетную трату сил.

Нечего псу дать! Хоть бы корку хлеба с собой захватила, дома же было немного хлеба...

И не взглянет! Уйдет от меня голодный, и навек поташу в памяти эту заиндевевшую горькую морду.

Но он поднял нос и черную с желтым лапу: лапа дрожала. И подслеповато, пристально, тупо посмотрел мне в глаза. Разве этот взгляд позабудешь?

«Что же ты роешься тут? Дразнишь? В холодном, мертвом, постылом... Эх, а еще — человек!»

И мне нечего тебе, пес, ответить. Донабрав мешок, взгрузив его на плечи, я как-нибудь его дотащу домой, у меня есть кусок хлеба, суп и картошка. Я растоплю стружками печь, и все мое оправдание — что буду тебя помнить, которого не смогла туда привести, потому что ты никому не веришь и за мной не пойдешь.

Ухо пса дрогнуло, подслеповатые глаза отвернулись — и пошел назад, к тропинке, коей бежал, и прочь по тропинке, понурой промерзшей побегжкой, продолжал прерванный путь.

Когда настала зима, то в мороз на мешке сена, лежавшем на полу между нашими топчанами, было до 5° мороза, а под потолком у печной трубы 25 и больше тепла, даже до 30. Живем в валенках. Дверь в ответ на вечерний стук Тонин я отбиваю, как молотком, поленом. В другие вечера, сырые, дверь разбухает — прикручиваю ее с трудом веревкой к крюку, а широкую щель, оставшуюся, напихиваю половыми тряпками, сеном.

Ели мороженую картошку, испускавшую противный сок. Как мечтали мы о своем огороде! О своей, вкусной и власть, картошке!

Но *решение* изменить жизнь пришло после того, когда в зимний буран хозяин распахнул к нам дверь: «Антонина! Анастасия! Придется вам куда-нито перебраться! Надумал я дом продавать!»

Столько торжества было в его заявлении, что не поднялись наши голоса спорить, негодовать. Он сиял! И что было бы дальше, если бы вдруг не спасла нас хозяйка: тихая, кроткая, она вдруг воспротивилась и не дала согласия на продажу! Что

говорилось и творилось в их избе — не узнали мы. Но когда наутро зашел хозяин к нам в час замерзания, то с таким же рвением, как было собрался дом продавать, сказал:

— Ага, чую, холодно! И будет вам тепло, не обидитесь! Завалю я вас сеном снаружи! Ага! Стены вам из сена построю! Жердями привалю — и свяжу! И будет вам, Антонине, Анастасии, жарко!

И — завалил, привалил, связал. Но с этого вечера началась моя мука — опасность пожара: Тоня, придя с работы, усталая, поев, ложилась и брала книгу: «Не могу без чтения!» Но тепло, после холода пешего пути — размаривало, и, почитав, она засыпала, не в силах потушить лампу. Я проснулась в критический миг: наклонившееся ламповое стекло по наклону чернело длинным треугольником сажи, огонь зловеще мигал. Рука Тони, спящей, роняющей книгу, застыла сонно в верхке от наклонившегося лампового стекла. Еще миг... Вскочив, потушив лампу, я отставляла ее, обжигаясь, — жестяную, горячую деревенскую лампочку. И, боюсь, разбудила, жестокая, бедную Тоню, стараясь ей, сонной, внушить страх пожара: «Вокруг нас — стог сена! Мы запылаем вмиг! Дом сгорит!» Она понимала, но на другой день, ложась, брала книгу, уверяла: «Я не засну». И иногда засыпала! И вскоре, поняв, что не читать она, после дня работы, не может, что книга для Тони — страсть, я смирилась, хоть и не смиренно. И выдумала себе — на опасные эти часы — дело: сторожа лампу, я не давала себе заснуть, устно переводя на русский и заучивая свою поэму, английскую, написанную двенадцать лет до этого на Дальнем Востоке («Близнецы» — о Джозефе Конраде и Александре Грине). Переводила медленно и упорно, увлекалась, — обе части! Когда я ее кончила, настала весна и хозяин убрал сено, а у меня был готов перевод. Я повторяла его лучшие строфы. И как наш хозяин, на свадьбе пляша, переплясал всех, так, переводя свою английскую поэму на русский, я продолжила на русском — новое и теперь кончала переводить стихом новый конец с русского на английский.

ГЛАВА 3 СПУТНИКИ

...О жизни Тони — что я знала теперь? Их было четыре сестры в дружной, хорошей семье; все как сколок с одного образца красоты, синеглазые, с правильными чертами, друг к другу очень привязанные.

Когда Тоне было пять лет, семью постигло несчастье: в пожаре, охватившем волжский городок Сызрань, сгорел отец.

Они жили близ женского монастыря. В панике, охватившей жителей, монашенки закрыли ворота, всегда открытые. Пламя уже, видимо, бушевало, когда, кто-то видел, отец попытался перелезть через них. Его узнали только по часам. Матери и старших дочерей не было дома. Тоню вывел из огня седенький старичок, свел ее за руку к Волге, поставил у моста и сказал ласково:

— Стой здесь, не уходи никуда. За тобой придет мама!

И как-то необъяснимо исчез. Мать пришла, увела дочку. Рассказ о седеньком старичке, сказочном жил до сих пор в семье.

Старшая дочь была Капа. Вторая за нею, Павла, умерла взрослой внезапно, оставив маленького сына. Его воспитывала Капа, бывшая замужем за композитором, детей не имевшая. Сестра Люда, очень больная, живет с семьей в Ташкенте.

О муже своем Тоня говорить не любила. Она много из-за него страдала, была горечь в ее молчании о нем.

Осенью труден был путь на кирпичный завод по болотистой местности. Тонино испытание теперь было легче: небо послало жаркое лето, грязь дорог высыхала. Тоня шла кедрачом, местами пополам с ельником, и, стихийно любя природу, радовалась.

И была еще радость — общение с людьми, неожиданные знакомства, от которых — взаимным сочувствием — согревалась душа.

С нами приехавший старик инженер Яков Иванович, бодрый и бравый, полный, высокий, с чем-то детским в доброжелательности к каждому, не очень-то разобравшись в дорожном спутнике, тоже инженере, купил с ним пополам большую, очень старую избу, вскоре потребовавшую ремонта. Денег не было. Начались споры. Прямой и в этой прямоте вспыльчивый, Яков Иванович не стерпел несправедливых упреков и недобросовестных материальных счетов, выразил это пайщичку, произошла ссора, дом продали за гроши — и расстались. Вместо веселого приюта собственных стен, куда он даже пригласил нас с Тоней в гости, радостно угостил немислимым овощным ужином, он теперь жил на квартире и по-детски, обижаемый суровой сибирской хозяйкой, не дававшей старику ступить, жаловался нам на нее. Мы как могли утешали.

В сельской амбулатории устроилась лаборанткой милейшая, еще молодая женщина, ленинградка, Дора Исаковна Тимофеева. Она никогда не рассказывала о себе, как делает большинство, но степень ее стремления помочь каждому была редкая. Всегда внимательная, в работе усердная, ровная в обращении, она исполняла просьбы пациентов с такой веселой

добротой и терпением, точно дала себе слово: не обидеть, не отказать. Не поясняя затруднительности иных просьб, она находила возможность их исполнить с простотой грациозной, деловой и естественной. Знала ли она, что о ней говорят, что она во время ленинградской блокады (а кто говорил, на фронте) потеряла всю свою семью — детей и мужа? Был ли этот слух правдой?

Открытое большое лобовое лицо этой невысокой мужественной женщины как-то не позволяло вопроса. Отстранила ли бы она его, вскрыв незнакомую людям в ней гордость, или это была неспособность ее существа участвовать в бесплодной к ней жалости? Мне думается, этой ошибки не сделал никто.

Была среди нас пожилая полька, актриса, следы красоты которой еще пылали в тонкости очертаний лица, словно со старинного портрета сошедшего, в великолепных глазах свинцового цвета, с тяжелыми веками; был тонок очерк ноздрей, и был пушок над губой. Хотелось бы знать ее роли... Но тяжелые годы, переживаемые страной, как-то замыкали уста. О ролях ли было теперь ей, пожилой, с уже надорванным здоровьем, в глуши думать, когда дело шло о любой работе для пропитания? Мы молча улыбались друг другу.

Была в селе высокая, полная, некрасивая старуха, чем и как до того жившая, не ясно. В розовом ее лице, некоторой слащавости обращения и в охотном рассказывании об обеспеченных детстве и юности, в блистанье среди ее родичей громких имен было что-то не совсем достоверное, что заставляло задумываться. Однако двух девушек, из которых одна была певицей, другая — студентка Светлана, болезненного вида, прозрачной и запоминающейся красоты, вышеописанная старуха (звали ее Таисия Еремеевна), взяв под свои материнские крылья, вместе с ними купила большую, обстоятельную избу, вела хозяйство, вкусно кормила своих названных работавших дочек. Певица устроилась в местном клубе, Светлана работала в артели, усердно и через силу — надо было где-то там, в огромном нашем Союзе, поддерживать мать, от нее событиями оторванную. Будто вчера — а прошло много больше четверти века — вижу худенькое остроносое личико, правильные черты, ясные, яркие голубые глаза — и улыбку.

И было две очень пожилых сестры, по фамилии известного немецкого сказочника, уютные и жизнеспособные, деятельные с утра и до ночи, не доступные ни жалобам, ни мечтам, женщины-пчелы. Одолев покупку скромного домика, они уже возделали огород, превосходно, умело. Все навыки предков отражались в их дне. Не пропадал ни один час. Справляясь с трудом, получив сытость, они угощали зашедшего аккуратно

и приветливо. Была вокруг них отменная чистота. Не в том году, а много позднее, когда жизнь где-то там настаивала уже «приличная», получив в осенней посылке несколько апельсинов, сестры, поблагодарив щедрых племяшей, попросили их более не повторять этого; апельсины — съесть, а им слать апельсиновую кожуру: ее, высушив, истолкли в не без труда приобретенной ступке и понесли на рынок в бумажных паке-тиках — для запаха сыпать в тесто. Люди, в годы войны на-цело забывшие запахи теста, расхватывали волшебные паке-тики, пахнувшие елкой и детством, а волшебные старушки вернулись домой с деньгами. О возможности продолжать такое они и просили родных.

...Неужели было время, когда в селе не было этих стару-шек-сестер? О, как же! Таких друг к другу заботливых, таких дружных — точно прочтенных в хрестоматии...

Сергей Тихонович Юров! Кто не знает его в селе? Пожилой актер. О чем бы ни говорил он — непременно вернется к театру, ибо любит его всем существом. Когда-то красивый, воспитанный, он подчеркнуто, убежденно настаивает на со-блюдении этикета, он ему свойствен, как воздух — дыханию. Не найдя себе подходящего занятия в селе — люди его проф-фессии уже заняли места в клубе, — он пошел работать воз-чиком. Трудно ли ему было привыкнуть к коню и телеге, к ко-ню и саням — он о том не ведет речь. После работы он захо-дит в столовую, съедает то, что ему по средствам, и, пере-одевшись, идет в гости. Друзей у него — все! Чуть уже начал горбиться Юров, и волос редеет, но все так же оживлен он в беседе, так же изыскан в суждениях. И когда он входит, за ним — партер и кулисы, зрители, аплодисменты — и сибир-ская деревня гает как сон...

По рекомендации Якова Ивановича у меня, как опытного преподавателя английского языка, начал брать уроки его сожитель. Уговорились о цене — 5 рублей. Мне был малосим-патичен мой ученик — холеный самодовольный человек с се-деющей раздвоенной бородкой, — но возможность заработать (на хлеб!) была радостна. Я ходила к нему (это было еще в пору сожительства его с Яковым Ивановичем), путь был недалек, урок приходилось вести не по верному методу, по-тому что ученик мой уже занимался ранее, в мою дисцип-лину приготовления уроков не включался, «рассуждал», спи-рил, заданий не выполнял. Вскоре я не застала его дома, затем он сказал мне, что ему некогда (не работая!), а долг свой (кажется, за всего три двухчасовых урока) обещал уплатить вскоре. Ученик-инженер не уплатил мне денег, хотя элегантно кланялся при встрече. Его теперь нет на свете, и я бы не пи-

сала об этом, не возмутись его поступком стыдивший его Яков Иванович — прямая, благородная душа. Произошла между ними ссора. Яков Иванович назвал поступок нечестным. Когда годы спустя стали из села разъезжаться, я встретила на почте моего ученика. Он считал новенькие полученные им ассигнации, шелестя ими у меня на глазах (отдаст?). Он не отдал. Да простится ему этот долг...

Г Л А В А 4 БОБКА И БАРБОС

Наш Бобка — собственность хозяйского зятя — черный большой пес. Породистый, гладкошерстный. С хозяином своим ходит на уток — ученый. А веселится, точно щенок. Ценное качество!

Приходя к нам, превращая наш быт в праздник, врывается Бобка — всегда неожиданно, с таким запасом эфемерных нежностей, что вся грусть и усталость дня свивается в пылающее колечко, как кусок березовой коры, брошенной в печь. И окно нашего чулана становится окном замка, который звался Детство.

(С первых лет жизни Бобка, прыгнув в сердце, свил там себе гнездо — по гроб жизни.)

Послевоенные годы, разлуки.

Но стоит черному носу просунуться в щелку, лапе ударить дверь, как радуюсь! И пес это знает! На мои ласки — даже свистит от нежности! Тонко... И вьется всем своим черным телом, и отворачивает в смущении глаза.

Вчера, не видя, я прищемила его морду хозяйской дверью. Он ужасно, по нечеловеческой искренности, взвыл, но, очутившись в моей охапке (испуганной и раскаянной), втащенный в нашу каморку, Бобка, все еще дрожа крупной дрожью от боли, уже облизывая меня, бегло, стыдливо, отрывисто, за силу моего не человеческого, собачьего же сочувствия, явно смирял вой (дрожь — не мог!) и вежливо, душевно-грациозно (так бесконечно выше человеческой воспитанности) выражал полноту своего прощенья, радованье моей виноватой, просящей о мире ласке, утешался всласть, мотал еще страдающей от ушиба мордой.

Боль проходила. Он уже и телом (не одной сердечной эмоцией) оживал: хлопал, точно мух ловил, разинутой пастью (алый язык изгибался, как острие пламени) и, как в детстве, у самого моего лица темнел ряд зубцов, так тогда меня занимавших, — собачьих десен, — и белки глаз, которые он, прыгая, закатывал (в игре, грызне, притворно сердитом рычанье,

точно отдельно двигались от коричневой радужной оболочки), сверкали знакомым в детских играх с щенятами голубоватым уголком с коричневыми жилками. И вдруг в этом богатстве вспыхивал зелено-золотой блеск, на миг, фосфорящимся кружком, волчьим. А шерсть под моей рукой — это тоже так в детстве интересовало, прожило со мной и вот и к старости тут — ходила как отдельно надетая.

Ох, хорошо жить на свете!.. Чувство счастья. Нахождение у самых истоков всего! Каждый раз как вижу собак и кошек.

Но нынче Бобка почему-то не лаял у моей двери, давая знать, что пришел от хозяйского зятя (молодого почтового служащего, худого, умного, талантливое, ядовитое, подчас — горького пьяницы). Издали, по пути в снежно-сенную развалюху (уборную), вижу Бобку — сидит, привалюсь к шалашу, горб к горбу — и не верю глазам: не трогается с места, когда я почти подошла: голова опущена (я — в очках, вижу ясно), глаза Бобки смотрят в сторону, на морде — глубочайшее уныние.

Побили? Прогнали? Классическая поза обиженности...
— Бобка! Бобинька! В чем дело?

Рушусь в снег, на колени, даром что ревматизм, обнимаю, треплю, шепчу, бужу к жизни...

Мурчанье, скачок, взвизг — и пошел — лапами, головой, разинутой в игре пастью! Какая краткость превращения! Какая искренность! Какая не человеческая благодарность!

Увлекаемая его прыжками и увлекая его, с разбега, как полвека назад, вместе в копну сена, в морозный благоухающий хруст.

— Лапу, Бобка! Как думаешь, еще поживем на свете?

А через несколько домов от нас у чинных бездетных хозяев жил тоже чинный, огромный, черный кудряво-лохматый Барбос. Нашей первой встречи не помню, но со второй он стал аккуратно каждый раз выходить на дорогу, как только я показывалась на улице, спокойно тереться о меня кудлатой головой, великолепной, и пускался в путь, точно это был его долг — провожать меня до села.

Мы шли и говорили друг другу ласковые слова и урчанья, и было нам тепло и благодарно вдвоем. Он встречал меня на каждом моем обратном пути, и шли назад — до какого-то, ему понятного, места, где он останавливался, с минуту стоял, глядя мне вслед, добро маша хвостом, затем шел в свой дом. Но однажды навстречу мне из наших ворот прыжками по-

мчался Бобка, еще издали зарычал в сторону Барбоса и, подлетев к самому моему лицу, повернув, побежал назад со мной, как со своей собственностью. Я оглянулась на Барбоса — он стоял на дороге, грустно смотрел вслед. Увидев, что гляжу, он махнул хвостом — покорно признав право Бобки считать меня своей.

С того дня он стал покидать меня раньше — останавливался, глядел в сторону моего и Бобкиного жилья, лизал мне, прощаясь, руки и шел назад.

Помню еще раз, как я вышла из дому идти в село, а Бобка бросился ко мне — бурно здороваться; отмахиваясь от него и шутя с ним, я шла к воротам. Кинув взгляд на дорогу, я увидела Барбоса. Он не заметил Бобки (тот отбежал в игре) и степенно и радостно пошел ко мне навстречу. В этот миг Бобка подскочил ко мне в своем ярмом танце. Барбос стал посреди улицы и смотрел на Бобку. Затем повернулся и пошел прочь.

Так мы жили, пока не пришел конец.

Он пришел почти одновременно Барбосу и Бобке, и по той же самой горькой причине: парнишки убили того и другого. Бобку — за черный блеск его густой шерсти. Барбоса — за кудрявый, черней черного его мех. За красу, ими не знаемую, у них отняли их верное и веселое собачье сердце, которым они хотели служить (и радовать его) человеку.

ГЛАВА 5 ВЕСНА. ТЕГА

После тяжелых буранов, заносов, лютых морозных ночей (зима сибирская кажется непомерно долга жившему лишь в Средней России) весна наступила столь же невинно и всепокоряюще, как в первый раз на земле! Ручьи вдоль домов текли точно так же, ломая ледок ночных речек, как в Трехпрудном, в Москве, когда мы выбегали во двор, где таял каток, и, обегая мостки, топтали льдинки; в прошлогодних калошах после ботинок, валенок, медвежести зимних прогулок! По предсказаниям сибиряков, наводнения не будет или совсем маленькое, не увидим села, залитого поднявшейся речкой, несущей кусты и обломки, не вспомним страшных с детства картин «Медного всадника!». С тем большим жаром я принялась за приготовление к огороду: запись на участок, раздобыванье тяпки, лопаты — бедненького скарба новичка, впервые берущегося за землю.

Говорили: предложат участки на выселках, по 12 соток — жить огородом. С тем условием, чтобы мы строили свою

улицу. Земельный техник отмерит нам землю на возвышенном месте, сюда вода не дойдет, во всяком случае (избы села в наводнение — под водо́й).

Тоня решила строить: она уплатила 76 рублей за лес, торговалась с запрашивающими дорого за вывозку его с далеких делянок (по густой и мокрой тайге). Я на стройку не решалась. С помощью дорожного спутника плотника я нашла конюшенку с узким окошком и негодной дверью, поверила расчету и обещаньям будущего соседа, плотника, мне разобранную конюшенку поставить и достроить на новом участке быстро и дешево — и купила ее, не решаясь торговаться, за тысячу — теперешних сто — рублей. Надо мной потом смеялись — более пятисот — семисот никто бы не дал. Деньги были скоплены из денежных присылок сына и Бориса Пастернака. Платила по частям, урезав себя во всем — хлебе и молоке: хлеба затем не ела девять месяцев, молока не видела полтора года. Предстояла закупка оконных переплетов и стекол, дверной коробки и двери, плах на пол, — каждая присылка денег из дому, вместо еды, будет кормить меня всем деревянным; зато росла непомерная радость одолеть свой уголок, за который не надо платить месяц за месяцем... Почему знать, сколько тут проживешь, самое выгодное и разумное — огород со своим жильем.

Страх когда-нибудь не получить денег из дому и не иметь, чем уплатить хозяину за угол, делал все лишения в еде легко приемлемыми. Сжать себя во всем (лишь был бы кипяток и картошка) — не вопрос. Но вопрос безответный — что делать, если хозяин откажет: выбираться. Куда? Свой угол стал всем нам — неизбежным.

Маленький, разительно меньше братьев гусей — с ними не пасется, живет во дворе, в сенях. Конец лета. Он так свыкся с людьми, что ходит за ними, как пес. Он стоит, поджав ногу (болит?), и умным, ласковым, голубым глазком смотрит, как бабушка у крыльца, на ходу у всех, никого — от старости — не замечая, чистит тупым ножом картошку в большой, весь в саже, котел. Трудно чистить тупым ножом, и Тега сочувствует. Так внимательно и настойчиво приглядываясь и прижимаясь к людской жизни, нельзя не понять ее наконец. И он что-то говорит, всегда разное, хоть и сходное на человеческий взгляд, потому что гусиное. Но ведь и люди тоже говорят разное, а монотонное — на слух гуся. И бабка, похожая на корешок женьшеня, тоже сочувствуя и понимая, по-своему, по-старухиному, ласкает его: «тига-тига» — и уго-

щает горохом, сладок нынче горох, лето-то благодатное... И гусь вежливо ест угощение. Так всегда все, что ему дают, Тега аккуратно и благодарно съедает и аккуратно раскладывает по сенцам, ступенькам крыльца и тропинке маленькие жидкие лужи. Эти лужицы так же мало похожи на гусиный помет, как Тега на своих братьев-красавцев. И все-таки Тега растет, хоть и болеет, и хозяйка (дочь бабки, мать Васи) кормит его, надеясь подкрепить, но замечать ей его некогда в суе хозяйства, и друзей у него в шумном доме двое: бабушка да я.

Правда, что его, как и всех животных, жалеет так же, как я, еще Тоня, но она весь день на кирпичном заводе, приходит, когда гусь спит; она топит печь, ест и полночи читает. Лишь в выходной она общается с Тегой. И всю неделю мы с Тегой скучаем по ней.

— Когда же придет наша Тоня? — говорю я ему, присев, усталая, на пороге, и гусь смотрит мне в глаза немигающим умным глазком — понимает.

Тега ходит ко мне в гости. Я открываю дверь в сени, и он неуклюже, боком, преодолевая испуг перед высоким порогом, прыгает тогда, жалко взмахнув крыльями, и оттуда, вновь преодолев страх, храбро сваливается в глубину каморки.

Я сыплю ему крошек и корочек, он ест жадно и очень быстро и явно просит еще. Но убирать за ним в моей тесноте маленьким веником мне трудно. В сенях я часто мету за ним длинной хозяйской метлой, чтоб не раздражался хозяин, все грозящий, что прирежет его: толстеть не толстеет, а пакостит на самой дороге. Но хозяйка хочет добиться толку — отстаивает. А я малодушно стараюсь не быть уж очень гостеприимной, чтоб поменьше убирать у себя луж.

Однажды, спеша, в пылу дня, когда не по пути мне было с ним, с его гусиной приветливостью, я даже бесцеремонно перевалила его назад через порог — воспользовалась своей привилегией человека над птицей. Тега так испугался — неожиданности, что перекувырнулся, и когда я его, стыдясь и жалея, взяла на руки, он весь дрожал и отчаянно рвался прочь...

Дни шли. Я так свыклась с близостью Теги, что почти скучала, когда его долго не видела. Равнодушно глядя на больших шумных ширококрылых гусей — ими полно все село, я беседовала с Тегиным голубым глазком (Тега как-то всегда был в профиль). В его робкой инвалидности жило родное. И было еще в нем что-то от собаки (от кота?) — он так лип к людям, маленький, «почти человечек», он все делал попытки войти в избу, домой (у меня он был только в гостях), он

стремился за бабушкой, но бабушка сама жила как бы в гостях у зятя, как и Тега, стыдясь своей слишком малой полезности; в избе она была немногим более дома, чем Тега, и не решалась его впускать.

И была в Теге — тлела? — застенчивость, что он не такой, как надо, что все гонят его; мне кажется, он понимал и про лужи: он так стыдливо отходил от них в сторону, точно извинялся, что еще одну сделал. Смоги он — он бы их подтирал, выметал, мне кажется.

И все-таки во всем его поведении возле людей, настойчиво-ласковым, но не назойливым, он хранил свое маленькое гусиное достоинство. И порой — но это уж явно мерещилось, — порой мне казалось, что в этом синем глазочке живет что-то большее: тихое чувство юмора над своей (андерсеновской ли?) судьбой. Он так терпеливо переступал с одной, слабой должно быть, ноги на другую, стоя возле бабушки на крыльце, и так услужливо, спешно уступал дорогу хозяйке, ее мужу Васе (впрочем, никогда Тегу не гнавшему), удаляясь тотчас же (как нелюбимый ребенок) в бороздку меж унавоженных высоких гряд огурцов, почти скрывавших его.

Тега стоял и смотрел в мою комнату, голову набок, ждал своих крошек. Он, наверное, был благодарен мне, что убеждаю бабушку не кормить его, больного, горохом (который он из благодарности безропотно ел). У меня для него была отложена корочка, но на сковороде подгорела картошка, было некогда корку ему крошить. У Теги же было время. И Тега ждал вежливо.

— У-у, гадина! — крикнул привычно хозяин, круглолицый, синеглазый (так бесподобно плясавший!), идя с топором и пилой чинить на реке мост. — Опять нагадил! Отрублю ему завтра голову!

— Голову! Теге! Такую чудную голову! — пошутила я мирно на его словесный воинственный пыл и «хозяйственно» — примирительно: — Да он осенью тех перегонит!..

Тега исчез; смотрел ли он на бабушкины корешки-руки, полющие за домом ее вековую картошку, слушая ее «тига-тига», или скрылся под лопухи, я не видела: я стояла у плиты, мешая картошку.

— Вот, — сказал голос хозяйки. Она смеялась и совала мне через порог корзину.

— Это что? — удивилась я.

— Да гусь! Не признали? Тегу-то вашего! Хозяин его порешил!

— Что-о?? Да не может быть!.. Тега? Только что тут стоял...

Чем-то смущенная женщина наклонила корзинку: грязно-белое, безголовое, маленькое, на подогнутом крыле.

Без крика! Молча глотнул так неожиданно предельную обесчещенность. Совершенно недвижно, точно уже сто лет так лежит... Сбоку, как ненужная мелочь, у хвоста валялась длинная белая трубка с кровавым пучком перышек, и из него, страшная своей выдернутостью, — вялая длинная жила. Горько сомкнут был не поверивший — быть может, и в тот миг — гусиный младенческий профиль. Закрыт и кругом красен был голубой глаз.

Зрелище длилось мгновенье и, исчезнув — корзину уж уносили, переселилось навеки в меня.

— К обеду изжарим! — точно опомнясь, крикнула хозяйка, уходя с добычей в избу.

Я стояла, смиряя дрожь. Какая-то моя жила билась во мне: что я сделала? Пошутила в ответ на угрозу поднятого над шеей топора! Не поверила! Не побеспокоилась даже сказать: «Я вам заплачу за него. Продайте! Он же маленький, недорогой... Пусть считается — мой, может, ему судьба — выжить...» Ведь могла так сказать! Не пришло в голову! (Теперь — пришло!) Спрекраснодушничала! Много, мол, раз говорил так... Точно это «много раз» страховало от того одного раза, который мог только раз быть...

Нет Теги! Повела глазами по комнате. Лежит корочка, как лежала пять минут тому назад, когда ее ждал Тега. *Некогда* было скормить!.. Когда же, когда же придет Тоня?

За дверью, все еще раскрытой, как при Теге, мелькнула бабушка. Я было кинулась навстречу, но за ней шла дочь — хозяйка, и я увидела, что у бабушки дрожит подбородок. Проходя, хозяйка сказала мне спешно, как все, что делала: «Не хочет хозяин держать бабушку, пожила у дочери, говорит, — будет! К сыну ее отправлять налаживает... А там сноха — у-у...»

Темной рукой застится от солнца хозяйка; светлые огорченные глаза из-под щитка руки смотрят вдаль.

В обед пришли гуси, наполнив гоготом двор. Мычит коровья морда — черная с белым Розка просит поила. Нет Теги...

Когда же Тоня придет? В тот миг, когда завижу ее, я смогу немного вздохнуть. В ее усталых, добрых, синих глазах, в начинающих сесть волосах мне сейчас роздых от горя!

Эту главу написав, я послала Борису (Б. Л. Пастернаку). Жаль, не сохранилось его письмо о Теге. О том, как он

принял его. И как удивился и огорчился, что я не откупила его, *убитого*, у хозяев и не похоронила, а позволила съесть. Он был уверен, что вот сейчас (конец главы) я это сделаю... Я читала и огорчалась тоже. Я старалась понять, почему я этого не... Вспоминала: я была сама как-то полубита смертью Теги. Зароют его или съедят — мне как-то было все равно, должно быть, в тот час... Я *жизни* хотела его! Должно быть, для замысла Бориса надо было больше, чем у меня было, энергии, которая была у Бориса и которой у меня не было... Я понимала только одно: нет Теги!

Г Л А В А 6 РОЖДЕНИЕ ОЧАГА

С первыми весенними днями начались хлопоты о перевозке моего будущего жилища и переговоры с соседом. Первое с трудом удалось: разобранный по бревнышку конюшню удалось возами перевезти на мой полуболотный пустырь. Ноги в сапогах почти по колено порой шли в воде, возчик бранился, я ежилась и молчала, моля судьбу о благополучном завершении переезда. Что разворуют бревна и плохонький тес, я не боялась — в отдаленном сибирском селе никто ничего не крал, как мы уже знали. Но меня ждал удар: занятый своей стройкой сосед, обещавший построить, отказался ставить избу: «Некогда мне, мало ли что обещал! Я не один плотник!» Помня его ласковые обещания, я растерялась. Как же так? Это был край отчаяния.

Бедняга Тоня в это время мучилась с неудачей вывозкой леса по колдобинам и размытому пути, взявшиеся отказались, никто не брался, на руках был один лист об оплаченном лесе, и когда ее героическая энергия все же отыскала в селе молодцов, решившихся, то цена была непомерна, и Тоня села надолго без хлеба.

Но она надеялась найти себе маленькую готовую избушку, достроить и перестроить ее, напилев теса. Все свободные часы ее весны прошли в поисках. И однажды она вошла вне себя. Синева ее глаз горела как в юности. Голос сиял:

— Нашла! Банька! Низенькая! Ничего! Над самой речкой! «Вилла на Рейне»! Огород, ягодник... Тысяча семьсот! В рассрочку!..

Шел десятый месяц в Сибири, пятьсот рублей ее денег — в трубу...

Почти год в ужасающей тесноте с разницей бытовых интересов. Тоня, замерзнув в пути, входила со страстью согреться — в часы, когда я, отстрадав от жары (неизбеж-

ной, чтобы на печурке сварить еду, подсушить дрова), жаждала от этой жары избавиться. И когда Тоня подбрасывала дров в печь — я страдала. Страх пожара из-за ночных чтений взял много сил. В подсчете — мы за зиму друг от друга устали. Но когда пришел час расставаться, когда Тоня, уложив немудрящий багаж свой, подошла проститься, когда этот взгляд ее, согретый меня с первого дня встречи, подаривший мне теплоту очага, обратился ко мне с шутливым — чтоб не заплакать — прощаньем, сердце сжалось по-настоящему: страдание от вечерней жары, страх пожара — все отступило! Нет Тони...

Я затосковала всюю... Как пусто без Тони... Просторно, ненужно просторно, все из рук валится... В лютой печали я уснула в ту ночь.

А наутро стою во дворе, чужом, — том, где покупаю конюшенку, собираю трухлявые куски нижних негодных венцов. В который раз уж несу их, полной корзиной, на свой участок — пока у соседа их буду хранить, мое будущее отопление, — бережно подбираю кусочки... Старухи хозяйки нет, куда-то ушла, позволив мне пользоваться корзиной.

На крыльце стоит ее внучка Галя, ей два с половиной года. Крепкая, ясноглазая, низколобая, но лоб — волевой. Волосики над ним густой щетинкой. Рот поджат. Смотрит на то, что я делаю, долго, внимательно. Затем молчание ее прерывается легким сопеньем. Оно становится гуще, и вдруг рождает — слово.

— А ведь колзинка-то наса! — говорит она в минуту, когда я, поняв, надеваю на руку ручку корзинки, чуть сгибаясь под тяжестью.

— Да, деточка, ваша... я скоро ее принесу, — отвечаю я совсем не тем тоном, каким говорят с детьми. Я тотчас отмечаю это и аналитически говорю себе: «Ты это сказала — подчиненно. Почти униженно!» Но сибирское дитя не дает мне времени размышлять.

— В када плинесесь? — изрекает оно.

Неумолимая повелительность звучит в тоне; ему сопутствует зоркий взгляд. И быстрее, чем я бы успела обдумать, я отвечаю:

— Я — очень скоро...

Я иду, подгоняемая тяжестью корзины — столь же, сколь чем-то нестерпимым, что кроется в нашей беседе. Это дитя взяло меня в плен. Это было ужасное дитя — настолько взрослее меня, что я не могла не послушаться. Она дала мне унести корзину, и я должна оплатить доверие — быстротой выполнения обещанного. И долго я, годы потом, это дитя вспоминала. И еще я вспоминала Лысенко, отвергавшего — гены! Нет,

не за какие-нибудь полгода-год полусознательной жизни в данной среде эта девочка поняла, как жить, она усвоила это с первым глотком материнского молока, а вернее, еще и в утробе. И довольно страшный ребенок родился в мир.

А на другой день сосед окончательно отказался строить мою избушку! Тот, что нашел ее для меня, уговорил купить и строиться!.. С горечью вспоминала я слова его: «Перевозите избу разобранную на участок, и я вам ее поставлю. Завтра скажу, сколько вам все станет, смету соображу!» И наутро назвал сумму, не испугавшую (и ведь не сразу платить!). И вдруг — отказ, когда конюшенка куплена, разобрана, перевезена... «Некогда мне!» Что делать? Где искать плотников? Сколько возьмут? Я бросилась к Тоне. Она возмутилась, почувствовала, утешала: «Найдем, поищем, построим!»

И когда я, после слез и мытарства, нашла плотников, они запросили втрое-вчетверо против маниловщины сметы соседа, и я села надолго на полуголодный рацион.

...А Тоня была счастлива, и я радовалась за нее. У нее свой угол над речкой! И колодца не надо! Чудный рельеф берега, спускающегося к воде... И уже чащина кустов ягодных вокруг домика, уют налаженный огородной и ягодной жизни... Сестра Капа тут будет царствовать, когда, подняв домкратом, подрубят дом! И не так уж долго ходить Тоне нагнувшись в баньке — зима пройдет, заработает на бревна, и домкратом подымут ей домик и подрубят низ...

Теперь мечтой ее жизни был приезд Капы. Она готовилась к нему, как к празднику.

— Маленькая моя, старенькая!.. — Она пошла бы за ней на край света...

Шло лето, полное тревог. Я добывала лес — надо было достать восемь бревен, чтобы подрубить мою конюшенку, добро — стариком хозяином отпущенную мне почти в долг. Восемь бревен подрубить и не менее восьми — надрубить будущую избушку. Тоня ходит в своей баньке нагнувшись, улыбается, говорит: «Ничего, привыкну!» — и глаза ее налиты юмором. Но меня такое — пугает. По рассеянности то и дело бить лоб об дверку, макушку о потолок? Как-то уж даже страшно... Но Тоня счастлива — у нее свой дом над речкой! Сестра Капа тут будет радоваться! Так любит природу!

Ежедневно я ходила далеко на мой огород, где уже, после многих дней обещаний, все-таки вспахали трактором мою целину под картошку. Для трех соток огорода под овощи девушка согласилась лопатой копать по пятнадцать рублей сотку, но, устав, отказалась. Я бегала в отчаянии, ища ей замену по селу, — было пора сажать... Нашла другую за двадцать руб-

лей сотку и с ней вместе, дрожа за глаза (запрещен наклон), два дня тяпала тяпкой, наклонясь, преодолев страх за зрение и боль в спине. Тогда встал вопрос о посадке семян. В первый раз в 55 лет! Кто научит? Судьба сжалилась. Пожилая, добрая, бодрая еще женщина, жившая с дочерью и 106-летней¹ матерью, узнав мою беду, пришла и, не взяв денег, показала мне, как что посеять, как посадить овощной огород: сперва помогла сделать грядки.

Именно в эти дни, должно быть, и родилась моя страсть к сажанью и взращиванию, скрасившая мои сибирские годы.

Месяц за месяцем с пчелиным, муравьиным терпением, с увлечением я ухаживаю за огородом, наслаждаясь видом всходящих — как разнообразны! как хороши! — первых посевов и посадок. Иногда я почти не сплю — заря с зарей сходятся: иду с участка домой, когда уже звезды тонут в рассвете. Грабли, тяпка за плечом — как доспех. Девиз моей новой жизни!

Избы спят. Тишина. Только далеко где-то, валдайским бубенцом, лай...

ГЛАВА 7 «КОШКИНА МАМА»

Не сразу мы про нее услышали. Но в селе знали «кошкину маму» — и как было ее не знать? Жила она в самой маленькой избе, какую можно вообразить: моя (будет три на три) была рядом с ее избушкой воплощением простора: ее была два на два! И стояла она на таком отшибе от всех, что ни одного дома с ней не было рядом: в одну сторону — лес, в другую — поляна лесная, в третью — тоже лесная поляна, в четвертую — лес. Кто построил бескрышную ее? Для чего? Кто там жил до нее, до «кошкиной мамы»? Из нас, вместе приехавших, этого никто не знал. Была избушка рубленая из леса еще более тонкого, чем моя экс-конюшенка, никакой глиной не мазана — венцы да мох; сеней — никаких. Дверца утлая — прямо на поляну лесную, в солнце и облака, в ветки, ветер, в серп месяца, в луну, рыжую, оловянную, в черную сибирскую звездную ночь.

Как могла она там одна жить? Не боялась ни человека, ни зверя, ни одиночества? Кто же она была? И какая? Сильная и большая? Ростом — маленькая, по избе. Бойчей же ее — трудно представить. И была она по призванию писатель-

¹ В 106 лет она с интересом слушала радио, хоть и была немного тута на ухо, одна ездила в далекий путь в гости к другой своей дочери, на Урал, и одна вернулась назад. Вот какие сибирячки!

ницей, сам Максим Горький знал и хвалил ее. Звали ее Ольга Захаровна, по фамилии — Разовская; а кошек у ней было пять, и они размножались. Кошки жили хозяйками дома. Когда я, увидев, что две из них едят с тарелки на столе, окликнула Ольгу Захаровну, сообщая об этом, она ответила мне голосом (кошачьего!) достоинства: «Это их право. М о и кошки — чистые!» В этом утверждении кошкам передавалось ее достоинство — в слове «мои». Жизнь ее с кошками была — общая. С виду все они — была ли это порода такая или ее за ними уход — крупнее обычного кошачьего размера. Имена же у них были самые удивительные; увы, я их позабыла. Помню смутно одно лишь, напоминавшее бытовые немецкие сказки Штрудель (или Штруцель?). Остальные имена были вполне разностильны, индивидуальны — так сказать, биографичны; но ни одно не было обычным кошачьим названием. Разговаривала «кошкина мама» с ними, как с детьми, привычно их окликая и наводя порядок, и они откликались и реагировали лучше, чем дети: они слушались. Когда же в стычках с домами далеких соседей коты попадали в беду и терпели урон, «кошкина мама» шла на прием к начальству (чаще всего — к симпатичнейшему комсомольцу Т-ну) и требовала защиты и разбирательства. И настолько красноречив и убежден в своей правоте был истец, что Т-н шел с нею на место происшествия и старался внести в дело ясность и восстановить порядок. Потому крупных бесчинств над Штруделем и его сожителями не происходило, и кошкам удавалось большее благополучие, чем их «маме».

Ели они, конечно, лучшее из того, что могла себе позволить их хозяйка, не в силах работать так, как работали, например, пожилая Тоня или молодая, но болезненная Светлана, — старая Ольга Захаровна нуждалась. Где-то там была у нее сестра, хорошо в жизни устроенная, и говорили, что наша бедняга будто бы ждет ее помощи, сообщив ей о своем трудном житье, и, видимо, под эти будущие деньги, в которые верила, и брала она, где могла, в долг на свою более чем скромную жизнь. Но отзывалась ли сестра в это трудное для всех время — никто не знал. Как-то, помнится, и мне пришлось что-то дать «кошкиной маме», и она мне вернула. Но мне сказали, что она так и будет просить и может и не отдать, и мне стыдно сказать, что однажды я ей, в деньгах стесненная, отказала. А «кошкина мама» — работала. В своей крохе избушке с потолком из досок, жердей и больших кусков березовой коры она печатала на машинке свой новый роман о средневековье, умный и талантливый труд, — главы из него мне читала, и который она давала читать Т-ну. Она надеялась в

будущем роман увидеть в печати. Как забыть эти четыре метра ее жилья — с парижскими эстампами, с открытками, изображающими нотр-дамских химер, музейные сокровища, с пишущей машинкой — среди жалкого инвентаря случайного ее лесного жилища? Под мурлыканье и дремучий блеск глаз, кошачьих, сказочных, как все вокруг нее...

Г Л А В А 8 ПОЯВЛЕНИЕ ДОМКИ. РУСЛАН И ЕГО ХОЗЯЕВА

Утро. На моем пороге маленькое черное пушистое существо, похожее на сеттеренка-гордона: желтое — у бровей и у лап. Тявкает.

Умильно свесив набок длинное кудрявое ухо, щенок смотрит на меня.

— Возьмите щенка, бабушка! — говорил Вася. — У нас кошка... нельзя! Тятя не хочет. Гони, говорит... Жалко!

— А чем я его буду кормить, Вася?

— Супом... и хлеб ест, — тише, неуверенней, зная, что у прежних хлеб не так жирно водится, как у давно тут живущих. — Я ему молочка налил, — шепотом. — Он есть не хочет!

Щенок ждал решения судьбы.

Я взяла его на руки. Он был вершков семи, пушистый; он купался в моих руках, свешиваясь медвежьим телом, младенческим; подымал мордочку, чтоб лизнуть меня розовым язычком, взвизгивал, плавал в воздухе лапами, помогал хвостом, закатывал карие оченки под лоб, сверкая синевой белков; захлебывался щенячьим счастьем. И я оживала вместе с ним.

Я взяла щенка. Он быстро усвоил значение ящика с землей, провинился лишь раз, и мне стыдно помнить, как я сильно его отшлепала, как он метнулся к двери, крича тонким — детским — криком в испуге: в боли он был малодушен. Я назвала его Домка (в память моего котика Домки, с которым жизнь меня разлучила, когда мне пришлось уехать внезапно от сына). Новый Домка спал в ящике под столом, в посылочном, полуценном из дому. Ходил со мной всюду, рано отважась провожать меня в далекий центр села. У магазина, у почты, у аптеки он ждал меня, но я тревожилась за него, боялась собак, мальчишек. Однажды он пропал (я долго писала на почте открытки).

Как померк день! Я бродила в тоске, заглядывая во дворы и улицы, возвращалась, звала, упрекала себя. Потерять такое сокровище, любящее! Снова жить одной? Не оценила счастья!

Не уберегла... И — помнить его, нашу жаркую, веселую жизнь...

Но, подходя к дому, я замерла от радости: мне навстречу — почуял! — летел Домка, малыш умный — нашел дом! Ждал! Несся приветливый визг. Как обнимались! Вмиг он облизал мне лицо, руки, шею. Прыгал! Прыдал от земли! Кричал! Смеялся во всю пасть щенячью! Катался по земле, взлетал на меня, как на мать!

Но хамская способность привыкать к счастью снова позволила мне ударить моего дружка — за то, что вскакивал на мой топчан. Он кричал младенческим голоском обиды, не понимая, за что. Не понимал, потому что тут же вскакивал вновь! И судьба меня наказала — и он снова пропал.

Я одичала в тоске. Все ушло из рук: работа по огороду, по дому. Я остервенело и мрачно искала его всюду. Пала духом. Уныло метнулась назад, бросив все дела, к дому хозяев. Конечно, не придет! П р о ш л о! Это был сон о радости, а я приняла его как будто должное, смешала с бытом, как это делали соседи, для которых пес был сторож, и только за что и кормили, как кошек — за мышей.

Упустила друга! И теперь — одиночество! Уже полдня прошло. Без-на-дежно! Нашел прежнего хозяина, у которого родился? Попал с разбега веселья под телегу? Где он?..

Еда не сварена, каморка не убрана, ничего в огороде не сделано. Я шла, еле двигая ноги, загибая за угол к дому — который раз. Меня ошпарило счастьем: он меня ждал у далеких еще дверей и кинулся ко мне каким-то винтом, вверх, и таким же винтом взлетел всплеск ненасытного голосового ликования. (Он, быть может, так же, как я, думал, что кончено, что меня уж для него нет!) Мы обнимали друг друга перед воротами дома, забыв людей, окна их и их души, черствые в труде и отрыве от близких. Мы праздновали конец тоски!

По широкой улице сибирского села идет домой стадо — дородным шагом рогатого скота и игрушечными ножками овец. Легкое облако пыли, пронзенное закатным огнем, уводит память к картинам — французских? и мною-то позабытых художников. Мычание, бляенье — сельский оркестр вечерами... Сейчас коров подоят (в Сибири не доят овец, только стригут), и все это ляжет на ночной покой — тут же, на улице, — скот не запирают, как в России. Солнце садится, алость заката смешивается со светлой зеленью...

Только на Дальнем Востоке видела я такой цвет неба закатного, у нас его нет.

У наших соседей была большая цепная собака. Черны как сажа были Бобка и Барбос, Руслан был бел как сахар. Большой, длинношерстный, шерсть не была блестящая, как Бобкина, и не курчавилась, как у Барбоса, — она стояла ворохами снежных стрел, точно он весь был из инея. Он был дворовый, но походил на шпица, которого увеличили в лупу. Он лаял густым преданным лаем, добрый служака, многолетний сторож, желтоглазый, улыбающийся, — он прыгал на цепи со всей страстью встречанья навстречу идущему.

Хозяйка хорошо кормит Руслана, как и всю скотину двора. Когда она наливает ему в миску супу и кидает туда хлеб, он так искусно танцует вокруг, словно учился в балете: не заденет, не прольет, как ни заигрывает с Евгенией Петровной, как-то сразу со всех сторон обнимая ее белоснежными лапами. Есть ли на свете существа благодарнее и благороднее собак?

Мне Руслан радуется как празднику — умиленным словам, ласкам, безнаказанности игр. Хозяйку он чтит и побаивается. Меня — нет. Со мной он просто счастлив, как с товарищем-псом. Я не кричу на него, ничем не напоминаю, что — человек. Когда я ужогу, он прощается, кладет мне лапы на плечи, старается лизнуть в нос, машет опухшим хвостом, поднимает и опускает шелковые уши — на солнце они как раз того цвета, который посредине меж золота и серебра.

Хозяин Руслана — плотник Парфен Никитич, низкорослый, плечистый, бородатый, с маленькими медвежьими глазами, в 70 лет вырванный без труда колодец, — сидит на крыльце после ужина, беседуя с пастухом, и перекликается по хозяйству с женою.

Так они живут двое, овцы, да пес, да кот, да куры, неплохо бы и уток завести — пара гусей уже есть, да вот речка дале-конька и луж мало, лета стоят жаркие. Так они жили десятки лет до меня и при мне — год, я стою на квартире у их соседей, огороды разделены жердями.

Кот у Евгении Петровны пестрый, большой, деловой и неласковый, больше по мышинной части, службист: изба, да кладовка, да сеновал — свое котовое хозяйство, и я его мало вижу. Но Руслан, особенно после Бобки и до Домки, скрашивал мою печальную жизнь. Жаркое собачье сердце в добром мохнатом теле, непритворная радость гостю, приветствие цепным грохотом, белые лапы в длинной шерсти у меня на плечах.

Наши друзья! Уже есть кошка Тони — Жанна. Тигровая. Ласковая... И у Тони ведь — дом! А у меня ничего нет: одно вспаханное — десять соток — поле, ни плетня, ни — да, уж

именно ни кола ни двора на двух сотках, как тут говорят, «под усадьбу». И медленно — недели идут, превращаются в месяцы — появляются по два, по одному бревна.

Жизнь шла. Я кормила Домку скромно, еще скромнее, чем ела сама, а он — хотел равенства... Какая же пошлость была в роли хозяина, человека над псом, отказать ему, хоть и в почти голодном дне, в равенстве пищи! Правда, он ел много, но неужели бы судьба не помогла мне, если б я наливала ему густой суп, давала бы очищенную вареную картошку! Уставая по огороду — участок был далеко — и от малого сна, истощенная, я подло потворствовала своей жадности («праву») — погуще, пожирнее, с приправой растительного масла, овощей в супе (ведь мало их, последние до урожая) — и ленилась, позорно, очистить ему, как себе, картошку: старую, сморщенную, доживавшую последние деньки до новой, почти безвкусную, горьковатую; давала ему ее, оставляя на ней шелуху, темную, точно он мог ее очистить сам! На! И ком летел ему наземь. И когда он, понюхав, жалобно подняв бровь, скулил, честно на собачьем своем языке прося: «Ну, очисти ж...» — я отвечала, в густоте человеческой пошлости: «Не хочешь! Значит, не голоден...» И он понимал тотчас и ел — из деликатности. Иногда — не ел, но так тогда извинялся, откланиваясь всем телом, уже полувыросшим, скрывая глаза — стыдившиеся. Тогда я думала о том, что Тоня кормит свою кошку Жанну щедрее, чем я Домку.

Свыкнувшись снова, что он опять со мной, я черствела патологически быстро, пожиная плоды немыслимого корня, звавшего: «Друг, да, конечно. Но я — человек, а ты — пес». Но судьба простила и тушила мое зверское среди людей одиночество собачьей тенью рядом со мной — везде: у маслозавода за пахтой, которую я ему разводила водой, наливая в черепок мало (пахта из-за ее дешевизны попадала в бидон не часто: разбирали); у почты он не убежал уже, умнея, уж не терялся; у лавок, у чайной, даже у двери уборной ждал меня терпеливо, как черный мой кот Катус, дальневосточный, годы назад.

Г Л А В А 9 ПОТРАВА. СТРАСТЬ К ОГОРОДНОМУ ДЕЛУ. ОЧАГ

Мой день делился между двумя домами — тем, где я живу, и тем, где буду жить. Еще он был только кучей бревен и мха, а уже случилась на моем участке беда.

Я мирно шла по селу, кончив свой дневной труд на огороде,

предвкушая, после картофельного ужина, часок чтения или писанья писем, когда, завидевши меня, две бабы в платках зашпешили навстречу:

— Беги, беги скорей — к тебе скот вошел!

Я не сразу поняла. Потом мгновенно: потрава! Я бросилась бежать. Но ведь путь был не меньше версты! Я бежала и останавливалась — вдохнуть, и снова бежала... Я уже у плетня! Он стоит, это ошибка! Увы, близорукость не сразу дала мне увидеть лежащие на земле прутья и колья — подальше. Кто-то бегал по моему огороду, крича и маша палкой. Схватив хворостину, я вбежала сзади в разоренный плетень. Скота уже там не было — мирно, как всегда, бродили за ним коровы, пощипывая траву. А там, где плетень стоял, рыжая корова доедала мой последний капустный кочан. Заслыша мой бег и крик, она подняла голову — и с совсем не коровьей прытью прыжком перемахнула через снизившийся в этом месте плетень, легко, как балерина. Соседи рассказывали — каждый по-своему — беду. Сочувствовали:

— Говорили мы тебе, не сажай, пока в дом не войдешь...

Картина разрушения была страшная. Сколько труда! От 150 — завивались уже! — кочанов (сытость зимы, мечта!) стояли обглоданные корешки. И вся сотка бобов и гороха потоптана и загажена. Слезы шли, шли... Женщины меня утешали.

170 рублей мне ведь стал (сколько — охотных — лишений!) плетень вокруг огорода: шестнадцатилетний соседкин сын Коля, натаскав тальника на себе вязанками, сплел его и вкопал колья. Солнце палит, сушит болото, но сушит и плетень. Сзади он — реденький... Уже уплатила! Ходила к Коле, просила: «Подправь! Скот раздерет рогами, войдет!» Коля смеялся: «Что вы, бабушка! Никогда не войдет, и не думайте!..» А теперь его нет, уехал куда-то... В слезах плачú ребята, таскают тальник, стараются... Из всех сил стараюсь и я. Плету, связываю... Почти все уже посадила! Посадки меня утешают: «Мы ведь растем!..» Но капусты уже не будет...

Но овощи подымаются. И русский старик, уж 17 лет тут «местный», опершись на плетень, мне:

— Хвалю, хороша хозяйка, на твой огород и глядеть охота... Все чин чином...

А у меня из-за спины — крылья!

Культуры взойдут здесь редкие...

И лето помогает: шлет дождь — в меру, поливает всходы, на дорогах не грязь, стало много легче ходить, чем год назад, в лето приезда.

Плотники — бородатый отец и тоненький сын (ему отдавая дочь, так плясал зимой на его свадьбе мой хозяин) — пилят, стучат, сколачивают мою конюшенку. Вымерив веревкой линию фасада по прямой от соседних — далеко друг от друга — домов, поставили 4 лежки (короткие чурки) и на них (вот и весь сибирский фундамент) кладут ряды бревен. Для двух венцов низа добыты бесхлебьем новые бревна, от них чудный дух пьянит не хуже, чем хлебный.

Медленно день за днем подымается домик на зеленом мху вместо пакли (на пакле стены в селе только у богатых домов), пышные изумрудные лохмотки меж венцов напоминают сказочную лесную нору. От полуголодного ли желудка, от тайного ли восторга лицезрения — этот жар, сжимающий мне нутро? Сколько дней уже (плотники — дело известное — как захотят выпить, а хозяйка-беднячка не поднесет, слезают на-земь, бросают работу, идут в село — да и не возвращаются до утра), — сколько дней в лихорадке слежу, как подымаются беревенчатые, из старых бревнышек, стены: и когда люди уходят — мой час: я захожу в свой бескрыший «дом», не веря глазам, щупая, нюхая, мерю, насколько против вчера поднялось, какой будет! Вчера — до пояса было, сегодня — почти до плеч. Неужели послезавтра я буду стоять меж стен с головой вровень, в мой невысокий, но все же человеческий рост?

В дни, когда кончалась у меня конопатка и не хватило мха, перебравшись на лодке через речку в лес за мхом (мимо «шишкующих», самодельными щетками обирающих из кедровых шишек орехи на месте, чтоб шишки тут бросить, увозить-уносить лишь орехи), — я набираюсь питанья: хвойный воздух — и еще другого питанья — глазам для будущих зарисовок: увожу неожиданные, как во сне, волшебства таежного пейзажа назад лодкой через речку (мох — на себе), гладью наших пустынных выселок. Ищу осоку с провожатой, девочкой; вырываю, по ее указанию, из сырой земли корешки уж облете-лого хмеля — «Будет у тебя, бабушка, на тот год во какой хмель, брагу сварись!» Жадно у всех, у каждого выведываю дотоле неведомые тайны земли, способы сажанья, выращива-ния, особенности растений. (Мне нашептывают: «Поросеночек? Курочку? А от гуся — все самая птица доходная — от ей мясо, яйца, перо, пух и ест мало...») Мимо, мимо — без убийств — содроганье! — к чудесному миру растений, который полюбила навеки, — сколько сил хватит, не оторвусь!..

На моем участке было десять болотных кочек, их распал трактор, а приезжий старик Басов Василий Иванович,

степенный обстоятельный мужик-богатырь — и плотник, слесарь, жестянщик, — синеглазый и бородатый, сказал: «Богатая у тебя земля, чернозем! Про колодец первый год не заботься, яму вырою тебе — вода близко, болото было. А наводнения — не бойся, высоко и от речки далеко!»

...А сосед мой строил себе дом: поняв, что трудна вывозка леса из тайги, он стал строиться по-молдавски: столбы, кусты, проволока и замесы глины (материал его стен). Дом был длинный, несколько окон, комната, кухня. Ждал жену. Верно, и ночью строил — днем зарабатывал в учреждении: штукатурил. Поразило всех, что он начал дом с крыши (соломенной): вкопав столбы, протянул на них потолок, и на нем под крышей, на чердаке — жил. Слезал — и клал стены: в огромной яме месили он и купленная им корова замесы с навозом, и этим он заливал и замазывал ряды кустов меж столбов, обвитых проволокой. Дом рос, на удивление соседей, на славу.

А у меня шла покупка плах на пол, вставала забота о потолке. О крыше пока — не мечталось: голодно мне жилось.

Уж наметили, где будут копать подполье, да за мхом надо бежать, хоть с полмешка еще самой притащить, платить больше за мох нечем. По улице — скот с поля, закат. Шум и тишина — вечерний оркестр. Ох, вечера эти... Вечера, дни, вечера... И вот сидят плотники меж стропил, на полу настиленного потолка. «Ну, мать, матку мы тебе положили! Как хошь — беги, неси выпить... Закон!»

Думала, отщучусь. Но денег — «нема»... Убедила! Поверили! Поверили — и я побежала в село — за лимонадом!

Как ни старались, чтоб перебранных старых тесин хватило соединить крутые стропила, — не получилось: часть крыши зияла дырой, а лишить себя еще чего-нибудь в еде значило слечь. Так мечта о кусках горбыля с лесопилки осталась мечтой. Как я буду зимовать в сибирских снежных заносах? Просить сына, и так славшего что мог — ведь семья! — и деньги, и посылки с овсянкой, сахаром, крупой, подсолнечным маслом, — просить не могла. Зато стекла — стопкой в углу, у двойных рам. Три окна на все стороны света (с севера — дверь): четыре купленных рамы, а с востока, над печью (будущей) — вертикально поднятое (в конюшне горизонтально лежавшее) маленькое древнее окошко. Соседи дивятся: чего в такой крохе избе таких два (юг — запад) больших окна? А я не налюбуюсь: сколько света будет! Сколько мук было с плотниками, торгу и споров из-за косяков — засияют стекла в сквозных дырах, скоро, скоро уж пол у избышки будет! — как только распилят мне тяжелых четыре баллана, чудом купленные, на плахи большие (лес да-

леко, от места купли ко мне дотащил — пожалел — сосед, застыдившийся своего обмана, моих голода и трудов).

Себе строил дом, знает, сколько мне каждый шаг стоит, видит, что даже сто граммов хлеба себе в праздники не позволяю, понимает, в какую денежную беду ввел меня своей сметой и обещаньем дешево и скоро мне поставить избу. И тем еще, что он хозяин бывалый — не поторговался за меня при покупке конюшни — целых три-четыре сотни ведь лишних! За себя и рубля бы не передал! Дешевы деньги в чужом кармане...

Но когда уже холодом дует в пустые мои оконные переплеты, а я со вздохом все плачú и плачú деньги хозяину за каморку — сосед вдруг входит ко мне, когда я, кончив труд в огороде, отмываю в миске, в избе, руки: «Ну, где тут у вас стекла?.. Застеклю...» Ликую, стараюсь найти какое-нибудь скудное угощение. И когда он, насорив полосками стекла, уходит, я, скрывая страх: «Сколько я должна вам?» — он уходит, махнув рукой.

Приходил другой — уж те где-то работали — плотник кончать пол. Ноги, привыкшие все время стройки ходить по обломкам и мху, не верят: по доскам! А под досками выкопан квадрат в семьдесят сантиметров глубиью (глубже войдет вода), два и два, — к зиме он будет полон картошки! Буду ее есть — всласть!.. В полметра ширины обходит под полом классически сделанная завалинка (победит даже память о страшной зиме у хозяина, где на полу, на мешке с соломой меж Тониным и моим топчаном бывало 5° мороза!). С завалинкой мне помог добрый знакомый Сергей Тихонович, приходивший в гости к дорожным спутникам, — жил, все надеясь на лучшее, в углу нанятом, и картошки у него не было. Поработали с ним вдвоем тоже всласть — с кирпичами и глиной, не проберется мороз в мое подполье!.. В изнеможенье сели за горячее варево, сладкий чай и воспоминанья о Москве. А неподалеку от дома выкопана яма в метр квадратный — Басов занят был, у копавшего семидесятилетнего старика Парфена Никитича уж сапоги мокли, когда вылез, — будет к ночи вода! И пришла вода! Со страхом в глазах, сердце, таскаю ведром воду, поливаю, что подсыхает, по грядкам, хоть и не пора еще поливать, а радуются растения и отблагодарят овощами в суп...

ГЛАВА 10 ДОМ. ДОМКА

Шла молва о приезде врачебной комиссии, о комиссовке, о назначении больным и старым — пособия. Я надеялась. Какой

помощью это будет моему сыну! Может, и я смогу питаться не только бревнами, горбылем, лесом, дверью, оконными косяками, но и хлебом? Вспомню вкус молока! А «кошкина мама» с ее кошками...

Удивительная была сущность жизни, в тяжкие годы, в трудных условиях никогда она не лишала людей якоря надежды. Бросала им его — так неожиданно! Да, *существо* жизни была — Надежда. И должно быть, так было во все исторические времена! И ежедневный подарок: путь на почту. Если даже тебе там ничего нет — ни письма, ни книги, ни бланка, извещающего о посылке, — сам путь туда уже был костром, сушим болотную землю.

Избушка медленно, но неуклонно росла. Крутые стропила для быстрого стекания воды делали ее сходной со швейцарским шалэ. Это сходство наполнило меня гордостью: из такого старья, без молока, без хлеба — и вот вырос же! Я войду в *свой* дом, к своему огороду-кормильцу вместо того, чтобы хозяйну платить деньги — «в трубу».

День, когда был перевезен скарб, был 4 сентября.

Мы летели с Домкой за забытыми досками и сломанным чайником. Мы сейчас вернемся в наш «дом»! Был вечер. Отец и мать Васи, добрые люди, вышли проводить и проститься. Но Домка вдруг, устав, заупрямился, стал бежать назад, останавливаться.

— Глуп еще! — улыбалась хозяйка светлыми Васиними глазами и гнала щенка хворостиной.

Но у меня нашлась корка, и я манила ею и доманила Домку до болота. Там, поняв должно быть, он побежал сам.

По широкой сибирской улице выселков кипит жаркая вечерняя жизнь — идет скот, бегут овцы, кое-где уже доят коров, кипит ужин. Я спешила до темноты «образить» наше девятиметровое жилье; керосина, да и сил идти его просить в долг — не было. Мы уснули, завязав дверь, не веря счастью простора, — Домка обéгал, обнюхал углы, смотрел вверх на просвечивающие доски потолка.

Приходил плотник — доканчивать пол. А для крыши собирали фанерки, дощечки, как-нибудь дозакреть голую часть стропил, чтоб не очень промокать от дождя и снега. Ни о тесе, ни о горбыле мечтать было нечего.

Стояла теплая осень. Близился день Воздвиженья. Я родилась в этот день. Мне исполнялось 56 лет. Задолго я позвала к себе «в гости» троих: Тоню, путевую спутницу Ольгу Семеновну — с того конца села, где она прилепилась к лесу хвойному крошечной избой, и Сергея Тихоновича. В этот день я сготовлю кашу из тыквы, может быть, даже поджарю кар-

тошки, еще плотник придет, надо же угостить сверх платы.

За неделю до моего дня рождения заболел Домка: лежит, не ест. Даже лакомое! В тревоге о нем и в страхе за свои глаза (нельзя поднимать тяжелого) — как понесу его в ветеринарку? — километра три туда и три назад, шесть. В мешке я понесла Домку, прижав к груди. Жара. Иду, стараясь шибче шагать, поскорее дойти. Шепчу Домке ласковости, спотыкаюсь о кочки. Улица села, потом лес. Тяжело. Но дойдем же! И дошли. И вот уже идем назад из добрых дверей большой избы посреди кедров, где стоит больной конь в чем-то вроде станка, где баба слушает пояснения фельдшера, как давать лекарство корове. Да другая ждет с поросенком. А мы уносим красный порошок, не растворяющийся в воде, — камала, и я буду сыпать его Домке в еду.

А Домка от еды отходит, и порошок плавает на нетронутом супе. Но по-прежнему он ходит со мной. У магазина мы встречаем пожилую учительницу, полную, добрую. Она любит Домкой. Узнав мою беду, она ласково говорит: «Поправится...» Это слово греет меня. Я его помню все следующие дни — и годы с тех пор.

Покупаю Домке кусок хлеба — нюхает, ест немножко. Я высыпаю остаток лекарства — к вечеру хлеб съеден. Наутро ест жижу, густота остается на дне. Это мне в наказание, что жалела псу гущину, что так много ее съедает, а ее так мало. Но жизнь прощает. Солнце светит по огороду таким щедрым, как в детстве, блеском, плотник стругает плаху¹ (каким трудом добытую), и мой черный кудрявый дружок словил на лету картошку в кожуре! на пробу! О, выздоровел! И жизнь катится, миновав болезнь. Плотник стругает, стружки взлетают золотыми игрушками, огород поднялся леском, конопли качают кружевом по земле тени своих волшебных елочек. Мы едим молодую картошку — амброзия! Горох! Бобы! Фасоль! А желтые солнца подсолнухов — зреют.

Я варю в первый раз тькву. Плотнику дам на второе.

Суетась у самодельной кирпичной печки (сваляла удачно, с глиной, и когда ветер в ту сторону, куда труба (дырявое ведро), то чугушки так бурно кипят), я поспеваю поздно: из поставленной остыть для плотника миски жарко лакает Домка.

— Что ты делаешь!.. — кричу я.

Испуганный уже криком, он отскакивает, но я успеваю ударить его деревянной толкушкой (как поднялась рука?), он взвизгивает и бежит.

— Ну как? — весело спрашивает сосед-штукатур (его

¹ П л а х а — широкая доска.

огород по ту сторону моего плетня, у него — уж наработал — нетель, поросенок и кот, он любит животных).— Здоров? А вы беспокоились...

Холодно. Стало дуть из старой двери, как из пропасти,— пошла я на лесопилку, заказала новую дверь. Сделали быстро. Без сладкого поживу до зимы!

— Не поведет теперь!..— хлопал по гладкой поверхности новой двери с ней полдня промучившийся старик Басов, из далеких мест приехавший бородач богатырь.— А к зиме наберем с тобой досточек, да и заклею я тебе как-нибудь дыру-то на крыше!.. А коль хошь, чтоб тепло было,— не печника слухай, печник-то еще какой попадетса, а то и так сложе, что весь дым в избу пойде,— а ты на все окна, на дверь (сеней-то у тебя нету...) щиты закажи, фанеры листов тебе подочту, сколь надо,— обрежу тебе их, укреплю на вертушках, никакой те буран не троне!..

Увы, Домка заболел снова. Он не ел совсем и лежал, нос был горячий, и было немного густой слюны у часто дышащих губ. В этот день, когда я шла в село за хлебом, я позвала его. Он было встал, но, постояв, виновато махнул хвостом и вернулся назад — лечь. А я шла, живя там, где он остался, такой вдруг осунувшийся. «Завтра понесу в ветеринарку!»

Утром идти не пришлось — сосед, устыдясь своего поступка, проявил активность, увидел, что неладно с избой, собрал соседей помочь поднять ее: один ее угол плотники косо поставили, правый бок нагнулса. Мое «шалэ» стоял как косою гриб. Пока всех собрали, и мы успели повисеть на шесте, который был воткнут под дом, а сосед-штукатур подкладывал, втискивал под угол толстую лежку,— прошло полдня. Наспех поев — Домка еду не трогал,— я снова завернула его в мешок и пошла в далекую ветеринарку. Теперь Домка казался мне легче. Фельдшер покачал головой, дал лекарство. Пихты, кедры, ели, бархатная лесная тишина. Домка дремал. В ларьке на берегу реки я купила кусочек мяса. Домка проснулся, понюхал воздух и протянул нос; было лизнул, да раздумал и повесил больную головушку. Мое сердце упало. Грустно прибрили мы в наш дом.

Бульон сварен — не тронут. Спустила его в подполье. И другое горе томило меня: взглянула вдаль и вдруг увидела, что каланча на селе — качается. Я протерла очки — все равно. Я прищурила левый глаз: качается. Прищурила правый: каланча стоит. Я закрыла глаза в испуге. Сжала рукой лоб, крепко. Крепко, себе, из мозга в душу: что-то с глазом! Испортился правый глаз...

Вчерашний шест, на который со всеми давила, и тасканье

бревен, воды... Нарушала все время запрет глазника... И столько месяцев без хлеба, без молока. Значит, не я одолела работу, а она — меня... Что делать? Началось отчаяние. Я видела правым глазом все предметы искаженными: огонек, на который я взглядывала, — потухал. Мой песик Домка казался перетянутым посредине — как рюмка. Слово, которое я хотела прочесть этим глазом, — кружилось. Какой ужас!..

Но и это бледнело перед судьбой Домки. Лекарство я давала ему насильно, раскрывая сопротивлявшийся собачий рот. Домка теперь был не младенец уже — отрок собачий. Его знали везде у соседей, он всюду подкармливался из свиных и куриных корыт более вкусной, чем моя, пищей. Дети играли с ним и с соседским щенком Моряком; крупный, хорошо кормленный, он был сильнее Домки, но не обижал его никогда.

— Дом-дом-дом! — кричу я. — Домка... Домка...

И он летит через улицу ко мне. И вдруг замерла наша жизнь. Кругом все жило, а у нас — болезнь, тихо.

В ту ли ночь это было? Ложась спать, я вдруг увидела страшное: Домка сел и, подняв голову вверх, стал захлебываться слюной. Она текла изо рта густой стеклянной завесой, и он вглатывал ее, пытался загнать назад. Она шла. Он глотал. Она шла неудержно, сильнее, чем он глотал, и он с мученическим терпением боролся с этим ужасом. Я стояла около него на коленях, закаменев от вида этого беззвучного героического страдания и от бессилья помочь. Может быть, я вытирала его тряпкой? Но второй внезапно в этот ужас вошел другой — мысль: бешенство? Меня обдало страхом. Что делать? Куда нести? Скоро ночь. Ветеринарка? — нет сил. И темно. Там его могут убить...

Домка, заглотив утекавшую струю, тяжело облизывался. Он увидел меня и будто кивнул мне мордой. Страшное кончилось.

Я, дрожа, встала с колен, но рассудок говорил: надо вынести его из избы: это — м о ж е т б ы т ь — бешенство. Выпустить нельзя: дети, люди. Я закутала его, донесла до моей камышовой, на столбиках, уборной, впустила и с бьющимся сердцем заперла на вертушку дверь. Содрогаюсь, я бежала назад. Ночь была темна, шумел ветер.

Наутро я вошла к Домке. Он встал, слабый, приветливо помахал хвостом и пошел за мной. Пена у губ была мало заметна. Утишая сердцебиение, я подала ему пить. Если бешенство... Он лакнул раз, два, три и пошел. Останавливался и нюхал воздух. Уходит?

— Домонька...

Он обернулся и пошел на зов. Подойдя, ткнул меня мордочкой. Хлеб — не тронул. Я налила в черепок молока, он подошел, поднял на меня печальные глаза и, не тронув, пошел. Я не смела мешать ему. Его жажда идти, через силу, была сильнее всего. Он вышел на улицу и лег на солнышке, морду на лапы. Я ушла в дом — мести, таскать воду. Скоро придет плотник, надо варить еду. Может быть, я истощила Домку тем, что редко кормила хоть досыта? Жалела труда чистить ему картошку? А может быть, тот удар толкушкой?.. Как я могла?

Собаки весело играли на улице, его — давно ли — товарищи. Чуяли ли болезнь или в них — человеческое равнодушные? К Домке не подбегали. Он лежал как раз там, где на днях прыгал на меня, кусая в игре руки, хватая зубами, и трепал платье,— я тогда замахнулась на него. Он побежал и встал за углом, удивясь. И уже бежал на зов обратно. Давно ли?

А затем Домка пропал. Сколько ни глядели глаза — пусто. Нет Домки! Ушел умирать? Упустила! Как найти его теперь в восьми сотках картофельной зелени? И может, не в нашей с ним, а в чужой — у всех по двенадцати, по пятнадцати соток... Да и разве пустят искать? Я обежала все дворы, забегая во все избы, и звала, звала. Пошла в померкший овощной огород. Елочки конопли кланялись в ветерке, утешали: мы еще у тебя есть...

Почему ушел Домка? Неужели уж чувствует смерть? От насильно даваемого лекарства? Или по старым местам, где вкусно кормился, где крал у свиней,— нет, уж не до того... Ведь молока не тронул!

Громкий голос соседа звал меня:

— Да вон он, собачонок ваш, за кадкой! — Голос смеялся.— Живой!..

— Ох, спасибо!

Я бежала со всех ног. Домка встал, шагнул навстречу, лизнул руку. Я уносила его, как добычу. Я ликовала его теплотой, движеньями ласки, улавливая искру былого веселья в попытке зевнуть, шаловливо щелкнув зубами. Я смотрела счастливо, как он тихонько, осторожно встряхнулся, как шагнул к черепку, глотнул мясной суп, на котором плавала камала,— о, может, весь этот ужас смерти — пройдет? Пена ведь не шла больше! Он бросил пить и медленно, с осторожной жадностью съел (а за ним и я соскочила в подполье) три маленьких кусочка сырого мяса, наскоро посыпанных камалой. Ел и махал хвостом и, съев, привалился ко мне боком — благодарно? Усталостью? Терся головой, лизал руку и вышел за мной к печке, где я варила ему. Как звонко чирикали воробьи! Розовые облака по небу. Вечером Домка

ожил, и жизнь ворвалась в дом! С грязными лапами он прыгнул на одеяло, и я шлепнула его. Спрыгнул легко. Выздоровел!

Басов пришел! Сидит за тарелкой картошки, считаем, сколько листов, сколько рублей — да его труд... Ох! А печи-то нет, а ветер все холодеет — где найду печника? Сосед на все руки, да и у себя еще не клал печи, придет ли ко мне и за сколько? И когда еще одолею кирпич, железную плиту, задвижки, колосники (впроголодь подняла водяную яму и дверь). И дров — ни полена! Пока — щепками, а потом? Знобит — от дум... Не велико ли дело задумала в маломощности — свою избу!..

Басов ушел. На ночь, чтобы не расставаться, я положила Домку в ногах на свой топчан, на подстилку. Он лег между мной и стеной, привалясь, грея меня и мною греясь. Ночь была свежая. (Как далеко еще до печки: ни кирпичей, ни железных ее частей, ни печника.) Страхом ползло по мне: а вдруг это улучшение — перед смертью? На другой день было Воздвиженье. Плотник не работал. Мне исполнилось 56 лет. Я сварила для гостей много овощного густого супа, нажарила сковородку картошки, нарезала кусочками хлеб. На блюдечке был мед. Вскипел чайник, но гости не шли. Забыли?

Все остыло. Никто не пришел.

Домка еду не трогал и все извинялся. Когда жара спала, он вышел и, озираясь, сел в кучу камыша (запасенного для сеней). Затем встал и пошел в дом. Постоял и сел в свой ящик. Но и там не остался. Остановился на пороге и тихо пошел по солнечной стороне к чужим домам. Он шел через болотные кочки слабо и медленно. Иду за ним; беру его на руки. Лижет меня, но пытается — на землю. Отпускаю его. В горле — ком, спутник беды с детства.

Девочка, пробегая, погладила Домку. Он благодарно помахал хвостом. Он стоит посреди пустой сельской улицы, нюхая воздух. Еле бредет дальше. Снова стал, дивится ли перемене всего? Худой, в несколько дней став старичком из веселого пса-подростка, он прислушивается и принимает к знакомой, незнакомой земле, травам, запахам; грациозно и кротко переносит непонятность метаморфозы: потеряв силу движенья, бег и игру, он сохранял — ласковость. Вытянул умирающую голову.

Я стояла, истукан, слезы текли градом, и было чувство стыда, что подглядываю то, что нельзя смотреть. Я стерегла его, прячась за дом, чтобы не смущать. Не звала — чтобы он шел куда хочет. Чтоб с в о б о д н о выбирал смерть.

Прыгая и кусаясь с другим псом, весело лая, летит Моряк.

Он бегло взглянул на Домку, и, минуя его, оба пса унеслись. Домка приветливо машет хвостом и, будто старчески отдыхая, сторонится их шумного бега. И все кланяется. В небе тихие краски, передозовость близящегося заката. Идет свинья — огромная, тяжкая, громко хрюкая. Домка поклонился и ей, и ей помахал хвостом...

Его прощанье с оставшейся жизнью было так явно, что я больше уже не могла. Я душила рев в постель — в нашу. Ждала. Ждала — придет ли домой. Простаясь с теми домами, у которых играл с собаками и детьми, где был волен, сыт, счастлив. Вспомнит ли о нашем с ним доме?

Закат горел — отпылал, и я вдруг вижу, как черненькое, худое, с торчащими костями создание, низко пригибаясь к земле, повертывается — к нашей избушке. Домка идет, еле ступая, медленно, с усилием. Домой. Я ждала у калитки. Он переступил ее высокий порог, кивая мне мордочкой. Она будто опухла. Поднял бровки. Блеснули глаза. Он лизнул мне руку и со мной вошел в избу.

Я взяла его на руки. Показалось, он холодеет. Я положила его, бросилась за мясным бульоном и стала вливать его в рот. Он противился, я понемножку лила. Зарычал, укусил! Первый раз! Достоинство умирающего: не трогай! Уже не надо мне, не хочу!..

Он был слаб лечь на постели. Спрыгнув, он упал бы. Мы легли на полу, на сеннике, вместе. Он положил мне головку на руку. Стемнело. Я слушала. Он вдруг перекинулся. Потом встал и метнулся к двери.

— Нет,— сказала я твердо, в слезах,— нет, Домка! Туда не пушу! Здесь...

Он понял! Порывом тела кинул себя о дверь, лег длиной по ее ширине, вдоль порога. Он лежал и дышал. Я смотрела. Но я была очень уставшая, я не знала, сколько он будет так лежать, я взяла тарелку с натертой морковью (для глаз), меда с блюдца и стала есть. «Подкреплюсь...» Но стыд брал верх. Перестала. Я и до сих пор не могу простить себе этого. Я присела перед Домкой у порога и тихонечко, еле-еле стала гладить его лапки и лоб. Он закрыл глаза. Вздогнул. Два раза дохнул и два раза — еле — оскалился. Что-то перекапилось в пищеводе. И стих...

Я встала, не веря. Вот он лежит, все такой же, а его уже нет. Ночь — и я. Завтра пойти к Тоне... Я сшила матрасик из марли и тряпок — на дно его ящика. Бережно подняла еще теплое пушистое тельце, положила его туда. Он занял весь большой посылочный ящик. Как вырос! И перестал расти...

Я вышла в ночь. Холодную, черную. Сорвала мак, листки

положила на лапки. Он лежал на левом боку, правую лапку — вперед. Кудрявая черная шерстка, желтые подпалины у глаз и у лап. Худой. Медленно остывал. Покрыла марлечкой и легла. Как тихо...

Наутро соседская девочка предложила мне закопать его. За три рубля. Они были. Я отказалась. Сама! Вред глазам? Все равно! Это же последний долг! Я вырыла могилку. Я думала о нем когда-то: «Какой у него нрав? Собственно — никакой. Обычный». Боли боялся... А как кротко, как доблестно умирал...

Я схоронила Домку перед самым порогом, повернув ящик так, как он лежал на пороге. Скоро будут камышовые сени над ним. Он о с т а н е т с я в нашем с ним доме!

Г Л А В А 11 ПОСЛЕ ДОМКИ. ОБМАЗКА ИЗБЫ. КОНЕЦ РУСЛАНА

Я живу, и я думаю: он хотел удовольствия от еды, а я, любя его, хотела, чтобы еда для него была только существованием. Даже грубо говорила не раз: «Ну, придется тебе поискать другого хозяина...» Не понимая, что говорю! Искал тепла — гнала с постели. Дала и тепло, и еду любимую — перед смертью, когда уж не мог... Счастье вспомнить, как несколько раз еще до постройки дома давала ему большие куски хлеба. Как хватал! Может быть, я погубила его ударом толкушки за плотникову еду? Эта мысль была нестерпима. Но встречаю хозяйку Моряка: Моряк заболел! И все — как у Домки. Собачья чума? Передаю Моряку наследство от Домки: лекарство (в первый раз ведь Домке помогло). Но Моряк погиб — точно такой же смертью. Накануне я думала: как мне узнать, хоть во сне, виновата ли я? Вижу сон: земля, могила. Из нее — вышла? — черная, побольше Домки, собака. Кудрявая, как он. Ко мне... и стала исчезать. Могила, пустая, осталась. Я проснулась. Пришел! Во сне! И сказал: все — там. А земля — землею...

Как помог мне в горе моем — огород. Работа! Дорацивание овощей до глубокой осени... Они росли, они были живые...

...Жизнь шла: Через мою тоску по Домке. И надо было за жизнь биться.

Соседи хоть и любовались моими успехами, но, трогая тонкие избяные бревнышки, головами качали: «Как зимовать будешь? В ней кони жили, им што, а ты... Кровь-то не греет, стара... Мазать надо, без обмазки — какая зима?»

Крепко думаю: месить — это что, научусь, одолею, но бе-

да — воды для глины греть негде, а холодной — что буду делать, если грянет возобновление ревматизма? Полтора месяца ведь висела на Дальнем Востоке рука... И месить — наклон запрещен глазам!

Осень спешила. Ребятишки копали глину, а я собирала навоз. Сколько тазов вымесила с конским пометом для завалинки — а на избу — костью ляжешь! Кабы еще хлеб есть...

Напротив меня кончала строить избу чувашская семья. Молодая мать, черноглазая Женя, предложила мне помощь. Сторговались. Почти всю первую получку из дому — ей. Вымесит, обмажет мне избу! Спасу глаза!

О, какой же день был, когда вместо бревнышек меж окон замаслился густой слой зеленоватой (одна треть конского) глины! Хоть другие соседи спорили — не та пропорция, конского шесть ведер на десять (четыре глины), критиковали и тонкость слоя... Но я ведь видела, сколько работала Женя, разве бы я могла! И, щупая сбоку слой глины, я, как мать о потолстевшем ребенке, радуюсь: теперь мои стены мороз пробьет с таким же трудом, с каким Женя кидала на бревна пригоршни живительной густоты, размазывая их лопаткой, прилепывая рукой. А если щиты на окна и дверь (так советует Басов), о, я буду самым счастливым человеком в селе — я, одна из всех поселившаяся в конюшне! Даже если будет плохая печь, не умеющая держать тепло, — я буду от вьюги защищена — как смогла! — и дров надо будет добывать меньше...

Поздняя осень. Зашла навестить прежних соседей. Гусей уж не пара, а выводок, растет телка, овец уж постригли, связав им ноги и положив на бочок на крыльцо. Лежат себе.

— А что-то Руслана твоего не слышно, Евгения Петровна? — говорю я, облокотясь о жердь.

— А его хозяин повесил, — без малейшего выражения в голосе отвечает старушка.

— Руслана?? Повесил??? Да ты что, шутишь, что ли? — сказала я, холодея и в бессильной ярости выжимая слова, грубо: — Сбесился он, что ли?

Поняв неверно, о ком вопрос, она встала и обернулась. С достоинством:

— Чего ему беситься? Чай, пить давала! Рукавицы себе шить хочет, на рынке-то ноне дороги... Из деревни посулились махонькую, хорошая, говорят, собачонка. Чего такого теленка кормить...

— Убить пса, который так служил, такую собаку... Большую — на рукавицы!.. Да как же ты ему позволила такое бесчинство сделать?

— А я ему велела...— беззлобно, бесстрастно ответила Евгения Петровна, глухая ко всему, что жило во мне и в Руслане.

— Такое *зверство!* Как он к тебе ласкался... Такая собака... *Друга* убили...

Она уж не слушала, шла в избу.

ГЛАВА 12 БОЛЕЗНЬ

Без Домки я осталась одна, с моим испорченным глазом. И вот вся удача моя, после стольких трудных дней жизни в тишине, в своем уголку, вся радость об огороде, об уборке в подполье с такой затратой сил выкопанной картошки, о грудах моркови у каждой грядки, об усвоенном способе хранить в вязках лук, запасах разных сортов гороха, бобов, свеклы, редьки, чеснока — все рухнуло! Я бросилась в село, в поликлинику. Я добивалась осмотра врача. Но глазника не было. Мне предложили лечь в районную больницу — до выяснения вопроса о возможности вылететь самолетом в область, в глазную больницу. От меня шла телеграмма главврачу вологодской глазной больницы, ученице профессора Филатова, Евгении Васильевне Александрович, у которой я лежала в областной больнице в Вологде, просьба сообщить районным сибирским врачам о состоянии моих глаз и необходимости срочного медосмотра специалистом.

Ожидая ответа, я жарче принялась за работу.

Наконец сосед согласился класть печь. Холод уже был лютый. Никогда не забыть рождения печи! Как тогда венцы поднимались между мешков мха, так теперь каждый ряд кирпичей — на глину. Запах этот! — растущего очага, мое сдерживаемое волнение, мой страх, что может не хватить кирпичей, мои хлопоты над глиной — и почти головокружение от мечты, воплощающейся! Такой долгожданной, выстраданной... День и ночь, почти до утра печниковой работой до потолка подымающую трубу, кирпичную! Вдруг ставшую меньше избушку, запах сырых кирпичей (будущего овсяного теста...), трепет счастья, когда затрещали в печи дрова и дым *не* пошел в дом! Разве это забудешь!

Но зима на носу, а завалинку вокруг избы из земли ведрами не поднять (подняла бы, тепеливо с утра до ночи носила бы — кабы глазам слепота не грозила). Опять зубы на полку — и соседские ребятишки мне копают, носят и засыпают землей низ избы, в загородки из картофельной ботвы — сплела, закрутила ее, высыхающую: спасенье от морозов, бу-

рана. Ставни? Пока мечта... Но уже лежит груда дров — три воза! До весны, может, хватит, если по разу топить.

Главврач больницы, милая, молодая женщина, передала мне через кого-то, что — до ответа доктора Александрович и возможности выехать — мне надо собираться лечь пока к ним: освобождается койка. Я лихорадочно — помогали соседки — убирала овощи в дом. У меня в это время жила — попросилась за помощь по огороду и дому — бездомная чудаковатая Валя, женщина средних лет, вперевалку за двадцать пять копеек носившая людям с реки пару ведер, тем жившая. У нее где-то в приюте двенадцатилетняя дочь Надя. Скоро и дочь поселилась у меня. Я было сперва не хотела: где моя тишина? Но мы с Надей так привязались друг к другу, что теперь мысль о разлуке уже была трудна. Надя не любила мать, осуждала ее, дерзила, я мирила их. Было решено, что они останутся у меня, пока я буду в больнице. Нежданно получив из дому денег, я спешно запасала дрова и камыш, вела с Басовым переговоры о сеньях; дверь для них есть — старая, снятая со входа в дом. В утро моего ухода в больницу Басов работал над стропилами для сений. Вали не было.

— Смотри, Василий Иванович, — сказала я, подавая ему руку, и его богатырская сжала мою, — оставляю на тебя дом! Ключ вечерами передавай Вале.

— Будь покойна, все будет как следоват, — отвечал он. Надя плакала. Мы обнялись. Я пошла.

В палате было коек восемь — десять. Но я их не видела: меня отдали на попечение старшего терапевта доктора Райта, пожилого, опытного врача, а он велел мне лежать на спине первые недели в темных очках и даже сверх них — в повязке. Отношение к больным было отличное. Да и вообще на начальство в селе мало кто жаловался: были один-два помощника у начальника — малоприятные, но сам он — комсомолец Т-н — был превосходный человек и никому жизни не портил.

Врач Томас Яковлевич (предки его — англичане, уже несколько поколений в России сделали его совсем русским) был человек пожилой. Умершая жена его работала глазником, и он, годы прожив с ней, сблизился с делом лечения глаз. Он надзирал за мной внимательно; нередко присаживался на кровать и дружественно беседовал со мной. Кормили — для того времени — сытно и вкусно. Ожидая скорой поездки в глазную больницу, я, лежа без движения, толстела, подкрепляемая полученными за этот месяц двумя посылками — от сына с невесткой и от подруги Зои Цветковой (первую из которых по доверенности моей получила пожилая Таисия

Еремеевна, носившая мне их по частям). Когда, простудясь в холодном коридоре из ванной в палату, я три недели не могла там купаться и вновь затем попала в ванную и увидела при вечернем освещении свою тень, я удивилась и ужаснулась: это я, всегда худая, стала почти толстой?

Доказательство того, как хорошо мне было в районной больнице и как я верила в помощь глазу от лежания и лечения в предстоящей глазной больнице.

Навещавшая меня Таисия Еремеевна делала это охотно, как бы даже увлеклась опеканьем меня. С комической миной, приглушив голос, она сообщала о старушке Ольге Семеновне, которой я дала доверенность на вторую посылку. Та заболела и передавала мне части посылки через Таисию Еремеевну. Видимо, последняя стеснялась высказать свои подозрения ясней «по воспитанности». Придя в следующий раз, она зашептала снова и, прищулив светлый и небесхитростный глаз, как бы через силу:

— В общем... не знаю, как сказать... Неприятно, конечно, но все же приходится, ведь я являюсь как бы передаточным звеном... Словом, мое впечатление, что у нее все как-то... как бы это выразиться? Ну, прилипает к рукам, что ли.— И прищуренный глаз раскрылся в юмористической ужимке, и в обоих светлых глазах замутнелся хитроватый смех.

Как я вспомнила это, когда ко мне, много позже, пришла взволнованная Светлана, сожительница Таисии Еремеевны, проводив — стало возможно ехать — свою заботливую «мамашу» и обнаружив, что с ней вместе она проводила и свою меховую шубу... Ольга Семеновна же была и пребывала честнейшей из женщин!

Я совсем сроднилась с больницей и доктором Райтом.

И большим ударом был мне, после более месяца ожидания разрешения на мой выезд в город, отказ из области. Я почти пала духом! Из районной больницы меня тотчас выписали, и я с узлом поплелась ночевать — дело шло к вечеру — к монашенке Ольге Семеновне в ее крошку избушку у входа в кедровый лес вблизи кладбища. Как добро она меня встретила! Утешала и одобряла! А наутро она помогла мне донести мой узел через все село — ко мне, бережа мой глаз. «Дома», в моей избе, мне на шею бросилась Надя. Она очень ссорилась с матерью, та чудила. С этих дней у меня началась бессонница — мучительное лежание напролет ночи в страхе возможной слепоты. Тяжкие ночи.

Я почти не смыкала глаз. Правда, что помощник началь-

ника посоветовал мне послать вторичный запрос в область, «и мы поддержим», но кто ж знает?

— Успокойтесь! Разрешат! — утешал он. — Поедете! Просто как-то прочли невнимательно, что дело идет о зрении. — И помощнику своему: — Теряет человек зрение — понимаешь?

И все же и в тех днях были у меня радости: первая — Надя. Вторая — сени, такие лохмато-теплые, что, к гордости Басова, никакой ветер не проникал туда. Третья радость — соседская — через два дома — кошка, пепельно-серая, *очень* ласковая, появлявшаяся всегда внезапно, за что я прозвала ее Фея. Многие мои бессонные ночи она спала у меня в ногах. Четвертая радость — печь, печь, печь!.. Сколько денег, труда, грязи — и сколько счастья!

Ссоры Нади с матерью были мне нестерпимы. Валя, вынося горящие головешки, роняла их вблизи камышовых стенок сеней. Ее нельзя было оставить тут без себя в случае отъезда в Новосибирск! И я повела переговоры с соседом — пусть переселится на этот случай ко мне: теплей, чем в его большом неоконченном доме, и меньше пойдет дров, половина — моих, половина — его. (Я отапливала картошку.) Он согласился. Валя загрустила. Из области в морозные январские дни пришло разрешение. Мне давали провожатого. Вылетим 21 января, в Ленинский день. Стояли морозы. Я хлопотала об устройстве Нади в интернат. Как ее бросить? Рассказала положение. Начальница согласилась.

— Хоть и ссорились иногда, — сказала мне Валя печально, — а жалко мне уходить...

И мне тоже... Надя проводила меня. Мы обнялись, обе в слезах. Она усердно писала мне года два письма, кончая всегда: «Жду ответа, как соловей лета». Я отвечала.

Г Л А В А 13 Н О В О С И Б И Р С К

Двухместный почтовый алюминиевый самолет взвился с шумом моторной лодки в такой мороз, что, не закутай я себя в присланную мне сестрой Лерой куртку из башлыков, и в шаль (шерстяную, подарок Н. П. Туполевой), и все старье теплое, что наскребла под пальто, ватное, — заболела бы. Ух, как холодно было! Но полету было всего — один час: до Оби и ее равнины.

Увы! В больнице нет места. Мой провожатый покидает меня.

— Как-нибудь уж сами устройтесь. Походите поищите квартиру!

Хожу и ищу. Сверток с вещами — тяжел (страх за глаз!). Мороз крепнет. Никто не пускает. Стучусь и стучусь в дома. Уж начинаю упрекать себя, что рассталась с моим провожатым, — не отставать бы и идти за ним! Не лететь же назад?! Разве во второй раз дадут мне путь в больницу? Слепнуть? Ну, хорошо — а сегодня что, замерзать?.. А отказы продолжаются. Я почти обессилела. Никто не пускал. Наконец я взмолилась к Богу: помоги!

На пороге — маленькая, худенькая старушка:

— В глазную? Нет места? Вы из района? Что ж, заходите, только уж вместе со мною в комнате, отдельных у меня нет... Я швея, живу бедно...

Неужели «воспитанность» пресловутая, учащая не выражать чувств, помешала мне в тот час расцеловать ее, обнять? Я вошла в тепло, так продрогшая... Две недели, что у нее пожила, задыхалась от кашля — бронхит, и Гликерия Ивановна, милейшая женщина, лечила меня горячим молоком с чайной ложкой скипидара — вылечила! Как уютно, как хорошо мы прожили с ней! Наш старушечий поход в театр «Факел» — слушать Вертинского (кого в юности, в Москве, не слыхала!). Старый печальный певец после полжизни на Западе вернулся на Родину и поет свои знаменитые песни и свою там написанную «Молдаванскую степь»... Не в костюме Пьеро, уже — фрак, чинность, старость... Песнь о двух дочках — о близком конце, о том, как над его могилой пропоет соловей... И мы, две старухи, друг друга неделю назад не знавшие, еле удерживаемся от слез, как девушки, гимназические подруги. Чаепития, скромные обеды, длинные вечера. И слезы при расставании. (Долго потом я писала ей: «Гликерии Ивановне Бессемейной». Потом, как всё на свете, кончились письма. Жива ли она теперь?..)

А затем — больничные коридоры областной глазной больницы, профессор Ш-ая и ее свита, ассистенты, аспиранты...

Начиная с палат все было другое, чем в вологодской областной глазной больнице под начальством Евгении Васильевны Александрович, очень умной и очень доброй женщины, изумительного администратора: там был уют и ласковость — персонал был подобран, палаты небольшие, покойные. Тут было шумно в многокочных палатах, плохо кормили, с больными обращались грубо. Может быть, это тем объяснялось, что сама профессор Ш-ая бывала только на обходе, слишком доверяла помощникам? Она часто и сильно болела. При обходе ее все вокруг нас подтягивалось. Ее приветливость передава-

лась — на час — с ней шедшим. О, Евгения Васильевна, во всей своей обаятельной мягкости, видела всех насквозь, в руках держала больницу! Ее обожали. Ее слушались не за страх, а за совесть. Помню, как, услышав, что кто-то окликнул меня по фамилии, она строго обернулась:

— Что это такое? В нашей больнице так не зовут человека: Цветаева! Надо сказать «Товарищ Цветаева!».

Тут нас вызывали по фамилии, и тон был повелителен. Но была одна женщина-врач — я забыла ее фамилию — и пусть, так лучше, — отличавшаяся мягкостью обращения. Пожилая, со вдумчивым взглядом, она, видимо, жалела меня за тип болезни, плохо поддававшейся лечению, за возраст... При осмотрах ее у меня согревалась душа. Я ждала этих встреч, веселела. Как же тяжело я пережила ее внезапную перемену ко мне! Это было подчеркнуто резко. Она не только перестала со мной говорить, ободрять, давать советы — она отвертывалась от меня, явно меня избегала, даже стала обрывать меня, и некое начало гримасы появлялось на ее лице при виде меня. Я колебалась между негодованием и унынием. Не понимала. Мне мерк день, я старалась понять, что произошло. Наконец я решила: тут клевета! Только узнав о человеке что-то поносное, подлое, можно было явное сочувствие изменить на оскорбительное пренебрежение. «Она радовалась мне, сочувствовала, пряча за спиной камень?» Я догадывалась о стиле ложного обвинения. Я, сказали ей, веду недостойную деятельность. Я пожалала плечами... Мое лечение клонилось к концу, и нанесенная травма так и продлилась до последнего дня. Бог ей судья, как говорит народная поговорка! Но в отмщенье за обиду от интеллигентной женщины судьба послала мне дружбу с пожилой крестьянкой с Севера. Как мы сошлись! Как ласкова она была, как ко мне привязалась, как приглашала к себе — когда смогу! Старинно, полно достоинства было это ее приглашение. Широко отменяя в сторону временные трудности страны, она звала, заранее радуясь встрече: «Сумею принять, не подумайте! У меня отдохнете, поправитесь! Мы людей понимаем...» В иные минуты и при подошедшем прощании она говорила мне «ты» — как сестре: «Приезжай, буду ждать тебя! Сын на станции встретит!» Высокая, ширококостная, с резкими чертами лица, седеющая. Глаза ее улыбались, светлые, и в осанке ее, в поднятой голове светилась непогашенная статья русской женщины. Увы, мне не пришлось более увидеть ее.

В нашу палату положили девочку двенадцати лет. Ее готовили к операции. В раннем детстве ее, когда она лежала в люльке, ее родители поссорились, и отец ее кинул в ее

мать — вилкой. Эта вилка попала в люльку, в личико ребенка, и как-то сместила, в полете своем, ее (помнится, левый) глаз. Как? Ведь орбита глазная не могла опуститься? Но так ребенок и рос с глазами не на одной высоте. Видел ли большой глаз, я не знаю. Деформация же лица была мучительна на вид больше всех, разумеется, девочке. В двенадцать лет ей была разрешена операция, и маленькая пациентка готовилась к ней со страстной надеждой «стать как все»: ей это было, насколько я помню, обещано. Нелегки и долги были приготовления, она терпела радостно, мужественно. Операция удалась. Врачи радовались. Палата поздравляла выздоравливающую. Через сколько-то дней с нее сняли повязку: глаза были на одном уровне! Девочка ликовала...

...Трудно забыть день, когда — в первый раз — еще только неясно ей показалось: будто бы чуть ниже глаз левый. Как это могло быть? Но ведь его сумели поднять! Как? Все было непонятно. Глаз опускался к прежнему месту. Кругом молчали. Девочка уж не брала зеркала...

В нашу палату поступила пожилая больная, сразу меня заинтересовавшая. Начиная с отчества ее она привлекла внимание — Александра Северовна Стрельникова. Она приехала на операцию, и серьезную: у нее было отслоение сетчатки. (В те годы (1951) операция состояла из поворачивания глаза на нерве и мышцах сетчаткой наружу — что чрезвычайно болезненно, нестерпимо), электроприжиганием стараются помочь делу — без обезболивания уколами вокруг глаза. Больные в глазных больницах *знают* процесс той или иной операции, только на эти темы ведутся беседы в палатах. Конечно, и новоприбывшая знала, к чему ей готовиться. Но почти с первых слов, несмотря на близость операции, она шагнула в наш день совсем неожиданной темой: критикой неточных, подчас и неверных, как она утверждала, советов школы гимнастики по радио. Услышав диктующий голос, Стрельникова, точно получив, персонально, удар в сердце, повелительно протянула руку в сторону голоса:

— Выключите эту машину! Он сейчас сказал «выдох», когда надо «вдох»...

Степень ее волнения — пожилого человека (мне помнится у нее проседь), больного — заорожила внимание. Я всею собою повернулась к Стрельниковой. В ее *тоне* звучала не простая убежденность в правоте того, что утверждала, а сама правота о себе заявляла.

Так Коперник своим познанием, перешедшим в его существо, знал, что Земля вертится. И быть готовым идти за это на смерть было только естественно — если

ничего другого от непонимающих нельзя было обрести...

Кто была Стрельникова по профессии, я не знала. Но много лет к ней ходил уже тогда известный Новосибирский оперный театр: она лечила — дыханием — оперных певцов, заболевания их голосовых связок, она вылечивала *своей* системой дыхания затяжные грудные болезни, заикание и астму. Каждый человек, ее помощи требовавший, был делом ее дня. Я не видела Александру Северовну стоящей, я не видела ее рост. Но представить ее себе роста маленького не могу. Выше среднего должен был быть рост этого человека. Лицо продолговато, голова высоко поднята, черты выразительны. Интонации голоса не забудешь.

Мы сблизились сразу. Узнав, что я пишу, она оживилась.

— Отлично,— сказала она.— Я вам изложу всю мою теорию, расскажу практику этого дела. Вы все изложите — и мы издадим книгу.

Но мне пришлось огорчить ее: не назвав слово «ссылная» (а книг ссыльных не издают!), я мягко сказала, что мне надо возвращаться в район, где я живу, а ей — ложиться на операцию. Время нашего общения — кратко...

Какую тревогу вызвала весть об операции в Новосибирске, трудно передать! Сколько народу посещало Стрельникову, сколько ей носили цветов (а пора была зимняя), сколько благодарностей от вылеченных мы в палате слышали! Заики, астматики...

...Мы больше никогда не увиделись.

Тридцать лет спустя в Москве я вновь услышала фамилию Стрельниковой — Александры Николаевны! И это оказалась ее дочь, продолжившая ее дело, и развившая, и получившая авторское свидетельство. Она лечит многие болезни с большим успехом.

Когда я занялась этой дыхательной гимнастикой — а она легка и вовсе не утомительна,— я в 87 лет очень скоро и к большому удивлению заметила, что ей подчинились неожиданно ревматические и подагрические боли! (В дыхательных упражнениях участвует все тело.)

Мир праху зачинателя этого удивительного лечения — Александры Северовны Стрельниковой!

Лекции студентам надо мной — уколы из огромной кислородной подушки иглой под конъюнктиву глаза, неделя сонной терапии в общей палате! Люминал, веронал, бромурал — россыпью! Люминал прячу под матрац, с другими —

мирюсь. Но каблучки медсестер слышу. На процедуры встаю как ударенная по голове мешком. Кучка мальчиков в серых халатиках. У большинства из них вынута по глазу (рогатки, игра с порохом, самовыстрелы, стрельба из лука).

— Запретить рогатки,— говорит маленький северянин.

Увы, глаз мой не улучшается! Было хотели переливание крови: истощение, дистрофия! Узнаю, группа крови — вторая. Но ассистентка — профессору:

— Решайте, 56 лет... Надо ли? Организм утлый...

И — к моей радости — отменили.

— Цветаева! — говорит мне ассистентка.— Как вы ходите! Запомните, всю вашу жизнь вы должны ходить так, как будто несете стекло, поняли? Иначе можете сразу ослепнуть...

Вспоминаю слова Александрович, сказавшей: «Запрет носить тяжести. Запрет наклона. Сон по 10 часов в сутки. Покой, режим дня. Иначе...» Да, но что я могла! Тяпать в наклон, таскать воду, бревна, когда не было денег нанять,— в чем себя упрекать? Так распорядилась мной жизнь...

— Цветаева, слушайте: тряская дорога вам воспрещена. Телеги, автобусы... Противопоказана жара. Никогда не ходите по солнцу. Не читайте и не пишите подолгу. Вы должны быть под постоянным наблюдением окулиста. Поняли? (Которого, думаю я, там, где я живу, нет. За почти 200 верст!)

— Понимаю,— говорю я учтиво.

Беседа кончена, а жизнь продолжается. Я лечу назад в Пихтовку — навстречу огородным работам. Март...

Мы летим вдвоем, две больные, в санитарном самолете, занавесочки, два окошка, два мешочка — в случае тошноты. Не тошнит. Смотрим в окошки. Забавно, но неинтересно: точно в газете — план местности: дороги — ниточки, леса — садики, отсутствие пейзажа. Воздух — весенний!

Отчего я, не перенося малейшей морской качки, радостно погружаюсь в воздушные ямы? Приятно...

Г Л А В А 14 ТРЕТЬЯ ВЕСНА В СИБИРИ. ПРИЕЗД СЕМЬИ СЫНА

Что ждало меня в моем домике! Марля на окнах — черная. Вещи сдвинуты. Деревянное корыто — поило теленку (родился соседский). Глина, солома. И в конце моего топчана, за печкой,— сам теленок; валит на пол (на те мои плахи...) и прудит (на мою картошку!..). Так мы прожили втроем (впрочем, Фея нас посещала!) неделю. Затем сосед ушел к себе, а я,

засучив рукава, в наклон — тру, мету, мою... Седьмой пот!

Весна! Как время летит! Я стою на нашей улице Куйбышева, — я ее полюбила: тихая, широкая, и сколько она видела труда нашего тем первым летом, еще без жилья, его рост труда — осенью, зимой: переборка овощей, почти постоянная, а осенью — таскание их с огорода, сушка, спусканье в подполье и закапыванье в землю моркови (год назад капуста моя не удалась, потравили. Зато теперь с починенным плетнем, будет много ее). Видела улица — ровно год назад! — как мы выходили, приготавливали землю к посадкам, как радовались за меня соседи, что мне не надо трактора, земля — мягкая... Так же вот стояла я, принюхиваясь к свежему, по-весеннему, воздуху, к отдыхающей от снега земле. Но теперь я приглядывалась к тому, что вокруг моего дома, к сизым и коричневым далям вперед от домика и влево и вправо, за ним далеко-далеко — синь зеленая леса, до которого идти и идти... Мечтаю: с кем я до того далекого леса дойду, увижу, что там — одной страшновато и как-то тоскливо!

Ранней весной, как только я приехала из глазной больницы, ко мне стала приходить старушка Ольга Семеновна. Хорошо знакомая с огородным делом, видя мое незнание, она первая из всех стала учить меня новой моей жизни, подробно рассказывать особенности овощей, что можно сажать рано, что поздно; что — нежно, что — морозоустойчиво, и вторые мои посевы и посадки шли под ее терпеливой и усердной рукой. Она приходила иногда на целых полдня, у себя отработав, и не только не соглашалась взять за помощь хоть что-нибудь, но еще приносила с собой то хлеба, то овсяную лепешку, то печенья, полученного в посылке, то миску овсяного киселя. И еще задолго до того, как мы со Светланой достоверно узнали, у кого прилипало к рукам (увезенная при отъезде шуба), я поняла, что чамеки игравшей в уют старухи были чистейшей и злой клеветой.

Лена Добрая! Одно из ярчайших, веселейших, достойнейших сибирских моих впечатлений! Как бы о ней рассказать? Лет 50 было ей — крепкая, смуглая, краснощекая (молдаванка). Распахивала дверь — и с ней входили силы, стремительность! Вмиг, поглядев вокруг, решала, что надо делать — помочь, научить исправить. Бесподобная хозяйка, ни в каком положении не терявшаяся, работавшая «за мужика и за бабу», затейница, день превращавшая в вихрь начинаний. В ней жил дух новаторства — и на все хватало сил и веселья! Лена Добрая унывающая — невозможно!

Жила она со взрослой дочкой, красавицей в мать, неза-

долго вышедшей замуж: жили вместе в только что достроенной избе, дочь и зять на какой-то «чистой» работе в селе, Лена — домоправительница, успевавшая заработать себе помощью в любом доме по растущим выселкам. Имя улице дали — как уже сказала — Куйбышева. Мне пришлось № 3, хоть избушка была крайняя, ее огибала дорога вдоль бока — плетня. Дом Лены Доброй был по моей стороне, в самом левом конце улицы, если стать спиной к селу; она огородничала увлеченно и с толком, все умела, все успевала; сверкали в смехе белые зубы, веселились сознанием силы карие большущие глаза.

Весна застала всех нас почти закончившими свои «гнезда». Тоня хочет поднимать домкратом свой домик, подрубать, надрубать его венцами нового леса. К ней собирается из Ташкента сестра, Тоня вне себя от счастья! Она копает весь огород — сама. Изредка, урвав час, мы навещаем друг друга.

Жарко кипит жизнь на улице, где живу. Дети, скот, собаки... (Только моего Домки — нет... Собаки не возьму, не надо, потому что его — не забыть.) Наводнения в том году не было. Настает жара, дождей почти нет, от болот почти нет следа! Хотели осушать район, а он, нам навстречу, — высох. Где-то горит торф...

А я — в новой горячке: я учусь, как месить глину помолдавански у Лены! Она мне штукатурит внутри домика: вместо глиняных ям стен (под которыми недели моей прошлой работы с молотком в руках — артистическое забиванье им рядов мха по пазам — конопаченье!) стены становятся гладкими, как белый шелк, а когда они высыхают, Лена Добрая ведет по ним пышной и туго сжатой самоделкой мочальной — и, как волшебные заросли в «Спящей Красавице», струи узоров до потолка. Ровной растет избушка, белая стала (глиняной, неровной была всю зиму). Серебристая панель с узорчатыми столбиками — колонки! Потолок горит белизной, сон! Муж дорожной спутницы Нины, художник, учит меня красить масляной краской пол, и я, взяв кисть, ползаю, крашу до одурения и не верю глазам: к р а с о т а ! ш о к о л а д !

И вдруг — весть: сына арестовали, шлюк куда-то далеко. И невестка с детьми едет ко мне! Не чудо ли, что у меня готов домик? Сын будет и за меня, и за нее с детьми спокоен: огород есть, не пропадем! Будет слать.

О, я не хуже Тони — сестру Капу — встречу своих!

Сын невестки от первого мужа (13 лет) провалился по русскому — не перешел в шестой. Займемся! Перейдет! Дочке три с половиной года. Рита. «Украшение жизни!» — думаю

я и брежу от радости и усталости. Снял одну из двойных рам, я вставлю ее горизонтально в сени — а сени — не верит глаз! Камыш, послужив зиме, снят! Куплен и привезен воз горбыля, и Басов строит мне сени настоящие. Это о них в песне поется, детской, старинной:

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...

Тут будет жить мальчик. Раздобуду столик — будем заниматься. Пол земляной — дело к лету! У меня на всю семью хватит домика (летом «двухкомнатный!») Через раскрытое окно глядит в побеленную узорами комнатку, на шоколадный пол — соседка (богатая!).

— Просто царские хоромы сделала, своих ожидаючи... Ай да бабушка, молодчина!

А бабушка хочет — хлеба... Избаловалась в больницах! Вот кончу сени, найму окупить картошку — тогда уж начну есть хлеб!

Как рассказать жизнь? Дни с семьей — там, где моим голодањем и непосильным, но веселым трудом на болоте стал домик... Второй год огород подымается!

Сизая, бледная синева, тонкий запах гари далекой, и над пустырем возле сужающегося к концу плетня, где еще два года назад были болотные кочки, над засухой огородов — легче мотыльков, бело-серые жаркие куски пепла — с пожаращ. Упадет такое на сухую, как солнце, крышу — и пойдет полыхать село... Но снятые с работ и мужчины и женщины, день за днем привозимые в лес, тушат землей огонь. Их одежда прокопчена. Люди борются, огонь отступает...

Как похожа внучка Рита на своего отца! Совсем в детстве! Тоже большие глаза, тот же смех! Хороша!

Приехали мои! Трое... Непонятно и весело.

— Отдыхай, — говорю я невестке, — на работу уже с осени! У нее есть крупа, у меня — овощи.

Лето. Но лето без влаги дало урожай скудный. Прошлый год с его изобилием — сон! Одни ягоды радуют, но и они на кустах сохнут; ходим — неподалеку — с детьми. Сорок дней почти не выхожу из сеней, где занимаюсь с внуком русским, заодно арифметикой и немецким. Пройдем немецкий учебник пятого класса (на Урале, где после меня жили они, был английский). Торжественно выдерживает экзамен. И переходит в шестой! Синеглазой внучке моей, почти четырехлетней Рите, рассказываю русские сказки, у

дома «Ритин садик», она там играет с соседками, чувашской и русской девочками.

Но о заботах дней об устройстве с детьми, хозяйстве, помощи мне на мое предложение пойти до того далекого леса невестка деловито спросила:

— А туда зачем? Ягоды там? Грибы? Не знаете? Так чего ж так далеко идти? Грибные места знать надо! А то зря и проходим...

Я стою и смотрю на далекий лес. Год прошел. Год мечтаю о нем.

А земля ждет дождей. От поливки — как оживает!

Вскоре утвердился слух о пособии нетрудоспособным. Комиссия назначила мне, как и другим, пособие — сто рублей (пореформенных).

То же стал получать и Яков Иванович. Но у него, кроме пособия, уже не было никаких средств к жизни. Стал болеть; хозяйки придирались, им не нравилась неприспособленность к сельскому быту старого инженера, его беспомощность. Не ценили его кротости и веселости, преследовали за малейшую оплошность. Жена его, с которой он давно разошелся, сварливая и совсем иного духа, чем он, воспитала сына во вражде к отцу. Забыли они, как щедро он платил алименты сыну, какие подарки дарил, когда был в силе! Ни жена, ни сын не слали ему помощи. Я, как и Тоня, радовалась каждому приходу его к нам, мы сопровождали их корзиночкой овощей — чем иным могли мы помочь? Но человеку кроме овощей надо еще многое...

ГЛАВА 15 ДРУЗЬЯ МОИ

Лиля первая в их черед, мне славших помощь уже 13 лет! Елизавета Яковлевна Эфрон, сестра Маринино-го мужа Сережи. О ней есть в моей книге «Воспоминания» (в лето 1911-го в Коктебеле). А вот ей стихи М. Волошина:

...Полет ее собачьих глаз,
Огромных, грустных и прекрасных...
...И звонкий смех, неудержимо
Вскипающий, как сноп огней,
Неволит всех, спешащих мимо,
Шаги замедлить перед ней.
Тяжелый стан бескрылой птицы
Ее гнетет, но властный рот,
Но шеи гордый поворот,
Но глаз крылатые ресницы,

Но осмугленный, стройный лоб,
Но музыкальность скорбных линий
Прекрасны. Ей родиться шло б
Цыганкой или герцогиней.
Все платья кажутся на ней
Одеждой нищенской и сирой,
А рубище ее порфирой
Спадает с царственных плечей...

И вот она, старой уже пенсионеркой, первая из всех отважилась на столь трудную помощь тогда, от себя отрывая последнее — крохи пенсии, мне на Дальний Восток (как и сестра моя Лёра). Лёра продолжала эту помощь и теперь. Она слала (как и мой сын, когда мог) самое нужное для существования. Уже не имея сил заработать, Лиля, живя на пенсию и болея, знала то, без чего нельзя жить, в этом ежедневно нуждаясь. И ее посылки, стремительные, как она, приходили всегда в те дни, когда в доме бывала одна картошка с каким-нибудь добавлением овощей; когда *мечталось* о том, что было забито в ящичке, с торжеством, умилением и благодарностью дотащенном через село, через пустыри домой!..

Верочка Молчановская! Мне надо когда-нибудь о ней написать, если хватит таланта; а пока — вот, в череде людей помогавших: наша дружба с 1928 года, совместное учение английскому, увлечение языком на основе (у нее, как у меня, ей семьей данных) двух обычных языков интеллигентного круга — немецкого и французского. (Дружба — сразу — как в отрочестве, в гимназии Потоцкой, с Галей Дьяконовой — Элюар-Дали; как в юности с Майей Кювилье-Кудашевой-Роллан, с Аней Калин (отрочество) — иначе: вражда и любовь.)

Высокая, светловолосая, светлоглазая Верочка (глаза велики, даже через сильные очки для близоруких). Тип шведки; насмешливость и в речи и в смехе (под ними горячее сердце, скрываемое). Когда я оказалась в беде, она стала слать мне посылки и деньги: последние аккуратно, день в день — как клерку зарплату, из заработка языкового. Задолго до того, как назначили мне пособие как нетрудоспособной, и ту же сумму: сто тогдашних рублей. В посылках же всегда были неожиданности — как в ней. Среди наинужнейших предметов питания вдруг детская книга английского юмора с картинками, кукольная посуда Рите. Что-то неожиданно-прекрасное — Синяя птица в наш трудовой день...

Вот в этом они были схожи с моей сестрой Лёрой: Лёрина любовь к красоте создавала из ничего — нечто. И была страсть к фантастике в каких-то излишествах и отделках нужных в избе предметов, и кусочки лакомств, всегда где-то спрятанных, и что-то для души в уголке по-

сылки — так она, верно любившая «Розу и Крест» Блока, прислала мне чудом где-то добытую маленькую картинку на этот мотив, нежный блеклый цветной рисунок, эмблему, давшую мне столько счастья,— над подпольем, завалинками и таялкой для снега... И все эти то абажур, то старинная кружевная рубашка, то талисман — последний хрусталик люстры дома нашего отца в Трехпрудном, который храню до сих пор. Сама архитектура посылок Лёриных была так же сложна и обдумана в их разностильности и сюрпризности, как сложны и до мелочей внимательны и продуманы к моей новой жизни были ее письма, полные полезнейших советов, участия во всех трудностях моего дня. Думаю, у нее было меньше грехов, чем у каждого. Но будь она даже и грешницей — много грехов, как в народе говорится, было бы ей прощено за одни только ее мне послышки, за мысленную и действительную переселенность в мою избушку, за страсть помочь.

И так же, как Верочка Молчановская, она слала мне деньги — меньше той, потому что уже не работала, ей было уже под семьдесят, но так же аккуратно, как Верочка! Много значит аккуратная помощь в нужде! Расчет нуждающегося на то, что получит столько-то и тогда-то. Благословенная бухгалтерия бедности и любви!

Посылки Зои Михайловны Цветковой, друга с 32-го года (мужа ее я знала с 1919-го); как сама — внезапная, так появлялась и помощь — как праздник. Вещи шли дорогие, размаху широкого, деньги — мне избыточные, неожиданные, — как вдруг затыкались ими тоже неожиданные нужды! Взамен рухнувшей кирпичной печной трубы — заказ железной, или подарком, брошенным наотмашь об избу, — лестница приставная — следить, не загорается ли в трубе сажа. Дети же — Гена и Рита — упоенно жевали небесные финики или после бессахарных времен — мармелад.

О, еще душа, не забывшая нас в беде, — Елизавета Моисеевна Гольдман, мать троих детей, вдова, в Москве за семью бившаяся, ее пределы расширившая...

Нина Петровна Туполева, добрая, чистая душа, отнимала от своих послать мне. Как грела ее вязаная шерстяная шаль во вьюге сибирской! Ее крупы, сухой компот... Она была давний друг, еще по лагерю. Этих друзей уже нет, как и Верочки и как Лёры. Мир праху их!

...Как случилось, что Яков Иванович мне рассказал такое свое сокровенное, чего не говорил никому в новой для всех нас жизни? Много лет спустя после ухода своего из семьи (где никогда не любившая жена, из корысти к высокому заработку за него вышедшая, без любви воспитывала сына в

презрении к отцу — за что?) он встретил женщину, которая его полюбила. Он не звал ее по имени. Он ее назвал Друг. Не в разводе с женой, он не мог с ней записаться, и ей это не было важно. Счастье пришло в его старость и в ее пожилые годы. Как деликатна она была! Очень больная. На маленькой работе. Он помогал ей, лечил... Я слушала эту горькую старческую повесть. Потом мы поели картошки, выпили чаю. Уходя, он вынул из кармана записочку: — Ее адрес! В случае чего. Я вам верю! Ведь все может быть...

Его лицо было худое, в резких тенях. Совсем другое, чем полное, добродушное, какое я запомнила в первую путешествие. И одет он был теперь жалобно, во все старое. Где плащ? Добротный плащ, топорщившийся с широких плеч? Продал? До холода ходил в пиджачке. Одна за другой уходили вещи, а с ними вместе таял он сам.

Его Друг писала ему. Но ничем помочь не могла. Их связывала только — Память.

Г Л А В А 16 КАПА И ТОНЯ. ЯКОВ ИВАНОВИЧ. ВОДА В ПОДПОЛЬЕ

Это было так. Я пришла к Тоне, она еще была на работе. Передо мной стояла старая горбоносая женщина, небольшая. Всею собою я смотрю в глаза вышедшей мне навстречу: длинные, синие, цветом близкие к цвету льда, когда его много. Теплый лед, растопленный в радости встречи. Изумительный, в себя зовущий, входящий в тебя взгляд.

— Ася? — сказала она — полувопросом? зовом?

И мы протянули друг другу руки.

Дотоле мне не нравившееся имя, плотное, плотское имя ее предстало мне волшебным изменившимся, прожив столько лет в душевной красоте его носившей, оторвавшись от звуков своих, принадлежало — этой! Бесплотной, духовной? Не подходили слова...

— Капа! — говорю я. — Как я рада, что вы приехали! И как теперь счастлива Тоня!

Она стояла, и смотрела, и улыбалась.

— Сядемте, — сказала она. — Вы, как и я, устали. Сейчас придет Тоня, и мы будем обедать.

Таким давним навыком к добру и заботливости, сливанью тебя с собою эти слова прозвучали... Да я ж всегда знала ее. Мы всегда были вместе! Как верно, что она — тут, разве она могла не приехать? Родной человек...

Не отрывая глаз друг от друга, мы беседовали не умолякая — о чем? Обо всем, обо всех, о себе, о ее и Тониной жизни, о моей, о будущем и о прошлом...

Вдруг, одним движением, мы встали — и обнялись. Молча. Была скорбь в этом объятии — и радость. Что-то из сказанья — о рае...

Были шаги. Шла Тоня. Она поняла — сразу. Началась наша жизнь втроем.

И к Тоне, и Капе, и ко мне приходил бедняга Яков Иванович огорченно пожаловаться на последнее разочарование: узнав о его обидах от квартирных хозяек, наша дорожная спутница, немка, та, говорившая мне о «Feinfühlung», взяла его к себе на квартиру. Он было ожил — сперва. Но вскоре она стала к нему еще много придирчивей, чем прежде. Даже повышала на него голос — чего он никогда в жизни не испытал. Что было делать? Она притесняла его и материально — зная его обстоятельства. Мы в ответ приглашали его чаще приходиться к нам — обедать; если не было у него ужина — ужинать. Давали ему с собой кусок хлеба... Он конфузился, отказывался, сдавался — под настоянием. Глядя ему вслед, каждая из нас, до калитки его провожая, до калитки выстрададанного трудом и лишениями, но собственного угла, почти физически ощущала то состояние зависимости и нищеты, в которое его не меньше, чем его хозяйка, повергал этот в газету завернутый, драгоценный по тем временам кусок хлеба, прижатый к старенькому пальто...

Я жила с родными, к Тоне Капа приехала; мне в быту трудом помогали невестка и внук, а от него отказался родной сын, им выращенный, ему не помогал никто... И мы возвращались втроем в Тонину «дачу на Рейне», баньку над речкой Баксой, толкуя о том, чем облегчить его положение. Теснота жилищ наших еле вмещала нас.

Через два месяца невестка моя Нина поступила в артель. А когда пожары леса и торфа были побеждены, настала другая беда: плоды засухи — мало картошки и мелкая; с восьми соток собрали вместо роскоши прошлого года половину — по два мешка с сотки! Пришлось покупать: семья! Но куда на семью такое мелкое подполье? Туда ведь и кочаны капусты подвешивать надо! И подкопали мы на какие-нибудь полтора-два вершка вглубь. Радовались: все побольше картошки войдет... А наутро открыла западню — проветрить, а там — блеск темный! Напасть страшная... Тронули жилу,

вошла вода!.. И годы с тех пор весна, осень — мука: весной вынимать перед половодьем картошку и ее раскладывать под топчан в избе, шагая по узкой тропинке; осенью — сушить подполье, открыв люк (того гляди свалишься в тесной избушке в подполье, как упала раз у соседней, приняв по близорукости черноту раскрытой западни за коврик).

А какое отдохновение бывало прийти на берег в Тонин домик, к ней и Капе! Когда-то красивые обе, семейно схожие, приветливые, гостеприимные. Капе было под семьдесят. Тоне под шестьдесят. В двух крошечных комнатах — в углу лампадка — все горит чистотой. На стол несут все, что есть, — каждому заходящему. Обе мастерицы готовить, хоть Тоня и изнемогает от труда дня (после кирпичного завода она работает в пимокатном цеху, в шерстобитке). Начинались беседы, воспоминания, стихи (Марининых я наизусть знала много)...

Года общения сделали нас родными виденных родных друг друга. Каждое письмо читалось и переживалось вместе. Зимой домик тонул в сугробах, был еле виден, и еле дойдешь до него. Летом это были заросли хмеля, распахнутые в них окошки, цветники, ягодник, огород. И все это на обрыве, над светлым изгибом речки, отражавшей купы деревьев противоположного берега. Первые звезды... И конечно, кошачье тепло у ног, мурлыкающее. Незабвенный мне домик! Капа, как истая русская женщина, бросила свой домик в Ташкенте и приехала жить к сестре в Сибирь, где она постоянно болела сердцем, не привыкшая к таким холодам... Перемогается!

Узнав, что невестка с детьми ко мне доехала, сын за меня и за нее успокоился, он стал слать нам посылки — то небольшое, что мог по тому времени. Внук деятельно помогал нам в нашем сельском хозяйстве. Он уже был ростом почти с мать. Но еще было в лице его милое ребячье, и он еще играл с Ритой.

Осенью Нина перебирается на далекую от меня квартиру, возле своей работы. Плачем, прощаясь, Рита и я... И до весны, пока Риту не приняли в детский сад, я хожу ежедневно к ней через село, километра три в два конца. Трудно — но надо!

Пришлось покупать задорого картошку, и не удалось и в эту зиму оконные и дверные щиты. Я слегла с тяжелым плевритом — в самые бурные дни. Гена прийти топить печь не мог: не на кого бросить сестру. Невестка после работы топит

печь, кормит ребят, а там — ночь... Урывалась ко мне раз в несколько дней. Я выдерживаю характер: другие по два и по три раза во вьюгу — я раз топлю! Зимой просыпалась иногда при -3° , руки еле держат лучину и спичку... Кашель мешал спать. И все-таки я поправилась!

Тяжелые мне дни, когда приходили от моего сына посылки... Я знала, какой ценой он их собирал! В это время в лагерях ввели оплату труда, и на премвознаграждение заключенные могли покупать себе добавочное питание — сыр, колбасу, сдобу. Это у себя отнимая, сын слал детям сахар, компоты, сухофрукты — их не было в наших краях.

Память об отце, с которым Рита рассталась трех с половиной лет, растила любовь почти фантастическую: конфеты, шоколадки, которые он приносил, всегда падали откуда-то *сверху*, а летом — с дерева, — я узнавала Андрея — всегда с затеей... Из кусков фланели, выдаваемой на Севере на портянки, Нина шила дочери платица.

Рита отдаривала отца рисунками и, с четырех лет, печатными буквами, а с пяти — «письмами» с наизнанку вывернутыми «я» и «в».

Но что случилось с ней, когда в ответ ей пришло, на ее имя, письмо, и первое в жизни! Это были стихи «Моей Маргаритке», и назывались они «Алые паруса». А к ним — фотография с отцовского рисунка, ей посвященного, — «Танцующий слоненок!». Это была настоящая гравюра: тончайшее очертание сказочной бухты, где в одиночестве веселился маленький слон: хобот, хвост, столбы-ноги слонячьи — веселился каждый ф и б р! А в светлой дали — воздушные легкие паруса Грея, алые паруса.

ГЛАВА 17 ГРЕХ

Как время летит!

Зима. Буран. Немного хвораю. Снег, укутавшись, наносила, — значит, вода есть, все сварено, убрано, обе двери — сеней и дома — заперты, скоро сумерки. Поставлю на окна щиты — басовские, и буран сибирский станет не больше как сон...

Стук в дверь. Ох, какая беда, — кто еще там? Открывать опять обе двери, тугие, тянуть их во всю мочь, борясь с ветром, дышать вьюгой!

Устало:

— Кто там?

Детский голосок:

— Мы. Я.

— Кто «я»? — раздражаясь на частый и у взрослых этот ответ.

— Мы.

— Да кто «мы»? — одеваясь и уже поучая привычно ребят:— Ведь все говорят «мы», «я»,— имя-то свое разве не...

— Мы, мы-ы... Надя (и еще только начатое «Ли...»).

Мое решение — радость улитки, которой удалось из раковины не вылезать — намаялась, лягу, уложив за печку дрова.

— Очень тяжело, деточка, мне отворять двери, болею...

Ничего не слышно за дверью, вернее, мне за бураном и дверями не слышно — буран-то слышит их голоса... Да оно мне и не нужно, я отошла от двери. Дети как повадятся ходить в эти часы, когда лечь можно... Да и дать мне им сейчас нечего — все внучке вчера снесла, нет ничего, а они ведь надеются на конфетку...

Что-то поворачивает лицо к западному, к калитке, окну. В уровень с его серединой (до половины завалено снегом): по крутому насту мутно видны — в оттаявшем с ненаветренной стороны куске стекла — маленькие фигурки в огромных валенках, материнских бушлатах. Стараются не оборваться с гребня, с наста снега — в окно. Жар этих стараний сквозь муть окна, жалобность великаньих валенок на пятилетних ногах, взмах рукавиц отцовских,— «мы»... Смутен гул голосов. (Сердце вдруг: что говорящих?) Прощи. Их стерло с окна — как той рукавицей.

Одна! Как хотела. И тогда с неумолимой верностью крючка, опускающегося в петлю, наливается на мою избушку в снегах — тоска.

Как могла я не знать, что она придет, и станет за спиной, и ляжет на плечи, и ей, как всему настоящему, из вечности в вечность идущему — не будет конца?

Как кротко они уходили, радуясь, быть может, тому, что не оборвались в снежную оконную яму...

Я не открыла им дверь потому, что хотела лежать и читать. Одеваться и раздеваться, студиться, тратить даром так дорогое время, не иметь чем угостить девочек, падких на сладкое... Как оправданно, как дальновидно о себе — и хоть бы шажок дальше — туда, где — они («мы»...).

Я не открыла им еще потому, что они мне не нужны сейчас, эти девочки,— но я ведь зачем-то нужна была им, раз шли ко мне? Скажи они, что их мать прислала (за крынкой, за ситом),— я бы открыла. Но они шли не за крынкой, а за чем-то своим, неназванным, и я позволила себе отвести их рукой. Шли назад, через вьюгу назад,— не удалось к бабуске! Это их, в пять лет, напрасное карабканье по сугро-

бам... В самый радостный будущий день — догоревших разлук, на празднике встречи — оно положит на плечо ледяную, умелую руку — и поведет за собой.

Может быть, они просто озябли — к бабушке! погреться! Не хотелось домой, в надоевшее. Стуком в дверь не своей хаты открывался мир, жизнь. А я их научила (учительница!) тому, что такое чужая изба! Тому, что отвечать «мы», «я» — нелепо, что есть — имена. Они тотчас поняли, закричали охотно:

— Надя! Ли-да! Мы! На-дя...— Перекричать вьюгу. Если это надо, чтобы дверь открыли! Но и имена не помогают, если за дверью — «я».

А ведь были дни моей шестинедельной плевритной болезни, когда никто не шел, тяжело буранило, двое суток меня заносило, и я не могла выйти, пока Сергей Тихонович не откопал мою дверь. Но побыл и ушел, и я снова болела одна, кашель набил грудь кучею разбитых стекол, и я не могла позвать — далеко, с конца улицы — Лену, приходившую иногда поставить мне банки (стаканами). Вот тогда я пустила Надю!.. Жизнь прислала мне ее через бушевавший буран, укутанную по глаза. Я еле поверила, что ко мне стучат! В такую погоду! Кто пробрался через такие сугробы?

Эти глаза, светло-серые, лукаво смеялись:

— Бабушка, вы б поглядели, что на дворе! Сносит!.. А у нас все заболели, мама за градусником послала...

И пока я, на прощанье с градусником, мерила свой жар, Надя пробилась с моей запиской к соседу Павлу Петровичу, и тот обещал поколоть дров и про меня сказать, если к ним зайдет, Лене. Дров наколот, но Лена к нему не зашла, а от кашля било в голову как молотками — и тогда судьба прислала Лиду. И она, маленькая, зажав в руке конфету и записку к Лене Доброй, исчезла во вьюге.

«Пойдет домой, и все?» — грустно думала я вслед. Но вскоре ко мне постучали — и вошла Лена, румяная, веселая, шумная.

— Чья это девочка ко мне от вас приходила? Как она добралась?! Вот дети сибирские, их и вьюга не берет!

И с Леной вошла жизнь, бездна рассказов (о прошлом), помощь и обещание здоровья.

Лида, пятилетняя дикарочка, не обманула моих ожиданий, а я сегодня — ее ожидания...

Взрослый был бы вправе обидеться, не пусти я его, и я бы его, вздохнув, пустила. Дети, по-видимому, этим правом не обладают. Какой мне позор!

Лиде сейчас, как и Наде, шестой год. Полтора года назад

она мчалась с отцом на телеге навстречу мне — я шла и несла от друзей три пиона, лелея мечту, поставив их в воду, ими украсить самодельный свой круглый стол. «Дай светик!» — только и успела крикнуть Лида, тяня жадно ко мне обе лапки, черные ее глаза на круглом личике горели улыбкой... Как была бы я теперь счастлива, перелети тогда из моей руки в ее ручки хотя бы один из пионов! С этим было бы веселей умирать! Но я, та я, которая мне все портит и которой рабски служу, качнув головой, отвечала, как старшая: «Нельзя, деточка...» И телега умчалась, а с ней те пустые, не получившие ручки, тот ликующий восхитившийся младенческий — поруганный взгляд. (Судьба наказала: я уронила «светики» и не заметила...)

За горячие озорные глаза, черно-черные, и за то, что у всех все просила, Лиду прозвали «попрошайка», «цыганка». Но время летит, пролетает, как та телега, — Лида подросла, похудела, стихла, бархат ее «анютиных глазок» — печальней; она войдет, станет, глядит и стесняется. Она знает, что люди не любят, когда у них просят, она ждет, она плохо одета, нет у нее ничего своего, носит то сестринское, то материнское.

Как могла я это сделать сегодня, когда я уже годы мучусь о том, что я сделала очень давно, когда-то, в незапамятной молодости, в непоправимый день... Я тоже тогда сказала ребенку: «Ты мне не нужен — иди назад в хаос...» Тот был еще меньше, совсем без сил со мной спорить (назвать себя даже — «я»). И легко, уверенная в своем праве, я отняла у него жизнь, в которую он стучался. Какой невероятный позор самочинства! Я не отворила ему дверь в свой молодой дом — сыну, дочери; не дала детству погреться у моего очага, со мною. «Мне, деточка, трудно впустить тебя...» В зажженную елку, в кусты сирени, в звездное небо, в потонувший в луне сад. Для удобства тех лет я выкинула за борт его душу и тело — без возможности постучаться в двери жизни вторично. Я не открыла ребенку дверь в его дом. Единственную, в которую ему было надо постучаться! Что помогло мне справиться с немислимостью этого преступления, стряхнуть его с себя, и жить дальше десятилетия, и радоваться всему тому, что я отняла у моего ребенка, чего моя мать не отняла у меня? То узаконенное равнодушие взрослых, как я, людей — привычка к этому, повторяемому людьми, преступлению? Оправдание его, звучавшее так «справедно», как может преподавать только один сатана, — что будет даже для блага этого не пущенного в мир ребенка и нужно было, чтоб не страдал он от стесненных «условий жизни» или «трудной эпохи», — отнять у него *саму* жизни!

Но кому я скажу все же, что сейчас плачу, оттого что Надя и Лида ушли?

И вот, как те три пиона, в которых я отказала ребенку (уроненные в ветре, не видела как), так отдых, ради которого я не открыла двум девочкам, — далек от моих глаз.

Ночь. Буран, видно, стихает... Село спит. Завтра рано постучится соседка, обещала утром молока. Мой домик, хотевший покоя, не замечает затихшей природы, он плывет по волнам тоски.

«Анютины глазки»... Я еще встречу их в Вечности Памяти, как и — те... Ничего возвратить нельзя! Но мы имеем свободу воли и потому — Правосудие. О, как хорошо, что — Есть!

И не потому ли я одна — уж который год, в одиночестве, в сугробах и зелени, не потому ли мой дом — мертв, что когда-то, когда ее во мне было так много, — я отняла у существа — жизнь...

Г Л А В А 18 РИТА. НАЧАЛО МОЕЙ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ»

Рита с четырех лет ходила в детсад, и было там для нее наслаждение жизнью. Она верховодила, выдумывала всевозможные шалости и была в большом фаворе у воспитательницы Тамары Ивановны, веселой, хорошенькой, очень еще молодой. Они не чаяли друг в друге души. Все озорства Риты прощались, должно быть называемые «инициативностью». Однажды Рита научила подружек и друзей бегать вокруг стоявшего на тумбочке самовара, это, может быть, был некий индийский танец? Самовар свалился, был изуродован, помят (хорошо еще, что он, будучи «украшением», был холодный!). Но и это не поставили Рите серьезно в вину, хотя и отдали самовар в починку. Буйна душа билась в маленьком теле! Но и уют Рита любила. Якова Ивановича звала Кот Котович.

Как забыть первую «лотерею», устроенную мной пришедшим в гости Нине с детьми, в которой мы разыграли присланную елочную посылку? Сколько смеху, сколько радости, сколько пользы... Обувь, платья, куклы, игрушечная посуда, книги — все напоминало Диккенсовы торжества... Елки наши сибирские! В такой день я иногда, если елка была у моих, у них ночевала на тюфяке возле Нининой с Ритой кровати — для иллюзии «семьи», чтоб не идти далеко домой, в полдня не топленную избу. Да, «всюду жизнь», как в знаменитой картине Ярошенко...

Когда я начала рассказывать Рите мое детство? Лет с пяти? Трудно вспомнить. Но рассказ родился и рос органично, обратный тому, когда я выдумывала сказки. Тут все было «документально», правдиво, я воскрешала бывшее с почти педантичной точностью, это был труд. Он всегда происходил на ходу, по пути из села или назад в село, я умолкала на полужае (если шла назад в их квартиру). В следующий раз кто-нибудь из нас спрашивал: «Где мы остановились?» Это был пароль. И мое детство продолжало разворачиваться, повторяться — год за годом, зима за осенью и весна после зимы, все дома, все города, все страны, все подруги, все друзья. Узнавала ли все это Рита, когда, более десятилетия спустя, она получила в подарок мою книгу «Воспоминания» (1971)? Сдержанная в каком-то разряде чувств, она мне не сказала об этом. Но рассказ мой она приняла, в пять, шесть, семь лет им прониклась. Село же наше она до сих пор вспоминает с шемящей тоской, с нежностью.

Несомненно, я тащила «за уши» Ритину душу, рождала ее еще младенчество в понимание недетских вещей. Была ли я не права? Я не знаю. Так, может быть, она из детской шагнула в романтику — как Марина и я в нашем детстве. Мы не пожалели об этом.

Так устно создавалась моя будущая книга «Воспоминания». «На чем мы остановились?» Она подсказывала. Рассказ шел дальше. Я сделала ей гамак и качала ее в углу подсолнечного поля. Золотые маленькие солнца плавилась на солнце большом.

Приехавшая к соседу-плотнику жена хлопотала у давно построенного дома возле колодца (через плетень от меня, около которого я перед приездом Риты нагородила гору бревен, таща их за один конец и нагромождая к колодцу, чтоб преградить путь ребенку. Теперь уж не свалится: на два с половиной года прибавилось ума!).

Она уже понимала, что нельзя спросить у жены моего соседа, тети Маруси, почему у нее на каждой руке всего по одному пальцу, большому, и как она костяшками отсутствующих восьми пальцев так хорошо стирает белье, печет лепешки. Она уже умела жалеть, уважать — не подетски.

Но не раскрыла ли я насильственно душу Риты этим введением ее в наше с Мариной детство? Моими сложными сказками, символикой и героикой их? Суровым внедрением чувства долга, держания данного слова... Не было ли это раскрытием — руками — цветка? Ее семилетняя фотография являет полураздраженное, полускорбное личико. Она уже

отлично говорила по-английски, начинала читать книги. Слишком много я требовала от нее? Но ведь у души нет возраста, и если она понимала, о чем шла речь... Я так много в нее вкладывала, ей внушала... С пяти до семи лет она шла в наши походы ко мне с ночевкой, туда и назад через село на выселки, прожила со мной все наше с Мариной детство, весь почти мой будущий 1-й том «Воспоминаний» — столько переездов, стран, дружб, разлук... Она все понимала, все чувствовала — но как часто она изменяла мне, уклонялась, рвалась к безответственности грубых уличных игр со случайными девочками на их улице! Я оскорблялась. За ее душу. Преследовала ее за лень, за ложь... Сколько боли было в моих отношениях с ней — но и сколько жестокости моей, усталости, раздраженности... Нет, я не была на высоте, она не была со мной счастлива!.. И как заливалась она младенческим смехом от шуток с ней старушки Ольги Семеновны, просто любившей детей... И все-таки меня Рита любила! Ее двойственная душа ко мне тянулась. И я каялась в моей жестокости, в несправедливости... Как я радуюсь, когда уже взрослой Рита вспоминает Пихтовку, домик на Куйбышева...

В личике Риты, имевшей сходство с ее теткой Алей, Ариадной Сергеевной Эфрон, дочерью моей сестры Марины Цветаевой, выражения были другие. В больших, с тяжелыми веками, серых глазах, походивших на глаза ее отца формой и цветом, порой таилось сходство не с ним и не с Алей, а — по отчужденности взгляда — с моей сестрой Мариной. Недаром десятилетия спустя, когда Рита выросла, я, стараясь удержать прерванный пробуждением сон, часто не знала твердо, кто мне приснился, Рита или Марина, в туманности несомненно родственного облика, в том уплывании — в себя, прочь от узнанности, свойственном им обеим... И в яви я помню один Ритин поступок, могший принадлежать детству Марины. Летом 1952 года — Рите шел пятый год — детские руки открыли дверь моего домика — и на пороге встала моя внучка.

— Ритонька, ты с мамой? Нет, мама твоя на работе, ты — с Гелей? — спросила я удивленно.

— Я одна,— сказала Рита так просто, точно не в первый раз прошла одна не менее полтора верст — своей, потом главной улицей, через длинный мост, высоко над рекой Баксой, и, свернув, пустырем к нашим выселкам.

— Одна? Как же мама тебя отпустила?! Почему не с Гелей? Что-то случилось?!

— Не случилось, мама не видела, я просто пошла и пришла. Ни собак, ни...

— И не боялась одна? Через мост — и как дорогу запомнила?!

Широкие ее глаза глядели мечтательно, отрешенно. Она уже не отвечала мне. Но она сердилась:

— Я думала, ты обрадуешься...

— Я испугалась! Как ты одна — так далеко... Ты, Рита, герой!.. Но мама тебя ищет... Она же не знает, где ты... Ты так больше не делай! Ты понимаешь? — Я искала нужные для нее сейчас слова. — Мы должны сейчас идти ее успокоить...

Рита отсутствовала. В ее лице было выполненное решение, волнение пройденного пути. В ней не умещались ни я, ни мать.

...Как часто не умещались в детстве Марины обращенные к ней слова!

Так вот отсутствовала — Марина...

Снова весна! Третья в Сибири! Опять я стою на широкой дороге перед своим домиком, нюхаю, как пес, воздух, прохладный еще и уже теплый, он пахнет землей, просыхающей от снега, земля готовится к посевам, к посадкам, она опоминается, как мы, от бесконечной зимы. Плетни, еще кое-где запорошенные снегом, высыхают и пахнут — так чудно. И как пахнет земля! Как тихо... Тихо — через ребячьи голоса, мычанье стада, бродящего по-за огородами, через собачий лай, — из всего этого и состоит тишина сельская, поглощающая звук жизни, преображающая. Год прошел! Когда он успел? И — долгий какой год!..

Разве забыть зимние и весенние праздничные дни на кладбище, окруженном кедрами, черную фигурку худенькую — Ольги Семеновны? Всегда дети вокруг нее. Старая, а молодой голос, хорошо поет! Моя Рита так ее полюбила, затейницу! Даже когда где что не так — остановит, а сама улыбается! А ласковая... Нет, не научиться мне этой терпеливой радости! Совсем другая! И Рита ее любит даже с какой-то страстью! И все дети так — ее... Меня — нет, и рассказы мои — другие, я ими тащу Риту — вверх! Чтоб не шесть ей, а — восемь... А Ольга Семеновна с Ритой сама как ребенок, ей пять, шесть, семь — все равно, веселое детство, она в него погружается, а я все — чтоб умнела, — это все же, наверное, глупо? Ко мне Рита в четыре, в пять неохотно ходила. Веселей, бесконтрольней ей без английского языка, с озорной девчонкой соседской во дворе... Почему мне больно смотреть на нее в таком окружении? Все хочу, чтоб она понимала, думала, чувствовала, запоминала. И Рите интересно со мной, но, может быть, и — томительно?..

Ритины подруги Надя и Лида враждуют. Редко играют вместе. Надя — старше, разумнее, воспитанней. Уже в четыре года одна, как большая, приходила через широкую сибирскую улицу ко мне в гости.

Однажды, когда я в сумерки в первый год заблудилась, она вывела меня к моему домику. Надя — опрятная, беленькая, лукавоглазая. Умеет дразнить (Лиду); меня — занимать беседою. Умеет выдумывать. Рассказывая, она разводит руками, как актриса, и делает страшные глаза. Она дружит с Ритой. И блеск маленькой любительской фотографии вобрал в свое зеркало заросль хмеля по стене дома у моего входа в сени и под узким восточным окошком — их «детуголок» — столик, игрушки и два детских личика, сияющие на солнце...

А внук Гена шишкует с ребятами. Как белка, таскает кедровые орехи — грызем: еда!

Живя у леса, он натаскивал матери целый угол орехов, а в голодноватые недели перед урожаем Нина с Ритой носили в фартуках и в тряпках груди шампиньонов, росших на пустыре, варили шампиньонную кашу. Ими кормили они и поросят...

Спешно после работы Нина везет воз обрезков горбыля с лесопилки — ей дали коня в артели, она там первая из работниц, — спешно доделывает Басов нам крышу, в первую зиму только на две трети покрытую... И уже не чужие мальчишки, а свой внук, хмурясь и покрикивая баском на сестру, чтоб не мешалась, кидает и кидает лопатой — делает завалинку вокруг стен избы. А у восточной, где вход в сени, над их дверью — вилла курорта: по стене вьется воздушная кудрявая гущина зеленого хмеля... Из тех двух корней, с девочкой в лесу выкопанных (она научила)! Как сладко, роскошно учиться простой, дикой человеческой жизни, мимо которой жил в молодости в городах — всю зрелость! Старость распахнула объятья познания землю, которая до сих пор только романтически замечалась. Хотя и трудилась в разруху до поту, а голодать задолго до этого своего гнезда научилась. Теперь и голодать и отъедаться научилась — иначе: теперь в обнимку с землей! А весной мне пришлось покупать задорого картошку, и не удалась и в эту зиму оконные и дверные щиты.

Радостный день, когда мне воздвигали на длинной жерди скворечник! Теперь моя изба «как у всех!» И весной прилетели грачи, поселились, вывели и учили летать птенцов. Сказка! Через год как волновалась я, прилетят ли они снова и — это уж со всеми ребяташками улицы — прилетят ли вновь

те же грачи в наши скворечники? Щемило сердце: в мой скворечник уж вселились воробьи — выгонят их грачи, бедняжек... Но грачи выгнали их — без раздумья! А Вовка кричал громче и грачей, и воробьев: «Бабушка, *ваши* грачи! Я помню, у того черного-черного нога косая... Он! Он!..»

А с теплом пришли еще две радости: из дощечек, снятых во вторую зиму с крыши, где не было теса (для дощечек этих я полный день разламывала и корежила ящики, приращенные из села), Басов (умолила — был занят, копал людям колодцы — восьмой ему шел десяток!) сделал мне палисадничек перед окном, южным, и я там посадила цветы. Сколько было войны с курами! Сколько счастья, когда расцвели цветы... И еще: у меня настоящая лестница! Приставная! Своя. (Всю округу избегала, вымаливая продать по дощечке, по жердочке.) Больше не таскаю чужих лестниц, еле дыша. Ягоды смогу сушить на крыше! Палочки прибиты от края крыши к трубе — вроде трапа, чтобы по ним шагать, ползти, когда будешь чистить трубу. Я не знала, что можно избушку любить, как живое существо... Может быть, я никогда не захочу выехать из нее? Ну что ж, и хорошо...

Г Л А В А 19 РИТИНА БОЛЕЗНЬ. РИТА И ОЛЬГА СЕМЕНОВНА

...Было утро, когда после благополучно закончившейся в больнице Ритиной болезни я пришла посидеть с ней еще этот денек, на завтра детврач выписал ее в детсадик. Был последний холодный предвесенний день, с ветром, хлещущим изморосью, когда мне, еще на пороге, сказала соседка, что мать уже сегодня увела девочку в детсад. А я шла! И такая погода...

— А мать шаль ей надела?

— Шаль? Нет, шали будто на ней не было... Шапка-ушанка...

— Ох, не простудилась бы...

«Может, снести ей в сад шаль? — подумала я, но тут же: — Не надо так во все вмешиваться... Ведь мать одевала ее...» Шел диалог: «Но мать молодая... Корь — коварная вещь...» — «Уж и так мать обижается, что я...» Я не понесла шаль. И как потом каялась!.. Ошибка была — моя!.. Когда надо было действовать, я рассуждала!

Смирняя тревогу за Риту, я возвращалась к себе.

...В тот же вечер (я пришла второй раз) Рита сказала:

— У меня ушко болит...

А через два часа она громко плакала, а еще через несколько срочно вызванный доктор Райт, в свое ночное дежурство прийдя на дом, осмотрев ребенка, сказал:

— Воспаление среднего уха... Если нарыв прорвется наружу — справимся! Ну а если внутрь, — он развел руками, — сами понимаете... — И велел утром нести Риту в больницу.

Температура была сорок. Рите было четыре года. Я осталась ночевать у Нины. Рано утром мать понесла ребенка в больницу.

Что будет? Что я отцу напишу?

Вовек не забыть следующего утра, когда, пройдя пустырями, селом, лесом, я подходила к больнице. Издалека доносился смутный — что это, крик? Женский. Он рос. Все яснее: плач, почти вой... Все во мне замерло. Кроме шага. Запинаясь о корни, сойдя с дороги, напрямик... Нина? Далеко. Не узнать. Вой рос.

Кто-то по дороге шел навстречу.

— Что это? — крикнула я, перекричать гушу ветвей, бросаюсь в сторону шедшего.

Это была женщина.

— Мать, — сказала она, — умер ребенок...

— Девочка? — спросила я, казалось, одними губами.

Но она услышала.

— Мальчик! — сказала она.

...Не заглаживать вину перед ним, перед воем.

За радость во мне в тот миг.

* * *

К старушке моей, у кладбищенского леса живущей в уютной крошечной хатке (чуть больше домика «кошкиной мамы»), доброй простой Ольге Семеновне Рита в первый же наш поход к ней привязалась с какой-то страстью. Если бы по природе была ревнива, мне бы пришлось бороться в себе это чувство. Сколько я отдавала сил и стараний на воспитание и обучение внучки, а эта «чужая» старушка без всяких усилий обрела Ритино сердце! Одной ласковостью многоопытной своей души, одной любовью! Она ничего от ребенка не требовала, только давала. Куда было мне, с моей резкостью, усталостью, раздражением, со сложностью подхода к детству и задачам его, тягаться с этой простой душой...

ГЛАВА 19 МИША И ФЕЯ. ПЕЧЬ

С гибели песика моего Домки от собачьей чумы я жила без животных. Однажды девочки, крича и волнуясь, принесли мне большого кота, тигрового, покалеченного собаками. И я взяла беднягу.

Двенадцать дней он не ел, только пил, а в воде я растворяла ему гомеопатические лекарства; лежал, закрыв глаза. Думала, не выживет. Но с помощью арники, силицеи (от ран, воспаления), лахезиса (от гноя) он встал и медленно, качаясь, вышел на солнце. Я перебирала в избе овощи и пошла посмотреть, как он; я нашла его в другой части огорода; он лежал на глине, на солнце, у колодезной ямы и сладко спал. С этого дня он стал есть, мурлыкать, ходить, прыгая на трех лапах. Имени у него не было. Ветеринар, осмотрев сломанный плечевой сустав кота, присудил ему век скакать на трех ногах. Кот в союзе с гомеопатией не послушался и вскоре стал слегка наступать на четвертую.

— Да это наш Мишка! — сказал, увидев его, мальчик с другой улицы. — Его собаки угнали!

— Ваш? — грустно сказала я.

Мальчик понял.

— Он нам не нужен, бабушка, у нас кошка! Вы его, бабушка, возьмите...

И зажили мы с Мишкой, все больше любя друг друга.

Кот был очень умен, глядел в глаза желто-зеленоватыми очами, как человек, и делал ночью вид, что покорился — лежать в ногах. Затем, решив, что я сплю, тихо-тихо (и бесшумно, и медленно) полз вдоль стены, чтобы мне лечь на живот. Видимо, он понимал, что весом своим — разбудит, и процедура укладыванья на меня, как на подушку (хоть и был мой живот худ, но все же — живот, не нога!), занимала у кота много осторожности и времени: он пытался стать невесомым...

Фея — дымчатая кошка, приходившая ко мне уж давно от своих хозяев, живущих домом, полным детей, скота и еды, здесь уж который год, — Фея сперва не признала Мишку, шипела и выла по-ведьминому. Затем смирилась и спала иногда поперек Мишки — тонким серым ковриком через его темное тигровое великолепие.

Так прошло лето. Они ныряли по густой зелени грядок, скакали — кто выше, и исчезали в соседнем огороде, где царил пестрый кот Жулик.

Помню лунную ночь. Я вышла на нечеловеческие — но и не

на кошачьи! — крики, мешавшие спать, и у лесенки на сеновал стала, при голубом блеске лучей (каждый раз вновь, точно в первый, поражающей своей сказочностью луны). Мишка, сидя на одной из средних перекладин лесенки, орал отвратительным голосом, глядя вверх. А с верхней перекладки на него, изогнувшись и прижав уши, став скорее моржом, смотрел Жулик, выражая мордой предельное негодование. В тощих деревцах, привезенных себе из лесу соседом, в воспоминание о родине, заливался — это была гордость соседа, звал слушать — самый настоящий соловей!

Лена Добрая, хозяйка — не мне чета, в Молдавии правившая большим каменным домом, хвалила меня, любовалась плодами моего трудолюбия (все летние ночи я стерегла наш с Ниной огород до свету, так как скот и спал и пасся на свободе и мог войти). Однажды я шла по огороду и всем, что попадало под руку, — палки, комья земли, веревочки, — укрепляла плетень, смотря, где может пролезть гусь или курица. Вдруг вижу: по тот бок плетня (я давно заметила, что что-то мелькает белое) ходит курица и с той же бдительностью, как я, неумоимо обходя огород снаружи, заглядывает во всякую дырочку, где ей можно пролезть. Билась я и с птицами, — повышая плетень от домашних соседских, я оплатила два воза тальника и, засунув зеленые, шумные (а потом шелестящие сухостью) прутья в верхние слои плетня огорода, получила ветром гремящий лесок, воробьев пугавший — чтоб не норовили поест весь горох! Как хотелось деревьев! Но их не было ни одного на бывшем болоте. Пыталась выкопать и посадить ветлы, полить раз-два — нет, увяли! Тогда я стала разводить коноплю и кукурузу — за высоту. И пол-лета и осень у меня были «деревья» — нежные, гнущиеся рощи, дававшие кружевную тень. «Я в России», — думалось мне.

Однажды летом Яков Иванович удивил меня и (по закону зеркальности — неблагоприятный это закон!) вызвал во мне — протест. Помогая мне где-то возле дома, где понадобились грабли, я указала ему место, где надо было их положить. К моему удивлению, он воспротивился, поясняя, что и там, куда он положил их, им — место. Тон его возмутил меня. Я вскипела:

— Будьте добры, Яков Иванович, положите туда, где я сказала!

Он возразил. Тогда я, теряя в этом вздоре терпение, часто не изменявшее мне в серьезных вещах, позволила себе недопустимым тоном крикнуть:

— Я прошу вас положить их на их место! Я решаю, где им быть!

Не забуду, как в его ответном удивлении — пожал ли он плечами? — согнув их в сразу ставшей старческой позе, он пошел выполнять мое требование. Бормотал ли он что-то в свои длинные седые усы? Как могла я себе — с ним! позволить такое?! Где было *мое* «Feinfühlung»?

А потом пришла осень. Убранный в подполье урожай обещал сытую зиму. Но коты смотрят на овощи с сомнением: еда? И как я ни убеждала Мишку — примером! — он глядел на картошку задумчиво, предпочитал хлеб. А хлеба было так мало... Признавал и сухари. Грыз — с увлечением. А от супа, забеленного молоком, часто отходил, не доев. Зато только я, со вздохом, брала крынку и наклоняла ее двухдневное содержимое над кружкой (кружка, знал он, сейчас наклонится над его черепком), как оживал кот! Точно он учился быть котом у самого Москвина в его роли Кота в метерлинковской «Синей птице»: он прыгал — шел на задних лапах, складывал передние, ловя что-то в воздухе, кружился вокруг собственного, змеей извивавшегося хвоста и мяукал совершенно как Москвин!

Он понимал и слова. Не делая шага к крынке, я говорила: «Мише, Мише молочка...» — и он просыпался из самого сладкого тигрового сна, бежал к черепку и ждал. И еще многое он понимал и умел, чем всегда заново поражал и меня и Риту в ее у меня субботы и воскресенья — у них была упоенная дружба! Будь здесь Дуров, он бы похитил у меня Мишку — так явно он превышал умом и талантами обычные котовые мерки!

Давно сказано, что чем глупее выдумываемое слово ласки (домашние словечки, клички), тем оно нежней. Мишка знал все свои «глупые» имена. И может быть, как и мне, слаще всего ему было слово «Мех-Мех», извращенное из Мих-Мих (Михаил). На этом нелепом имени мы с ним уносились из избы, из Сибири — в сибирскую сказку — не к самой ли Бабе Яге?!

Уже давно стало ясно, что печь моя — не бедняцкая! Пожирает слишком много дров. Сосед пожалел, согласился переложить. Шли холода, и, как два года назад, он (как и тогда клал печь) пришел перекладывать ее — в самый последний срок.

Когда избушка моя наполнилась кучами кирпича, Мишка скрылся. Коты беспорядка не любят. На тигровой морде его, мелькнувшей у двери, было выражено отвращение к творящемуся. Тщетно я кис-кисала его — исчез. Назавтра я ждала

печника и накануне заказала старику Басову (он был и жестянщик) духовку: будем с Михой печь... пироги!

Наставал вечер. В условленный час я должна была прийти за ней. «Знай наших!» — потрескивала будущая печь. Путь к Басову шел пустырем, затем через дорогу и — до начала села — улицей, далекий. Взошла на крыльцо, стучу. Шмыг у ног что-то: кот, темный, мырлычет! Нагибаюсь погладить — вот чудно! У Басова тоже кот на трех лапах, вот гады собаки что делают!..

— Да у тебя, Василий Иванович, не меньше кот, чем мой Мишка! — сказала я, восхищенная величиною и ласковостью кота, входя из темных сеней в избу.

— Ко-от? — удивился, раскрывая дверь, Басов. — У нас кошонка махонькая... Да это ж твой кот, своего не узнала!

— *Мой?* Ну и дела! — смеялась я, схватив Мишку в охапку. — Значит, за мной шел, как пес.

— Он, должно, решил, хозяйка переселяется, и пошел за тобой, на новое на житье...

— Ты гляди, гляди, с котом бабушка-то пришла! — удивилась хозяйка квартирная Ольга. — Ты что ж, как с собакой, с им ходишь?

Как смеялись все, как умилялась я. «Голубчик! — гладила я Мех-Меха. — Думал, я, как он, ушла из избы, заваленной кирпичами, и пошел со мной бродить по свету на трех лапах...» (На четвертую наступал только при тихой ходьбе.)

— А как сложат тебе печь — от нее кота и не выгонишь... — уютно, как кот, приговаривал Басов, вручая мне законченную духовку. — Таперича на пирог приду!..

Расплатилась, благодарила растроганно; не обманул, в срок сделал, завтра придет печник!..

Ночь — хоть глаз выколи! Где-то лают собаки... Ну как учуют кота? Посадить в духовку? Заорет, забьется... Того хуже! И побрели мы с Мишкой в покинутую избу, до которой, на мне сидючи, дошел со мной, но никакие ласки и ухищренья не убедили его, что в такой избе ночевать — можно. Только что по черной ночи верный спутник, не дал себя убедить. Когда, силой внеся (на улице подмораживало), пустила его на пол меж кирпичей — предупреждающе зарычал, угрозой переводя звук в завыванье. Нет, под такое не заснешь! И выпустила я Мех-Меха... Дня три уж ходили мы с ним по горам разобранной печи прежней, с трепетом ожидая прихода соседа. Теперь, должно быть застыв, Мех-Мех грел меня своим мехом — бесцеремонно, знал, что не прогоню!

Перекладка печи — дело, может быть, еще более сложное, чем в первый раз; поломка кирпичей, докупанье их, страх, что

не хватит... О, когда мы наконец ее затопили — с духовкой, высоким подом, когда через десять минут закипела вода — какой это был праздник!

Пришла зима. Бураны, морозы — враги избушки, затерянной в снегах... Лишний раз открыть дверь и вторую сенную — значит, не уснуть, может быть. Найдет в плохо топленную каморку холод... Мишку я выпускать стала редко, когда выходил заодно со мной. Ящик стоял ему в уголке — и тут началось горе: возненавидел Миха ящик лютой враждой. На свежую золу было — из любопытства — вошел, обнюхал ее в первый раз и — как в пух лег в нее: думал, постель! Но когда я его согнала и, скребя золу его задними лапами, стала внушать ему ящичково назначение, Мишка зарычал, прынул от меня и надолго спрятался между дровами. И больно мне помнить — теперь, когда давно канула в Лету наша с Мишкой одинокая сибирская жизнь, — как глупо и жестоко — по-человечески поступала я с Мех-Мехом, насильно вгоняя в него свой здравый смысл, пренебрегая котиным, которому принесение этого гадкого ящика, видимо, представлялось барской блажью, ему, вольному сибирскому коту, — враждебной и даже — смешной... Но помню, как я возмущалась его упорством и била его, держа за шиворот в воздухе, и швыряла в угол с испачканной в пакости мордочкой. Он знал вину и молчал, но взгляд его из-за печи вижу и сейчас: изумленный и огорченный до недр, жаркий, испуганный (почти во весь глаз — зрачок). Яро облизывался... Запачкали кошачью красу! При всем уме и близости нашей знать, как я; цену дров и трудность их добывания было вне Мишкиных возможностей, и там, за печкой, исправляя мое надругательство над его шерсткой, он, быть может, мучился смутным вопросом — почему ему запрещают прыжок в снег, сибирский, или на чердак, наконец... Зато, когда в первый раз, осторожно (и грустно) Миха вошел сам в ненавистный ящик, как я бросилась к молоку, к черепку, как ласкала сдавшегося кота и как он звонко лакал, как ходил вокруг черепка, намекая: не мало ли? — завивая радостный хвост... О, я была не одна: *Мишка* был со мной, это было не «я» — «Мы»! Да вой вьюги в трубе, да огонь в печке... Как оживлял, наполнял жизнь кот! Сколько же от него было ласки...

ГЛАВА 20 ЕЩЕ ОДНА ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Ей было 5 лет, когда она его увидела в первый раз. Он был худ, черен (т. е. черноглаз и черноволос), он

смеялся, и он шутил — и во всем этом было — неизъяснимое. Это было счастье, и это был страх. На это нельзя было поднять глаза, при всей ее детсадовской прославленной смелости. Ее звали — Рита. Его — Игорь.

Она стояла, опустив голову, как от солнца, — если только так опускают от солнца глаза! Ее голова с туловищем образовала прямой угол, она глядела прямо на пол. А он был актер, племянник Ермоловой, он чуть позднее нас прибыл в село и, как человек бывалый, энергичный и театральный, сразу же принялся за дело постановки спектаклей в маслозаводском клубе. На эти спектакли мы и стали ходить с Ритой: что иное может сделать для нее ее бабушка, как не дать ей лицезреть то самое счастье, про которое говорят, что его нет на земле? Его лицезрела Рита, теперь уж подняв глаза — на сцену. (Потому что — издалека!)

При встречах же неукоснительно опускала голову под прямым углом к телу, видя перед собой только пол. Потому что так когда-то опускала голову Психея — перед Эротом. Точно так! Хотя Рита о них не имела понятия...

А Игорь — что мог делать Игорь, племянник Ермоловой? Он играл! Он так играл, что весь зал смеялся. А потом — так играл, что весь зал — плакал. Он делал с залом все что хотел, Игорь! И не только с залом — а с Ритой, о которой все говорили: «С этой девочкой ничего сделать нельзя!» И единственное, чего он не знал, — это как ему поступать с пятилетней и потом с шестилетней Ритой, когда она стоит перед ним, как приговоренная, в ужасе опустив глаза! Но так когда-то стоял Эрот над стихшей перед ним Психеей. И хотя, в отличие от Риты, он знал об Эроте и Психее, но ему совсем некогда было о них думать, потому что жизнь летит сломя голову и от нее нельзя отставать. Все ведь было на нем: репетиции, режиссура, все тайны постановки, освещения, отопления, заготовка дров, конферанс; и надо было сыграть так, чтобы дамы ощутили себя — девушками, а девушки — дамами, мальчики — партизанами, чтобы все начальство повскакало с мест первого ряда и хлопало бы, как мальчишки. А что могла делать пятилетняя Рита? Она только умела глядеть на сцену своими большущими глазами! И Игорь, отличив этот взгляд среди всех взглядов зала, — что мог он? Он мог только смущенно передавать мне с улыбкой контрамарки на следующую спектакль. Три? четыре? — года длилась любовь Риты к Игорю, — может, перейдя в другую сразу после его отъезда? Мне не удалось узнать по некоей скрытности Риты. Она оберегала свое детское чувство ревниво, и в этом опять было сходство ее с Мариной, моей сестрой. Я узнавала себя

в той же отстраняемости, как в детстве, когда была младшей, теперь, в старости, в новой мне роли — бабушки... И кошек Рита любила с той же страстностью, как Марина. Как она была счастлива в зимние визиты Феи! В немислимый снег, когда все гудит и воет, и завтра не открыть ни сенную дверь, ни калитку о белые горы, — раздавался за окошком «кухонным» (над плитой или за дверями — как же громка она была...) Феин голос, и уж тут и дрова забудешь, и тепло, все на свете, только крючки дверные шелк-шелк; отряхивая снег в балетном прыжке, она влетала, подтверждая свое имя, сизо-серая, как вербная пушинка, легкая, как Екатерина Гельцер, веющая морозом Снегурка! И когда наставала ночь, все сыты, посуда вымыта, постель постелена, закрыты книги, лампадка потушена — ночь... как мирно, тихо — в этих буранах, в глуши — мы все трое засыпали в блаженном тепле кошащем, в построенной на болоте избушке, после доблестного дня труда...

В феврале, совершенно неожиданно, в самые бураны начала рушиться моя печная труба; размокший от снега кирпич (на пихтовском кирпичном заводе делаемый без песка, песок на стройку домов привозили по 1 руб. 75 коп. за килограмм) сдал, и ввиду опасности остаться без крова я пробралась через летящие белые вихри в село — заказать, умолить мне сделать железную трубу, нашла с трудом печника, одолела мороз в избе, и стало звонче гудеть в печи от новой тяги!

«Помни: февраль — уже весна: света... (март — воды, апрель — зелени)», — писала мне, утешая, сестра Лёра еще в зиму ту, у хозяев. О, какие слова! Как вновь и вновь они помогали! А мы с Мех-Мехом так свыклись, будто век жили вдвоем. Дни — светлели... А за февралем — март! Стал проситься Миша гулять: котовое право! Станет у двери, глядит на меня и мяучит. Вздохнув — не пропал бы, собаки бы не загнали, — стала его выпускать. Приходил. Как кидалась к дверям на царапанье и мяуканье! Как бросались друг к другу! Как Мишка мурлыкал! Точно орехи катал. А когда засыпал — пришепетывал, от нежности...

Было утро. Я вышла открывать ставни. (Да, уже были скромные ставенки из горбыля!) Влезла на завалинку (внук и на эту зиму засыпал землей и дощечками ее заколачивал.) Смотрю, как Миша подходит к воротам. Уйдет? Вдруг стал и смотрит на улицу. Постоял и — прыг ко мне на завалинку. Взяла на руки. Унесла в избу... запросится, все равно... отпустила! И ласкается, трется... Соскочил и уж твердо вышел на улицу, и пошел.

Его не было ни к обеду, ни к вечеру; я звала — громко, на всю улицу. Не пришел. В тоске проспала я ночь. Еще день нет его... Хожу и зову... Тишина. Еще ночь! Наутро, принеся молоко, девочка говорит:

— Серого кота какого-то убили... вроде коричневый. Не ваш, бабушка? В капкан к дяде Семену попал, кроликов у него таскать наловчился...

Обух по голове!..

В тоске, горе, степени коих трудно многим людям поверить, я вхожу в дом к Семену.

— А я не знал, что твой кот... Знал бы — не тронул... — говорит Семен.

— А может, не их, дядя Семен? — Ванька, подросток, племянник.

— Покажь им... Прибил я его, в капкане... Жалко, бабушка, кабы знал — не тронул бы...

— Да я бы тебе — картошкой, за всех кроликов...

Стою, жду. И выносит Ваня за лапу, вдвойне заостренного (смерть и мороз), — Мишку. Мне стыдно — и непонятно вспомнить, как я его от Вани взяла тоже за лапу (висел, твердый и неподвижный, как вещь). Как могла? Только потом уж, сказав понуро «Мой», взяла на руки и понесла; и тогда увидела, как Миша умер: лапа, попавшая в капкан, сильно вытянута, задние — в разлете (рвался... может, на мой крик!). Сколько часов так? Сколько часов так слышал мой голос... Не мог! Мордочка — будто назад рванулась: по ней — удар, смертный. Немного крови у рта. Глаза зажмурены. Какой холодный... На этом холодном дотла теле — шерстка Мишина — непонятна. Мех-мех...

Ваня за недорого выкопал в замерзшей еще земле ломом могилку — недалеко от дома, в углу овощного огорода, маленького, у плетня. Как в детстве мы хоронили птиц в Тарусе — Марина, брат Андрюша и я, — так я во что-то закутала Мишу. Чтобы не прямо в лед.

А весна наступала, как в первый раз. И Рита поднималась над своим прошлогодним ростом, как елочка подымается светлыми, шелковыми верхушками над прошлогодним темно-зеленым мехом, колючим. Уже не голубые были, как в детстве, ее глаза большущие, а таинственно-серые, с какой-то легкой сказочной зеленью, и волосы из льняных, как у Нади, стали русые, как у Ритинового отца, чуть пепельнее. И она пони-

мала теперь многое, с ней было легко говорить, и манера ее грустить — о прошлогоднем, о Мишке; о Домке (о Домке по моему рассказу о нем — она приехала *после* него, на следующее лето), о каком-то мне неведомом коте и о псе, жившем у них без меня на Урале, — напоминала Марину и меня в детстве, в событиях невозвратно канувших. Они возрождались как во сне. Но были в ней вещи совсем нам чуждые, это были «знамения времени», с этим ничего было нельзя поделаться, как ни старалась я их заменить героической романтикой, неопровержимым для нас... Мы теперь общались уже по-английски, я читала ей легкие книги, которые мне присылала Верочка Молчановская, подруга моя, по английскому языку.

...Как три года назад на широкой улице нашей, нами выстроенной, нюхала воздух, в котором слились запахи талой земли, отсыревшего под снегом плетня, пригретой у дома травки... И мычанье коров, бляенные овец, сельский концерт, любимый. Даль была в сизой дымке, как год назад...

...Я стою на маленьком лесном кладбище, окруженном кедрами. Какая удивительная тишина! Такое небо, синее темной лиловой синевой, было в тот день, когда мы осматривали Неаполь...

На могилах цветут пионы. Разросся шиповник. Летают стрекозы.

Я навестила могилы знакомых, при мне тут умерших. Идя к выходу, огибаю большой свежий холм с широко разбросанной землей. Плотный крест — крупные буквы: «ПАРФЕН НИКИ...»

— А-а... Уже! Не знала... — Острая, бесплодным удивлением, боль. Знала — пошла б на похороны... Давно ли ладил рукавицы из Руслана... Скоро как! Одну оставил старуху! Двойной вздох горя. Не доносил рукавиц, Руслановых... Руслан мой, Руслан!

Как кружатся, сколько их, — стрекозы!

Кладу земной поклон. Я совершенно одна на кладбище. В кедраче — детские голоса, звонкие. Еще больше от них тишины.

Евгения Петровна, вдова его, живет одна, сдает комнату. Она стала очень стареть, глохнет. Слушая, она держит вдруг сморщившееся личико — вбок, и оттого, что не слышит, на нем застыла тоска и тупая усталость. Она улыбается виновато. Она ждет к себе какую-то племянницу, всем говорит про это: один свет в окне! Может быть, если та приедет и

поселится с нею, то у тетки, глухой, старой, бессильной, появится новый свет, в другом окне: всем рассказывать о своих обидах — легче, когда скажешь...

Овец у нее во дворе не видать. Ни гусей... Куры — есть. Кот шмыгнул во двор — пестрый, все тот же.

ГЛАВА 21 РИТА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. СЛУХИ О РАЗЪЕЗДЕ

Лето без Миши! И пуст огород, зеленый, по которому не прокрадывается маленький тигр. Не остановится, подняв лапку, нюхая воздух... Ни Домки, ни Миши. Одна!

Тем жарче жду Ритиных приходов, наших все длящихся рассказов о моем детстве, наших уютных бесед перед засыпаньем при свете лампадки. А наутро — целый день с девочками-соседками, лежанье в гамаке с детской книжкой и с огромным, для нее сорванным, подсолнухом. Привычно выколупывают пальцы крупные, свежие, полосатые семечки, они похожи на — закрытые лодочки... Шумят вокруг плетня всунутые туда ветви тальника, пугают воробьев — как год назад. Но все этим летом подернуто дымкой печали, как даль: безвозвратное отсутствие Мех-Меха...

Невестка и внук разделявали мне дрова, обрабатывали мой огород, сажали на нем и себе. Они делали тяжелую работу, но и мне работы хватало. Засеяли мне целую сотку подсолнухами — выросли почти в два метра, лесок. Мы теперь растили и помидоры, и сладкие болгарские перцы. Все здесь росло очень высокое. Горох и конопля — рожицами. Достала я и вырастила кольраби (полукапуста-полубрюква) и карликовые лески фасоли, а горох трех сортов: низкий ползунок, обычный, — и сахарный. Не все вызревало — снимали перед морозами, вешала я через всю избушку, над головой — на веревочках, вниз плодами, выдернутые с корнем помидорные кусты, и круглые огоньки помидоров атели и раскалялись до спелости в засыхающей до хруста листве. Рубили, солили капусту, закапывали до марта морковь: лечение моим глазам и усиленное питание Рите — морковный сок.

Рита начинала говорить по-английски; я приводила ее к себе с ночевкой; как это было уютно! По пути продолжала рассказывать ей свое детство...

А на «Даче на Рейне» поговаривают об отъезде Капы —

очень уж мучает ее климат Сибири, участились сердечные приступы. Ей шел 74-й год.

В близком будущем — говорили, будет возможность отъезда — собиралась и Тоня: скоро я останусь без них, и это трудно себе было представить...

Моя Нина тоже привыкла к ним, даже сдружилась. Однажды, по-дочернему провожая откуда-то Капу, она остановилась с ней перед большущей лужей. Капа стояла, перебирая на берегу старыми маленькими ногами в ботиках, когда Нина, присев, схватила ее, как ребенка, в охапку и, посадив себе на плечи, пошла с ней в сапогах по воде... Сколько смеху было потом, в обоюдных рассказах...

Елка! Собственно, две, как каждую нашу сибирскую зиму: одна — у меня, другая — у Нины с ребятами, — тогда я опять у них ночую: рядом с Нининой и Ритиной кроватью на матраце впритык — уютно... Помнить, что игрушки самодельные, нам их помогает мастерить почти уже взрослый Геля, ему 16-й год! К елке я берегу полученные в посылках конфеты, а из набранных там, далеко, для нас и купленных предметов одежды, из книг присланных, игрушек для Риты я устраиваю опять «лотерею»: мы с Гелей пишем двойные билеты с номерами, честь честью кладем каждый номер на предмет, а их двойники — в мешочек, а можно и в шапку, и каждый тащит на счастье, а потом такой крик Ритин, когда ей достались большие Нинины варежки, а брату ее — кукольная посуда! Она кричала: «Неправда, мое, мое!» — а брат делал вид, что завладевает посудой, доходило почти до слез! Как она волновалась, получив братины сандалии или когда мать надевала на палец ее летний башмачок! Зато какое блаженство и успокоение, когда наступал размен и каждый отдавал вещь, у него погостившую. Любопытна жадность ребенка; правда, это было вскоре по приезде моих ко мне. Рите было еще года четыре, когда, положив вокруг себя все сладкое, что получила в посылке, и все сладости домашнего жалобного изготовления, от нежданного изобилия и волнения она вдруг — расплакалась.

Время шло, Рита росла, все больше знала английских фраз (я не словам учила, а фразам — вопросам, ответам), и незаметно мы начинали говорить — на двух языках. Но она уставала. И, со вздохом видя ее тягу к соседским девочкам, я, уводя ее от малограмотных, дурных навыков детей у ее жилья, плохой речи, приводила ее к себе, на Куйбышева, где звала к нам, в «Ритин садик» (он год от году рос под

восточным окошком), Надю-чуващечку — умную, своеобразную, выдумывавшую небывшее (я учила ее читать, и она, в пересказах прибавляя свое, была интересна! Откуда в ней что бралось?). Это росла в маленьком теле индивидуальности! Она осуждала черноглазую подружку Лиду, а свою младшую Верочку-кубышечку учила по-своему уму-разуму, не с материнских слов. Иногда они играли втроем — Рита, Надя и Лида; Лида обижалась, стеснялась, не попадала в ритм. Между Ритой и Надей реял зачаток дружбы. За столиком, сколоченным Басовым, они играли, рисовали, ели. Надя сдавалась на угощение после долгого боя. Ее светлые глаза (она была старше Риты) многое уже понимали. Капризы Риты с едой — осуждала. А потом ее звали, она убежала, мы шли в дом, в уют вечера, укладывая, продолжения бесконечной (импровизация) сказки. День кончался полутьмой, моим голосом, певшим ее любимые песни, лермонтовскую колыбельную... Спит!

Как это случилось? Что двигало мной в этой внезапной жестокости, в какой-то перемене угла зрения на Якова Ивановича? Отчего бывает, что не узнаешь себя потом в том поступке, который, происходя, кажется осмысленным, убедив в себе твою совесть?

Смутно помню я, что в то время что-то показалось неожиданным в нем и в каком-то приходе его к Капе и Тоне. Я согласилась с ними, что он повел себя — странно. Такой трогательный, добрый, невинный — и вдруг... (в чем было дело — не помню). В те же дни я обратилась к нему с предложением набить на мои стены, все же тонкие, ряды колышков (мне посоветовали), на которые затем я буду кидать замешенную с навозом глину: колышки будут крепко держать ее слой, и стена потолстеет. Так делалось. Он согласился. Проработал, должно быть, дня два. Расплачиваясь, я дала ему столько, что была уверена, что он будет доволен. Больше я не могла, не было. К моему удивлению, он выказал недовольство, даже обиделся. Я сказала, что больше не могу, что советовалась с людьми, мне сказали, что плата хорошая.

Горько он отвечал мне:

— Пусть так. Как хотите. Я с вами не рядился и требовать не могу!

Ушел обиженный. А я вместо того, чтобы устыдиться, — возмутилась. Его слова «не рядился», показались мне грубыми, не из нашего словаря. Как могла я не понять, что ими он

отдавал себя на мою милость? Как могла я не почувствовать, что факт его обиды важнее любых расчетов о плате? Советов соседей! Что не они важны, а важно, чтоб он за свою работу получил столько, сколько он ожидал! Я осталась в неправедном негодовании. Не пожалела *такого* бедняка! Денег у меня не было. Но работа его у меня *оставалась*. Добавив затем свою, я получила *толщину* стен! Как могла я не обещать доплату? Так и не доплатила...

Г Л А В А 22 ОСЕНЬ. ВАСЯ. ЗИМА. ИСКУССТВО ТОПИТЬ ПЕЧЬ

Осенью в подполье обнаружились мыши — слишком серьезная угроза для овощей. Мне пришлось взять кота. Я неслась его из села в мешке, чтоб не видел дороги, не убежал. Это был большой белый с рыжим кот, и звали его Вася. Боясь, что он убежит, потеряется в снегах и погибнет, я не выпускала его, как год назад Мишу. Он просился, скучал, но легко покорился затворничеству, с ящиком освоился быстро, ел кротче, чем Миша, невкусную для кота пищу. Он не отходил от нее сумрачно, как Миша (за что я тогда называла его «кушайте сами...»), и никогда ничего не трогал без спросу, даже вкусного,— Миша был тут анархичнее. В Мише вообще была гордость, стать. Он был мужествен.

Вася был сама нежность. Он ласкался лапами, как ребенок — руками; обнимал меня за шею. Мурлыкал не так громко, как Миша, но пришепetyвал, засыпая, дольше. Не полюбить Васю было нельзя, и я его полюбила. Как и Фею. Только она дольше не сдавалась, сердитей, чем на Мишу, шипела, даже била его серыми легкими лапами, но Вася понимал, что так должно быть, прощал Фею, и скоро Фея перестала злиться и лежала снова в своей любимой позе поперек Васи, сизым ковриком на его белизне с рыжими пятнами. Я зарисовала их сонный уютный ком, вздыхавший как тесто. Горе о Мишке жило, но рядом с ним жила нежность к Васе и Фею и радость, что мыши заставили меня взять Васю, который прекратил мою горькую одинокую жизнь, превратил ее в ласку, заботы, в «беседы». С кошками и собаками говоришь не меньше, чем с человеком. Рита, не изменяя Мише, полюбила Васю. И осень и зима наши следующие были в ожившей избе. Верно сказал девятилетний Шурка, что живет напротив: «Изба без кошки, бабушка, мертвая! Я так считаю».

Зимняя лесная дорога. Усыпана хвойными иглами — ветер сибирский рвет ветки. Иду на укол в далекую больницу села. У входа в село беленькая собачка. «На, на, на!» — я кидаю ей кусочек сахара. Она взвизгивает и, поджав хвост, уносится со всех ног. Обидела собаку — видно, подумала: я ей — камень... (Мои глаза не находят куска, — жаль: ни собаке, ни мне — затопчут...) Но вот вторая: рыжая, большая, худая. Я сперва маню, затем, невысоко взмахнув рукой, кидаю кусок. Недоверчиво косясь, она воровато подбегает, убеждается, что сахар, хватает его — и мчится от меня во всю прыть!

Иду по зачарованной тишиной дороге: на темно-зеленой хвое — тяжелый ослепительный иней; небесная синева. У входа в лес меня обгоняет третья собака — коричневая с белым, пушистая, хвост — страусовым пером. Ей летит третий обломок. Она ловко схватывает его на лету, останавливается, сгрызает и, догнав меня, бежит рядом, заигрывая и пытаюсь лизнуть. Затем она вспоминает, верно, что шла по делу, и спешит вперед, но, решив, что это — невежливо? — останавливается, ждет меня. Так мы идем с ней добрую часть моего пути. Она идет гордо и весело, благодарно бежит рядом, прыгает на меня, бежит вперед, закатывая глаза, — пока я не сворачиваю к больнице.

Собака останавливается и смотрит вслед.

Настала пора наружной обмазки избы — для тепла. Холодало. О, я теперь научилась у Лены Доброй, у меня спрашивали «рецептуру», видя, что нет трещин у тех стен, где я в 52-м мазала... С каким рвением собираю я и таскаю без усталости (спину ломит — ташу, надо...) ведро за ведром конский навоз, ликуя, что — свежий! Не жалея ног, с конца улицы (глину копать не могу — 15-летний Гена или ребята соседские), и толку, заливаю водой, мешаю — глины четыре и шесть, а то и больше навоза (иногда коровьего, под коркой жидкого и вонючего, поднимаю его по всей поляне (коровий — для гладкости!) и мешу, мешу таз за тазом, руками растирая каждый комочек, чтоб «как масло» (слова Лены Доброй). И — мажу, до темноты! Темнота — что! Мороз... Уж послезавтра покров, когда я «еле чующими» от холода руками кончаю кидать, и размазывать, и пришлепывать, и ровнять слои месива, совсем шелкового на ощупь.

...Идут соседи — жалеют меня и любят вид из избы. Да, вид! А тепла сколько несусь в избу этими — от мороза отнимаются! — руками... И не чую боли в спине — жар радости! Преодоления! Одурь, опьянение... В чаду! На сегодня — кончила! О, как чуден час отдыха в избе — с ночником, за круж-

кой сладкого чая! Лампадка, тихо... И впереди — ночь, сон... А наутро — опять мазка. Смеси — точной пропорции — для первой и второй мазки, и глины с водой и коровьим навозом — для третьей. Надя и Лида помогают мне: я хожу с ведром и старой железкой по нашей широкой и тихой улице от дома к дому, приседая у каждой кучки конского зеленого золота — навоз нужен самый свежий — и перед огромными темными вонючими коровьими плюхами, а девочки бегают взад и вперед и кричат возбужденно-радостно: «Бабушка, вон плюха хорошая, ба-альша-ая!.. Нет, не та, дальше, дальше — ага!» Или: «Ту не берите, бабушка, — корка на ней...» И провожают меня с моей добычей до самых сеней, где, как у Бабы Яги, котлы, тазы со смесями... И пока я до изнеможения мешу, они — то одна, то другая — рассказывают мне новости села.

Мешу я руками (в ногах силы нет, и смесь быстро стынет, а у меня ревматизм), и, когда я несу, сгибаясь, неполный таз на улицу, Надя и Лида открывают мне калитку, кряхтят и сочувствуют.

Они убегают домой есть, покачать своих младших, и наступает мой отдых от них. Любимое одиночество... Тяжелые шлепки месива хлопаются — надо с силой кидать, — и, пока рука их оглаживает, ровняя, мысли гостят в прошлом, в далеком прошлом: взрывы солнечных морских волн в Канне, возле Ниццы... Шварцвальдский заколдованный лес детства... Перламутр парижских утр, ослик с тележкой (молочница)... Коктебельский закат над Карадагом. И уже бежит, еще в его зареве, пересекая сибирскую улицу, Надя и кричит: «Хватит вам, бабушка! А вон еще плюха лежит...» Кончала я часто при высокой уже луне. А утром девочки снова бежали ко мне, крича про плюхи.

Борясь с опасностью отравы, пересаживая, рыхля землю от появляющейся после поливки корки, мешающей овощу в росте; подвязывая помидоры, собирая, луца горох, бобы и фасоль и суша подсолнухи — утром раскладывая, вечером собирая их: чеснок, лук, все бобовые (на листах газет, на тряпье, мешках); к ночи убрав их в сени, спеша укутать все, что может померзнуть (помидоры, огурцы, все нежное); проделав весь труд по срезанью ботвы с корнеплодов (одной моркови до шести мешков, часть в подполье, часть в землю до предвесенья — вынешь ее свежую, как клали!), — я оправи-лась только к октябрю, когда Нина еще рубит и солит капусту; я, все прибрав в избе, кончила.

И снова вечер. За кружкой сладкого чая... Трижды мытые руки не без трепета берут кусок хлеба (пахнут все-таки

навозом...). Греет мое одиночество память о вечере, когда, оставив на Гелю Риту, наскоро похлебав после целого дня труда, прибежала ко мне — урвала! — помочь Нина (три версты туда и назад!) — вымесила семь ведер! Я их вмазывала уж одной ошупью, когда по улице — огоньки...

Теперь уж, как год и как два назад, каждого возчика — за полы: дров! А когда, Ниной и Гелей разделанные, я таскаю их к себе в избу и укладываю — это целая мозаика, искусство! — для сушки: сперва — на плите, догорающей, следя, чтоб не задымились, потом — между стеной и полкой, потом — им на смену другая россыпь поленьев, кладу их у печки. Чтоб ни одно полено не давало воды, которой полно, помня: 100% сухости в дровах дает 50% в количестве их надобности!.. Соседи дивились, как мало у меня идет дров.

Правда, ночи мои с половины были свежи. Утра — холодны: -3° — -6° . Но ведь это и хорошо! И еще — искусство вложить в печь: крест-накрест, чтоб тяга! Спичек мало. Разжигать научилась одной: завиток бересты, лучина, два самых сухих полена (а там — чуть сырые) — и пошел полыхать добрый «пожар» печки... А тогда трубу на три четверти закрываешь — гуденье в трубе тише, — и начинает нагреваться изба!

Зимой появились щиты — заподлицо со стеной на окне и двери. Мал запас дров, а в избушке — тепло... Если я теперь говорю, что три года жила совсем одна: то огородные «деревца», то бураны — в моем домике на повороте дороги — до соседей не докричать, на широкой сибирской улице, то надо вычесть из этих трех лет время, прожитое с Мишей и Васей. Это теплое, мурлыкающее, полное уюта и ласки — «мы»... Когда на ночь мы с Васей, заложив на вертушках щиты, отдалив вой вьюги и холод, оставались вдвоем — как же были хороши вечера эти, с книгой, с тетрадью, письмом, хлебом и овощами, забеленными молоком.

Зима застала не мое «я» в звуке буранов в избушке, а наше с Васей, под вой вьюги, — «мы». Но во второй половине зимы Вася стал так проситься наружу, что мне пришлось уступить. С тоской и страхом снова потерять друга я открыла ему дверь сеней — в белый хаос летящих вихрей, и он исчез в нем. Грустно я вернулась в избу. Не могла спать. Убирала, прислушивалась. Нет и нет... Долго! И — вдруг! Не почудилось ли? Нет? Удар в дверь! Но не мог кот так ударить! Чем? Всем собой? Я открыла первую дверь, за второй затаилась.

— Кис-кис-кис... Ксс-ксс...

И из хаоса, воя «Бесов» пушкинских — голос:

— Мяу... Мяу...

Я рванула крючок, и из белой бури — Васин прыжок об

меня снегом и шерстью, и с земли — прямо мне на плечо, и ласкается, обнимается... Я от радости чуть не заплакала — так уж к горю готовилась! И стал Вася гулять, стучать, возвращаться — как человек. Прямо с полу — взял он привычку — ловко прыгать мне сзади на шею. Но — царапал ее. И когда я, оборачиваясь: «Нельзя...» — он не прыгал, а виновато мигал, нахмурясь. Был очень послушен. Никогда не крал. Только однажды не смог удержаться: хвост сырой рыбки висел из пакета на краю стола так низко! Вася съел рыбку! И был ужасно сконфужен (неужели я не дала ему еще одну?).

Уж прогорели елки, как и год назад, и в моей избушке, и в Нининой комнате, и дважды порадовались огням ее Рита и Гена, дважды я готовила подарки, разделив присылки посылочные и украшения, бережно хранимые в коробках.

Однажды так занесло наши избы (мою и Тонину), что они почти скрылись под нанесенной насыпью. Тоню пришлось откапывать (это сделали соседские мальчишки, разделявавшие ей дрова) — дверь ее открывалась наружу, и самой бы ей не выйти никогда; моя, рукою Басова навешенная, осмотрительно открывалась вовнутрь, и я просто не выходила во все дни бурана: трудно мне было пробраться через высоту снега, который бы стал мне в дверь падать при открыванье. Снова через снег прокопал себе путь актер Сергей Тихонович, шедший меня навестить. Расчистил лопатой вход.

Г Л А В А 23 С Н О В А В Е С Н А . У П У Щ Е Н Н Ы Й Д Р У Г . К О Н Е Ц В А С И

Апрель рвался в окна. Западное, то, у которого прощался со мной год назад Миша, уже было раскрыто. Снег и тот пахнул землей, которая побежала ручьями, которая просила семян. Фея сердилась на свой живот, мешавший ей прыгать легко, как любила. Но появлялась все так же внезапно, по-феиному. Соседского кота Жулика не было уж: не вынес болезни, и хозяин, с моего разрешения, закопал его в уголке моего огорода. Теперь держал он кошку Коку, и у обеих — у нее и у Феи — родились рыжие дети. Был ли этим сконфужен Вася — не удалось понять.

...Весна! Точно такой же день был, синий, из беспредельного шатра неба, где ликовали, стрелами носясь, птицы, когда Миша в первый раз вышел лежать на солнце. За последнюю зиму он вылечил лапу, которую ветеринар назвал неизлечимой, уж не на трех скакал, а ходил по избушке в бархатной стройности поступи — и погиб в первые дни весенней свободы, не

успев побегать на четырех... Капкан схватил его за то, что он не был, живя со мной, сыт. Но, прыгая через плетень, под которым он лежит в земле, летит, мяукая, Вася — и я беру его на руки, вытирая тряпкой грязные борющиеся лапы, и радуюсь! Потому что жизнь всегда сильнее смерти!

Но с некоторых пор Вася стал как-то трясти ухом, держа его набок, и был грустен. Не мог помочь себе — лапой, ни я ему. Нести в ветеринарку? В ухе ничего не было видно. Казалось, кому легче? Уже шло лето.

А потом Вася пропал. Я искала его по всей улице, заходила в дома, вспоминая судьбу Миши. Все падало из рук. Я бродила по картофельному полю, клича его, заглядывая под кусты, не лег ли где, заболев, под ботвой... в которую так рвался — умереть — Домка. Везде было пусто. Мелькали чужие кошки — не он... Я совсем одичала от горя. Шли дни. Васи не было. Погналась за пестрым котом — думала, Вася... не он!

С кем-то прощаясь у моих сибирских ворот, сделанных из прибитых к тонким жердям прутьев, я увидела за ними черного с желтым пса, извивающегося от ласковости, тщетно рвущегося пролезть через прутья.

— Нельзя, песинька, — привычно оберегая вход в огород и рассеянно, потому что договаривала с человеком, сказала я в ответ на собачью ласку, но пес не внял слову, а, восторженно взвизгнув от человеческого голоса, к нему обращенного, удвоил, удесятерил приступ на жердяные ворота.

Откуда он взялся? Я знала всех собак на отдаленной улице. Но — камнем на могилу погибшего моего щенка Домки — запрет нежности к собакам. Еще не зажила рана. И все-таки, когда сосед отошел, договорившись о каком-то огородном деле, я, не в силах оттолкнуть собачью ласку, через прутья, присев у калитки, стала ласкать визжащее от радости существо.

Розовый язык лизал мне пальцы, собачьи глаза, закатывая в игре белки, трепетали под вздрагивающими бровями. Он валялся в пыли от счастья!

Будь я одна за своим плетнем, как и он, лаской не избалованная, я впустила бы его в мое овощное царство, много ли вреда принесет собачий восторг по грядкам — с зари до зари гонишь чужих кур, гусей, ждешь овец и коров. Но у меня был кот. И я не могла впустить в тихий кошачий уют заклятого врага кошек. Два дня назад пропал мой любимец — белый с рыжим. Я искала его везде, и все меркло от страха, что погиб (разорвали собаки?). И мое отзыванье, и мой ответ на собачью ласку — было изменой интересам

кота. Я еще не потеряла надежду, что Вася вернется. Слишком долго я жила, чтоб не знать, как любовь превращается в ненависть: изнемогающая от нежности к человеку собака вмиг станет хищником. А Вася мерещится мне за каждым забором и кадкой вот уже третий день... Нет!

Малодушно отвечая на с рожденья обожаемую собачью ласку, я сурово твердила: «Нельзя, песинька...» — и, как утес, — волны выдерживала мольбу убедиться в его праве на вход ко мне. Может быть, он говорил и о том, что добр, не хищник, что он — белая ворона меж собак, кошек не трогает? клялся? Интонации его взвизгов кончались взываньем. Были ли это отзвуки моих мыслей? Он обещал сторожить дом?

Пришелец не знал и других моих опасений: снова взять собаку — повторится то, что уже было: он, после моей пищи, будет бегать к более богатым соседям на съестные запахи, шкодить, его будут гнать, грозить, что убьют... Пес не знал, что греющее, как печь, счастье дружбы зажато в горьких руках нужды.

Я гладила его, делаясь все печальней. И Вася... Нет!.. Я встала с колен, а он неистово рвался в ворота, крича, что я не вправе отнять уже было данную ласку, а с ней — корм, дом... Запрещая себе трусливое желание один раз покормить (приучить, обмануть и прогнать!), я вошла в избу, закинула щеколду, открыла тяжелую западню в полу, достала из подполья картошку и села перебирать ее. Обрывая длинные ростки, я прислушивалась, не мяучит ли Вася, не визжит ли собака тем особым тошным визгом, когда, припадая в прыжках к земле, они лают на кошку. Было тихо. Я сидела на краю западни над подпольем и обрывала ростки последней кучи картошки. Скоро уж подкапывать скороспелку... Как быстро летит время! Насколько быстрее, чем в детстве! Это вовсе не возраст, не субъективное ощущение старости — *объективность*.

Я вышла из избы. Уже совсем иначе лег свет в огороде. Тень от гороховой сквозной легкой рощицы — почти до плетня. На грядке бобов пала тень от высоких подсолнухов. С волшебных, гнущихся в ветерке кружевных «елочек» конопки пронеслась стайка воробьев, задев по стене хмель. За молодым картофельным полем, там, где было раньше болото, за сухими шелестящими кукурузами чиста, как хрусталь, даль... Как тихо... Ох! Васи — нет!

Я спешно заперла на висячий замок сени. Книгу (читать в очереди) под мышку, палку, да еще вынести картофельные отростки! Я шагнула к воротам.

Там уютно и прочно, точно у своей будки во дворе хозяина, спал черный друг. Лапы с кротко спящими в шерстке когтями отдыхали вовсю. Он мгновенно вскочил, заходил ходуном, желтые его подпалины засияли на солнышке. Отряхивая с себя недоснившийся сон, голод, жажду, он приветствовал меня всем собачьим азартом. Дождался хозяина! И, торжествуя, с готовностью сопутствовать на край света — «понимаю, спешим» — побежал (точно годы так со мной ходил) — пышный хвост крючком, «как страусовое перо», — по дороге.

Это был средней величины пес, полудворняга, уже взрослый, с жизненным опытом, с кротостью прожитых лет. Увидев, что я остановилась (не вылить ли ему в черепок остаток супа? — Нет, ведь придет опять! *Нельзя же!*), видя меня, идущую, — он побежал, торопя — спешим! — лизнул руку и, зовя, помчался вперед.

Он бежал, отдохнувший, успокоенный обретенным жильем и службой рядом с хозяином, вдоль своего огорода, по-деловому лаял при встрече с бегущей собакой, с гусями, телятами. Он был счастлив.

Я улыбалась ему, горько стыдясь обмана, и через явь *его* чувства тянула явь моих: не бежит ли по полю белое с желтым Васи? Наперегонки бы бросились с тем черным другом защитить от черного врага... Но везде было пусто, и зной.

Булочная закрыта, хлеб еще не привезли. Я пошла дальше по делу. Друг бежал впереди, оглядываясь. Одно ухо поднято, другое висит. Кивает мне мордой по-щенячьи! — уже не по возрасту, — закатывая от счастья глаза.

Я вошла в калитку, пригрозив: жди, если хочешь, но в чужой огород ни-ни!.. Вслух: «Долго тут буду, лучше не жди меня...»

Но кто-то вошел со двора — раскрыл и калитку и дверь, — и в комнату ворвался мой пес.

— Куда тебя несет? — закричала женщина, замахиваясь полотенцем. Пес выскочил, она — за ним: — По грядам полетит теперь!.. Вон отсюда! Все потопчет!..

Выбежала соседка. Убедившись, что пса не бьют, я сама, как побитый пес, вошла назад в комнату. Сердце ныло...

А когда я спустя некоторое время прошла в калитку на улицу — улица была пуста. И вот тогда сердце заныло по-настоящему... «Ну и хорошо, что ушел. Ведь взять не можешь? Найдет себе другого хозяина...»

На почте писем не было. В амбулатории было душно. Пахло лекарствами. Я вышла на крыльцо как раз в ту минуту, когда по мосткам, ведущим от почты в амбулаторию, пробежала черная собака. Нос к земле, растерянно нюхая...

Мои следы?! Близорукость моя не давала уверенности, что это мой пес.

Уже не было видно собаки.

«А может быть, и не тот пес! Ты ж не уверена...» — «Да, я так близорука». Ум так привык утешать себя и лукавить... Сердце сжало... Ну и ничего. Жизнь шла дальше. Я упустила друга.

Вот и все — о моем псе. Стою у калитки. Вот тут он лежал и ласкался...

— А какому-то коту дядя Семен в ухо стрельнул,— сказала мне девочка, пробегая,— ага, попал, я видела. Нет, не сегодня...

— Ну, это давно было — если Вася!..— пыталась я утешить предчувствие.

А потом прибежал Вовка:

— Бабушка, вон у соседей наших на огороде, позадь нашего, кот ваш лежит...

Синие мальчишеские глаза полны жалости.

— Белый?

— Какой-то такой не совсем, пятнами.

— С серыми? (Последняя надежда, что не Вася...)

— Ага. С желтыми вроде...— упавшим голосом:— Ваш.

На задах незнакомого огорода, на теплой июньской земле лежит неподвижно Вася, на боку, передние лапы — согнуты, на шкурке — земля.

— Катался, видно...— говорит Вовка.

Присев, не видя от слез, глажу холодную Васину шерстку.

Вовка вырыл ямку в самом конце огорода картофельного, где год назад сажали с Ниной помидоры, и туда, в глину, положили Васю. Тоже в тряпочке, как Мишу. Вовка бросал глину лопатой. Вспоминая, как он сказал, когда у них кошка пропала: «Когда кошки нет — изба мертвая...» — я шла к себе полумертвая тоже.

А у двери — Фея. Переминается с лапки на лапку, делает горб, вертит хвостом, мяучит. Ждет меня. Смотрит зелеными глазами волшебницы, трется о косяк...

ГЛАВА 24 ЛЕНА ДОБРАЯ И БАСОВ. СМЕРТЬ ЯКОВА ИВАНОВИЧА

Согнутая спина Якова Ивановича исчезала, огибая угол моего плетня. Как похудел! Как состарился... Жалость острой

духотой сжала дыханье. Я выскочила за ворота. Ему вслед (услышит!):

— Яков Иванович, урожай хороший! Смогу всего вам дать, не только картошки...

Будто оглянувшись? Кивнул? Почему не крикнула вслед: «Получу пособие и доплачу вам за колышки!...»? Как мне было бы легче — теперь...

Моей жизни в моем домике шел уже четвертый год. С февраля по апрель замерзала вода в колодце. И я таскала всеми посудами снег. Да, у меня был уже настоящий колодец, давно уж я получала сто рублей (до реформы 61-го года) в месяц пособия, как нетрудоспособная. Все шло на доделки, ремонты — в старой конюшенке и в углу плетне. Колодец глубиной в два метра, вспомнилось, как Басов, 72-летний, узнавал, где рыть: потребовал сковороду, с ней обходил участок; положит — и ждет, запотеет ли. Где всего скорей запотела — там стал рыть. Над отверстием сделали крышку, чтобы не утонули соседские дети. Но в воде (зачерпнешь ведром) плавали лягушки и белые черви. На следующий год я достала горбыльных обрезков, и мне обвели ими земляные стенки колодца. Это сделал сосед, он же вывел наружу помост, выше и от детей к крышке приделал замок. И теперь у овощного огорода была калитка, крючок, и была укреплена стенка плетня, через которую три года назад была потрава. У меня в доме все было в порядке, так же как и вокруг дома, еще раз сменена сырая дверь — ее все «вело», — куплена из сухого дерева и еще одним отрывом сахара и масла ото рта — обита дверь соломой и мешковиной. И оплата труда. Под западным окном — не поверишь, что буффория, как ей радуется, придя посидеть, Сергей Тихонович — из камыша и цветного старья смастеренный «старинный диван», натуго сшитый «подушками» (шпагатом, цыганской иглой) — спинка в три полукруга (средний — выше) перед щитом окна, и Юров садится тут на затянутый в цветную тряпку камыш — как в кресле ложи; держа стакан чаю и уносясь от своих физически непосильных работ в Москву, — кейфует...

В эту зиму родился наверху мой чердак: забили досками треугольники меж разлета стропил и потолком — затишье сверху. Теперь на засыпку — смазка глиной сперва, слой земли и слой еловых игл. Сверху не пройдет в избу ни мороз, ни снег, ни вода...

В эту осень, помня, как трудно с таяньем снега, я заказа-

ла Басову то, что видела в детстве в кухне отцова московского дома: «коробку»! Глубокую железную коробку, которую мне вмазали в плиту,— и теперь можно было одновременно таять снег — и варить в котелках суп и овощи...

Из снятой двери Басов выпилил мне круг, приделал на ящик, и я покрыла его присланной мне старшей сестрой Лёрой в посылке чуждой небесно-голубой клеенкой, и в моей избушке красовался круглый стол, как когда-то в Москве, в московском доме отца, в столовой в Трехпрудном. Посылки продолжались. Чего Лёра только не слала! Какой восторг был их открывать — все самое нужное, самое радостное: и абажур, и книги, и самодельные вышивки, и посуду,— как расцветали и сердце и комната! И каждый месяц — от пенсии подруга Верочка Молчановская аккуратно по сто рублей. И Лёра от своей маленькой пенсии — аккуратно, ее часть в месяц, который год! Как я благодарна им, как волнуясь, получаю!

Напротив меня живет молодой эстонец Освальд, у него фотоаппарат «Любитель» — как поздно я это узнала! Он снимает мой домик за крайне скромную цену со всех четырех сторон — может, и я уеду? — а вот Васи у меня не будет на память, ни Миши, ни Домки... Как пышно цветут в Ритином саду тарусские дары Лёрины — кусты золотого шара и рыжие лилии, скоро расцветут лиловые мелкие астры на высоких кустах, а на будущий год — в первый раз розовые и красные розы на гордо поднявшемся оперении, их тоже прислала мне сестра Лёра — корешки в надрезанном ящике.

Вася *живой* заслонила мне Мишу. Но теперь он ушел, и из тьмы вышел Мишка, и оба снова со мной — в поднявшейся, как роцца, памяти о них и тоске. И Рите скучно без них, когда она сидит в своем садике за столом и грызет подсолнухи... Красиво рисует буквы... Но однажды, шести с половиной лет, стоя у двери в мои сени, под разливом хмеля, она вдруг сказала — и было удивительно слушать:

— Вот и кончилось мое детство...

— Почему? — удивилась я.

Она не могла пояснить, что произошло с ней в ту минуту.

...Немного раньше этого времени влетела хохочущая Лена Добрая:

— Слыхали такое? Мне Басов делает предложение! Ты, говорит, хорошая хозяйка, а и я, кажется, хозяин неплох! Твои молодые скоро отделяться хотят, так я слышал! Так вот и складно у нас с тобой будет — твоя изба, мой труд! Тебе, как хошь, без хозяина — никак! — Она говорила и хохотала. — Хорошо придумал? Это я буду за стариком, за мужиком уха-

жить, портки стирать? Угодать мужику? Мой муж сколько лет уже умер, а я — замуж пойду?

Пылавшее лицо ее, смеявшееся и гордившееся — и предложением (знай наших!), и отказом своим (знай наших вдвойне!), — было живописно вне мер — восхитительно! Это был такой час жизни, когда в жизнь врывается — Театр! И Лена, эту роль принявшая в грудь, как удар кинжала, играла ее, как Ермолова, крепостью истекающей из ее раненой жизни, еще живой, крови, безошибочно в каждом движении и интонации. И я (одна — зритель) не отрывала от нее глаз и души. Хоть с тою же страстью мне было жаль Басова, так верно выбравшего себе подругу, — другую по себе не найдет!

Совсем неожиданно, в какой-то июньский день, вбежала к невестке моей бывшая актриса Ванда. Лицо ее было искажено горем, под глазами — тени. «Она худеет, как Яков Иванович!» — подумалось мне.

— Умер! — закричала она, бросая на стул шаль, которую сдернула с головы. — Яков Иванович! Сегодня, в больнице! От заворота кишок! Наверно, поел плотно, где-нибудь накормили... Завтра похороны! Вот бедняга, вот бедняга... И никого у него нет на всем свете, кто бы его пожалел...

Не скажи Ванда этих последних слов, я бы, как она, погрузилась в безутешность ее страшной вести. Но сила удара *этими* словами, ослабев, устремилась к тому, в чем *было* это утешение: ей, ей, той единственной, которую он звал Друг, — ей сообщить горькую весть, написать ей, *как* он ее вспоминал! Я шла к Тоне и Капе, еле видя от слез дорогу, но была светлая утешенность в душе.

Вправо, в глубину от широкой, почти сровнявшейся могилы Парфена Никитича вырыта яма. Тут ляжет Яков Иванович. Он лежит еще между нас, в открытом гробу. Это он? Неузнаваем от тяжелой смерти. Не знаем, как умирал, ничего не знаем. Он лежит — каким никогда мы не знали его: спокойный и строгий, успокоенный на веки веков, ни о чем не тужит, ни над чем не старается, никто никогда уже его не обидит — это все отошло — назад. Строго, почти гордо лицо — не его. Куда делась веселая сперва, потом одряхлевшая мягкость черт? Лежит вельможа. Худой, торжественный остов горбоносого лица, слегка лишь напоминающий то, живое, теперь отстранившееся, над нами поднявшееся, хотя лежит почти у земли. Он все знает уже! Перестрадал столько, насколько изменился. Как бела рубашечка, смертная! Почти наряден. Еще с нами, но он уходит! Вот он какой был, а мы... И

почти уже не точит боль, его увидав, боль, что вчера еще... — о моем грехе перед ним — деньги, тогда недоданные, — так далек он от нас, так высок, так повелителен к нам, в тайне смерти.

Г Л А В А 25 МОЙ ОЧАГ РУШИТСЯ. ПРОЩАНИЕ С ФЕЕЙ. НОВЫЙ ОЧАГ

Был конец лета. В полутора верстах от моей избушки, в самом селе, близ артели «Северный луч», там, где в пимокатной работала Нина, была ее, артелью ей данная комната. До той поры за моей внучкой Ритой в детсад ходил ее брат. Он через лесок приводил ее — уже три года — домой. Мать их, как и все работники артели, работала то на посевной, то на уборочной, и она приходила к детям не ранее девяти-десяти часов вечера. Я проводила у них вечер и возвращалась к себе в темноте, мимо канав, полных воды; фонарей на моем пути не было.

Это было трудно, но возможно. Так шло почти три года. Но однажды Гена, перед началом ученья, пришел из школы с новым расписанием, лишившим его возможности заходить за сестрой в детсад. Я стала перед дилеммой: или пускать девочку одну через лес, по-детски небрежно укутанную, в морозы и вьюгу, и где будет она до матери — одна среди чужих? Или ежедневно ходить за ней в детсад и до ночи быть в полутора верстах от своей избушки, без возможности ее протопить вторично (многие тогда в сибирской деревне топили и по три раза в день) и ложиться в холодной избе (на ночь топить соседи бы не разрешили, слишком велика опасность пожара без пожарной команды), — долго ли выдержу я такое сама? А если слягу, тогда что? Ребенок — брошен? И была еще одна невозможность: по пути из детсада к жилью невестки ежедневно под вечер мчался на водопой к реке целый табун коней: ребенка бы смяли — вмиг. Вопрос ясен: мне надо продать избушку (такую маленькую, но кто ее купит? А если — да, то за такие деньги? Разве я смогу купить другую, куда бы забрать невестку с детьми, жить вместе возле артели?).

Стою над сладко запахшими к ночи маленькими лиловыми цветиками — как крепкие духи вокруг дома, — думаю. Нет выхода! Продавать дом!.. И искать что-то вблизи Риты, вблизи Нининой работы. Перетащить их туда, жить семьей... А дверь дома скрипит: «Останься, на кого ты нас...» Конопли кланяются... Фея стоит на пороге, вопросительно

смотрит. Сердце — на части! Надо уехать... Но где взять денег на больший дом? Надо — и негде. К ночи — череп на части!

Положение было безвыходное. Я написала о нем всем, кто мог посочувствовать, посоветовать. Помочь же не мог — никто: все близкие и друзья жили трудно, еле сводя концы с концами.

Год ли прошел? Кто вспомнит? После рассказа Лены о предложении ей Басова Василия Ивановича, одиноко жившего на квартире, куда я тогда пришла к нему за духовкой с Мишкой, его разбил паралич. Сын приехал за ним и увез его в город — в самый разъезд. Спустя год — не ошибаюсь? — смутно пошла весть о его смерти...

...Кое-кто ведет переговоры с близкими об отъезде, но так страшно тронуться в гадательный путь с трудностью поселиться где хочешь. Скоро, скоро отнимется у меня радость дружбы с Тоней — Капа не в силах переносить сибирскую зиму, едет в Ташкент, тут прожив у сестры три года. Да и Тоня скоро, верно, сможет уехать.

Шел август. 1 сентября начиналось ученье. Я запомнила 28 августа, памятный день, перед началом ученья. Это число в семье нашей всегда проводилось вместе. Мать любила его. И в моем отчаянье я убедила себя: в этот день мне должно прийти что-то! Медленно поползло время в труде и тревоге.

Словно напоминая мне о скором будущем, выпадали то дождливые, то холодные дни, и сердце сжималось тоской о том, что нет выхода, жизнь не может предложить ничего, что бы вывело меня из настающих тисков: ребенок будет предоставлен на волю случая и опасности. Зрелище скачущих по дороге коней, от которых шарахались прохожие... Вид моста, где вместо перил была протянута толстая жердь, укрепленная лишь изредка поперечиной, над глубоко внизу текущей речкой. Уж темневший лес по пути из детского сада в село, где в метель сбиться — одна минута. Ни мать, ни брат помочь не могут. Одна я. А что я смогу, если, как два года назад, слягу в плеврите? А ведь плеврит начался в избе протопленной, ни в одну из зим я не ложилась спать в холодной, да и никто не жил, не топя, — а придется! Как обеспечу я внучке безопасность, присмотр, своевременный отход ко сну (вставать в детсад ей — рано...) — еду, наконец? Приходили письма — сочувствие живое и теплое. Кто-то в письме советовал запереть мою избушку и перебраться на зиму к невестке. Увы! Ласковые, убеждающие слова были потрачены даром: разве дело было в том, что нелегко жить не у себя, в тесноте? Мое подполье было набито картошкой — мешок за мешком спустили мы туда с невесткой и внуком весь плод моего

огорода, надежду сытости семье на целый год (у них огородик был мал, плох, внук отсюда таскал по ведру). В подполье много моркови (я терла ее и носила внучке сок). Кочаны капусты висят великаным ожерельем вокруг всей внутренней завалинки. Вместо помощи семье стать нахлебником, погубив урожай? Я сложила письмо. Глаза были сухи. Лучше бы плакать... Отчаянье было немое. «В тесноте...» Кабы так! Но невестка с детьми жила в проходной комнате, мать и дочь спали вместе. Внук — на узеньком топчанчике. Оставался проход между ними, проход к соседке. Если б и была раскладушка, ее было бы разложить — где.

Первое сентября близилось. Все валилось из рук. Погода стояла тихая, жаркая. Было 27 августа. До начала ученья оставалось пять дней. У огородной калитки, закончив свой день труда, еле чуя ноги и руки, бесцельно глядя туда, где маленькая — не больше муравья — точка двигалась через пустыри, минутной стрелкой незримо ползя, пересекая пространство. Муравей теперь уже был с божью коровку. Удлиняясь, росла, превращалась в очертанье человека. Идет к нашим выселкам. К кому-то... Надо идти домой! Я повернулась — и в тот же миг раздался далекий крик. «Бабушка! Телеграмма!» — кричал женский голос, и над головой подходившей в воздухе полыхало заходящим солнцем что-то похожее на крыло мотылька — загоралось рыжим и тотчас потухало серым, и опять, и опять... уже видно было очертанье бумажки. «Не волноваться... — сказала я себе, — и ничего не ждать! Просто — кто-то высылает посылочку — детские платица, угощенье ребятам!»

И я пошла навстречу почтальонше. Но ее лицо расцветало при каждом шаге.

— Тыщу тебе шлют, ба-буш-ка! — уже не кричала, а говорила она. — Сестра, должно, подпись на ту же фамилию!..

Смуглое худое лицо ее было освещено закатом и — счастьем! За *другого* счастьем! Она несла человеку чудо, в первый раз в своей рабочей жизни, в первый и единственный! Она никогда не узнает, что была в эту минуту — красива! Как в свой свадебный час... Запыхавшись, она протягивала мне телеграмму.

— Завтра, как встанешь, сразу иди на почту! А оттуда, как деньги получишь, — ни в магазин, никуда — в сберкассу! Сельсовет пройдешь — и пекарню. И рядом с пекарней — сберкасса... Книжку тебе там заведут — и береги ее, по книжке тебе выдавать будут, на что тебе надо...

Она мне была — как дочь сейчас! Но, может быть, у нее была дочка, как у меня внучка Рита, и что мелочи в кошель-

ке у меня было, я все ссыпала ей в руку, которую она было отдернула, за спину спрятала, но я обняла ее, и мы смеялись и плакали обе, и я радовалась, что в этот вечер она высыплет на обеденный стол — конфет! И расскажет детям своим про волшебную телеграмму...

Она уходила, а я смотрела ей вслед, пока она завернула за угол плетня, и, сжав чудо в руке, пошла в дом.

Щедра была жизнь: увлекшись идеей сберкассы, заботой о бабушке, почтальонша ушла, не заставив прочесть при себе текст. Он был нацело мой.

Я развернула на почте распечатанную телеграмму: «Шлю тысячу задаток избу селе остальное почтой Цветкова». Зоя! Друг с 32-го года! (Ее фамилию, с моей сходную, приняли за искаженье моей!) Господи! И это — не сказка?

Как я прожила этот день? Как дожила до 28-го? Что снилось мне в эту ночь?

На другой день на почте мне улыбались, расспрашивали, поздравляли. Из сберкассы я прошла к невестке, в артель. Она вышла ко мне в пимокатном цехе — в майке, пот струился по ней.

— Нина! Переедешь ко мне с ребятами, если куплю в селе другую избу? — Я рассказала про телеграмму.

— Перееду! — просто отвечала невестка. — Только одна не покупайте, с понимающим человеком надо!

— Ну, еще бы... Будем вместе смотреть! Только найти бы!

— Теперь многие уезжают, найдем... Прораба позвать, пусть все осмотрит...

— Письма подождем, обо всем — в письме! Мою избушку продать нелегко — наспех...

Ее звали. Я шла по селу, глядя на избы, не чуя ног под собой.

Я стою на поляне, на нее выходит знакомый участок: тут я бывала в гостях у трех женщин, со мною приехавших в село тому назад годы. Сложившись, они купили эту большую избу и, недавно уехав, продали ее, говорят, каким-то старушкам. Стою, люблюсь, дивлюсь. Жившая тут Светлана ткнула в землю тополиные прутики — пять лет назад. Вымахали выше крыши, шумят тополя! Да, удачно они купили тогда — изба теплая и большая.

Моя перед ней — ребенок... Иду дальше, смотрю, мысленно прицениваюсь, пугливо... «Остальное — почтой...» Чтоб купить семейную избу, мне надо к богоданной тысяче прибавить неплохую цену за мою кроху... Кто даст? Но в такой день мрак не идет в душу! Раз чудо началось — то продлится! И я — куплю! Переедем все — и я буду с Ритой! Кон-

чены хождения по темноте мимо ям, полных водой, кончен страх за ребенка, я буду возле нее, не страшны кони с их водопоем, ни лес, ни мост!

И когда меня вдруг схватывает за сердце расставанье с моей избушкой — даже это, даже эта сплошная — насквозь! — боль сегодня какая-то светлая — точно во всем сейчас рай.

На обратном пути, идя мимо избушки с тополями, я увидела на пороге — старушку. Вспомнила: а ведь эти три сестры — староверки! Они купили избу!

Но день этот — не простой день: они продают избу, уезжают... Дрожа от волнения, вхожу во двор, в сени. Нет, не может быть! Таковую избу не поднять!.. Три старушки и я, четвертая. И творится непонятное волшебство.

Бледные глазки младшей смотрят в мои незряче. «За сколько? А это уж как старшая наша сестрица Хеония скажет!» И зоркий серый взгляд средней, провожая идущую по избе третью: «Это уж как сестрица Хеония решит...» — «Заходите! Тысячи коло трех... Дом крепкой, продухи в землю вросли, теплой. Русская печь, сами видите (младшая).» — «А размер — 20 метров изба! (средняя). При том же — стайка и сени...» — «Колодец пять метров рубленой (младшая), а земли огородной семнадцать соток, богатство!» — «А кустов смородиновых тридцать два куста! (средняя).» — «А задумала сестрица Хеония на родину ехать, стало быть, продаем...»

Жарко мне стало, даже пить захотелось! Чуть было не попросила — вовремя удержалась: дать-то дадут, да потом, по своему закону староверскому, будут мыть-отмывать чашку чужого питья...

Я иду Первомайской улицей, а в глазах — все сразу: изба трехконная, печь, как домашний божок, посередине, и колодец, и смородины лесок перед домом... А Светланины тополя шумят круглым шелестом — так до самой почты дошла. А на почте заказное письмо: легким, молодым почерком, свободным и своевольным, Зоино письмо. Цветковское, шелестит листьями. И читаю я его — как в бреду: «Шлю Вам тысячу телеграфом, а две тысячи — почтой. Торопитесь подыскать дом. Вам, обдумала, нет другого выхода, Ася, как купить дом в селе и перевезти к себе невестку с детьми... Деньги я выиграла и считаю грехом их оставить в семье, где все дочери и мужа их работают. Разделила тем, кто в них нуждается. На Вашу долю — три тысячи».

Письмо это я получила 28 августа, в наш памятный семейный день.

...Первого сентября начиналось в школе ученье, первый день нового распяния внука.

29 августа я подписала со старушками-староверками договор. У них тоже было все готово к отъезду — так торопились на родину, и первого утром они выехали, а Нина с детьми вечером въехали в дом.

Моя последняя ночь в моем доме! С памятью о моих дорогих дружках, зарытых в земле, покидаемой: Домка, Мишка, Вася. И Чернобурик... Моя последняя ночь!

День прошел. Сколько вещей связано, перетаскано... Это все увезет артельская лошадь.

В узелок — последний скарб. Почти вечер. Надо спешить... Острым взглядом — все: *чтоб запомнить!* Глажу дверь, щекой о нее — как о мои ноги Фея. Выхожу. Знобит.

За далеким лесом — сизая мгла. Первые огоньки в селе... Какой торжественный час жизни! И как страшно — одной.

Закрываю замок, ключ занесу соседу. Гляжу на конец огорода — болота, мной поднятого. Двадцать две культуры тут у меня жили! Прощайте, пустые грядки! Вспоминайте меня по весне! (Розы мои, зацветете?) Я шагнула, а Фея за мной, из сеней... Прощайте, Вася, Мех-Мех, прощай, Домонька!.. Одни остаются, в земле... У х о ж у! А навстречу, в ветре, — кланяются гибко конопляные «елочки», *прощаются!* Это было так потрясающе, молчаливое их мне «прощай» и поклоны, что я, узел бросив, погладив их ветки двумя руками, схватила, прижав к себе, Фею и побежала, спотыкаясь обо что-то. Длительное прощанье — не могла. Прочь!

Вот что вспомнилось — о моей целине...

...Говорят, нет чудес? Тракторист МТС, бедняк, эстонец Лемберт Йохеллес покупает мой дом. Дает за мой дом — больше не может (стоил мне с доделками, с оградой и огородом, за годы — 4500) — 1700. Единственный покупатель! Что делать? Деньги платит частями, а часть — мукой. Совал деньги в руку на улице, расписки не брал. Не понимал: «Расписка? Зачем? Я дал — вы взяли...» Эстонец! Жену его зовут как-то Зайка, Вайка? Двухлетняя дочка. Он их выпишет! Он прирубит вторую комнату... Ему еще долго не удастся уехать отсюда. По рукам!

Как во сне, перевезла свои вещи. Фея от меня не отходит. В далеком селе огоньки загорелись, — Фея терлась у ног, понимала, ластилась, провожала, помнила, как я, — все... И тогда я, поцеловав ее, спустила на землю, она побежала за мной — в первый раз! — никогда до тех пор не бе-

жала! По октябрьской траве, уж подмерзшей, и не Феиными прыжками, веселыми, а побужкой беды. И долго, как, должно быть, бежал на трех лапах, «перебираясь» к Басову, Мишка мой, тогда невидимый спутник, по осенней черной ночи. И мне пришлось изобразить гонящего — топтать ногой о дорогу, замахиваться на Фею, делать вид, что нагибаюсь, бросаю в нее землей... Чтобы шла домой. Чтобы не украсть друга,— пока она, остановясь в недоумении, смотрела на меня и не двигалась...

Я пришла еще раз по делам к соседу, но его не застала и не добрела по пустой осенней улице (четыре года — *моей!*) к Дусе, Феиной хозяйке. «Глядите, глядите, как бабушку узнаёт!» — крикнула Дуся, синеглазая, когда-то красotka, желтая от болезни печени, вышедшая меня встретить,— меж поднявшегося леска белых гусиных шей, качавших янтарные клювы, перекрикивавшие хозяйку. Потому что Фея, меня увидев, прыгнула на перила крыльца и уж готовилась с них — мне на шею: уж пружинилась! Когда же я стала прощаться с ее хозяйкой, побежала она первая к двери, побежала за мной по такой грязи — дымчатым привидением. У соседа Кока кричала истошным голосом — он с женой только что уехал, а поселившись в его доме люди кошку его не пускали. Увидев меня (до тех пор меня не замечавшая), она узнала и удвоила крик.

— Еще раз *приду*,— сказала я ей,— и если тебя тогда еще никто не возьмет, я тебя *заберу*, Кока!

Путь шел мимо моего бывшего домика, ветер трепал еще не облетевший у двери хмель. Фея остановилась. Затем, удивясь, что иду мимо, забежала вперед, прыгнула через плетень и, танцуя у двери, стала мяукать, звать: *д о м о й же!*.. Сжав сердце и память, я понесла ее назад, в ее дом.

Г Л А В А 26 ВТОРОЙ ДОМ. КУТОРКИ

Мы теперь живем у самого леса хвойного, в противоположном конце села, на Первомайской улице.

Рядом с нами живет украинец с семьей, из Полтавы,— жена и три дочки, родившиеся все уже после отъезда с родины. Дальше — врач и медсестра, соединившие свои жизни, у нее дочка — моложе Риты — тоже Рита! Две Риты! Ходят в один детсад. Напротив — семья из Западной Украины. Жарко и быстро построил он дом, ожидая жену и красавицу дочку трех лет (тезку мою, Асю). Работал на двух работах,

все впроголодь, потому что все слал им и достраивал дом, и как счастлив и горд был встретить своих в срубленном своими руками доме! А налево от нас — семья, здесь давно живущая, как и все тут крестьянские семьи. Эти уже обжились — корова, хозяйство, — и жадность уже замечается...

Дом, таким чудом доставшийся нам на выигрыш моей героически-доброй подруги З. М. Цветковой, куплен мною за две с половиной тысячи, а полтысячи ушло на ремонт: сжали кое-где выпиравшие бревна стойками на винтах, подправили крышу, подняли четвертое окошко (на запад). «Тридцать лет еще простоит!» — сказал прораб. Перед окнами южными — три тополя (выше крыши — Светланины). А у Риты — это же рай! — тридцать два куста смородины и малины...

Дом — широкий, вросший в землю, без продухов, жаркий! Большое подполье. Но, увы, в нем «куторки» (сибирские — мыши? крысы?). Я так и не увидела ни одной, но сколько горя они принесли! Как избежала от них гибели Тонино наследство мне — кошка Жанна? (С Тоней прощались наспех, в разгар моего переезда. Возвращается в свой Ташкент.) Но Жанна ушла — и не вернулась. Может, искала путь на старое место? Я еще при соседе там, на улице Куйбышева, взяла котенка от его Коки — трехцветного Барсучка. Трехцветных котов, по общему убеждению, не бывает — только кошки. Но Барсучок был белый, серый и рыжий, красавец и весельчак. И когда я, сходя на старое место, забрала оставленную моим бывшим соседом Коку, мать Барсучка, возле «чужого» (родного ей) дома, куда ее новые хозяева так и не пустили, плакавшую на свою судьбу, и принесла ее к нам, то Барсучок потянулся к матери, от которой был взят дней за 10—15. А мать его не признала: зашипела и завывала угрожающе. Барсучок (и мы за него) огорчился. Но он не мирился с такой неестественностью, продолжая ласкаться о мать, и однажды мы увидели спящую Коку, обнявшую лапами сына. Я зарисовала их, сонных. Мы — Рита и я — радовались кошачьей семье (они играли и нежились). И вот заболела Кока: перестала есть, лежала; потом с ней сделали судороги, и пришла смерть. Барсучок резвился, но через несколько дней слег и он, проболел точно так же, как мать, — и умер. Мы с Ритой зарыли его в углу палисадника, возле матери. Печально вернулись в пустой дом.

— Это от куторок! — говорили соседи.

— Теперь мыши одолеют! — сказала Нина и принесла кроху кошечку, пушистую, белую с серым, тут же наименованную Мяушкой за женственно жалобный голосок.

Будем зорко следить, чтобы не скользнула в подполье.

Но дух же кошкин куторки учуют... Росла. Носилась с кровати на стену, повисала когтями на Ритиных картинках, с разбегу прыгала на нас и кувыркалась. Мы с Ритой, и Нина, и Гена — берегли ее от подполья. Но от подполья как уберечь! Постоянно открываешь западню (крышку — доставать картошку, и наши грубые руки не могли поспеть за восторженной любознательностью кисы. И хоть мы понесли ее к ветфельдшеру, Мяушка погибла точно такой же смертью, как Кока и Барсучок. Долго не хотели мы кошек!

Спешка и суета переезда, горе от куторок, новизна жизни в большом доме с Ритой, в семье сына, посылки от сына, волнение от так внезапно изменившегося всего вокруг; знакомство с соседями, постоянное любованье добротностью владения (широко разлившийся за домом огород с «настоящим» забором, невероятность обладания пятиметровым рубленным колодцем, уют совместности с Ритой, с утра до вечера английский разговор с ней и спокойствие за нее при моем присмотре) — все это не сразу дало осознать, что со мною, внутри, происходит: оно проступало как бы пятнами на стене, как бы неясно звучащей минорной мелодией — в шуме вождельных тополей, широко шелестящих над крышей, еле намечающейся сединой печали у ягодных великолепных кустов, где, сияя, паслась Рита (после жалких «Ритиных садиков» у меня на улице Куйбышева...). Но в какой-то час, ночной может быть, я поняла вдруг во всей несомненности, что я тоскую — и как! — по моему домику, по моей жалобной крошке, любимой, четыре года из ничего появившейся на пустыре, мною рожденной, где столько счастья и столько горя незабываемо пережито!

И в этом семилетняя Рита понимала меня с полуслова, со взгляда — родное мое дитя!

Вспоминать — было у Риты тем свойством, которое роднило ее с Марининым и моим детством. А ее третий год длившаяся любовь к племяннику Ермоловой — как сходно было с моей к репетитору брата, студенту Ласточкину!

(Прошли десятилетия — сколько городов, переездов, людей, домов, — ей все виделся наш домик на Куйбышева, и с ней долго шла мечта поехать в то наше село, уже во мне погасающее, но живое в детской памяти...)

Но не только тоска моя еще была в том, что порвалась моя связь с землей, кончилась радость и страсть выращивать, охранять, собирать урожай, особенно трудный в дни копки картошки, срезания кочанов, засолки капусты... Все делалось теперь не моими заботами и тревогами, *ушел трепет общенья с землей!* Все шло складно, как надо, без надры-

вания сил — но из дней ушло волшебство растущего познавания, слиянья, овладевания... Огород, тайнами коего я дышала все эти годы, отступил от меня, как отступает что-то во сне, — хотя кругом была явь, трезвая и полезная. И в часы, когда Рита была в детсаду, Нина — на работе, Гена — в школе и я одна оставалась в доме, и я ощущала себя непонятно постаревшей, отстраненною, не у дел и бродила по дому как неприкаянная — в неожиданной и ненужной мне праздности...

Куда же канули часы моего счастья — в труде над моим огородом?

Я огороду оказалась ненужной. Кончился труд мой... Другие руки трудятся — и в совсем другой усталости, чем восхищенная и бредовая — моя... Не моей любовной заботой вырастут по весне конопляные «елочки», зашелестят заросли кукурузы... Кончилась моя волшебная, одинокая жизнь — с разноцветной зеленью огорода, поэзия ушла из дней! Польза вошла в дом, безлюбовная проза... Я отодвинута опять к книгам... Это моя старость пришла!

Это правда не сказка? Уезжают? Все переменялось. Вечная ссылка кончилась. Справа от нас, недалеко по улице Первомайской наш сосед, молодой украинец Полтава, уезжает к матери на Украину. Сияет! Дом, им выстроенный, продал — дешево, распродал все: птицу, корову, хозинвентарь разбросал по соседям — «домой еду!».

Старшие из трех его маленьких дочек прощались с детьми соседскими, радостные — к бабушке едут! У бабушки — сад, сливы, вишни... Оставшиеся — кто с завистью, может быть, кто с сердечным сочувствием глядели вслед...

Г Л А В А 27 ПОЛИНА. ВИТЯ. ЕЩЕ ОДНА ЗИМА. СВИН

Однажды на почте, увидев у стоявшей там женщины книгу о помидорах, я разговорилась с ней. На мой вопрос отозвалась охотно, весело, и мы выходили вместе, обе повеселев. Худенькая, пожилая, в необычайно широко раскрытых и необычайно ярко горевших глазах сверкало такое доброжелательство, такая жажда общения, такая легкость вхождения в другую жизнь и такая молодость восприятия, такая страсть повернуться — ах, и на эту еще? тему, что мне как ветром волосы ото лба сняло — через четверть часа пути с ней уж не меньше десятилетия с плеч. Десятилетия!..

Как девчонки, мы шли с ней, перейдя с выращиванья

помидоров на все огородное дело, с него — на природу, на детей, на детское воспитанье... Удивительно было во всем этом — наши взгляды, и не они, а манера отношения к вещам! Эта легкость зажечься от схваченного на лету слова, от упоминанья о чем-то, о ком-то! Чувство дружества ко всем явлениям, с которыми сшибал день; ее желанье учиться английскому. Новизна жизни не в городе (линотипистка в «Гудке»), открыванье новизны увлекательных тем, где другие вешают нос! Да как же я до сих пор жила во всем этом — одна? Без нее, сияющей, отдающей себя в помощь любому! Ее воспитанье внука (ему пятый год) было мне о Рите — мечтой. Страсть к музыке. Рояля нет? Она будет учить Витю на мандолине (играет один человек, она умолит его давать ребенку уроки!). Помидорами оплатит! Каждый ее помидор — великан! Идем, счастливые, в каком-то ветру юности, — а шаг моей спутницы — легкий, как у цыганки, но те ступнями стелются. А в этом шаге есть отроческая взлетность — от избытка сил! Она — бабушка? Я смеюсь, как давно не смеялась. Да, с ней живет внук! Дочь учится и ей переслала мальчика. Витя, Рита — еще до того как дети наших детей встретились, в них и о них перекликнулись два человеческих опыта, две убежденности: закалка воли. Закалка тела (обтирание, обливание, хождение босиком). Одна из основ питания — овес. Важность воздуха. Важность сна (сон на воздухе). Бабушка Вити это осуществляет: ее внук спит днем в сенях, на морозе. (Важно следить, чтоб не раскрывал рта, дышал носом!) Бабы злословили: заморозить хочет ребенка! Можно жить без денег, если своими руками поднять целину! Как я! Капуста, морковь без химикалий, один фосфор и бережная обработка каждой горстки земли. Помидоры вдвое, втрое больше обычных. Часть пола ее пока еще земляная, ничего, к зиме наложит там досок, понемногу их достает. В избе пока — ничего: топчан и стол. Не важно! Разве в годы после тех лет, когда фашисты жгли в печах толпы людей, можно думать о неудобствах жизни? «Говорите, заморозили помидоры? Научу, приду, покажу, сделаю!..» И вот уже мы в нашей избе, знакомлю с Ниной, и вот уж беседа взасос, смех, радость и вот уж убегает она, сказав, где живет, — через десять минут надо подымать внука, живет по режиму — разве можно ребенку жить кое-как? И исчезла, наполнив нас радостью бытия! Имя осталось: Полина!

Пришла зима. Так мелко, что целые стены снега! Нина и Геля разгребали, чтоб хоть как-нибудь пройти. А он валит и

валит. Был вечер. Нина шла за ворота — к дровам, что ли? Видит — справа — холмик. Не было! Что такое? Остановилась. Шагнула в снег всем валенком, наклонилась. Подозрение ее взяло! Копнула. А потом как закричит: «Генка!» И пошла разгребать, и разгребла — человека! Пьяный. С ее работы парень. Мать на соседней улице живет. К ней ли шел? Гена вышел на зов Нины, и вдвоем с Ниной поволокли парня до матери. Ох, не выйди она за ворота — и не встать бы ему никогда, не спасла бы и водка — пролежать ночь в такой пуховой постели...

Человека спасти удалось! А гибель кошек в нашем доме продолжалась. Нина снова принесла кошку! Тигровую. Жила, росла, свыклась с нами, мы уже успокоились. Какое же горе было, когда мы увидели нашу тигровочку, вылезаящую из подполья! Вскоре она заболела: не ела, глядела в одну точку, и с ней сделался паралич. Ничего не помогло.

Что за проклятье жило в этом подполье!

В Сибири прошло три года детсада, для Риты и нас — незаметно, и вдруг «грянул гром в ясном небе»: когда Рите исполнилось 7 лет, неожиданно, среди года ей сказали, что ее время там кончилось, что она больше не будет ходить в детсад! Отчаянье ее — как рассказать? Оно было по силе — взрослое, не детскими слезами безотчетности — от кого-то обретенной обиды она плакала. Разлука, встреча с разлукой, как при отъезде с Ольюшкой (так она звала Ольгу Семеновну), пала на нее. В один из первых дней мы шли с ней через лес, я что-то рассказывала. Вдруг Рита остановилась. Перестав слушать, она с криком рухнула в беспросветное горе: слева от нас за деревьями показалось очертанье ее детского сада. «Было» — «прошло» — этого стерпеть не могла.

Как Витя спит! Его бабушка, молодая, синеглазая, большеглазая, над ним наклонилась; думаете, любитесь? Нашли у нее время — терять! Радуетесь здоровью его — закалке, тому, что она дает ему. На всю жизнь. Вы понимаете, что это — на всю жизнь быть закаленным? Веселый рот расплывается в улыбке... Сияет! Витя спит во всю мочь пятилетней своей жизни, укутанный, на морозе!

Село потрясено вестью: Полтава, Ленька Полтава, вернулся! Жена, дети — плачут... Он (вина в рот не берущий — озорник на слова, но трезвенник) мрачней тучи. Великолепные глаза гневно сверкают:

— Мать не приняла, понимаете? — Он это говорит каждому встречному. — Жена, мол, ждала тебя, а ты с оравой

детей вернулся, с другою... А я той писал: не жди! (Три года с ней жили, — да, я семью строил, а какая семья без детей?) Я до отъезда еще с ней расхаживал! Да добро бы — она! А то мать! Куда я теперь? Разорен... Дом был, корова была...

Поселился он рядом с нами в темной лачуге, пошел в артель, начал лес вывозить, заново дом строить... Все жалели его!

Но работал он — зверски. С утра до ночи стучал топором. Лют был в горе — и лют на работу. Дом рос, как только в сказке растут.

На маслозаводе, обнаружив хищение, заведующая пригрозила своим подчиненным, что она доведет до сведения об их проделках — в область. (Это мы узнали в виде слуха — она в пылу происшедшего рассказала об этом кому-то.) А через несколько дней городок был потрясен вестью о самоубийстве заведующей. Вместе с выехавшим на место происшествия начальством приехал брат самоубийцы, старший милиционер. Вечером в день приезда он пришел на квартиру к одной из ее помощниц — слушать ее рассказ о всех обстоятельствах происшедшего. Расстроенный, он стоял у двери, облокотясь о косяк двери, и слушал рассказ работницы маслозавода, изредка задавая вопрос. Застал он ее готовившую ужин. Она говорила и чистила картошку, бросала очистки в ведро. Чистила и бросала... Прослушав взволнованный рассказ, гость внезапно обратился к ней:

— Ну, а теперь передайте мне это ведро!

Женщина, пораженная его повелительным тоном, попыталась было спросить о причине его требования. Но он взял у нее из рук ведро. Под грудой картофельных очисток лежали на дне ведра кровавые тряпки — противоречие с рассказом о том, что погибшая — повесилась. Милиционер арестовал служащую. На следствии она созналась, так же как и вторая помощница: ими была убита его сестра, затем инсценировано самоубийство. Сколько лет заключения получили преступницы, я не помню. История эта надолго смутила мир села.

Но остался вопрос: как же врачи-то удостоверили справкой ложный факт смерти от удушения заведующей маслозаводом? Ответ напрашивался невеселый. Доктор Р. бы такую справку не дал...

У наших соседей слева собирались колоть свинью. Слышались голоса.

— Ну, я пошел за ножом! — сказал баском племянник хозяина.

Женский голос кричал вслед парню:

— К тете Паше сходи, нет ли? У Мироновых — тупой... Слышишь?

— Не глухой. «Сходи, сходи»...

Плечо толкнуло сенную дверь, та лениво распахнула мне навстречу низкую сибирскую пасть. В эту минуту я входила в их двор — отдать сито.

— И что у тебя за манера, Афанасий, толкать человека?

— Толка-ать еще! Да кто вас толкает, кому вы нужны?

— Дурак ты...

— Зато вы умная...

Ветер рвал голый тополь, трепал ледяные ягодные кусты.

Никого. Озираясь, я открыла тяжелую дверь в стайку.

Он шел, хрюкая, на открывшийся мутный свет двора; свиная бесшея голова пыталась подняться. Смешной в детских книжках пятачок был почти грозен в ледяной темнице, в неотвратимую предсмертную ночь. Но он шел и нюхал — и то, отчего я пришла сюда, — боль смерти смолкла вдруг перед болью жизни: голодный, он ждал пищу. Он не знал, что завтра — убой, перед убоем не полагается есть (чтобы легче было колоть? Не знаю — не свиновод). Но и эта боль — о его, виновника завтрашнего торжества, невинном незнании, что перед смертью свинью держат в голоде, сменялась болью другой, близлежащей: он привычно встречал, я шла с пустыми руками и несла в хлев — невесомую свою жалость, бесплодную, как ноябрьский лед под ногой!

И меня знобило стыдом. Ибо уже было поздно — исправить было нельзя: сейчас вернется Афонька, миг упущен...

Кто подумал бы, что и эту волну боли перегонит другая? А она уже была тут: он топтался на коротких ногах по морозному хрусту, и он был не свинья, а дикобраз, еж или еще кто-то, потому что щетина на нем (спина, голова, уши, ресницы) была обведена густым инеем, как узор чугунных садовых решеток. Вместо щетины на нем был — лед. Тот мороз, из-за коего его решили прирезать: а ну как замерзнет? в недоотепленной стайке? Мороз рухнул сразу. Первая, верхняя стадия замерзания была налицо. Глубже мерзнуть нынче — мешал жар голода, страсть жевать, жить — и именно ей было, именно в эту ночь отказано в пище. Ровно на те часы, в которые жажда жить, сила голода будет бороться мороз, — до часа убоя. Крючок надевался на петлю точно: неустыдимый человеческий расчет! От пышности инея на щетинке

он казался гротескным свиным чучелом на карнавале. Свиной саван!

Он был бел, как маленький белый медведь.

Сраженная зрелищем, забыв страх, что меня тут застанут, в чужом хлеву, забыв про раскрытую дверь, я присела возле него, переставшего топотать, тяжело неподвижного, ледяного памятника свинье.

Буря хлестала нас в широкие щели острой сибирской изморозью. Он мотнул мордой, мигнул — словно ткнул меня свиными седыми ресницами. Он молил об охапке соломы, в которую он до сих пор, в более теплые ночи, — зарывался.

Вокруг был заледенелый навоз. В эту первую лютую ночь солому не принесли, потому что это была его последняя ночь: авось не замерзнет! Охапку соломы, уже снятую, подняли вилами на чердак, от ветра.

На корточках на ледяной коросте, в шубе, от тоски или от холода меня трясло. зуб не попадал на зуб.

— Я тоже умру, Свин... — еле выговорила я, не смея тронуть лед его щетинки.

Он тихонечко ее потряс, и она зазвенела.

Внезапно стукнуло. Я шарахнулась вбок, и за мной к двери метнулась свинья. В страхе, что выпущу чужую свинью, я, выскакивая, нажала дверь на свиное тело, борясь с ним. Грубость этого ошарашила меня позором.

Не ища ему оправдания, я летела в дом. Не мой голос кричал в жаркий сон женщины: «Навоз как стекло! В стайке бушует! Нельзя оставлять живое животное...»

— Замерзает!.. — кричал с разбегу из сна проснувшийся голос старухи. — Утром колоть будем! Ишь, с ердобольная! — мстя за нарушенный жар сна.

Ты одеяло сбросила, тебе жарко...

Дуэт длился:

— Ты за ним не убираешь и не в свое дело не...

— Обледенел! Понимаешь? Хоть маленькую охапку!

— Ничего я не понимаю!

— Ты все понимаешь! Солома у тебя есть? Ну хоть тряпье, мешки...

— Мешки?? Ишь что выдумала! Чтоб она их в навоз втоптала? Нет у меня для свиньи мешков!

Старушечье одеяло укутывалось. Говорить было не с кем. Но угрожающей змеей поднялся мой победный голос:

— А тот мой мешок, что я под мох дочери твоей давала? Где он?

Притворный или естественный (что гаже — неведомо), шел тоненький свист храпа.

Была не была! Я нашла мешок ощупью в темной кладовке, ликуя, что большой, толстый (уехавшая из Сибири хорошая женщина подарила: та бы не бросила так животное, ох, та... — и пьяная радостью, что отняла, что есть где-то та Лена, моя, я несла в стайку мешок, жалкую помощь мою, точно несла жизнь).

Но тот, кто бы мог осудить суету торжества о такой малости, стоял у двери — ждал? — и его скромность принять этот нищий дар была величава. Он дал себя накрыть, словно отродясь ходил в попоне, и потрянул под ней всем своим льдом сильно, но осторожно, как бы понимая, что попону нельзя уронить.

Он хрюкал и подымал ко мне бесшеюю голову: он что-то говорил, и я говорила что-то — я бы, кажется, заночевала тут с ним...

Яростный ветер рвал и кидал дверь; по двору шли, круша лед. Я успела ухватить дверь; парень прошел, не заметив.

— Говорил, нечего к людям ходить загодя! — кричал он уснувшей тетке. — Утром дадут нож...

Я нащупала в кармане корки, обломок овсяной лепешки, и бросила жалкую кучку на мерзлый навоз перед свиной мордой.

И как каждую ночь, когда все спят и я выхожу отдохнуть от них, от себя, от всего, — я стою и смотрю в небо, на голые сучья, на далекие огоньки на земле.

Мы больше не брали кошек! Но однажды я шла по лесу и увидела, как мальчишки мучают маленькую кошечку: посадив ее в яму, где была вода, они сталкивали ее туда палками, а она кричала и цеплялась за узенькую полоску земли у спуска. Я бросилась на зверят, как лев. Но тут же мне стало ясно, что сама я достать кошку из глубокой ямы смогла бы, только круто наклонив голову, корпусом влезши вовнутрь, под навес земли; а моему глазу с испорченной сетчаткой такой наклон — прилив крови — был запрещен, потому что мог дать слепоту. Что было делать? Не знаю, в какой роли стояла возле мальчишек девочка лет десяти, но времени не было:

— Гады мальчишки, — сказала я ей, — противно смотреть на них! А ты — девочка хорошая. — И гипнотическим тоном: — Тебе жаль кошку! Я буду тебя держать, а ты нагнись и достань ее. — И, видя, что она колеблется: — Ты со мной дойдешь домой, и я тебе дам денежек...

Девочка соскользнула в яму, я крепко ее держала — и уж в ее руках маленький испуганный зверек, тигровый, как Чернобурик, и мокрый.

Кошка дрожала и цеплялась за руки девочки — я еле ее отцепила. Куда же было девать ее? Оставить здесь — мальчишки, только от вида моей палки отошедшие, снова ее заберут! Как я ненавидела в этот миг этих детей! (И почему многие считают нормой эту «возрастную» жестокость у мальчишек? Я бы воспитывала их «примером»: повторением над каждым из них того, чем они хотели мучить животное, — это, может быть, помогло бы...) Мы шли с мокрой беднягой — девочка и я. И как трогательно контрастно с только что виденным зверством — мне было неожиданно узнать, что девочка шла со мной вовсе не за деньгами: денег она не взяла. Значит, прошла далеко — просто так, за компанию! Мне стало весело жить... Она поглядела, как я закутала кошку, поболтала с Ритой, долго не хотела конфету — и ушла.

Слишком ли вымокла кошечка — отчего заболела? В подполье, кажется, не спускалась, но и ее мы не выходили.

Г Л А В А 28 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИТИ. КРОЛЯ. ЕЩЕ ВЕСНА

День рожденья у Вити! Вите шесть лет! Уже несколько недель учится он играть на мандолине у пожилого музыканта (теперь он работает агентом Госстраха). Мальчик имеет способности, его молодая бабушка сияет. К дню шестилетия она испекла из овсяной муки (единственно сейчас доступной) сладкий пирожок с повидлом и принесла, постояв в очереди, полкило леденцов — праздник!

Но самое главное угощение — не это! А то, что Витя, пригласив в гости человек шесть соседских ребят, сыграет им на мандолине все свои пески (устают маленькие пальцы прижимать твердые струны, и хоть терпит, не жалуется, учится силе воли — настоящий бабушкин внук! — но решено концерт его мандолинный сделать в двух отделениях!). Приглашены и мы с Ниной, и Рита, готовим жалобные подарочки. Витя — музыкант будет? Так пусть не забудет потом свой первый концерт в избушке с прямо на землю положенными досками, с овсяным повидловым пирожком!

Но не забудем и мы, как сидит, только что не пыхтя, маленький, крепкий, круглоголовый Витя, большелобый, сосредоточенный, крепко держа большую для него мандолину, и как серебряно частит послушный ему медиатор, как мелькают

по грифу уверенные — и все же волнуются! — пальчики и как слушают, раскрыв рты, его товарищи по играм мальчишеским — чудо его игры!

— Это что, Неаполитанская песня Чайковского? — шепчу я Полине Михайловне.

Нина смеется, а семилетняя Рита очень задумалась... О чем?

Весна... Опять весна! Пятая в нашем селе. И зачем их считать? Так и пойдут они одна за другой, пока — кончатся... Это не мысль — вздох. А о чем? Разве мне плохо тут? Мне тут — прекрасно, столько полюбилось всего, чего совсем не знала. Теперь, если в городе жить, еле бы дожидала до весны, самой ранней, — уезжать, сажать и стеречь, как растет хоть несколько грядок, радоваться... Что же я делала все те весны, до?..

Соседи наши разводили кроликов. Я брала у них молоко. Спешить мне теперь было некуда. Сяду, люблюсь кролями. Один из них был как-то особенно серебряно-бел. Он сидел в сенах среди подмороженных кабачков, брюкв, реп, меж кочанов и листов капусты. Это был последний из плеяды кроликов (надоели!), на шкурки коих с пункта несли муку, сахар, пекли сладкую сдобу, хваля ее и нежное кроличье мясо, но жалуясь на суету ухода.

Их забывали кормить (поить — еще чаще), но кроли как-то жили, бегали легким топотком по чердаку, плодились, росли и весело, деловито, жадно поедали все, что попадало.

Этот последний был — совсем белый. Он шнырял, маленький дух, меж загнувшихся листьев гигантских зеленых капустных роз, и, исчезая и появляясь с кинематографической скоростью, успевал ослепительно вспыхнуть на солнце — почти просиять, — и кувырчался в тень, как в воду. Что-то грыз, по-беличьему быстро-быстро вода подвижными ноздрями, клубком укатывался за рыжую тыкву, шуршал зеленью и нырял, сверкая на солнце то мячиком хвоста, то длинным ухом. Он жил восторженной, почти вдохновенной жизнью среди вдруг доставшегося изобилия овощей, в шумном от его бега, душистом кроличьем раю.

Распахнув дверь в синий осенний двор, в мечущийся в солнце ветер, я нагнулась к белому шару. Испугавшись меня или ворвавшегося солнца, кролик забился в угол, но я стояла и тянула морковку, и дрожь радости оказалась

сильнее дрожи страха: ушастый пушистый мяч перекатился вперед, засияв в луче, уши заходили, и жадный пугливый нос потянулся к любимому овощу. Он получил его, уронил, испугался, умчался, спрятался за кочан, с почти кошачьей резвостью примчался вновь к морковке и, наконец, занялся ею с предельной поглощенностью, двигая лапками и ушами, как вязальщица — спицами.

Я стояла и любовалась умильной красой волшебного существа с рубиновыми глазами. Час был так добро-солнечен, ветер рвал с веревок белье, как в детстве, на Оке, в Тарусе, маленький тролль был так праздничен, как картинка в сказках о Рюбецале, и все это так было похоже на натюрморт старого мастера, что, прислонясь к косяку, я бездумно благодарила за миг передышки, радуясь кролику, как он радовался морковке. (Почему я не принесла ему их целую грудку, не устроила ему — пир?) Так в усталости труда, впечатлений и возраста — человек недодумывает, недочувствует...

— Кролинька, — сказала я, протянув руку к царьку овощей. Мне хотелось погладить его, как котенка, но, непривычный к ласке, он резиново отпрянул назад, испугавшись до самых недр кроличьих, и я поспешила уйти, чтобы не стать врагом.

На другой день было пасмурно, и, когда я с пустой кринкой вошла в соседский дом, пробираясь к хозяйке мимо печи, таза, где мокли чулки, нагибаясь под развешанное белье, я наткнулась на ее сына. Мальчик лет одиннадцати стучал молотком по гвоздю, от которого шла бечевка, пахло луком, и — так бывает — внезапная тоскливая скука обуяла меня. Я беспомощно оглянулась, потянула воздух.

— Чад! — сказала я, шагая мимо печки. — Ты, верно, сильно задвижку задвинул...

Напевая, мальчик не давал мне дорогу, поправляя что-то у гвоздя, и не он, а другой кто-то тронул меня за плечо. Я повернула голову, и — задвижка, чад, усталость — все остановилось.

Очень длинно и совсем неподвижно, очень узко, непомерно вытянув вверх — задние, вниз — передние ножки, подводя маленький, худой красный живот под синеватые ребра, висел вниз головой голый остов, и кровь капала в таз на его внутренности, принятые мной, по слабому зрению, за чулки.

Он был очень худой, легкий, пустой, весь из косточек и гляцевитой мертвой кожи, а пушистость и белизна, нацело и навеки отнятые, висели поодаль, чтобы их не запач-

кать кровью, и над ними, растягивая их булавками и гвоздиками, старался, напевая песенку, мальчик.

Ноги рванулись, но глаза не пускали, потому что, опрокинувшись с гвоздя вниз легкой тяжестью неживого тела, тот трогал мое плечо голой кровавой мордочкой, и очень выпуклые глаза его, с выкаченным беловатым ободом, столько знающие, что уже молчали обо всем, глядели на меня без взгляда. И я не смела уйти.

— Кроля,— сказала я одними губами, одним вздымавшимся горем — и ноги вдруг оторвались от пола, шагнули и бросились прочь.

И много ли прошло времени, как опять — «на ловца и зверь бежит» — я услышала кошачий жалобный крик с конца огорода, что простирался позади нашего. Там живет пожилой человек, взявший себе в жены молоденькую хорошенькую девушку: мать ее, с которой она приехала еще девочкой, живет в двух километрах в поселке, где работает. Таня — хозяйкой в богатом доме (мы заходим к ним, берем молока), родила ему сына — весь в него, и он играет с сынишкой. Но у Тани заплаканные глаза, и мать ее — в тревоге о дочери: не записывается с ее красавицей дочкой противный богач. Вот из их огорода — плач кошачий. Напугала ли собака цепная? Слышу близящиеся звуки с содержанием: не могу больше кошек, их смертей! Но к ночи захолодало, ветер рвет еще голые ветки, куда денется бедный маленький кот? Чей? Точно зная мои колебания, котик бежит (по не вспаханной еще земле, кувыркается и плачет) — ко мне. Беру на руки. Но, и попав на руки, не мурлычет, не успокаивается, кричит. И когда я, принеся его в дом, ставлю на пол — он ходит как-то странно, все кругом. Ночью кричит, мешает спать. Явно — больной. Терпим день, терпим два. Ест плохо и кружится. Со вздохом (в который раз!) я иду в ветеринарку. Фельдшер сказал, что что-то безнадежное с мозгом. Мучается, не поправится. Усыпить надо! И пришлось согласиться. («Все-таки как-то живет — и убить? Но не сможет жить, раз такое...») Ластится и кричит. Глажу — не глядя. Ухожу со стыдом, как вор...

Процвела весна, леском встал огород, шелестя каймой кукурузу вдоль плетня: помогала нашим помидорам наш друг Полина. Увлеклась она уже не первый год способом выведения помидоров и трудом рук и колдовством фосфора выводила такие громадные румяные, что твой апорт! Пожалуй, что одними помидорами и питалась — и книгами.

Жила впроголодь; весело заботливо — лучший кусок — внуку.

Однажды, никому не сказав, Витя отправился в местную школу — к директору.

— Мне шесть лет,— сказал он тому, удивленно раскрывшему дверь такому просителю,— но я умею читать и пишу печатными буквами. Мне скучно учиться одному, без ребят! Примите меня в школу!

Может быть, умиление и тронуло сердце директора, но выше подобных чувств — установление Министерства просвещения, и он был принужден отказать Вите.

Гневно уходил посетитель — плотный, круглоголовый, светловолосый мальчуган с большим лбом и отважными голубыми глазами. Уходя, он сказал директору что-то поучительное и даже, быть может, таинственное (запомнилось нечто вроде: «Вам же хуже!..») и гордо прошествовал по улицам, с двойным воинственным пылом поглядывая на детей.

В эти годы он любил сжимать — изо всех сил — кулак и подымать его самозабвенно. При этом он изрекал неизменно одно и то же:

— Как дам... (кому — не уточнял).

Глаза его были сощурены, и брезжились ему стрелы и лук.

Г Л А В А 29 СЕДЬМАЯ ВЕСНА. БЕЛЯНА. СМЕРТЬ ВРАЧА

В дни получек от Верочки, Лёры или пособия моего я позволяла себе пообедать в столовой. Шли нам по-прежнему и подарки детям, и обувь, и платья, и курточки, и коробки конфет, даже — финики... (Косточки их я потом сунула в горшок с алоэ, и у меня выросли пять финиковых пальмочек.) Да, друзья — не забывали! Их посылки и письма, жданные и неожиданные деньги...

Как год назад, умытый стоит плетень, будто новый, без снега, и, сырой, пахнет — лесом, древесиной, и земля пахнет — собой, снегом, солнцем, отдыхает — перед семенами. Неужели не чувствует так — последняя хозяйка Якова Ивановича, стоя на своем крыльце? Не чувствует? Как же может она в его вещи вцепиться (заикнулись продать их и послать деньги — Другу. Накричала: «Право мое, я ходила за ним!»)?

Растворилось в воздухе «Feinfühlung»? Вздох. А ты? Кошлышки — позабыла?

Как и в первой моей избушке, мне перед окном

вбили столбики выше человеческого роста, и я на них вешала тускло-рыжую, грубого рядна, занавеску (за грош купленную в селе), образуя террасу,— так я повторила это и здесь. В солнце у нас была тень, мы с Ритой вылезали туда из нашего с ней окошка, пили чай, говоря по-английски. (Годы спустя эту занавеску я засунула лютой зимой в павлодарскую собачью будку — нашему дорогому Джульбарсу. Как он был рад! Там морозы ниже 40°...)

Доктор наш, незабываемый Тобиас Яковлевич! Дверь в перевязочную приоткрыта, я жду в очереди в коридоре. Он сидит в белом халате, худой старик, еще темноволосый, с проседью, а перед ним сидит деревенская старушка, сгорбленная, в чем душа держится,— и, глядя в ее сморщенное личико: «Так, так. Понимаю. А не бывало ли с вами?..» И, весь уйдя в дебри ее болезней, он всматривается, вслушивается в пациентку, эту древнюю больную старушку, душу отдавая, чтобы хоть сколько-нибудь ей помочь. Призывая весь опыт свой, все книги изученные, советы всех своих учителей... Достойный их ученик, могикинин! Ведь у него таких, как он, училось следующее поколение! Отчего же тоже здешняя женщина-врач, почти средних лет, в другом кабинете, ведет свой прием в совсем другом стиле? Мне, шестидесятилетней, спешно выписывая рецепт: «Три раза в день по порошку. Эмфизема легких у вас, бабушка! Старческое.— И, бегло окинув себя взглядом в зеркальце, быстрым привычным жестом полунаклоненное в открытой сумочке: — Следующий!» (И ему скажет: «Не помогает? Ну что вы хотите? Другого сердца не вставим!»)

И вот доктор Райт перестал выходить на работу. Через две недели случайно мне встретился.

— Я слыхала, что-то легочное у вас? Воспаление было?

И его ответ уклончиво — о себе — лаконичный:

— Хуже... В город к специалисту еду...

Была осень. Рита пошла в первый класс школы. Однажды Нина, войдя в дом — с работы, молча поставила на пол что-то белое, крошечное, не больше трех вершков. Белую как снег!

— Ну, берем, что ли? Может, убережем от куторок? Ведь мыши же донимают!

И взяли... Как-то всех сразу кошек наших погибших

напоминала Беляна. Мы не чаяли в ней души. Одна из всех *не лазила* она в подполье, и мы были спокойны: эта не заболит! Она тоже носилась по постелям — и на стену, гремела кухонной утварью, кувыркалась в солнечных лучах — и к весне стала почти взрослой кошкой. Совсем белая, без отметки. И тогда появился у нас в доме кот: Вася, совсем черный. Большой, ширококостный, но не пышный, потому что бродяга. Как ни приучали — жить не пошел: ходил в гости. Он приходил — вдруг, в окно и ложился к нам спать.

Ушей у него не было: отморозил, должно быть: невысокие полукружия у начала ушей. Мурлыкать не умел — а шептал. Засыпал сразу, наваясь на грудь, живот, где попало. Был ужасно нежен, до умиления. Никогда не сердился. А с Беляной иногда спали в обнимку — белая, черный; мягкие, как гусеницы. И уют от них в доме был, как будто сел у камина, и греешься, и сказку читаешь, где у Бабы Яги — всегда кошки.

Стояли теплые летние ночи, и шелестели наши тополя. Просыпалась оттого, что на меня из окна прыгнул Вася безухий, черный как сажа, из лунного жерла ночи; морду — в ноги, хвостом покрылся, уж спит. А в ногах Ритиной постели потягивается Беляна, тянет передние длинные лапы, и на них — голову — белая, как крахмал...

Я не помню, когда и как заболела Беляна. И не хочу длить рассказ. Она болела терпеливо, покорно, сразу став взрослой, печальной. Не ела, лежала. Потом начались судороги... Я понесла ее к другому фельдшеру, жившему недалеко от нас, сделали укол. Мы принесли лекарство. Беляна боролась за жизнь. И как-то прислушивалась к болезни... Терпела. Кротко дотерпела до конца. Две белые лапки свои она вытянула у мордочки — и не то стон, не то вздох... Как удивительно прощаются животные — с жизнью: без ропота, точно знают: пришел час!

Приходил ли после Беляны черный Вася? Мне кажется, он исчез.

Мы закопали Беляну в коробке, чтоб земля не сразу — на кошеньку. Мы знали, что в этот дом мы больше не возьмем кошек.

...Я пошла навестить жену уехавшего Тобиаса Яковлевича. Она была в тревоге, но держалась достойно. На работе в больнице (она была старшей сестрой) исполняла свои обязанности, как обычно. В этот вечер она казалась спокойнее: муж сказал ей по телефону, что предстоит операция, что ни-

сколько не боится, что она необходима, не опасна; «Не бойся, пожалуйста, все будет в порядке!». Я ободряла ее. Мы расстались. Девушка, помогавшая ей по хозяйству, вышла за мною во двор. Оглянувшись назад, не идет ли хозяйка за нами, она приложила палец к губам. И горячим беззвучным шепотом:

— Рак...

— О-о!..— только смогла я.

Что-то в сенях застучало, девушка бросилась в дом.

Я принесла домой эту страшную весть. Нина не знала, пойти ли к жене, побыть с ней на всякий случай или... я посоветовала не идти: может быть, усталая, уснет... Ясно, что раз девушка знает это,— то из больницы. И что, стало быть, от жены пока решено скрыть. Как ужасно: убеждают, что все хорошо, скрывают страшное слово, а потом как? А если неудачная операция и его привезут...

На другой день в больнице в присутствии всех врачей жене сообщили: ее муж скончался на операционном столе до операции. От шока.

Так, может быть, и не сказали ей тогда диагноз его болезни. На похоронах Тобиаса Яковлевича трудно было подойти к кладбищу: толпа провожала его... Не хватает духу писать о том, что было с женой.

...Нина, простудясь, пошла в амбулаторию. Принимала прилетевшая из области женщина-врач, народу привалило множество. Вернувшись, Нина легла, я пошла в аптеку заказать ей лекарство. Принеся его вечером и дав Нине воды запить его, я услышала решительно, что такого лекарства она больше принимать *не* будет! Я укорила ее за капризность и убедила продолжать принимать.

— Ведь эта врач столько лет училась, она же понимает, что дает!

Проглотив и отплеываясь, Нина закричала:

— Так пусть она сама его и пьет, раз понимает! А мне не надо такого лекарства, от него сразу — тошнит!

— А-а, это, может быть, Доверовы порошки,— сказала я,— они — да, иногда тошноту вызывают, я слышала. Дай мне рецепт, посмотри!.. Позволь, что это? Большой Демидовой! Это же не твой рецепт! А я-то не посмотрела...

— Не мой? Ну и хорошо, что не мой,— отвечала Нина, еще содрогаясь от проглоченного,— мне такого не надо! Это она меня с той женщиной перепутала! С ней говорит, а мне рецепт подает... Я, говорит, на самолет спешу...

— Бессовестная! — с аппетитом выговаривая слово, воскликнула Рита.

Я помчалась в аптеку. На мое счастье, я встретила по пути Дору Исаковну, лаборантку.

— Демидова? Ее рецепт — у вас? Мы же ее готовим на операцию язвы желудка! В область ее направляем! А у Нины, говорите, бронхит? Я Демидову видела, она еще не заказала лекарства. Сдайте ее рецепт аптекарше и скажите, чтобы, когда придет Демидова, у нее отобрать ваш рецепт! Обидно! Ей-то «сіто» написано, а Нине сегодня уже не сделают! Нет, давайте мне рецепт и лекарство, я сама это все сделаю. Зайду к Демидовой, скажу, чтоб она сейчас же шла в аптеку, а аптекаршу попрошу и вам сделать — зайдите вечером перед закрытием, будет Нине лекарство...— И Дора Исаковна заспешила в аптеку...

Она тоже часто бывала в домике над Баксой, нами прозванном «дача на Рейне», у Тони и Капы. Дора Исаковна не раз подавала Капе медицинскую помощь, совет и, как я, отдыхала часок после трудов дня в уютном мирке сестер. Капа, поджидая из артели Тоню, допекала что-то в духовке и готовила чай или кофе, а закат стелил длинные алые полосы, отраженные в подражавшей Рейну Баксе, и нам оживали «Алые паруса» Грина, — все их ждали тогда...

Да, там, откуда мы приехали, жизнь начинала налаживаться. И мы получали возможность уехать. И транспорт и материальные условия были трудны. И все-таки многие уезжали. Среди поднявшихся ехать была — еще ранее Юрова и Таисии Еремеевны — «кошкина мама». Она назначила за свою избушку цену, которую ей не давали, — восемьсот, и ни копейки меньше. Предлагали пятьсот. Возмутясь, она на них не согласилась и, уезжая, бросила — кому на разор? — свое лесное жилье.

— Лучше уеду без копейки, чем дать себя эксплуатировать! — сказала она.

— Как можно быть такой принципиальной? — удивлялись ей вслед.

Но на аэродроме ее — с корзинами кошек — не приняли. Мужественно вернувшись, она тотчас же пошла к начальнику, Т-ну, с выписками из соответствующих пунктов законоположений. Доказав свое право ездить и летать — с животными, она получила специальное распоряжение Т-на о ее кошках и улетела с ними навсегда из села нашего в синий осенний день. Кто разграбил ее избушку? Но можно ли назвать разграблением унесение из брошенного в лесу ни на что не похожего жилья — печной плиты и колосников, кошачьего

столика и оконной рамы маленького, там уже ненужного окошка?

Годы спустя до нас дошла весть, что Ольгу Захаровну встретили в центре Москвы оживленную и в лаковых туфельках. И почти следом шла весть: заворот кишок — отказ делать операцию — смерть в больнице. И маленький кошачий коллектив ее детей разбежался, попав в многотрудную жизнь бродячих котов...

ГЛАВА 30 ПРИЕЗД СЫНА. ДВЕ СМЕРТИ

Сын собирался к нам. Путь был неблизок. Рита, помнившая отца в раннем ее детстве, ждала его с замиранием сердца.

Лето кончилось. Он приехал, по моде тех лет — с бородкой, изменившийся, возмужавший, навез с трудом наработанных подарков. Помню их встречу с Леной Полтавой — так друг другу понравились!

Иду с сыном на улицу Куйбышева, еле уломав его: не понимал зачем! В доме столько дела, помочь Нине, к чему это? Идти туда, где нечего делать? Увидев, что огорчена, пошел. Но, усталый и взрослый, он шел, не участвуя. Чтоб не обидеть. Ему это было не надо: какая-то *прошлая* (уж переделывают ее!) избушка, какие-то *прежние* соседи... Я шла убитая. Одной благодарностью, что — пошел. Пошел *все-таки!* Идет — для меня. Но душой далек от моих тут четырех лет. Приехавший, чтоб помочь — в *настоящем!*

Сын уехал, оставив в сердце дочери — обожание. Обещал скорее устроиться в городе, куда бы мог принять нас всех; советовал свертывать хозяйство, продать дом с выращенным огородом и готовиться к переезду в Башкирию, в новостроящийся городок Салават, где он надеялся прочно обосноваться. Сибирь наша — кончалась...

Никто тут не знал, откуда мой сын приехал. Чудом к сроку его освобождения Илья Эренбург прислал мне — выхлопотал у Союза писателей — единовременное пособие в пятьсот рублей. Я поспешила их переслать сыну. С их помощью он из лагерника превратился в джентльмена — костюм, шляпа, обувь. Кто бы принял его на работу в лагерном облачении? Присланное мне старое мужское из серого драпа, английского, пальто он сам — золотые руки! — перелицевал, лишь петли не смог обметать, отдал портному. И явился к нам в блеске своих сорока лет.

Я несла кошку Беляну к ветфельдшеру и встретила Леню Полтаву, красавца и умника, водкой не разоряющего жену и трех своих девочек, глотающего только книги. Словесный озорник и задира, неотделимый от крепких выражений. Его карие глаза лукавы, смуглое волевое лицо красиво, кудри — что у лорда Байрона.

— Да вот бревна для сеней кантовать начал!

— Дом-то кончил?

— Заходите смотреть! Такого дома во всей Пихтовке...

— Ладно, не хвастайся. Лучше Беляну мою пожалей — и она заболела!

— А их лечить не умеете! За хвост — и об угол дома! К ветфельдшеру небось?

Не слушая (Леонид добр — притворяется):

— Заходите попоздней вечером, потолкуем.

— Зайду...

Крепко я с ним сдружилась. Жена его, Вера, рассказывала, что, к нам собираясь, говорил: «К невесте иду!»

За бесценнок продал отличный дом, плод своих рук, и корову (утварь разбросал — «домой еду!» — даром!) — и теперь, обеднев дотла, живя в низкой тесной хибаре, лихорадочно достраивал новый дом — лес близко! — отчего жил с семьей впроголодь. Вера заработать не могла — от детей да огорода куда пойдешь? И — беременная...

Я входила в кедрач. Высота, ели, запах — как не воздух будто с ног бьет! Снег внизу и по лапам веток; уже весенняя синева с облаками. Тихо... В просторном лесном бараке я раскутала дремавшую Беляну, понесла ее к фельдшеру. А он, Петр Иванович, шел навстречу, и что-то необычайное было в его походке: точно шел не человек, а что-то легкое, эластичное: он шел — а его уносило, и он настаивал на направлении, но не грубо, как пьяные, а легко, резиново, — у него будто не было весу! Пьян — не был, сразу видно. Понял мой взгляд.

— Хлоралгидрату принял, — сказал он с виноватою улыбкой, — хорошо, знаете, все забываетесь... От дому куда поедешь? Чтоб как Полтава — назад? Кошечка заболела?

Он дал мне лекарство.

— А знаете, это дело опасно, — сказала я ему, — будьте осторожны, больше — не принимайте! Один случай я знаю — чуть не умер лекпом!

— Откачали?

— Откачали-то откачали, да долго болел...

Он вдруг остановил меня (я уходила):

— Пойдите, хочу по книге проверить, не много ли сказал

дозировку. У нас о кошках — нет, ну, я по собаке взгляну и — сбавлю...

И он пошел через барак, и его относило, невесомость его шагов — поражала.

— Заходите, — сказал он мне. На добром пожилом лице светились ясные глаза. — Почему не заходите? Покажу вам новые сени — окончил... Поговорим о жизни, будем рады...

Проходя мимо его дома, по пути к своему, я было шагнула зайти к жене его — сказать, что он так. Или не надо? Обижу его, — та разлетится туда, а он совсем в норме, и я ведь сказала, что еще добавлять — опасно... Зачем в семью соваться? Что пьет — она знает, каждый день может где-то засесть и вовсе без памяти... А он умом — трезв, к чему объяснения с женой? Вечно я в чужие дела лезу, «спасаю», когда вовсе не надо...

Вечером Полтава не зашел, допоздна доносился стук с его огорода — кантовал бревна. А наутро пришла женщина с вестью, что умер ветфельдшер, — помощник жив, но болеет, а его нашли мертвым в ветеринарке! Сменный заходил вечером и наткнулся на помощника, лежащего, и его отходил. А того — не увидел... Жалость какая! Вот дела...

Сердце заныло всюю: значит, надо было зайти, сердца послушаться, а не ума, — проклятые рассуждения! Беляна, о которой он о дозе заботился, еще жива, а он... Себе не думал о дозе! Прележал, незамеченный в дальнем углу барака, темно было, сменный не знал, что он тут, было поздно, он увидел, что барак не на замке, и зашел. Занялся тем, кто меньше хватил, — вот ведь судьба! На него наткнулся, а о том, кто, может, еще умирал, мысли не было, тот должен был давно быть — дома... Бранил помощника — и спасал. Спас. По рассказу того, умерший куда больше принял хлоралгидрату: «Я уж не хотел, говорю — брось, хватит, а он — еще да еще... Все забыться хотел — вот и забылся, насмерть...» Все жалели погибшего: хорош был человек. Жена убивалась. Я не находила себе места. Вечером к нам пришел Полтава. Сел у печки, сняв с кудрей кепку, потер руки.

— Дурак был, что умер! Меры не знал. Я таких людей не жалею.

— А он кошку пожалел... Добрей тебя был! А ты, Леня...

— А меня кто жалел? Мать, понимаете, мать не пожалела!..

Поник, кудрявую голову в руки, опершись о колени локтями. Пили чай. Невестка моя Нина говорила:

— Ты, Леня, чудить брось, иди снова в нашу артель, и ссуду дадут, и скорей дом кончишь... Очень гордиться

любишь — а дети без молока! Тебе всего раньше надо на корову работать! Без коровы тебе — никак!

— Знаю...— отвечал Полтава,— к мужику нанялся, лес ему вывозить. Из-за большой спины ведь ушел я с артели, а бригадир, паразит, не верил...

— Не ругайся! В мае Вера родит — четвертый. Об этом ты думаешь? Ругаешься все?

— Как не ругаться? Я согнуться не мог, а он... Потеплеет — пойду в артель. Дом надо кончить, переберусь с девчонками, тогда...

— Дом у тебя — дворец, что говорить!

А потом смеялись, Полтава шутил, в карман за словом не лез никогда.

— Пойти к соседу, в баке помыться, звал,— встал он и взял кепку.

Наутро, в воскресенье, в избу вбежал внук Геля, бледный:

— Полтаву зарезало! Под тракторные сани попал... В больнице! Сказали, умрет.

Бежала соседка:

— Люди видели — вскочил в сани-то, мужик уж сидел! Тракторист не видел, что Ленька сесть не успел, дал знак трогать — он и провалился меж перекладин-то, санями его прокатило. Выругался матом — теперь из меня, мол, толк кончен... Позвонки, говорят, с первого по седьмой!

Шла, еле двигая ноги, Вера. Умывалась слезами, шалью стирала с лица.

— Ты не плачь,— сказала Нина,— а звонить в город надо!.. На самолете его...

— Звонили. Сказали, без пользы. К вечеру помрет,— захлебывалась плачем Вера.— *Пальчиком* двинуть не может! Все Валю зовет, меньшую... Меня, говорит, кольцом прокатило, спину-то! Будто и сейчас круглый! Врач сказал, от ног опух пойдет, как до сердца дойдет — конец...

— Ровно знал, что помрет,— дом-то как спешил строить... Почитай, кончил... Все бабе полегше...— говорили соседи.

Алексей Полтава (оказалось — не Леонид, никогда не спорил, когда так звали) прожил еще полтора суток. Боролся! Поясняли так: головной мозг был цел, сердце работало. А ведающий движениями спинной был вскрыт. Он лежал совсем неподвижно и медленно умирал. Вера была при нем. Я что-то носила, тщетно, в больницу, редкое какое-то лекарство, московское...

В гробу он лежал — прекрасный. У гроба — жена и три

девочки, ее мать. В мае Вера родила долгожданного сына. Назвала Алексеем. Как его ждал Леня!

Горькое утешение, горькая усада удалась друзьям: в осиротевший дом, где скоро, опоздав увидеть отца, родится ребенок четвертый, заместитель его, хозяин, долгожданный сын! — ведут большую белую козу. Беляну! Молоко у ней — что мед... Вместо задуманной Леней — коровы...

На сельском кладбище меж старых кедров две свежие могилы рядом: Петра — Алексея...

Как жалел о смерти Лени мой сын Андрей, только один раз его у нас увидавший, но так хорошо, дружески с ним поговоривший глубоко в ночь...

ГЛАВА 31 НАЧАЛО РАЗЪЕЗДА. СЫН

Долго собиралась и вот — собралась уезжать и старушка Ольга Семеновна. Услышав об этом, так расплакалась Рита, что невозможно ее было утешить. Нечем! Уезжало самое доброе, самое терпеливое, самое ласковое из того, что довелось встретить ей в ее почти семилетней жизни. Ни заменить, ни отвлечь, ни утешить. Растерянная, такого не ожидавшая, я нашла в своем арсенале только одно, горькое, утешение:

— Если ты перестанешь плакать, мы пойдём ее провожать — туда, где вы три года назад с мамой сошли с аэроплана, — на аэродром! Хочешь? Или не хочешь?

— Хо-чу... — захлебываясь слезами, кричала Рита.

И мы пошли.

Мы еще поспели, почти бегом через лес пробираясь, боясь опоздать. Она увидела нас и бросилась навстречу. На ней было что-то странное надето: широкое и длинное, какое-то пальто-крылатка. Похожее я когда-то, в детстве, видела на тарусском земском враче, моем дяде, когда он в дождь садился в тарантас ехать в деревню к больному. И еще — на монахинях в Страстном монастыре, в раннем детстве. Ее звали. Она метнулась назад, потом к нам, схватила свою корзиночку, люди толклись, кто-то плакал, кто-то смеялся. И Рита смеялась! Она не понимала, что это уже посадка, что вот сейчас... Она видела свою волшебную подружку, та целовала ее, совала что-то в руку... Все произошло так быстро — загудело, как мельничные крылья, взметнулось — и уж самолет, как гигантский кузнечик, бежит по земле, поднимается... И опять отчаянные слезы! Мы одни — и осенний лес... Недолго продлилась наша переписка, болезнь груди гнула ее и согнула. Худенькая, длинносица в светлом

(зимой — темном) платочке, некрасивая, улыбчивая, с тихим весельем в глазах, она стоит в памяти на фоне своей крошечной крутокрышей избушки посреди большого огорода — рядом с кладбищем, среди кедров и елей — огонек маленького окошка согрел суровый пейзаж...

Стоит автомашина, и Тоня подсаживает Капу... Последнее объятие, слезы разлуки... Она одна в «вилле на Рейне»...

Должно быть, именно в эти дни отъездов Игорь передал Рите маленькую фотографию-удостоверочку — или чуть больше удостоверочки? Она будет долго жить в альбоме фотографий Ритино детства, когда Рите будет уже 15, 20 и 25 лет.... Может быть, в 30 — как тогда было Игорю — она перелистает альбом, и ей в глаза попадет эта, чуть больше удостоверочки, фотография молодого мужчины восточного типа. Удлиненный овал, нос с горбинкой, взгляд гордый и сладостный, как в иллюстрациях в «Шехерезаде», и немного прочтет взрослая Рита возле этих губ — чего-то — скорбь, что ли? «Ах, это было в военное время...» — вспомнит она.

Отогнув, сколько позволит вверху клей, держащий карточку не слабее, чем это делает память, она прочтет: «Моей милой юной поклоннице Маргариточке...» Подпись — стерта, на нее сверху попал клей!

...Прослушав эту страничку, замужняя Рита сказала:

— Ты не сумела дать *силу* того чувства... Оно ведь и до сих пор не повторилось. Это не ложится в слова!

В отъездах, охвативших наше село, одним из самых видных, хозяйственных, обстоятельных, самым, может быть, видным был отъезд сестер с фамилией немецкого сказочника. Самым уютным отъездом! Они возвращались туда, где у их родных все уже было вновь устроено, где в просветлевшей стране нужны были совсем другого тона силы, чем те, что они употребили здесь, чтобы строить маленький макет жизни. Годы прожили они почти в сказочных усилиях воссоздать хозяйственность, сытость, осмотрительность дней, протрудились в них, как пчелы над ульем, и, медом своим прокормившись, весело и умно распродавали все хозяйственные принадлежности, составлявшие опору лет. Так ко мне попала слож-

ная самоделка (с заказом кому-то металлических частей, большая, в полтора раза больше уличного станка точильщика), сложная машина — картофеле-, нет, не «чистка», потому что она терла картошку для крахмала, кто ее знает, как она называлась? Она состояла из станка, широкой проволочной гребенки, как для волос великана, и, овладев ее техникой, я перевезла ее к себе (как везла я, увы, — может быть, от волнения, перекрывшего перевоз, — не помню). И я стала тереть картошку. Помню детское увлечение производством крахмала, противни (их мне делали из тонкого черного железа, где сох промываемый до белизны крахмал, и весь дом, заполненный киселями (когда не из чего было — из чая, из сока черного хлеба, из любой подсахаренной и подкисленной жидкости). Но сестры Г. уезжали. И к ним шли и шли оставшиеся и уносили тайны их мастерства; ежедневно ходила и я и уносила посильные покупки, из которых каждая остроумно (как в журнале «Труд и забава», мне когда-то выписываемом родителями) разрешила домашними способами трудные коммерческие проблемы, и мой дом, сам почти на колесах, принимал ежедневную хозяйственную помощь, в которой сливались забава и труд.

Сестры, уезжая, встречали меня, оставшуюся, приветливо, и я сроднилась с ними за эти дни. Было непонятно, почему мы не сошлись — раньше, они, так охотно учившие — всех (в мою вечную жажду учиться!). Но они уезжали, и я не забуду их уезжавших: строгую и приветливую, высокую и худую старшую, ее точеный профиль и аккуратную, на пробор, седую — еще не совсем — прическу, и младшую, полную, добродушную — с проседью (обе в фартуках), сажавших за чашку чая даже среди разгрома.

ЭПИЛОГ

Мы ждали вести от ее отца, что он устроился прочно, — чтобы (как он настойчиво советовал) продавать дом и ехать. А сердце — сжималось... Уже два года мы в этом доме...

Разве позабудешь свой огород, огромный, пышный, растущий, окруженный леском шелестящей кукурузы, где уже зреют початки... Зеленеющий и желтеющий разноцветной красой различного, словно птичьего, оперенья, — рощи гороха сахарного, приземистый лесок «ползунка», причудливые очертанья (что-то от бабочек) фасоли с хризолитового цвета стручками; резную зелень морковных гряд (скоро он вспыхнет огненными стрелами!); матовую цветную капусту и малахитовые кочаны простой (наливаются, стараются, хотят наградить —

за горькую поправу первого лета!). А репа, а брюква, а черная редька, а белая свекла, из которой я в первой избушке моей гнала патоку взамен сахара! А кольраби, а болгарские перцы, а помидоры — ужели мы все это покинем и будем жить в городе?.. Выстраданный колодец — пять метров глуби! — рубленый, с крышкой! Перестанем понимать все, забудем. И наши тридцать два куста ягодных, последний свой «Ритин садик», Рита забудет... как паслась в красной и белой смородине и в малине меж широко шумящих тополей, за семь моих лет тут выросших из Светланиных прутиков... Продадим Нинину будущую коровушку, черную с белым нетель... Не будем кормить кур... Петух не пропоет больше! Крик петуха, еще в детстве, как и тут заново, зазвучавший, смолкнет...

Прошло два года с самого начала разъезда и более полугода с приезда ко мне сына. Ему удалось устроиться в том самом маленьком городке Салавате, о котором он нам говорил. Теперь он звал нас. Наступал и наш отъезд!

Я шла на улицу Куйбышева. Все было как будто бы то же, и все же неуловимо — другое... Я уж была не та — не этих мест житель... чужая уж, вот что! Шла, приглядывалась, оживала и умирала, страшилась встречи с Феей (ведь — *узнает!* Как оторвусь?!).

Вот дом, где жил Басов Василий Иванович... Я иду пустырем... *Мой* плетень!

Но что случилось со мной, когда я, обойдя его дальний угол, угол моего бывшего огорода, увидела, что он снесен там, где был «Ритин садик» с посадками роз! Что — сердце замерло, — где стояли кусты роз, которые весной должны зацвести (Лёрины, розовая и красная, морозоустойчивые, — я их покрыла сеном, обвязала веревочками, на зиму приготивив, молоденьких), — столько труда! столько радости ожидания, прервавшейся внезапным переездом, — ровная земля, столбики для ворот? Въезд? Стою и реву, тихо... Меня утешило смущенное горе Лембита Йохеллеса, схватившегося за голову! Если б он знал! Не понял, не разобрал в спешке, в перепланировке участка... Жена и он — да все эстонцы! — так любят цветы... Я — утешала!

В жаркий летний день вошли к нам на Первомайскую покупатель: старички, муж и жена. Длинная белая борода истоиво поклонилась.

— Нынче Петров день, сегодня мы познакомимся, для обговора, а завтра придем договор подписывать.

Худой, очень старый, он имел деловой вид. Жена, низенькая, вся — коричневая — и лицом и платьем, улыба-

лась всеми морщинками, уютом подходящей к случаю улыбки. Цены с каждым днем падали, и купленное два года назад за две с половиной тысячи (дореформенными деньгами) с ремонтом на еще полтысячи сейчас шло за тысячу девятьсот.

Как — недавно — старушки-сестры, так мы теперь пытались продавать хозинвентарь — не покупали. Почти все переходило из дома в соседний дом, к Вере Полтаве. Сыну Лениному, будущему хозяину, было теперь полгода. На козьем молоке он рос крепышом. Старшую, Тоню, немую, определили в областное заведение для глухонемых. За Алешей смотрела четырехлетняя Шура; Валя еще была мала. Соседний с ним дом — доктора В. — стоял тоже осиротелый. Я пошла на кладбище — проститься с дорогими могилами — Якова Ивановича, Лени Полтавы, ветфельдшера Петра Иванова. Остановилась над широко развалившимся холмом — опра-вить некому — Парфена Никитича, Русланова хозяина. Странно, что я не помню могилы Тобиаса Яковлевича, — не могла я ее позабыть!

Но жить спешила. Уже не было ни красавицы Кармен — Аси (уехала с родителями на родину), ни Вити — он уж давно был с бабушкой своей молодой у еще более молодой матери. Их отъездами нам подготовлен путь — отрываться. Лошадь к железной дороге, везущая наш багаж, трусит рысцей, а мы оглядываемся назад, где столько оставляем, навсегда поселив-шееся в сердце. Ритиных глаз не видно, один блеск слез...

СОДЕРЖАНИЕ

Апог. <i>Роман</i>	3
Моя Сибирь. <i>Повесть</i> ¹	368

¹ © «Советский писатель», 1988 г.

Литературно-художественное издание

Цветаева Анастасия Ивановна

AMOR

Роман и повесть

Редактор **Е. В. Стаднюк**

Художник **В. С. Комаров**

Художественный редактор **В. В. Покатов**

Технический редактор **В. М. Котова**

Корректоры **Т. Люборец, В. Лыкова**

ИБ № 5576

Сдано в набор 09.04.90. Подписано к печати 04.03.91. Формат 84X108¹/₃₂.
Гарнитура Таймс. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 26,04. Усл.
краск.-отт. 26,46. Уч.-изд. л. 30,27. Тираж 100 000 экз. Заказ 50. Цена 4 руб.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации
РСФСР и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и мас-
совой информации РСФСР
444043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30